

Studi Polonica



Российская академия наук
Институт славяноведения

Studi Polonica

*К 70-летию
Виктора Александровича Хорева*



«ИНДРИК»

Москва 2002

УДК 821.162.1

ББК 83.34

S 90

Редакционная коллегия

член-корр. РАН проф. *В. К. Волков* (отв. редактор)
к. ф. н. *И. Е. Адельгейм*, к. ф. н. *В. В. Мочалова*, *О. В. Цыбенко*

Studia polonica. К 70-летию Виктора Александровича Хорева. —
М.: «Индрик», 2002. — 456 с.

ISBN 5-85759-189-9

Книга посвящена известному исследователю польской литературы и компаративисту, доктору филологических наук, профессору Виктору Александровичу Хореву, воспитавшему не одно поколение полонистов в нашей стране. Как и в книге «*Studia polonica*», изданной в 1992 г. к 60-летию В. А. Хорева, в данном сборнике представлены статьи, посвященные истории Польши, польской культуре и литературе, языку и фольклору, а также проблемам русско-польских литературных связей и стереотипам национального восприятия.

В сборнике приняли участие видные слависты: литературоведы, историки,истики культуры, лингвисты — коллеги В. А. Хорева из Института славяноведения РАН и других научных учреждений, а также коллеги из Польши и Германии.

В книге приводится список публикаций В. А. Хорева.

INDRIK Publishers have the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other **INDRIK** publications may be ordered by

e-mail: indrik@pochtamt.ru
or by tel./fax: +7 095 938 57 15

ISBN 5-85759-189-9

© Коллектив авторов, 2002

© Издательство «Индрик», 2002

СОДЕРЖАНИЕ

К юбилею профессора В. А. Хорева (<i>Л. Н. Будагова</i>)	6
<i>Библиография трудов Виктора Александровича Хорева</i>	9

История

Б. Н. Флоря (Москва)	
О русской кандидатуре на элекции 1668–1669 гг.	24
Б. В. Носов (Москва)	
Вопрос о границе и выдаче беглых крестьян в русско-польских отношениях 1764–1766 гг.	31
С. М. Фалькович (Москва)	
Религиозные течения в польской эмиграции на фоне подъема национально-освободительного движения в Польше в 50–60-е гг. XIX в.	49
О. Р. Медведева (Москва)	
Запад — Восток: обрывки судеб (поляки в Средней Азии в годы второй мировой войны)	60
А. Ф. Носкова (Москва)	
К. К. Рокоссовский в Польше. 1949–1956 гг.: неизвестные страницы биографии	79
В. К. Волков (Москва)	
Субъективные заметки о советско-польской комиссии историков по «белым пятнам»	95

Язык, фольклор, история культуры

Т. М. Николаева (Москва).	
Детектив и его возможные лингвистические «ключи»	121
Л. Н. Виноградова (Москва).	
Польские коленды: новые культурные функции старого фольклорного жанра	129
О. В. Белова, В. Я. Петрухин (Москва)	
«Птица царя Соломона» и славянский фольклор	137
Larysa Szczawińska (Moskwa)	
Habent sua fata manuskrypta: Pierwsze lata klasztoru supraskiego	145
Базыли Бялокозович (Олыштын)	
Бодуэн де Куртене и духовные ценности славянских литератур	151

<i>Н. М. Филатова</i> (Москва)	
Библейские образы в исторнософии К. Бродзиньского	165
<i>Grażyna Pawlak</i> (Warszawa)	
Współcześni pisarze nurtu wiejskiego prezentowani w Teatrze Telewizji Polskiej (Wybrane przykłady)	172

История литературы

<i>В. Н. Топоров</i> (Москва)	
Ответ русской литературы на первый раздел Польши	183
<i>Ю. А. Лыбичев</i> (Москва)	
Поэтические опыты предтеч Адама Мицкевича из окрестностей Новогрудка	198
<i>И. Е. Адельгейм</i> (Москва)	
К вопросу о психологии восприятия в «Крымских сонетах» А. Мицкевича	214
<i>Maria Janion</i> (Warszawa)	
Mistyka czy zabobon	224
<i>Alina Brodzka-Wald</i> (Warszawa)	
Kobieta pisząca — Warszawa, lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XIX wieku (glossa do tematu)	230
<i>С. Ф. Мусиенко</i> (Гродно)	
«Ночи и дни» Марии Домбровской в контексте развития романа-саги 20–30-х гг.	232
<i>Войцех Кайтох</i> (Краков)	
Когда двое говорят об одном и том же (публицистика Яна Котта и Казимежа Выки 40-х гг.). Пер. с польск. Е. Костюк	254
<i>Zygmunt Ziątek</i> (Warszawa)	
Czas tożsamości lokalnej	277
<i>Małgorzata Czermińska</i> (Gdańsk)	
Daty i dedukacje (o wątkach miłosnych w poezji Stanisława Barańczaka)	284
Проблемы литературных связей. Контакты — типология	
<i>Тадеуш Шишко</i> (Варшава)	
«Разговор» Мицкевича в писательском сознании Николая Лескова	293

Ян Орловский (Люблин)

- Брюсов о Польше и польских писателях
(По материалам военной публицистики и переписки поэта) 300

Е. З. Цыбенко (Москва)

- Творчество Владислава Станислава Реймонта в России 312

О. В. Цыбенко (Москва)

- Творчество Юлиана Кавальца в России 325

А. Б. Базилевский (Москва)

- Заболоцкий–Херберт: общность независимых миров 338

Т. П. Агапкина (Москва)

- Из русской корреспонденции Виктора Ворошильского. 1956–1966 гг. 346

Стереотипы национального восприятия*А. В. Липатов* (Москва)

- Стереотипы национального восприятия:
специфика национальной истории,
особенности национальной культуры
и адекватная оптика научного рассмотрения 361

В. В. Мочалова (Москва)

- Образ Марины Мнишек в историографии и литературе 372

И. И. Свирида (Москва)

- О гедонистической ипостаси топоса Варшавы 398

Л. А. Софронова (Москва)

- «Отрывок III части Дзядов»: русские и Россия 409

М. В. Лескинен (Москва)

- «Чужое» пространство в романе Г. Сенкевича «Огнем и мечом» 423

В. Я. Тихомирова (Москва)

- Русские заимствования и этнический стереотип
в польской лагерной прозе 434

Генрих Ольшовский (Берлин)

- Литературные воспоминания о немецко-польской истории.
Пер. с нем. А. В. Циммерлинга 447

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА В. А. ХОРЕВА

Эта книга — неформальная дань уважения коллег, друзей, учеников Виктору Александровичу Хореву, известному слависту, крупнейшему знатоку польской литературы, за его плодотворную научную деятельность. Профессор Хорев внес и вносит огромный вклад в развитие современной славистики и как ученый, автор нескольких монографий и более трехсот работ, снискавших широкое признание, и как заместитель директора Института славяноведения, заведующий отделом славянских литератур, как инициатор и руководитель многих фундаментальных литературоведческих исследований.

Виктор Александрович Хорев родился 22 февраля 1932 г. в старинной Вологде, вошедшей в песни своими «резными палисадами». Там, в тихой провинции, в семье русских интеллигентов прошли его детские и школьные годы. Но дальнейшая судьба В. А. Хорева, не забывающего свою вологодчину, на всю жизнь оказалась связанной с Москвой, с академическим Институтом славяноведения. Туда он был принят Сергеем Васильевичем Никольским в аспирантуру после окончания филологического факультета МГУ (1954), там защитил кандидатскую (1964) и докторскую (1979) диссертации и, последовательно пройдя все ступени научного роста, сформировался как специалист высочайшей квалификации. Научные интересы В. А. Хорева охватывают широкий круг проблем, но ключевые относятся к развитию польской литературы XIX–XX вв., к компаративистике с упором на сложнейшую область русско-польских литературных и культурных отношений, а также к специфике и функциям так называемых парабеллетристических жанров — эссе, мемуаров, воспоминаний, чей рейтинг в XX в. растет на глазах.

Не только по «анкетным данным», но и по духовному складу он принадлежит к поколению шестидесятников, к тем его представителям, которые, не будучи диссидентами, в то же время счастливо избегали многих советских комплексов — слепой веры в господствующую идеологическую доктрину, органического неприятия инакомыслия. Их нравственное созревание пришлось на период «оттепели», а именно к ней, несмотря на все последующие «заморозки» и «застои», восходят наиболее позитивные процессы 90-х гг., то лучшее, что принесла с собой перестройка.

Уважение к материалу, стремление идти от реалий литературного процесса, а не от официальной идеологии, ясность мысли и языка

всегда были сильными сторонами работ В. А. Хорева. Созданная им в конце 60-х гг. вместе с коллективом соратников — Б. Ф. Стахеевым, В. В. Витт, И. С. Миллером, И. К. Горским, А. В. Липатовым, Т. П. Агапкиной, Д. С. Прокофьевой, Н. А. Богомоловой и др. — двухтомная «История польской литературы» до сих пор сохранила свою научную ценность. Широта кругозора и чуткость исследователя позволили В. А. Хореву уже тогда осветить в своей главе о межвоенной польской литературе творчество таких сложных и в то время замалчиваемых писателей, как Б. Шульц, С. И. Виткевич, В. Гомбрович, мировой интерес к которым вспыхнет значительно позже. Перу В. А. Хорева принадлежат глава о польской литературе рубежа XIX–XX вв., написанная в соавторстве с В. В. Витт для «Истории всемирной литературы» (Т. 8), исследования творчества В. Броневского, С. Дыгата, К. И. Галчиньского, Л. Кручковского, Я. Каспровича, статьи о Л. Шенвальде, Т. Ружевиче, Ю. Кавальце, Т. Бреже, Я. Ивашкевиче, С. Мрожеке и т. д. Под руководством В. А. Хорева и при его активном участии как автора и ответственного редактора создана фундаментальная «История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» (т. 1 вышел в 1995, т. 2 — в 2001 г.).

Один из лейтмотивов творчества В. А. Хорева — анализ пушкинских переводов Мицкевича. В работах на эту тему он сумел на небольшом материале раскрыть не только драматизм взаимоотношений двух великих писателей, в котором отразились сложности отношений поляков с Россией (и наоборот), но и поэтику каждого из этих корифеев мировой культуры (см. «Вновь о балладах Мицкевича в переводе А. С. Пушкина» в сб. «А. С. Пушкин и мир славянской культуры», 2000).

В последнее время В. А. Хорев стал разрабатывать проблематику польско-русских связей в ракурсе «имагологии», т. е. стереотипов восприятия одного народа другим. Этот термин популярен в зарубежном литературоведении, но введен в русский обиход В. А. Хоревым. О научно-политической плодотворности этого ракурса свидетельствует конференция, организованная в Москве Институтом славяноведения РАН и Институтом литературных исследований РАН в рамках Дней польской науки и культуры (15–18 октября 2001 г.) и посвященная теме «Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре». И как писала «Литературная газета», «в конечном итоге речь там шла не только о выявлении и анализе стереотипов в культуре, но и о необходимости и возможности преодоления негативных стереотипов в отношении русских к полякам и поляков к русским» (Изотова Т. Оптимизм диалога // ЛГ. 2001. № 44–45. С. 11). Большие заслуги В. А. Хорева в исследовании и популяризации поль-

ской литературы, в налаживании прямым и честным путем, без ненужной дипломатии и увиливания от трудных политических вопросов, польско-русских связей высоко оценены в Польше, наградившей его «Крестом Командорским со Звездой ордена Заслуги Республики Польши». Нужно сказать, что большинство успешно работающих полонистов следующих поколений у нас в стране и в ближнем зарубежье являются учениками профессора В. А. Хорева.

В. А. Хорев — это человек, ученый и руководитель, на которого можно положиться. Характерная черта его личности и трудов — основательность и надежность. Кто бывал вместе с Виктором Александровичем в зарубежных поездках или ходил в турпоходы, знает, что с ним не страшно заблудиться ни в незнакомом городе, ни в дремучем лесу. Он непременно выведет на нужную дорогу. Способность ориентироваться в запутанном пространстве проявляется и в его деятельности заместителя директора и руководителя одного из крупнейших отделов Института. И здесь он помогает своим спутникам избрать верные ориентиры, не потеряться, не оказаться в тупике. Однако здесь срабатывают не столько редкие наблюдательность и память, сколько эрудиция, способность уловить и поддержать перспективное научное направление.

Нельзя давать словесный портрет В. А. Хорева в сусально-розовых красках, поскольку это человек, называющий вещи своими именами, порой даже резкий в общении с коллегами. «О таких говорят, — заметила однажды С. М. Фалькович, — суров, но справедлив, только хотелось, чтобы все же этой суровости было поменьше». Но хоровская вспыльчивость и резкость (чем-то роднящие исследователя польской литературы с ее романтическими героями) сочетаются с отходчивостью и настоящей заботой о людях, о коллективе Института. Он очень много делает для его развития и репутации, для издания его трудов в годы, этому не благоприятствующие. У Виктора Александровича много друзей и учеников — и в России, и за ее пределами. И сам он умеет дружить, помогать людям в трудные минуты, чтить память своих коллег и наставников. В Институте и за его пределами любят и ценят Виктора Александровича Хорева, доказательством чего стала эта книга.

Л. Н. Будагова

БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ХОРЕВА

1956

Баллады А. Мицкевича в переводе А. С. Пушкина // Литература славянских народов. М. Вып. 1.

1957

Przyjaciel narodu radzieckiego // Kraj Rad. Warszawa. № 3.

1958

Значение классического наследия для развития литературы социалистического реализма // IV Международный съезд славистов (в Москве). Ответы на вопросы по литературоведению. М.

Новый литературный журнал Польши // Вопросы литературы. № 2.

Мария Конопницкая // Основные произведения художественной литературы. ВГБИЛ.

1959

Творчество Люциана Шенвальда в 20–30-е годы // Литература славянских народов. М. Вып. 4.

1961

О литературе Народной Польши. М. [Монография].

Комментарии // *Владислав Броневский*. Избранное. М.

О книге В. Оболевича. История польской литературы // Литература славянских народов. М. Вып. 6. Соавт.: В. Витт, Б. Стахеев и др.

В. Жукровский. Крещенные огнем // Современная художественная литература за рубежом. М. № 2. [Рец.].

Ю. Озга-Михальский. Обратная сторона луны // Там же. № 3. [Рец.].

1962

Возвращение поэта // Вопросы литературы. № 8.

Е. Анджеевский // Краткая литературная энциклопедия. М. Т. 1.

Т. Боровский // Там же.

К. Брандыс // Там же.

С. Выгодский // Там же.

Л. Кшемень. Капля в потоке // Современная художественная литература за рубежом. М. № 2. [Рец.].

- К. Выка. Кшиштоф Бачиньский // Там же. № 4–5. [Рец.]
 Б. Верник. Их первая любовь // Там же. № 6. [Рец.]
 В. Броневский. Стихи и поэмы // Там же. № 7. [Рец.]
 Писатели и читатели // Там же. № 9–10. [Рец.]

1963

- В. Броневский и советская культура // Литература славянских народов. М. Вып. 8.
 Польская пролетарская поэзия 20-х годов // Формирование и развитие социалистического реализма в литературах западных и южных славян. М.
 О социалистических идеалах воспитания в Польше // Иностранная литература. № 9.
 Majakowski w Polsce // Kraj Rad. Warszawa. № 29.
 Całym sercem z Polską // Ibid. № 37.
 Lew Tolstoj w Polsce // Ibid. № 44.
 Literatura polska w ZSRR // Współczesność. Warszawa. № 21.
 Письма Ю. Тувима // Славянская филология. Вып. 4. МГУ. Публикация, соавт.: И. Колташева.
 Т. Голуї. Один оттуда // Современная художественная литература за рубежом. М. № 1. [Рец.]
 И. Фик. Избранные критические работы // Там же. № 4. [Рец.]
 «Леон Кручковский». Материалы // Там же. № 6. [Рец.]

1964

- Польская революционная поэзия 30-х годов // Развитие зарубежных славянских литератур в XX в. М.
 О литературной программе Игнация Фика // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. Вып. 42.
 Польская пролетарская поэзия 20–30-х годов XX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологич. наук.
 К. И. Галчиньский // Краткая литературная энциклопедия. Т. 2.
 Т. Голуї // Там же.
 С. Р. Добровольский // Там же.
 С. Дыгат // Там же.
 Т. Т. Еж // Там же.
 Г. Тимофеев. Трудная свобода // Современная художественная литература за рубежом. № 6. [Рец.]
 Ю. Ленарт. За идейные ценности в литературе // Там же. [Рец.]

1965

Владислав Броневский. М. [Монография].

О творчестве К. Брандыса // Советское славяноведение. № 6.

Я. Броневская. Десять червонных сердец // Современная художественная литература за рубежом. М. № 1. [Рец.].

Е. Зёmek. Казимеж Брандыс // Там же. № 4. [Рец.].

1966

Вопросы, которые нас волнуют // Вопросы литературы. № 4.

Я. Ивашкевич // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3.

М. Конопницкая // Там же.

Я. Каспрович // Там же.

К. Иллакович // Там же.

К. Ижиковский // Там же.

В. Ковальский // Там же.

Т. Коивцкий // Там же.

1967

Литература Народной Польши // История Народной Польши. М. Соавт.: В. Витт, Б. Стахеев.

Наследие В. Броневского // Вопросы литературы. № 5.

Из истории польской марксистской критики // Там же. № 9.

Комментарии // С. Жеромский. Избранные сочинения. М. Т. 1.

Б. Лесьмян // Краткая литературная энциклопедия. Т. 4.

Я. Лехонь // Там же.

А. Лям // Там же.

Я. Леманский // Там же.

Г. Морцинек // Там же.

С. Мрожек // Там же.

Зб. Жабицкий. «Кузница» и ее литературная программа // Современная художественная литература за рубежом. М. № 5. [Рец.].

А. Ендриховская. Зигзагом и прямо // Там же. № 7–8. [Рец.].

Я. Урбаньская. Русский советский роман в Польше 1918–1932 // Там же. [Рец.].

«Владислав Броневский». Материалы / Составила Ф. Лиходзеевская // Там же. № 2. [Рец.].

1968

Комментарии // Владислав Броневский. Стихи. М.

Глазами друзей // Вопросы литературы. № 2.

- Польская литература 1890–1967 // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5.
З. Налковская // Там же.
В. Оркан // Там же.
М. Павликовская // Там же.
Я. Бронеvская. Май и ноябрь // Современная художественная литература за рубежом. М. № 2. [Рец.].
Ю. Хен. Театр Ирода // Там же. [Рец.].
В. Кубацкий. Грустная Венеция // Там же. № 6. [Рец.].

1969

- Польская литература 1918–1944 гг. // История польской литературы. Т. 2.
К. И. Галчинский // Там же.
Польская литература 1918–1944 гг. // История зарубежных литератур XX века. МГУ.
Из истории польской марксистской критики // Революционная литература Польши 20–30 годов. М.
[То же на казахском языке. Алма-Ата, 1975].
Literatura Polski Ludowej po roku 1956 // Czerwony sztandar. № 217, 223. Warszawa.
W dniach klęski // Literatura radziecka. Warszawa. № 8.
Э. Брыль. Ноябрьское дело // Современная художественная литература за рубежом. М. № 2. [Рец.].
А. Буковская. Перемены времени // Там же. № 4. [Рец.].
В. Садковский. Исследования и комментарии // Там же. [Рец.].

1970

- Polska literatura rewolucyjna // Literatura radziecka. Warszawa. № 9.
Dramaty L. Kruczkowskiego // Czerwony sztandar. Warszawa. № 174.
Я. Урбанская. Русский советский роман в Польше // Советское славяноведение. № 5. [Рец.].
М. Степень. Вопросы литературы в польской печати на территории СССР (1918–1939) // Современная художественная литература за рубежом. М. № 1. [Рец.].
Я. Урбанская. Русский советский роман в Польше 1932–1939 гг. // Там же. [Рец.].
К. Сероцкая. Советская Полония (1917–1939) // Там же. [Рец.].
Е. Путрамент. Болдын // Там же. № 2. [Рец.].
З. Ястшембский. Литература военного поколения // Там же. [Рец.].
Литература на перепутье. А. Дравич. К. И. Галчинский. А. Стерн. Бруно Ясенский // Там же. № 5–6. [Рец.].

1971

- К спорам о социалистическом реализме // Советское славяноведение. № 6.
Соавт.: С. Шерланмова.
- Станислав Дыгат. [Вступительная статья] // *Станислав Дыгат*. Проза. М.
- Dwie prace o Polonii Radzieckiej // *Literatura radziecka*. Warszawa. № 1.
- Szkic do portretu // *Ibid*. № 6.
- Powieść o frontowym braterstwie // *Ibid*. № 8.
- Polska literatura w ZSRR // *Przyjaźń*. 5.XII.71. Warszawa.
- Ю. Пшибось // Краткая литературная энциклопедия. Т. 6.
- Е. Путрамент // Там же.
- А. Рудницкий // Там же.
- Л. Рудницкий // Там же.
- Т. Ружевич // Там же.
- А. Слонимский // Там же.
- Т. Риттнер // Там же.
- Х. Карвацкая. В. Вандурский // Современная художественная литература за рубежом. М. № 1. [Рец.].
- «В. Мах — писатель и человек» // Там же. № 3. [Рец.].
- Е. Брошкевич. Долго и счастливо // Там же. [Рец.].
- Е. Путрамент. Полвека. Т. 4 // Там же. № 4. [Рец.].
- М. Домбровская. Приключения мыслящего человека // Там же. № 5. [Рец.].
- З. Налковская. Дневник периода войны // Там же. [Рец.].
- В. Мачёнг. Дело литературы // Там же. [Рец.].
- Б. Фарон. Збигнев Униловский // Там же. № 6. [Рец.].
- А. Лям. Критический дневник // Там же. [Рец.].

1972

- Польская марксистская литературная критика (20–30-е годы) // Формирование марксистской литературной критики в зарубежных славянских странах. М.
- Микророманы К. Филиповича [Вступительная статья] // *Корнель Филипович*. Микророманы. М.
- Б. Фарон об Униловском // Советское славяноведение. № 3.
- Владислав Броневски — поэт на социалистический реализм // *Пламя*. № 24. София.
- Л. Стафф // Краткая литературная энциклопедия. Т. 7.
- С. Р. Стане // Там же.
- А. Ставр // Там же.

- А. Струг // Там же.
Ю. Тувим // Там же.
З. Уннловский // Там же.
В. Броневский // Детская энциклопедия. М.
Ю. Тувим // Там же.
Е. Брошкевич. Не прелюбодействуй, не кради // Современная художественная литература за рубежом. М. № 4. [Рец.].
Л. Кручковский. Литература и политика. Т. 1, 2. М. // Там же. [Рец.].
Е. Коссак. Ленин и культура // Там же. [Рец.].
А. Окопская. С. Выспанский // Там же. № 6. [Рец.].

1973

- К вопросу о сравнительно-типологическом изучении социалистических литератур // Сравнительное изучение славянских литератур. М.
Комментарии // Ярослав Ивашевич. Избранное. М.
Пообестороны границы // Литературоведение. Реф. жур. ИНИОН АН СССР.
Л. Кручковский. Литература и политика // Советское славяноведение. № 4. [Рец.].
Т. Буїницкий. В. Броневский // Там же. № 6. [Рец.].

1974

- Современная польская повесть. [Предисловие]. Комментарии // Современные польские повести. М.
Польский рассказ за 30 лет. [Составление]. Комментарии // Польский рассказ. М.
Польские рассказы // Иностранная литература. № 7.
Поиски и перспективы. Заметки о польском романе последних лет // Там же. [То же в переводе на немецкий язык — Kunst und Literatur. № 10 Berlin.]
Леон Кручковский // Леон Кручковский. Драммы. Статьи. М.
Чешская поэзия XX в. (о книге С. Шерланмовой) // Вопросы литературы. № 30. [Рец.].
Ю. Ковалец. Серый орел // Современная художественная литература за рубежом. М. № 3. [Рец.].
С. Дыгат. Вокзал в Мюнхене // Там же. [Рец.].

1975

- Становление социалистической литературы в Польше // Вопросы литературы. № 12.
О польском романе последних лет // Современная литература за рубежом. М.

- Накануне освобождения // Иностранная литература. № 6.
- В. Яжджинский // *В. Яжджинский*. В последний час. М.
- Письма В. Воровского П. Эттингеру // Актуальные вопросы истории марксистской литературы. Кишинев.
- Общие тенденции развития антифашистской литературы (Болгария, Польша, Чехословакия, Югославия) // Советское славяноведение. № 4. Сост.: Ю. Богданов, Г. Ильина.
- [То же на немецком языке — *Verteidigung der Menschheit*. Berlin.]
- Literarisches Erbe in der sozialistischen Literaturentwicklung // *Funktion der Literatur*. Berlin.
- A. Lunaczarski a literatura polska // *Literatura radziecka*. Warszawa. № 11.
- Władisław Broniewski // *Literatura dla klasy X*. Lwów.
- Uloha revolucnych tradycii socialistickoj literatury // *Slovenska literatura*. Bratislava. № 5.
- З. Херберт // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8.
- В. Шимборская // Там же.
- Б. Червеньский // Там же.
- Ю. Чехович // Там же.
- Б. Чешко // Там же.
- Э. Шимапский // Там же.
- Я. М. Гизгес. Пронзи тень // Современная художественная литература за рубежом. М. № 5. [Рец.].

1976

- Заметки о польском романе начала 70-х гг. // Новые явления в литературе европейских социалистических стран. Художественная проза 70-х годов. М.
- Wł. Broniewski i kultura radziecka // Władisław Broniewski w poezji polskiej. Warszawa.
- St. Digats // *St. Digats*. Riga.
- Зерна и плевелы культуры // Иностранная литература. № 1.
- Леон Кручковский // Писатели Народной Польши. М.
- Владислав Броневский // Там же.
- К. И. Галчинский // Там же.
- Станислав Дыгат // Там же.
- Микророманы Корнелия Филиповича // Там же.
- Дом, построенный нашими руками // Современная художественная литература за рубежом. М. № 1. [Рец.].
- М. Стемпень. Польская литература после 1939 г. // Там же. № 4. [Рец.].

1977

- Октябрьская революция и становление социалистического реализма в польской литературе 20-х гг. // Советское славяноведение. № 5.
- Литература реального гуманизма // Вопросы литературы. № 10. Соавт.: Ю. Богданов, С. Шерлаимова.
- [То же на немецком языке — Kunst und Literatur. 1978. № 4. Berlin.]
- [То же на чешском языке — Česká literatura. 1978. № 5. Praha.]
- Советско-польский симпозиум // Вопросы литературы. № 5.
- Новые книги А. Брауна // Иностранная литература. № 8.
- Pierwiastki narodowe i internacjonalistyczne w literaturze // Przegląd humanistyczny. Warszawa. № 11.
- Этапы развития литературы Народной Польши (обзор) // Литературоведение зарубежных социалистических стран. ИНИОН АН СССР.
- В. Роговский. Авария. В. Билиньский. Катастрофа // Современная художественная литература за рубежом. М. № 4. [Рец.].
- В. Навроцкий. Класс, идеология, литература // Там же. № 5. [Рец.].
- Ред.: Литература исторического оптимизма. М. Соавт.: С. Шерлаимова.

1978

- Literatura realného humanismu // Česká literatura. Praha. 5. Соавт.: С. Шерлаимова, Ю. Богданов.
- Роль традиций революционной литературы в современном литературном развитии европейских социалистических стран // Литературная критика европейских социалистических стран. М.
- О современной польской литературной критике // Поиски и перспективы. Литературно-художественная критика в ПНР. М.
- Комментарии [и составление] // Там же.
- Соотношение национального и интернационального и этапы развития социалистической литературы в Польше // Актуальные проблемы сравнительного изучения литератур социалистических стран. М.
- Опыт антифашистского сопротивления и развития южно- и западнославянских литератур // VIII Международный съезд славистов (в Загребе). Доклады советской делегации. М. Соавт.: Ю. Богданов, Г. Ильина.
- В. Мах. В. Мысливский. Е. Вавжак [Вступительная статья] // Польские новости. М.
- Literatura polska // Tradycje i współczesność. Wrocław.
- О повести А. Брауна // Literatura radziecka. Moskwa. № 1.
- Я. Бохеньский // Краткая литературная энциклопедия. Т. 9.
- Р. Братный // Там же.
- Э. Брыль // Там же.

Ю. Ковалец // Там же.

К. Филипович // Там же.

Б. Ф. Стахеев // Там же.

Я. Торчалович. Л. Шенвальд // Современная художественная литература за рубежом. М. № 1. [Рец.].

Ред.: О партийности литературы. М. Соавт.: С. Шерлаимова.

1979

Становление социалистической литературы в Польше. М. [Монография].

Становление социалистической литературы в Польше. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук.

Польская повесть в 70-е годы // Современная польская повесть. М.

Наш современник // Иностранная литература. № 1.

Не сторониться мира // Там же. № 3.

Общее и особенное // Литературная газета. № 2. 10. I.

О социалистическом реализме // Там же.

Е. Теплиц. Массовая культура и современный человек // Современная художественная литература за рубежом. М. № 5. [Рец.].

1980

Полноводность потока. (Социалистический реализм и художественная практика) // Литературная газета. № 7. 13. II.

Ленин и начало формирования социалистической литературы в Польше // Вопросы литературы. № 4.

О поэзии Т. Ружевича // *Тадеуш Ружевич*. Стихи. М.

Польский рассказ в 70-е годы // Сон-трава. М.

Элевтер. Письма к Фелиции // Современная художественная литература за рубежом. М. № 2. [Рец.].

1981

Некоторые аспекты современной деревенской прозы // Современная литература Чехословакии в контексте литератур европейских социалистических стран. М.

Взглянуть в лицо времени (70-е годы в литературе европейских социалистических стран) // Иностранная литература. № 2.

1982

Духовный мир современника // Дружба народов. № 3. Соавт.: Ю. Богданов, С. Шерлаимова.

Нравственно-философские и экологические проблемы современной деревенской прозы. (Тезисы) // Славянские культуры и мировой культурный процесс. Минск.

Некоторые методологические проблемы изучения современных славянских литератур. (Тезисы) // Узловые вопросы славяноведения. Ужгород.

1983

Традиции романа-эпопеи в современных литературах западных и южных славян // X Международный съезд славистов (в Софии). Славянские литературы. Доклады советской делегации. М. Соавт.: Г. Ильина, С. Шерлаимова.

Поэтический мир Я. Каспровича // *Я. Каспрович. Поэзия*. М.

О современном польском детективном романе // Современный польский детектив. М.

Движение жизни — движение литературы // Литературная газета. № 26. 29.VI.

Творческий диалог // Вопросы литературы. № 8. Соавт.: В. Витт.

Дмитрий Федорович Марков (К 70-летию со дня рождения) // Известия АН СССР. ЛИЯ. Вып. 5.

Poezja walki i nadziei // *Czerwony sztandar*. № 143. Warszawa.

Majakowski i Broniewski // Ibid.

Марксизм, культура, литература // Современная художественная литература за рубежом. М. № 4. [Рец.].

1984

Маяковский и Броневский // В мире Маяковского. Т. 2. М.

От абстрактного гуманизма к социалистическому // Советское славяноведение. № 4.

Znaczenie tradycji literatury socjalistycznej dla współczesnego etapu jej rozwoju // Teoretyczne problemy budownictwa socjalistycznego. Wrocław.

Юлиан Ковалец [Вступительная статья] // *Юлиан Ковалец. Свадебный марш*. М.

1985

Ю. Ковалец и некоторые проблемы польской деревенской прозы // Проблемы развития литератур европейских социалистических стран. М.

Литература в период строительства развитого социалистического общества // Там же. Соавт.: Ю. Богданов, С. Шерлаимова.

[То же — Общественные науки. 1986. № 1.]

Современная документально-художественная литература о периоде войны (на материале польской и болгарской прозы) // Современная болгарская проза и литературы европейских социалистических стран. М.

- Путь творческих исканий // Сравнительно-историческое изучение и теоретические вопросы развития современных литератур. М.
- Зеркало борьбы с фашизмом // Январское наступление. М.
- Z historii polskiej krytyki marksistowskiej // Polonistyka radziecka. PWN. Warszawa.
- Ewolucja ideowo-artystyczna w literaturze polskiej // Ibid.
- Роман о польской судьбе // Иностранная литература. № 9.
- Ред.: Г. Я. Ильина. Развитие югославского романа в 20–30-е годы XX в. М.

1986

- Проблема традиции в истории литературы европейских социалистических стран после 1945 г. // Современные литературы европейских социалистических стран 1945–1980. Историография, периодизация, методологии исследования. М.
- Значение традиций социалистической литературы на современном этапе ее развития // Теоретические проблемы строительства социализма. М.
- Теоретические проблемы социалистического реализма // Критика немарксистских концепций социализма. М.
- О польской литературе 80-х гг. // Иностранная литература. № 2.
- Т. Брежа. Стены Иерихона // Там же. № 4.
- За общественно активную социалистическую литературу и критику // В. Навроцкий. Класс, идеология, литература. М.
- О творчестве Б. Чешко // Б. Чешко. Избранное. М.
- Современные польские повести // Польские повести. М.
- О поэзии В. Броневского // Владислав Броневский. Стихи. М.
- В. Броневский. Дневник 1918–1922 // Современная художественная литература за рубежом. М. № 1.
- Съвремената документално-художествена литература за военния период // Съвремената българска проза и европейските социалистически литератури. БАН. София.
- Последняя книга Е. Эдигей // Е. Эдигей. Идея в семь миллионов. М.
- Теоретические проблемы социалистического реализма и критика их буржуазных толкований // Krytyka niemarksistowskich koncepcji socjalizmu. Wrocław.
- К вопросу о литературных влияниях и литературной типологии // Metodologiczne problemy historii badań nad polsko-rosyjskimi związkami literackimi. Szczecin.
- Julian Kawalec und einige Probleme der polnischen Dorfproza // Literatur im Wandel. Entwicklungen in europäischen sozialistischen Ländern 1944/45–1980. Berlin.

Literatur in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Einführung // Ibid.
Соавт.: Ю. Богданов, С. Шерлаимова.

Ред.: В. Навроцкий. Класс, идеология, литература. М.

1987

По пути реализма // Выбор пути. Литература европейских социалистических стран в первые послевоенные годы. М.

Эссенстика Я. Ивашкевича // Я. Ивашкевич. Статьи, эссе, портреты. М.

О романах Е. Эдигея // Э. Эдигей. Внезапная смерть игрока. М.

Wladislaw Broniewski — poeta rewolucji // Literatura radziecka. № 7.

Польская литература (общая статья, заметки о польских писателях) // Литературный энциклопедический словарь. М.

Ред.: Н. А. Богомолова. Польские и русские поэты XX века. Творческие связи. Аналогии. Художественный перевод. М.

Ред.: Выбор пути. Литература социалистических стран в первые послевоенные годы. М.

1988

Исследователь содружества братских литератур // Б. Бялокозович. Родственность, преемственность, современность. М.

Класс, идеология, литература // Общественные науки. Реф. сб. ИНИОН. М.

Новые тенденции в польской прозе 80-х гг. // Литература европейских социалистических стран в 70–80-е годы. (Материалы Международной конференции. Москва, 12–14 апр. 1988 г.) М.

Комментарии // Братство по оружию. М.

Ред.: Б. Бялокозович. Родственность, преемственность, современность. М.

1989

Октябрьская революция и развитие литературной мысли в Польше в 20–30-е годы // Октябрьская революция и новая концепция литературы. К истории марксистской литературной критики европейских социалистических стран. М.

Гуманизм в литературе // Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные связи в XX веке. М.

Ред.: Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные связи в XX веке. М.

1990

Путешествие в Италию современных польских писателей // Италия и славянский мир. Тезисы докладов. ИСБ РАН. М.

Proza fikcji i proza faktu // Materiały konferencji. Tarnobrzeg.

1991

Опольской эссенстке 50–60-х годов XX века // *Studia slavica*. Языкознание. Литературоведение. История. История науки. К 80-летию С. Б. Бернштейна. М.

Польский роман XX в. и творчество З. Налковской // Зофье Налковской посвящается... Минск.

1993

Die Rolle des Kulturklischees in der Geschichte // *Polen und Deutschland*. Düsseldorf.

«Бунт масс» в «Сапожниках» С. И. Виткевича // Литературный авангард. Особенности развития. М.

Ред.: XI Международный съезд славистов (Братислава). Славянские литературы. Доклады российской делегации. М.

1994

Под знаком гротеска (о творчестве С. Мрожека) // История культуры и поэтика. М.

Польская литература 1890–1917 // История всемирной литературы. Т. 8. М. Соавт.: В. Витт.

1995

Польская литература 1945–1970 // История литератур Восточной Европы после второй мировой войны. Т. 1. 1945–1960. М.

Теория и практика социалистического реализма и польская литература // Знакомый незнакомец. Социалистический реализм как историко-культурная проблема. М.

Подзнакомэссеизма (О современной польской прозе) // *Славяноведение*. № 5.

Об истоках и развитии этнических стереотипов // Польская мова і література у кантэксце славянских культур. Гродна.

Белорусские мотивы в творчестве Т. Конвицкого // Узаємодзянне літаратур і моу (на прыкладзе беларуска-польска-рускіх сувязей). Гродна.

Ред.: История литератур Восточной Европы после второй мировой войны. Т. 1. 1945–1960. М.

1996

О стереотипе и убеждении в литературе // Путь романтический совершил... Памяти Б. Ф. Стахеева. М.

Изучение литератур стран Центральной и Юго-Восточной Европы // Институт славяноведения и балканистики. 50 лет. М.

Ред.: Путь романтический совершил... Памяти Б. Ф. Стахеева. М.

1997

Temat polski i jego interpretacja w rosyjskiej literaturze XX w. // Dzieje najnowsze. Warszawa. № 1.

«Если бы все были такими»... Польская тема в российской словесности XX в. // Вышгород. Таллинн.

1998

Стереотип поляка в русской литературе XX в. // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. М.

Znowu o balladach Mickiewicza w tłumaczeniu Puszkina // Przegląd Humanistyczny. Warszawa. № 1.

Stereotypy etniczne a badanie polsko-rosyjskich związków literackich // Ibid. № 4.

Adam Mickiewicz w twórczości W. Broniewskiego // Ibid. № 5/6.

1999

Ян Каспрович в русской критике и переводах // Jan Kasprowicz. W 70-lecie śmierci. Olsztyn.

Вновь о балладах Мицкевича в переводах Пушкина // Славянский альманах 1998. М.

Польское восстание 1830 г. и утверждение негативного стереотипа поляка в русской литературе // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. М.

Ред.: Ю. А. Лыбынцева, Л. Л. Щавинская. Белорусско-украинско-русская православная книжность. М.

2000

Достижения и потери польской прозы второго круга обращения // Политика и поэтика. М.

Имагология и изучение русско-польских литературных связей // Поляки и русские в глазах друг друга. М.

Роль польского восстания 1830 г. в утверждении негативного образа Польши в русской литературе // Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М.

Польское восстание 1830 г. и развитие стереотипа восприятия Польши в русской литературе // Polacy a Rosjanie. Warszawa.

Польша в русской поэзии после 1917 г. // «Кто мы в современном мире». М.

Пушкин и славянские литературы // Славянский альманах 1999. М.

Вновь о балладах Мицкевича в переводах Пушкина // А. Пушкин и мир славянской культуры. ИСЛ РАН. М.

[То же — Адам Мицкевич і сусветная культура. Siedlce.]

[То же в сокращенном варианте — Остафьевский сборник. М. Вып. 6.]

А. Мицкевич в творчестве В. Броневского // Славянские народы: общность истории и культуры. М.

Памяти Зб. Ярославского // Славяноведение. № 3.

Поэзия А. Мицкевича. Составление, предисловие. Комментарий // *Адам Мицкевич*. Избранная поэзия. Библиотека славянской литературы. М.

Ingerencja ZSRR w życie kulturalne Polski (1944–1953) // *Napis*. Ser. VI. Warszawa.

Поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод» и Ф. Прешерна «Крещение у Савицы» // Пушкин/Прешерн. К 200-летию со дня рождения двух великих поэтов. Тезисы докладов Международной конференции. М.

Ред.: Поляки и русские в глазах друг друга. М.

Ред.: *И. Е. Адельгейм*. Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка. М.

Ред.: Институт славяноведения 1999–2000. Справочник. М.

2001

Польская литература // История литератур Восточной Европы после второй мировой войны. Т. 2. 1970–1980-е гг. М.

Polonistyka w Instytucie słowianoznawstwa PAN // *Polonistyka na świecie*. Pierwszy kongres polonistyki zagranicznej. Warszawa.

«Краковский авангард». «Молодая Польша». «Скамандр». «Квадрига». «Чартак» // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.

Константы Ильдэфонс Галчиньский и русская поэзия // *Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych*. Warszawa.

Поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод» и Ф. Прешерна «Крещение у Савицы» // F. Prešern–A. S. Puškin (of 200–letnici ujuneja rojstva). Ljubljana, 2001.

W. Broniewski i Rosja. Nieznane listy i inne archiwalia // *Przegląd Humanistyczny*. Warszawa. № 6. Соавт.: Т. Агапкина.

Литература «человеческого документа». Польский опыт 60–90-х годов. Тезисы // Центральная и Юго-Восточная Европа: литературные итоги XX века. М.

Ред.: История литератур Восточной Европы после второй мировой войны. Т. 2. 1970–1980-е гг. М.

В печати

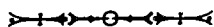
Posko-białoruskie pogranicze w twórczości T. Konwického. (Warszawa).

Польско-белорусское пограничье в творчестве Т. Конвицкого. (Гродно).

Варшавский позитивизм в оценке русской критики XIX — начала XX вв. (Warszawa).

Культура стран Восточной Европы в XX веке // *History of Humanity*. Paris. Vol. 7. Соавт.: А. Стыкалин.

История



Б. Н. Флоря

О РУССКОЙ КАНДИДАТУРЕ НА ЭЛЕКЦИИ 1668–1669 гг.

Одной из характерных черт русско-польских отношений второй половины XVI — XVII в. было то, что в ходе развития контактов время от времени поднимался вопрос об избрании одного из членов московского правящего дома на польский трон. В польской исторической литературе неоднократно обращалось внимание на то, что во время бескоролья 1668–1669 гг. после отречения короля Яна Казимира в числе возможных кандидатов на трон фигурировал царевич Алексей Алексеевич, старший сын царя Алексея Михайловича. Вопрос об отношении дворянства Польско-Литовского государства к такой перспективе был подробно рассмотрен в исследовании польского историка З. Вуйчика¹.

Проанализировав донесения ряда иностранных дипломатов, находившихся в это время в Польше, исследователь установил, что, по их общему убеждению, большое количество сторонников избрания царевича было на территории Великого княжества Литовского, в некоторых сообщениях упоминались также Великая Польша и Русское воеводство. Возможность выбора царевича воспринималась этими дипломатами как вполне реальная перспектива. Французский посол даже выдвигал планы объединения усилий целого ряда государств, чтобы предотвратить такую опасность². О существовании сторонников царевича не только в Великом княжестве Литовском, но и в Польше, свидетельствуют также появившиеся во время бескоролья сочинения, поддерживавшие его кандидатуру³.

Если такие брошюры еще до появления работы З. Вуйчика упоминались в исследованиях, посвященных бескоролью 1668–1669 гг., то этому исследователю удалось обнаружить текст прямого обращения сторонников московской кандидатуры к царю Алексею Михайловичу — «Przestroga pewna». Эта находка показала, что сторонники этой кандидатуры не ограничивались выражением своих симпатий к ней, но и решились на определенные шаги, чтобы содействовать успеху своего кандидата. Документ этот имел весьма своеобразный харак-

тер. Объявляя себя истинными сторонниками царя, его авторы предостерегали Алексея Михайловича против тех магнатов Речи Посполитой, которые выдают себя за его сторонников и обещают возвести на трон его сына. В действительности они поступают так, лишь не желая утратить своей популярности у шляхты, и делают все, чтобы помешать выбору царевича, так как на деле они сторонники избрания французского принца Конде. Когда царь направит своих послов на элекционный сейм, им следует искать контактов с истинными, а не с фальшивыми сторонниками⁴. Оценив этот документ как очень интересный, исследователь честно констатировал, что не в состоянии ни определить авторов письма, ни установить, каковы были их истинные цели. З. Вуйцик полагал, что знакомство с текстом документа побудило Алексея Михайловича отказаться от борьбы за польскую корону⁵. Однако, это лишь предположение исследователя. В его руках была лишь копия письма, сохранившаяся в одном из польских архивов, и у него не было никаких доказательств того, что оно действительно было послано царю.

Обращение к документам этого времени, отложившимся в архиве Посольского приказа, дает возможность существенно пополнить наблюдения польского исследователя и внести некоторые поправки в нарисованную им картину.

Во-первых, среди этих материалов сохранились записи слухов о сторонниках кандидатуры царевича в Речи Посполитой, которые рисуют картину, лишь частично совпадающую с той, которую нарисовал З. Вуйцик на основе изучения донесений иностранных дипломатов. Правда, и в этих слухах Великое княжество Литовское выступает как регион, где симпатии к кандидатуре царевича особенно сильны. В некоторых записях слухов упоминаются сторонники царевича в регионах, которые не упоминаются в донесениях иностранных дипломатов, таких как Подлясье, Волынь, а Великая Польша, напротив, фигурирует как область, в которой нет сторонников этого кандидата⁶. Эти сообщения, как и донесения дипломатов, не содержат каких-либо конкретных подробностей. На этом фоне выделяется относящееся к началу 1669 г. сообщение об оршанском сеймике. Здесь выбрали «шляхты семдесят человек на олекцию и на том меж себя постановили, что им бити челом всею Речью Посполитою великому государю... чтобы великий государь пожаловал, велел быть на королевстве сыну своему»⁷.

Еще раньше, летом 1668 г., полоцкий подвоевода Щит сообщал русскому гонцу А. Карандееву, что избравшая его послом на сейм полоцкая шляхта поручила ему поддерживать кандидатуру царевича в случае отречения Яна Казимира⁸. Но этими двумя свидетельства-

ми и ограничиваются наши сведения об организованных действиях шляхтичей — сторонников русского кандидата.

Особый интерес документы, отложившиеся в архиве Посольского приказа, представляют потому, что они содержат материалы о попытках сторонников царевича вступить в контакты с русскими правящими кругами, чтобы побудить их к активному вступлению в предвыборную борьбу.

В этой роли стремились выступать лица разного общественного положения, в том числе и простые шляхтичи. Так, в начале лета 1668 г. прислал в Смоленск свое «письмо» оршанский шляхтич М. Неклюд. Призывая царя направить в Речь Посполитую своих послов, он советовал доказывать, что царевич может «славою отца своего и грозными всем монархам войсками воздвигнути Коруну Польскую и войску заплатить может, не отягчая отчизны, как ныне деетца». Такие обещания могли бы, в частности, привлечь на сторону царевича литовское войско⁹.

Свои советы давал тогда же и мстиславский шляхтич Павел Сливовский. Он советовал царю прислать послов на сейм и предлагал сообщить имена сенаторов, которым следовало дать подарки, чтобы они не поддерживали других кандидатов¹⁰.

Особенную активность развил мазур, «королевский дворянин» Самуил Гжибовский. 8 апреля 1668 г. он посетил в Варшаве русских посланников И. Акинфова и Я. Поздышева. Заверяя их в симпатиях мазовецкой шляхты к царевичу, он советовал царю прислать в Речь Посполитую послов «с полною мочью» на сейм, где состоится отречение Яна Казимира, и послов из поветов «обнадежить... своею государскою милостью»¹¹. Летом он вручил русскому гонцу М. Гольцову обширное «письмо» с подробными советами, как русские послы должны себя вести¹².

Но предлагали свое содействие и лица гораздо более высокого общественного положения. В октябре 1668 г. в Смоленск было доставлено «письмо» крайнего Великого княжества Литовского кн. М. Огинского, что он и «дом его» хотят поддерживать на выборах кандидатуру царевича, а вместе с ними предлагают свое содействие царю первый светский сенатор Великого княжества — виленский воевода Ян Глебович и Казимир Сапега, подскарбий надворный «с домом своим»¹³. Хорошо, чтобы царь сообщил им о своих желаниях до того, как начнутся выборы¹⁴.

Но особенно пастойчиво побуждала русские правящие круги к активным действиям в поддержку кандидатуры царевича наиболее влиятельная магнатская группировка Великого княжества Литовского, во главе которой стояли канцлер К. Пац и великий гетман М. Пац.

Важные сведения о начале этих контактов ввел в научный оборот уже после выхода в свет его книги З. Вуйцик¹⁵. В марте 1668 г. при посещении гетмана русским гонцом С. Полковым гетманский писарь Ян Козловский от имени гетмана сообщил гонцу, что французы и шведы, а также ряд сенаторов и шляхта Великой Польши желают «гвалты, войсками» посадить на трон герцога Нейбургского. В отличие от них примас, сенаторы, Литва и «воеводства все Руские по Вислу реку» хотят видеть на троне царевича Алексея Михайловича. Гетман предлагал прислать на сейм послов, которые официально бы предложили кандидатуру царевича, и просил «войска свои послать на Лифлянты», чтобы помешать планам сторонников Конде с помощью Франции и ее союзников совершить военный переворот в Речи Посполитой¹⁶.

Следующий важный шаг был предпринят в апреле 1668 г. после приезда в Варшаву русских посланников И. Акинфова и Я. Поздышева. 3 апреля от имени канцлера К. Паца с ними беседовал референдарий Великого княжества Литовского Киприан Павел Бжостовский. Он сообщил, что благодаря усилиям канцлера многие коронные и литовские сенаторы готовы поддержать на выборах кандидатуру царевича. Царь должен направить послов на сейм, чтобы официально выставить эту кандидатуру. Он просил посланников передать царю ряд пожеланий сенаторов, касавшихся и внутривполитических, и международных вопросов (в частности, отмечалось, что «с цесарем римским совет надобно иметь и ласка к нему держать большая»). Появление таких пожеланий — явное свидетельство того, что к этому времени определенно начался процесс формирования промосковской группировки в политической элите Речи Посполитой. Была повторена просьба выслать русские войска на границу, а «которые, де, люди царскому величеству радетьельны, а услышат, что царского величества войска на границах есть, и они будут надежные»¹⁷.

Так как никакого ответа на это обращение не последовало, гетман М. Пац, встретившись 28 июня близ Вильно с русским гонцом М. Гольцовым, настоятельно просил его передать руководителю Посольского приказа А. Л. Ордину-Нащокину, чтобы царь «указал своим... великим послом быти на сейм в Варшаву». Одновременно он просил выслать русские войска на границу со Швецией¹⁸.

К этому времени центр контактов переместился на территорию Курляндии, куда направился для трехсторонних русско-польско-шведских переговоров по вопросам торговли глава Посольского приказа А. Л. Ордин-Нащокин. Воспользовавшись приездом к нему в июле 1668 г. гонца И. Талызина для переговоров о взаимодействии двух государств на Украине, гетман послал с ним к Афанасию Лаврентьевичу «пункты» — условия, которые сторонники царевича хотели бы

предложить царевичу и его отцу, — проект из 10 статей¹⁹. Само появление этих условий говорит о том, что к этому времени процесс формирования лагеря сторонников царя в Речи Посполитой зашел достаточно далеко. Знакомство с «пунктами» показывает, что и в поддержке своего кандидата его сторонники готовы были пойти достаточно далеко. «Пункты» заканчивались просьбой выслать войска — одно «от Лифлянт шведских», а другое во главе с царевичем — на Украину, «чтоб противную сторону победить».

Отсутствие реакции на «пункты» не положило конец контактам. В конце сентября, беседуя с ехавшим в Варшаву резидентом В. Тяпкиным, гетман М. Пац выражал озабоченность тем, что не получает ответа на переданные предложения из Москвы, настойчиво советовал выслать послов на конвокационный сейм с «обетницами, подарками», и снова предлагал царю послать войска на границу²⁰.

В октябре посланец гетмана В. Зембицкий снова пытался добиться у А. Л. Ордина-Нащокина, «мочно ли на тех статьях, что на обирание, ведая с твоеи, великого государя, стороны, намерение к подлинному делу постановить»²¹. Когда гонец не смог добиться ответа, русского канцлера посетил гонец литовского канцлера К. Паца, подстольный жмудский. От имени канцлера и других сенаторов он требовал ясного ответа, «изволит ли великий государь» сына своего «с Москвы в Польшу отпустить и короною венчати» и готов ли он одобрить условия, предложенные избирателями. Если ответ будет положительным, пояснял гонец, «и они, де, на нынешней конвакации в крепость положат» и на элекции будут отстаивать кандидатуру царевича.

Этому гонцу наконец удалось добиться ответа. А. Л. Ордин-Нащокин заявил, что в вопросе о выборах польского монарха царь полагается на волю Бога, и он готов поддерживать дружеские отношения с любым, кого Речь Посполитая признает достойным польского трона²². Это был вежливый отказ. После этого Пацы вступили в переговоры с проавстрийским кандидатом Карлом Лотарингским, заключив в декабре 1668 г. соглашение о поддержке его кандидатуры на выборах²³. Однако, как представляется, еще и в начале 1669 г. эта магнатская группировка не исключала для себя возможности поддержать кандидатуру царя на выборах, если царь пересмотрит свои решения. Характерно, что текст «Перестроги», о котором шла речь в начале статьи, прислал в Рославль в конце марта 1669 г. «Микулая Паца писар Иван Прокоповичь»²⁴.

Хотя со стороны Речи Посполитой в официальных контактах участвовали только представители Литвы, это не значит, что эта группировка не имела в своем составе влиятельных политиков из Польши. Характерно, что еще в апреле, беседа с И. Акинфовым и Я. Поздыше-

вым, Киприан Павел Бжостовский назвал в числе сенаторов, на поддержку которых царь мог бы рассчитывать, подканцлера коронного Анджея Ольшовского и люблинского воеводу Яна Рея. Он советовал посланникам встретиться с ними «и великого государя милостью их ободрить». Очевидно следуя этому совету, посланники посетили Ольшовского и поднесли ему «сорок соболей доброй»²⁵. Позднее, сообщая царю о переговорах в Варшаве, А. Л. Ордин-Нащокин писал, что переданные посланникам пожелания референдарий составил, «говоря с канцлеры»²⁶. Так как великий канцлер коронный Ян Лециньский был последовательным противником выбора царевича²⁷, то наиболее вероятно, что референдарий беседовал с К. Пацем и А. Ольшовским.

Появление в ходе переговоров с Пацами имени Ольшовского представляется совсем не случайным, если учесть, что на состоявшихся позднее выборах они совместно стояли во главе группировки, обеспечившей победу Михаила Вишневецкого. Кандидатом Пацев и Ольшовского король Михаил, как видим, стал потому, что царь Алексей Михайлович не захотел выдвигать на выборах кандидатуру своего сына. Причина этого становится ясной, если ознакомиться с условиями, которые предлагали ему избиратели. Условия эти предусматривали не только переход царевича в католицизм и его отказ от каких-либо прав на русский трон, но и возвращение Речи Посполитой всех земель, утраченных ею в войне 1654–1666 гг. Эти условия были для русской стороны совершенно неприемлемы²⁸, и, как представляется, именно знакомство с ними привело к решению не принимать участия в элекции.

Для развития отношений между Россией и Речью Посполитой описанный эпизод значения не имел. Однако тот факт, что в Речи Посполитой сразу после окончания длительной и тяжелой войны с Россией обнаружился широкий круг людей (от простых шляхтичей до могущественных магнатов), выдвинувших кандидатуру царевича на польский трон и готовых поддерживать своего кандидата даже вооруженной рукой, должен быть принят во внимание при оценке характера отношений между русским и польско-литовским обществом того времени. При наличии глубокого взаимного антагонизма между ними подобное вряд ли было возможно.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Wójcik Z. Między traktatem Andruszowskim a wojną turecką. Stosunki polsko-rosyjskie 1667–1672. Warszawa, 1968. Roz. IV.*

² *Wójcik Z. Op. cit. S. 139–142.*

- 3 Подробный разбор главного из них — письма хорунжего заторского Домбского Брыхве хорунжему краковскому — см.: *Wójcik Z.* Op. cit. S. 153–157. Письмо Домбского опубликовано: *Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy.* 1648–1668. Т. 3 (1665–1668). № 157. S. 277–280.
- 4 *Wójcik Z.* Op. cit. S. 143–145.
- 5 *Wójcik Z.* Op. cit. S. 145.
- 6 Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 79 (Сношения России с Польшей). 1668 г. № 1. Л. 212, 282, 288, 302, 345.
- 7 Там же. 1669 г. № 1. Л. 26.
- 8 РГАДА. Ф. 79. 1668 г. № 19. Л. 70.
- 9 РГАДА. Ф. 79. 1668 г. № 1. Л. 132–135.
- 10 Там же. Л. 213.
- 11 РГАДА. Ф. 79. 1668 г. № 3. Л. 254–255.
- 12 Польский оригинал письма: РГАДА. Ф. 79. 1668 г. № 9. Л. 118–120.
- 13 Там же. Л. 213.
- 14 Текст письма см.: Там же. Л. 348.
- 15 *Wójcik Z.* *Pacowie wobec kandydatury rosyjskiej na tron Polski w latach 1668–1669 (Misja Polkowa na Litwie) // Przegląd Historyczny.* 1969. № 1.
- 16 РГАДА. Ф. 79. 1668 г. № 7. Л. 18–19.
- 17 РГАДА. Ф. 79. 1668 г. № 3. Л. 242–247.
- 18 Там же. № 9. Л. 57–58.
- 19 В столбце с материалами курляндской миссии А. Л. Ордина-Нащокина «перевод с полских статей» следует за письмом гетмана от 19 августа н. ст. (РГАДА. Ф. 79. 1668 г. № 10. Л. 366–369). О посылке этих пунктов А. Л. Ордину-Нащокину писарь М. Паца говорил позднее русскому резиденту В. Тяпкину (Там же. Л. 476).
- 20 Там же. Л. 476–478 (беседы с писарем Яном Козловским). Л. 478–480 (беседы с самим гетманом). Тогда же в сентябре с этим предложением обратились к русскому гонцу в Варшаве А. Карандееву Киприан Павел Бжостовский, оршанский судья И. Комар «и многие шляхта» (РГАДА. Ф. 79. 1668 г. № 19. Л. 80).
- 21 Отписка А. Л. Ордина-Нащокина о переговорах, см.: Там же. Л. 462.
- 22 Там же. Л. 562–564.
- 23 *Wójcik Z.* *Między traktatem...* S. 141.
- 24 РГАДА. Ф. 79. 1669 г. № 1. Л. 63. Перевод «Перестороги» («Остерегательство желанное») см.: Там же. Л. 64–68.
- 25 РГАДА. Ф. 79. 1668 г. № 3. Л. 237–239.
- 26 РГАДА. Ф. 79. 1668 г. № 10. Л. 462.
- 27 *Wójcik Z.* *Między traktatem...* S. 155.
- 28 А. Л. Ордин-Нащокин писал царю: «А вдатца, государь, в то обирание, страшно и мыслить, сколько из Великие России Королевству Польскому будет дать» (РГАДА. Ф. 79. 1668 г. № 10. Л. 360).

**ВОПРОС О ГРАНИЦЕ И ВЫДАЧЕ БЕГЛЫХ КРЕСТЬЯН
В РУССКО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 1764–1766 гг.**

Начало правления Станислава Августа, избранного в сентябре 1764 г. польским королем, открывало, по мнению Петербурга, путь к реализации планов в отношении Речи Посполитой, которые вынашивались Екатериной II и ее ближайшими советниками по польским делам Н. И. Паниным и Г. Кейзерлингом еще во время бескорольевья и были изложены в Общем наставлении Г. Кейзерлингу и Н. В. Репнину в ноябре 1763 г. Деятельность русской дипломатии в вопросе о делимитации русско-польской границы и в деле возвращения в Россию бежавших оттуда в пределы Речи Посполитой крепостных крестьян проливает свет на действительные цели русской политики в Польше до времени сейма 1766 г.

I

«Земли наши с поляками остаются не разграниченными», — говорилось в общем наставлении Г. Кейзерлингу и Н. В. Репнину. Там же отмечалось, что, вопреки Вечному миру 1686 г., 988 кв. верст российской территории оставались в польском владении, что одиннадцать городов ниже Киева, признанных по договору спорными и поэтому не подлежавшими заселению, были позже вновь заняты поляками и населены преимущественно беглецами из России, которые нападали на русскую территорию, чиня там «убийства и разбои»¹.

Проблема границы с Польшей и пресечения крестьянских побегов отнюдь не была случайной в польской политике Екатерины II, тем более она не рассматривалась в Петербурге только в качестве повода для дипломатических претензий, как это было в случае с признанием императорского титула царицы. В основе требований, обращенных к Польше, были, во-первых, соображения военно-стратегического порядка. С 1731 по 1738 г. правительство России предприняло строительство Украинской укрепленной линии, которая была проведена к югу от Белгородской и тянулась на 430 км от Донца до Днепра в месте впадения в него реки Псёл. Для ее постройки ежегодно сгоняли десятки тысяч украинских крестьян и казаков. В царствование Елизаветы Петровны, в 50-е гг. XVIII в., были образованы Новосербское и Славяносербское военные поселения с крепостями св. Елизаветы, Бахмут и св. Константина. В 1770 г. уже в ходе Рус-

ско-турецкой войны была построена Днепровская линия. От Днепра она шла к Азовскому морю по рекам Берде и Конским Водам². Главная задача при этом заключалась в создании укрепленного рубежа на границах крымских и турецких владений. Однако не следует забывать, что правый фланг русских укреплений упирался в польскую границу, что обеспечивало присутствие здесь военных сил России, которые в случае нужды могли быть использованы не только против Турции, но и Польши, как это было с украинским корпусом в 1764 г. Определение точного прохождения российско-польской границы было необходимо для планирования военных операций Петербурга как против Крыма и Турции, так и в районах польско-турецкого пограничья, а также для строительства там укреплений.

Помимо соображений военного характера, проблема установления точной российско-польской границы и ее укрепления диктовалась необходимостью пресечения бегства из России крепостных крестьян и возврата беглецов из пределов Польши. Борьба с крестьянскими побегам названа в числе первоочередных задач в Общем наставлении Г. Кейзерлингу и Н. В. Репнину не случайно, ибо на протяжении всей истории крепостничества в России она являлась одним из главных вопросов внутренней политики самодержавия, а в XVIII в. приобрела исключительное значение. Это положение было детально обосновано в историографии³.

Многokrатно возросшие феодальные повинности, в том числе и государственные, административный произвол и помещичий гнет, бремя подушной подати и рекрутчины при полном бесправии крепостных крестьян в России не оставляли им другого способа защиты, кроме побегов и восстаний. Размах крестьянских волнений в XVIII в. и крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева, угроза повторения которой в течение последующего столетия повергала в ужас русское дворянство и правительство, — все это свидетельствовало о наивысшей степени социальных противоречий в стране в 50–60-е гг. XVIII в. и об особом значении проблемы беглых не только во внутренней, но и во внешней политике, в особенности в отношении Польши.

Бегство крестьян в Польшу в течение всего XVIII в. приобрело поистине массовый характер. Юридически сословный статус русских крепостных крестьян мало чем отличался от положения их польских собратьев в шляхетских и магнатских владениях Речи Посполитой. Однако освобождение феодальных владений польского дворянства от государственных налогов и повинностей существенно облегчало экономическое и сословное положение крепостных в Польше в сравнении с Россией, что и подталкивало русских крестьян к бегству в пределы шляхетской республики, хотя иногда имело место и обратное движение.

Российское законодательство предусматривало за побег жестокие наказания, «посылку скрытно воинских команд» в Польшу для захвата и возвращения беглых. Нередко подобные экспедиции предпринимали и сами помещики. Однако военно-полицейские меры не давали результата, и правительство прибегало к вынужденному «прощению» беглецов при условии их возвращения в Россию. Причем сроки для этого постоянно продлевались: до января 1757 г., до июля 1758 г., до января 1760 г., до сентября 1761 г., до мая 1762 г., до января 1763 г. и т. д. Указы грозили, что невозвратившиеся будут наказаны как изменники и сосланы на каторгу⁴. С этой точки зрения законодательство и практика екатерининского времени ничем не отличались от первой половины XVIII в.

Повышенное внимание к проблеме побегов крестьян в Польшу в 60-е гг. XVIII в. было продиктовано, во-первых, потребностями упорядочения государственных финансов и сбора подушной подати, во-вторых, связанным с этим проведением третьей ревизии и, в-третьих, требованиями дворянства о возврате беглых, что, в частности, нашло выражение в наказах в Уложенную комиссию 1767–1768 гг. и прозвучало в ходе ее работы. Жалобы на бегство крепостных крестьян в Польшу звучали в наказах дворян всех уездов, более или менее близких к границе⁵. По словам дворян Смоленской губернии, только оттуда за рубеж бежало более 50 тыс. душ обоего пола, а по самым приблизительным оценкам общее число беглецов было никак не меньше 120 тыс. душ мужского пола. Несмотря на все меры правительства, вплоть до поселения возвращенных беглецов в Сибири, побегы крепостных в Польшу продолжались. Весной 1763 г. помещичьи крестьяне Псковской провинции «не малым числом» ушли в Литву и там, соединившись «в большие партии», переходили обратно на русскую сторону, но не для возвращения на родину, а чтобы громить имения своих прежних помещиков. В том же году из Новгородской губернии ушло за польский рубеж около ста семей числом до 500 человек. В 1766 г. бежало из Петербургской губернии более 40 крестьян кн. Трубецкого, которые увезли с собой все пожитки, скот и хлеб. Сразу за границей их ожидали бежавшие крестьяне помещика Ганнибала. Всего там собралось более 50 семей, которые затем ушли вглубь страны⁶.

Побеги в Польшу облегчались еще и неукрепленностью границы. Караульные будки отстояли одна от другой на расстояние 7–10 верст, граница охранялась инвалидами, по словам одного из дворянских наказов, «не имевшими движения». Так что беглецы свободно преодолевали границу, а погоню, посылаемую помещиками, нередко задерживали караулы. Таким образом, вопрос о беглых непосредственно связывался с проблемой определения и укрепления границы⁷,

чего также требовали дворяне в своих наказах в Уложенную комиссию. Наиболее подробно об этом говорится в наказе дворян Пусторжевского уезда Новгородской губернии⁸. Наряду с требованием вернуть всех беглых силой дворяне предлагали установить на границе большие засеки, а на расстоянии 2,5 версты построить редуты, укрепленные валом и рвами. Подобным образом высказались дворяне и других уездов пограничных губерний.

Проблема возвращения беглых и укрепления границы в дворянских наказах связывалась тесным образом с вопросом об упорядочении дворянского землевладения. О нехватке земли, например, говорилось в наказе Бельского уезда Смоленской губернии⁹. Причем нередко эта тема поднималась в связи с захватами поляками земель русских помещиков. Дворяне Опочского уезда Псковской провинции писали, что «от владения российской земли поляков отвратить не можно»¹⁰. О том же писали уже упомянутые дворяне Рославльского уезда: «По нашей же пограничности есть и такие дела, что многим за службы пожалованы выморочные пустоши и деревни... а потом, спустя несколько лет, тех выморочных фамилий якобы однофамильцы, выезжая из-за польского рубежа, просят в судебных местах о тех розданных деревнях и пустошах и, не получа себе дач, продают в сильные руки, и те покупщики отнимают у бедных безвинно»¹¹.

В связи с содержанием дворянских наказов возникает вопрос о степени влияния на него высших правительственных кругов. К сожалению, ответить на него можно только гипотетически. С одной стороны, известно, что многие из представителей высшей военной и гражданской бюрократии России участвовали в составлении наказов. Однако для наказов пограничных губерний это нехарактерно. Среди подписавших указы дворян представители высшей знати присутствуют только в Санкт-Петербургской губернии (И. Голенищев-Кутузов, К. Сиверс, Ф. Олсуфьев). В Смоленской губернии депутатом Уложенной комиссии от Вяземского уезда был избран И. Г. Орлов, однако в весьма пространным наказе, данном ему дворянством, антипольские требования отсутствовали¹². С другой стороны, содержащееся почти во всех наказах требование возвращения из Польши беглых крестьян текстуально совпадало с манифестами по этому вопросу¹³ и, следовательно, не могло не обойтись без правительственного влияния. Поэтому можно сделать вывод, что сформулированные дворянством требования о пресечении крестьянских побегов, укреплении границы и возвращении якобы захваченных поляками помещичьих земель исходили непосредственно от большинства служилого дворянства. Причем требования эти были достаточно прочно связаны в сознании дворян с потребностью укрепления их фунда-

ментальных сословных прав на землю и крестьян и со стремлением к дальнейшей экспансии помещичьего землевладения, что вполне соответствовало кардинальному направлению внутренней и внешней политики правительства Екатерины II.

Поэтому вынесение вопроса о беглых на первый план в отношениях Петербурга и Варшавы после избрания Станислава Августа никак не являлось для русского правительства лишь формальной дипломатической претензией. Помимо всех указанных оснований, оно преследовало и еще одну немаловажную цель: сделать польскую политику Екатерины II понятной для дворянства, связав ее в сознании помещиков с их непосредственными интересами как владельцев земли и крепостных, продемонстрировать им, что политика правительства в Польше призвана укрепить дворянское землевладение и крепостное право в России, а также создать более благоприятные условия для экспансии помещичьего землевладения на запад.

II

Во многом с решением этой задачи были связаны требования Екатерины II в области делимитации российско-польской границы. Почти сразу после окончания элекционного сейма из Петербурга в Варшаву последовали инструкции с требованием решения пограничных вопросов. В рескрипте № 54 от 5 октября/24 сентября 1764 г. говорилось: «Не исполненное по сию пору с того давнего времени разграничение взаимных земель, от коего столь много происходит взаимных споров; прием и удерживание наших беглых, вопреки точному постановлению трактата Вечного мира... и напоследок, худое учреждение пограничных комиссий, от которого взаимные в соседстве жители остаются от большей части без правосудия, суть такие объекты, кои заслуживают все наше примечание и потому ревнительнейшее наше попечение»¹⁴. В дополнение к рескрипту Н. И. Панин писал Н. В. Репнину 24/13 октября 1764 г., что после избрания короля следует иметь в виду другой вопрос, «который равномерно вашего попечения требовать будет», то есть вопрос о границе, в связи с чем шеф русской внешней политики советовал послу изучить карты и другие документы для аргументированной дискуссии с поляками. При этом в депеше Панина указывался и желательный для Петербурга способ разрешения пограничных проблем. «Я полагаю, — писал он, — да инако нам и желать неудобно, что при определенных ныне ваших конференциях с польскими комиссарами вы другого о том не положите, как соглашение с обеих сторон на определение особой комиссии для рассмотрения и решения границ с их претензиями, касающимися как до завладения земель, так и до содержания наших

беглецов, ибо непосредственное министерское окончание дел такого рода всегда подвергнуто быть должно многим неудобствам; причем я довольно вам рекомендовать не могу, чтоб исходатайствовать вышепомянутой комиссии от сейма такую полную мочь, которая ее положению могла дать всю силу закона, если б не одна собою, то по последней мере под апробациею только королевскою и сената»¹⁵.

Наконец, 28/17 октября 1764 г., после получения в Петербурге известия о кончине Г. Кейзерлинга, Екатерина II, возлагая обязанности министра на Н. В. Репнина, писала ему: «Мне остается лишь наисильнейше рекомендовать вам дела о диссидентах и о границе, — помните, что и в том и в другом заинтересована моя слава»¹⁶. Таким образом, накануне коронационного сейма Екатерина II дважды подчеркнула особую роль для русской политики пограничного вопроса, сравнив его значение в начале с избранием польского короля, а затем — с диссидентским делом. В письме Н. И. Панина для его разрешения послу поручалось добиваться создания особой комиссии, которая, с одной стороны, по своим полномочиям должна была бы соответствовать административным комиссиям, типа монетной, но, с другой, ее решения должны были бы обладать законодательной силой и могли бы быть утверждены королем и сенатом, минуя сейм. То есть такая комиссия, даже будучи создана по решению сейма, представляла бы собой совершенно новый институт в государственном устройстве Речи Посполитой, хотя в рассуждениях о ее создании Н. И. Панин и ссылаясь туманно на некие «прежние примеры судебных полномочий в актах республики»¹⁷.

Накануне сейма коронации проект Н. И. Панина об образовании пограничной комиссии встретил возражения со стороны «фамилии». Особенно противился ему, как позже писал Н. В. Репнин, канцлер литовский М. Чарторыский. В качестве повода был использован вопрос о действительности договора о Вечном мире 1686 г., который в Варшаве подвергали сомнению и связывали с выполнением Россией условий Нарвского договора 1704 г. Однако, как писал Н. В. Репнин, Станислав Август «твердо уверил» посла, что назначит пограничную комиссию на будущем сейме¹⁸. В этой позиции польского короля проявилось желание не раздражать Петербург своим отказом и вместе с тем еще раз связать вопрос об удовлетворении требований России с ее согласием на продолжение реформ в Польше.

Тем не менее Н. В. Репнин добивался продолжения обсуждения пограничного вопроса. В депеше от 28/17 ноября 1764 г. он сообщал, что конференции об этом с министерством начнутся завтра или послезавтра, при этом посол настаивал на решении пограничного дела исходя только из договора 1686 г.¹⁹. О результатах этого обсуждения

Н. В. Репнин сообщил в Петербург накануне открытия коронационного сейма. По соглашению со Станиславом Августом посол представил ему промеморию (приложенную к депеше), в которой изложил дела, подлежащие, по мнению России, для рассмотрения и принятия на нынешнем сейме. В ней, в частности, был поднят вопрос, чтобы король с советом был уполномочен образовать пограничную комиссию с последующим утверждением ее решений на чрезвычайном сейме. «Возможности не было никакой, — продолжал посол, — и вся головой нация тому противна, чтобы королю или пограничную комиссию совсем уполномочить и дать их учреждениям силу закона. Сим же способом, имея свободу времени (надеясь на доброжелательство короля) уповаю, — писал Репнин, — что все к желаемому концу достигнет (а после легко уже будет решительное всему утверждение сеймом дать)». В заключение посол писал, что назначение пограничной комиссии будет связано с заключением «формального трактата», если его мемориал войдет в конституции коронационного сейма²⁰.

Из депеши Н. В. Репнина следует, что тот согласился сделать весьма существенные уступки в вопросе о пограничной комиссии в сравнении с требованиями, предъявленными в инструкциях из Петербурга. Во-первых, решения пограничной комиссии в этом случае не обладали бы силой закона, а подлежали утверждению сеймом, чего Н. И. Панин намеревался избежать, во-вторых, образование комиссии увязывалось с заключением польско-русского трактата, в котором были бы урегулированы все спорные вопросы, связанные с трактовкой договора о Вечном мире 1686 г., от чего в начале переговоров Репнин решительно отказывался. Наконец, назначение комиссии, как следовало из депеши, возлагалось на «короля с советом», что либо существенно расширяло полномочия совета, который не играл самостоятельной роли в системе государственного управления Речи Посполитой, а действовал исключительно как совещательный орган при короле и в пределах его полномочий, либо сводило вопрос о назначении комиссии только к королевскому решению, что еще больше умаляло значение ее постановлений.

В изложенной депеше Н. В. Репнина достаточно определенно видны результаты влияния на посла уговоров Станислава Августа. Но даже этот компромиссный вариант не был рассмотрен на сейме в 1764 г. По крайней мере, еще в конце марта — начале апреля 1765 г. Н. В. Репнин сообщал в Петербург, что никакого решения о пограничной комиссии так и не состоялось²¹.

Тем не менее в Петербурге решения коронационного сейма по вопросу о границе пытались представить в выгодном для себя свете. Так, в депеше В. Ф. Сольмса Фридриху II от 4 января 1765 г. / 24 декаб-

ря 1764 г. говорилось, что согласно постановлению сейма «польский король возобновляет с Россией трактат 1686 г. и избирает комиссаров для определения спорных границ и для составления комиссий по вопросу о перебежчиках, а равно с целью уладить дружелюбно другие несогласия, существующие между обоими государствами»²².

Однако, отвергнув требования России по существу, коронационный сейм и руководившие его работой Чарторьские все же сделали малозначительную уступку домогательствам Репнина. В соответствии с конституциями сейма задача установления пограничных судов, определения их полномочий и порядка работы была возложена на образованную на сейме комиссию «для трактования с российским двором»²³. Формально в ее ведении находился весь комплекс польско-российских отношений, поэтому вопрос о границе неизбежно должен был оказаться в занятиях комиссии на втором плане, что и подтвердил Н. В. Репнин весной 1765 г. Тогда же это осознали и в Петербурге.

В мае 1765 г. Н. И. Панин отправил в Варшаву письмо, в котором извещал Н. В. Репнина, что прибывшие на границу российские комиссары тщетно ожидали там своих польских коллег. Руководитель русской внешней политики поручал послу потребовать от Станислава Августа, чтобы тот дал польским комиссарам «наикрепчайшее повеление», дабы они «приезжали на границы безоговорочно и порученные им дела исправляли без затруднения»²⁴.

Однако и без указаний из Петербурга Репнин не упускал из вида пограничного вопроса, который, видимо, не раз обсуждался им с королем. Об этом свидетельствует его депеша Н. И. Панину от 17/6 апреля 1765 г.²⁵ Он обещает, что польский двор даст все необходимые распоряжения для решения пограничных дел, «только трудно или почти невозможно», замечает посол, чтобы они привели к желаемому результату. По его словам, в градских судах, где должны рассматриваться претензии русской стороны по пограничным делам, русские пограничные комиссары присутствовать не могут. Право участия в суде имеют только польские комиссары, которых «во всей Литве нет». А король, продолжает Репнин, не вправе их назначить своей властью, так как выборы комиссаров относятся к компетенции сеймиков, которые обычно проводятся в феврале, и изменить эти сроки король также не может. Для исправления этого положения Н. В. Репнин предлагал, опираясь на конституцию коронационного сейма 1764 г., потребовать от Станислава Августа совместно с Комиссией о трактовании с российским двором, чтобы во все пограничные воеводства были назначены комиссары и установлен регламент для проведения пограничных судов.

Проект такого регламента посол представлял в Петербург. Мы остановимся только на наиболее важных его положениях. Для отпра-

ления суда предлагалось установить равное число комиссаров с российской и польской стороны. Решение суда принимается большинством голосов и не подлежит апелляции, на чем Репнин особенно настаивал. «Для ограничения силы сих судей, — писал посол, — можно точно определить, далее каких наказаний они делать не могут». Он предусмотрел и тот весьма вероятный казус, когда голоса комиссаров разделились бы поровну. В этом случае, по его мнению, истец может прямо обратиться «к своему двору» или же перенести дело в ассессорский суд под председательством канцлеров для окончательного решения. С нашей стороны, замечал посол, можно сделать также соответствующее учреждение.

Проект установления пограничных судов, предложенный Н. В. Репниным, вероятно, обсуждался со Станиславом Августом. Однако мы не можем судить, каково было влияние польского короля на его содержание, но несомненно, что важнейшие положения проекта были предложены русским послом. В случае своего осуществления предложение Н. В. Репнина создало бы прецедент образования в Польше принципиально новой судебной системы, в которой суд был бы назначен королем, хотя бы и с согласия комиссии сейма, и не зависел бы от избрания судей на сеймиках, а их решения не подлежали бы пересмотру на трибуналах. Таким образом, судебные полномочия короля были бы увеличены, судебные иммунитеты шляхты ограничены. Подобные изменения могли бы послужить поводом для изменения статуса и других судов в Речи Посполитой. Хотя они и касались частного вопроса урегулирования пограничных споров, все же предложения Н. В. Репнина по учреждению пограничных судов, несомненно, показательны для понимания позиции России. Проект русского посла так и остался не только нереализованным, но даже не имел заметных последствий, что только лишний раз подчеркнуло неудачу усилий Петербурга продвинуть решение пограничного вопроса весной 1765 г.

III

Однако в России не оставляли задуманного. В марте 1765 г. Екатерина II распорядилась провести инспекцию польско-российской границы. Это поручение было дано генерал-поручику И. И. Веймарну и генерал-майору А. И. Бибикову. Инструкция им была утверждена императрицей 28/17 марта 1765 г., а спустя два дня оформлена соответствующим указом. Веймарн должен был обследовать границу от Риги до Смоленска, а Бибикову поручалось следовать ему навстречу из Новороссийской губернии. Для выполнения поставленной задачи к ним были прикомандированы «по одному искусному в инженерст-

ве штаб- или обер-офицеру» и по два унтер-офицера²⁶. Выполнение геодезических работ на границе всегда находилось в ведении Военной коллегии. Назначение для обследования границы генералов и предоставленные им полномочия указывали, что и в данном случае Веймарн и Бибиков были подчинены непосредственно военному ведомству. Об этом же свидетельствуют и воспоминания А. И. Бибикова, который писал, что наряду с обследованием границы ему была поручена инспекция пограничных линейных и ландмилицких полков, о чем он посылал донесения З. Г. Чернышеву, а о состоянии границы — Н. И. Панину²⁷. Таким образом, очевидно, что миссия Веймарна и Бибикова была предпринята не только в интересах внешнеполитического ведомства, но и преследовала цели сугубо военного характера. К тому же, по словам А. И. Бибикова, Екатерина II поручила им «исполнение сего дела конечно для того, что намеревалась вскореверить им начальство над войсками в Польше»²⁸. По инструкции обследованию подлежали не только сама граница, но и прилегающие земли Речи Посполитой по Западной Двине и правому берегу Днепра, то есть те самые области, которые входили в сферу действия аннексионистского плана З. Г. Чернышева 1763 г., а позже были включены в русскую часть первого раздела Польши.

По инструкции И. И. Веймарн и А. И. Бибиков должны были проверить, соответствует ли фактическое прохождение границы ее описаниям и картам, составить перечень претензий российских подданных к польской стороне. Надлежало также собрать сведения, «каких вообще свойств доброты и доходов все те места без изъятия быть могут, кои одной или другою стороною претендуются». Веймарну и Бибикову предписывалось «доставлять под рукою, неприметным образом» известия о встречных пограничных претензиях поляков. Им было поручено также составить описание, точные карты и планы пограничных районов, выяснить, не учреждены ли поляками таможни в тех местах по Западной Двине и Днепру, где это было запрещено по договору 1686 г. Они также должны были выяснить, у кого во владении находятся города и земли, на которые предъявляются претензии со стороны России, а также собрать сведения о русских беглых в приграничных областях. Инструкция также содержала поручение составить описание днепровских островов, которые впоследствии могли бы быть «присвоены» Россией, а также выяснить, где именно проходила прежде граница владений Запорожской Сечи, что, вероятно, также должно было в будущем послужить основанием для предъявления новых территориальных требований к Польше²⁹. Миссия И. И. Веймарна и А. И. Бибикова была завершена только в ноябре 1765 г. Причем Бибиков доносил Н. И. Панину, что польские грани-

цы «состоят не токмо в прежних невыгодных для России положениях, но еще во многом ослаблены и упущены против установленных в трактате о Вечном мире»³⁰.

Тогда же, весной 1765 г., Н. В. Репнин добивался от польского правительства выдачи беглых крепостных крестьян. Усилия посла увенчались успехом. В депеше Н. И. Панину от 20/9 мая 1765 г. он сообщил, что соответствующие универсалы Станислава Августа были уже отправлены в литовские воеводства, а в отношении коронных земель «уже оные велено писать»³¹. Таким образом, впервые было получено формальное согласие польской стороны на выдачу беглых. Для их возвращения в Россию на польскую территорию был отправлен военный отряд под командой генерал-майора Маслова. О масштабах операции свидетельствует мемориал, представленный в русское посольство М. Чарторыским³², в котором канцлер литовский заявил, что наряду с русскими беглыми отрядом Маслова были уведены в Россию и поляки. Всего же, по свидетельству мемориала, из литовских имений Чарторыских было взято 962 владельца дворов (сколько людей во дворах — неизвестно), для их перевозки потребовалось 3 тыс. подвод. Даже если считать по 4 человека на двор, то отрядом Маслова было вывезено в Россию не менее 4 тыс. человек.

Принимая мемориал, Н. В. Репнин обещал переслать его в Петербург. Из ответа Н. И. Панина³³ мы можем почерпнуть некоторые подробности проведенной операции. Шеф Коллегии иностранных дел писал послу для передачи М. Чарторыскому, что природных поляков среди возвращенных крестьян не оказалось ни по спискам, ни по их собственному заявлению. Перепроверить эти сведения, по словам Панина, невозможно, так как крестьяне направлены партиями «с зачетом помещикам их в рекруты или с выдачею из казны денег, в новые внутренние селения», то есть в Сибирь. Он также подчеркнул, что возвращению в Россию подлежали сами беглецы и их дети. Те же, «кои родились в Польше от беглого деда», из страны не вывозились. Наконец, наряду с отрядом Маслова в Литву на Правобережную Украину вступил с той же целью отряд во главе с Х. Штофельном. Обои отрядами командовали генералы, что указывало на многочисленность подчиненных им войск. Если только из литовских имений Чарторыских было вывезено несколько тысяч человек, то можно себе представить, какой ущерб экспедиция по возвращению беглых нанесла магнатам и шляхте. Помимо Литвы и Украины, аналогичные меры по возврату беглых планировались и в Инфлянтах. 28 декабря 1765 г. Станислав Август послал туда такой же универсал³⁴.

В материалах Варшавской миссии сохранилась генеральная ведомость о возвращенных из Польши в Россию беглых, охватываю-

шая период с декабря 1764 по март 1765 г. Согласно ей, воинскими командами было вывезено в Россию 14 373 человека (7609 душ мужского пола и 6764 душ женского пола)³⁵. По данным ведомости, более половины из возвращенных (8823 чел.) якобы происходили из купцов, дворцовых и монастырских крестьян, что явно свидетельствовало о намерении возвращенных беглецов скрыть свою принадлежность к помещичьим крестьянам, число которых по ведомости составило только 2601 чел.

Чтобы сгладить явно неблагоприятное впечатление в Польше от проводимых военных экспедиций, 16/5 июля Н. В. Репнину был послан императорский рескрипт, в котором послу поручалось «королю именем нашим учинить за оное благодарительный комплимент» и сообщить, что российским пограничным командирам и комиссарам приказано «прилагать старание... о распространении между обеих сторон жителями соседственной дружбы и чтоб польским подданным в равномерных претензиях надлежащее удовлетворение по самой справедливости показываемо было»³⁶.

IV

В начале 1766 г. с приближением очередного сейма, казалось бы, появились признаки готовности обеих сторон разрешить пограничный вопрос. Этому, возможно, способствовал приезд в Варшаву Ф. Ржевуского, который, как сообщал И. М. Лобкович В. Кауницу в депеше от 22 февраля 1766 г.³⁷, хлопотал там об урегулировании пограничных дел и о диссидентах. Ржевуский был достаточно хорошо информирован о настроениях в Петербурге и мог убедить Станислава Августа пойти навстречу требованиям России в вопросе о границе, имея в виду, что по диссидентскому делу договориться было практически невозможно. 28/17 апреля 1766 г. Н. В. Репнин писал Н. И. Панину, что Станислав Август предложил, чтобы и с польской стороны граница была бы обследована, как это было сделано годом раньше И. И. Веймарном и А. И. Бибиковым. Для доклада императрице Панин написал на депеше: «То же им позволить можно, что наши комиссары уже сделали, то есть осмотреть спорные земли и границы. Без чего дело начать будет невозможно»³⁸.

В Петербурге явно стремились прийти к соглашению с польской стороной по вопросу о границе и об учреждении пограничных судов и всячески демонстрировали готовность исключить из этой проблемы польско-российских отношений что-либо ущемлявшее суверенитет Речи Посполитой или же достоинство поляков. Это было связано с осознанием, что вопрос о границе не будет иметь на сейме принципиального значения. Вместе с тем хотелось бы накануне сейма полу-

чить согласие короля и Чарторыхских на удовлетворение хотя бы одного из главных требований России. Кроме того, военная операция по возвращению беглых уже была проведена, и надо было на время сгладить ее последствия.

В этом духе пограничные вопросы рассматривались в письме Н. И. Панина Чарторыхским от 15/4 июля 1766 г.³⁹ В нем руководитель русской внешней политики называл проблему границы «одним из трех главных предметов, коих должны были касаться переговоры (с Россией. — *Б. Н.*) относительно восстановления республики на самостоятельных и прочных основах»⁴⁰. Другими были вопросы о польско-русском союзе и о диссидентах. Говоря о границе, Н. И. Панин подчеркивал, что Екатерина II «имеет в виду лишь прекратить неопределенность владений пограничных жителей. Она и не воображает, чтобы ей могли предложить или чтобы она могла предложить со своей стороны иное правило к руководству, как только принять к руководству границы, наиболее естественные по владению, сообразно старому трактату»⁴¹.

В Варшаве также стремились избежать конфликта из-за пограничных дел. Уже в августе 1766 г. вопрос о создании пограничных комиссий был практически решен. Польский двор просил только об отсрочке введения их в Инфлянтах, что было вызвано, как сообщал Н. В. Репнин, особыми привилегиями этой польской провинции⁴².

Тогда же посол переслал в Петербург копию письма от подканцлера литовского А. Пшездецкого в Мсциславское воеводство от 11 августа 1766 г., в котором тот, обращаясь к воеводе (Ржечицкому?), писал об удовлетворении требований российского комиссара С. Ланского о выдаче беглых. «Потому и Вам такой поступок, которого российский комиссар домогается, — заявлял Пшездецкий, — не только республике интересам предосудительным быть не может, но еще тем доказать может то, что вы со своей стороны попечение прилагаете о сохранении соседственной дружбы весьма нам нужной»⁴³. 17/6 сентября 1766 г., в день получения из Петербурга «ужасных повелений» по диссидентскому делу, Н. В. Репнин писал Н. И. Панину, что «комиссары здешние к разграничению с Российскою империею и к разобранию всех пограничных споров столь сильно уполномочены, что они могут точный и решительный конец сему делу положить. И тако считаю, об сем более ничего на сейме упоминать не надлежит, кроме разве по случаям в разговорах о некорыстливых намерениях ее имп. в-ва в сем деле»⁴⁴.

С российской стороны было образовано две пограничные комиссии: в Новгороде под началом С. Ланского и в Киеве во главе с И. Лесным. Переписка комиссаров с Н. В. Репниным началась в конце 1764 г.⁴⁵. Она свидетельствовала, что фактически работу пограничных судов

саботировали не только с польской, но и с русской стороны. Это признавал и сам Н. В. Репнин в письме к советнику Коллегии иностранных дел П. В. Бакунину в августе 1765 г. Посол сообщал для сведения Н. И. Панина, «что с нашей стороны не более податливости, как с здешней... кажется, надлежало бы самую строгую справедливость начать показывать (по отношению к полякам. — Б.Н.), и потом також оную и от здешней стороны требовать. Следственно, и надобно думать, — писал Репнин, — о том подтверждение в наши пограничные суды сделать»⁴⁶.

Соглашение по пограничным делам, достигнутое накануне сейма 1766 г., было оформлено его конституциями «О комиссиях» и «*Ostrzeżenie spraw granicznych z dobrami naszymi*»⁴⁷, которые сформулированы в довольно общих выражениях, но из них следовало, что решения комиссий (комиссарские акты) могли быть обжалованы только в ассессорских судах. То есть было закреплено одно из основных положений проекта Н. В. Репнина 1765 г.

Решение пограничного вопроса на сейме 1766 г. носило явно компромиссный характер, что продемонстрировало, с одной стороны, способность России и Польши к разрешению взаимных противоречий на равноправной основе. С другой стороны, учреждение пограничных судов не могло само по себе устранить столкновение интересов русского дворянства и польской шляхты из-за стремления к внешней экспансии русского и польского феодального землевладения, остановить движение русского крепостничества на запад. Ибо официальная доктрина русского правительства о гарантиях владельческих прав помещиков и охране их сословной монополии на землю и крестьян по сути дела только прикрывала внутреннюю и внешнюю экспансию помещичьего землевладения, что нашло отражение в динамике изменений в структуре населения России во второй половине XVIII в. Выборочные данные об изменении численности крестьянского населения представлены в таблице⁴⁸. Для сравнения были взяты два основных экономических района: Центральный промышленный и Центральный земледельческий, в которых было сосредоточено большинство населения России в XVIII в.

Центральный промышленный район был также основным центром дворянского землевладения, где оно сложилось еще в XVI в. Центральный земледельческий район в течение XVII в. был областью крестьянской колонизации, а в XVIII в. стал ареной массовой экспансии дворянского землевладения. Если на рубеже XVII–XVIII вв. помещичье землевладение было представлено здесь крайне незначительно, то уже к концу XVIII в. более половины всех земель здесь принадлежало дворянам. Таким образом, два эти района представляли

собой два типа, две тенденции в развитии помещичьего хозяйства в России. В сопоставлении с ними представлены данные об общей численности крестьян и крестьян помещичьих по трем областям, составлявшим в 60-е гг. XVIII в. российско-польское пограничье: по Смоленской губернии, Левобережной Украине и Екатеринославской губернии. Численность крестьян приведена в душах мужского пола на время проведения 2–5-й ревизий, 1744, 1762, 1782 и 1795 гг.

Таблица. Изменения в численности крестьянства в основных экономических районах России и в областях российско-польского пограничья в 1744–1795 гг.*

Районы	число кре- постных крестьян в д. м. п.	1744 (2 ревиз.)	1762 (3 ревиз.)	1782 (4 ревиз.)	1795 (5 ревиз.)				
Центральный	число кр-н	1 977 735	100	2 436 319	123,1	2 750 581	139,1	2 818 363	142,5
пром. район	в т. ч. помещ.	1 530 028	100	1 705 191	111,4	1 941 181	126,9	2 023 670	132,3
Центральный	число кр-н	1 251 949	100	2 029 777	162,1	2 572 629	205,5	2 799 717	223,6
земледельч. р-н	в т. ч. помещ.	1 151 850	100	1 340 501	116,4	1 513 241	131,3	1 673 685	145,3
Итого	число кр-н	3 229 684	100	4 466 096	138,3	5 323 210	164,8	5 618 080	173,9
	в т. ч. помещ.	2 681 878	100	3 045 692	113,6	3 454 422	128,8	3 697 355	137,8
Смоленская губ.	число кр-н	220 895	100	339 732	154,0	424 120	191,9	440 418	199,1
	в т. ч. помещ.	188 087	100	299 786	159,6	338 288	180,0	354 557	188,8
Левоб. Украина	число кр-н	1 082 583	100	1 299 753	120,1	1 606 562	148,4	1 570 576	145,1
	в т. ч. помещ.	564 897	100	707 223	125,1	731 962	190,0	724 239	128,1
Екатерин. губ.	число кр-н	13 783	100	48 006	348,3	145 898	1058,5	222 939	1617,5
	в т. ч. помещ.	—	—	12 051	100	50 863	422,1	102 615	857,5
Итого	число кр-н	1 317 267	100	1 687 491	128,1	2 176 580	165,3	2 233 933	169,6
	в т. ч. помещ.	752 984	100	1 079 060	143,3	1 127 113	149,7	1 181 411	156,8
Всего	число кр-н	4 546 945	100	6 144 587	135,1	7 499 790	165,0	7 181 013	172,7
	в т. ч. помещ.	3 434 862	100	4 064 752	118,3	4 575 535	133,2	4 878 766	142,0
			%		%		%		%

Из сопоставления данных ревизского учета крепостных крестьян можно сделать вывод, что период наибольшего прироста их численности приходится на время между второй и четвертой ревизиями, с 1744 по 1782 гг., когда он составил и в центральных районах России, и в областях русско-польского пограничья – 65%. За то же время в отдельно взятом Центральном земледельческом районе крестьянское

население удвоилось, что существенно превосходило рост числа крепостных в пограничье, но все же было сопоставимо с ним, особенно если иметь в виду данные по Смоленской губернии (91,9%) и Екатеринославской, где крестьянское население возросло в 10 раз. Меньше показатель прироста только на Левобережной Украине. Но здесь следует принять в расчет высокий исходный уровень численности крестьянства и размеры абсолютного прироста (более 500 тыс. д. м. п.). Это свидетельствует, что район российско-польского пограничья в середине XVIII в. был одной из областей активной экспансии крепостничества. Однако в отличие от аналогичного Центрального земледельческого района активность именно помещичьего землевладения здесь была еще выше, так как число помещичьих крестьян увеличилось на 50% против 30% в центре страны и составило в 1782 г. половину от числа помещичьих крестьян центральных районов, в то время как в 1744 г. она составляла только 28,1%.

В свете этих данных, а также на основе выводов многих исследований советских ученых можно заключить, что ожесточенная борьба за землю и крестьян, развернувшаяся в XVIII в. внутри страны, находила свое разрешение также и во внешней экспансии русского крепостничества, в котором польскому направлению принадлежала отнюдь не последняя роль. Поэтому вопрос о беглых и границе в отношениях между Россией и Речью Посполитой не сводился к простому урегулированию пограничных споров, как это искренне или неискренне пытались представить в Петербурге, он явно отражал экспансионистские интересы русского помещичьего дворянства и вполне согласовывался с великодержавными планами Екатерины II и ее приближенных. Пограничный вопрос, как и проблема выдачи беглых, таким образом, едва ли могли быть разрешены дипломатическим путем, а компромисс, достигнутый накануне сейма 1766 г. между русским посольством и польским двором, вряд ли мог принести долговременные положительные результаты. Несмотря на видимость согласия, граница так и не была окончательно определена, пограничные суды так и не приступили к работе, а пограничные противоречия по-прежнему не были устранены, что, несомненно, внесло свою лепту в дальнейшее обострение польско-российских отношений.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Сб. РИО. СПб., 1886. Т. 51. С. 93. Трактат, заключенный в Москве полномочными Польскими посланми с Российскими боярами 6 мая/26 апреля 1686 г. ПСЗ. СПб., 1830. Т. 2. № 1186.

- 2 Остроительстве укрепленных линий на южной границе и заселении прилежащих территорий см.: *Багалей Д. И.* Колонизация Новороссийского края. Киев, 1889; *Мышлаевский А. Э.* Крепости и гарнизоны Южной России в 1718 г. СПб., 1897; *Шульгин М. М.* Землеустройство и переселения в России в XVIII и перв. пол. XIX в. М., 1928.
- 3 См.: *Семецкий В. И.* Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1881. Т. 1. С. 330–351; *Алефиренко П. К.* Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30–50-х гг. XVIII в. М., 1958. С. 94–114; *Беляцкий М. Т.* Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е. И. Пугачева. М., 1965. С. 40–42; *Козлова Н. В.* Побег крестьян в России в первой трети XVIII в. М., 1983.
- 4 *Беляцкий М. Т.* Указ. соч. С. 41–42.
- 5 *Семецкий В. И.* Указ. соч. Т. 1. С. 338–339.
- 6 Там же. С. 337–338.
- 7 Там же. С. 339.
- 8 Сб. РИО. СПб., 1875. Т. 14. С. 294–315.
- 9 Там же. С. 413.
- 10 Там же. С. 275.
- 11 Там же. С. 428.
- 12 Там же. С. 443–456.
- 13 ПСЗ. Т. XV. № 10865, 10896; Т. XVI. № 11618, 11894.
- 14 Сб. РИО. СПб., 1887. Т. 57. С. 7–8.
- 15 Там же. С. 18–19.
- 16 Там же. С. 34.
- 17 Там же. С. 19.
- 18 АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 850. Л. 69–70 об.
- 19 Там же. Л. 81–82.
- 20 Там же. Л. 87–89.
- 21 АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 865. Л. 101–102 об.
- 22 Сб. РИО. СПб., 1878. Т. 22. С. 352.
- 23 *Volumina Legum.* Petersburg, 1860. Т. VII. S. 158.
- 24 Сб. РИО. СПб., 1887. Т. 57. С. 263–264.
- 25 АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 866. Л. 17–22 об.
- 26 Инструкция генерал-поручику И. И. Веймарну и генерал-майору А. И. Бибикову 17 марта 1765 г. Сб. РИО. СПб., 1887. Т. 57. С. 211–217.
- 27 *Бибиков А. И.* Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова. М., 1865. С. 32.
- 28 Там же. С. 30.
- 29 Сб. РИО. СПб., 1887. Т. 57. С. 211–217.
- 30 *Бибиков А. И.* Указ. соч. С. 33.
- 31 АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 867. Л. 38–39.
- 32 Там же. Л. 40–51.
- 33 Сб. РИО. СПб., 1887. Т. 57. С. 276–277; АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 873. Л. 23–25 об.

-
- 34 АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 872. Л. 136–137 об.
35 АВПРИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 889.
36 Сб. РИО. СПб., 1887. Т. 57. С. 287–286.
37 Сб. РИО. СПб., 1901. Т. 109. С. 173.
38 АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 883. Л. 67 об–68.
39 Сб. РИО. СПб., 1889. Т. 67. С. 9–20.
40 Там же. С. 10.
41 Там же. С. 19.
42 АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 886. Л. 1–4.
43 Там же. Л. 5–5 об.
44 АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 887. Л. 12–13 об.
45 Письма пограничных комиссаров Н. В. Репнину. АВПРИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 809.
46 АВПРИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 893. Л. 1.
47 V. L. T. VII. S. 241.
48 Для анализа были использованы данные, приведенные в кн.: *Кабузан В. М.* Изменения в размещении населения в России в XVIII — перв. пол. XIX в. М., 1971.

С. М. Фалькович

**РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ПОЛЬСКОЙ ЭМИГРАЦИИ
НА ФОНЕ ПОДЪЕМА
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
в Польше
в 50–60-е гг. XIX в.**

Начавшийся в Польше с конца 50-х гг. XIX в. подъем национальной борьбы способствовал активизации деятельности польской эмиграции, являвшейся существенным фактором политической жизни польской нации и занимавшей важные позиции в патриотическом лагере. Эмиграция не была единой: демократические и консервативные течения по-разному видели пути решения национальных задач польского народа и вели практическую работу по осуществлению своих планов. Но в эмигрантской среде существовали и иные течения и группы; для них на первом месте стоял вопрос духовной жизни Польши, с которым они связывали ее судьбы. Это были группы религиозной направленности, опиравшиеся на основы христианского вероучения, хотя и не всегда в его каноническом варианте.

Очень близко к аристократической партии Чарторьского, особенно к ее ультрамонтанскому крылу, стояло религиозное объединение польских эмигрантов «Общество Воскресения Господня». Истоки этого Общества лежали в основанном еще в 30-е гг. XIX в. в «Кружке монастырской жизни». В 1842 г. часть членов кружка создала с благословения папы новый орден «Воскресения Господня», который пользовался доверием папской курии и занимал при ней как бы «положение информатора апостольской столицы о польских делах»¹. Орден имел свой устав, по которому все члены его делились на братьев духовных и светских. Духовные братья были монахами, обязывались соблюдать обет бедности, целомудрия и послушания, отказывались от семейных привязанностей и должны были всем жертвовать для Бога и своего ордена. Они не имели своего имущества, передав его в собственность Общества, не были вольны даже в своих мыслях, которые не имели права распространять или публиковать без разрешения настоятеля. Светским братьям разрешалось жениться один раз в жизни, они обязаны были жить скромно, помогать бедным и подчиняться настоятелю в духовных вопросах. Они могли занимать выборные должности в Обществе, но для этого подвергались внешним и внутренним испытаниям².

Главой всего ордена являлся магистр, в 1860 г. им был ксёндз Кайсевич. Рим оставался главной резиденцией «воскресенцев» («змарт-выхвстанцев»), где они основали монастырь, но филиалы Общества существовали и в других городах Европы. В Париже орден имел свою миссию под руководством ксёндза Александра Еловицкого. Были филиалы в Галиции и Великом княжестве Познаньском. Даже в Соединенных Штатах и Канаде существовали миссии, коллегия и несколько парафий «воскресенцев». Главными деятелями «Общества Воскресения Господня» являлись, кроме Кайсевича и Еловицкого, ксёндзы Семененко, Голиан, Козмян, Зволинский, епископы Лубеньский, Попель, Галецкий, Пукальский, Маршевский, архиепископы Ледуховский и Вежхлейский. Активными приверженцами «воскресенцев» были также Велегловский, Павел Попель, граф Леон и графиня Розалия Жевуские и многие другие представители аристократии. Вообще аристократические круги в эмиграции и Польше наряду с высшим католическим духовенством являлись основной опорой «Общества Воскресения Господня», поддерживали его морально и материально³.

«Воскресенцы» представляли собой крайне клерикальное направление в польской эмиграции: в уставе ордена 1857 г., утвержденном папой Пием IX, цель его существования определялась как самосовершенствование и установление Царства Божия в душах. Для осуществления этой цели орден направлял все усилия на «защиту католической церкви, безгрешности папы, его брэнной власти против современных социальных стремлений и систем», а также против научных теорий, которые опираются не на силу традиции, а на почву разума и материи и хотят организовать общество «без Бога, без Христа, без церкви, просто человеческими силами и средствами и во имя человека, во имя его воли и его силы»⁴. Таким образом, «воскресенцы» являлись противниками всякого прогресса, всякой революции, всяких социальных преобразований. Социализм был назван главным врагом в их уставе 1857 г.; они осуждали заговоры и революции, потому что этими средствами пользовались итальянцы в своей борьбе против Ватикана. Они выступали и против вооруженного восстания польского народа за свою свободу и независимость, рассчитывая путем компромисса добиться от России уступок для католической церкви и стремясь обратить поляков к чисто клерикальным целям⁵. «Для них перворазрядной задачей стала защита... церкви, а защита Родины только второстепенной, — писал А. Гиллер. — Поэтому независимость, национальность, политические и социальные реформы лишь постольку признавались этой доктриной, поскольку они помогали интересам Рима и служили папам»⁶. «Воскресенцы» жертвовали независимостью Польши ради клерикальных целей и реакционных принципов,

вдохновляя и возглавляя реакцию и мракобесие во всех польских землях⁷.

Именно это способствовало огромной непопулярности «Общества Воскресения Господня» среди поляков, явилось причиной того, что движение «воскресенцев» никогда не было сколько-нибудь значительным. Их учение не нашло поддержки даже в кругах польского духовенства, с историческим характером которого, по мнению Гиллера, оно находилось в глубоком противоречии. Широкие демократические круги духовенства не разделяли религиозного фанатизма «змартвых-встанцев», отвергали их концепцию, которая «уменьшала внутреннюю свободу церкви, консолидировала иерархию и полностью отвечала стремлению централизовать безраздельную власть над церковью в руках папы...»⁸ О взглядах польского патриотического духовенства на орден «воскресенцев» свидетельствует письмо ксёндза Крипяткевича из Рима 12 июля 1859 г., в котором он сообщал своему другу, что «змартвыхвстанцы» в Риме интригуют, клеветуют, лгут, мошенничают, шарлатанствуют и подрывают этим авторитет Польши. «Без сомнения, — писал он, — мы видим в римской церкви первое такого рода сообщество, которое, взяв религию за орудие, принялось добиваться личных целей, основанных на политике и космополитике, целей, настолько выдаваемых за польские, насколько принадлежащие к сему сообществу нуждаются еще в польских деньгах, когда же наберут их, тут же снимут маску и покажут себя перед светом тем, чем они были, есть и, если им удастся, будут. Если они не мешают делу Польши, то по крайней мере нисколько не заботятся о ней... Эти полумонахи нисколько не желают восстановления Польши, независимость коей испортила бы всю их политику и уничтожила бы их планы и цели личные, космополитические... Тогда уже было бы более нельзя собирать складчин для себя под предлогом, что это для Польши... Братья Восстания из мертвых неохотно и с неудовольствием слушают, когда говорят о надежде, что Польша может восстать, или лучше, что она может быть освобождена от чужеземного ига...»⁹

Эта характеристика «воскресенцев», данная польским священником, показывает, что космополитическая сущность их партии была ясна широким массам польской эмиграции и что происки их встречали сопротивление и отпор патриотов. Тем не менее члены «Общества Воскресения Господня», опираясь на поддержку аристократической эмиграции и особенно клерикальной группы Владыслава Замойского, настойчиво стремились к осуществлению своей цели — установлению мирового господства римской церкви, используя для этого все возможные средства. Они пропагандировали свои идеи при помощи проповедей, печатных изданий; в специальных школах, основанных

ими, они прививали детям религиозный фанатизм, ненависть к прогрессу и слепое послушание церкви. «Змартвыхвстанцы» старались подчинить своему влиянию целые парафии в польских землях и посылали туда членов своего ордена¹⁰. «Общество Воскресения Господня» принимало активное участие во всех делах, направленных на пользу римской церкви и папы. «Воскресенцы» были самыми энергичными проповедниками католичества и униатства среди болгар; как только встал вопрос об основании болгарской униатской церкви, орден послал на Восток своих видных деятелей — ксёндзов Кайсевича, Малчиньского и Лавросевича, которые создали парафию в Адрианополе под руководством ксёндза Качановского, организовали школу для болгар и повели живую агитацию. Насколько ловко и изобретательно действовали «воскресенцы», насколько гибкой была их политика, свидетельствует тот факт, что, несмотря на свое стремление к централизации церковной власти в Ватикане, они пошли на создание в Болгарии национальной униатской церкви с сохранением славянского языка и обрядности, а агенты их, Малчиньский и Лавросевич, старались сжиться с болгарами, понравиться им, соблюдали все их обычаи¹¹.

Особенную активность орден «воскресенцев» проявил в связи с борьбой итальянцев за воссоединение своей страны и с вопросом о светском государстве папы. Он злобно выступал против итальянских революционеров и выражал горячие симпатии папе. В феврале 1960 г. ксёндз Еловицкий составил адрес сочувствия папе от имени поляков и начал сбор подписей под ним; однако число подписей оказалось так ничтожно, что А. Козьмян советовал вообще отказаться от посылки адреса, чтобы не обнаруживать слабости католического духа в поляках¹². «Змартвыхвстанцы» не ограничивались оказанием моральной поддержки Ватикану, они хлопотали об укреплении папского войска, способного защитить светскую власть главы апостольской церкви; вербовали в папскую армию польских солдат и офицеров, предлагая им высокие командные посты. Так, в 1860 г. Кайсевич и Еловицкий настойчиво уговаривали генерала Дембиньского и других офицеров поступить на службу Ватикану. Орден доставлял папской курии и необходимые денежные средства, которые он собирал по всей Польше. Газета «Демократа польский» сообщала 16 ноября 1861 г. о пересылке Еловицким в Рим в виде «десятины святого Петра» 100 тыс. франков, полученных им из Польши под предлогом постройки католической церкви в Париже¹³.

Вся эта деятельность «Общества Воскресения Господня» находила поддержку и признание в среде аристократической эмиграции. Сторонники Чарторыского обычно принимали горячее участие во

всех происках отцов-«воскресенцев», действовали совместно с ними в вопросах болгарской унии, светской власти папы и др. Это обстоятельство не случайно: «змартвыхвстанцы» пользовались поддержкой и симпатией чарторыщины потому, что являлись противниками всяких революционных и освободительных идей, противниками вооруженного восстания в Польше. Близость аристократической партии Чарторыского к клерикальной партии «воскресенцев», открыто осудившей идею независимости Польши, могла лишь скомпрометировать Отель Лямбер (так именовали партию Чарторыских по названию их парижской резиденции), поставить под сомнение его патриотическую позицию.

«Воскресенцы» не являлись в польской эмиграции единственной партией открыто религиозного направления. Еще в 40-е гг. XIX в. в Париже возникла особая христианская секта под руководством Анджея Товяньского, которая продолжала существование и в 50–60-х гг. Сущность отличия взглядов кружка Товяньского от взглядов сторонников «Воскресения Господня» очень точно выразил А. Гиллер, заметив, что если «воскресенцы» стремились охватить Польшу католической церковью, то «товянчики» хотят охватить ее новой церковью — церковью «истинного» христианства¹⁴. Именно это принятие и усвоение Польшей «истинного христианства», которое они не отождествляли с католичеством, выдвигалось сторонниками Товяньского в качестве неперемennого условия политического существования Польши¹⁵.

Таким образом, на первый взгляд «товянчики» выступали с более патриотических позиций, нежели «воскресенцы», так как по крайнней мере ставили вопрос об освобождении и восстановлении Польши. Однако в действительности это было не так, потому что концепция Товяньского об «истинном христианстве» приводила к совершенно иным выводам — к проповеди смирения, покорности и терпения. Согласно учению Товяньского, причины гибели и страданий Польши крылись именно в том, что поляки забыли о Боге, отвратились от «истинного христианства». Угнетение родины являлось в его глазах наказанием за грехи, предопределенным свыше: «Из-за греха лености к службе Божией Бог подчинил Польшу такой низкой силе и такими тяжелыми страданиями пробуждает ее к принятию и исполнению своей воли», — писал Товяньский¹⁶. Поэтому он призывал чтить власть захватчиков «с чувством уважения и христианского смирения, которые подобает оказывать мысли Божией, почившей на всякой власти»¹⁷, а патриотизм, основанный на ненависти к врагу, считал фальшивым и противным «истинному христианству»¹⁸. Товяньский учил, что земные пути и средства не только не могут спасти

Польшу, но еще отягощают ее грехи и вины, что поляки получают родину «не какой бы то ни было земной силой, а только лишь одной силой христианской»¹⁹. Он понимал под этим принятие «истинного христианства», утверждение в Польше «истинной церкви» путем осуществления внутреннего морального совершенствования, очищения душ от зла; в этом он видел единственную возможность подготовиться к моменту освобождения, быть достойными его²⁰. Каким же образом произойдет это освобождение Польши, будет ли оно завоевано в вооруженном восстании польского народа, явится ли результатом дипломатических переговоров или европейской войны, окажется ли актом великодушия императора Александра II — этот вопрос Товяньский считал не столь важным, второстепенным, лишь бы освобождение Польши было угодно небесам²¹. В противном случае «даже как будто самым лучшим образом обдуманное начинание гибнут без пользы. Все начинания, опирающиеся на ловкость, хитрость, использование средств чисто материальных и людей, не возрожденных предварительно, кончаются неудачей»²².

Таким образом, учение Товяньского не мобилизовало польский народ на борьбу за независимость, оно пропагандировало, как писал Гиллер, «фатализм политического рабства», «ставило народы в положение политического застоя и уничтожало возможность исторического прогресса, который никогда не совершался без давления народов на правительства». По словам Гиллера, в концепции «товянчиков» «дело Польши» было заменено «Божьим делом», борьба с захватчиками — борьбой с моральным злом, восстановление Отчизны — возведением новой церкви в мире, «где Польша будет светить ярчайшим светом»²³. Эта проповедь пассивности, уводившая от борьбы за освобождение Польши, по существу ставила сторонников Товяньского в один ряд с открытыми противниками независимости страны — «воскресенцами», несмотря на различия между ними. Как не согласовалось учение Товяньского с интересами подлинного патриотизма, показывает тот факт, что сами «товянчики» вынуждены были на практике действовать против своих принципов, когда в 1863 г. наступил час борьбы и многие из них почувствовали свой патриотический долг сражаться за родину.

И все же группа Товяньского была лишена тех черт космополитизма, которые были присущи «змартвыхвстанцам». Проповедуя «истинное христианство», она в первую очередь связывала его утверждение с Польшей, с ее судьбой. Поскольку главной задачей для Польши «товянчики» считали моральное возрождение, они уделяли много внимания ее внутренней жизни, обсуждали вопросы социально-экономических преобразований, хотя делали это с позиции борь-

бы за искупление прежних вин и грехов поляков. Одним из главных грехов Товяньский считал грех аристократии²⁴, проявившей несправедливость по отношению к крестьянам. Во искупление этого греха «товянчик» Владыслав Дзвонковский в своей брошюре «Замечания по крестьянскому, русинскому и еврейскому вопросам в связи с настоящими событиями», вышедшей в Париже в 1862 г., требовал установления «братских» отношений с народом, включения крестьян в политическую жизнь через посредство гминной (общинной) организации и передачи им в собственность надельных земель в противовес всем проектам перевода на денежный чинш, которые он считал гибельными. В разрешении крестьянского вопроса Дзвонковский видел разрешение и вопроса о русинах (украинцах), так как не признавал его самостоятельного значения, равно как и самостоятельности украинского языка²⁵.

Однако, выступая за справедливость по отношению к крестьянам, «товянчики» взывали к чувствам и рассудку шляхты; требуя наделяния крестьян политическими и гражданскими правами, они лишали этих будущих «граждан» права самим решать свою судьбу, не допускали и мысли о какой-либо активности крестьянства в разрешении аграрного вопроса. Товяньский проповедовал крестьянам необходимость терпения и покорности угнетению. «Пусть в ближнем, угнетающем и обижающем их, — писал он. — они видят только орудие Бога, которое, будучи призвано стать орудием милости и прощения, стало для них, в результате их вин и счетов между собою... орудием кары и Божьего попущения; пусть богобоязненностью, любовью к Богу и ближнему победят они обиду духа на это орудие; пусть в полном предании себя Божьей воле от Бога только ожидают счастливой перемены своего пути...»²⁶ Как в национальном вопросе Товяньский отвергал путь борьбы и революции, так и в социально-экономической области он призывал к пассивности и непротивлению.

В конце 50 — начале 60-х гг. XIX в. «товянчики» в Париже группировались вокруг генерала Кароля Ружицкого. Наиболее известными деятелями этой группы были полковник Миколай Каменьский, Леонард Реттль, уже упоминавшийся Владыслав Дзвонковский²⁷. Сторонники учения Товяньского вели пропаганду «истинного христианства», обличали такие грехи, как лень, карточная игра, пьянство и разврат²⁸, осуждали «всякие проявления повстанческих стремлений», нападая за них на демократическую эмиграцию и особенно на Л. Мерославского²⁹. «Товянчики» использовали и печатную пропаганду, как о том свидетельствует брошюра Дзвонковского. Обычный тон их агитации, по определению Гиллера, являлся тоном угроз и предостережений, зловещих пророчеств и цитат из сочинений их

учителя Товяньского, которому якобы Бог открыл истину³⁰. Они стремились вербовать новых адептов на своих собраниях, происходивших в доме К. Ружицкого в парижском районе Батиньоль. Об одном из таких собраний впоследствии рассказывал в своих воспоминаниях Б. Лимановский: «...мы застали довольно много людей в довольно большом зале. Это было утром. В нескольких рядах кресел сидели преимущественно женщины, мужчины же большей частью стояли за креслами. Кроме поляков, были также французы, итальянцы, румыны. На возвышение перед креслами взошел Ружицкий, словно учитель, священник, и стал говорить по-французски. Когда он кончил, нелегко было до него добраться, так он был окружен со всех сторон... Но и нас окружили как неизвестных вновь прибывших. Нам задавали вопросы, а затем каждого кто-нибудь взял под руку и начал пропаганду товьянства»³¹.

Однако эта пропаганда не имела успеха среди эмигрантов, которых отталкивала пассивность учения Товяньского, отрицание им всякой деятельности по подготовке к борьбе с захватчиками, его проповедь любви и прощения в отношении врагов. Л. Мерославский называл товьянство «не чем иным, как старым литовским мистицизмом в состоянии галлюцинации»; его приверженец В. Мазуркевич — «безумной доктриной, которая видит подъем духа в подлости и унижении перед врагом». Сын А. Мицкевича Владыслав, оспаривая взгляды «товянчиков», писал: «При всей очевидности мысли, что приступ к великой цели, какой является восстановление Польши, должен быть предварен моральным укреплением того, кто поставил такую цель, однако не менее несомненно и то, что действие, подобно огню, имеет то свойство, что все очищает... духовная подготовка должна идти в ногу с сопротивлением всеми средствами австро-прусско-русскому гнету»³².

Эмигрантов отвращал от товьянства и характер их организации, вытекавший из основной мысли учения. Гиллер отмечал сектантскую замкнутость и исключительность партии Товяньского: «Эта исключительность, подавление инициативы в людях, равно как и пренебрежение делами, не находящимися в непосредственной связи с их религией, сильно способствовала уменьшению числа членов кружка Товяньского... Авторитет для них значит больше, чем разум, а преувеличенное смирение отпугивает людей, привыкших к равенству... Управление Ружицкого носило в себе что-то военное. Дисциплина, послушание и полное отречение от своей личности наряду с глубоким поклонением характеризуют этот период товьянства»³³.

Конец 60-х гг. явился временем наибольшей непопулярности «товянчиков». Непосредственный повод к этому подал известный документ этой группы — письмо к Александру II под названием «Мотивы,

по которым амнистия не может быть принята». Письмо, написанное от имени всех сторонников Товяньского, было вручено в январе 1857 г. русскому послу в Париже Владыславом Дзвонковским, Северином Гощинским, Людвигом Набеляком и Каролом Ружицким. Авторы письма излагали концепцию наказания Польши за грехи, признавали царя избранным орудием Бога, сожалели о прежних заблуждениях поляков и ненависти их к русским. «Товянчики», так же как и остальная эмиграция, отказались от амнистии, провозглашенной царем, но мотивировка их отказа была связана с идеей освобождения Польши путем принятия «истинного христианства». В письме царю они указывали, что считают волю Бога еще не исполненной, а следовательно, и Польшу еще не достойной избавления³⁴.

Это выступление сторонников Товяньского было встречено в эмиграции бурей возмущения³⁵. Протестовали и аристократические, и демократические круги. «Вядомости польске» назвали этот акт «товянчиков» «добровольным и бессмысленным отступничеством», от имени эмиграции они отмежевывались от группы Товяньского: «Горстку учеников Товяньского эмиграция считает безумцами, руководимыми рукой матереубийцы; письмо же это к русскому императору является в ее глазах попыткой нарушить ее единство и общественный характер». Орган аристократической эмиграции требовал немедленного исключения «товянчиков» из руководства всех эмигрантских учреждений³⁶. Еще более резко выступил рупор умеренной части демократической эмиграции «Пшеглэнд жечи польских», объявивший «товянчиков» «панславистами, которые самым ясным и позорным образом отказались от патриотического прошлого Польши и развившейся из него цепи предпосылок и целей...». «Больные сердца, сломанные души, — писал журнал, — ухватились за любовь как за якорь спасения Польши и, приведенные неудачами к неверию в собственные силы, любовь, этот подлинный рычаг человечества, лишили христианского и демократического значения и облекли в какие-то мистические формы, противоречащие и объявленной религии, и здравому смыслу». «Пшеглэнд» называл письмо к царю «актом национального бесчестия», «либо преступлением, либо безумием». Обращаясь к приверженцам Товяньского, он писал: «Совесть Польши уже не зачисляет вас в почетный коллектив польской эмиграции: на лицах ваших вы сами написали — ренегаты»³⁷.

Обращение «товянчиков» с письмом к царю и реакция эмиграции на это обращение окончательно обособили группу Товяньского от остальных эмигрантских течений. Они стояли далеко в стороне от деятельности других партий, осуждали эту деятельность. «Можно решительно утверждать, — вспоминал Барановский, — что в революци-

онной пропаганде, в приготовлениях к восстанию они... не принимали участия... даже противились всей этой подготовительной работе»³⁸. Эти слова Барановского, который сам отрицательно относился к подготовке вооруженной борьбы, достаточно точно определяют позицию группы Товяньского накануне восстания 1863 г. как непатриотическую.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Giller A. Historia powstania narodu polskiego w 1861–1864 rr. T. 3. Paryż, 1867. S. 133–134, 64–65.
- ² Ibid. S. 134.
- ³ Ibid. S. 141; T. 1. Paryż, 1867. S. 141, 237; Mickiewicz Wł. Emigracja polska w 1862 roku. Paryż, 1862. S. 122–123.
- ⁴ Giller A. Op. cit. T. 3. S. 134–137.
- ⁵ Mickiewicz Wł. Op. cit. S. 122–123; Giller A. Op. cit. T. 3. S. 140; T. 1. S. 236.
- ⁶ Giller A. Op. cit. T. 3. S. 137.
- ⁷ Ibid. T. 1. S. 236.
- ⁸ Ibid. T. 3. S. 134, 137; T. 1. S. 240.
- ⁹ ЦГИАМ. Ф. 109. I экзп. 1861 г. Д. 245. Л. 1–5.
- ¹⁰ Giller A. Op. cit. T. 3. S. 134–137.
- ¹¹ Lewak A. Dzieje emigracji polskiej w Turcji. Warszawa, 1935. S. 151; Giller A. Op. cit. T. 3. S. 141; Кельсиев В. И. Польские агенты в Цареграде // Русский вестник. 1869. Т. 84. № 11. С. 159–160.
- ¹² Koźmian A. E. Listy Andrzeja Edwarda Koźmiana (1829–1864). T. 4. Lwów, 1896. S. 29.
- ¹³ Demokrata Polski. Londyn. 24.V.1860. S. 246; 16.XI.1861. S. 55.
- ¹⁴ Giller A. Op. cit. T. 3. S. 166.
- ¹⁵ Towiański A. Pisma. T. 3. Turin, 1882. S. 107.
- ¹⁶ Ibid. T. 1. S. 473, 496; T. 3. S. 102, 106.
- ¹⁷ Giller A. Op. cit. T. 3. S. 160.
- ¹⁸ Towiański A. Op. cit. T. 1. S. 648.
- ¹⁹ Ibid. S. 295; T. 3. S. 73, 65.
- ²⁰ Giller A. Op. cit. T. 3. S. 165–166; Mickiewicz Wł. Pamiętniki. T. 1. Warszawa; Kraków, 1926. S. 345.
- ²¹ Towiański A. Op. cit. T. 1. S. 476; T. 3. S. 13.
- ²² Mickiewicz Wł. Pamiętniki. T. 1. S. 346.
- ²³ Giller A. Op. cit. T. 3. S. 160–161, 165–166.
- ²⁴ Towiański A. Op. cit. T. 1. S. 656.
- ²⁵ Dzwonkowski Wł. Uwagi w kwestii włościańskiej, ruskiej i żyдowskiej z powodu obecnych wypadków. Paryż, 1862. S. 54, 44, 56.
- ²⁶ Towiański A. Op. cit. T. 3. S. 75.

- 27 *Mickiewicz Wl.* Pamiętniki. T. 2. Warszawa; Kraków, 1937. S. 188; *Milkowski Z.* Od kolebki przez życie. T. 3. Kraków, 1937. S. 160–161; *Janczewski Z., Majewski K., Awojda O., Daniłowski W.* Zeznania śledcze o powstaniu styczniowym. Wrocław, 1956. S. 120. Примечания С. Кеневича; *Baranowski J.* Pamiętnik (1840–1862). Poznań, 1923. S. 290–291.
- 28 *Mickiewicz Wl.* Pamiętniki. T. 2. S. 188–189.
- 29 *Limanowski B.* Pamiętniki. Warszawa, 1937. S. 231.
- 30 *Giller A.* Op. cit. T. 3. S. 164.
- 31 *Limanowski B.* Op. cit. S. 231.
- 32 *Mierosławski L.* De la nationalité polonaise dans l'équilibre européen. Paris, 1856. P. 65; *Mazurkiewicz W.* Emigracja polska w 1862 roku. Paryż, 1862. S. 7; *Mickiewicz Wl.* Pamiętniki. T. 1. S. 345–346.
- 33 *Giller A.* Op. cit. T. 3. S. 155.
- 34 *Towiański A.* Op. cit. T. 3. S. 7–17. См. также: *Limanowski B.* Op. cit. S. 232.
- 35 *Feldman W.* Geschichte der politischen Ideen in Polen seit dessen Teilungen (1795–1914). München und Berlin, 1917. S. 174.
- 36 *Roczniki polskie z lat 1857–1861.* T. 1. Paryż, 1865. S. 388–391. Adres uczniów Towiańskiego do cesarza Aleksandra. 19, 26.V.1857.
- 37 Przegląd Rzeczy Polskich. Paryż, 1857. № 1. S. 13, 18, 29.
- 38 *Baranowski J.* Op. cit. S. 122.

О. Р. МЕДВЕДЕВА

Запад — Восток: обрывки судеб (поляки в Средней Азии в годы второй мировой войны) *

Глобальная проблема Запад — Восток, многообразно интерпретируемая как философская и культурологическая, имеет и историческое преломление. Частный эпизод в истории Средней Азии, о котором пойдет речь, эпизод, имеющий отношение к Восточной Европе, к полякам, точнее — к польским евреям, наводит на некоторые общие размышления о связи этих пространственных понятий с категорией времени.

Война сделала возможным почти невероятное: польские евреи — и не единицы, а десятки тысяч — оказались в период с 1941 по 1946 г. в Средней Азии¹. В польско-еврейской истории их именуют «спасшимися на Востоке». В Советском Союзе в годы войны их называли «бывшими польскими гражданами, эвакуированными из западных областей Украины и Белоруссии в тыловые районы СССР».

В архивах Средней Азии, в частности в Самаркандском областном государственном архиве, сохранилось немало документов², касающихся этой темы. Попытаемся взглянуть на эти материалы в контексте проблемы Запад — Восток, сопоставив историю с мифом.

На протяжении столетий Восток для поляков начинался там, где кончалась сфера влияния католичества и латиница и появлялось православие и кириллица. Учитывая также определенные исторические обстоятельства (разделы Польши среди трех держав: России, Австрии и Пруссии — в XVIII–XIX вв.) и особенно репрессивный характер российского правления на польских землях, Россия в отличие от Запада как пространства свободы воспринималась поляками как Восток — как пространство насилия и произвола, изгнания и мученичества. Невзирая на географическую карту и независимо от административных границ, Восток для поляков «восходил» сразу же за рубежами давних польских земель — можно сказать, прямо за Бугом. И более того, Россия была для них Азией или даже Сибирью, чья протяженность, гипертрофированная мартирологическим воображением, как бы заменяла собой всю империю³.

* Благодарю за помощь в работе Бориса Михайловича Примазона, Инну Давидовну Фок (Узбекистан), Лонгину Димант, Якуба Марголита (Канада), Георгия Роз (Израиль). Особая благодарность — Мареку Вебу (США).

Евреи, жившие в Польше в течение столетий, разделяли с поляками ее историю и ее мифы. Как бы ни складывались их отношения с поляками внутри страны (а на разных исторических этапах они складывались по-разному), несомненным является факт их участия в польском национально-освободительном движении и восприятие ими обретения Польшей независимости как триумфа национальной идеи. В межвоенное двадцатилетие евреи, особенно из среды городской интеллигенции, нередко идентифицировали себя как поляки-евреи, фиксируя тем самым свою двойную национальную принадлежность, или даже просто как поляки, открыто декларируя свою ассимилированность. Многие из них ощущали себя неотъемлемой частью польского, европейского, оксидентального мира и считали Россию пространством попрания свободы.

В то же время значительная часть евреев видела в советской России страну притягательного социального эксперимента, направленного на достижение всеобщего равенства, к которому они так стремились.

Так или иначе, но с началом Второй мировой войны для подавляющего большинства евреев — и увлеченных левыми идеями, и веривших, что Красная Армия спасет их от гитлеровцев, и не принимавших советскую Россию, не без основания полагая, что она разрушит традиционную еврейскую жизнь, — спасение означало Восток, и путь евреев мог лежать только на Восток.

Немного хронологии.

1 сентября 1939 г. — гитлеровская Германия совершает агрессию против Польши.

В сентябре 1939 г. оккупанты вводят для евреев (пока только для принадлежавших им учреждений) «знак отличия» — звезду Давида.

В октябре 1939 г. гитлеровцы создают первое в Польше гетто.

До конца октября 1939 г. СССР оставляет открытой для беженцев западную границу — многие евреи покидают Польшу. В последние месяцы 1939 г. въезд беженцам ограничен, а позднее переход из Польши в СССР станет нелегальным.

В октябре 1939 г. происходит новый раздел Польши: СССР включает в свою территорию восточные польские земли. Всех поляков принуждают принять советское гражданство. Местное население называет их не иначе как «западниками», в свою очередь для советских властей «западники» — «нежелательный элемент», скопившийся в большой массе в приграничной зоне.

В феврале 1940 г. поднимается первая волна депортации в глубь страны (всего их будет четыре) 1 млн. 200 тыс. граждан Польши. Примерно треть из них — евреи. Это гражданское население присоединенных к СССР польских земель, беженцы, уходившие от фронта,

добровольно переселившиеся, военные, интернированные в 1939 г., и др. Депортация длится до лета 1941 г. Бывших польских граждан, чаще всего с политическими обвинениями, массово вывозят в трудовые лагеря: в Сибирь, на Север, в Восточный Казахстан...

В июне 1941 г. гитлеровская Германия вторгается в СССР.

В июле 1941 г., в результате того, что Польша становится союзником СССР, советское и польское эмиграционные правительства устанавливают дипломатические отношения и подписывают договор, в силу которого «бывшим польским гражданам» начинают возвращать право на польское подданство.

По амнистии, о которой договариваются правительства, польских граждан освобождают из заключения.

В июле-августе 1941 г., в соответствии с соглашением, формируется Польская Армия в СССР (известная в дальнейшем как Польская Армия на Востоке или Армия Андерса). В нее массово вступают польские граждане.

В декабре 1941 г. советские власти лишают права на восстановление польского гражданства национальные меньшинства, в том числе евреев⁴.

В июле-августе 1942 г., после серьезных разногласий с советским правительством, в частности относительно численности армии, в Иран с Польской Армией уходят около 115 тысяч поляков.

В марте 1943 г., как бы в противовес охлаждению отношений между советским и польским правительствами, создается прокоммунистическая организация польских эмигрантов в СССР — Союз польских патриотов.

В апреле 1943 г., в связи с созданием Комиссии по расследованию преступлений в Катыни, СССР и польское эмиграционное правительство разрывают дипломатические отношения.

В мае 1943 г. по инициативе и при содействии Союза польских патриотов организована Первая дивизия пехоты им. Т.Костюшко (позднее Польская Армия в СССР).

В сентябре 1944 г. Польский Комитет Национального Освобождения подписывает договор с западными республиками СССР о репатриации польских граждан.

В июле 1945 г. всем бывшим польским гражданам, имевшим польское гражданство до 17 сентября 1939 г., его возвращают, и они получают право на репатриацию.

Но вернемся в 1939-й...

Итак, у западных рубежей Советского Союза для поляков начался Восток.

Польский писатель Юзеф Чапский, один из миллиона двухсот тысяч, в своей книге «Старобельские воспоминания» (1944) записывает: «Первый советский город... *Другой мир* (подчеркнуто. — О.М.)». Не случайно еще один писатель с подобной судьбой, Густав Херлинг-Грудзинский, называет свою книгу о годах, проведенных в СССР, «Другой мир» (1950).

Это понимали все. И те из польских евреев, чей энтузиазм по поводу перспектив советского общества был неиссякаем, и те, кто изначально относился к нему скептически, и те, кто в действительности был далек от политики и заявлял о своей «правильной» идеологии из конформизма, и те, кто быстро расставался с коммунистическими иллюзиями. И те и другие полной мере испытали, как в СССР на практике реализуется прекрасная мечта о равенстве.

Итак, в силу советско-польских соглашений тех поляков, кто не стал бойцом Польской Армии (ее численность ограничена договором), кого не успел расстрелять НКВД и кто не умер от голода, болезней и унижения, переселяют в более мягкий климат — в Среднюю Азию.

Бежавшие в 1939 г. на восток, они предполагали, что останутся не дальше Львова, — история занесла их в предгорья Тянь-Шаня и Памира. Они оказались в непривычном климате, в среде чужих народов и языков, чужого социума и идеологии, чужой культуры и религии. Но шока не последовало. Он был перенесен раньше: на «вновь приобретенных» западных землях Советского Союза, и затем, по мере продвижения в глубь страны, в Среднюю Азию, в эшелонах, в вагонах для перевозки скота — уже не говоря о тех, кто прошел лагеря. Для последних знакомство с народами Средней Азии произошло именно там, где было много так называемых «нацменов» («басмачей» и «национал-уклонистов»).

Вот вехи жизни одного польского еврея, оказавшегося в Средней Азии:

Михаил Шаевич Блюменкопф. Родился в 1913 г. в Варшаве. В 1935 г. закончил в Варшаве технический вуз, получил диплом инженера-электрика. В том же году вступил в Коммунистическую партию Польши, членом которой был до 1939 г. После окончания вуза до 1939 г. работал инженером на одном из варшавских заводов. С 1939 до 1940 г. работал в Ворошиловградской области. С 1940 по 1942 г. — в Свердловске. В 1942 г. прибывает в Ташкент и попадает в ГУЛАГ НКВД — работает в рудниках в Свердловской области. В 1944 г. возвращается в Ташкент⁵.

Еще одно свидетельство — Ребеки Ферштенберг: «В декабре 1939 г. я выехала во Львов, где находился мой муж. Шла без багажа с 9-месячным ребенком. В том же году 1 июня⁶ нас выслали в Архангельскую

область. Там я жила до 18 сентября 1941 г. С того времени до сентября 1943 г. находилась в колхозе Ягитурмуш⁷, Ленинский район Джалалабадской области. Сейчас живу в Ленинджо⁸. Мой муж находится в «Трудовом фронте» в Сибири...»⁹

Таким в основных чертах был маршрут подавляющего большинства «эвакуированных»¹⁰, меняются лишь географические названия: вместо Ворошиловграда может быть Ростов или Саратов, вместо Свердловска — Красноярск или Бодайбо (*dalna tajga*, как называли ее поляки)¹¹, а вместо Ташкента — Ленинабад или колхоз «Социализм». Полумертвые, люди добираются до места¹².

Для прибывших сюда польских евреев этот Восток не был узбекским, таджикским, туркменским, киргизским или казахским. Это было не дробное, а общее пространство: *советский* Восток. Разумеется, они знали, в какой республике жили, но скорее — как знают адрес: улицу и номер дома. Этническое и языковое разнообразие Средней Азии они дифференцировали с трудом и не всегда, что отчасти объясняется и близостью языков (все, кроме таджикского, тюркские), и смешанным национальным расселением — узбеки компактно проживали не только в Узбекистане, но и в определенных районах Таджикистана и Киргизии, казахи — Узбекистана и т.п. Местные жители, как правило (хотя и не всегда)¹³, проявляли сочувствие к польским евреям, которые, конечно, отделяли людей от власти, понимали, что во время войны всем непомерно тяжело. Но все-таки у поляков было свое культурно-историческое представление об этом советском пространстве как о пространстве деспотическом, и оно *в целом* поддерживалось их личным опытом. Можно сказать, Средняя Азия при всем ее знании была для них Сибирью, в которой, правда, имелась своя экзотика: арыки, халаты, тубетейки, тутовый шелкопряд, кишимш, хлопок — но не более того. Подлинная глубина этноса, среди которого они жили несколько лет, осталась за пределами их восприятия. Может быть, именно потому, что они не столько жили, сколько выживали.

Что рассказывают нам об их жизни здесь документы?

Среди десятков тысяч польских евреев, прибывших в Среднюю Азию, были столичные жители и жители местечек¹⁴, глубоко верующие и воинствующие атеисты, соблюдающие национальные традиции и ассимилированные, образованные и малограмотные, состоятельные и бедняки. Война уравнила всех.

Городские жители оказывались в колхозах и кишлаках, скитались из одного поселка в другой¹⁵, селились в бараках¹⁶ и на складах, а если повезло — в общежитиях. Одних подселяли к местным жителям, другие устраивались сами — на квартиры. Большинство жили в тесноте и антисанитарных условиях¹⁷.

В межвоенной Польше еврей был синонимом портного, сапожника или мелкого торговца, но ремесленники здесь редко оставались мастерами, будучи вынуждены заниматься сельским хозяйством, работать в колхозах «верблюдчиками» и «на хлопке», а в рудниках — породотборщиками, откатчиками, «спусчками угля»¹⁸. Работали тяжело и жили впроголодь. «Умираю голодной смертью...», «погибаем от голода...»¹⁹, — таких слов отчаяния в документах множество. Кроме субъективных, есть и официальные и полуофициальные тому свидетельства: например, инструкция по использованию в пищу так называемых бракованных (т.е. протухших. — О.М.) яиц, или докладная записка об обследовании польского «индома», или направленное из Самарканда в Москву сообщение об отсутствии продуктов для столовой²⁰. Помощи от Наркомторга не хватало, но все-таки многих она спасла от голодной смерти. Резолюции на заявлениях: выдать «0,5 tl(uszczu), 0,4 ml(eka), 2 p zupy groch., 0,1 cherbaty» («0,5 жира, 0,4 молока, 2 п горох. супа, 0,1 чая»)²¹ — для тех, кто месяцами ел вымоченные в воде виноградные листья, это были деликатесы.

Их съедал голод и болезни: туберкулез, малярия, тиф, кишечные инфекции. Страшнее голода и болезней была неуверенность в завтрашнем дне. Они не знали, сколько времени продлится эта жизнь «на Востоке», что происходит с их близкими. Пытались узнать, посылали в учреждения, которые занимались делами поляков, просьбы с фамилиями и фотографиями родных. Они искали опоры — им отвечали: такой-то неизвестен²² (следовало читать: опоры нет).

Документы свидетельствуют о том, как люди боролись за выживание. Остро нуждались не только в продуктах, но и в одежде: «Я голый и босый...» — эта фраза повторяется в документах сотни, если не тысячи раз²³. Следов культурной, духовной жизни почти нет. Но нет сомнения: выжить можно было только благодаря духу. Значит, что-то оставалось за пределами документов, что-то, что помогало выстоять. Что это было? Обыкновенные человеческие чувства? Ведь рождались дети²⁴. Вера, иудейская вера? На этот вопрос у нас пока нет ответа²⁵. Он требует расширения поля исследования: привлечения архивов синагог (в тех населенных пунктах, где они имелись), изучения отношений польских евреев с местными евреями-ашкеназами (которые в основной массе не были религиозными) и с бухарскими евреями (которые в силу своей «восточности», скорее всего, были польским евреям далеки).

Можно предположить, что польским евреям помогла надежда вернуться — в Польшу, на Запад, в лоно других ценностей. Эти полуголодные люди в лохмотьях должны были что-то видеть во сне, кроме окружающей действительности. Что-то, что укрепляло их дух.

И чем далее они удалялись от родины в пространстве и во времени, чем сильнее были попытки превратить их в советских людей, вероятно, тем идеальнее им представлялась Польша — несмотря на антисемитизм, бушевавший там до войны, и на трения между поляками и евреями в СССР. Польша все еще оставалась для них домом²⁶.

Евреи стремились во что бы то ни стало восстановить польское гражданство: главное — быть «европейцем» (так их называли в Средней Азии), не подлежать советскому «закону».

Евреи пытались попасть в Армию Андерса, которая уходила на Запад через Восток, через Иран и Палестину. Некоторым удалось (примерно 4 тыс. солдат и офицеров и 2,5 тыс. гражданских лиц). Но в целом по разным причинам евреям доступ туда был ограничен²⁷. Они пытались прорваться в Шанхай и в Палестину. Некоторым удалось (соответственно 10 тыс. и одна тысяча человек). Восток сам по себе их не страшил — они не хотели оставаться лишь в пространстве бесчеловечности. Этим также — а не только патриотизмом и желанием уничтожить фашизм — объясняется то, что евреи массово откликнулись на призыв в Первую дивизию пехоты имени Т. Костюшко²⁸.

По советскому замыслу, из польских евреев следовало сделать граждан СССР, страны, где Запад — не Запад, Восток — не Восток, а «родина пролетариата». Правда, для поляков были открыты польские школы²⁹, на польском языке выходила пресса (один журнал имел весьма характерное название «Nowe Widnokręgi» — «Новые горизонты»), но цель их была исключительно идеологическая. Союз польских патриотов при всей своей энергичной деятельности по оказанию помощи полякам в СССР был в полном смысле советской организацией, со свойственной ей бюрократией и новоязом³⁰. Разве не показательно, что в документах, исходящих из СПП, поляки назывались «польгражданами», а Комитет по делам польских детей в СССР — «Компольдетом»? Пропагандистская машина работала на полных оборотах на всех участках: в Самарканде, например, существовала столовая «для детей польских патриотов». Формально — для детей, приписанных к Союзу польских патриотов, в подтексте — для детей «настоящих» польских патриотов (а не агентов империализма), которым советские власти, выполняя свой интернациональный долг, оказывают помощь.

Польские евреи жили в восточном пространстве — пространстве всеобщего контроля и бюрократии. Они участвовали в ранее неведомых им формах деятельности, например в социалистическом соревновании на звание «лучшая посудомойка», «лучшая уборщица»³¹.

В самаркандском архиве сохранились официальные государственные решения, касающиеся польских граждан в Средней Азии, объяснительные и докладные записки, акты бесконечных проверок и ин-

вентаризаций. Сообщения о деятельности Уполномоченного рекой текли в Москву, в Управление по снабжению поляков, в Упрособторг Наркомторга, а оттуда в Самарканд «спускались» инструкции, циркуляры, приказы, распоряжения по самым нелепым поводам³², а также о распределении «благогрузов», о проведении проверок, нередко грозные по тону — «в случае нарушений»³³. А злоупотребления, конечно же, были³⁴. Центр был, что называется, в курсе — кажется, будто он имел в Самарканде свое «недремлющее око». И Москва реагировала. Сноситься с центром надо было по мельчайшим вопросам³⁵, на все испрашивалось разрешение местного начальства³⁶, затем информация из центра рассылалась в местные учреждения и организации: «Препровождая копию с копии письма ГАПУ от... за №...»³⁷. Этой чрезмерной канцелярщиной объясняется, что в самаркандском архиве столь велика группа документов «Заявления граждан».

Заявления стекались в Самарканд в контору Уполномоченного Наркомторга СССР по снабжению эвакуированных поляков со всей Средней Азии и в основном касались выделения помощи, получаемой от различных местных, союзных, а также международных и еврейских благотворительных организаций.

Любое прошение подписывалось заявителем, а затем удостоверялось печатью организации, в которой он работал, и подписью вышестоящего лица. Иногда подтверждений требовалось два: с места работы и из горсовета. Помощь получали в Самарканде по доверенности посланцы из разных городов и весей Средней Азии. К заявлениям от больных прилагались медицинские справки. Все проверялось и перепроверялось, подтверждалось и переподтверждалось: справка дана в том, что по месту работы такой-то хлебной карточкой не пользовался... такой-то хлебную карточку получил... такой-то хлебную карточку не получил, такому-то разрешение на ремонт обуви выдано, а такому-то — нет³⁸. Бумаги плодили новые бумаги. Сохранялась каждая записка — видимо, так легче было уберечься от обвинений в злоупотреблениях³⁹. Читая эти документы, ощущаешь атмосферу не только всеобщей нужды, но и всеобщей подозрительности и недоверия. Они удостоверяют не только время войны, но и время страха.

То, на чем граждане писали заявления, значимо не менее, чем то, о чем они писали. Бумага была в дефиците. Ее не хватало даже в государственных учреждениях (в архиве есть любопытное тому свидетельство — телеграмма, посланная в самаркандский «Упрособторгбыворвер» (Соломон Яковлевич Быворвер был Уполномоченным Упрособторга) из центрального, московского: «Выделенный лимит триста листов бумаги срочно получите наряд 3541 ташкенте конторе бланкоизда-

тертва (следует читать «издательства». — О.М.)» — при этом телеграфные строчки были наклеены на страницу из какой-то «идеологической» книги на узбекском языке: речь шла о Ленине, большевиках, XVI партсъезде⁴⁰. Положение с бумагой было напряженное, и лишь для пропагандистской литературы ее было в избытке. А вот заявления писали на обрывках — в самом прямом смысле, — на всем, что попадалось под руку. Писали на обороте или даже поверх или поперек написанного ранее текста, на страницах, вырванных из классного журнала⁴¹, на расходных ордерах, фактурах, заявках, пропусках, на корешках удостоверений, на обороте багажных квитанций, синек, чужих медицинских справок, писали на миллиметровке с чертежами, штатных ведомостях, на бланках «Сведения о заготовке хлопка-сырца по сельсоветам за пятидневку», заполненных в «другую историческую эпоху», в 1935 г., на «папильонаже» (формах исследования заражения бабочек-самцов), на избирательных бюллетенях, на схемах линий перевозок германских армий, на почтовой оберточной бумаге с обратным адресом в Палестине, на почтовых карточках, адресованных кому-то в далеком Львове, но никогда не посланных⁴². Иногда один и тот же клочок бумаги использовали трижды! Этот своего рода палимпсест: квитанция об оплате за квартиру и свет, поперек — требование — заказ угля для бани, а на обороте — заявление лаконичное и красноречивое: «Прошу уделить мне вашу помощь»⁴³ — приоткрывает для нас фрагменты той тяжелой и скудной жизни.

Показательно, что в качестве чистого листа использовали и страницы узбекских и казахских газет и книг. Текст на непонятном языке не был коммуникативным, он вообще не считался текстом. Местные языки пришельцы не изучали. Тактика коммуникации диктовала знание другого — советского метаязыка, на котором говорили те, от кого зависело получение «благ», а значит возможность выжить. Выжить означало приспособиться: вступить в партию, в комсомол⁴⁴. И приспособленцев, и убежденных коммунистов было немало. Но были и другие...

Среди документов архива есть письмо, посланное Уполномоченному Наркомторговли в Самарканде 12 января 1944 г. с просьбой разыскать посылки, отправленные адресату через Польский Красный Крест в Палестине в 1941 и 1942 гг.⁴⁵ Это письмо написано на обороте обложки книги Сталина на казахском языке «Улы Октябрь Социалистик революция — сынын XXVI жылдағы» (Алматы, 1943)⁴⁶. Пожалуй, не будет натяжкой сказать, что в определенном смысле оно свидетельствует не только о том, как люди боролись с нуждой, но и о состоянии их духа. Еще более убедительный пример: сам Уполномоченный Наркомторга СССР (в местных отделениях — во избежание

злоупотреблений и жалоб на злоупотребления — работали поляки) в Самарканде писал свое послание начальству в Москву на обороте портрета Сталина, вырванного из какой-то книги: «На Ваше отношение от 25/VII 44 г. № 37–5/1382 по вопросу о протоколах сообщаем следующее: Протоколы за №№ 15 и 16 1/122 отправлены 29/IX 43 г. в одном конверте, постольку поскольку Вы № 16 получили у Вас должен быть и № 15. Протоколы Вам высылаются (зачеркнуто. — О.М.) высланы все. С.Боровер»⁴⁷. Здесь очевидно раздражение Уполномоченного московскими чиновниками. Но, думается, не только. В этом документе, как и в цитированном выше, есть отзвук свободы, которую пишущие «на Сталине» привезли с собой из Польши, с Запада. Мы далеки от мысли видеть в этих записанных сталинских страницах вызов, провокацию или хотя бы демонстрацию смелости — просто эти люди не были заворочены любовью к Сталину, равно как и не были парализованы страхом при виде одного только имени вождя⁴⁸.

Штрихи к этому совокупному психологическому портрету польского еврея в Средней Азии добавляет анализ языка документов (заявлений), анализ того, что, с одной стороны, лежит на поверхности, а с другой — залегает на самой глубине, ибо, как верно замечено, не мы говорим слова — слова говорят нас. Лингвистическая деталь, безусловно, может быть полноценным репрезентантом действительности. Слово, рассматриваемое как часть исторического, идеологического, культурного, психологического дискурса, начинает не просто звучать — оно начинает говорить. Языковое поведение, даже если оно кажется (или может показаться) абсолютно прагматичным, отражает глубинные слои сознания.

Все сохранившиеся в архиве заявления в языковом отношении можно разделить на три группы. Одни написаны на польском языке, другие — на русском, а третьи являются разноязычными.

Русский язык польские евреи знали плохо. Пользуясь сходством двух славянских языков, они лишь слегка видоизменяли польский, записывая его кириллицей⁴⁹. (Для некоторых польский был родным, для большинства, которое считало своим родным языком идиш, польский был языком повседневно используемым, языком общения; разумеется, уровень владения им был разным в зависимости от места проживания, образования, социального статуса человека)⁵⁰. Заявления на русском языке часто написаны одним почерком (писал самый грамотный?) и по шаблону: «Нуждаюсь голая, босая...»⁵¹. Шаблон в тактике коммуникации был отличным средством: как уже было сказано, чтобы выжить, надо было освоить язык, понятный дающему. Этим же объясняется уподобление языку пропаганды собственного языка заявителей, которые сами себя именуют гражданами или даже товарищами⁵².

Однако необходимо отличать особенности тактики коммуникативного поведения от языковой стратегии, отражающей всеобщие, духовные структуры.

Обратимся теперь к разноязычным заявлениям, т. е. к тем, в которых польский язык выступает в сочетании с русским. Интересно проследить характер русских вкраплений (слов в оригинальном русском звучании, записанных латиницей, своего рода варваризмов) в польский текст и функции этих инкорпорированных элементов.

Как правило, это лексические единицы с определенной семантикой: названия профессий — *zabojcik*, *gruszczyk*, *dwornik*, *uborszczysa*, *schotowod*⁵³, названия учреждений (включая имена собственные) — *szachta*, *zawod*, *litejny cech*, *chlopzagotpunkt*, *chlopkom*, *silpo*, *leschoz*, *proizwodstwo*, *rudnik*, *malarpunkt*, *rajzdraw*, *GES*, *balnica*, *palata*, *szwejnna artel*; *Krasnyj Dwigatel*, *Raboczy Bataljon*⁵⁴, другие характерные советские понятия — *lagier*, *trudfront*, *trudarmejec*, *pajok*, *chlebna karteczka*, *powiestka*, *sprawka*, *zajawlenije*, *zarplata*, *komandirovka*⁵⁵, а также наиболее распространенные явления, с которыми им приходилось повседневно сталкиваться, — *bolezn*, *istoszczony*, *nieposilny*⁵⁶.

Иногда подобные слова писали в заявлениях в кавычках, словно подчеркивая, что они чужие, иногда в польский текст вставляли русские слова в кириллической графике, порой их начинали писать в латинской графике и вдруг, будто спохватившись, переходили на кириллицу: «*Ррасцјему в Сельпо...*» («Мы работаем в Сельпо...»)⁵⁷.

Таких слов, как «забойщик» или «хлопок», польские евреи никогда не знали, их не было в их лексиконе ни в польском языке, ни в идиш, им не было аналогов в их системе понятий, их попросту не было в их жизненном опыте. Такая неприлаженность польских и русских слов друг к другу отражала своего рода языковой конфликт и, более того, антагонизм уже не только языка, но и мышления, образа жизни, была отпечатком внутреннего межкультурного и междивизиационного столкновения.

Показательно, что в истории польской литературы писатели — и великие романтики, откликавшиеся на национально-освободительные восстания XVIII–XIX вв., и экспрессионисты, очевидцы русской революции 1905 и 1917 гг., а затем и свидетели и участники Второй мировой войны — широко пользовались приемом русскоязычных вкраплений в польский текст, подчеркивая чужое пространство и чужую систему ценностей, отсылая к чужому мышлению.

Так, значимо употребление в литературе слова *Sybir*, а не *Syberia*, т. е. русской, а не польской ономастики. Русское наименование в латинской графике — такая операция удаляла слово от его географического значения и наполняла его условно-символическим смыслом.

Sybir, этот «политический ад» (Мицкевич), *ziemia sybirska, lud sybirski, cmentarz sybirski* (не *syberyjski*), аналогично — *wiara ruska* (не *rosyjska*), бессчетное число раз встречается у Мицкевича и Словацкого, Красиньского и Норвида, а свидетельства так называемых бывших польских граждан в СССР запечатлены в антологии с «классическим» названием «*W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali*» («В сороковом сослали нас в Сибирь») ⁵⁸. А уже после войны в Народной Польше имело хождение (разумеется, в неофициальной речи) разноразличное наименование Советского Союза — *Związek Sowietcki* (вместо официального перевода *Związek Radziecki*), где польское слово *związek* (союз) выступает в сочетании с русским словом *sowiecki*, придавая всему словосочетанию значение чуждости, навязанности обозначаемого им явления. «Антироссийским», «антисоветским» этот прием был всегда: варваризмы в первую очередь обозначали репрессивную власть, ее атрибуты, протест против самовласти: *turma, katorga, kibitka, posilenie* (романтики), *naczelstwo, żandarın, ochrana, turma, tiuremszczyk, dopros, bumagi, miateżnik* (Т. Мичиньский), *czerezwyczałka, szpioń, stawić pod stankę* (Виткаций) и, наконец, *bojce* (Ю. Чапский), *proizwoł, pieriesyłka, łagpunkt, progul, lesopowal* (Г. Херлинг-Грудзинский). Одно поколение сменяло другое, а стереотип России как восточной деспотии в польском восприятии лишь укреплялся.

В самаркандских заявлениях, авторство которых принадлежит отнюдь не писателям и подчас даже людям необразованным, этот культурно-исторический стереотип воспроизводился инстинктивно. Языковая избирательность срабатывала автоматически. Они бессознательно не хотели полонизировать «чужие» слова, не желали впускать в свой мир враждебную им действительность.

Учеными много написано о языке тоталитарных режимов. В языке польских документов самаркандского архива, пусть на малой исторической и лингвистической территории, отражаются общие закономерности: язык способен не только зафиксировать историю, но и — опосредованно — дать ее моральную оценку. Разноразличие этих документов отражает — в малом, фрагментарном масштабе — «разноразличие» культур, понимаемых как западная и восточная. Разноразличие со всей очевидностью убеждает, что советский, социалистический миф, под гипнозом которого долгие годы находилась значительная часть народа в Советском Союзе, для поляка (и для польского еврея) был всего-навсего хорошо реализованной идеей «плохого» Востока. Для того, чтобы жить и чтобы выжить, у них был другой, свой миф — миф «хорошего» Запада.

В этом свете кажется закономерным, что именно документы третьей группы: заявления, написанные на польском языке, — сохра-

нили следы патриотизма, национального и человеческого достоинства. Например, в заявлении школьной учительницы с просьбой выдать ей одежду, ибо необходимо сохранять авторитет и престиж польского учителя: «Ja jako nauczycielka szkoły Polskiej nie mogę poprostu zachodzić do klasy w moim stroju... [To] poniża autorytet i prestiż nauczyciela Polskiego». «Jeżeli byłbym bardziej kulturalnie odziany, mógłbym możliwie przyjąć bardziej poważną pracę i tem samym polepszyć swój byt», — пишет инженер. А к одному из заявлений сделана приписка, крайне неожиданная даже в таком произвольном жанре, как заявление: «Niech żyje Polska Niepodległa»⁵⁹. Можно предположить, что такого типа «вольнодумные» фразы были написаны по-польски из опасения, что они могут стать поводом для обвинений в преданности буржуазной Польше (написанные по-польски они были менее доступны тем, кто следил за настроениями «западников»). Но почему бы не предположить, что кто-то из авторов не мог (или не хотел) писать эти фразы по-русски? Что у кого-то рука не выводила кириллицей «Да здравствует независимая Польша!»? Что в определенных случаях русская и польская языковая стихия оказывались совершенно несовместимыми?

Повторим: в 1945–1946 гг. в Польшу вернулись более 200 тысяч евреев из СССР⁶⁰. Многие из них спаслись в Средней Азии⁶¹.

На родине они застали пепелище. Польша, Европа, Запад были до предела ожесточены войной.

В 1945–1946 гг. после ряда погромов польские евреи, и среди них спасшиеся в Средней Азии, массово уезжают в Палестину. Происходит репатриация репатриированных.

Эти польские евреи избежали физического уничтожения на Западе (их миновало «окончательное решение еврейского вопроса») и морального уничтожения на Востоке (их не удалось превратить в «винтиков» советской системы). Но культурно-цивилизационная мифологема Запад — Восток была для них разрушена, разрушена под напором истории, которая как бы сводила Запад и Восток к общему знаменателю.

Польские евреи вновь устремляются на Восток. Опыт жизни под знойным солнцем Средней Азии безусловно пригодится им в Израиле, на восточной земле, где они собираются строить жизнь по западной шкале ценностей, поддерживая старый и творя новый миф о Земле Обетованной.

Мифы всегда помогают жить, потому что они всегда проще реальности.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 По данным, приведенным узбекским историком Ш. Пиримкуловым, только из Самарканда получали снабжение 94 тыс. польских граждан, расселенных в республиках Средней Азии и Казахстане. См.: *Пиримкулов Ш. Польские подданные в Самарканде (1941–1946 гг.)*. Самарканд, 1999. С. 4 (на узбекском языке).
- 2 21 мая 1943 г. Совнарком Союза ССР издал Постановление «Об улучшении материальной помощи полякам, эвакуированным из западных областей Украины и Белоруссии в тыловые районы СССР». В соответствии с этим постановлением в 11 городах, по месту нахождения отделений бывшего посольства Польши, и в том числе в Самарканде, были учреждены должности Уполномоченных Народного Комиссариата Торговли СССР по снабжению эвакуированных поляков. В Самаркандском областном государственном архиве находятся более 100 единиц хранения (фонд 913), связанных с деятельностью Уполномоченного и его аппарата. Это переписка с Наркомторговли СССР, протоколы заседаний Комитета общественной помощи при Уполномоченном Наркомторговли СССР, заявления польских граждан на получение промышленных и продовольственных товаров, справки с места работы, справки о состоянии здоровья, списки эвакуированных за 1943–1945 гг. и др.
- 3 «В [польском] коллективном сознании с Сибирью отождествлялась и ссылка в европейскую (до Урала) часть России или на Кавказ». См.: *Słownik literatury polskiej XIX wieku*. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1991. S. 901.
- 4 Позднее те из представителей национальных меньшинств, кто до войны постоянно проживал в Центральной или Западной Польше, могли быть (но далеко не всегда были) признаны польскими гражданами.
- 5 См.: Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 173.
- 6 Видимо, Ферштенберг ошибается: имеется в виду 1940 г.
- 7 Янгитурмуш — «Новая жизнь».
- 8 Правильно: Ленинджол.
- 9 «W grudniu 1939 r. wyjechałam do Lwowa, gdzie przebywał mój mąż. Szłam bez bagażu z 9-miesięcznym dzieckiem. W tym że roku 1 lipca wysłali nas do Archangel-skiej oblasti. Żyłam tam do 18 września 1941 r. Od tego czasu do września 1943 r. przebywałam w kolchozie Jagiturmu (Jangiturmusz. — О. М.) Leninski rejon Działal-badzkiej oblasti. Ostatnio mieszkam w Leninzdio. Mąż mój jest w „Trudowym froncie na Syberja...”» (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 106. Л. 58). Здесь и далее документы цитируются с сохранением орфографии оригинала.
- 10 В архиве множество подобных свидетельств: «Wysłałam teraz z więzienia» («Я только что вышла из тюрьмы...») — заявление Эстеры Блауштейн, январь 1944 (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 16); «4 lat odbywałam w obozie prasy...» («4 года я находился в трудовом лагере...») — заявление Абрама Кельнера от 20.12.1943 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 43 и др.).
- 11 См., например, заявления д-ра Кароля Стадлера или Мечислава и Ядвиги Вайн-траубов (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 67, 68).
- 12 Добирались месяцами, по дороге их нередко грабили — что же с них можно было взять? См., например, Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 68, 70 и др.
- 13 См., например, докладную записку по результатам обследования польского ин-дома (дома инвалидов. — О. М.): «Вопрос безопасности в индоме очень серьез-ный. Дом находится за окраиной города и часто инвалидов избивают хулиганы...»

- (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 325). Документ такого рода в архиве — не единственный. Очевидцы отмечают также частые случаи издевательств над польскими евреями в связи со слабым знанием ими русского языка.
- 14 Из документов следует, что среди них были уроженцы Варшавы, Кракова, Лодзи, Белостока, Люблина, Ченстоховы и др. До войны евреи в Польше жили преимущественно в городах. В 1931 г. — 76,4% от общего числа. См. *Dzieje Żydów w Polsce. 1918–1939. Wybór tekstów źródłowych*. Warszawa, 1993. S. 7.
 - 15 Например, заявление Д. Тененбаум от 9.01.1944 г.: «Четыре года скитания по разным поселкам и колхозам...» (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 61).
 - 16 По свидетельству очевидца, жившего в годы войны вместе с польскими евреями и другими эвакуированными, в Ташкенте, в бараке на ул. Кладбищенской, неподалеку от завода им. Ворошилова № 702 (Ташсельмаш), на котором они работали. К бараку можно было пройти только через кладбище, где их не раз грабили... В бараке на 50 человек была одна печка...
 - 17 «Mydła w ogóle nie ma» («Мыла вообще нет...»), — заявление Хан Коллер от 12.01.1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 9); «Uprzejmie proszę o mydło i gesty grzebień...» — заявление Ханы и Херша Боских от 11 января 1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 49); из докладной записки по результатам обследования польского индома от 10.06.1944: «Санитарное состояние ниже скверного: а) помещение грязное, запущенное, б) постельного белья нет, койки грязные, завшивленные, клопы, блохи и пр., в) инвалиды грязные, остатки рваного белья на них не стирали месяцами...» (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 325).
 - 18 См., например, Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 85, 86, 125, 132, 148, 155 и др. Имевшие образование (врачи, фармацевты, учителя, экономисты, бухгалтеры), как правило, устранились на работу по специальности.
 - 19 «Zarobek starcza zaledwie na wykupno chleba...» — заявление Эстеры Сон от 8.01.1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 8); «...znajduję się przed śmiercią głodową...» — заявление Й. Данушевского, б/даты (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 22); «giniemy z głodu...» — заявление Рубинфельд, б/даты (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 89).
 - 20 Инструкция по переработке и использованию бракованных яиц в предприятиях общественного питания от 13.08.1943 г. Приложение к циркулярному письму Наркомторга Союза ССР «О порядке использования яиц, поступающих в предприятия общественного питания» с указанием метода сортировки «путем просвечивания на электролампу», порядка оприходования «в присутствии директора предприятия общественного питания, заведующего кладовой и представителя от общественности» и описанием годных для переработки яиц: имеющих «нерезко выраженные... плесневый туман и... порочащие запахи...» (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 16, 17); докладная записка об обследовании польского индома от 10.06.1944 г.: «...инвалиды голодают в буквальном смысле слова. У всех почти истощенный, жалкий вид. Есть дни, когда вообще нет вареной пшеницы, а вообще кормят из котла один раз жиденьким супом, „водичкой“...» (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 325); докладная от 24.08.1944 г.: «Для столовой, обслуживающей контингент 200 чел. ...При отсутствии дополнительного получения продуктов столовая сможет существовать только до ноября м-ца с/г при однообразном питании: суп гороховый, фасоль на первое и второе блюдо» (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 204).
 - 21 См.: Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 65 об. и др.
 - 22 Пеклер (инициалы не указаны) в письме от 28.03.1944 г. Уполномоченному Наркомсортторга в Самарканде сообщает, что узнала о том, что ее мужа «...увезли немцы. ...Я не знаю о своем муже с 1941 г. ...Знаете ли вы кое что о судьбе моего

- мужа Пеклер Абрам Исакович. Посылаю вам мужа фото-карт. Может быть вы не помните фамилию, то может быть по этой фото-карт. знаете о нем. Очень очень вас прошу ответить...» (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 190). На обороте письма написано: «Послать фото обратно. Сообщить, что Пеклер нам не известен». Но в деле сохранилась фотография Пеклера. Возвращенная жене, она вернулась обратно в контору Уполномоченного в Самарканд: «За выбытием адресата возвращено...» Это письмо — тщетная надежда найти человека, затерявшегося между двумя тоталитарными государствами, присланное в самодельном конверте, сделанном из бланка фактуры пекарни, со ст. Чу Джамбульской обл., в который была вложена, быть может, единственная фотография, сохранившаяся из прошлой, невероятно отдалившейся жизни... И сама эта одинокая фотография в ветхой папке самаркандского архива, и неожиданное «выбытие адресата» (уехала, переехала, умерла?) — осколок чьей-то горькой жизни, чьей-то несчастливой судьбы...
- 23 «Jestem goły i bosy...» — заявление Бориса Финкельмана от 8.01.1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 40); «Обувь и одежда совершенно рваные, так что мы уже почти не в состоянии работать в поле...» — заявление Фейги Медовник и Ханы Бухблеттер, 1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 18).
- 24 Среди заявлений есть просьбы о предоставлении помощи от беременных и только что родивших женщин. Например, Хая Штурм просит выделить самое необходимое для младенца и прилагает справку, которая также сохранилась в деле: «Копия. Справка выдана Штурем (не Штурм. — О.М.) Раиса девочка 1943, 10/XII Больница г. Самарканд». Вот такое «телеграфное» свидетельство о рождении... (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 80, 84, 124).
- 25 Как свидетельствует один из интервьюированных, бывший солдат Армии Андерса, чья часть до ухода из СССР стояла в Ленинабаде (Таджикистан), проживавшие там польские евреи — гражданские лица обращались в случае нужды к армейскому раввину. Как сообщают местные жители, общавшиеся с польскими евреями в годы войны, некоторые из них собирались в частных домах для молитвы, что, разумеется, не афишировалось.
- 26 «Jestem już 5 rok poza domem...» («Я скитаюсь уже 5-ый год (т. е. не был дома. — О.М.)...», — заявление Йосефа Штайера от 13.01.1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 5). Такие строки в архивных документах встречаются очень часто. Свидетели сообщают, что польские евреи тосковали по родине, вспоминали прошлую жизнь, которую рисовали как жизнь в любви и в достатке. Они сохраняли «буржуазную» привычку обращаться друг к другу «пан» и европейские манеры. Запомнилось, что они читали газеты на польском языке и обсуждали статьи, спорили — это их выделяло и отделяло от советских людей.
- 27 Национальный конфликт среди польских граждан был на руку советскому правительству, и оно умело использовало этот антагонизм в сложной политической игре с Польским эмиграционным правительством.
- 28 В архиве хранятся многочисленные заявления, в которых упоминается этот факт: «W związku z odjazdem do Polskiej dywizji...» («В связи с отъездом в Польскую дивизию...») — заявление М. Джюда, б/даты (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 353); «Mąż służy w Polskiej armii imienia Kościuszko tankowej części Westerplater...» («Муж служит в Польской армии имени Костюшко танковой части Вестерплатер...») — заявление Анны Левинувны от 12.01.1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 94).
- 29 Примечательная деталь: в Туркестане польская школа носила имя Ванды Василевской, основательницы СПП (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 54).
- 30 См., например, документы Ташоблправления СПП (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 203).

- 31 См.: Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 300, 302.
- 32 Например, о необходимости приобрести огородный инвентарь «для успешного проведения огородных работ в 1945 г.» (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 339).
- 33 «Категорически предлагаю представить сведения...», «Предлагаю дать исчерпывающее объяснение...», «Впредь категорически запрещаю под Вашу личную ответственность...» (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 213 и др.).
- 34 См., например, докладную записку по результатам обследования польского индома от 10.06.1944 г.: «Большая часть продуктов... не попадает в котел и идет на сторону...» (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 325); объяснение по поводу излишков продуктов по столовой для детей польских патриотов: «Недодано на кухню...» (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 375); письмо в Самарканд из Джамбула от 29.09. 1944 г.: «Для джамбульских детучреждений было выделено 70,5 килограммов чая. Вами отгружено только лишь 15 килограмм... просим Вас, чтобы Вы немедленно отгрузили оставшийся чай и только лишь с большой скоростью...» (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 246).
- 35 Два примера: воспитанники детского дома для польских детей участвовали в разгрузке вагона. Оплачивали этот труд натурой: было получено 15 кг молока в порошке и 15 кг жира. «В дальнейшем за эту работу расплачивайтесь меньшим количеством продуктов...», — указывал из Москвы замначальника Упрособторга Наркомторга СССР (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 126); «Всем уполномоченным Наркомторга СССР по снабжению эвакуированных поляков. По просьбе Главного Правления Союза Польских Патриотов предлагаем не допускать впредь выдачи продуктов для устройства праздников без согласия на то Главного Правления СПП...» (от 4.03.1944 г., Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 181).
- 36 Руководство детского дома в Коканде просит обменять полученные в качестве помощи три пары обуви на больший размер. Резолюции по поводу обуви на заявлении нет: неизвестно, разрешили ли высокие начальники детскому дому обувь обменять. — Заявление от 1.01.1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 76).
- 37 Аптекоуправлению от Уполномоченного в Самарканде (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 336).
- 38 См., например, справку, выданную Баеру Эля-Александрю Якубовичу (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 261 и др.); заявление учителя английского языка в польской школе № 2 Павла Левковича от 16.01.1944 г.: «Uprzejmie proszę o wydanie mi orderu na podzelenianie i okopowanie moich butów. Buty moje są w stanie nie nadającym się do użytku. Zaznaczam, iż przed 2 miesiącami otrzymałem w Rajono order na reperację 1 pary butów lecz artel nie wykonuje tego orderu z powodu braku materiałów...» («Убедительно прошу выдать мне ордер на ремонт (набойки) моих ботинок. Мои ботинки в таком состоянии, что носить их невозможно. Сообщаю, что 2 месяца назад я получил в Районо ордер на починку 1 пары ботинок но артель не выполняет этот ордер из-за отсутствия материалов...») — Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 106. Л. 21.
- 39 См., например, записку Уполномоченного Наркомторга СССР о проверке контингента, получающего диетпитание (Ф. 913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 187).
- 40 См.: Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 113. Л. 115.
- 41 На тетрадных листках писали только учителя.
- 42 Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 103, 104, 106, 110, 111 и др.
- 43 Заявление от гр. Подхлебняк, б/даты (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 22).
- 44 Из Москвы требовали: «Срочно шлите список членов комсомола...» (Ф. 913. Оп. 3. ед. хр. 3. Л. 8).

- 45 В отличие от «благотрудов» так называемые индивидуальные посылки, отправленные родственниками из-за границы, нередко не доходили до адресата.
- 46 Письмо от Менаше Игнацы Як. (Ф.913. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 127).
- 47 См.: Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 113. Л. 195. Письмо написано чернилами, на портрете Сталина заметны отпечатки.
- 48 Это не единичные факты — сталинские книги были в ходу. Приведем еще два примера: записка с указанием фамилии Мурзаева Моисея Ильича, 1890 г. рождения, и его паспортных данных написана на обороте титульного листа брошюры Сталина «Приказ Верховного Главнокомандующего 1 мая 1943 года № 195», Москва, Огиз, Госполитиздат, 1943 (Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 113. Л. 177); заявление о помощи от 10 января 1944 г., (подписано неразборчиво) на обороте того же сталинского приказа (Ф.913. Оп. 1. ед. хр. 104. Л. 66).
- 49 «Имею на удержании (utrzymaniu — содержанию) мужа инвалида и маленького ребенка...» — заявление Стефы Яцковской от 13.01.1944 г. (Ф.913. Оп.1. Ед. хр.110. Л.68); «Прошу В/разрешения выдать мне доражную (dorażna — разовая) помощь...» — заявление Розенблюм от 14.01.1944 г. (Ф.913. Оп.1. Ед. хр.104. Л.142). Частым «приемом» было склонение сходных с польскими русских слов по польскому образцу: «Я без пальтота...» (palto — palta) — заявление Корнберга от 9.01.1944 г. (Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 56). Впрочем, и в польском языке «среднеазиатских» евреев широко использовались русизмы, производилась как бы обратная операция: «Nachodzę się (вместо znajduję się) w krytycznym położeniu...» («Я нахожусь в критическом положении...») — заявление Филиппа Генуса от 3.02.1944 г. (Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 406); «Urządzić się na robotę...» («Устроиться на работу...») — заявление М. Вајінтрауба (Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 68) и др.
- 50 Согласно переписи населения 1931 г., 80% евреев в Польше считали своим родным языком идиш, 12% — польский и 8% — иврит. См. Dzieje Żydów w Polsce. 1918–1939... S. 121.
- 51 См., например, заявление (подписано неразборчиво, без даты) — Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 56.
- 52 Заявления от «гражданина Робера Моисея А.» (Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 10), от «товарища Равета» (Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 150).
- 53 См.: Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 149; Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 406; Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 5; Оп. 1. Ед. хр. 106. Л. 53.
- 54 См.: Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 149; Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 5; Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 372; Оп. 1. Ед. хр. 106. Л. 76; Оп. 1. Ед. хр. 106. Л. 48; Оп. 1. Ед. хр. 106. Л. 101; Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 37; Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 27; Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 105; Оп. 1. Ед. хр. 106. Л. 105; Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 372; Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 406 и др.
- 55 «Czternaście miesięcy znajdowałem się w łagrze...» («Четырнадцать месяцев я находился в лагере...») — заявление подписано неразборчиво, без даты (Ф.913. Оп.1. Ед. хр. 110. Л.47); «Wyszedłem z łagieru...» («Я вышел из лагеря...») и пометка на обороте «Wyszedł z łagieru» («Вышел из лагеря») — заявление В.Нейхайт, б/даты (Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л.65); «Mąż mój jest na trudfroncie» («Мой муж на трудфронте...») — заявление Мени Айзенштат от 5.01.1944 г. (Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л.6); «Pracuję jako trudarmejec...» («Работаю трудармейцем...») — заявление Вороза, б/даты (Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 14); «Proszę o udzielenie mi pajoiku» («Прошу выделить мне паек») — заявление подписано неразборчиво от 29.01.1944 г. (Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л.314); «...Bandyti zabrali mnie chlebną karteczkę, zupełnie głoduję» («Бандиты отобрали у меня хлебную карточку, я голодаю») — заявление Стефы и Самуэля Парнес от 10.01.1944 г. (Ф.913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л.57); «Zalącam powiest-

- ке...» («Прилагаю повестку...») — заявление Д. Рехница от 31.01.1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 319); «Załączając sprawkę...» («Прилагаю справку...») — заявление Р. Зильберман, б/даты (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 106. Л. 78); *zajawienie* Лернер Ризы Рафаэлувны от 14.01.1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 146), а также Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 359; Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 49; Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 163 и др.
- 56 Заявление Михала Розена, б/даты (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 15); «Ja ewakuowana z Tarnopolskiej obl. Przyjechałam ze Stalingradzkiej obl. „istoszczona”...» («Я эвакуированная из Тарнопольской обл. Приехала из Сталинградской обл. истощенная...») — заявление Анны Моисеевны Линг-Гелзлер от 8.12.1943 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. с. 49); «Praca mnie nieposiła...» («Труд для меня непосильный...») — заявление Абрама Кольнера от 20.12.1943 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 31).
- 57 Заявление Арона Таненбаума и Феиги Папер б/даты (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 28); еще один пример: «Proszę wydzielić mi produktowy „rajok”...» («Прошу выделить мне продуктовой „наек”...») — заявление Малки Раїман (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 372); «Wyszłem z „lagru» («Я вышел из «лагеря») — заявление Самуэля Линшца от 10.01.1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 32). Оба типа выделения: кириллицу и кавычки — использует «pracownik „Горкомхозу» Арон Берас в заявлении от 24 декабря (б/года) (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 102); аналогично выделяются «хлопком», «хлопзавотпункт», «хлопкомзавод» — Заявления от Эстеры Сок или Хан Коллер (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 8, 9); «Pracuję w Torghlebpunkcie...» — заявление подписанно неразборчиво, б/даты (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 33).
- 58 «W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali». «Polska a Rosja 1939–42». Wybór i opracowanie J. T. Gross, I. Grossowa, Warszawa, 1989 (Материалы распространявшейся среди депортированных поляков — бойцов Армии Андерса и членов их семей — анкеты об условиях жизни в Советском Союзе). Пример из документов самаркандского архива: «...ojciec umarł w Sybiru...» — заявление Люси Шмидт (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 105).
- 59 «Я как учительница Польской школы просто не могу заходить в класс в такой одежде... Это снижает авторитет и престиж Польского учителя»; «Если бы я был приличнее одет, возможно, я мог бы найти более серьезную работу и тем самым улучшить свое существование»; «Да здравствует независимая Польша». См. заявления Хавы Фрейндлих от 6.01.1944 г., Ст. Божинковского от 19.01. 1944 г., Равета от 30.01.1944 г. (Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 41; Оп. 1. Ед. хр. 110; Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 150).
- 60 Это называлось «выезд по реэвакуации на Родину». В архиве множество заявлений примерно такого содержания: «Прошу освободить от работы в связи с выездом в Польшу».
- 61 Некоторые остались в Средней Азии (точных данных об их числе нет, но процент был невелик), остались по разным причинам: кто-то вступил здесь в брак, кто-то был слишком стар, кто-то потерял в Польше родственников еще до того, как оказался в СССР и знал, что возвращаться не к кому, были и убежденные коммунисты. Часть из них позднее пострадала за предпринимательство (так называемые процессы артельщиков), пытался использовать навыки ведения собственного дела, приобретенные в довоенной Польше. Другим повезло больше: они успешно жили и работали на своей новой родине.

А. Ф. Носкова

К. К. Рокоссовский в Польше. 1949–1956 гг.: НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

27 октября 1949 г. советский посол в Варшаве В. З. Лебедев получил шифртелеграмму из Москвы. Послу поручалось посетить главу польского правительства и лидера Польской объединенной рабочей партии Б. Берута и уведомить его о том, что Политбюро ЦК ВКП(б) и советское правительство приняли решение «удовлетворить просьбу польской стороны» и направить К. К. Рокоссовского на работу в Войско Польское в должности министра национальной обороны Польши¹.

Для К. К. Рокоссовского, с 1914 г. служившего в русской, а с конца 1917 г. — в Красной Армии, это назначение было не первой встречей с исторической родиной. Он родился в Псковской губернии в семье поляка и русской женщины. Хотя в детстве жил под Варшавой, польским языком владел плохо. В годы Великой Отечественной войны К. К. Рокоссовский вошел в плеяду прославленных советских военачальников, стал маршалом Советского Союза. Летом 1944 г. части 1-го Белорусского фронта, которым командовал К. К. Рокоссовский и в составе которого действовала 1-я Польская армия З. Берлинга, вступили на польскую территорию и достигли рек Висла и Нарев. Соединения Рокоссовского освобождали от гитлеровцев северо-восток и север современной Польши. За вклад в дело восстановления польской государственности, за изгнание немецких фашистов маршал в 1945 г. был награжден польскими орденами «Вертути милитари» и «Крест Грюнвальда».

Годы войны стали zenитом служебной карьеры К. К. Рокоссовского, члена ВКП(б) с 1919 г., наиболее яркого представителя советской военно-политической элиты 40–60-х гг. После войны он снова прибыл в Польшу, где до ноября 1949 г. командовал Северной группой советских войск. К сожалению, исследователи почти не располагают архивными документами, которые позволили бы осветить деятельность Рокоссовского на этом посту, и в первую очередь его контакты с польским руководством. Можно лишь с уверенностью говорить, что эти контакты с В. Гомулкой, Б. Берутом, М. Роля-Жимерским, М. Спыхальским и др. были постоянными и тесными.

Без сомнения, данное обстоятельство, как и польское происхождение маршала, а также высокий профессиональный уровень Рокос-

совского, повлияли на выбор И. В. Сталиным его кандидатуры для работы в Войске Польском. Но решающую роль, на наш взгляд, сыграло другое, тогда принципиально важное обстоятельство — абсолютная партийно-политическая надежность Рокоссовского. Преданность этого человека лично Сталину была к тому времени проверена уже дважды. В 1937 г. комкор Рокоссовский был арестован и до весны 1940 г. находился в заключении в ленинградских «Крестах». Испытав все ужасы застенков НКВД, он накрепко «забыл» это после освобождения. В ноябре 1944 г. маршал был лично Сталиным снят с командования 1-м Белорусским фронтом, действовавшим на главном, берлинском направлении разгрома Германии, и переведен на «периферию» — на 2-й Белорусский фронт, продвигавшийся в район Восточной Пруссии. Рокоссовский внешне спокойно принял и эту сталинскую немилость².

В новой исторической обстановке конца 40-х гг. именно такой человек — с гигантским и успешным военным опытом, с абсолютной личной преданностью — был нужен Сталину в Польше*. Разгоралась холодная война. Не взаимодействие и сотрудничество, а противостояние двух, имевших атомное оружие, стремительно оформлявшихся военно-политических блоков во главе с США — с одной стороны, и СССР — с другой, определяло теперь облик послевоенного мира.

В таких условиях резко усиливалась внешне- и внутривнутриполитическая роль армий, в том числе союзных СССР государств, расположенных по западному и юго-западному периметрам советских границ. Самой крупной армией блока (не считая советской) было Войско Польское, накопившее опыт длительного и тесного боевого взаимодействия с Красной Армией. Сохранить и поднять боеспособность Войска Польского, оснастить его новыми образцами современного вооружения, обеспечить высокий профессиональный уровень и политическую надежность офицерского корпуса — в этом были задачи Рокоссовского как военачальника. Но советское руководство преследовало и политические цели: включение маршала в высший эшелон власти в Польше обеспечивало советский контроль не только за положением дел в Войске Польском, но и за ситуацией в ЦК ПОРП.

Такое назначение было выгодно и руководству польской партии во главе с Б. Берутом, но лишь отчасти. Оно, без сомнения, было заинтересовано в укреплении армии как важнейшего властного института.

* В начале 60-х гг. с просьбой написать статью о Сталине в духе решений XX съезда КПСС к Рокоссовскому обратился Н. С. Хрущев. Он получил отказ, мотивированный тем, что Сталин для маршала святой человек и мнения о нем он не изменит (Петрова Н. К. Славный сын двух славянских народов // Три маршала Победы. М., 1999. С. 309).

Напомним, что 1949 г. стал временем перемен в командовании Войска Польского. Поднималась волна арестов среди командного и офицерского состава. В марте 1949 г. был снят с поста вице-министра обороны, уволен из армии и осенью 1949 г. выведен из ЦК ПОРП М. Спыхальский, арестованный в мае 1950 г. Начатая весной–летом 1949 г. органами безопасности «разработка» министра национальной обороны маршала Польши М. Роля-Жимерского привела к освобождению его от должности в начале ноября 1949 г. и установлению для него и его семьи режима изоляции³. Поле деятельности для Рокоссовского было освобождено.

Возникает закономерный вопрос: кому принадлежала идея назначения советского военачальника и гражданина СССР на пост министра национальной обороны другого государства?

Как пишут современные российские ученые и мемуаристы, для Рокоссовского такое назначение стало неожиданностью. Маршал в октябре 1949 г. находился в отпуске в Москве, и, вызванный к Сталину, пережив удивление и внутреннее сопротивление, он дал согласие «как солдат и коммунист»⁴. 5 ноября 1949 г. К. Рокоссовский выехал в Варшаву. 6 ноября президент Польши Б. Берут на совместном заседании Госсовета и Совета Министров объявил о назначении Рокоссовского и присвоении ему звания «маршал Польши»⁵.

Согласно официальной и распространенной в историографии версии, идея пригласить Рокоссовского в Польшу исходила от Б. Берута. Решения Политбюро ЦК ВКП(б) об освобождении маршала от службы в Советской Армии и направлении в распоряжение польского правительства мотивированы именно просьбой польского руководства.

Но значительно более достоверна, на наш взгляд, другая версия: идея возникла в Москве и, вероятно, принадлежала Сталину. Нельзя исключить и того, что это был плод «совместных размышлений»: возможно, замысел обсуждался на встрече Сталина и Берута в Кремле 1–2 августа 1949 г.⁶.

Дальнейшее развитие событий вокруг фигуры Рокоссовского в Варшаве, о чем речь пойдет ниже, косвенно подтверждает сталинское (во всяком случае — московское) авторство идеи назначения маршала в Польшу.

Какова была реакция в Польше, в Войске Польском на это событие? Имеющиеся в нашем распоряжении документы российских архивов свидетельствуют, что приезд Рокоссовского был воспринят населением неоднозначно. Сотрудник аппарата Коминформбюро В. И. Овчаров 29 декабря 1949 г. сообщал в Отдел внешней политики ЦК ВКП(б), что ПОРП «провела большую массово-политическую разъяснительную работу в партии и среди населения... На прошедших повсеместно

собраниях рабочий класс Польши и трудящиеся массы встретили это решение правительства с большим удовлетворением». Вместе с тем Овчаров приводил примеры использования этого факта «польской реакцией»: «В Варшаве и ряде других городов и районов Польши реакционные элементы распространяли слухи, в связи с назначением Рокоссовского, о скором превращении Польши в 17-ю Советскую Республику»⁷.

Подобная информация поступала советскому руководству в начале 1950 г. и по другим линиям. Так, заведующий отделом стран народной демократии редакции иностранной информации ТАСС Н. Р. Пантюхов записал в своем служебном дневнике, что на приеме в польском посольстве в Москве 31 января — 1 февраля 1950 г. начальник следственного департамента Министерства общественной безопасности Польши полковник Ю. Ружанский рассказал ему следующее: «В связи с назначением маршала Рокоссовского... в Ченстоховском уезде появились было нездоровые настроения, по-видимому, они имели место и в других местах. Враждебные элементы говорили: „Вот придет к нам Советский Союз еще своего министра иностранных дел и Польша незаметно превратится в 18-ю (так в тексте документа. — А.Н.) Советскую республику“. Такие разговоры в известной мере проявились даже на одном из собраний Общества (польско-советской дружбы. — А.Н.) в Ченстохове. Тогда попросил слова один старый рабочий... сказал он: „Бог знает, что говорят о Рокоссовском, а если посмотреть, то окажется, что поехал поляк Рокоссовский в СССР рабочим, а вернулся к нам прославленным маршалом“»⁸.

В Войске Польском, где Рокоссовский был лучше известен, отреагировали на этот факт также по-разному. С удовлетворением, порой восторженно встречали маршала «костюшковцы» и «берлинговцы» — бывшие офицеры 1-й Польской армии, те, кто пришел с Востока, а также советские генералы и офицеры, служившие в рядах Войска Польского. Но были и другие настроения. Часть польских офицеров отнеслась к прибытию маршала внешне индифферентно, часть — настороженно, опасаясь за свою дальнейшую военную карьеру. Враждебной была реакция старого кадрового офицерства, тех, кто в годы войны служил в Польских вооруженных силах на Западе или в подпольных отрядах в оккупированной стране, подчинявшихся правительству в эмиграции. Они составляли около 1/5 всего офицерского корпуса Войска Польского⁹.

Что касается публичной позиции польского руководства, например Берута при назначении маршала на должность, депутатов Сейма, утверждавших это назначение, посла Польши в Москве М. Нашковского, то официально звучали лишь комплименты в адрес Рокоссов-

ского и исключительное одобрение решения Москвы¹⁰. По сути же дела назначение маршала означало не только прямое участие Москвы в управлении страной и ужесточение контроля, но и нарушение недавно сложившейся расстановки сил в правящей верхушке ПОРП, в чем польские руководители вовсе не были заинтересованы. Эта незаинтересованность проявилась довольно быстро.

Чрезвычайно интересен тот резонанс, который получил факт назначения маршала в Польшу среди восточноевропейской коммунистической элиты, среагировавшей на него, как показывают документы, с оттенком некоторой «зависти». Так, например, шеф-редактор чешской газеты «Лидове новины» Я. Дрда откровенно говорил сотруднику советского посольства в Праге, что «полякам можно только позавидовать... Жаль, что среди советских маршалов нет чеха». Румынский военный министр Э. Боднараш был откровенен с советским главным военным советником в Румынии генерал-лейтенантом К. С. Колгановым: «...было бы хорошо, если бы в Советском Союзе подобрать человек 15 офицеров из молдаван, знающих румынский язык, и прислать их в Румынию для использования хотя бы в качестве начальников штабов соединений». Болгарское руководство, узнав об отъезде Рокоссовского в Польшу, обратилось к Сталину с просьбой назначить советского генерала на пост начальника генштаба болгарской армии. 2 ноября 1949 г. Сталин заявил о нецелесообразности такого решения. Он сообщил В. Червенкову и В. Коларову: «Военного работника, отвечающего таким условиям (знать язык и страну. — А.Н.), подобрать можно только в Болгарии». При этом обещал выделить в помощь «болгарскому военному товарищу» опытного советского советника¹¹.

Эти документальные свидетельства позволяют говорить как о нехватке надежных и высококвалифицированных военных кадров в странах региона, ставшей причиной подобных обращений, так и о незаинтересованности представителей коммунистической элиты обрести дополнительную опору своей власти.

Не было исключением в этом смысле и польское руководство. Тем не менее вскоре после приезда маршала проявились и «плюсы» и «минусы» этого назначения. Ситуация для Берута и его ближайших соратников в Политбюро (Г. Минц, Я. Берман, Р. Замбровский*) ока-

* Польские историки называют Берута «фанатичным последователем социалистической идеи в сталинском издании... остающимся с 30-х гг. под влиянием всемогущего Сталина, принимающим одну, единственно верную дорогу строительства социализма во всех странах, советскую дорогу» (*Syzdek E., Syzdek B. Cena władzy zależnej. Warszawa, 2001. S.42*). Эту характеристику с полным основанием следует распространить как на ближайшее окружение Берута, так и на Рокоссовского.

зывалась неоднозначной. «Русский поляк» Рокоссовский, безусловно, представлялся удобной фигурой, с которой и перед Москвой, и перед польским общественным мнением можно было делить ответственность за трудности в развитии страны. Рокоссовский был не только военным министром, но и заместителем председателя правительства, а с мая 1950 г. еще и членом Политбюро ЦК ПОРП¹². Основную долю вины можно было возложить на маршала и за ситуацию в армии, в том числе за репрессии против офицеров (т.н. заговор в армии — аресты генералов и полковников С. Татара, М. Утника, Е. Кирхмайера, М. Спыхальского, М. Роля-Жимерского, Ю. Куропески, В. Комара и др.).

Хотя репрессии и чистки в армии начались еще до назначения маршала, пик их пришелся именно на время работы Рокоссовского министром. Рокоссовский подписывал приказы о политических репрессиях и арестах, осуществлявшихся военной контрразведкой. Так, за 1949–1955 гг. военными судами были неправомерно осуждены 395 старших и младших офицеров, было вынесено 40 смертных приговоров, из них 19 приведены в исполнение. Один из первых его приказов касался политической проверки кадров. С осени 1949 г. и по 1954 г. из армии было уволено около 10 тысяч офицеров, из них 1200 человек — по политическим мотивам¹³.

Вряд ли Рокоссовский, будучи представителем верхушки ВКП(б) и ярым сторонником Сталина, испытывал колебания, подписывая такие приказы, но вряд ли он мог и противостоять репрессивной политике руководства ПОРП. Польский историк Е. Поксинский, задавшись вопросом об ответственности маршала, отвечает: «Уверен, он не был инициатором репрессий». Не был он и членом комиссии по безопасности при Политбюро ЦК ПОРП, где давались указания на «разработку» и аресты конкретных лиц¹⁴.

На наш взгляд, Е. Поксинский прав лишь отчасти. Было бы неправомерным снимать с министра национальной обороны его меру ответственности за действия польских и советских офицеров, служивших под его командованием в военной контрразведке (Главное управление информации Войска Польского), политуправлении, в военной юстиции. Более того, маршал контролировал работу этих органов, настаивал, например, на передаче «дел» Спыхальского и Гомулки из министерства безопасности в военную контрразведку и на ускоренном завершении следствия по «делу» Спыхальского¹⁵.

Для польского руководства болезненным являлось другое обстоятельство, которое не могло не отражаться на его отношении к маршалу. Включение гражданина другого государства в высшие структуры управления страной было вопиющим нарушением суверенитета Польши. В польском общественном мнении этот факт не мог не расцени-

ваться как покушение на национальное достоинство, как наглядная демонстрация зависимости Польши от восточного соседа. Это бросало тень сервильности на власть и на ее верхушку в лице прежде всего Б. Берута, а также Я. Бермана, курировавшего в Политбюро вопросы идеологии, безопасности и внешней политики, и Г. Минца, руководившего экономикой.

Одновременно в руководстве ПОРП не могли не возникнуть опасения, что К. К. Рокоссовский может стать слишком влиятельной политической фигурой, сосредоточить (опираясь на армию и сотни советских офицеров, служивших в ней*) в своих руках чрезмерно большую силу, что угрожало личной власти каждого из членов узкого руководства ПОРП.

Как показывают документы архива И. В. Сталина, именно поэтому уже вскоре после прибытия в Варшаву К. К. Рокоссовский столкнулся с противодействием. 26 февраля 1950 г. В. З. Лебедев направил письмо И. В. Сталину, где со слов Рокоссовского рассказал о столкновении маршала и «руководящего ядра» партии на заседании военной комиссии Политбюро ЦК ПОРП. Попытка маршала добиться увеличения расходов на армию** и в частности увеличения окладов офицерскому корпусу «из-за крайне плохого материального положения офицеров», была встречена «резкими возражениями руководящей четверки». «Рокоссовский понял, — писал посол, — что ему устроили „баню“ не из-за соображений экономии средств, а по другим мотивам». После заседания военной комиссии в разговоре один на один Берут раскрыл маршалу главную причину этой «бани»: «Нам (т. е. ему, Минцу и др.) показалось, что Вы хотите забрать в свои руки слишком много власти»¹⁶. Эти слова Берута Сталин, читая письмо посла, дважды отчеркнул вертикально по левому полю. Отметил

* С появлением Рокоссовского в Польше «приток» советских генералов и старших офицеров, зачислявшихся в кадры Войска Польского и встававших на учет в партийные организации ПОРП, заметно увеличился. Если в 1949 г. из СССР было откомандировано 4 генерала и 17 старших офицеров, то в 1950 г. — 84, а в 1951 г. — 96 (см.: *Nalepa E.* Указ. соч. С. 72, 256–268). В начале 50-х гг. советские военнослужащие занимали в польской армии ключевые командные должности: вице-министров, начальника генштаба и ряда его отделов, командующих сухопутными войсками, артиллерией, танковыми, инженерно-саперными войсками, войсками связи, рядом округов, полностью контролировали подчиненные министру военную контрразведку и юстицию.

** Начало 50-х гг. стало временем резкого увеличения финансовых расходов на армию всех стран советского блока и было связано с их техническим перевооружением, ростом численности личного состава и развитием отраслей промышленности, обслуживавшей заказы и нужды армии. Все мероприятия, которые проводил Рокоссовский в Войске Польском, находились в русле общей военно-политической линии Москвы на милитаризацию экономики восточного блока.

он и мнение Рокоссовского о том, что в руководстве партии есть «спевшаяся группа в составе Минца, Бермана и Замбровского, которая фактически решает все дела и которая руководит Берутом».

Мы не располагаем документами, которые отразили бы конкретную реакцию Сталина на это письмо. Можно лишь предположить, что в ходе беседы в кремлевском кабинете Сталина с Берутом и Рокоссовским 16–17 марта 1950 г. информация из этого письма могла быть использована советским лидером, включая и следующую рекомендацию посла: «Беруту нужно освободиться из „котла“... нужно, чтоб он понял, что опасаться Рокоссовского ему, Беруту, так же как и польскому рабочему классу, нечего»¹⁷.

Тем не менее, несмотря на систематические и откровенные «подсказки» Кремлю из советского посольства в Варшаве о «неблагополучном» положении дел в польском руководстве, где тон задает «группа деятелей, явно страдающих еврейским национализмом», а «окруженный» ими Берут остается «самым серьезным и наиболее надежным партийным и государственным деятелем Польши»¹⁸, Москва не высказывала недовольства положением дел и главные «игроки» оставались на своих местах. Решающую роль в этом играло доверие Сталина к Беруту и «московским полякам», которых нельзя было упрекнуть в «польском национализме», а также отчетливое стремление советского лидера не дестабилизировать ситуацию в руководстве ПОРП*.

Судя по материалам российских архивов, маршал поддерживал те оценки положения дел в польском руководстве, которые давали советские послы В. З. Лебедев и затем Г. М. Попов, и «отделял» Берута от его «окружения». Тем не менее в своей практической работе в Войске Польском он неоднократно наталкивался на «непонимание» Берута. Разпогласия касались ряда весьма существенных вопросов: экономических (увеличение окладов офицерскому корпусу, выполнение военных заказов промышленностью), кадровых (Берут, например, настаивал на отстранении полковника Ю. Турского от руководства кадрами министерства национальной обороны, Рокоссовский не соглашался), политических (маршал хотел через подчинявшуюся ему военную контрразведку контролировать «дело» Спыхальского).

Апогей напряженности в отношениях Берута и Рокоссовского пришелся на 1952 — начало 1953 г. В конфликт была вовлечена военная контрразведка Войска Польского, которую возглавлял пол-

* В отличие от вялотекущих «дел» В. Гомулки и М. Спыхальского в Польше, «дела» Т. Костова в Болгарии, К. Дзодзе в Албании, Л. Райка в Венгрии, Л. Клементиса, М. Швермовой, О. Шлинга, Р. Сланского в Чехословакии, А. Паукера и В. Луки в Румынии разворачивались достаточно стремительно, заканчивались политическими судебными процессами и смертными приговорами.

ковник МГБ СССР Д. П. Вознесенский. Причем каждая из сторон пыталась привлечь последнего на свою сторону*. Как показало дальнейшее развитие событий, Вознесенский, получая сведения в личных беседах и с Берутом, и с Рокоссовским, информировал об этом Москву и внимательно наблюдал за «битвой».

Резкое обострение отношений между маршалом и главой ПОРП произошло в ноябре 1952 г. в связи с арестом военной контрразведкой ген. В. Комара**. Берут был недоволен не фактом ареста, а тем, что докладывал ему об этом аресте Рокоссовский. Маршал, по словам Берута, «плохо ориентируется в ряде политических вопросов и иногда недооценивает их значение»¹⁹. Недовольство Берута было вызвано тем, что он усмотрел в действиях Рокоссовского покушение на участие в решении сугубо «деликатных» кадровых вопросов. Это подтверждается донесением Вознесенского в МГБ СССР в феврале 1953 г.: «... арест генерала Комара и нескольких офицеров — крупных агентов иноразведок (все они евреи по национальности) вызвал переполох в среде евреев, занимающих руководящие посты в партийном и государственном аппарате, и, более того, даже ухудшил личные отношения некоторых из них к товарищу Р.»²⁰. Реальным основанием для «испуга» не только «окружения», но и самого Берута служили пришедшие на это время смертный приговор генеральному секретарю ЦК КПЧ Р. Сланскому в Чехословакии, аресты членов Политбюро ЦК РРП А. Паукер и В. Луки в Румынии. И то и другое происходило в рамках антисемитских гонений в СССР и некоторых других странах региона²¹. Не исключено, что Берут в участии Рокоссовского в «деле» Комара увидел намек из Москвы на развертывание антисемитской кампании в Польше, что было бы чревато тяжелыми последствиями для правящей верхушки ПОРП, включая лидера партии, тесно взаимодействовавшего со своим «непольским» окружением.

В январе 1953 г. последовало новое столкновение Рокоссовского с Берутом при обсуждении вновь поставленного маршалом вопроса о повышении офицерских окладов в связи с отменой карточной системы и ростом цен в стране. Рокоссовский отстаивал свой проект повышения окладов, Берут — свой, т. е. проект Госплана, за которым стоял Г. Минц. Состоялся обмен резкостями. Берут обвинил маршала в не-

* За время своего пребывания в Польше Рокоссовский неоднократно направлял в Москву представления на повышение Вознесенского в звании. Последний раз — в декабре 1952 г. В военном министерстве СССР считали это «в настоящее время нецелесообразным» (*Nalepa E.* Указ. соч. С. 266–272).

** В. Комар — коммунист с довоенным стажем, участник Гражданской войны в Испании. Руководил военной разведкой Войска Польского.

доверии польскому руководству и заявил: «...я не доверяю Вам и Вашим планам... Вы пытаетесь обманывать меня». Была высказана угроза пригласить из Москвы «квалифицированных счетоводов... чтобы они разобрались в этом деле».

Маршал в свою очередь отреагировал бурно, сказав, что «не может оставаться на посту министра обороны». В личных беседах с Вознесенским Рокоссовский был еще более откровенен, прямо говорил о желании уехать, потому что «поляки с удовольствием от него бы отделались», что ему очень нелегко работать. Он высказывал убеждение, что «окружение настраивает Берута отрицательно к тем мероприятиям, которые (Рокоссовский. — А.Н.) проводит по укреплению вооруженных сил Польши» ²².

В такой обстановке Вознесенский выехал в Москву. Для информации МГБ СССР он подготовил служебную записку «об ухудшении личных и деловых отношений между Берутом и Рокоссовским» *, но критический акцент документа был направлен именно против маршала ²³. Симптоматично, что Вознесенский прибыл не в военное ведомство — директивную инстанцию для Рокоссовского, а к заместителю министра госбезопасности по линии разведки и контрразведки генерал-полковнику С.А. Гоглидзе **, которому полковник МГБ СССР Вознесенский в данное время подчинялся формально. Он просил Гоглидзе передать его служебную записку С.Д. Игнатьеву *** , что и было немедленно сделано.

Кто был инициатором этой поездки? Вряд ли сам Рокоссовский. По показаниям Вознесенского в Генеральной прокуратуре СССР в январе 1954 г., Рокоссовский якобы согласился на поездку «с целью информировать руководство МГБ по вопросу его взаимоотношений с Берутом» ²⁴. Тогда же маршал в письме к военному министру СССР Н.А. Булганину утверждал только то, что в начале февраля 1953 г. Вознесенский сообщил ему, что наблюдает резкое ухудшение отношения к Рокоссовскому членов Политбюро ЦК ПОРП, в частности Я. Бермана, и «отвлеченными намеками дал мне (Рокоссовскому. — А.Н.) понять, что руководство ПОРП посоветовало ему проконсультроваться в Москве» ²⁵.

* Подчеркнуто в документе.

** С.А. Гоглидзе — «человек Берни», в июле 1953 г. арестован, в декабре 1953 г. по обвинению в измене Родине, антисоветской деятельности (58-я статья Уголовного кодекса РСФСР) приговорен к расстрелу, казнен одновременно с Л.П. Берней. Не реабилитирован (см. Справочник. «Кто руководил НКВД». М., 1999. С. 148).

*** С.Д. Игнатьев — министр госбезопасности СССР с середины 1951 г. по апрель 1953 г., затем на партийной работе.

Для маршала оставалось все же неясным, был ли это вызов МГБ СССР, исполнял ли Вознесенский поручение польского руководства или же действовал по своей инициативе. Хотя впоследствии Берут заверил маршала, что он такого поручения не давал и даже «не знал об этом», нельзя исключить, что кто-то из окружения Берута, вероятнее всего Берман, мог подсказать или поддержать замысел поехать в Москву, доложить об отношениях Рокоссовского и Берута и тем самым скомпрометировать в первую очередь маршала. Выгодна такая поездка была и Вознесенскому возможностью продемонстрировать «бдительность» в нужный момент: в Москве в ноябре 1952 г. было закончено «дело врачей», преданное гласности в начале января 1953 г., прошли аресты офицеров в самом МГБ СССР, а также генералов в личной охране Сталина, разворачивалось «менгрельское дело», состоялись изменения в Политбюро ЦК ВКП(б), откуда был вытеснен В. М. Молотов, что предвещало серьезные перемены в ближайшем будущем²⁶.

На основе служебной записки полковника Вознесенского 24 февраля 1953 г. Игнатьев направил письмо Сталину²⁷. Как отреагировал советский лидер на полученную информацию и успел ли отреагировать (5 марта Сталин умер), неизвестно, но директивы от МГБ СССР Вознесенский получил. Они были не в пользу маршала Рокоссовского. Об этом свидетельствует тот факт, что, вернувшись из Москвы в конце февраля 1953 г., полковник не доложил министру о результатах поездки и полученных конкретных указаниях. Рокоссовский заметил, что Вознесенский перестал с ним советоваться и «докладывать по вопросам важного характера», что «его почта вскрывается, телефон прослушивается, чего не было раньше». Более того, «однажды после разговора с Вознесенским о некоторых членах ЦК ПОРП еврейской национальности, в частности Бермана», министр обнаружил, что беседа записывается на «укрытый у Вознесенского аппарат для фиксирования на пленку»²⁸.

Столь пристальное внимание польской контрразведки и МГБ СССР в лице Вознесенского могло означать только то, что маршал попал «в разработку». Над Рокоссовским нависала угроза, не исключено, что это была угроза репрессирования. Она исходила из Москвы, но получила импульс из Варшавы и персонально, скорее всего, от Бермана и с ведома Берута.

Дальнейшее развитие событий в Москве (смерть Сталина, арест Берии и Гоглидзе) сделало такую угрозу маловероятной.

Рокоссовский продолжал служить в Войске Польском, хотя служба оставалась для него нелегкой. Об этом свидетельствуют документы. Еще в середине 1952 г. Рокоссовский предложил отказаться

ся от зачисления советских офицеров в кадры польской армии и перейти на систему советских военных советников, к тому времени уже действовавшую в армиях Чехословакии, Болгарии, Румынии, Венгрии и Албании²⁹. В подобных переменах маршал видел шанс и для себя. Так, в беседе с советником посольства СССР в Варшаве Д. И. Заикиным 1 октября 1953 г. он откровенно говорил, что «сам бы хотел быть главным военным советником, так как это определило бы срок его пребывания в Польше», где «умеют создавать такие условия, при которых трудно работать». Маршал прямо указывал на польское руководство как источник его трудностей, а причину их видел в том, что произвел «некоторые замены и перестановки» в «важных инстанциях» армии, где кадры «были укомплектованы по национальному и семейному признаку из лиц еврейской национальности». В результате «некоторые руководящие партийные работники, оказывающие влияние на тов. Берута, резко изменили (к нему. — А. Н.) свое отношение». Были названы имена Я. Бермана, Г. Минца, Р. Замбровского³⁰.

В конце 1953 г. Рокоссовский находился в ситуации, близкой к изоляции. Как сообщал в Москву советский посол Г. М. Попов, «Рокоссовский мало привлекается к работе Политбюро», «Рокоссовский фактически отстранен от активного участия в руководстве партией»³¹. Такое положение дел не могло устроить Кремль, и новое руководство КПСС во главе с Н. С. Хрущевым попыталось скорректировать расстановку сил в Политбюро ЦК ПОРП. В конце декабря 1953 г. в Москву прибыл Берут. Визит состоялся по просьбе польского лидера в связи с намечавшимся на январь 1954 г. II съездом ПОРП. 28 декабря в присутствии Попова он был принят Г. М. Маленковым, В. М. Молотовым, Н. С. Хрущевым и Н. А. Булганиным. Обсуждались экономические вопросы, политическая обстановка в стране, а «также некоторые организационные вопросы, связанные с деятельностью ЦК ПОРП». По инициативе советской стороны был поставлен вопрос о перераспределении постов в руководстве страной. Предложения направлялись на ослабление властных возможностей «руководящей тройки» и усиление влияния других деятелей, которые пользовались абсолютным доверием Москвы и в конкретной обстановке считались более удобными фигурами. Беруту было рекомендовано сохранить за собой пост только главы правительства, а руководство партией передать А. Завадскому, Бермана перевести на работу в правительство, «сохранив его в Политбюро», а Минца освободить от руководства Госпланом.

Было обращено внимание Берута на то, что нужно «серьезно заняться выдвижением руководящих кадров из числа выросших и преданных партии товарищей польской национальности», «привлечь

т. Рокоссовского к более активной работе в Политбюро и ввести его в новый состав ПБ»³².

«Советы» Москвы были отчасти учтены в Варшаве. Все больший вес в руководстве набирали Э. Охаб, З. Новак, Ф. Мазур, А. Завадский, а роль Бермана и Минца подвергалась «корректировке»³³. Москва, со своей стороны, вовсе не собиралась ослаблять контроль и, в частности, отзывать Рокоссовского из Варшавы. Напротив, позиции маршала несколько укрепились. В конце декабря 1953 г. Вознесенский, «подыгрывавший» польскому руководству против маршала, был отозван в распоряжение министерства обороны СССР.

Представляется, что взаимодействие Вознесенского с польским руководством в «игре» против Рокоссовского было лишь одной и не решающей причиной отзыва полковника. Главное состояло в том, что после ареста Берии 26 июня 1953 г. и затем С. А. Гоглидзе в МВД СССР* проходили чистки «их людей», одним из которых был Вознесенский.

Ситуацией воспользовался Рокоссовский. 22 января 1954 г. он направил обширное письмо Булганину. Импульсом к написанию письма послужил визит к нему заместителя Вознесенского по агентурно-оперативной работе в Войске Польском полковника Добровольского 20 января 1954 г. Он сообщил, что накануне отъезда его посетил Вознесенский, который признался, что «имел стычки с Рокоссовским на служебной почве», что отношения между ними были «очень плохие», что Рокоссовский «настороженно относится к некоторым руководителям ПОРП, в том числе к Берману...»³⁴ Маршала не могло не взволновать, что Вознесенский вновь говорил о его недоверии к польскому руководству, «намекнул, что кое-кто в ЦК ПОРП должен об этом узнать», что о сути разговора доложено Э. Охабу, заместителю Рокоссовского по политчасти, и некоторым другим офицерам в контрразведке Войска Польского³⁵.

Сведения, изложенные в письме Рокоссовского, были прямо направлены против Вознесенского. Маршал дал ему уничтожающую по тем временам политическую оценку — провокатор и двурушник, «высшей марки карьерист, тщеславный и пустой» человек, действовавший против Рокоссовского «с какой-то странной целью». Кроме того, в МВД СССР на имя начальника следственной части по особо важным делам Леонтьева он направил развернутую характеристику на Вознесенского, содержащую такие же оценки³⁶.

Письмо Рокоссовского пришлось исключительно ко времени. Оно было подкреплено шифртелеграммой посла Попова Маленкову и дру-

* После смерти Сталина МГБ и МВД были объединены в одно ведомство.

гим членам советского руководства, где излагались детали действий Вознесенского против маршала. С материалами был немедленно ознакомлен Хрущев, который вынес «вопрос» на обсуждение Президиума ЦК КПСС 25 января 1954 г. Президиум постановил — предложить генеральному прокурору СССР Руденко Р. А. арестовать полковника Вознесенского и произвести расследование «по этому делу»³⁷.

Таким образом, в противостоянии с Вознесенским, через которого действовало узкое руководство ПОРП, пытаясь добиться откомандирования маршала из Польши с помощью управления военной контрразведки Войска Польского и МГБ СССР одновременно, на этом этапе выиграл Рокоссовский, поддержанный верхушкой КПСС. В его пользу «сработала» конкретная ситуация в Москве и заинтересованность советского руководства в сохранении прямого и надежного советского контроля за Войском Польским и положением дел в стране в целом. На II съезде ПОРП, состоявшемся в марте 1954 г., маршал был избран в состав Политбюро ЦК ПОРП, на чем настаивала советская сторона.

Но давление лидеров ПОРП на Москву с целью убрать маршала из Польши продолжалось. В подтверждение можно привести письмо ген. З. Берлинга — бывшего начальника Академии генштаба Войска Польского, Н. А. Булганину 5 апреля 1955 г. Охарактеризовав ситуацию в Польше как драматическую, Берлинг подчеркнул внутреннюю слабость армии («У Войска Польского нет души. Дорога к сердцу солдата закрыта») и вину за это возлагал прямо на Рокоссовского. Маршал был назван человеком, пренебрежительно относящимся к делу и своим обязанностям, не знающим «психологию народа и войска», без чего «всегда будет слоном в магазине с фарфором». Берлинг утверждал, что министр «презирает чувства народа, очень в этом отношении впечатлительного», и заключал с уверенностью, что «тов. Р. не в состоянии выполнять свою настоящую и будущие задачи». Берлинг прямо ставил вопрос о снятии Рокоссовского с должности министра национальной обороны, подчеркивая, что этот пост «мог бы занять один из членов Политбюро ЦК ПОРП»³⁸.

Арестованный за «провокационную антисоветскую деятельность» Вознесенский был допрошен в Генеральной прокуратуре 30 января 1954 г. и подробно изложил «историю» конфликта с маршалом. Следствие по «делу» было закончено в сентябре 1955 г. Вознесенскому инкриминировались злоупотребление властью, «преступно халатное отношение к службе», «нарушение законности в оперативной и следственной работе», что выражалось в участии в репрессиях, допросах с пристрастием. Все вместе взятое было квалифицировано как нанесение ущерба интересам Советского Союза. 2 ноября 1956 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР рассматривала «дело» Вознесенского по статье 193–17 п. «б» Уголовного кодекса РСФСР и приговорила Вознесенского к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере (АПРФ. Ф. 3. Оп. 66. Д. 140. Л. 17, 18, 24, 30, 48, 51, 69). Не реабилитирован.

Вряд ли письмо генерала, находившегося тогда в запасе, было написано только по его собственной инициативе. Вероятнее всего, это была еще одна попытка руководства ПОРП, привлекая внимание Москвы к неблагоприятному положению дел в польской армии, возлагая всю вину за это на министра национальной обороны, добиться отзыва Рокоссовского.

Тем не менее Рокоссовский оставался на своем посту до ноября 1956 г. Маршал был отозван лишь по требованию нового руководства ПОРП во главе с В. Гомулкой. В начале 1957 г. его назначили заместителем министра обороны СССР. Тем самым Варшаве давали понять, что высоко оценивают деловые и политические качества Рокоссовского и полностью ему доверяют.

Таким образом, назначение Рокоссовского в Польшу и отзыв его из этой страны были событиями политическими и знаковыми. 1949–1956 гг. — это апогей сталинизма в Польше, время наиболее откровенного советского вмешательства в управление страной, время глубокой зависимости польской власти от Москвы. На долю Рокоссовского выпало быть олицетворением этой зависимости, мучительно переживать свое пребывание в Польше. Не случайно он не оставил воспоминаний об этом периоде своей жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Архив Президента РФ (далее — АП РФ). Ф. 45. Оп. 1. Д. 360. Л. 53.
- 2 *Рокоссовский К. К.* Солдатский долг. М., 2000. С. 355.
- 3 Российский государственный архив социально-политической истории (далее — РГАСПИ). Ф. 82. Д. 1300. Л. 18, 23–26.
- 4 *Петрова Н. К.* Славный сын двух славянских народов // Три маршала Победы. М., 1999. С. 307, 309; *Корольченко А. Ф.* Маршал Рокоссовский. Ростов-на-Дону, 1999. С. 139–140, 151; *Батов П. И.* Человек, коммунист, командир. М., 1971. С. 23.
- 5 *Marszałek dwóch narodów.* Warszawa, 1976. S. 159.
- 6 Посетители кремлевского кабинета И. В. Сталина. 1924–1953 гг. // Исторический архив. 1996. № 5–6. С. 53.
- 7 Восточная Европа в документах российских архивов. 1945–1953. Т. 2. 1949–1953. Москва; Новосибирск, 1998. С. 277.
- 8 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 280. Л. 8–9.
- 9 *Nalepa E.* Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim. 1943–1968. Warszawa, 1995. S. 68–69.
- 10 Архив внешней политики РФ (далее — АВП РФ). Ф. 0122. Оп. 33. П. 253. Д. 5. Л. 4; *Marszałek dwóch narodów...* S. 159.
- 11 АП РФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 254. Л. 57; АВП РФ. Ф. 0138. Оп. 30. П. 160. Д. 8. Л. 136–137; Восточная Европа в документах... Т. 2. С. 292.

- 12 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1301. Л. 203.
- 13 *Poksiński J.* «ТИН». Tatar-Utnik-Nowicki. Warszawa, 1992. S. 7, 57, 149.
- 14 Там же. С. 239, 240, 242.
- 15 АП РФ. Ф. 3. Оп. 66. Д. 140. Л. 38.
- 16 Восточная Европа в документах... Т. 2. С. 311–312.
- 17 Там же. С. 314.
- 18 Там же. С. 177, 173.
- 19 АП РФ. Ф. 3. Оп. 66. Д. 140. Л. 39.
- 20 Там же.
- 21 *Пихоя Р. Г.* Советский Союз: история власти. 1945–1991. М., 1998. С. 87–95.
- 22 АП РФ. Ф. 3. Оп. 66. Д. 140. Л. 40.
- 23 Там же. Л. 32–33.
- 24 Там же. Л. 32.
- 25 Там же. Л. 20.
- 26 *Пихоя Р. Г.* Указ. соч. С. 93–94.
- 27 АП РФ. Ф. 3. Оп. 66. Д. 140. Л. 49.
- 28 Там же. Л. 21.
- 29 См. подр.: *Носкова А. Ф.* Советские советники в Восточной Европе. 1945–1953 гг. // Вопросы истории. 1998. № 1.
- 30 АП РФ. Ф. 3. Оп. 66. Д. 139. Л. 2–3.
- 31 Там же. Л. 79, 149.
- 32 Там же. Л. 173–174.
- 33 *Paczkowski A.* Żydzi w UB: próba weryfikacji stereotypu // Komunizm. Warszawa, 2001. S. 202.
- 34 АП РФ. Там же. Д. 140. Л. 34–35.
- 35 Там же. Л. 19.
- 36 Там же. Л. 22.
- 37 Там же. Л. 24, 26.
- 38 Там же. Л. 44–45.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ О СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ КОМИССИИ ИСТОРИКОВ ПО «БЕЛЫМ ПЯТНАМ»

Обращение к своей памяти нередко порождает определенные проблемы. На собственные воспоминания накладываются более поздние оценки и соображения, опирающиеся на приобретенный позднее опыт и анализ последствий описываемых событий. Подчас не удается их расслоить, дать адекватную картину, соответствующую определенному срезу времени. С такими особенностями постоянно приходится иметь дело и учитывать их при чтении мемуаров различных лиц. Когда же приходится писать самому в близком по профилю жанре, трудности возникают постоянно. Отсюда и название — «Субъективные заметки...», как призыв к снисхождению читателя.

Историку всегда хочется поставить освещаемые события в определенные исторические рамки. Комиссия по «белым пятнам» — прямое следствие перестройки в Советском Союзе, а точнее — дитя эпохи гласности. Как известно, 27–28 января 1987 г. состоялся Пленум ЦК КПСС с повесткой дня «О перестройке и кадровой политике». Реально круг обсуждавшихся проблем был гораздо шире. На нем фактически было положено начало политической реформе. Впервые в практику внутривластной жизни вводились выборы руководящих кадров на альтернативной основе. Естественно, что партократия загудела, инстинктивно почувствовав угрозу своему положению. Не менее, а может быть и более значимым был призыв к гласности. Он сопровождался в докладе М. С. Горбачева резкой критикой ученых-обществоведов, их огульным обвинением, что они стоят на позициях 30–40-х гг. «Гласность, демократия, социализм» — в этих трех словах суммировалась суть его программы. Несколько позднее, в июле 1987 г., когда в Политбюро ЦК состоялся обмен мнениями о гласности (помощник Горбачева в тот период А. С. Черняев назвал его даже дискуссией), Горбачев подвел ему такой итог: «Пока другие механизмы перестройки еще не налажены и не работают, одна только гласность поддерживает процесс»¹. Короче, в гласности Горбачев видел прежде всего инструмент борьбы с «механизмами торможения» и рассчитывал на поддержку все той же интеллигенции, которую он столь резко критиковал. К его действиям вполне применим язвительный афоризм Козьмы Пруtkова, что «начальство достигает своих целей путем принятия мер, внешне как бы противоположных».

Термин «гласность» появился в русском политическом лексиконе еще в XIX в. и встречался у А. Герцена и Н. Салтыкова-Щедрина. В Большой энциклопедии, издававшейся в России в конце XIX века, «гласность» трактовалась как публичное освещение деятельности правительственных и представительных органов². В таком же виде восприняла этот термин и Большая советская энциклопедия, указав также на роль гласности в процессе судопроизводства³. Характерно, что ни в одном случае гласность не ставилась в один ряд со свободой слова. Трудно сказать, что понимал сам Горбачев под этим термином, хотя юридическое образование должно было бы подсказать ему необходимость более точной дефиниции вводимого им в политический оборот непривычного политического понятия. Другое дело, что сам факт такого шага вызвал в тогдашнем обществе бурю восторгов и даже эйфорию. Он был сознательно истолкован обществом, истомленным долгими годами жесткой цензуры, в расширительном плане, как разрешение на критику и свободное выражение своего мнения. Однако даже в самые лучшие времена поклонники перестройки и гласности знали пределы допустимого и действовали по старому русскому принципу: «Посуду бей, а самовар не трогай». В них продолжал крепко сидеть внутренний цензор, победить которого оказалось не так легко.

Вскоре после январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС произошла встреча М. С. Горбачева с В. Ярузельским в Москве, итогом которой стала подписанная 21 апреля 1987 г. «Декларация о советско-польском сотрудничестве в области идеологии, науки и культуры». В ней говорилось, что КПСС и ПОРП придают большое значение совместному исследованию истории отношений между «нашими странами, партиями и народами». Особо подчеркивалось, что «в нашей истории не может быть „белых пятен“». Вековые связи Польши и России требуют глубокой оценки. Все эпизоды, в том числе драматические, должны получить объективное и четкое истолкование с позиций марксизма-ленинизма, соответствующее нынешнему состоянию знаний⁴. Предполагалось, что работа комиссии должна расчистить исторические завалы и устранить все препятствия, которые могли бы омрачить жизнь будущих поколений. Так термин «белые пятна» вошел в официальную терминологию и получил широчайшее распространение, хотя его уже употребляли с конца 1986 г. Он сразу приобрел массу модификаций — «черные дыры», «серые зоны» и т. д. с соответствующими глаголами. Им открывалась полоса нашего «непредсказуемого прошлого»⁵.

В тот период партийные решения старались выполнять быстро. Первое заседание комиссии по «белым пятнам» (официально она называлась «Совместная комиссия ученых СССР и ПНР по истории отношений между двумя странами») состоялось в Москве уже в мае

1987 г. Вполне естественно, что она носила в основном учредительный и организационный характер. Советскую часть возглавлял академик Г. Л. Смирнов (директор Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС), в нее входили академики В. Н. Кудрявцев и А. Л. Нарочницкий, доктора наук В. В. Журавлев, Б. С. Попов, В. С. Парсаданова, Г. А. Трукан, А. С. Чубарьян, О. А. Ржешевский, И. С. Яжборовская, Т. В. Порфирьева, А. В. Елпатьевский, Д. И. Антонюк, В. О. Дайнес, К. А. Кочегура, всего 15 человек. Такой же по численности была и польская делегация во главе с Я. Мачишевским (ректор Академии общественных наук ПОРП), а членами были Ч. Мадайчик, К. Собчак, М. Войцеховский, Т. Валихновский, Э. Козловский, М. Лечик, В. Ковальский, М. Танты, Р. Назаревич, Ч. Лучак, Б. Сыдзек, М. Кучиньский, К. Смэрд и М. Опиловский (два последних — переводчики). Впоследствии состав обеих делегаций несколько менялся: одни отошли от работы, другие были введены несколько позднее (автор этих строк участвовал в ее работе с весны 1988 г.).

На первом заседании были рассмотрены возможные формы работы, а главное — определен круг исследовательских проблем. В хронологическом порядке это были: польско-советская война 1920 г. и проблемы, связанные с образованием независимого Польского государства; роспуск Коммунистической партии Польши в 1938 г.; советско-германский пакт 23 августа, германо-польская война и 17 сентября 1939 г.; депортация польского населения с западноукраинских и западнобелорусских земель в 1939–1941 г.; Катынь; Варшавское восстание 1944 г.; проблема Армии Крайовой; советско-польское боевое сотрудничество 1941–1945 гг.; интернациональные связи КПСС и ПОРП (история и современность). Чтобы придать динамику последующей работе комиссии, В. Ярузельский подготовил статью «К новым горизонтам», которая была опубликована в теоретических журналах обеих партий⁶ и где были затронуты основные проблемы будущей работы комиссии. Основной задачей работы комиссии было создание «образа друга».

С самого же начала советское партийное руководство столкнулось с проблемой, которая показала, что оно вступило на тонкий лед. Летом 1987 г., как прямое следствие создания комиссии, на имя Горбачева пришла серия писем, преимущественно из Англии и скандинавских стран, в которых остро ставился вопрос о политической ответственности за расстрел польских офицеров в Катыни. В них содержались требования признания вины, наказания виновных и разрешения полякам посещать места захоронения. Эти письма, как считал А. Черняев, были инспирированы людьми «Солидарности» из Польши. Помощники Горбачева, изучив эти письма, составили для него записку, в которой говорилось: «В ходе совместной работы по закры-

типо „белых пятен“ нам не удастся отговориться от этой проблемы. Во всяком случае, хотя бы для самих себя надо бы внести ясность». В записке содержалось предложение дать поручение соответствующим лицам внести ясность в этот вопрос. По словам Черняева, на эту записку Горбачев ничего не ответил⁷. Добавим — как всегда, когда речь шла об острых вопросах, «отец перестройки» уходил в кусты.

Этот эпизод не был случайным. Польша уже с осени 1980 г. находилась в состоянии глубокого внутреннего кризиса. Введение военного положения и уход «Солидарности» в подполье не было, конечно, выходом из положения. В стране шла напряженная политическая борьба. Особого напряжения она достигала в идеологической сфере. В таких условиях пышным цветом расцвела «самиздатовская» литература. В стране распространялись завезенные самыми разными способами эмигрантские издания. Обращение к историческим фактам было до предела политизировано. Отношение к СССР и всему связанному с ним служило мощным оружием в этой борьбе. В зарубежных СМИ вокруг всех событий в Польше шла настоящая информационно-психологическая война. Руководство правящей в стране ПОРП не могло не считаться с таким положением. По замыслу создателей советско-польской комиссии, она должна была найти ответы хотя бы на часть острых исторических проблем, игравших важную роль в политической жизни Польши.

Как часто бывает в политике, принятие одного решения сопровождается рядом других неожиданных явлений, что можно было бы даже представить как «закон непредвиденных последствий». Так, в Польше само создание комиссии дало дополнительный толчок для усиления идеологического противостояния в области истории, а провозглашенная в Советском Союзе гласность использована как рычаг для давления на польские средства массовой информации. Польская часть комиссии оказалась в центре политической борьбы, а ее деятельность — в поле критики. Сразу же стало ясно, что наибольшее внимание привлекают проблемы 1939 г. и Катынь. Возникли вопросы, связанные с ее составом. Так, профессор Е. Дурачиньский, сотрудник Института истории Польской Академии наук, одобряя начало ее работы, выступил с предложением поручить разрешение проблем исторического прошлого в советско-польских отношениях научным учреждениям, а именно соответствующим подразделениям Польской АН и Институту истории Варшавского университета⁸, что вызвало, естественно, неудовольствие официальных кругов.

Дискуссия о проблемах «белых пятен» стала постоянной рубрикой многих польских газет и журналов. Особенно активны были еженедельники. Внимание польской общественности привлекла публика-

ция в десяти номерах краковского общественно-литературного еженедельника «Жиче литератке» серии статей профессора В. Ковальского, основанных на его готовившейся к изданию книги «Пакт Риббентроп–Молотов»⁹. Здесь же начало печататься хроникально-художественное произведение В. Махеека «О Катыни». Последняя тема вызывала особенно большие эмоции. Не стояла в стороне от этой дискуссии и католическая печать. Общий тон всех дискуссий исходил из того, что отношения с восточным соседом надо строить на фундаменте исторической правды. Замалчивание в течение долгого времени этих фактов исходило, видимо, из мнения, что общественность еще не созрела до ее восприятия. В результате сторонники антисоветской ориентации получили как бы монополию на правду в силу отказа от нее государственной пропаганды. Последствия такого положения и сказались в критический момент. Усилия комиссии по «белым пятнам» должны были заполнить такие пробелы.

Однако манипуляции общественным мнением продолжались, причем в них подчас оказывались втянутыми многие лица как бы помимо их воли. Примером может служить получившее широкое распространение «Открытое письмо польской интеллигенции представителям советского мира науки и культуры». Это «письмо пятидесяти девяти», появившееся в феврале 1988 г., было широко разрекламировано западными радиостанциями, вещавшими на Советский Союз (в первую очередь радиостанциями «Свобода», «Голос Америки» и Би-би-си). «Проблемой, которая особенно отягощает польско-русские отношения, — говорилось в нем, — было и остается убийство польских офицеров в Катыни в 1940 г. Это преступление, совершенное палачами Сталина и Берии, а также позднейшая ложь об их преступлениях отравили наши взаимные отношения». Правда о Катыни, подчеркивалось в письме, является «непременным условием изменения отношений между нашими народами»¹⁰. Выдвигая только одну проблему и превращая ее в абсолют (несмотря на несомненную ее значимость), при этом прекрасно понимая, что ее решение требует особых усилий не столько со стороны советских историков, сколько со стороны советского руководства, и что такого сдвига трудно ожидать немедленно, авторы письма несомненно преследовали в первую очередь политические цели. Характерно и время его публикации — накануне второго заседания совместной комиссии историков по «белым пятнам», причем сама эта комиссия не упоминалась, а обращение было направлено не только в ее обход, но и в обход советского руководства, в адрес советских деятелей науки и культуры.

Такая апелляция была явно рассчитана на пропагандистскую волну. Так она и была воспринята. И она не помогла, а затруднила

деятельность историков, особенно советских, входивших в комиссию. Эта сторона обращения была, естественно, сразу же обыграна польской партийной пропагандой. В центральном органе ПОРП — газете «Трибуна люду» — появилась статья под названием «Специалисты по взлому открытых дверей». В ней обыгрывалось наличие среди лиц, подписавших письмо, таких «интеллектуалов», как Л. Валенса, З. Бук или В. Фрасынюк. Естественно, что за такой констатацией следовал вывод о подбрасывании жареных фактов западной пропаганде и желании ряда лиц просто рекламировать себя¹¹.

Характерной особенностью работы советских историков в комиссии по «белым пятнам» было достаточно ясное представление ими действительного положения дел. Но они были связаны как продолжавшимся наблюдением партийных органов за их действиями, так и отсутствием реальных документов в их руках. Поэтому наибольший интерес представляют даже не дискуссии на заседаниях этой комиссии между польскими и советскими историками (они носили в основном действительно профессиональный характер), а обстоятельства, так сказать, «домашней работы» советской части комиссии. И здесь на помощь приходит личный архив и сохранившиеся записи, сделанные на различных заседаниях и встречах. А их было много, и каждая представляла определенный интерес.

Так, в Президиуме Академии наук, у вице-президента П. Н. Федосеева, 18 ноября 1987 г. состоялось заседание, рассмотревшее работу комиссии по «белым пятнам». В своем сообщении Г. Л. Смирнов особо остановился на реакции польского общественного мнения на ее работу. Преобладало, по его мнению, два подхода. Первый, который он охарактеризовал как ажиотажный, стремился привлечь как можно больше людей и поднять как можно больше вопросов, рассматриваемых как «белые пятна». В качестве примера он привел социологический опрос, организованный газетой «Политика», о претензиях поляков к Советскому Союзу, о расширении списка таких проблем. Это совпадало с тенденциями, проявлявшимися в работе западных радиостанций. Другой подход явно стремился нагнетать недовольство взаимными отношениями. Суммируя свои наблюдения, он сочувственно сослался на высказывание примаса католической церкви в Польше кардинала Ю. Глемпа, что подсчет претензий друг к другу ни к чему хорошему не приведет¹².

Рефреном всех других выступлений был призыв к открытию архивов. Наибольшее внимание было уделено необходимости признания существования секретного дополнительного протокола к советско-германскому пакту о ненападении от 23 августа 1939 г. Этот протокол, отмечали участники заседания, многократно публиковал-

ся. Сказать о нем необходимо, ибо умолчание ставит нас в глупое положение и порождает спекуляции, причем не только в Польше, но и в Прибалтике (участникам обсуждения было известно, что в прибалтийских республиках 23 августа 1987 г. прошли демонстрации, на которых выражался протест против пакта Молотов–Риббентроп). Такое признание раскрепостит нашу науку. Из-за этих умолчаний застыло издание Документов внешней политики СССР, оборвавшееся на томе, посвященном 1938 году. Высказывалось даже мнение, что без такого протокола вообще подписание этого пакта было бы лишено смысла, поскольку он ставил предел немецкому продвижению на Восток. Звучали жалобы на практику архивов не давать документов исследователям и ставить им многочисленные рогатки. Так, полностью отсутствовала какая-либо документация по проблеме Катыни, если не считать материалов комиссии Н. Бурденко. В Большой советской энциклопедии (имелось в виду ее 3-е издание) вообще отсутствовала статья о Катыни.

Эти два вопроса (1939 г. и Катынь) привлекли наибольшее внимание. Обсуждались и другие проблемы. Так, П. Н. Федосеев констатировал, что решение Коминтерна о роспуске Компартии Польши было грубой ошибкой, и рекомендовал опубликовать материалы об этом событии¹³. Он высоко оценил также статью Г. Л. Смирнова в журнале «Новое время», в которой тот дезавуировал грубые и оскорбительные для Польши высказывания Молотова в 1939 г. (эта статья была перепечатана в польской прессе и была с удовлетворением встречена в Польше). Однако было очевидно, что общественность двух стран по-разному относилась к работе комиссии. В Польше проблемы «белых пятен» в отношениях с Советским Союзом имели для оппозиционных сил значение инструмента подрыва легитимации правящего режима, для самих же правящих кругов были способом снизить общественную напряженность, которая продолжала нарастать. В Советском Союзе «белые пятна» в отношениях с Польшей были для широкой общественности интересны скорее как пробный камень готовности властей пойти на признание допущенных ошибок или преступлений (Катынь), а для историков служил инструментом в борьбе за раскрытие архивов. Внимание же левой интеллигенции (тогда под «левой» понимали то, что теперь мы зовем «правой»: таковы были тогдашние реалии и политический лексикон) переключалось на критику собственной истории, особенно истории КПСС и всего советского периода.

Общественность обоих государств была нетерпелива и ожидала немедленного ответа от историков на все поставленные вопросы, хотя наборы этих вопросов были для каждого из них различными (а для советской общественности — практически не связаны с польской про-

блематикой). Между тем комиссия работала в обычном режиме, особенно если учесть необходимость согласования деятельности обеих сторон. Второе ее заседание состоялось в Варшаве 29 февраля — 4 марта 1988 г. На нем был согласован план дальнейшей работы с перечислением запланированных трудов и указанием сроков их выполнения. В частности, планировалось провести в Москве конференцию о советско-польских отношениях в 1917–1921 гг. с перспективой создать совместный труд о войне 1920 г.; намечался анализ комплекса вопросов кануна Второй мировой войны и подготовка ряда трудов, в том числе и совместных; в рамках комиссии создавалась специальная группа по проблемам польского населения в СССР в 1939–1948 гг., включая проблемы депортации, а также намечалось продолжить поиск архивных материалов о судьбе польских офицеров (Катынь). В числе изучаемых проблем предполагалось исследовать также вопросы совместной борьбы против фашизма, боевое содружество советских и польских партизан и армий в годы Второй мировой войны. Намечались переводы и издания трудов польских историков в СССР и советских — в Польше. Для повышения эффективности и результативности работы комиссии было признано целесообразным ввести в практику создание проблемных групп и организацию их регулярных встреч в Москве и Варшаве для обсуждения дискуссионных вопросов. Комиссия обращалась также к государственным и партийным органам обеих стран с просьбой решить вопрос о предоставлении историкам, работающим по поручению комиссии, необходимых архивных материалов.

По итогам работы второго заседания комиссии руководители обеих ее частей Я. Мачишевский и Г. Л. Смирнов дали интервью газете «Трибуна люду» под характерным заголовком — «Время умолчаний прошло». В нем было отмечено, что советская сторона передала польской более 106 тыс. кадров микрофильмов документов, касающихся историко-партийной проблематики. Их хватит года на два работы, бросил реплику Мачишевский. В свою очередь Смирнов вновь повторил основные положения своей статьи в журнале «Новое время», дезавуировавшие оскорбительные высказывания Молотова в адрес Польши. Оба они подчеркивали, что работа комиссии носит научный характер, а научные результаты требуют времени. Зоны неведения, умолчания или искажения не должны подменяться полуправдой или неглубокими интерпретациями. Нередко одна проблема тянет за собой целый ряд других. Так, польско-советские отношения в канун Второй мировой войны не могут рассматриваться изолированно и требуют рассмотрения всего комплекса проблем международных отношений того времени. Погоня за сенсациями не облегчает нашей работы, отметил Мачишевский. Сам он сожалел, что пока нет продвиже-

ния в выяснении обстоятельств катынской трагедии. Отметил он и внимание, которое уделялось судьбам польского населения в Советском Союзе в годы войны. Смирнов обратил внимание, что не должны выпадать из поля зрения также факты политического и военного сотрудничества обеих стран. Нельзя забывать, что в боях за освобождение Польши Советская армия потеряла примерно 640 тысяч солдат, что более миллиона советских военнопленных погибли в фашистских лагерях на польской территории. Той же части из них, которым удалось бежать, польское население оказывало помощь, укрывало и связывало их с партизанскими отрядами, где они продолжали сражаться. Но об этом известно очень мало. Так что «белые пятна» носят разный характер¹⁴.

По реализации решений варшавского заседания комиссии была развернута серьезная работа. В нее включились сотрудники ряда исторических институтов Академии наук. Значительные задачи приходились на Институт славяноведения. Здесь 13 апреля 1988 г. состоялось совещание, посвященное реализации совместного с польскими коллегами проекта «Советская Россия и Польша. 1917–1921 гг.», в котором приняли участие также представители других институтов. Сразу же встал вопрос о различии концепций обеих сторон и различиях в трактовках. Некоторые польские коллеги высказывали мысли, что раз Ленин подписал декрет о признании независимости Польши, то из этого якобы следует, что должны были быть восстановлены границы 1772 г. Отсюда ряд негативных стереотипов, связанных с войной 1920 г., часть из которых были озвучены даже в выступлениях польских парламентариев в Сейме и Консультативном Совете. Участники совещания сошлись во мнении, что психологические последствия этой войны задали тон отношениям двух стран на весь межвоенный период. Предполагалось продолжить обсуждение этого проекта на рабочей встрече с польскими коллегами в конце 1988 г. и вынести его на заседание комиссии весной 1989 г. Естественно, что встал вопрос о положении с архивами, которые продолжали упорствовать в создании препятствий свободному доступу к документам¹⁵. Этот вопрос оставался буквально дежурным и в дальнейшем.

Проблемы советско-польских отношений и войны 1920 г. обсуждались также 27 июня и 18 июля 1988 г., причем становилось ясно, что с польскими коллегами, находившимися под серьезным давлением общественного мнения, формировавшегося в Польше оппозиционными силами, вряд ли удастся создать совместный труд, а потому каждой стороне следует работать над своими вариантами. Но эта проблема тянула за собой другие аспекты истории двусторонних отношений. И они были обсуждены на заседании советской части комиссии, соб-

ранном Г. Л. Смирновым 20 июля 1988 г. Оно проходило под впечатлением только что состоявшегося визита Горбачева в Польшу, где он выступил перед представителями польской интеллигенции в Варшаве. Коснувшись проблемы Катыни, Горбачев сказал, что «история этой трагедии сейчас тщательно исследуется. По результатам исследований можно будет судить, насколько оправдались те или иные суждения, оценки. В Катыни сейчас рядом два памятника — погибшим полякам и погибшим советским военнопленным, расстрелянным там фашистами. Это также и символ общей беды, постигшей оба наши народа». Трудно сказать, кто в то время исследовал проблему Катыни, поскольку из ведения советской части комиссии она была фактически изъята.

Внимание комиссии было поэтому переключено на другие вопросы. Из них важнейшими становились проблемы войны 1920 г. и события, связанные с советско-германскими договорами 1939 г. — как 23 августа, так и 28 сентября (последний носил название «Договор о дружбе и границе», причем формула «о дружбе» была расценена и в работе комиссии, и в выступлении Горбачева как грубая политическая ошибка). Но главное заключалось в том, что советские архивисты никак «не могли найти» секретных протоколов к этим договорам. Среди входивших в комиссию советских историков это вызывало протест. Если нельзя найти в наших архивах, говорили они, то эти протоколы давно напечатаны в зарубежных изданиях и их подлинность не вызывает сомнений. Так что нужно исходить из факта их существования. Незадолго до того посетившие Варшаву члены комиссии А. О. Чубарьян и О. А. Ржешевский сообщили, что польские коллеги подготовили проект документа об оценке событий 1939 г. и этот проект представляет неплохую основу для дальнейшего обсуждения, хотя и нуждается в доработке. На этом же заседании, учитывая возросшую роль польской проблематики, по предложению Института славяноведения было решено провести всесоюзное совещание историков-полонистов с рассмотрением самого широкого круга вопросов. Ему же было поручено и организовать это совещание¹⁶.

Между тем обстановка в Советском Союзе за год с небольшим работы комиссии сильно изменилась. Уже в 1987 г. увидели свет и получили самое широкое распространение в обществе кинофильм Т. Абуладзе «Покаяние» и роман А. Рыбакова «Дети Арбата», долгое время дожидавшиеся своего часа. Они и другие аналогичные по критичности произведения были восприняты общественностью как сигнал наступления новой, более высокой ступени гласности. Их популярность отражала настроения масс, но и они в свою очередь устанавливали своего рода планку критического настроения по отношению к прошлому.

Как художественные произведения, каждый в своем жанре, они будили эмоции, но также и вызывали спрос на объяснение затронутых проблем. И этот спрос вызвал поток публицистических статей в газетах и журналах. Как правило, такие статьи создавались не профессиональными историками, а в основном журналистами. За неимением серьезной источниковой базы, они опирались либо на зарубежные издания, либо на устную традицию и семейные предания. Отсюда разгул дилетантизма и самая откровенная конъюнктурщина. В этом потоке попадались и серьезные статьи о сталинских репрессиях, был поставлен вопрос о «цене революции» и последующих преобразованиях. Волна критики резко возросла, когда в стране стали возникать так называемые «народные фронты» в различных союзных республиках и национальных автономиях. Их обращение к истории и ее произвольное толкование стали повсеместной нормой, своего рода политическим оружием.

На этом фоне серьезные попытки профессиональных историков обновить методологические подходы к прошлому и призывы к объективности (проходили многочисленные «круглые столы», дискуссии в научных коллективах, хотя количество публикаций было сравнительно невелико из-за отсутствия новых архивных материалов, без чего профессиональные исследователи не могли обойтись) тонули в обилии легковесных и малокомпетентных материалов. И историков стали обвинять в сокрытии правды и во многих других грехах, которые лежали на совести партийно-бюрократического аппарата. Так, позднее пресса упрекала ученых-экономистов в развале экономики страны...

«Маяками» гласности и перестройки стали такие органы, как «Московские новости», журналы «Огонек», «Знамя» и ряд других. С весны 1987 г. их возглавили новые лица, которым покровительствовал «прораб перестройки» А. Н. Яковлев. В них публикации на исторические темы стали постоянными. Их число особенно увеличилось с начала 1988 г. и продолжало расти и дальше. Как правило, они были мало аргументированы, изображали события в упрощенном виде и достаточно примитивно, но зато хлестким языком. К тому времени относится также любопытная конференция «Историки и писатели о литературе и истории», состоявшаяся 27–28 апреля 1988 г. На ней выступления историков были более самокритичными, а писателей — более эмоциональными и политически острыми. В центре стояли, конечно, вопросы отечественной истории советского периода. Не обошлось и без крайностей, огульных обвинений. В пылу полемики писатель В. П. Астафьев, назвав лживыми все книги историков об Отечественной войне, воскликнул: «Я был на совершенно другой войне!» Но в целом конференция была полезной для обеих сторон¹⁷.

Основная масса публикаций касалась проблем советской истории. Темы выбирались произвольно, трактовались субъективно, а в основе лежала погоня за сенсацией. Давая суммарную оценку такого рода статей и их психологического воздействия на общество, профессор В. Т. Логинов несколько позднее говорил: «В массовом сознании — особенно молодежи — более чем 70-летний период страны воспринимается порой лишь как сплошная цепь преступлений, как своего рода „уголовная хроника“»¹⁸. Исторические сюжеты сознательно использовались рядом авторов как инструмент расшатывания основополагающих устоев советского режима.

В этом ряду польские сюжеты встречались лишь как отдельные вкрапления. Так, весной 1988 г. к проблеме Катynи обратился Союз кинематографистов. В Москве в рамках совместного с польскими коллегами проекта «История в кинофильмах» состоялась встреча, на которой проблема Катynи стала центральной. Историки на эту встречу приглашены не были. На двух же случайно оказавшихся там историков обрушился огонь критики за то, в чем они сами повинны не были¹⁹. По итогам этой встречи по телевидению был показан польский хроникальный фильм, а польский кинематографист Ежи Гурский, отец которого стал одной из жертв катынского преступления, получил возможность высказаться перед широкой телевизионной аудиторией свою точку зрения на проблему «белых пятен».

Впрочем, к тому времени как среди историков, так и в обществе достаточно прочно утвердилось мнение, что следы катынского преступления ведут непосредственно к Сталину и его окружению. Признанию этого факта мешало как отсутствие документов (они были большей частью уничтожены, а остатки хранились за семью печатями), так и, главное, в нежелании политических верхов содействовать раскрытию правды. Впрочем, и там, «наверху», не было полного единодушия и для большинства, по свидетельству А. С. Черняева, «было очевидно, что виноваты „мы“ и пора бы уже признаться. Фалин в записках в Политбюро несколько раз настаивал на этом. Но ни разу „дело“ на Политбюро (по крайней мере на тех заседаниях, на которых я присутствовал) как следует не было обсуждено... А потом печать вскрыла все уже без всякого участия Горбачева... Впрочем, он не пытался препятствовать»²⁰. К этому высказыванию, апологетическому по существу, следует сделать несколько пояснений. Во-первых, в комиссии по «белым пятнам» об обращениях В. М. Фалина, занимавшего с 1988 г. должность заведующего Отделом ЦК КПСС по связям с компартиями социалистических стран, с записками в Политбюро ничего не было известно, а его встречи с отдельными членами комиссии в тот период были направлены в основном на выдачу «ценных

указаний» об отсутствии в советских архивах подлинников секретных протоколов к советско-германским договорам 1939 г., которые потом «чудесным образом» нашлись. Во-вторых, именно от Горбачева тогда зависело раскрытие правды о Катыни, но он упорно уклонялся от этого. В-третьих, первые документы о Катыни в советских архивах были открыты не просто «печатью», а именно советскими членами комиссии по «белым пятнам», но об этом — впереди.

Было бы, конечно, неправильно думать, что внимание историков было сосредоточено только на отношениях с Польшей и только на советском периоде. Перестройка и гласность в Советском Союзе оказали влияние на все без исключения страны социалистического содружества. Коллеги в этих странах стали поднимать острые вопросы своей истории, которые обсуждались не только в их журналах и публицистике, но и на встречах с советскими историками, на специальных конференциях или в рамках двусторонних комиссий историков. В Болгарии, например, по-новому стали рассматривать не только вопросы становления народно-демократического строя, но и проблему обретения независимости. В 1988 г. там впервые как государственный праздник было отмечено 3 марта — день подписания Сан-Стефанского мирного договора.

Запомнилась встреча 17–18 мая 1988 г. с венгерскими историками по проблеме «Версальская система. Трианонский мирный договор». По словам профессора Ф. Мучи, Трианон так и остался «открытой раной в сердце каждого венгра». В докладах венгерских коллег (М. Ормош, М. Адам, Пал Притц и др.) были рассмотрены многочисленные аспекты этой проблемы, поставлен вопрос об отсутствии коррективов Трианона при заключении мирных договоров в феврале 1947 г., анализировался «перекрестный огонь историографий соседних стран» (Чехословакии, Югославии, но особенно Румынии). Были обсуждены сложные проблемы, связанные с распадом Австро-Венгрии, рассмотрены вопросы Версальского мирного урегулирования в ходе позднейших дискуссий в Коминтерне, использование венгерского национального вопроса в программах различных политических партий и течений и даже отдельных лиц в политической жизни страны. Конференция была весьма плодотворной. Но венгерские участники остались при мнении, что «шоковый эффект Трианона затмил образование независимого государства»²¹.

Сдвиги в историографии социалистических стран за короткий период оказались настолько велики, что журнал «Вопросы истории» организовал совместно с Институтом славяноведения и балканистики «круглый стол» для их обсуждения. На состоявшемся 8 июня 1988 г. заседании отмечалось, что парадность и лозунги «дружбы на-

век» отошли в прошлое. На деле отношения между соцстранами были отношениями между их партийно-государственными и административно-бюрократическими системами с присущей им иерархией. Сейчас на смену абсолютизации и вульгаризации классового подхода к истории на передний план выходят национальные проблемы, история этнических отношений, наблюдается возрождение старых стереотипов. Между отдельными странами вспыхнули историографические перепалки (Венгрия–Румыния, Югославия–Болгария и т. д.). Вместе с тем сдвиги в историографии Советского Союза и других социалистических стран идут подчас в разных плоскостях. Живо обсуждаются кризисные ситуации в развитии соцсодружества — 1948, 1956, 1968 гг., даются новые оценки таким деятелям, как Ракоши и Берут, Готвальд и Тито и т. д. Отмечается рост внимания к истории Средних веков, ибо многие современные проблемы (трансильванский и македонский вопросы, ситуация в Косово, польско-чешские отношения) имеют глубокие исторические корни. Усилилось внимание к церковной истории. Особо была отмечена необходимость изучения культуры в неразрывной связи с историческим процессом, поскольку она всегда выступала как действенная политическая сила²².

О серьезных сдвигах в оценке прошлого свидетельствовала и советско-югославская конференция историков, оформленная как «партийно-научная консультация» по проблеме «Политические уроки конфликта КПЮ с Информбюро (1948–1953 гг.)». Она состоялась в Москве 2–3 декабря 1988 г. На ней были проанализированы не только внутренние, но и внешнеполитические проявления сталинизма в отношениях между коммунистическими партиями и социалистическими странами, которые вышли далеко за рамки двусторонних отношений²³.

Сказанное выше показывает ту идейно-политическую обстановку, в которой развивалась тогда историческая наука не только в Советском Союзе, но и в других социалистических странах, что накладывало печать на работу советско-польской комиссии по «белым пятнам».

Вторая половина 1988 г. была заполнена подготовкой к третьему заседанию комиссии и созыву всесоюзного совещания полонистов. В Институте славяноведения и балканистики прошло несколько совещаний, на которых обсуждался вопрос о создании труда по истории войны 1920 г. На заседании 31 октября было констатировано, что создать совместную с польскими коллегами рабочую группу так и не удалось. Слишком велики были расхождения сторон в оценке концептуальных проблем: кто начал войну и, следовательно, был агрессором? Каковы были цели войны с каждой стороны? Что лежало

в основе конфликта? Не было согласия и относительно структуры труда и сроков его исполнения, а также в вопросе о привлечении к его написанию историков из Белоруссии, Литвы и Украины²⁴.

Продолжались встречи советской части комиссии по «белым пятнам». Появилась даже идея о создании на общественных началах (но с финансированием со стороны Академий наук обеих стран) Фонда советско-польских исследований, который имел бы два представительства — в Москве и Варшаве — и способствовал бы контактам исследователей двух стран и совместным работам²⁵. На заседании комиссии 10 ноября 1988 г. обсуждались прежние научные вопросы, круг которых, правда, понемногу расширялся. Г. Л. Смирнов информировал участников о продолжающемся обострении обстановки в Польше, в связи с чем можно ожидать более резкой постановки многих проблем. В целом, полагал он, нам самим надо активизировать деятельность своих полонистов. Обсуждение подтвердило его выводы. Нагнетались эмоции вокруг катынской проблемы. В польской оппозиционной прессе настоятельно подчеркивалось, что внутренние преступления Сталина — это внутреннее дело Советского Союза, а расстрел польских офицеров — это международное преступление и держать ответ за него должен не Сталин, а СССР.

Всеобщими были жалобы советских участников комиссии на продолжающуюся закрытость архивов. На замечание академика А. Л. Нарочницкого, что отрицание секретных протоколов к советско-германским договорам 1939 г. ставит нас в дурацкое положение, Смирнов в сердцах бросил реплику: «Что вы тут устроили митинг? Меня агитировать не надо...» Решили использовать формулу, предложенную В. М. Фалиным: подлинность протоколов под сомнение не ставить, но их наличие в советских архивах не признавать. Ясно было, что такое указание шло с самого «верха»²⁶.

В тот же день, 10 ноября, в Институте славяноведения и балканистики состоялась встреча инициативной группы по организации совещания советских историков-полонистов. В ней приняли участие также представители Украины и Белоруссии. Выступавшие отмечали, что общий замысел совещания рожден работой комиссии по «белым пятнам» и нацелен на поддержку ее деятельности. Надо активизировать советскую научную общественность, особенно когда в Польше общественное мнение бурлит. Тем более что под влиянием событий в СССР и Польше значение многих предшествовавших научных трудов девальвировано. Одновременно раздавались голоса, что следует избегать сервильности науки перед политикой. Коллеги из Украины и Белоруссии обращали внимание, что приближается 50-летие воссоединения их западных земель с их республиками и они уже чувст-

вуют давление неформалов изнутри. Так что польская точка зрения на значение 17 сентября 1939 г. не является единственной. Встает и вопрос о положении украинцев в Польше. Им возразил участвовавший во встрече Г. Л. Смирнов. Комиссия по «белым пятнам», сказал он, руководствуется методологическими, нравственными и политическими методами. Она работает не по принципу «зуб за зуб», а хочет создать перспективу работы на длительный срок, создать задел на будущее. К этому же следует стремиться и совещанию историков-полонистов²⁷.

29 ноября — 1 декабря 1988 г. состоялось третье очередное совместное заседание комиссии по «белым пятнам». Накануне его до ее советских участников была доведена рекомендация ЦК КПСС вопроса о Катыни на него не выносить. Основное внимание было уделено работе над совместным документом «Канун и начало второй мировой войны». Было решено продолжить эту работу, затем обсудить ее на проблемной группе и потом принять решение о публикации. Было отмечено, что за период между вторым и третьим заседаниями состоялось восемь рабочих встреч — в Варшаве, Москве и Гродно, на которых обсуждались и согласовывались позиции по вопросам общих интересов. Положительную оценку получила статья Ф. И. Фирсова и И. С. Яжборовской, написанная и опубликованная по поручению комиссии, о роспуске Компартии Польши в 1938 г. Как большой шаг вперед было оценено исследование В. С. Парсадановой о перемещении польского населения в 1939–1941 гг. из Западной Украины и Западной Белоруссии в восточные районы СССР, написанное с использованием новых архивных материалов. Был одобрен и рекомендован к печати доклад польского исследователя Р. Назаревича о советских военнопленных на польской земле в годы Второй мировой войны и помощи им со стороны польского населения, и решено продолжить изучение этой проблемы.

Естественно, что польская часть комиссии поставила вопрос о Катыни. Она представила материалы экспертизы, основанной на западных и польских источниках, которая опровергала выводы комиссии Н. Бурденко и подводила к выводу о том, что гибель польских офицеров — дело органов НКВД. Советская же часть комиссии сочла, что этот вопрос нуждается в дальнейшем тщательном исследовании, ибо представленная экспертиза не содержит полных доказательств в пользу изложенной в ней версии. Такая позиция была явно продиктована давлением сверху, что понимали и польские участники.

Вновь был поставлен вопрос об архивах. «Итоги полуторогодовой работы Комиссии показывают, — говорилось в ее заключительном протоколе, — что успех достигается прежде всего там и тогда, где и когда Комиссия располагает необходимыми архивными данными. И наобо-

рот, где отсутствуют новые архивные документы, там вопрос остается неразработанным или продвигается вперед медленно»²⁸. К протоколу был приложен обширный список необходимых архивных материалов.

По завершении работы комиссии, в ходе неофициального обмена мнениями, руководитель ее польской части Я. Мачишевский отметил, что, хотя план в целом выполняется и результаты имеются, польская общественность мало об этом знает. Отдельные интервью почти ничего не дают. Надо быстрее публиковать то, что можно. Пока не завершена работа по проблеме Катыни, можно было бы опубликовать в Польше список катынских жертв. Имеется четыре их варианта. Нельзя ли было бы уточнить их по архивам ГУЛАГа? Такая публикация показала бы, что комиссия ведет работу. Иначе мы вновь опоздаем. Общественность же ставит комиссии в вину, что она медленно движется вперед. Если историки исчерпали свои возможности, то, может быть, этим должны заняться соответствующие органы, как это имело место в Куропатах на территории Белоруссии? Хорошо было бы также опубликовать сборник статей, вышедших в СССР и Польше. Не везде там отражена позиция комиссии, но это тоже плоды нашей работы. И, конечно, необходима серьезная научная библиография по истории советско-польских отношений²⁹. Было ясно, что польские участники комиссии работают в гораздо более сложных условиях и испытывают давление с разных сторон.

Видимо, здесь было бы уместно сказать несколько слов об академике Г. Л. Смирнове, возглавлявшем советскую часть комиссии. Занимая высокие номенклатурные посты, он безусловно был проводником официальной линии. Но человек он был думающий и болевший за дело, которому служил. Встречаться с ним приходилось не только в связи с работой комиссии по «белым пятнам», но и на различных других заседаниях, совещаниях и конференциях. На них он часто выступал, и его слова не были шаблонными. В качестве иллюстрации можно привести одно из его выступлений. В Президиуме Академии наук регулярно собирался семинар секции общественных наук, который вел вице-президент В. Н. Кудрявцев. 23 декабря 1988 г. на нем обсуждался доклад «Перестройка и концепции социализма», подготовленный несколькими авторами. Доклад был в духе своего времени и содержал немало новых идей. В дискуссии по нему принял участие и Г. Л. Смирнов. Его выступление в тезисном изложении выглядело следующим образом. Наш традиционный подход, говорил он, сводится к тому, что Маркс и Энгельс открыли законы социализма, Ленин их усовершенствовал, а Сталин извратил. Так ли это? Слишком упрощенно. Раньше по Европе бродил призрак коммунизма. А теперь он превратился в Люцифера. Спор Ленина с Каутским о цивилизации

онных основах социализма перерос ко времени нэпа в его негласный спор с Марксом. Нэп в первую очередь признавал необходимость товарно-денежных отношений. И когда их свернули — возник хронический товарный дефицит, который был возведен в принцип опережающего роста потребностей и стал источником экономической и моральной деградации общества. Тогда же произошло и свертывание демократии, что не вызывалось никакими объективными причинами. В результате сейчас мы имеем деформированный, терпящий бедствие социализм. Вопрос — социалистично ли наше общество — в наши дни схоластичен. При создании новой модели социализма мы из марксизма можем взять только методологию, но не конкретные выводы. Мы нащупали 5–6 желательных позиций, но по всем им современный капитализм ушел вперед. Даже если поставить в центр внимания человека, то что сегодня социализм может дать большего, чем капитализм? Можем ли мы выйти с этим на люди? Сейчас нужны рецепты по защите перестройки. Но она идет не революционным, а административным путем, по принципу «шаг вперед, два назад». «Перестройка, — закончил он, — должна быть противопоставлена власти бюрократического аппарата»³⁰. Такие слова, сказанные за год до «бархатных революций» в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, свидетельствовали не только об интеллектуальном, но и личном мужестве, а также неординарном ходе мысли их автора, который уже несколько лет как ушел от нас в лучший мир вечности.

Между тем приближалось время Всесоюзного совещания историков-полонистов. Накануне его в Институте славяноведения и балканистики проходило много заседаний, на которых обсуждались различные организационные нюансы. Оно открылось 26 января 1989 г. и собрало более ста человек, включая представителей ряда республиканских академий наук и многих университетских центров. На пленарном заседании были заслушаны четыре доклада: Г. Л. Смирнова — о работе комиссии по «белым пятнам»; И. Б. Грекова — «О работе двусторонней комиссии историков СССР — ПНР»³¹; Л. Е. Горизонтова — «Изучение истории Польши на Западе и в Советском Союзе»; В. С. Парсадановой — «Рождение „белых пятен“ в исторической науке и историческом сознании: советская историография о советско-польских отношениях 1917–1988 гг.». Чтобы не превращать совещание в заслушивание многочисленных докладов, а дать возможность каждому из участников высказать свое мнение по самому широкому спектру проблем, дальнейшая работа велась в форме «круглых столов» (а не секций, как обычно), которых тоже было четыре: 1. «Узловые моменты в развитии взаимоотношений между Польшей, восточными славянами и Литвой в X — первой половине XVIII в.» (ведущий — Б. Н. Флоря);

2. «Дискуссионные проблемы истории восстановления независимости Польши и российско-польских отношений» (ведущая — С.М.Фалькович); 3. «„Белые пятна“ в истории советско-польских отношений 1917–1946 гг.» (ведущая — И.С.Яжборовская); 4. «Новые подходы в освещении узловых проблем строительства социализма в ПНР и истории советско-польских отношений (1944–1988 гг.)» (ведущая — А.Ф.Носкова). Такая форма оказалась удачной, а полученные результаты и выявленные проблемы стали реальной программой исследовательской деятельности на многие годы вперед.

Совещание отметило острую необходимость существенной корректировки тематических приоритетов в советской полонистике, причем по всему фронту исследований и хронологической шкале с древнейших времен до современности. Обращалось внимание на важность изучения церковной истории, переосмысления истории отношений между Польшей и Великим княжеством Литовским, осмысления явлений полонизации верхов феодального общества на современных украинских и белорусских территориях. Подчеркивалась важность изучения истории общественной мысли народов Польши и России, причем в полном объеме, включая консервативные и реакционные направления. Большое значение придавалось разработке вопросов о национальных стереотипах взаимного восприятия, проблем формирования массового сознания, включая истоки, традиции, внутренние и внешние причины регенерации антисоветизма в Польше, а также болевые точки, связанные с историей советско-польских отношений. Выдвигая эти проблемы, участники совещания исходили из необходимости преодоления односторонности и схематизма в подходе к историческому процессу и формирования атмосферы, способствующей развитию дружественных отношений между соседними народами, тесно связанными друг с другом на протяжении многих веков³².

Совещание полонистов органично вписалось в жизнь коллектива Института славяноведения и балканистики. Его идеи перекликались с другими направлениями его деятельности и в свою очередь давали им стимул для развития. 15 февраля в Институте состоялся «круглый стол» по проблеме «Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы», на котором были рассмотрены в комплексе процессы политического развития в Европе и особенно в ее восточном регионе за весь период после мюнхенскогоговора и до начала Второй мировой войны. Помимо научного значения эта тема стала приобретать и внутривнутриполитическое звучание в связи с событиями в Прибалтике, что беспокоило советские верхи.

Их мнение нашло отражение на совещании в идеологическом отделе ЦК КПСС, которое 21 февраля 1989 г. провел А.Я. Дегтярев. Из-за

наших умолчаний, констатировал он, экстремистские элементы в прибалтийских республиках получили благодатную почву. События 1939 и 1940 гг. рассматриваются здесь изолированно от мировых, вхождение этих республик в СССР трактуется как оккупация. Нарбатывается линия раскола, сепаратистская по существу. Замалчивание секретных протоколов к договорам 1939 г. действует в этих условиях против нас. Забывают о германской оккупации Клайпеды весной 1939 г., вырывают события из общего исторического контекста. Нужна быстрая и эффективная реакция. Все прежние табу надо отбросить, иначе не будет результата. На его выступление первым отреагировал Г. Л. Смирнов. Радует какая-то определенность, констатировал он. У нас были запечатаны рты, и было бы смешно, если другая сторона не воспользовалась бы этим. Обстановку в Литве, Латвии и Эстонии он сравнил с положением в Польше, когда ПОРП отступала и сдавала свои позиции. А. О. Чубарьян высказал мнение, что в Прибалтике есть и не экстремистские круги интеллигенции и ученых, но работы с ними не ведется. В протоколах к договорам 1939 г. были и противоправные элементы, а после присоединения к СССР в Прибалтике были применены сталинские репрессии. При разработке всех этих проблем желателен контакт с исследователями из этих республик. О. А. Ржешевский вновь отметил необходимость документальных публикаций. В итоге было решено составить план мероприятий и изданий как на ближайшие месяцы, так и до конца 1990 г.³³

В таких условиях в Москве 28 февраля — 2 марта 1989 г. собралась рабочая группа советских и польских историков, согласовавшая и одобрявшая совместный документ «Канун и начало второй мировой войны». С советской стороны им занимались в основном В. К. Волков, В. В. Журавлев, О. А. Ржешевский и А. О. Чубарьян, с польской — Ч. Мадайтчик, Т. Валихновский и некоторые другие. После основательных дискуссий документ был передан совместной комиссии по «белым пятнам», которая должна была определить его дальнейшую судьбу³⁴. Однако начиная с этого времени стремительный ход политических событий в обеих странах захлестнул работу комиссии и ее результаты.

Как раз в то время, в феврале–марте 1989 г., в Польше в решающую стадию вступила ее собственная «перестройка». Убедившись в невозможности вывести страну из хронического кризисного состояния, которое длилось уже практически десять лет, правящая партия пошла на переговоры с оппозиционными силами при участии епископата. Они вылились в заседания так называемого «круглого стола» (в то время такое выражение применялось очень широко не только в научной среде), который завершил свою работу 5 апреля 1989 г. До-

стигнутая договоренность предусматривала проведение досрочных выборов на многопартийной основе (они прошли в два тура в июне месяце и принесли победу оппозиции), легализацию движения «Солидарность», формирование нового правительства и т.д. Страна вступала в новый период своего развития. Наступал сравнительно короткий период, в течение которого ПОРП мирным путем отходила от власти и сдавала свои позиции.

5 мая 1989 г. Г.Л.Смирнов в последний раз собрал советскую часть комиссии на рабочее совещание. Он информировал, что документ о 1939 г. одобрен обеими сторонами и вскоре увидит свет. Но проблема Катыни, констатировал он, теперь уже дело политиков, а не историков. В Польше оппозиция развернула бурную кампанию по одностороннему разоблачению этого преступления, превратив вопрос в политическую акцию. Комиссия сыграла роль промежуточного буфера, а удар пришелся по ЦК КПСС и ПОРП. После обсуждения различных аспектов дальнейшей работы комиссии Смирнов подвел итог, что вряд ли следует собирать ее вновь до проведения выборов в Польше³⁵.

Документ о событиях 1939 г. был опубликован одновременно в Польше и в Советском Союзе 25 мая 1939 г.³⁶ Однако тогдашняя ситуация была уже такова, что он не смог сыграть той роли, на которую надеялись обе стороны. Время девальвировало его политическое звучание, но не научную значимость³⁷.

Весна 1989 г. была переломной не только для Польши, но и для Советского Союза. В Москве 25 мая открылся Съезд народных депутатов СССР, которому впервые за годы коммунистического режима предшествовали выборы на альтернативной основе. Эти выборы стали благодатной почвой для формирования различных политических течений и особенно различных «народных фронтов» на национальной основе в союзных и автономных республиках. Многие депутаты получили поддержку избирателей именно потому, что противопоставляли свое мнение официальной партийной линии. В их числе оказалось много лиц, которых раньше на политической арене не видели. Уже первый день работы Съезда показал, что страна вступила в новую полосу своего развития. В течение всего периода его работы страна прильнула к телевизорам и радиоприемникам. Совершенно изменился моральный и политический климат в обществе. История рождалась на глазах. Это был действительно переломный момент. И его воздействие вышло далеко за пределы государственных границ.

В новых условиях, сложившихся как в СССР, так и в Польше, деятельность совместной комиссии по «белым пятнам» замерла. Больше она уже не собиралась. Однако ее участники продолжали трудиться над поставленными проблемами, и их усилия приносили результаты.

Осенью 1989 г. В. С. Парсадановой впервые удалось напасть на след некоторых прямых документов, относящихся к катынскому преступлению. Об этом же стало известно и некоторым другим авторам. Последовали запросы в архивы открыть соответствующие фонды, и первые группы документов были получены. Однако даже в новых условиях партийное руководство продолжало препятствовать публикации как самих документов, так и статей, написанных на их основе. Забегая вперед, следует подчеркнуть, что впервые важнейшие из советских документов, хранившихся в особо секретных архивных папках Политбюро ЦК КПСС, были переданы Ельцину Горбачевым при сложении им полномочий Президента СССР в декабре 1991 г. Только в октябре 1992 г. по поручению нового российского руководства тогдашний Председатель Комитета по делам архивов при Правительстве Российской Федерации Р. Г. Пихоя передал Президенту Польши Л. Валенсе решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., а также предварявшее его письмо Л. Берии Сталину о расстреле польских офицеров и тюремных заключенных (по странной иронии судьбы, это злосчастное решение было принято ровно за 13 лет до дня смерти Сталина), а также другие документы. Только с того времени началась действительно совместная работа российских и польских историков над изданием четырехтомного собрания документов об этом сталинском преступлении. Первые тома стали выходить в свет с 1995 г. в Польше. Они доступны широкому кругу читателей. Завершение издания тормозится финансовыми трудностями. На русском языке они опубликованы в двух томах³⁸. Как видно, работа заканчивается уже в начале XXI века, т. е. практически 15 лет спустя после образования комиссии по «белым пятнам». Но нельзя не признать, что первый толчок к архивным розыскам и последующим публикациям был дан именно ею.

Официально комиссия прекратила свое существование в связи с роспуском ПОРП. Накануне этого события, 18 января 1990 г., польских участников комиссии принял Президент Польши В. Ярузельский. Он выразил им благодарность от себя лично и от имени партии и высказал надежду, что они продолжат свою работу во имя преодоления прошлого и развития дружественных и добрососедских отношений между польским народом и народами Советского Союза³⁹. Примерно тогда же Г. Л. Смирнов проинформировал советских участников о прекращении работы комиссии по «белым пятнам». Всего комиссии было отпущено судьбой и историей примерно два года работы (с мая 1987 г. по май 1989 г.), хотя формально она просуществовала чуть более двух с половиной лет.

Как оценить ее работу? Вопрос совсем не прост, если рассмотреть его с разных сторон. Задуманная ее создателями в качестве полити-

ческого громоотвода, своего рода научного клапана, который открыл бы возможность хотя бы частично спустить пары, накопившиеся в польском обществе, комиссия связанных с нею ожиданий не оправдала. К тому был целый ряд причин. В основе лежал, конечно, польский внутрисполитический кризис. Однако начавшаяся в Советском Союзе перестройка, период гласности и связанных с ними политических событий в свою очередь оказали влияние на Польшу, лишь усилив там кризисные симптомы, подогрев общественные ожидания и активизировав оппозиционные силы. Создание комиссии по «белым пятнам» в таких условиях сыграло роль открытия ящика Пандоры. Отношение к Советскому Союзу, к болезненным точкам отношений с ним стало действенным оружием, подрывавшим устои и легитимацию коммунистического режима в стране. Комиссия же в силу специфики своего функционирования постоянно и хронически отставала от быстрого развития ситуации. Ее кунштаторская тактика, особенно с советской стороны, в свою очередь вызывала критику. Нежелание горбачевского руководства пойти на открытие правды о катынском преступлении имело здесь особое значение. Даже взвешенная оценка договоров 1939 г., опубликованная с опозданием, не совпала с общественными настроениями, нацеленными на однозначно обвинительный уклон.

В научном же плане работа комиссии оказала благотворное влияние прежде всего на советскую сторону. Она придала ускорение сложному процессу пересмотра исследовательских приоритетов, причем не только в изучении истории Польши и польско-советских отношений, но также содействовала началу методологического обновления исследовательского инструментария. Введя в официальный оборот термин «белые пятна», даже несмотря на его неадекватность реальному состоянию науки, она облегчила снятие многих табу на исследование ряда проблем. Благодаря работе комиссии многие историки получили доступ в архивы, ранее для них закрытые. Наконец, установившиеся контакты с польскими коллегами, в значительной степени свернутые после начала политического кризиса в Польше в 1980 г., учет их точек зрения, мнений, многочисленные дискуссии позволяли избегать односторонних оценок и моноцентричных подходов. Многие только намеченные тогда проекты продолжают осуществляться и в наши дни⁴⁰, внося ценный вклад в науку.

Употребляя распространенное тогда ироническое выражение, можно смело утверждать, что труд участников комиссии «пропал не даром». Посеянные их усилиями семена дали всходы.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Черняев А. С. Шесть лет с Горбачевым. По дневниковым записям. М., 1993. С. 151.
- ² Большая энциклопедия. СПб., 1896. Т. 7. С. 10.
- ³ Большая советская энциклопедия. М., 1930. Т. 17. С. 195–198.
- ⁴ Правда. 1987, 22 апреля.
- ⁵ Поляков Ю. А. Наше непредсказуемое прошлое. М., 1995. С. 110–112.
- ⁶ Коммунист. М., 1987. № 11 (июль 1987 г.).
- ⁷ Черняев А. С. Указ. соч. С. 172–173.
- ⁸ Polityka. 13.06.1987. № 24.
- ⁹ Życie Literackie. 1987. № 33–42.
- ¹⁰ Z przebiegu prac nad usuwaniem «białych plam» (dokumentacja). Biblioteka lektora i wykładowcy (BLW). 1988. № 3.
- ¹¹ Trybuna Ludu, 12–13.03.1988. Эта статья была перепечатана в «Литературной газете» от 30 марта 1988 г.
- ¹² Несколько позднее стало известно, что Г. Л. Смирнов неточно интерпретировал высказывание Ю. Глемпа. Смысл его высказывания заключался совсем в другом. Выступая в Риме на ужине, организованном для польских и украинских епископов, он говорил о состоянии польско-украинских отношений и отговаривал от взаимных претензий друг к другу. «Особенно нам, духовным пастырям, — говорил он, — необходимо сознавать, что не следует трогать гноящиеся раны. Необходимо задуматься над тем, что мог быть кто-то третий, кто нас взаимно сталкивал друг с другом, чтобы добиться обеспечения собственных интересов» (ТАСС, 27 октября 1987 г., серия «СО», лист 8–9). Хотя он не назвал этого третьего, было ясно, что имел в виду Россию. Но по отношению к ней он такого подхода не рекомендовал.
- ¹³ Эта рекомендация была учтена. См. статью: Фирсов Ф. И., Яжборовская И. С. Коминтерн и Коммунистическая партия Польши // Вопросы истории КПСС, 1988. № 11–12.
- ¹⁴ Trybuna Ludu, 07.03.1988.
- ¹⁵ Личный архив автора (дневниковые записи).
- ¹⁶ Там же.
- ¹⁷ Материалы этой конференции см.: Вопросы истории, 1988. № 6.
- ¹⁸ Поляков Ю. А. Указ. соч. С. 71.
- ¹⁹ Некоторое время спустя об этой встрече была опубликована весьма однобокая информация под заголовком «„Белые пятна“: от эмоций к фактам» (Литературная газета, 11 мая 1988 г.), где как раз эмоции преобладали.
- ²⁰ Черняев А. С. Указ. соч. С. 174.
- ²¹ Личный архив автора.
- ²² Там же.
- ²³ Политические уроки одного конфликта. Авторизованная стенограмма советско-югославской партийно-научной консультации «Политические уроки конфликта КПЮ с Информбюро (1948–1953 гг.)». (Москва, 1–4 декабря 1988 г.). М., 1989.
- ²⁴ Личный архив автора.

- 25 Там же. Совещание 10 октября 1988 г.
- 26 Там же. Заседание 10 ноября 1988 г.
- 27 Личный архив автора.
- 28 Там же. Протокол заседания совместной комиссии ученых СССР и ПНР по истории отношений между двумя странами 1 декабря 1988 г.
- 29 Личный архив автора.
- 30 Там же.
- 31 К сожалению, в рамках данной статьи нет возможности остановиться на работе этой комиссии. Между тем она была весьма плодотворной и обсуждала много научно значимых проблем. Ее последнее заседание перед сделанным докладом состоялось 26–27 октября 1988 г. в Москве и было посвящено проблеме «Восстановление государственной независимости Польши». С докладами по различным аспектам этой сложной проблемы выступили с польской стороны Ч. Мадайчик, М. Стемпень, Е. Адамский и др. С советской стороны с докладами и в прениях выступили В. А. Дьяков, С. М. Фалькович, И. С. Нарский, В. С. Неволлина, И. В. Михутина и др. Большое значение имели дискуссии и просто обмен мнениями. Именно на той встрече профессор Я. Тазбир высказал предложение о совместной разработке проблемы «Поляки и русские в общественном сознании друг друга» (Личный архив автора). Ее изучение началось несколько позднее, принесло очень интересные результаты и продолжается и поныне.
- 32 Актуальные задачи изучения истории Польши, российско-польских и советско-польских отношений. Экспресс-информация о Всесоюзном совещании 1989 г. Калинин, 1989.
- 33 Личный архив автора.
- 34 Об этой встрече рабочей группы появилась коротенькая заметочка в газете «Правда» от 4 марта 1989 г.
- 35 Личный архив автора.
- 36 Правда. 25.05.1989.
- 37 В конце 1989 г. появился еще один подобный документ под названием «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 г. (Постановление Съезда народных депутатов Союза Советских Социалистических Республик 24 декабря 1989 г.)». Хотя под этим постановлением стоит подпись Горбачева, на деле оно было подготовлено комиссией под руководством А. Н. Яковлева, а в состав входили в основном представители оппозиционных течений прибалтийских республик, партийные функционеры и некоторые представители интеллигенции. Два выступления Яковлева на Съезде (23 и 24 декабря 1989 г.) дают любопытный образец попытки симбиоза выводов о «правомерности» и «обоснованности» самого договора и «моральной негодностью», «несовместимостью с социализмом» сопровождавших их протоколов. Главный же вывод принятого съездом по предложению Комиссии постановления сводился к признанию секретных протоколов «юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания» (Правда, 28 декабря 1989 г.). В этой формулировке бросается в глаза ее полное совпадение с оценкой, которую еще в годы войны пытался получить от британской дипломатии Э. Бенеш по отношению к Мюнхенскому соглашению. В этой связи У. Черчилль, всегда бывший непримиримым критиком мюнхенского сговора, все же счел необходимым указать Бенешу, что «Правительство Ее Величества никогда не заключало договоров, которые были бы недействительными с момента их подписания». В начале 90-х гг., уже после «бархатной рево-

люции» и перемены политического режима в стране, чешское правительство и президент В. Гавел при урегулировании отношений с Германией вынуждены были отказать от таких формулировок. В конкретных условиях Советского Союза в декабре 1989 г. выводы комиссии и ее руководителя А. Н. Яковлева только способствовали сепаратистской линии оппозиционных элементов в прибалтийских республиках. Читатель имеет возможность сравнить оба эти документа — оценки комиссии по «белым пятнам» и комиссии Яковлева, которые опубликованы под одной обложкой в приложении к книге: «1939 год. Уроки истории». М., 1990.

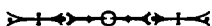
38 Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы. М., 1997; Катынь. Март 1940 г. — сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы. М., 2001.

39 Trybuna Ludu. 19.01.1990.

40 То, что составляло наибольшую трудность в работе комиссии, а именно катынское преступление, сейчас разработано весьма основательно. Помимо отмеченных документальных публикаций (см. сноску 38), следует отметить книгу: *Яжборовская И. С., Яблоков А. Ю., Парсаданова В. С.* Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях. М., 2001. Содержание книги шире названия, поскольку включает анализ предвоенных событий, сталинской политики по отношению к Польше в годы Второй мировой войны, восстановления независимого польского государства, его места в советском блоке, а также позднейшее воздействие Катыни на советско-польские отношения.

Получил документальную разработку вопрос об отношении СССР к деятельности Армии Крайовой на заключительном этапе войны и сразу после нее. См.: Из Варшавы. Москва, товарищу Берия... // Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945 гг. / Отв. ред. А. Ф. Носкова. М.; Новосибирск, 2001. Данная книга представляет собой дополненное и значительно расширенное 2-е издание публикации, вышедшей в 1994 г. в Москве: НКВД и польское подполье. 1944–1945 (По «Особым папкам» И. В. Сталина).

Становление коммунистического режима в Польше и его развитие в первые послевоенные годы отражено в документальных публикациях: Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953 гг. / Отв. ред. Г. П. Мурашко. Т. 1. 1944–1948 гг. Москва; Новосибирск, 1997; Т. 2. 1949–1953 гг. М.; Новосибирск, 1998; Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. Документы / Отв. ред. Т. В. Волокитина. Т. 1. 1944–1948. М., 1999; Т. 2. 1949–1953 (в печати). Кроме того, в процессе работы находится еще ряд проектов.



Т. М. НИКОЛАЕВА

ДЕТЕКТИВ И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ «КЛЮЧИ»*

*Виктору Александровичу Хореву —
автору интересного исследования
о польском детективе*

1. Если принять позицию современного подхода к тексту, согласно которой в тексте — и чем «художественнее», тем в большей степени, — можно найти какие-то «ключи» самого разного вербального свойства, то небезынтересной будет и такая задача: есть ли такие ключи у детектива, настроен ли его текст на то, чтобы помочь читателю «догадаться», или он их избегает? Вообще, есть ли в тексте детектива установка на лингвистическую «игру» с читателем, создание вторых и третьих дополнительных планов, или передается только суть дела, происходящие событийные коллизии?

Некоторые «ключи» художественных текстов очевидны, но в то же время спорны. Например, в первой строке «Графа Нулина» мы видим ключевое (?) слово *рога*: *Пора! Пора! рога трубят!* Нападают ли эти рога на адюльтерную ситуацию? Можно сказать: и да, и нет.

Но бывает, что читатель ведется к догадке тонко и изящно, даже красиво. Например (небрежный и как будто бы незначительный салонный разговор): *«...приходите, мы устраиваем такие, знаете, вечеринки в мастерской, с музыкой, бутербродами, красными абажурчиками, бывает много молодежи, Полонская, братья Шидловские, Зина Мерц...»* Имена эти были мне незнакомы, желания проводить вечера в обществе Всеволода Романова я не испытывал никакого... Но, читая «Дар» дальше, читатель испытывает странное наваждение — один и тот же корень, воплощенный то в имени, то в глаголе, потихоньку начинает его преследовать: *я видел и слышал то же, что Марко Поло <...> и среди странного мерцания воздуха без конца проходящие навстречу вихри, караваны и войска призраков* — и через двадцать страниц: — *Как*

* Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 00-06-80222.

звать тебя? Ты полу-Мнемозина, полу-мерцанье в имени твоём — и странно мне по сумраку Берлина с полувиденьем странствовать вдвоем... <...> Есть у меня мерцанье на примете, для губ твоих, когда целуешь ты: нагорный снег, мерцающий в Тибете, горячий клоч и в инее цветы... Становится ясно, что в роман вводится именно Зина Мерц и именно она будет главной его героиней.

2. Известно, что языковые средства способны вводить в высказывания некие дополнительные «смысловые строки», опирающиеся на общий для данного национального социума фонд знаний, на общеизвестные истины. Поэтому эти средства также принадлежат языку, поскольку они понятны и доступны любому его носителю. Иногда сами эти средства воссоздают не всегда известную ранее ситуацию. Например, *Даже Маша развеселилась, глядя на Витю*. Не зная ни Маши, ни Вити, мы можем сказать следующее: общество было не маленьким, явно больше трех человек. Витя веселил публику (как — ?), у Маши были основания быть невеселой (почему — ?). Или: *Из похода не вернулся только Петя*. Мы узнаем, что в поход ходило некоторое (?) число людей. Вернулись все, кроме одного. Этот один — Петя. Смысловые строки создаются во многом и звуковыми средствами. Например, *Это был мой первый неудачный роман*. Значит, романов было много и все они — неудачные. Дополнительные смысловые строки часто теперь создаются средствами СМИ: если статья о работе какого-нибудь органа называется *Когда в товарищах согласья нет*, то читатель понимает, что *на лад их дело не пойдёт*. Часто оценку события помогает понять только звуковая огласовка: *Я ходила туда три раза* — это много или мало? *А Я ходила туда три раза* — много! Незнание звуковой огласовки мешает нам иногда понимать даже классические тексты. А именно: в течение многих лет аргументом в сложных спорах часто служила пушкинская фраза о том, что *Тьмы низких истин нам* (это обычное искажение. — Т. Н.) *дороже нас возвышающий обман*. Обратимся же к исходному тексту. Это стихотворение «Герой».

Поэт:

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности холодной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...

Придаточное *с когда* несомненно имеет значение условия. Поэтому поэт прокладывает отнюдь не всякую правду. Тогда оказывается возможным и прочтение с акцентным выделением слова *низких*. И вот

в этом случае обман оказывается выше только низменных истин и только их. Но есть и высокие истины. И они выше лжи и обмана.

Итак, дополнительные смысловые строки как бы «прошивают текст» некими невербально выраженными нитями, они его компрессируют. Естественно, эти дополнительные строки есть совсем не во всяком высказывании. Например, фраза *В лесу родилась елочка* говорит только об этом событии. Но чем больше в тексте этих строк, тем активнее диалог с читателем и тем сложнее становится пространство текста как многомерная структура.

Обращаясь к общему фонду знаний, они, эти строки, обычно тем самым связываются с некоей нормой. Не только связываются, но иногда и ее навязывают. Например, *Ты сидишь за компьютером уже два часа* — слишком долго. Более того, они могут выдавать говорящего, его личные вкусы, как бы он ни гримировался под норму. Например, *Она не смотрит даже программу «За стеклом»* и т. д.

2. Можно предположить, что все эти дополнительные смысловые строки вводятся через знаменательные слова и достаточно сложные синтаксические конструкции. Но это не так. Способность вводить дополнительные строки в высказывание различает и самые простые служебные слова — сочинительные союзы. Так, как будто бы общепринятым считается, что из основных сочинительных союзов: *А, И, НО* — только *НО* связано с дополнительной строкой. Приведем какие-нибудь банальные примеры. *Папа читает газету, и мама сидит рядом с ним; Папа читает газету, а мама сидит рядом с ним; Папа читает газету, но мама сидит рядом с ним.* Вот последний пример, с *но*, как-то сразустораживает, сообщая читателю нечто дополнительное. Почему мама «все-таки» сидит рядом с ним? Они раньше поссорились? Она должна была куда-то уйти? Она должна была лежать в кровати?

Проще говоря, через простой сочинительный союз читателю посылается здесь некий «ключ», чего нет в предложениях с *и* и *а*.

В этом плане интересно было проследить, так ли нейтральны сочинительные союзы в современном детективе. Быть может, эта функция не ограничивается только одним *но*? В первую очередь мы обратились к текстам А. Марининой (анализировался текст ее повестей «Стилист», «Чужая маска», «Светлый лик смерти»).

Оказалось, что язык этих повестей (а это в целом обычный усредненный русский язык сегодняшнего дня) отличается наличием «дополнительной смысловой строки» не только у союза *но*, но и у союза *а*. Например (А. Маринина «Чужая маска»): *Пойми, Женя, я ведь не верю в твою невиновность не потому, что улики слабые, а только лишь потому, что не хочу верить* — здесь говорящая опирается на общее

знание о том, что слабые улики заставляют человека верить в невиновность. Или (там же): *Он (муж. — Т. Н.) говорит, что любит, а у меня нет оснований ему не верить* — здесь есть общий фонд мнений, пресуппозиция: мужья говорят правду, мой муж всегда говорил правду и следствие — поэтому я ему верю. Разумеется, в той же повести дополнительную строку создает и традиционно на это ориентированное *но*: *Я, по-видимому, заняла чей-то столик, — сказала Наталья, — но я не хочу никуда пересаживаться, я очень замерзла и предпочитаю сидеть поближе к огню; У меня здесь еще не решенное дело, но я его вытолно обязательно и поздно ночью еду обратно, в Москву; Мне очень хочется нравиться ему, но я не всегда могу точно угадать, что ему нравится*. Дополнительные строки здесь: Если заняла чужой столик, то положено с него пересесть; Нерешенное дело можно и не успеть выполнить; Когда хочешь кому-нибудь нравиться, то хочется и всегда угадывать, чем можно понравиться любимому.

Второй особенностью текстов А. Марининой является частое употребление союза и как внешнего, инициального, выносящего тем самым некую часть высказывания как подчеркнутую, особо важную. И это тоже воспринимается как некая связь с читателем. Например («Чужая маска»): *Я хочу двадцать пять тысяч долларов, Паша. И торговаться с тобой я не буду ни на каких условиях*.

Естественно, что только сопоставление может помочь решить вопрос о том, не являются ли две эти особенности употребления сочинительных союзов особенностью текстов самой А. Марининой. Благодарным для нас материалом явилась в этом смысле пьеса Б. Акунина «Чайка», текст которой можно сопоставить и с «Чайкой» А. П. Чехова (тем более что около двадцати страниц из чеховской «Чайки» инкорпорированы в начало «Чайки» Б. Акунина), и одновременно с текстами А. Марининой. Кроме того, такое двойное сопоставление давало возможность выяснить, действительно ли Б. Акунин такой тонкий «стилист», воспроизводящий язык удаленного от него времени.

Оказалось, что у Б. Акунина такого нового *а* (на языке современной лингвистики — пресуппозитивного) еще больше, чем у А. Марининой: *Тригорин. Начнется волокита, а мне нужно заканчивать повесть* (Дополнительная строка: работать при судебной волоките невозможно); *Дорн. М-да, нет логики. Убивают счастливых соперников, а Константин Гаврилович, кажется, успехами на сем попроще похвастаться не мог* (Дополнительная строка: предполагается, что Треплев убит из ревности); *Медведенко. Все видишь, все понимаешь, а надежда нашептывает: подожди еще...* (Дополнительная строка: выясняется, что Медведенко понимает, что Маша его не любит и ждать любви не стоит).

Точно так же у Б. Акунина наблюдается характерное и подчеркивание, семантический «вынос» части высказывания: *Тригорин (вяло). Лежит на зеленом ковре. И всюду кровь; Дорн. Пусть лежит, как лежит. И входит больше не нужно; Дорн. Падала без шарфика, поднялась с шарфиком — поди-ка заметь. И улика бы исчезла; Аркадина. Позавидовать можно. И ангажемент хороший получит.*

Для подтверждения языкового сходства детективной ткани А. Мариининой и «стилиста» Б. Акунина естественно обратиться к тексту «Чайки» самого А. П. Чехова. Разумеется, эти значения сочинительных союзов есть и в тексте «Чайки» А. П. Чехова. Например, выносное *и*: *Нина. В вашей пьесе мало действия, одна только читка. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь.* Или «пресуппозитивное» *а*: *Я получаю всего двадцать три рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура* (Дополнительная строка: выясняется, что Медведев несчастнее Маши и мог бы носить траур).

Для более верифицированных утверждений мы решили применить количественный метод доказательства, часто являющийся надежным методом в лингвистике. Подсчитывались следующие характеристики обеих пьес:

1) Общее число союзов на страницу текста. У А. П. Чехова этот показатель равнялся 26,2 (то есть 283 единицы на 108 страниц), а у Б. Акунина — 27,3 (178 единиц на 65 страниц). Показатели эти довольно близки, что вполне прогнозируется самим жанром произведения (пьесы богаты именно устной речью с обилием дискурсивных слов, к которым относятся и сочинительные союзы). Эти показатели тогда сравнивались уже с показателями прозы современника А. Чехова — И. Бунина (анализировался его рассказ «Господин из Сан-Франциско», то есть сопоставлялись прозаический и непрозаический тексты). У И. Бунина этот показатель был равен 5,4 (то есть 114 единиц на 21 страницу текста). Разница была резкой. Кроме того, оказалось, что текст И. Бунина строился на бессоюзном примыкании, на перечислении событий, при котором вовсе не предполагалось, что у писателя и читателя есть общий фонд знаний, на базе которого создавать «прошивающие текст» дополнительные строки не имеет смысла¹.

2) Процентное соотношение союзов И, НО, А в пределах общего числа союзов. В этом случае сопоставлялись данные уже не союзов в целом, а союзы *и*, *а*, *но* дифференцированно:

«Чайка» А. П. Чехова

И — 33,6%

А — 43,1%

НО — 22,9%

«Чайка» Б. Акунина

И — 29,2%

А — 50,5%

НО — 20,2%

Как видно, порядковые места распределяются в обеих пьесах одинаково. Однако несомненна и тенденция у Б. Акунина для *и* и *но* уменьшать число употреблений, отдавая коммуникативные валентности более «простецкому», более разговорному и более общепотребительному *а*. Кроме того, мы отметили небезынтересную деталь, а именно, что у А. Чехова *но* встречается и в авторских ремарках, и в речи персонажей пьесы, тогда как у Б. Акунина *но* скорее принадлежит автору, а персонажи широко используют диалоговое инициальное *а*.

Совершенно иная количественная дистрибуция этих союзов была выявлена в том же рассказе И. Бунина «Господин из Сан-Франциско» (см. выше). А именно:

И	— 52,6%,
А	— 21,9%,
НО	— 25,4%.

То есть у И. Бунина преобладает дескриптивно-перечислительное и *хѧ*-стиль (характерное, как известно, для текста «книжного», возвышенного и почти сакрального, то, что называется, *хѧ*-стиль), но большие фрагменты текста строятся, как указывалось, на бессоюзном примыкании.

3) Количественная дистрибуция семантических типов для одного и того же союза у А. Чехова и Б. Акунина. Именно этот и только этот показатель представил значительно более интересные для общего сопоставления данные. Вообще для *и* были выведены (специально об этом ранее не упоминалось) следующие базовые значения: одновременности, следствия, противопоставления, «выноса» (подчеркивания). Для *а* — значения одновременности, следствия, противопоставления, «выноса», пресуппозитивного разрыва «горизонта ожидания». Для *но* — значения противопоставления и пресуппозитивного разрыва «горизонта ожидания».

Приведем соответствующие количественные характеристики двух «Чаяек»:

		«Чайка» А. Чехова	«Чайка» Б. Акунина
	И:		И:
одновременность	—	29,1%	15,3%
следствие	—	42,7%	36,5%
противопоставление	—	2,0%	—
«вынос»	—	26,0%	48%

	A:	A:
одновременность	— —	1,1%
следствие	— 14,7%	1,1%
противопоставление	— 42,6%	37,7%
«вынос»	— 27,8%	34,4%
пресуппозитивность ²	— 12,2%	26,6%
	НО:	НО:
противопоставление	— 6,0%	12,1%
пресуппозитивность	— 93,9%	88,8%

Какие же выводы можно сделать из приведенных выше количественных данных?

Безусловно, это повышение роли «выноса» для *и* у Б. Акунина (48%) и пресуппозитивного *а* (26,6 по сравнению с 12,2% у А. Чехова), которое полностью соответствует тем тенденциям, которые были отмечены нами выше для текста А. Марининой. То есть — никакой стилизации на уровне коммуникативно-партикульного фонда не получается: оба современных автора детективов пишут абсолютно в единой языковой традиции.

Что можно по этим данным отметить еще?

1) Совершенно очевидна тенденция к сужению семантического разброса — у современных писателей более отчетливы «ядро» и периферия семантики союза.

2) Столь же явно набирает сил основной союз русского языка — *а*: и количественно, и по общему числу значений.

3) Самое главное. Текст становится многомерным, прошитым дополнительными семантическими строками. Исчезают «простые» значения, обозначающие линейную последовательность частей высказывания, прежде всего «одновременность». Однако, как было показано выше, у такого всеми признанного замечательного стилиста, как И. Бунин, именно одновременность и выходит на первый план: 40% у *и*, 48% у *а*. Однако нельзя забывать, что Бунин — рассказчик, он не обращается к читателю, который должен все понимать с полуслова и о чем-то догадываться. Создание общего понимания — это специфика пьесы.

Но у Б. Акунина такое обращение совпадает количественно с данными А. Марининой, хотя ее текст не пьеса, а проза.

Из всего этого можно сделать довольно парадоксальный вывод. Тексты, обращенные к массовому, неэлитарному, читателю, упрощают семантику дискурсивных слов (в нашем случае — союзов): то есть они более жестко выявляют у них семантическое ядро в отличие

от семантической периферии, но, однако, углубляют свою внутреннюю структуру, многомерность своего текстового пространства за счет обращения к всеобщему фонду знаний. Тем самым какие-то дополнительные «ключи» для своего прочтения они все-таки дают.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Например, *На верху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания — несколько русских, поселившихся на Капри, перьяшловых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротничками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщевыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах, всюду чувствующих себя как дома и совсем не щедрых на траты. Господин же из Сан-Франциско, спокойно сторожившийся и от тех и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сумки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные пожные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голосу орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одну домами, за которой покато вела к сияющемупереди подъезду отеля звонкая улочка с вихром пальмы над плоскими крышами палео и синими звездами на черном небе сверху, вперед. И опять было похоже, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом острове в Средиземном море.*
- 2 Пресуппозитивность — это и есть лингвистический термин для обозначения способности создавать дополнительную смысловую строку.

Л. Н. Виноградова

ПОЛЬСКИЕ КОЛЕНДЫ: НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ФУНКЦИИ СТАРОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ЖАНРА

Kolęda jest jednym z tych pojęć-kluczy, które otwierają dostęp do polskiej kultury, polskiego obyczaju, poniekąd nawet do polskiej mentalności.

J. Bartmiński. Kolędy polskie.
Warszawa, 1991. S. 164.

Пожалуй, никакому другому жанру обрядового песенного фольклора не удалось приобрести в национальной культуре какого-либо из славянских народов такого высокого статуса и стать своеобразным этническим символом, как это случилось с польскими колядными песнями. «Коленды для поляка, — писал Ст. Добжицкий, — это не просто песни, исполняемые в период Рождества Христова, но это нечто необычайно родное, свое, исконное, принадлежащее именно нашему национальному наследию» (Dobrzycki 1907, 53). Какой же тип песен имеется здесь в виду и почему именно рождественские коленды стали в польской культуре знаком национальной самобытности? Попытке выяснения этих вопросов посвящены мои скромные заметки.

Термин «коляда», «колядка» по отношению к фольклорным песням-благопожеланиям, включенным в народный обряд святочных обходов по домам с ритуально-магическими целями, известен всем славянам (и еще шире — в балканской и европейской фольклорной традиции). Он восходит к латинскому слову *calendae* 'первый день месяца' и свидетельствует о приуроченности некоего архаического ритуала к началу определенного календарного периода (по-видимому, к Новому году). Судя по широко известным средневековым церковным запретам ходить в святочные вечера «с колядой», «кликать коляду в навечерие Рождества Христова», — сам обряд и сопровождавшие его песни осмыслились как языческое наследие. Фольклористам хорошо известно, что за всю историю внедрения христианства на славянских землях церкви так и не удалось искоренить народный обычай святочного колядования и запретить петь во время обхода по домам старинные коляды. Специалисты объясняют это тем, что ритуал обрядового посещения крестьянских дворов с особыми пожеланиями сохранял вплоть до XIX века ярко выраженную магиче-

скую функцию, т.е. даже под угрозой церковных проклятий сельские жители не решались отказаться от многовековых традиций, так как неисполнение предновогоднего ритуала могло привести, по народным представлениям, к самым катастрофическим последствиям (к падежу скота, неурожаю, голоду и т.п.). Сам факт исполнения песенных пожеланий в особой ритуальной ситуации призван был обеспечить прибыток в хозяйстве. Так, например, урожая зерновых можно было ожидать, если щедро одарить колядников в ответ на адресованную хозяйину дома колядку: «A dajże tu, Boże, wszelakie zboże, / Miedziane zdziebła a złote kłosy, / A będą tu żeńcarze — sami młodzińcarze, / A będzie tu żeńcarek — samych panienek, / A będzie tu snopia — jako descu kropia, / A będzie tu kopecek — jak na niebie gwiazdek...» (Копорка 1974, 97–98). Приплод домашнего скота призвана была обеспечить другая магическая колядка: «Na sadeczku na wiśniowym — Aleluja, Aleluja! / Kukuleczka zakukała — Aleluja, Aleluja! / Gospodarza przebudzała — Aleluja, Aleluja! / Gospodarzu, wstańcie, wstańcie — Aleluja, Aleluja! / Do bydlatek zaglądajcie — Aleluja, Aleluja! / W tej oborze da Bóg dobrze — Aleluja, Aleluja! / Krowisia się ozmnożyła — Aleluja, Aleluja! / Parę wołków położyła...» (МААЕ, 183). Такого типа обрядовые колядные песни широко известны у южных славян, в фольклоре карпатского региона (в украинском, словацком, восточнопольском песенном репертуаре), а также у белорусов и — в меньшей степени — у русских.

Активные нападки церкви именно на старые колядки (а не на другие обрядовые тексты, например на свадебные или жнивные песни) объясняются совпадением сроков исполнения их (фольклорных колядок) с главным праздником новой религии — с Рождеством Христовым. Осознав всю меру привязанности простого люда к святочному колядованию (и его песенному репертуару) как к одному из главных магических обрядов народного календаря, западная церковь предприняла особые усилия, направленные на христианизацию старых обычаев, приуроченных к этой важнейшей дате официального культа. Уже в начале XV века, как об этом свидетельствуют чешские и польские источники, накануне Рождества по домам прихожан стали ходить ксендзы, певчие и ученики церковных школ: они посещали дома людей (т.е. колядовали), исполняя рождественские песнопения на латинском языке (Horáľková 1969, 66; Krzyżanowski 1965, 173–174). Первые переводы подобных церковных песнопений на польский язык появились в конце XV — начале XVI века. Тогда они еще не назывались колендами: это были религиозные «кантычки», «гимны», «симфонии», «ротули»; их пели верующие в костеле во время богослужения и церковнослужители во время поздравительных обходов по домам. Главной целью подобного прицерковного творче-

ства было обучение прихожан основам христианства (прежде всего освещение события чудесного появления на свет Сына Божия). Сохранились отдельные исторические свидетельства, подтверждающие тот факт, что католический Костел сознательно приспособлял новые песнопения к сложившимся вкусам польского крестьянства, используя при этом привычные формы народного творчества. Например, полностью в духе таких установок был создан в XVII веке сборник религиозных коленд под названием «Ангельские симфонии», авторство которого принадлежит польскому поэту-панегиристу Яну Жабичу. Фольклористам удалось установить, что коленды Я. Жабича со всей определенностью создавались по образцам заранее подобранных фольклорных святочных песен-колядок (Krzyżanowski 1961, 169). Принципиально важным было то обстоятельство, что новые религиозные тексты включались в структуру старого обходного ритуала, во время которого учителя и школяры не только исполняли некие рождественские песнопения, но и попутно благословляли хозяев дома, высказывали благопожелания, собирали дар за колядование на нужды костела и т. п. Результатом такого сближения новых форм религии со старыми магическими стереотипами оказалась быстро возрастающая популярность официальных песен о рождении Христа, которые уже к XVIII веку не только были приняты и в городской, и в крестьянской среде (с этого времени они стали, наконец, называться колендами), но и подверглись процессу «встречной фольклоризации». Например, разновидностью рождественских коленд считались в Польше так называемые «пасторалки», т. е. песни о поклонении пастухов новорожденному Христу, которые сочетали в себе библейскую тематику с чертами простонародного юмористического пастушеского фольклора, музыкальное сопровождение которого основывалось на веселых танцевальных мелодиях.

К моменту массового сбора фольклора (середина XIX — начало XX века) в качестве наиболее популярных святочных коленд в Польше уже широко бытовали самые разные песенные жанры: религиозные церковные песни-гимны; исполняемые во время праздничного обхода по домам фольклоризованные тексты о рождении Христа; народные «веселые пасторалки», содержащие библейские сюжеты о поклонении пастухов новорожденному Божественному Младенцу; «вифлеемские» колядки, сопровождавшие обходы с «вертепом»; обрядовые новогодние песни-благопожелания и т. п. Подобный разножанровый репертуар был представлен в получившем массовое признание (и многократно переиздававшемся) сборнике ксендза М. Медушевского, вышедшем в Варшаве в 1843 году под названием «Пасторалки и коленды с мелодиями или народные веселые песенки, в период Рождества Хри-

стова по домам исполняемые и ксендзом М. Медушевским собранные (примечание: песенки сии в костеле исполняться не должны)».

Будучи в своем подавляющем большинстве песнями религиозного характера, рождественские коленды, ставшие элементом массовой культуры, продолжали сохранять признаки фольклорного творчества (анонимное авторство, коллективная форма исполнения, широкая среда бытования, календарная приуроченность, ритуальная функция текста и т. п.). В ряде случаев отмечается даже наличие устойчивого рефрена «*Kolęda!*», что является одним из главных признаков фольклорных колядок во всех славянских традициях. Ср., например, отрывок из наиболее популярной польской коленды: «*Anieli w niebie śpiewają, / Bogu cześć, chwałę oddają; / Wesele opowiadają, / Wszemu światu znać dają. Kolęda!*»

Разрастание жанрового разнообразия польских коленд в течение XIX века шло за счет таких форм, как песня-сообщение, песня-прославление, песня-поздравление, песня-молитва, песня в форме материнского убаюкивания (колыбельные коленды). Во всех этих стилистических разновидностях текстов неизменным остается стержневой сюжет — появление на земле Спасителя, поэтому сама по себе коленда в польской культуре стала восприниматься как знак Рождества Христова, как своеобразная «вербальная икона», изображающая Мадонну с Младенцем на руках, как символ главного годового праздника, приносящего людям чудо спасения, радость обновления, надежду на лучшую долю. По свидетельству польского фольклориста и историка культуры Роха Сулимы, многократно слышанное в детстве семейное пение рождественских коленд навсегда запечатлевает в памяти поляка неповторимую атмосферу радости, гармонии, умиротворения, ощущение коллективной сплоченности, объединения в одно целое единоверцев и соотечественников (*Kolędy Polskie* 1991, 6–7).

По-видимому, именно эти высокоэмоциональные семантические стереотипы (т. е. мотивы ожидаемого чуда спасения, надежды на божественное покровительство, на обретение утраченной гармонии, осознание своего единства с другими) способствовали тому, что колядная стихия захватила и авторскую патриотическую поэзию. Уже в одной из самых ранних литературных коленд Франтишка Карпиньского «*Bóg się rodzi, moc truchleje*» явственно прозвучала мольба, призывающая Божественного Младенца взять под свою защиту «милую полякам Отчизну»: «*Podnieś rękę, Boże Dziecię, / Błogosław Ojczyznę miłą, / W dobrych radach, w dobrym bycie / Wspieraj jej siłę Swą siłą...*» Вслед за тем, после появления в печати (и в традиции устного исполнения) множества авторских и анонимных колядных текстов, идеологические мотивы вообще стали типовым жанровым признаком

польских литературных коленд. Даже такая нейтральная форма, как *kolędy-kolysanki* (мало подходящая для песен политического протеста), в литературном колядном творчестве характеризуется особыми социальными содержательными элементами: жалобами на подневольное положение Польши, мотивами скорби, гнева и призывами к борьбе. Показательными в этом смысле являются многочисленные авторские или анонимные *kolędy powstańcze, partyzanckie, okupacyjne, robotnicze, konspiracyjne, solidarnościowe* и подобные, которые относятся польскими исследователями к группе *kolęd aktualizowanych* (поэтические образцы этого вида творчества представлены в сборнике: *Kolędy patriotyczne*. Warszawa, 1987).

Оценивая стилистику патриотических коленд нового времени, специалистам было бы трудно распознать в этой поэзии признаки старого жанра фольклорной или религиозной колядной песенности, если бы не факт приуроченности исполнения подобных текстов к рождественским праздникам и не стереотипные «колядные» зачины, устойчивые формулы и узнаваемые цитаты: «Bóg się rodzi», «Wśród nocy ciszy głos się rozchodzi», «Radosna była miła nowina, że Matka Boska rodziła Syna», «W dzień Bożego Narodzenia radość serca rozpromienia», «Lulajże, Jezuniu, moja perełko», «Do Betlejem niosąc dary» и т. п.

В польской антологии, включавшей военно-патриотические и солдатские песни, датированные 1914–1918 годами, представлены тексты коленд, в которых отражены общественные настроения тех лет и надежды поляков на освобождение Польши под предводительством Пилсудского (Roliński 1989). Вот одна из таких авторских коленд, принадлежащая перу Максимилиана Новицкого: «Wśród nocy ciszy głos się rozchodzi / I w nasze serca nadzieja wchodzi, / Że Ojczyznę uwolnimy i Moskali wypędzimy / Z naszej Ojczyzny. / Hej, z jasną gwiazdą, co z nieba wschodzi, / Niech się wesołość w sercach narodzi. / Zrzućmy jarzmiące pęta, / Niech zginie reszta przeklęta naszych ciemiężców! <...> / Ojczyzna nasza znowu powstaje, / Polski lud znowu do walki wstaje. / Da wrogowi cios śmiertelny / Zawsze wielki, zawsze pewny, / Z naszym Piłsudskim» (*Kolędy Polskie* 1991, 133).

В Люблинском воеводстве во время проведения фольклорных фестивалей (в 70-е годы социалистической Польши) были записаны варианты народных коленд, относящихся к периоду немецкой оккупации. Это весьма длинные по объему (до 60–70 стихотворных строк) колядные тексты анонимных крестьянских поэтов, в которых чаще всего изображалась «smutna Wigilija», когда за рождественским столом собирается семья, но отсутствует хозяин, воюющий на фронте или в партизанском ополчении. Заканчивались «военные коленды» типичными просьбами, адресованными новорожденному Христу:

«Spraw to nasz Niebieski Panie, / Niech ta wojna już ustanie, / Wróć ludziom pokój. / Niech gospodarze wrócą do chatek, / Mężowie do żon, syny do matek, / I to spraw, Niebieski Panie, / Niech nam Polska z martwych wstanie, / Dajże to, Jezul» (KL 1986, 324). Редкостный вариант «актуализированной» коленды (время создания которой, по-видимому, относилось к окончанию войны) был записан польскими фольклористами в с. Ульховек (Замойский повет) в 1978 году. В нем обязательный для рождественских песен мотив появления на свет Богочеловека оказался полностью замененным на сообщение о приходе в Польшу трех героев-спасителей — Сталина, Черчилля и Рузвельта: «Wśród nocy ciszy głos się rozchodzi, / Wstańcie, polacy, Stalin przychodzi, / Stalin, Czurcil, Rozvelt ze swo armio, / Także ji du Polski garno / Z wielgo radością...» (KL 1986, 327).

С особой интенсивностью «заработал» творческий механизм создания политических коленд в период 80–90-х годов, когда идея национального освобождения в польском обществе связывалась с движением «Солидарность». Одна из таких (*solidarnościowych*) коленд была написана неким А. Рубежицким в 1982 году: «Jezus Pan ubogi / Dziś po ziemi chodzi, / Leży w żłobku mały, / Cieszy się lud cały <...> / Czy mam się cieszyć? / Z czym do niego spieszyć? / „Solidarność“ w pętach, / Wolność napadnięta. / Jak wybaczyć, Boże, / Przecież Lechu siedzi, / A tysiące braci / Pogrążonych w biedzie <...>» (Zbiór pieśni 1987, 167–168).

Патриотические рождественские песни этого периода имели жанровые признаки «коленды-жалобы» и «коленды-молитвы», они включали постоянные просьбы, адресованные Богу, освободить Польшу от невыносимого гнета. Такова, например, «Kolęda internowanych» М. Зембатого (1981 год): «Bóg się rodzi, a rodacy po więzieniach rozrzucony, / Bo marzyła się im Polska niepodległa na tej ziemi. / Solidarni i odważni, górnik, rolnik i stoczniowiec / Dziś składają do Cię modły, daj im wolność, Panie Boże...» (Kolędy polskie 1991, 157).

Головокружительная карьера некогда скромного фольклорного жанра (магической песни, сопровождавшей обряд колядования), прошедшего этап христианизации, ставшего в дальнейшем самым массовым и любимым песенным творчеством — символом рождественских праздников и, наконец, принявшего вид авторской патриотической поэзии, — обеспечила польским колендам совершенно особое место в этнической культуре. Ничего подобного не наблюдается с народными колядными песнями других славян. Коленда для поляков — это песня-манифест общенародной сплоченности вокруг главных национальных ценностей: веры в христианского Бога-Спасителя, надежды на лучшие времена, любви к многострадальной Отчизне, острой по-

требности жить в свободной стране. Согласно данным социологического опроса 1994 года на тему, касающуюся религиозности поляков, почти 70% сельских жителей признались, что вплоть до последнего времени поют рождественские коленды в семейном кругу (*Z kolędą* 1996, 25). Это им нужно для ощущения единства, близости с другими людьми (близости родственной, религиозной, социальной, гражданской).

Таким образом, изучение этого интересного культурного феномена показало, что главным связующим звеном между архаическим и христианским колядованием, по-видимому, оказалась совпадающая временная точка — зимний солнцеворот, осмысляемый в народной мифологии как астрономический рубеж в циклическом круге календаря, как особое сакральное время, когда открыта граница между тем и этим светом, и поэтому возможны всяческие чудеса, можно узнать будущее, повлиять на свое хозяйственное благополучие и т.п. В этот мировоззренческий контекст легко включилась идеология пограничного времени и идея обновления мира, связанная с пришествием в земной мир христианского Божества, милосердного и дарующего благо. Отсюда общие (для разных религиозных систем) мотивы благопожеланий и поздравлений, ожидания чуда, счастливой судьбы, благословенного покровительства. Неистребимая потребность людей верить в чудо оказалась наиболее устойчивым элементом религиозной системы как у носителей магического сознания, так и у современных верующих христиан; ср. рефрен политической коленды Яцека Качмарского, написанной 22 сентября 1993 года:

Roztrwonili władcy
I roztrwonil lud.
Znów najwyższy czas, by
Stał się cud.

(Tygodnik Powszechny
z 18–25 grudnia 1994 r.)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Dobrzycki 1907 — *Dobrzycki St.* Z dziejów literatury polskiej: Najdawniejsze kolędy polskie. Kraków, 1907.
- Horáľková 1969 — *Horáľková Z.* České příspěvky k poznání slovenských koled // Český lid. Praha, 1969. № 2. S. 64–78.
- KL 1986 — *Kolędowanie na Lubelszczyźnie* / Pod red. J. Bartmińskiego i Cz. Hernasa. Wrocław, 1986.

- Kolędy Polskie 1991 — Kolędy Polskie / Wybór i opracowanie J. Bartmiński i R. Sulima. Warszawa, 1991.
- Konopka 1974 — *Konopka J.* Pieśni ludu krakowskiego. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1974.
- Krzyżanowski 1961 — *Krzyżanowski J.* Ukołebki pastorelek // Paralele. Warszawa, 1961.
- Krzyżanowski 1965 — Słownik folkloru Polskiego / Pod red. J. Krzyżanowskiego. Warszawa, 1965.
- MAAE — Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne. Kraków, 1898. T. 3. Cz. 2
- Roliński 1989 — A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć: Pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918. Antologia. Opracowanie A. Rolińskiego. Kraków, 1989.
- Zbiór pieśni 1987 — Ojczyzno ma: Zbiór pieśni patryotycznych / Pod red. A. Świdnickiego. Lublin, 1987.
- Z kolędą 1996 — Z kolędą przez wieki: Kolędy w Polsce i w krajach Słowiańskich / Pod red. T. Budrewicza, S. Koziary, J. Okonia. Tarnów, 1996.

«ПТИЦА ЦАРЯ СОЛОМОНА» И СЛАВЯНСКИЙ ФОЛЬКЛОР*

В фольклорно-мифологической картине мира образ «чужого» (социально, этнически или конфессионально) сочетается с представлениями об особом «чужом» пространстве (часто осмысляемом как антимир), где существуют особые присущие ему природные объекты (светила, растения, животные), мыслимые и называемые «чужими».

В народных верованиях полесско-подлясского пограничья к сфере «чужого», «иностранческого» природного мира оказывается причислен удо́д (Урира еро́рс), который в западных говорах украинского и белорусского Полесья, а также в диалектах соседнего региона — польского Подлясья — устойчиво именуется *жиди́вська зозу́ля, є́ўрэйская зозу́ля, жыдо́ўська зазу́ля, вудвуд жидовски, żydowska zazuła* и т. п.

«Еврейской» птицей удо́д считается по целому ряду признаков, роднящих его в сознании носителей местной традиции с их этническими соседями — евреями. Исходя из перечисленных названий удо́да, можно заключить, что удо́д — это кукушка («зозуля»), но необычная, «чужая», «еврейская», отличающаяся от «настоящей» кукушки и голосом, и внешним видом, и поведением (точно так же, как отличается еврей от любого местного, «тутейшего» жителя): «Вудуд по-нашэму — то то жидиўски вудуд. А казалы зрбду, шо то жидиўска зозуля. Наша зозуля — то то зозуля, а вудуд — то жидиўский <...> То за того вудуда той роска́зував жид, шо, кажэ, ваша зозулька — ця раба́я, а наша зозуля — наш вудуд. То жидиўска. Наша зозулька ку́е, а той нэ» (Мельники Ртн. В., Полесский архив Института славяноведения РАН (далее — ПА), 2000, зап. О. Белова).

В окрестностях Белостока «еврейскую» принадлежность удо́да объясняют тем, что эту птицу когда-то евреи привезли из других стран (Гура 1997: 600).

В Полесье считается, что удо́д носит имя Япуп (ср. классификационное название этой птицы: Урира еро́рс. — О. Б., В. П.) или Юда. «Жыдуўску зозулю звалы Япу́п, бо яна куде путь-путь» (Парохонск Пин. Б., ПА 1990); «Жыдивска зазуля, бо вин юда́ч, крычыць бы Юда́ — у-у-у-у, дэй зовуць Юдо́ю» (Бездеж Дрг. Б., ПА 1988).

* Исследование выполнено в рамках работы над проектом «Народная Библия. Восточнославянские этнологические легенды» (РГНФ 00-04-00034).

«Речевое поведение» удода как «еврейской птицы» маркировано: в его крике слышится слово «еврей» («юд-юд» — 3.-укр.; Gustawicz 1881: 126) или слово «что?» на идиш («вус-вус», «вут-вут»): «Уткач. Жыдывська зозуля. [Кричит:] „Вус! Вус! Вус!“ „Вус“ — по-жыдывськи „шчо“. „Вус, вус, — кажэ, — вус?“» (Олтуш Млр. Б., ПА 1985, зап. А. Гура); «Удод, жыдоўская зазуля. Удод кажэ: „Вут-вут-вут-вут“» (Рясно Ем. Ж., ПА 1981, зап. А. Топорков); «Вут-вут-вут! Так и жыды балакают. То жыдоўска зозуля куе» (Курчица Н.-В. Ж., ПА 1981, зап. О. Белова).

Удод живет по своему «еврейскому» календарю, потому прилетает из теплых стран не вместе с другими птицами и петь начинает раньше: «[Называют его также] жыдоўска зозуля. Он раньшэ прылетае на нэдиль дві, чем зозуля. И жыдовськи празьныкы тож раньшэ, жыдовска Паска — ну, нэдэль па две» (Олтуш Млр. Б., ПА 1985, зап. А. Гура); «Вўдуд. У нас кажуть, шо жыдиўска зозуля. „Вут-вут-вут“, — так кажэ. Наша познийше куе, а вона раньше. То говорять, шо жидиўска зозуля, бо вўдуд раньше за тое [голос подает]. А наша зрбду куе после Паски па восемнацатой нэдили» (Речица Ртн. В., ПА 2000, зап. О. Белова); «Жыдоўска зозуля — она перва по вэсьне ўдкае. Жыдоўска зоўзуля пэрва закуе, а нашая ўторая. А лўччэй услышать свою, як жыдоўськую» (Ковнятин Пин. Б., ПА 1981, зап. А. Гура). В белорусском Полесье удода называют «жидовской зозулей» еще и за то, что он в отличие от обыкновенной кукушки продолжает кричать и после Петрова дня (Оброво Ивц. Б., ПА 1987).

«Жидовской зозулей» удода называют также и потому, что он упоминается в Библии среди тех птиц, которых Бог запретил есть евреям: «А вони, значыть, свинины не йили, йим не росполагало, не разрешиў Бог. Он сказаў, значыть: „Тое животное, шо не жуе жўй-кы“, — жвакуе, от, прымерно, вивця, корова — вона жывэ жўйку; дажэ павить и птицу, ў Библии напісано, шо ўдода нэ йисты; ўсяку птицу йисты, а ўдода нэ йисты. От ёго и назвалы — жыдиўска зозуля» (Речица Ртн. В., ПА 2000, зап. О. Белова; ср. Втор. 14: 18).

Отличительная внешняя особенность удода — хохолок на голове — также связывается (и довольно курьезно) в народных легендах с евреями: один удод позаимствовал у другого хохолок и отказался отдавать; не помогли и просьбы евреев, которые пытались соблазнить похитителя орехами и конфетами: «Один е удодик с чубашечкой, а другий нэ мае. Он позычиў у другого чубашэчку да йі нэ оддаў. Попросиў удодик на одын вэчор чубашэчку, а вин её оддаў. А тот ему дитки глядеў за то. Ў его дитки були, вин и кажэ: „Поглянь мои дитки“ (вин куда-то схотёў, шо вин схотёў гулят куда-то). А другий чубашэчку ему йі нэ оддаў. И вот вин его ўжэ просит: „Удодику, братику, отдай мою

чубашэчку. Я ж на дубе сидеў, твои дитки глядеў“. А вин ему кажэ: „Вот-вот да нэ дам“. И нэ оддаў ему чубашэчку. Жыды ходили следом, да оны надают ему орехов да цукерок, шоб вин оддаў, а вин: „Вот-вот да нэ дам“» (Вышевичи Рад. Ж., ПА 1981, зап. Л. Ивлева).

Однако главный признак удода, получающий в народных представлениях разнообразное толкование, — это сильный неприятный запах, исходящий от этой птицы. Запах удода соотносится с запахом, который якобы присущ самим евреям: «Удод — еврэйска зозуля. Воняе, таму еврэйска» (Жабчицы Пин. Б., ПА 1990); «Ўдода, жыдивска ўдода. Вона как-то смэрдыть. Гавóраць, шо вона евреем смэрдыть» (Ласицк Пин. Б., ПА 1984); «От удода исходит такой же неприятный запах, как и от евреев, которые едят много лука» (Речица Ртн. В.; Гура 1997: 600). Запах удода может сравниваться с запахом, который якобы идет от одежды евреев: «У нас называют жыдиўска зозуля. Это еврэйска по-руски. [Почему так называют?] Говора́ць, шо запах есть, шо вона... жыда́мы смэрдыть. [Какой запах?] От одежды запах. И можно сразу отличить [еврея от нееврея]. Запах такэй... ну, як у скотыны запах есть» (Речица Ртн. В., ПА 2000, зап. О. Белова).

Из-за сильного дурного запаха удод считается нечистой птицей: «Одуд паскудит у своем гнезде, и воняет смэрдячий гóдуд» (Курчица Н.-В. Ж., ПА 1981); «Уткач. [Он] вонячий. [Говорят:] „Ой, воняеш, як той ўткач“» (Олтуш Млр. Б., ПА 1985, зап. А. Гура); «Вўткач. Жыдовська зозуля (еврэйска зозуля). Вопо-у-учал — свэт нэ видел!» (Олтуш Млр. Б., ПА 1985, зап. А. Гура); «Вўдуд. [Кричит:] „Уд-уд-уд! Вуд-вуд-вуд-вуд!“ Вўдуд смэрдючий. [Человеку, от которого исходит неприятный запах, говорят:] „Смэрдиш, як вўдуд“. Вот як птэ́нца малэнького возмэш, вин воняе; тилько возмэш, а вин сц-ц! — и сэрнэ зразу. Цэ жыдиўска зозуля» (Речица Ртн. В., ПА 2000, зап. О. Белова). Согласно верованиям из Малопольши, птицы презирают удода из-за его мерзкого запаха (Гура 1997: 55, 599).

О происхождении запаха удода рассказывают следующее. Своим криком удод выдал Христа евреям, гнавшимся за ним, чтобы предать его на мучения, или разбойникам, за что был проклят и стал «смердючим» (Черниговская губ.; Заглада 1929: 144–145). Подобные легенды до сих пор бытуют и в карпатской традиции. Так, в с. Брод Иршавского р-на Закарпатской обл. в 1988 г. была записана следующая краткая легенда: «Попикач [удод]. Вин согрешив. Вин, коли Христа ловили, а вин кричаў: „Тут-тут-тут“. А Христос казаў: „Будеш смердючий, як пес“» (зап. Е. Быкова).

Согласно восточнополюсской легенде, когда-то удод был царем птиц, даже орел ему подчинялся. Тогда ему захотелось стать птичьим богом. В наказание за дерзость Бог наказал удода: «Будь ты смэр-

дючим удодам и ляти и крычи: „Худа тут!“ И яму призвишчэ такэе дали: смэрдючый удод» (Хоробичи Гор. Ч., ПА 1980, зап. А. Гура). Аналогичный сюжет был зафиксирован в Овручском у. Вольнской губ. (Зеленин 1914: 321).

Приведенная выше легенда входит в круг немногочисленных зафиксированных в славянской традиции мотивов, согласно которым удод — это «царская» или «божья» птица.

По поверьям поляков и западных украинцев, удод — «еврейский божок» или «еврейский дух» (Gustawicz 1881:126), «в удоде живет душа еврея» (Клингер 1909–1911: 294).

В отличие от рассмотренных ранее характерных признаков удода, эти мотивы не были столь же подробно разработаны в фольклоре полешуков и жителей Подлясья и не имеют соответствующего этнографического контекста. Представляется, однако, что в этих лаконичных свидетельствах в свернутой форме содержатся сюжеты, указывающие, во-первых, на влияние книжной культуры на фольклорные представления и, во-вторых, свидетельствующие об этнокультурных контактах славян и евреев. На основании сравнения этих фрагментарных верований с еврейскими представлениями, связанными с удодом (талмудические легенды, агада), можно говорить о том, что эти стоящие несколько особняком в славянской традиции поверья об удоде отражают (в достаточно стертом и разрушенном виде) иноэтническую традицию.

В талмудических легендах и их переработках в иудейской и мусульманской традициях удод действительно играет роль «птицы царя Соломона».

Он сопровождает Соломона в его странствиях, так как обладает способностью находить подземные источники (Веселовский 2001: 169, Zowczak 2000: 202).

Удод выступает как посланник, на своих крыльях переносит письма Соломона и царицы Савской. Однажды все птицы собрались перед царем Соломоном, только удода нигде не было. Наконец он явился и рассказал Соломону, что далеко на востоке он обнаружил «град Китор», все еще неподвластный Соломону, где правит царица Савская. Соломон написал царице письмо с приглашением явиться к нему, привязал письмо к крылу удода и отправил его с этим посланием. За удодом последовали и все остальные птицы, и однажды утром они слетелись ко дворцу царицы Савской «так, что затмили собой свет». Получив письмо, царица написала ответ (удод опять выступил посланником) и поспешила отправиться с визитом к Соломону (Ginzberg 1956: 560–561; Веселовский 2001: 371–372).

В ряде еврейских легенд того же соломонова цикла удода отводится роль хранителя чудесного червя (камня) *шамир*, при помощи

которого обтесывались камни при строительстве Соломонова Храма — Святая Святых. По совету демона Асмодея Соломон добывает шамир, закрыв гнездо птицы стеклом и заставив ее принести шамир из укромного места для того, чтобы с его помощью разбить стекло (Веселовский 2001: 146–147; Goldstein 1990: 126; Unterman 1994: 264). В связи с последним сюжетом упомянем зафиксированное в трактате Элиана «О природе животных» (I, 46) эллинистическое представление о том, что угод для вызволения своих птенцов из закрытого гнезда добывает «разрыв-траву» (*saxifraga*), разрушающую любые преграды (Клингер 1909–1911: 75).

Согласно талмудическим легендам (The Book of Legends: 272, 775), угод поселяется в дуплистом дереве в саду рабби Симона бен Халафты, и тот разоряет гнездо нечистой птицы; та, однако, восстанавливает гнездо. Тогда рабби Симон приносит доску и забивает гнездо гвоздем, угод же приносит некое растение, при помощи которого вырывает гвоздь. «Надо бы спрятать это растение, — заключает рабби, — чтобы воры не воспользовались им и не погубили человечества». Разрыв-травы (рус. *спрыг-травы*, серб. *расковник* и т. п.) считалась в европейских, в том числе славянских, поверьях средством, от которого распадаются горы и открываются железные запоры (ср. Афанасьев 1994/2: 396–399; Белова 1997); в славянских преданиях, однако, добывание разрыв-травы связано не с угодом, а с другими птицами — прежде всего с дятлом, дупло которого (в полном соответствии с талмудической традицией) следует забить.

Впрочем, в еврейской нарративной традиции различные варианты одного и того же сюжета выводят в качестве помощника Соломона или хранителя шамира различных птиц: это «дикий (полевой) петух», «петух Бар» (Агада 2000: 206–207; The Book of Legends: 127–128, 130), куропатка (Ginzberg 1956: 572–573), глухарь (Веселовский 2001: 146); соответственно, в волыньском Полесье куропатка также причисляется к «еврейским» птицам и именуется «еврейской курицей» — Гура 1997: 36, 718).

Такое «разночтение» может быть вызвано тем, что в еврейских текстах птица, фигурирующая в указанных сюжетах, чаще всего названа описательно: *тарн'гола бар* «дикий (полевой) петух» (что вполне может обозначать удода с его отличительным признаком — хохолком на голове, «аналогом» петушиного гребня), *bar yokhni* «сын гнезда» (см.: Graves, Patai 1966: 56). Впоследствии и в славянских текстах (как книжных, так и устных), отразивших рассматриваемые сюжеты, не наблюдается единообразия.

«Полевой петух» как хранитель чудесного средства для обработки камня фигурирует в Толковой Палее. А. Н. Веселовский отметил

почти дословное сходство этого сказания с талмудической легендой (Веселовский 2000: 177), на основе известных ему списков предполагая, что статья о шамире появляется в составе Палеи начиная лишь с XV в. (Веселовский 2000: 250). Однако уже в древнейшем русском списке Палеи конца XIV в. читаем: «Рече Китоврас(с). естъ ноготь птиць малъ во имя шамиръ. хранитъ же кокотъ дѣтки въ гнѣздѣ своемъ на горѣ каманѣ в пѹстыни далнен» (Государственный исторический музей (Москва), собр. Барсова, № 619, кон. XIV в., л. 234 об.). Повторяющееся и в более поздних списках Палеи сочетание «кочотъ детьскыи» представляет собой перевод арамейского *тарн'гола бар* «полевой петух»: славянский переводчик спутал два значения слова *бар*: «поле» и «сын» (БЛДР 3: 386; ср. обозначение птицы как «петух Бар» в современном переводе легенды — Агада 2000: 206).

Образ петуха — царского посланника — нашел отражение в «библейском» фольклоре карпатских украинцев. В легенде, записанной в Угорской Руси в конце XIX в., говорится о том, что однажды к Соломону «прилѣтыло много птáкуу, по нѣбо і по зѣмлю, шчо пѣрет птáкома не видно бѹло сопце... ішчи ни йи когутá великóго». Наконец явился «когут» и сказал, что был «у туй Америцы, за морьйáми», где живет «йиднá христьáньська особа, йиднá жонá, та йи за царицьу». Соломон отпíравил с «когутом» царице письмо, пригласив ее в гости (Гнатюк 1897: 25). Текстовые совпадения в деталях между украинской и еврейской легендами (отсутствующие в книжных вариантах апокрифов о Соломоне и царице Савской) могут свидетельствовать о непосредственном заимствовании сюжета одной нарративной традицией из другой и о его последующей трансформации (модернизации).

В этом контексте «говорящими» становятся славянские названия удода, не подкрепленные развернутыми нарративными мотивировками. Это номинации, связанные с опорным словом «петух» и признаком «божий» — с.-хорв. *božij kokotić* «божий петух» (Гура 1997: 599), или же «царские названия» — с.-хорв. *kruničar* (по хохлу на голове, напоминающем корону; Гура 1997: 599). В связи с последним примером упомянем, что «еврейской кукушкой» поляки Цехановского воеводства считали также хохлатого жаворонка (Гура 1997: 636).

Сквозь призму талмудических сюжетов можно рассмотреть и славянские поверья, связанные с представлениями об удоде как «колдовской» и «вещей» птице. На Западной Украине бытовало поверье, что хохлы, вырванные удодом у своих птенцов и сложенные в гнезде, отпугивают хищников; считалось, что, если человек сорвет хохол с головы удода, это грозит ему большим несчастьем (Гура 1997: 49, 602). В Харьковской губ. верили, что удода может отомстить за разорение

своего гнезда — принести огонь на крышу хаты и спалить ее (Клингер 1909–1911: 294). На Украине предзнаменованием смерти считалось, если удод долбит угол дома (Гура 1997: 602).

Рассмотренные польско-украинские народные поверья об удоде, своеобразно отражающие стереотип «чужого» в его орнитоморфной ипостаси, свидетельствуют не только о разнообразии способов материализации фольклорно-мифологических представлений, но также о феномене культурного пограничья, аккумулирующего и удерживающего в себе элементы различных традиций. «Осколочные» представления о «царском» удоде, стоящие вне системы славянских народных представлений об этой птице и фиксирующиеся более в лексике, нежели в фольклорных нарративах, могут стать примером именно такой «культурной консервации» неславянских книжных и фольклорных сюжетов в славянской традиционной культуре.

ИСТОЧНИКИ

- Агада 2000 — Агада. Сказания, притчи, изречения из Талмуда и мидрашей. Ростов-на-Дону, 2000.
- Афанасьев 1994 — *Афанасьев А. Н.* Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т. 1–3.
- Белова 1997 — *Белова О. В.* Легенда о дятле и разрыв-траве в книжной и устной традициях // Живая старина. 1997. № 1. С. 34.
- БЛДР 3 — Библиотека литературы Древней Руси. Т. 3. XI–XII века. СПб., 1999.
- Веселовский 2001 — *Веселовский А.* Мерлин и Соломон: Избранные работы. СПб., 2001.
- Гнатюк 1897 — *Гнатюк В.* Етнографічні матеріали з Угорської Русі. Т. I. Легенди і новелі // Етнографічний збірник. Львів, 1897. Т. III.
- Гура 1997 — *Гура А. В.* Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
- Заглада 1929 — *Заглада Н.* Побут селянської дитини. Матеріали до монографії с. Старосілля // Матеріали до етнології. I. Київ, 1929.
- Зеленин 1914 — *Зеленин Д. К.* Описание рукописей Ученого архива Императорского географического общества. Пг., 1914. Вып. 1.
- Клингер 1909–1911 — *Клингер В.* Животное в античном и современном суеверии. Киев, 1909–1911.
- The Book of Legends — The Book of Legends. Sefer Ha-Aggadah / Ed. by Hayim Nahman Bialik and Yehoshua Hana Ravnitzky. New York, 1992.

- Goldstein 1990 — *Goldstein D.* Das Judentum und seine Legenden. Klagenfurt, 1990.
- Ginzberg 1956 — *Ginzberg L.* Legends of the Bible. New York, 1956.
- Graves, Patai 1966 — *Graves R., Patai R.* Hebrew Myths. The Book of Genesis. New York, 1966.
- Gustawicz 1881 — *Gustawicz B.* Podania, przesady, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1881. T. 5. S. 102–186.
- Unterman 1994 — *Unterman A.* Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. Warszawa, 1994.
- Zowczak 2000 — *Zowczak M.* Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. Wrocław, 2000.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Б. — Брестская обл.	Ж. — Житомирская обл.
Дрг. — Дрогичинский р-н	Ем. — Емильчинский р-н
Ивц. — Ивацевичский р-н	Н.-В. — Новоград-Волинский р-н
Млр. — Малоритский р-н	Рад. — Радомышльский р-н
Пин. — Пинский р-н	Ч. — Черниговская обл.
В. — Волинская обл.	Гор. — Городнянский р-н
Ртн. — Ратновский р-н	

HABENT SUA FATA MANUSCRIPTA: PIERWSZE LATA KLASZTORU SUPRASKIEGO

Klasztor supraski pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny został założony w 1498 roku przez marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksandra Chodkiewicza i początkowo położony był u źródeł rzeki Supraśl razem z zamkiem Chodkiewicza¹. Później, zgodnie z życzeniem mnichów został przeniesiony na obecne miejsce, w samo centrum Puszczy Błudowskiej.

Od chwili założenia klasztor supraski stał się jednym z bardziej znaczących centrów kultury nie tylko w Wielkim Księstwie Litewskim, na zachodnich rubieżach którego powstał, ale całego wschodu Europy. Za czasów przełożonego Sergiusza Kimbara (1532–1565) «zaczął nosić nazwanie Ławry, a jego archimandryci na soborach metropolitalnych podpisywali się zaraz za archimandrytami Ławry Kijowsko-Pieczerskiej»².

Prawosławni mnisi, przybyli w końcu XV wieku w lasy górnego biegu rzeki Supraśl, przynieśli ze sobą również pierwsze książki. W klasztorze powstaje znacząca szkoła literacka i dlatego sprawiedliwie należy się klasztorowi supraskiemu sława jednego z największych centrów wydawniczych prawosławnego świata: tutaj pracowali znakomici uczeni mnisi-bibliofile – literaci, tłumacze, redaktorzy, pisarze i izografowie. Supraśl od razu stał się wielkim prawosławnym centrum literackim i kulturalnym na pograniczu ze światem rzymskokatolickim. W ten sposób można wyjaśnić obecność w supraskiej bibliotece wielu rękopisów, nieodzownych dla polemiki z katolikami oraz pojawienie się w klasztorze silnej literackiej szkoły prawosławnych polemistów, tworzących i przepisujących takie rękopisy jak, na przykład, «*Книжка на Лавину*»³.

Będąc jedną z najznakomitszych grup w prawosławnej społeczności intelektualnej Wielkiego Księstwa Litewskiego i prawie podstawową częścią duchowych sił podlaskiego prawosławia, mieszkańcy klasztoru supraskiego okazali się zdolni do stworzenia samodzielnego prawosławnego centrum wydawniczego i brali w jego działalności bezpośredni udział⁴.

Stopniowo, w środowisku podlaskiej prawosławnej społeczności intelektualnej, gdzie, w istocie wchodzili nie tylko magnaci, przedstawiciele czarnego i białego duchowieństwa, szlachta i mieszczaństwo, ale też żyjący daleko np. książęta Ostrogscy, Słuccy i inni – powstała szczególna rada literacko-wydawnicza opracowująca i urzeczywistniająca program przyszłego wydawnictwa zabłudowskiego.

Mając doświadczenie w sprawach wydawniczych i pragnąc służyć całemu prawosławnemu światu, rada wydawnicza rozpoczęła szeroko zakrojone przygotowania do wstępnego zbioru niezbędnych tekstów, poszukując ich w pobliżu, włączając w to Supraśl, i daleko, również w ziemiach moskiewskich. W tym czasie w radzie wydawniczej już dojrzał plan przygotowania do druku i wydania Biblii w języku cerkiewnosłowiańskim oraz wielu innych książek niezbędnych dla prawosławnych czytelników na Wschodzie i Południu Europy. Podlascy wydawcy wyprzedzili o ponad dwa dziesięciolecia program księcia Konstantego Ostrońskiego, w imieniu którego na Wołyniu, w 1581 roku Iwan Fedorow wydrukował pierwsze pełne wydanie Biblii w języku cerkiewnosłowiańskim.

W roku 1557 o. Sergiusz Kimbar opracował obszerny inwentarz klasztoru supraskiego⁵. W rejestrze majątku klasztornego, sporządzonym przez archimandrytę Sergiusza, jako przedmioty wartościowe, jedne z ważniejszych w klasztorze, są opisywane książki. Podkreślając swój szczególny stosunek do gromadzenia skarbów literatury o. Sergiusz umownie podzielił opis ksiąg na dwie części: *«А всих книг старых»* i *«А то книги новые, што за мене Сергея прибавлены Церкви святой»*. Pierwsza część zawiera książki, jakie trafiły do klasztoru przed archimandrytą Sergiuszem, w okresie pierwszych trzech archimandrytów (1500–1532). Liczy ona 129 pozycji. W pierwszej grupie archimandrytą Sergiusz wymienia: *«Евангелие пергаменное старое»* *«ктитора митрополита Солтана наданья»* oraz *«славное памяти евангелие»* które archimandryta Sergiusz *«у господя пана его милости»*, to znaczy Aleksandra Chodkiewicza, *«упросил»*. W bibliotece klasztoru supraskiego był wtedy jeszcze jeden rękopis, związany z metropolitą Józefem Sołtanem, który na równi z Aleksandrem Chodkiewiczem szczerze darował założonemu przezeń klasztorowi wiele książek. Były to Prolog (wrzesień-luty), przepisany w 1512 roku z polecenia metropolity Józefa i oprawiony *«рукою иерея Прѣфирия иж в Любчи»*⁶. W najwcześniejszym opisie biblioteki klasztornej, to najprawdopodobniej o nim, pośród innych Prologów powiedziano: *«На весь год 4 прологи, а в каждом по три месяцы»*. W skład Prologu, wszedł żywot *«святых новоявленных мученик родом Литвы Иоанна, Антония и Евстафия. Литовския ж им имена Крузлец, Кумец и Нежило»* — jest to jeden z najstarszych opisów żywotu tych świętych.

Oprócz 129 ksiąg *«старых»*, które znajdowały się w Supraślu przed czasami archimandryty Sergiusza, opisuje on jeszcze ponad 70 ksiąg (*«всих книг новописанных за мене Сергея прибавленных»*). Należy zaznaczyć, że nie wszystkie książki, jakie pojawiły się w klasztorze za czasów archimandryty Sergiusza były napisane lub zdobyte z jego polecenia. Niektóre znalazły się w klasztorze jako dar lub jako zapis testamentowy, np. *«Книга Феодора Студита от Канезу»*. Ilość ksiąg drukowanych zwiększyła się. Pośród

nich pojawił się «битый» tzn. wydany sposobem typograficznym słowiański Apostoł, którym mógł być tylko ten wydany w 1525 roku w Wilnie przez Franciszka Skarynę. Opis archimandryty Sergiusza zawiera też pierwsze księgi łacińskie, jakie pojawiły się w klasztorze oraz «греческих книг 5».

Klasztor posiadał znaczący zbiór literatury, nie tylko nie ustępujący, ale wręcz przewyższający zbiory innych większych klasztorów prawosławnych. W Supraślu znajdowały się co cenniejsze dla wschodniosłowiańskich prawosławnych intelektualistów tamtej doby teksty. Została sformułowana własna szkoła «produkcji książki rękopismiennej», która zyskała uznanie na ogromnym terytorium centralnej, wschodniej, południowej i zachodniej Europy.

Biblioteka klasztoru zawierała wielką ilość starych, pergaminowych rękopisów. Jednym z najwcześniejszych jest przepiękny pergaminowy kodeks z XIV wieku, napisany z zachowaniem reguł sztuki, doskonale zachowany. Są to «Беседы» Grzegorza, papieża Rzymu⁷. W pierwszym opisie biblioteki klasztoru supraskiego z 1557 roku rękopis ten jest opisany w rządzie znajdującym się tam już w pierwszej tercji XVI wieku: «Книга другая Григория двоеслова на паркгамене». Najprawdopodobniej rękopis przybył do Supraśla z daleka, być może z Athosu, dokąd, zgodnie z innymi świadectwami⁸, przybyli niektórzy mnisi. Można snuć przypuszczenia o miejscu napisania «Бесед», ale na pewno nie było to Wielkie Księstwo Litewskie. Rękopis nosi, przede wszystkim, cechy charakteru bałkańskiego.

Starym lokalnym rękopisem, przepisany w 1496 roku w jednym z najstarszych wschodniosłowiańskich miast Bielsku, jest Prolog (marzec-sierpień)⁹. Opis z 1557 roku wspomina o nim, pośród pierwszych ksiąg klasztoru: «На весь год 4 прологи, а в каждом по три месяцы. А у пятом пролозе 6 месяцев». Prolog ten wskazuje na prosty związek ziemi bielskiej z Kijowem. Na przykład zawarte jest w nim słowo o przeniesieniu relikwii św. Teodozjusza Pieczerskiego (14 sierpnia. K.458). Najprawdopodobniej pierwszą książką napisaną w samym klasztorze był pergaminowy «Суботник или поминник» (Синодик), którego układanie rozpoczął pierwszy supraski namiestnik o. Pafnucy Siehień. Rękopis zaginął w pierwszym dwudziestolecu zeszłego stulecia, ale został częściowo wydany¹⁰ i zachował się w dokładnej kopii z 1631 roku¹¹.

W istocie Синодик i jego kopia, wraz z wieloma uzupełnieniami, są dokładną kroniką klasztoru. Wiele stron jest najprawdziwszą kroniką klasztoru i zawiera wiele informacji, nie pojawiających się nigdzie indziej. Według składu tekstu Синодик klasztoru supraskiego, jest różnorodnym zbiorem, w którym można wyróżnić następujące grupy:

- 1) kronika powstania i pierwszych lat klasztoru;
- 2) obietnica pierwszego namiestnika o. Pafnucego;

3) przepisy liturgiczne, w tym dotyczące nabożeństw wewnętrznych klasztoru;

4) właściwy Синодик lub Помянник, zawierający ogromną ilość nazw prawosławnych wszystkich stanów z różnych miejsc Europy, wliczając w to daleką ziemię moskiewską.

W 1507 roku «в монастыри пречистыя благовещения, нарицаемом Супрасле» zakończono pracę nad znamienitą księgą — dobrze znanym obecnie — Kodeksem supraskim 1507 roku, przepięknym, przykładem średniowiecznej sztuki księgarskiej¹². Redaktor i kopista wykonał gigantyczną pracę, ciągnącą się prawie sześć lat. Występował on w charakterze archeografa, tekstologa, redaktora i w końcu autora i grafika księgi. O sobie, autor, nazywający siebie Mateuszem Dziesiątym, szczegółowo opowiedział w obszernym tekście końcowym «О написавшем книгу сия» (K.476v.–477). Opowiadanie to, napisane zostało, podobnie jak całość rękopisu «*приизумене Пафнутия*», odkrywa szeroki obraz duchowych kontaktów wschodnich Słowian ziemi moskiewskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oto, jeszcze jeden przykład stworzenia pełnego zbioru ksiąg biblijnych we wschodniosłowiańskim środowisku końca XV i początku XVI wieku.

Pośród ksiąg klasztoru supraskiego należy wspomnieć też o tak zwanej «*Волинской краткой летописи*»¹³. Jest ona częścią zbioru napisanego w Supraślu. Kronika kończy się wymienieniem wydarzeń z pierwszych lat do roku 1544. Cała księga jest opisana w pierwszym spisie w sposób następujący: «*Книга Царствениик з летописи*». Na początku wieku XIX część kronikarska została wyjęta z całości i znalazła się w Bibliotece Państwowego Kolegium Spraw Zagranicznych w Moskwie¹⁴. Rękopis ten jest jednym z podstawowych źródeł historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, a szczególnie Wołynia i Podlasia.

Nie można nie wspomnieć o Лествице z 1530 roku pochodzącej z Supraśla, która później znalazła się na Athosie. To najprawdopodobniej o tej książce we wczesnym spisie klasztorskim powiedziano: «*Книга лествица в полдестъ*».

Ze względu na swą funkcjonalność książki mogą być umownie podzielone na trzy duże grupy: 1. liturgiczne; 2. do czytania; 3. ustawy, prawa, kanony.

W okresie do 1532 roku w klasztorze supraskim znajdowało się 56 ksiąg liturgicznych, stanowiące pełny zbiór ksiąg niezbędnych przy odprawianiu nabożeństw. Pośród literatury liturgicznej najwięcej było Psalterz (13 ksiąg) i Miniei (12 ksiąg), co wyraża ogólną tendencję bibliotek klasztornych tamtych czasów¹⁵.

Spektrum literatury «do czytania» (67 ksiąg) było szerokie. Znajdowały się w nim: księgi Pisma Świętego — «*Книга Пророчеств*», «*Книга Исус с пленением Ерусалимским*», wyjaśnienia Pisma Świętego, pisma

świętych Ojców i Nauczycieli Kościoła, pośród których znajdowała się: «*Книга другая Григория двоеслова на паркгамене*», literatura hagiograficzna — «*Книжка патерик печерский*», literatura historyczna — «*Книга Криница*» i «*Книга Царственик с леписцем*». Pośród 20 tomów różnego rodzaju zbiorów znajdował się znakomity supraski rękopis, pochodzący z XI wieku — «*Книг великих соборников 4, а пятый на паркгамене*»; księga polemiczna — «*Книжка на Латину*», oraz pięć ksiąg «*битых*» czyli drukowanych. Trzecią grupę reprezentowały w bibliotece: 2 tomy Уставы; 2 tomy «*великих правил Церковных*», номоканон, nazwany w opisie: «*Книжка Транквиля моноканон*»; Зонар. Ogółem, w pierwszych latach istnienia klasztoru supraskiego tj. do 1532 roku w bibliotece znajdowało się 56 ksiąg liturgicznych, 67 tomów literatury «do czytania» oraz 6 tomów praw, ustaw i kanonów.

Za czasów archimandryty Sergiusza przybyło 74 tomy — «А то книги новые што за мене Сергея прибавлены Церкви святой». Po tych tomach widnieją dopiski: «А потом прибавлено книг новописанных» (3 tomy) i «А то Яцка подскарбьего бывшего книги котория по смерти его остались». Razem przybyło 80 tomów. Rozrost biblioteki odbywał się w okresie 25 lat. Dla tamtych czasów jest to bardzo wysokie tempo wzrastania zbioru ksiąg, co świadczy o wielkim znaczeniu przypisywanym księgom w klasztorze supraskim.

Pośród ksiąg znalazłszy się w klasztorze za czasów archimandryty Sergiusza można wymienić 42 księgi liturgiczne. Najwięcej pośród nich było Miniei — 15 ksiąg. Przybyło też 5 Apostołów, 4 Psalterze, w tym jeden Apostoł «битый» — drukowany, i jeden «битый» Psalterz. Biorąc pod uwagę czas sporządzenia opisu «te ostatnie mogły być z tych, które drukowane były wtenczas (1525) в Wilnie przez doktora Skarynę в типографии Бабicza»¹⁶. Pośród pięciu nowych Apostołów był jeden łaciński.

Literatury «do czytania» przybyło mniej — 34 tomy. Były to Pisma świętych Ojców, np. «*Книга великого Василия Кесарийского новописаная*», księgi św. Jana Damasceńskiego, św. Jana Złotoustego, literatura hagiograficzna — «*Соборничок новых святых*»; rękopisy o charakterze historycznym i geograficznym, a pośród nich: «*Шестодневник Иоана Антиоха и в нейже написано Козма Индикоплав*», «*Книга временник из Константинова временника выписана*». Pośród zbiorów pojawia się 5 ksiąg greckich.

Kończąc opis zbioru literatury klasztoru supraskiego w pierwszych latach jego istnienia, należy podkreślić jego znaczenie i różnorodność. Jest też zauważalny moment przeniknięcia doń elementów zachodniej kultury książkowej i literackiej, ale ich ilościowe znaczenie było jeszcze wtedy nie istotne.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Jak sądzimy, najstarszym i najbardziej godnym wiary dokumentem dotyczącym założenia klasztoru supraskiego, odnoszącym się dokładnie do pierwszych dni jego istnienia jest pergaminowy Pomniannik klasztoru i kopia synodyku z 1631 roku. Szczegóły patrz: *Labyncew J., Szczawińska L.* W mieście zwanym Zabłudowem. Białystok, 1995. S. 15–19. Redaktor «Kroniki Ławry Supraslskiej» powoływał się na znane mu rękopiśmienne dokumenty i wskazywał datę założenia monasteru w taki sposób: «Науьпрод року 1498 в Гродку те лавре albo monastyr fundować zaczął р. м. Alexander Chotkiewicz». Patrz: Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при Управлении Виленского учебного округа. Вильно, 1870. Т. 9. С. 1.
- 2 *Николай (Далматов)*, архим. Супрасльскій и Благовещенскій монастырь. Историко-статистическое описание. СПб., 1892. С. 51.
- 3 Biblioteka Naukowa Uniwersytetu Wileńskiego. Dział rękopisów. F. 58–B1993. K. 2.
- 4 Szczegóły, zobacz w: *Labyncew J., Szczawińska L.* Op. cyt.; *Лабьнцев Ю. А., Щавинская Л. Л.* Православная Академия Ходкевичей и её издания. Минск, 1996.
- 5 Biblioteka Naukowa Uniwersytetu Wileńskiego. Dział rękopisów. F58–B1993, B1994, B1995, B2001, B2002; Археографический сборник документов. Т. 9. С. 45–55.
- 6 Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie. Dział rękopisów. F19–95.
- 7 Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie. Dział rękopisów. F19–3.
- 8 Zobacz: *Модест*, архим. Супрасльскій и Благовещенскій монастырь. Литовские Епархиальные Ведомости. 1865. № 3. С. 75.
- 9 Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie. Dział rękopisów. F19–100.
- 10 Zobacz: Археографический сборник. Т. 9. С. 454–459; *Е. Н. Старый* Синодик Супрасльского Монастыря. Гродненские Епархиальные ведомости. 1904. № 27. С. 788–799.
- 11 Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie. Dział rękopisów. F19–89.
- 12 Obecnie przechowywany w dziale rękopisów Biblioteki RAN w Sankt Petersburgu (24.2.28).
- 13 Obecnie przechowywana w Rosyjskim Archiwum Państwowym akt dawnych w Moskwie (F. 181. Op. 1.4.1. № 21/26); Полное собрание русских летописей. Т. 35. Летописи белорусско-литовские. М., 1980.
- 14 Zobacz: Супрасльская рукопись, содержащая Новгородскую и Киевскую сокращенные летописи. М., 1836. С. 157–159.
- 15 Na przykład w klasztorze solowieckim, zgodnie ze spisem z 1514 roku, wśród 73 ksiąg liturgicznych było 19 Psalterzy i 17 Miniei. Zobacz: *Кукушкина М. В.* Монастырские библиотеки Русского Севера: Очерки по истории книжной культуры XVI–XVII веков. Л., 1977.
- 16 *Макарий*, архиеп. История Русской Церкви. СПб., 1879. Т. 9. С. 295.

**И. А. Бодуэн де Куртенэ
и духовные ценности
славянских литератур**

Ян Игнацы Нецислав, или, как его в России величали, Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ, известен прежде всего как крупнейший индоевропеист, теоретик общего языковедения и один из отцов современной лингвистики, виднейший представитель славянского сравнительно-исторического языкознания, славянской диалектологии, родоначальник так называемой Казанской лингвистической школы, затем Краковской и Петербургской, предвестник Пражской и Московской фонологических школ. В то же время его внимание привлекала вся словесность в пушкинском понимании этого термина, — «творчество, выражающееся в слове, как устном, так и в письменном, словесное творчество»¹, т.е. «художественная литература и устное народное творчество, а также совокупность литературных и фольклорных произведений»². Напомним, что в дореволюционное время в университетах существовали кафедры словесности, а в средних школах преподавался специальный предмет под названием «словесность», дававший знания по художественной литературе.

Прежде всего следует отметить огромные достижения И. А. Бодуэна де Куртенэ в области собирания и изучения диалектов, наречий и говоров славянских народов с обстоятельным учетом устного народного творчества. К примеру, исследуя резьянские говоры, он обратил внимание на разнообразные проявления народной жизни среди словенцев и вообще южных славян в Италии, а также в Австрии. Автор «Опыта фонетики резьянских говоров» (1875) следующим образом впоследствии вспоминал об этом:

«При всем том, как собиратель материала, я стремился к тому, чтобы быть не только диалектологом и языковедом вообще, но также исследователем народного творчества, фольклористом, этнографом и т. д. Записывал я целые песни, сказки, басни, легенды, пословицы, полностью рассказы и т. д., то есть я брал на себя задачи целых научных экспедиций, составленных из разных специалистов. Одним словом, вместо того, чтобы быть солистом, я пытался петь хором»³.

Следует особенно подчеркнуть и выделить именно то обстоятельство, что Бодуэн де Куртенэ всегда проявлял повышенное внимание к истории исследуемого им народа, к культурной, общественной и

политической жизни данной местности, региона, страны. И весьма уместно привести здесь его собственное признание:

«Сразу же после моего приезда в Горицу в начале 1872 года я усердно следил за политическим движением среди тамошних словенцев, и даже до известной степени принимал в нем участие. Восхитила меня особенно деятельность одного из благороднейших людей, правозащитника (адвоката) доктора Карла Лаврича, главного возбудителя и распространителя национального словенского сознания в провинции Горица, преданного всей душой своему народу и посвятившего себя полностью возлюбленной им идее национального просвещения на фоне равноправия народов в государстве и в непосредственной связи с защитой прав человека и гражданина»⁴.

Именно проблема «равноправия народов в государстве в непосредственной связи с защитой прав человека и гражданина» становилась путеводной звездой Бодуэна как в научной сфере, так и в его жертвенной, весьма плодотворной общественной деятельности, находившей свое яркое проявление в его блестящей публицистике, использующей весьма удачно многообразие славянской словесности.

Язык, фольклор, словесность и художественная литература в восприятии Бодуэна де Куртенэ были неразделимы. Именно он внес большой вклад в изучение фольклора славянских народов. Напомним здесь только некоторые факты. К примеру, значительное количество фольклорных текстов, заключающих образцы говоров резвянских и терских славян, находятся в периодических выпусках «Материалов для южнославянской диалектологии и этнографии» (СПб., 1895, 1904, 1913), издаваемых ученым. Сотрудничая с известным французским издательством и научным журналом «Kryptadia», ученый напечатал там значительную подборку материалов, касающихся как польского⁵, так и южнославянского народного творчества⁶. Интересные соображения относительно славянского фольклора высказал Бодуэн, рецензируя труды по народному творчеству таких, к примеру, славянских исследователей, как Франц Миклошич⁷ и Бальтазар Богишич⁸. Не только западно- и южнославянский фольклор привлекал его пристальное внимание, но и восточнославянское народное творчество, в частности русские былины⁹. Здесь же хотелось особенно выделить и отметить повышенный интерес к белорусско-польскому и белорусскому фольклору. Имеются в виду записанные и подготовленные Бодуэном к изданию «Pieśni białorusko-polskie z powiatu sokólskiego guberni grodzieńskiej»¹⁰, а также его редакционную, корректорскую и издательскую работу над «Pieśniami białoruskimi z powiatu dziśieńskiego guberni wileńskiej», собранными и записанными его чешским другом, славистом и поэтом Адольфом Черным, издателем пражского

журнала «Slovanský Přehled», дополненными Бодуэном «Dodatkem do „Pieśni białorusko-polskich z powiatu sokólskiego“»¹¹.

И. А. Бодуэн де Куртенэ внес ясность и научную определенность во взаимоотношения между восточнославянскими языками. Высоко оценивая научные работы своего младшего коллеги Кароля Людвика Аппеля, варшавского филолога, он особо выделил его исследование «O narzeczu białoruskim» (1880)¹². Там Аппель, обстоятельно анализируя белорусскую фонетику и грамматику, пришел к следующему выводу: «По своему грамматическому строю белорусское наречие вообще ближе к великорусскому наречию, нежели к малорусскому. Особое сходство белорусина представляет с южно-великорусскими „акающими“ говорами»¹³. Бодуэн, ссылаясь на предшествующие работы К. Аппеля и полностью поддерживая вышеизложенный тезис, констатировал: «Это рассуждение еще лучше вышеразобранных, потому, что систематическое и всестороннее. В особенности достойна одобрения полнота собранного здесь материала из имеющихся источников для изучения белорусского наречия. Весьма метко схвачены некоторые из главных черт отличия и сходства белорусского наречия с великорусским и малорусским»¹⁴.

Бодуэновский гуманизм, проникнутый любовью к человеку и уважением к человеческому достоинству, был абсолютно несовместим со всяким национализмом и шовинизмом. В письме к Александру Веселовскому от 6(18) апреля 1887 года ученый подчеркивал, что он «совершенно чужд всякой национальной или племенной вражды», что «как в русских, так и в поляках, как и вообще во всех без исключения людях» он прежде всего ценит «действительные хорошие качества», особенно же питает «отвращение ко лжи, к международной, междусословной и к какой бы то ни было травле, к нетерпимости и к разным другим проявлениям низших инстинктов человеческих стад», что выше всего ставит «справедливое отношение ко всем без исключения людям»¹⁵.

Добавим здесь и ко всем без какого-либо исключения народностям, нациям и народам, ко всем конфессиям. Резко осуждая русификаторскую политику царского правительства, ущемление гражданских прав в Российской империи, Бодуэн последовательно выступал в защиту достоинств русского народа, русского языка, письменности, культуры, художественной литературы и искусства. Я здесь имею в виду хотя бы его брошюру «По поводу юбилея профессора Духиньского», опубликованную на польском языке в Кракове в 1886 году издательством Ягеллонского университета¹⁶.

Францишек Генрик Духиньский (1816–1893), публицист, историк и этнограф, деятель польской эмиграции с 1846 года, выдвинул и стре-

мился «обосновать» свою теорию «о туранском генезисе Москвы и России», об «азиатском и в корне противоположном цивилизованной и просвещенной Европе происхождении российских москалей и русского государства во власти царей» и о «неславянскости России». Он был одним из первых польских представителей расистско-антропологического направления, воспринявших теории Жозефа Артюра де Гобино (1816–1882), основоположника антропологической школы в социологии и расизма, использованного в XX веке европейским фашизмом. В своей основной работе «*Zasady dziejów Polski i innych narodów słowiańskich*» («Основы истории Польши и других славянских народов». Часть 1–3. Париж, 1858–1861), включенной позднее в посмертное собрание его сочинений «*Pisma*» («Труды». Т. 1–3. Рапперсвиль, 1901–1904), восприняв теорию о неравенстве рас, Духинский провозглашал тезис, будто бы русский народ не является славянским, следовательно «индоевропейским», так как его происхождение вовсе не славянское и не европейское, но московско-туранско-монгольское. Отсюда проистекают его изъяды и быющая в глаза неполноценность. В противовес России Польша представляет собой истинную славянскость и полноценную европейскость.

Эти антинаучные и фантастические концепции Духинского в прошлом (да и в нынешнее время чувствуются иногда реверберации этих теорий, т. е. своеобразное видоизмененное внешне послезвучие, эхо, отзвуки) использовались консервативными, крайне антирусскими кругами, иногда добавлялись псевдоаргументы о необходимости противостояния католицизма московскому православию, выдвигались теории создания славянской федерации без России и русского народа, т. е. без московских «туранов-монголов».

Вышеизложенные взгляды и теории Ф. Духинского И. А. Бодуэн де Куртенэ назвал сплошной выдумкой, сплетнями кумушек и безответственной болтовней, которые могут понравиться лишь тенденциозной и поверхностной демагогической политической публицистике. Они не имеют и не могут иметь ничего общего с настоящими научными изысканиями. Ученый, по глубокому убеждению Бодуэна, должен стремиться только к истине и к научной правде. В дальнейшем Бодуэн убедительно доказывает несостоятельность утверждений Духинского, что «великороссы и их туранские сородичи отличаются от остальных славян и всей арийской Европы как небо от земли», что «это два совершенно разных мира, коренным образом противостоящих друг другу, не имеющих меж собой ничего общего, кроме лишь врожденного и неустрашимого антагонизма», что «географическими границами этих миров являются Днепр и Двина», то есть «восточные границы Речи Посполитой до 1772 года», что «стоит

лишь восстановить бывшую Польшу, и тогда на карте мира и земном шаре возникнет ярко зримое деление двух враждебных миров и Западная Европа получит превосходный форпост для борьбы с постоянно угрожающей ей туранской гидрой»¹⁷.

Какие же доказательства приводит Духиньский в обоснование своего мнения? Бодуэн иронически замечает: «Вот признаки и свойства, разоблачающие „московский“ туранизм в отличие от благородных арийцев-славян: особая внедренная туранизмом форма правления, коммунизм, кочевой образ жизни, поразительно малое количество городов, язык и т. д.»¹⁸. Все эти псевдодоказательства поочередно опровергает Бодуэн де Куртенэ. Останавливаясь на языке и словесности, Бодуэн пишет:

«Г. Духиньский утверждает, что хотя „москали-тураны“ пользуются сейчас определенной модификацией славянских языков, однако она не является их живым языком, самостоятельно развитым, но искусственно приобретенным. Эти „туранские дикари“ раньше употребляли какой-то другой язык. С введением христианства они также приняли церковно-славянский язык, которым пользуются и сейчас, разумеется, испортив его немилосердно на туранский лад. Совершенно другое дело языки малорусский и белорусский. Эти языки издревле, с незапамятных времен свойственны говорящим ими племенам, языки живые, благозвучные, свободные от искусственных пересадок и совершенно чуждых им напластований»¹⁹.

Опровергая вышеизложенные псевдодоказательства, Бодуэн пишет:

«Утверждать такое может только г. Духиньский или на него похожие „ученые“ в кавычках, девственные души которых в малейшей даже степени не запятнаны элементарным знанием структуры славянских языков и взаимных отношений родственности между ними. Если бы эти господа постигли хотя бы самые малейшие начала теории славянских языков, они бы знали, что все *великорусские говоры* (в том числе и русский литературный язык) и *белорусские наречия* составляют особую группу, в отличие от малорусских диалектов, но обе эти группы вместе, великорусско-белорусская и малорусская, должны быть соединены в одну общую семью, в отличие от остальных славянских языков. Доказывать, что великороссы являются туранами, которые одолжили себе церковно-славянский язык, может только тот, кто имеет ничтожное и совершенно неопределенное понятие как о строении славянских языков, так и о том, каким образом и какого рода языки могут быть восприняты целым народом. Такое чудотворное усваивание языков может иметь место только в сказках г. Духиньского, но никогда в действительности. Великорусский же язык, то есть русский литературный язык вместе со всеми великорус-

скими наречиями и говорами, является чистейшим славянским языком с точки зрения структуры, фонетики и морфологии, и при том это один из самых жизнеспособных и наиболее самостоятельных славянских языков»²⁰.

Пятидесятилетие так называемой «научной деятельности Духиньского», отмечаемое некоторыми консервативными кругами как национальный польский праздник, вызывало самый резкий протест со стороны Бодуэна. «Да, действительно, — иронизировал ученый, — прославил он на какое-то время польское имя, но одновременно сделал посмешищем и скомпрометировал его... Влияние же теории Духиньского является просто пагубным, и это надолго»²¹.

И эти слова ученого отнюдь не случайны, они выражают суть его гуманизма. И. А. Бодуэн де Куртенэ резко осуждал травлю как отдельных людей, так и народов, стойко и последовательно защищал гражданские свободы, права личности и человека. «Уносимый темпераментом, — вспоминает один из его учеников Генрик Улашин, — он хватал в руки перо и писал-писал сотни статей и брошюр, посвященных общественным, национальным, морально-религиозным вопросам... Все они поражали независимостью суждений, кристальной чистотой взглядов, заботой о благородных идеалах человечества и горячей верой в них...»²² В борьбе за осуществление этих высоких идеалов ученый чрезвычайно умело использовал духовные основы и гуманистические ценности славянских литератур, которые становились его верным соратником.

И. А. Бодуэн де Куртенэ великолепно чувствовал неразрывную связь живого языка и письменности, считал, что «за изучением данного языка должно или может следовать изучение соответствующей словесности и литературы»²³. Отмечая расцвет на славянской почве довольно большого количества «культурных языков», путь к которым всегда вел через письменность, Бодуэн де Куртенэ констатировал:

«Каждый, пусть даже самый незначительный, письменный язык может рассматриваться как исток целой культурно-языковой жизни. Таких более или менее значительных языков у славян довольно много. Каждый славянский народ, считающий себя самостоятельным, развил у себя письменный язык. Не все из этих письменных языков стали носителями особых литератур в широком смысле слова. Едва ли можно говорить хотя бы о кашубской литературе. Также и другие малые литературы, как например лужицко-вендская (верхнелужицкая или нижнелужицкая), словацкая и даже болгарская, словенская и малорусская, никоим образом не могут рассматриваться как равноправные великим литературам сербской, хорватской, чешской, польской и в особенности русской (великорусской). Их внутреннее зна-

чение, круг идей, сфера воздействия, их глубина и широта, их географическое распространение совершенно неодинаковы»²⁴.

Вышеприведенное мнение было высказано Бодуэном в 1883 году. И легко здесь заметить отсутствие даже малейшего упоминания о белорусской литературе. Чувствуется также недооценка некоторых других славянских литератур. Однако Бодуэн постоянно наблюдал за развитием славянской письменности и его радовали новые явления и успехи в области славянского художественного творчества, вследствие чего повышалось его мнение об отдельных славянских литературах, особенно младописьменных. Доброжелательным было его отношение к творческому развитию всех славянских литератур, в том числе и белорусской. Он был знаком с Брониславом Эпимахом-Шипило, известным в Петербурге библиотекарем, филологом, издателем и деятелем на ниве белорусского национального возрождения. Он неоднократно обращался к Бодуэну за консультацией по языковедческим вопросам, информировал его о белорусском общественно-культурном и литературном движении. Однажды, — мне лично об этом рассказывала Эвелина Малаховская, дочь Бодуэна, — он навестил их дом вместе с молодым белорусским поэтом Янкой Купалой, который прочитал свои стихи, написанные по-белорусски. Это вызвало большой интерес и полную поддержку со стороны Бодуэна. Янка Купала навещал несколько раз квартиру ученого, знакомил собравшихся там слушателей со своими новыми стихами и всегда пользовался неизменным вниманием, дружелюбием и моральной поддержкой своего дальнейшего творчества на родном языке»²⁵.

И. А. Бодуэн де Куртенэ также внимательно наблюдал за развитием украинского литературного языка и украинской художественной литературы. В 1913 году в ответе на анкету журнала «Украинская жизнь» он констатировал: «Если украинцам угодно иметь свой особый литературный объединяющий язык, так это их дело, и никто, ни польское шляхетство, ни русское чиновничество, не имеет права вмешиваться в это их домашнее дело»²⁶. Залогом прочности достижений украинского художественного слова в восприятии Бодуэна явилось прежде всего творческое наследие Тараса Шевченко:

«В молодые годы, в годы студенчества, и даже раньше, я знакомился с украинскою жизнью через польскую романтическую поэзию и благодаря знакомству с товарищами-украинцами (т. е. поляками из „юго-западных губерний“). А несколько позже чтение произведений Шевченко трогало меня до глубины души и заставляло испытывать неизгладимые переживания»²⁷.

Особого внимания и дальнейшего всестороннего изучения заслуживают личные и творческие связи Бодуэна с Иваном Франко, а также

их обширная переписка, имеющая огромное значение для понимания сложностей польско-украинских взаимоотношений тех времен²⁸.

С точки зрения универсальных прав человека, гражданского и открытого общества одним из существенных вопросов является проблема смертной казни. «Я не могу не быть против смертной казни, — заявлял в 1989 году академик Д. С. Лихачев, — ибо я принадлежу к русской культуре. А в русской культуре смертная казнь всегда вызывала протест не только Толстого, Достоевского, Короленко, но и многих других деятелей культуры. Смертная казнь развращает тех, кто ее осуществляет»²⁹.

И. А. Бодуэн де Куртенэ самым решительным образом выступал против судебных приговоров, что находило отражение во многих его публицистических статьях и получило научное обоснование в статье «Л. Н. Толстой и смертная казнь»³⁰. Последовательно отрицательный взгляд Бодуэна на смертную казнь, вооружение, милитаризм, воинскую повинность и войны мы находим в его книге, изданной на польском языке в Кракове в 1898 году под заглавием «*Myśli nieoportunistyczne*» («Неоппортунистические мысли»), заключающей 135 афоризмов, изречений и сентенций. Некоторые наиболее яркие свои положения из этого издания Бодуэн включил в качестве *Афоризмов и отрывков для чтения в переводе с польского на русский* в свой учебник «Польский язык сравнительно с русским и древне-церковнославянским. Пособие для занятий по сравнительной грамматике славянских языков и для самообучения» (СПб., 1912. С. 81–85). В восприятии Бодуэна официальный и казенный «патриотизм» отождествляется с национализмом, шовинизмом и антисемитизмом³¹.

И. А. Бодуэну де Куртенэ были чужды и панславизм, и панполонизм. В этих явлениях он видел идеи и элементы, родственные пангерманизму. Он утверждал: «Для меня одинаковы и „alldeutsche“ вместе с хакатистами и всяческими иными германизаторами; русификаторы, помноженные на так называемых „панславистов“ действий и завоеваний, и, наконец, „польские ассимиляторы“ („wszech Polacy“). А эти последние выглядят еще хуже, так как задиристо петушатся, не имея за спиной собственных штыков, как первые, и преданной им государственной власти»³².

Гуманностью и чувством общечеловеческой солидарности были продиктованы следующие слова Бодуэна, высказанные им в 1903 году:

«Лично меня писколько не волнуют „братья-славяне“, они не заслуживают в моих глазах никаких особых прерогатив, и только потому, что являются славянами. Если, например, мадьяр или пруссак угнетают „братьев-славян“, я встаю на сторону славян. Ну, а если „братья-славяне“ угнетают и преследуют немцев, финнов, шведов, литов-

цев, армян, евреев, китайцев... я всей душой встаю на сторону угнетенных»³³.

И. А. Бодуэн де Куртенэ в своих лекциях и публичных выступлениях, дискуссиях и полемике, статьях и заметках страстно боролся против малейшего проявления национализма, антисемитизма и шовинизма, выступал за признание прав и человеческого достоинства любого гражданина, независимо от его национальности, мировоззрения и вероисповедания. Выступал он весьма часто на актуальные политические темы, по жгучим проблемам общественных и национальных взаимоотношений. Его волновали вопросы мировоззрения, морали, воспитания молодого поколения, методики и дидактики в преподавании русского, польского и других языков, а также словесности.

Бодуэн де Куртенэ довольно хорошо разбирался в течениях, направлениях и тенденциях развития современной ему литературы, о прочитанных произведениях имел свое собственное суждение, независимое от той или другой литературной моды, зачастую ей прямо противоположное. Он неоднократно подчеркивал, что о литературе высказывается как обыкновенный читатель. Но все же это был читатель необыкновенный, наблюдатель литературной жизни высочайшего ранга — зоркий языковед и требовательный общественник и рационалист. С большим знанием дела цитировал он в своих языковедческих трудах и публицистических статьях, университетских и публичных лекциях, докладах и сообщениях, различных выступлениях и обсуждениях, дискуссиях и диспутах, а также в обширной корреспонденции с разными лицами — древнегреческих и римских, западноевропейских и американских, польских и русских, чешских и словацких, сербских и болгарских, хорватских и словенских, лужицких и украинских писателей. Художественную литературу Бодуэн трактовал как инструмент, которым он пользовался в своей научной и общественной деятельности.

Объективно доказуемая общность славян, согласно Бодуэну, наличествует главным образом в языке, отражающем реально существующее этническое родство славянских народов, но никак не в мистически надуманной особой «славянской душе», которой будто бы присущи специфические черты, отсутствующие у других народов. Давая оценки славянским литературам, Бодуэн выступал как последовательный рационалист, для которого были вовсе неприемлемы разного рода теории о «мистичности», «таинственности» и «непроницаемости» как славянской души вообще, так и ее перевоплощений в художественном творчестве. Славянские литературы имели в Бодуэне своего внимательного и одновременно требовательного читателя, наблюдателя и критика³⁴. Он считал весьма полезным и нужным взаимное ознакомление со славянской словесностью, письменностью

и художественной литературой. Подчеркивая, что, к примеру, польский читатель «может оттуда заимствовать общечеловеческие ценности более легким и коротким путем, чем когда он обращается к другим литературам, более далеким в языковом отношении», ученый одновременно констатировал следующее:

«Сколько, скажем, красоты, сколько едкой и язвительной иронии, сколько возвышенных идеалов правды, свободы, справедливости найдет он в творчестве некоторых чешских, хорватских, словенских... поэтов и мыслителей, и особенно в такой многосторонней и богатой русской литературе. Благодаря знакомству с литературами наших „побратимов“, проникнут к нам также умственные течения других народов и наций: от хорватов и словенцев придут к нам итальянские влияния, от болгар — греческие и турецкие воздействия и т. д. Таким образом, расширяются наши умственные горизонты и обогащается сокровищница нашего собственного мышления»³⁵.

И все же особое место в творческом восприятии Бодуэна занимает русская и польская литература. Ему принадлежат специальные публикации, посвященные отдельным писателям (предисловия, послесловия, юбилейные эссе и заметки, энциклопедические и словарные статьи, очерки, полемические высказывания, рецензии, отчеты, пометки и т. д.). В Польше писал он главным образом о русской литературе, в России — о польской, что несомненно содействовало сближению обеих литератур.

Обширные связи Бодуэна с интеллектуальной элитой Европы, особенно же со славистами разных стран, содействовали тому, что он сыграл огромную роль в налаживании и развитии научного и литературного взаимообмена. Так, например, он содействовал посылке работы А. А. Потебни «Малорусская народная песня по списку XVI века. Текст и примечания» (Воронеж, 1877) лейпцигскому профессору Августу Лескину³⁶ и четырехтомной «Истории русской этнографии» А. Н. Пыпина грацскому профессору Грегору Креку³⁷. Особого же внимания в этом отношении заслуживает переписка Бодуэна с известным чешским поэтом, переводчиком, публицистом и редактором Адольфом Черным (Яном Рокитой). Опубликованные Теодором Бештой письма Бодуэна к Черному красноречиво свидетельствуют о том, что некоторые произведения русской художественной литературы и критические материалы о ней, появившиеся на страницах журнала «Slovanský Přehled», были им самим доставлены или же напечатаны по его совету³⁸.

Пропагандируя идею изучения разных языков, в том числе и славянских, и указывая на преогромную пользу от этого, Бодуэн одновременно подчеркивал, что «ненависть по отношению к какому-нибудь языку является пережитком дикого состояния, является перене-

сением своеобразного религиозного фанатизма в область нововекового общежития»³⁹. Изучение и знание русского языка, по мнению Бодуэна, создает возможность ознакомления с настоящей сокровищницей общечеловеческих идеалов и мыслей в так всесторонне развитой и богатой русской художественной литературе. «Поляк, литовец, еврей, татарин, армянин, грузин, — замечает Бодуэн, — может любить русский язык в такой же мере, как и свой родной, и радоваться его успеху. При этом он смотрит на этот язык не как на язык Муравьева... не как на язык Дмитрия Андреевича Толстого, К.П.Победоносцева, не как на язык целой плеяды усмирителей и „водворителей порядка“, а как на язык декабристов, как на язык Чаадаева, Герцена, Тургенева, В. С. Соловьева, Льва Николаевича Толстого... язык всех тех русских, которые провозглашали научные истины, идеалы прекрасного, начала справедливости, подвергаясь за это всяческим гонениям и принося в жертву даже свои жизни»⁴⁰. Именно поэтому особое значение придавал он учебникам, которые должны учитывать «научные исследования и требования педагогики», так как «влияние учебников гораздо сильнее влияния многих специально-научных сочинений первоклассного достоинства»⁴¹. Весьма положительно Бодуэн оценивал сам факт включения в учебники текстов художественной литературы. Он был, однако, непримирим, если стихи цитировались неточно и извращался при этом их смысл. Так, например, рецензируя учебник русского языка для немцев, составленный А. Быстровым, ученый отрицательно оценивает принятый в нем обычай «не приводить вовсе ни имени авторов, ни настоящих заглавий перепечатываемых им отрывков».

Относительно же помещенных в учебнике стихов Пушкина Бодуэн пишет следующее:

«*Полтавский бой* Пушкина (статья 222 на с. 103–105) искалечен г. Быстровым вовсе не в подходящем месте. Кроме того, вследствие перемены одного словечка *все* вм. *се*, одно место этой поэмы вышло почти бессмысленным:

И *все*, равнину оглашая,
Далече грянуло ура

вместо

И *се* — равнину оглашая,
Далече грянуло ура.

В стихотворении *1703 и 1824 годы* (так названо здесь сокращенное вступление к поэме *Медный всадник* Пушкина — статья 204 на с. 93) — поставлено *волны* вместо *воды*:

Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы (пропущена запятая)
Одни у низких берегов
Бросал в неведомые волны
Свой ветхий невод...

Смысла, правда, это почти вовсе не изменяет, но рифма утрачена»⁴². Подчеркивая, что «учебники можно сравнить с произведениями кулинарного искусства», Бодуэн писал: «Хотя бы даже все составные части известного блюда были самого отборного сорта, если в него положено тухлое испорченное масло, то уже этот один недостаток делает блюдо неудобоваримым и, следовательно, вредным»⁴³. Обращал он также большое внимание на необходимость умелого использования художественной литературы, с точки зрения ее высоких нравственных и духовных ценностей, как в учебниках, так и вообще в преподавании языка. Требуя «чтения и усваивания отрывков и произведений общечеловеческого содержания, с устранением всяких экскурсий в область идейного издевательства над теми или другими категориями ближних», Бодуэн писал: «Из школьных хрестоматий и сборников должны быть устранены отрывки, воспевающие военные подвиги, набеги и захваты, а за то должно быть отведено место произведениям, основанным на общечеловеческой солидарности»⁴⁴.

С такой именно меркой И. А. Бодуэн де Куртенэ подходил и к литературному творчеству славянских народов. По его глубокому убеждению, славянские художественные литературы, как и литературы других народов мира, должны быть неисчерпаемым источником вечной живой мысли и служить прежде всего возвышенным идеалам как своего народа, так и всего человечества. Поэтому он так настоятельно требовал от них глубокого содержания и устойчивых этических ценностей. Умело же подобранные цитаты и фразеологические обороты из славянских и других литератур придавали его искрящейся публицистике, проникнутой высокими гуманистическими идеалами и чувством личной ответственности за их внедрение в общественную жизнь, особые, неповторимые краски и вместе с тем выполняли существенную идейно-стилистическую функцию.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1940. Т. IV. С. 269.

² См. Словарь русского языка. М., 1961. Т. IV. С. 192.

3. *Boudouin de Courtenay J.* Ze wspomnień i rozmyślań o Słowenach i Słowianach w Italii // Odbitka z miesięcznika «Wiedza i Życie», 1929. № 6. S. 2.
4. Там же. С. 3–4.
5. *Boudouin de Courtenay J.* Folklore polonais // Kryptodia. Paris, 1898. T. IV. S. 8–75.
6. *Boudouin de Courtenay J.* Folklore slave de la vallée de Rézia en Italie, province Udine, district Moggio, à la frontière l'Autriche // Kryptodia. Paris, 1898. T. V.
7. Рец.: *Miklošič F. von.* Beiträge zur Kenntnis der slavischen Volkspoesie. 1. Die Volksepik in Kroatien // Журнал Министерства Народного Просвещения. Ч. 154. 1871, март. С. 90–93. Odbitka.
8. Рец.: *Bogisić B.* Narodne pjesne iz starijih, najviše primorskih zapisa // Nowiny. Warszawa, 1879. № 228.
9. Рец.: *Кузьянов Н.* О языке русских былин. — Отзыв о сочинении, представленном в Историко-филологический факультет под девизом «№ 333» для соискания наград // «Известия и Ученые Записки Императорского Казанского Университета», 1879. № 1. С. 338–340.
10. *Boudouin de Courtenay J.* Pieśni białorusko-polskie z powiatu sokólskiego gubernii grodzieńskiej // Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. Kraków, 1892. T. XVI. S. 219–237. Odbitka. Kraków, 1892. S. 20.
11. *Boudouin de Courtenay J.* Dodatek do «Pieśni białorusko-polskich z powiatu sokólskiego gubernii grodzieńskiej» // *Černý Adolf.* Pieśni białoruskie z powiatu dziśnieńskiego guberni wileńskiej. «Zbiór wiadomości do Antropologii Krajowej». Kraków, 1894. T. XVIII. S. 225–231. Odbitka. Kraków, 1894. S. 35–41.
12. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* О белорусском наречии. Заметки Карла Аппеля. Особый оттиск из «Русского Филологического Вестника» (1880, № 2. С. 197–224). Варшава, 1880. С. 28.
13. Там же. С. 11–12.
14. Там же. С. 12–13.
15. *Кузьмин А. И.* Письма Бодуэна де Куртенэ А. Н. Веселовскому // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. М., 1969. Т. XXVIII. Вып. 5. С. 462.
16. *Boudouin de Courtenay J.* Z powodu jubileuszu profesora Duchinińskiego // Nakładem autora. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1886. S. 39.
17. Там же. С. 6.
18. Там же. С. 7.
19. Там же. С. 18–19.
20. Там же. С. 19.
21. Там же. С. 39.
22. *Ułaszyn H.* Jan Boudouin de Courtenay. Charakterystyka ogólna uczonego i człowieka (1845–1929) // Czcionkami Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego. Poznań, 1934. S. 31.
23. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Проект основных положений для решения польского вопроса. СПб., 1906. С. 15.
24. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Обзорение славянского языкового мира в связи с другими арноевропейскими (индогерманскими) языками. Вступительная лекция, прочитанная в Юрьевском (Дерптском) университете 6/18 сентября 1883 г. // *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. Издательство АН СССР. М., 1963. С. 135.
25. Ср.: *Malachowska E.* Zarys życia na tle domu i dalszego otoczenia (машиннописная копия. С. 167). Один экземпляр своих воспоминаний Эвелина Малаховская в 1973 году подарила автору этой статьи.

- 26 *Бодуэн де Куртене* И. А. «Украинский вопрос» с вненациональной точки зрения. (По поводу анкет «Украинской жизни». Отдельный оттиск из журнала «Украинская жизнь», М., 1913. № 7–8. С. 3.
- 27 Там же. С. 3.
- 28 См. об этом: *Бялокозович Б., Франко И. и Бодуэн де Куртене И. А.* // Иван Франко и мировая литература. Тезисы докладов Международного симпозиума. Киев, 1986. С. 56–57.
- 29 «Советская культура». М., 23 марта 1989. С. 6.
- 30 См. об этом: *Бялокозович Б.* Неизвестная судьба статьи-исследования И. А. Бодуэна де Куртене «Л. Н. Толстой и смертная казнь» // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия филология. 1999. Вып. 1. С. 88–98; *Białokozowicz B.* Lew Tolstoj w oczach Jana Baudouina de Courtenay. Oblicza Wschodu w kulturze polskiej / Pod red. Grzegorza Kotlarskiego i Marka Figury. Poznań, 1999. S. 143–163.
- 31 См. об этом: *Бодуэн де Куртене И. А.* «Украинский вопрос» с вненациональной точки зрения... С. 2.
- 32 *Baudouin de Courtenay J.* O zjeździe sławistów i o panslawizmie «platonicznym». Dwa odczyty wygłoszone w Krakowie 16 i 18 czerwca 1903 r. na korzyść Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Polek im. Kraszewskiego. Kraków, 1903. S. 23.
- 33 Там же. С. 29–30.
- 34 См. об этом мои исследования: Jan Baudouin de Courtenay i literatury słowiańskie // Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Folklorystyka. Problematyka historyczna. Warszawa, 1983. Seria 6. T. II. S. 5–23; Literatury słowiańskie w oczach Jana Baudouina de Courtenay // Fiodor Dostojewski. W setną rocznicę śmierci. Rzeszów, 1985. S. 71–112; Jan Baudouin de Courtenay o literaturze rosyjskiej // Jan Nieciślaw Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Wrocław, 1989. S. 609–624.
- 35 *Baudouin de Courtenay J.* O zjeździe sławistów i o panslawizmie «platonicznym»... С. 30.
- 36 *Франчук В. Ю.* Листування І. О. Бодуэна де Куртене та О. О. Потебні. Київ, 1979. № 6 (78). С. 36–39.
- 37 *Białokozowicz B.* Korespondencja Jana Baudouina de Courtenay z Aleksandrem Pypinem // Przegląd Ruscystyczny, r. IV. Warszawa; Łódź, 1981. Z. 4 (16). S. 5–16.
- 38 *Bešta T.* Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Černego. Wrocław, 1972 (см. по именному указателю).
- 39 *Бодуэн де Куртене И. А.* Возможно ли мирное сожительство разных народностей в России? // Отечество. Сборники национальной литературы России. Пг., 1916. Т. I. С. 25.
- 40 Там же. С. 24–25.
- 41 *Бодуэн де Куртене И. А.* Учебник русского языка для немцев. (Рец. на: А. Быстроо. Главнейшие правила русской этимологии с упражнениями в переводах с русского языка на немецкий и обратно. Митава, 1886) // Журнал Министерства Народного Просвещения. Ч. ССXLV (245). СПб., 1886. Май. Отдел 3. С. 11.
- 42 Там же. С. 10.
- 43 Там же. С. 2.
- 44 *Бодуэн де Куртене И. А.* Возможно ли мирное сожительство разных народностей в России?... С. 27.

БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ в историософии К. Бродзиньского

Особое место в историософии польского писателя и публициста Казимежа Бродзиньского (1791–1835) занимает «Послание братьям-изгнанникам», которое построено на библейских образах и сюжетах. Это одно из последних сочинений поэта, написанное незадолго до его смерти, в 1835 г. «Послание» обращено к польской эмиграции. Бродзиньский переслал его во Францию, где оно было в 1838 г. опубликовано в сокращенном виде и анонимно, под заголовком «Послание из угнетенного края его сынам в рассеянии». И только в 1850 г. в Париже, когда авторство Бродзиньского было установлено Б. Залеским, «Послание» впервые было издано полностью.

Это произведение безусловно принадлежит к манифестам польского мессианизма: в нем мессианистская концепция польской истории, сложившаяся у Бродзиньского в ходе восстания, приобрела законченные очертания — и художественные, и историософские. Тем не менее «Послание братьям-изгнанникам» даже не упоминается в ставших уже классическими исследованиях А. Валицкого, посвященных польскому мессианизму¹. Бродзиньский фигурирует в работах Валицкого лишь как выразитель некоторых мессианистских мотивов, присущих польской литературе до восстания 1830 г.

«Послание» представляет нам ярким образцом синтеза религиозных (в том числе миллениаристских), исторических и политических идей. Его нельзя рассматривать в отрыве от классического мессианистского текста — «Книг польского народа и польского пилигримства» (1832) А. Мицкевича, вероятно оказавших влияние на Бродзиньского. Оба эти произведения сходны как проблематикой — это судьба и историческое предназначение Польши, трактуемое в мессианистском ключе, гражданская этика поляков в эмиграции, — так и библейской стилизацией. Для нас эти тексты представляют особый интерес с точки зрения соотношения в них языка религии и языка истории.

Библейская стилистика «Послания», использованный Бродзиньским язык божественных символов, образов и аналогий соответствует литературной традиции его времени. Писателем, который ввел язык христианства в романтическое описание мира и который рассматривал католицизм как явление культуuroобразующее, был Ф. Р. Шатобриан. По мнению И. Грудзиньской-Гросс, Шатобриану принадле-

жит заслуга «крещения» языка, которым романтики стали говорить о народе и истории, именно он связал поэтику и политику с религией². В творчестве Бродзиньского, рассматривавшего эпоху первоначального христианства как одну из романтических, чувствовалось эхо Шатобриана — энтузиаста библейской прозы и одного из самых блестящих и влиятельных стилистов начала XIX в. («Гений христианства» Шатобриана (1802) — апология христианства, не историческая и не догматическая, но блестяще красноречивая, поэтическая, сильно действующая на фантазию и чувство читателя и вызвавшая много нападков со стороны теологов, была крайне популярна в начале XIX в.³). В контексте введения языка религии в лексикон истории следует рассматривать не только знаменитые «Книги польского народа и пилигримства» А. Мицкевича, но и «Послание братьям-изгнанникам» К. Бродзиньского, и его «Речь о польской национальности» (1831).

В эпоху романтизма история страны и народа часто рассматривалась сквозь призму священной истории и в ее терминах. При этом важно, что библейская стилизация была не только формой выражения историко-политических идей, но и их источником. Библейские сюжеты и риторика рождали не только форму для постановки политических проблем, но и образцы их решения, ибо «законы риторики, — как пишет З. Стефановская, — играли роль патриотического (можно добавить — историософского, политического. — Н. Ф.) аргумента»⁴. В литературе считалось общепринятым истолковывать прошлое и будущее народа с перспективы Священного писания.

Язык и стиль «Послания» в большой степени восходит к Ветхому Завету. Это определялось как традицией польской поэзии, широко использовавшей библейские мотивы, так и общественной атмосферой и историософскими проблемами, которые решал Бродзиньский. Именно сюжеты Ветхого Завета, представляющие драму Израильского народа, и библейские сцены, эмоционально насыщенные чувством отчаяния, атмосферой скитаний и мытарств, в наибольшей степени соответствовали исторической ситуации, в которой, по мнению романтиков, оказалась польская нация после 1831 г.⁵. Надо сказать, что в последние годы жизни Бродзиньский и как поэт особенно часто обращался к старозаветным текстам. Еще в 1820-е гг. он сделал поэтическое переложение «Книги Иова», которое после восстания было им завершено и опубликовано. В это же время, т. е. в начале 30-х гг., он делает несколько поэтических парафраз «Плача Иеремии». Образы этого текста ассоциируются у него с бедственным положением польского народа, его разбитой армии, а судьба «дщери Сиона», опустелого и безлюдного, а затем разрушенного Иерусалима должна была напоминать судьбу покоренной русскими Варшавы.

Чтобы интерпретировать польскую историю, связать прошлое, настоящее и будущее народа единой концепцией, Бродзиньский в своем «Послании братьям-изгнанникам», как и Мицкевич в «Книгах», обращается к аналогиям в истории божественной. В Священном писании он ищет знаки того, какая судьба Богом предназначена полякам.

Избранничество польского народа подтверждается очевидным для Бродзиньского и мессианистов сходством его судьбы с судьбой Израиля. Подобно еврейскому народу, ожидавшему Земли Обетованной, он находится «в рассеянии». При этом символичным для Бродзиньского является то, что «сорок лет искал Израиль святую землю» (471)⁶, ведь с последнего раздела Польши к тому времени прошло около сорока лет.

О сорокалетнем ожидании польским народом своей Земли Обетованной Бродзиньский говорил здесь уже не в первый раз. В «Послании» он как бы ссылается на произнесенную им 3 мая 1831 г. на заседании Общества друзей науки речь «О польской национальности», в которой впервые нашла выражение его мессианистская концепция польской истории. Тогда, в разгар Ноябрьского восстания, когда польское общество еще верило в возможность победы, Бродзиньский говорил о «загробной жизни» народа, «кровавая тень которого сорок лет вызывала у народов слезы» (443). Через сорок лет после разделов, сплотившись в революционном порыве, польский народ, в интерпретации поэта, восстал из гроба. Так метафорический образ смерти и «чудесного воскрешения» народа, который со времени разделов был популярен в польской литературе и публицистике (под воскрешением подразумевались то реформы Четырехлетнего сейма, то образование Княжества Варшавского, а в эпоху Королевства Польского так символически обозначалось воссоздание национального государства Александром I, который именовался поляками «воскресителем нации»), в годы восстания 1830–1831 гг. приобрел подлинно религиозный смысл, позволил ввести в историческую концепцию пасхальные мотивы.

«Речь о польской национальности» в целом насыщена религиозными образами. Само ее начало похоже на притчу. Знаменательно, что Бродзиньский описывает принятие поляками христианства — «когда апостол веры Христовой первый раз ступил на землю Пяста» (435) — как акт божественного вдохновения народа, возложение на него особой религиозной миссии. Отныне польский народ становится «славным, страдающим за человечество во Христе» (435) и одновременно счастливым хранителем священного огня. Национальность же описана поэтом как дух, с которым полякам суждено жить и «возвращаться на небо». С патриотической экзальтацией Бродзиньский ин-

терпретирует национально-освободительное восстание как воскресение народа, который, «призванный трубой архангела», «перед лицом удивленных народов выставляет полчища против мрака и угнетения» (448).

В «Речи о польской национальности» польский народ выступает как преданный «ученик Христа», защитник Евангелия и мученик за христианство. Там же Бродзиньский впервые сравнивает судьбу Польши с судьбой самого Спасителя. Знаком подобной, впоследствии распространенной в философии мессианизма аналогии является и стихотворение Бродзиньского «В день Воскресения Господня», написанное во время Ноябрьского восстания.

Слава Тебе, Христе Боже!
Народ, который шел по Твоим стопам,
Который страдал по Твоему примеру,
Вместе с Тобой празднует Воскресение.

Использование пасхальных мотивов впервые дает здесь Бродзиньскому возможность провести параллель между историей польского народа и миссией Христа.

В «Послании братьям-изгнанникам» аналогиями судеб Польши являются судьбы Иисуса Христа и библейского Иова. Христос и Иов здесь «фигуры» польской истории⁷. Фигура Иова, история которого учит беззаветной покорности Божьей воле, позволяет Бродзиньскому подчеркнуть роль пассивности и терпения в исторических судьбах поляков. Главный герой ветхозаветной «Книги Иова» — праведник, жизнь которого полна мучительных страданий, но он остается верным Богу и в исключительных испытаниях, за что в конце концов оказывается вознагражденным. Книга Иова ставит новую для Ветхого Завета проблему о смысле страдания, посылаемого Богом праведнику.

В истории Польши Бродзиньский усматривает воплощение этого библейского сюжета. Даже в деталях, считает он, судьба польского народа схожа с судьбой праведника Иова. Польский народ — это «второй настоящий Иов», «почти в одно мгновение» его «извела болезнь, голод, огонь войны» (все богатство Иова пожирает огонь Божий, упавший с неба (Иов 1:16), у него «отняли детей, все плоды его полей» (467). Подобно Иову, который славился своим богатством и «был знаменитее всех сынов востока» (Иов 1:3), был некогда славен и польский народ, «чужеземцы дивились» «достатку ваших отцов, их обозам, толпам слуг, нарядам... а теперь не могут оторвать глаз от нищеты их сыновей, оборванных и израненных» (466).

Избранная библейская аналогия позволяет Бродзиньскому представить в нравственном плане проблему лишений, которым подверг-

ся польский народ. Некогда «кормильцы голодных», поляки, по его словам, теперь сами «просят хлеба у чужих» (468). Лишившись родины, они терпят и унижения, ибо к «обнищавшему самые лучшие люди относятся с подозрением, как к Иову» (467). «Любезность» поляка-эмигранта принимают за интерес, чувство собственного достоинства за гордость, а правдивость его слов «проверяют, как деньги» и «даже в лице и речах его находят фальшь» (467). Рассуждая об испытаниях, выпавших на долю Польши, писатель использует и евангельские мотивы, ссылаясь на то, что «Христос прежде испытывал своих учеников, как они переносят бедность, и никогда таким прочным не бывает братство во Христе, как в бедности» (467). «Блаженны нищие, но обнищание — самое большое испытание и школа для человека... на обнищавшем — перст Божий» (467).

Библейский Иов выдержал все испытания терпеливо и смиренно, не роптал, не богохульствовал и остался богобоязненным. Его пример кажется Бродзиньскому в наибольшей степени приложимым к нравственному облику польского народа и его характеру. «Ты прошел по пути благополучия, как Иов, выдержал все муки, посланные тебе по наущению сатаны, вышел из них чистым, как он, и омолодил тебя Господь». Национальный дух (излюбленное понятие польских романтиков) описывается здесь через библейские аналогии. «...Истинно польскую душу провидение наделило равнодушием как к богатству, так и к бедности»; польский народ подобен «воину и земледельцу», который «никогда не может ни поставить всего на карту, ни полностью разориться» (468).

Избранный библейский сюжет позволяет Бродзиньскому поставить и решить вопрос о том, являются ли страдания поляков наказанием за их грехи. В религиозной интерпретации истории этот вопрос был одним из центральных. Я. П. Воронич строил свою концепцию мессианизма на ветхозаветных представлениях о вине и каре, грехе и искупительной жертве народа. Бродзиньский же уверен в безгрешности поляков. Ибо в польской истории он, как и Мицкевич, видит к тому же полную и явную аналогию с судьбами Иисуса Христа. По его словам, «вся жизнь польского народа является образом Христа, который терпел, умирал и воскреснет ради мира на свете» (470). Бродзиньский усматривает в истории Польши явные совпадения с историей жизни и мученической смерти Спасителя. При этом речь идет даже не об отдельных знаках и символах. Как метко замечает А. Витковская, весь ритм польской истории со времен разделов свидетельствует, в интерпретации Бродзиньского, о повторении в ней евангельских событий. А все то, «что в судьбах библейских персонажей уже воплотилось в польской истории, дает гарантию, что осуще-

ствится и остальное»⁸. Бродзиньский проводит знаменательную параллель между судьбой Иисуса Христа, преданного, замученного и распятого, и мучениями польского народа, распространяя свои выводы и на периодизацию мировой истории. Польский народ, по его словам, издавна был хотя и «полон духа Божия», но неизвестен, «забыт, как род Давида», из которого происходил Святой Иосиф. Он «пришел к братьям-славянам, но они его не узнали, пришел к ино-племенникам, а те сказали, что он бунтует против кесаря..., другие встретили его с пальмовыми ветвями и славили его победы (имеется в виду Франция и участие Польши в наполеоновских походах. — Н. Ф.), но когда началась тревога, отреклись от тебя единоверцы твои. И остался ты преданный Иудой, судимый убийцами твоими, и кричали все: Пусть кровь его падет на наши головы; и гнали тебя с одного суда на другой, замучили и распяли на трех гвоздях, надели тебе терновый венец из трех веток (число три — символ разделов Польши. — Н. Ф.) и над умирающим издевательски написали: *Королевство Польское*. (На кресте Иисуса Христа было написано «Царь Иудейский». Национальная идея, таким образом, приравнивается Бродзиньским кучению Христа. — Н. Ф.). Гроб твой окружили солдатами и беспокоятся, как бы не воскрес тот, кого так постыдно и жесточайше убили» (470–471). То, что польский народ прошел через все этапы мук Спасителя, должно свидетельствовать, что близится его воскресение: «Любовь и вера тайно бодрствуют над твоим телом, ты восстанешь и возведишь о новом царстве свободы во Христе» (471).

На языке библейских образов Бродзиньский скрыто полемизирует с «Книгами» Мицкевича, который также видит фигуру Христа в судьбах польского народа. Но если в эсхатологии Мицкевича зло будет побеждено «всеобщей войной за свободу народов», то Бродзиньский особо подчеркивает нравственную искупительную роль терпения⁹. Историческая миссия поляков осуществится, по Бродзиньскому, через их покорность Божьей воле, ибо «зло само разобьется о Божьи муки». Писатель призывает поляков-эмигрантов к скромности, невмешательству во внутренние дела приютивших их государств и терпеливому ожиданию, когда их «мученичество и рассеяние пробудят в народах высокие чувства и обратят сердца к Владыке королей и народов, и на сколько ужасных преступлений ваша судьба толкнула правителей, столько же добродетелей она пробудит в народах» (478–479).

Присутствуют в «Послании» и апокалиптические мотивы: затмение солнца, тревожное ожидание Страшного суда, которыми сопровождается кончина польского народа. Они предвещают обновление мира и установление Царства Божьего на земле, которое в проекции

на историю трансформируется у Бродзиньского в «царство мира», в котором «народы и правительства будут вести себя в соответствии с учением Христа, так, как до сих пор истинный христианин ведет себя по отношению к своим братьям» (472). Таким образом, будущее, перемены, которые должны произойти в социально-политическом облике Европы и всего человечества, описываются у Бродзиньского через христианские категории. Эта идея христианизации политической жизни будущего была центральной для польского мессианизма и заслуживает отдельного исследования в контексте оппозиции са-кральное/светское.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Walicki A. Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa, 1983; Walicki A. National Messianism and the Historical Controversies in the Polish Thought of 1831–1848 // Culture and Nationalism in Nineteenth-Century Europe. Ohio, 1985; Walicki A. Philosophy and Romantic Nationalism: the Case of Poland. Notre Dame, Indiana, 1994 и др.
- 2 Grudzińska-Gross I. Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville i wyobrażenia romantyczna. Warszawa, 1995. S. 225.
- 3 Szyjkowski M. «Génie du christianisme» a prądy umysłowe w Polsce porozbiorowej. Lwów, 1908. S. 23–27, 190–197.
- 4 Stefanowska Z. Historia i profecja. Studium o «Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego» Adama Mickiewicza. Warszawa, 1962. S. 132.
- 5 Witkowska A. Wstęp (K. Brodziński. Proza krytyczna i literacka) // Brodziński K. Wybór pism / Oprac. A. Witkowska. Wrocław, 1966. S. CXXIX.
- 6 Здесь и далее ссылки на Бродзиньского даются в тексте по изданию: Brodziński K. Wybór pism. Wrocław, 1966.
- 7 О «фигуральной интерпретации» истории как о неотъемлемой черте мессианистских концепций впервые написала З. Стефановская. По ее словам, в «Книгах польского народа и польского пилигримства» Христос также является «фигурой» истории Польши. См. об этом: Stefanowska Z. Op. cit., а также Witkowska A. Op. cit. S. CXIII.
- 8 Witkowska A. Op. cit. S. CXXIII.
- 9 Bittner I. Brodziński-historiozof. Wrocław etc., Ossolineum, 1981. S. 142–143.

GRAŻYNA PAWLAK

**WSPÓŁCZEŚNI PISARZE NURTU WIEJSKIEGO
PREZENTOWANI W TEATRZE TELEWIZJI POLSKIEJ**

(Wybrane przykłady)

W pięćdziesięcioletniej tradycji polskiego Teatru Telewizji tematyka wiejska — ze szczególnym uwzględnieniem aspektu przemian świadomości chłopskiej związanego z transformacjami ustrojowymi, zarówno wczesnych lat powojennych, jak również przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych — pojawiała się na telewizyjnej scenie stosunkowo często.

Do ważniejszych przedstawicieli tego nurtu zaliczyć należy: Juliana Kawalca, Wiesława Myśliwskiego, Tadeusza Nowaka oraz Edwarda Redlińskiego.

Literacki dorobek **Juliana Kawalca** stosunkowo szybko wzbudził zainteresowanie twórców telewizyjnych. Dla potrzeb Teatru Telewizji adaptowano cztery utwory epickie tego autora: «Ziemi przypisany», «W słońcu», «Tańczący jastrząb», «Szara aureola».

Pierwszym dziełem realizowanym w telewizyjnym teatrze była powieść «Ziemi przypisany» nagrodzona w roku wydania (1962) na Międzywydawniczym Konkursie Literackim¹. Adaptacja będąca dziełem Marii Komorowskiej znalazła się w programie Hanuszkiewiczowskiego «Studia 63». Temat powieści stwarzał szansę wpisania się w model teatru zaangażowanego w problemy współczesności. Założenia inscenizacyjne były stosunkowo proste. Osią konstrukcyjną spektaklu stał się monolog Prokuratora przeplatany scenami z sądu nad głównym oskarżonym Wojciechem Trepą (Wojciech Siemion). Zdaniem krytyki największym atutem przedstawienia było aktorstwo «Wojciech Siemion ze swą chłopską twarzą, fenomenalną pamięcią i znaną techniką wypowiadania monologu był wręcz stworzony do roli młodego prokuratora»². Nie mniej znaczącą kreację stworzyła Zofia Rysiówna, która w roli Jadwigi z twarzą nieruchomą, zaciętą i czujną przywołała na myśl kobiety «z kamiennego świata Kalabrii, czy Sycylii»³. Wystawienie na elitarniej, adresowanej do bardziej wyrafinowanego odbiorcy scenie utworu, prezentującego rzadko poruszane w dziełach artystycznych problemy wsi polskiej i zachodzące na niej przeobrażenia społeczne, budziło wątpliwości krytyki. Pojawiły się pytania o adresata telewizyjnego przekazu, dostrzegano bowiem dysonans między konwencją przekazu a surowością tematu. Zdaniem Stefana Czarneckiego «w ramach założenia mającego na celu ukazanie przemian, które zaszły na

wsi w okresie lat powojennych, nie przystawały do siebie — rzetelna pasja publicystyczna i tendencja upoetycznienia psychologicznych motywów działania»⁴.

Dopiero po jedenastu latach telewizja ponownie sięgnęła po prozę Kawalca. W 1974 roku Grzegorz Królikiewicz według własnego scenariusza i reżyserii, na wątkach «Tańczącego jastrzębia» zrealizował widowisko «Toporny». Historia przyspieszonego awansu społecznego chłopca w powojennej rzeczywistości opisana została metodami filmowymi. Motywem przewodnim telewizyjnej inscenizacji stał się «mit losu tragicznego»⁵ wpisany w dzieje powieściowego bohatera. Nader swobodnie potraktowano tu czas i przestrzeń. Tradycyjna narracja zastąpiona została «siekaniną jakby wyrwanych, pozornie niespójnych ekspresjonistycznych obrazów dramatycznych»⁶. Wyraźnie kontrastowała z nią niezwykle dbałość o symboliczne nacechowanie wyseparowanych z tła przedmiotów. Kształt widowiska — utrzymanego w konwencji ekspresjonistyczno-turpistycznej — doskonale uzupełniała interpretacja głównej roli przez Franciszka Trzeciaka. Przyjęła ona charakter umyślnie wyzywający, który pozwolił obnażyć wielkość a zarazem małość Michała Topornego⁷. W wersji telewizyjnej było to filmowe studium kariery, dramat pokonanego zwycięzcy, który nie tylko nie potrafił znaleźć miejsca w życiu, nie umiał także odnaleźć siebie. Na tym przykładzie widać trudności jakie pojawiają się przy próbie przekładania dzieła literackiego na język telewizji. Krytyka przyjęła spektakl dość przychylnie, doszukiwano się w nim nawet kształtu «telewizyjnego teatru rapsodycznego»⁸. Królikiewicz za scenariusz i reżyserię uhonorowano prestiżową nagrodą «Złoty Ekran» za 1974 rok. Niestety widzów nie zadowalały zarówno efekty kompozycyjne, plastyczne, jak też czytelność autorskiego przesłania. Zdaniem Anny Marzec na takiej ocenie zaważyła «przyjęta przez reżysera zasada zagęszczania zdarzeń, redukcji, deformacji nie przyniosła jednoznacznych a oczekiwanych wyników; doprowadzona do stanu ekstremalnego — przestała być w wielu partiach czytelna»⁹.

Nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie Literackim z okazji 30-lecia powstania PPR (1973) powieść «Szara aureola» szybko znalazła drogę na szklany ekran. Przygotowana przez Halinę Szram-Kijowską i Wojciecha Sarnowicza adaptacja sprowadzała się do udramatyzowania wątku głównego bohatera. A. W. — bohater powieści¹⁰ — należał do tych, którzy w latach powojennych przeprowadzali reformę rolną płacąc za ten czyn cenę życia. Po latach jego syn próbuje dociec prawdy, która zdążyła już obrosnąć w legendę. Telewizyjna realizacja, debiutującego reżysera Tadeusza Kijańskiego, w wykorzystywaniu filmowego języka i sposobie komponowania kadrów nawiązywała do «Topornego» Królikiewicza. Intrygująca wizja plastyczna odkryła nowe znaczenia powieści. W pierwszych kadrach widz równocześnie z napisami zobaczył fragment świeżo zaoranego pola i

przecinające je ramię cyrkla mierniczego. Tym obrazem reżyser jednoznacznie określił czas i miejsce akcji. Dźwięk z późniejszej rozprawy sądowej przeciw mordercom Antoniego Wilka towarzyszy cały czas scenie ostatniej drogi skazańca. Łączenie zeznań oskarżonych z etapami samosądu sprzed lat sprawiało wrażenie zbytniego nagromadzenia tragizmu. Mimo niezwykle scen galopującej na białym koniu Jaśnie panienci pośród eksplodujących pocisków, czy beznamiętnych przygotowań oprawców do powieszenia głównego bohatera, zarówno pośród krytyków, jak też widzów pojawiły się zarzuty o zbyt swobodne traktowanie materii literackiej, udziwnianie, czy wręcz «szatkowanie obrazów»¹¹. Przejmująco opisany przez autora proces moralnej przemiany dojrzewającego, młodego człowieka zabrzmiał w wersji telewizyjnej mało przekonująco, by nie powiedzieć sztucznie. Nie przyczyniło się to do łatwego odbioru o czym świadczy fakt, iż po upływie ponad ćwierćwiecza spektakl nie powrócił na telewizyjną scenę, nawet w trudnych repertuarowo latach osiemdziesiątych.

Dwukrotnie sięgano po powieść «W słońcu» (1975, 1976). Jako pierwsze przygotowano widowisko «Starość niepokorna» (1975). Złożyły się nań adaptacja powieści Kawalca i artykułu Ewy Owsiany, z niego też zaczerpnięto tytuł spektaklu. Adaptatorzy z obu tekstów skomponowali opowieść o losach dwojga ludzi: kobiety z domu starców czekającej na samodzielny pokój, który mógłby zapewnić jej względną niezależność oraz starego chłopca mieszkającego u syna w mieście, gdzie ziemia i kwiatki są tylko w doniczkach. Osią kompozycyjną spektaklu jest dziennikarski wywiad, w którym bohaterowie sami opowiadają o sobie. Z ich wyznań wyłania się obraz niejednoznaczny. Staruszkowie z żalem mówią o bezpowrotnie minionej młodości, niezależności i utracie godności. Stara kobieta (w tej roli doskonała Barbara Ludwiżanka) cierpi z powodu samotności i obojętności. Stary mężczyzna dusi się w mieszkaniu syna i przeklina czas, gdy po jego pole zachłannie sięgnęło miasto. Oboje mimo braku wpływu na obecny stan rzeczy nie chcą pogodzić się z losem, reprezentują zgodnie z tytułem starość niepokorną, konfliktową, trudną nie tylko dla nich samych, ale także dla tych, z którymi przyszło im spędzić ostatnie lata.

Kolejne widowisko zrealizowane według powieści «W słońcu» zatytułowano «Stary, Głupi i Anioł» (1976). W podstawowym zarysie było to przeniesienie teatralnej wersji przedstawienia Augusta Kowalczyka z wybitną kreacją Tadeusza Fijewskiego w roli Starego. Spektakl, a właściwie monodram poetycki odwoływał się do wzorów teatru rapsodycznego. W stosunku do wersji scenicznej dokonano zaledwie drobnych zmian w scenografii. Jakby nie ufając sile dramatycznego przekazu reżyser zdecydował się wzbogacić stronę muzyczną wprowadzając piosenki Jana Piet-

rzaka. Zarówno autoironiczna konwencja piosenek tego autora, jak też estradowy charakter, wywołały niezadowolenie recenzentki. W jej opinii: «Rapsodyczny ton widowiska został zmaćony, spektakl zyskał niepotrzebną, drażniącą skazę. Z powiększenia tekstów i efektów scenicznych wynikną w sumie pewien sens niezupełnie uprawniony»¹².

W repertuarze telewizji znalazły się dwie inscenizacje powieści **Tadeusza Nowaka** «A jak królem, a jak katem będziesz» (1972, 1974). Pierwsza w adaptacji i wykonaniu **Kazimierza Borowca** przybrała kształt monodramu¹³. Wystawiona na wyodrębnionej Scenie Monodram nie odniosła większego sukcesu, mimo przejmujących, symbolicznych scen (monolog aktora na tle rozsypanych po scenie jabłek).

Przedstawiony telewizyjnej publiczności dwa lata później spektakl również pod tytułem powieściowego oryginału «A jak królem, a jak katem będziesz» był przeniesieniem przedstawienia ze sceny Teatru Nowego w Poznaniu¹⁴. Reżyser — **Janusz Nyczak** — zastosował konwencję realizmu poetyckiego. Pozwoliło to na wyeksponowanie symbolicznej warstwy — pospolitych wydawałoby się — rekwizytów jak: woda, jabłko, miód, czy drzewo. Rażąca niekiedy na scenie dramatycznej poetycka niedosłowność wielu obrazów w telewizji nabrała nowego wyrazu. W interpretacji **Nyczaka** osią inscenizacji stał się tragiczny rozrachunek człowieka z własną moralnością, wrażliwością, z ciężącą na nim odpowiedzialnością za dokonane czyny. Nieustanne dążenie **Piotra** do oczyszczenia się z win przeszłości, zrzucenia przyniatającego go piętna **Kaina** zdominowało wszystkie obrazy. Częste zbliżenia twarzy, detalu, przebitki, które w scenie strzelania do osiki pozwalają zobaczyć maski śmierci, wykluczają dosłowność. «Aluzyjna kompozycja obrazów stanowi autonomiczny środek wyrazowy, który mówi własną prawdę o życiu. Prawdę uniwersalną i generalną, nawiązującą do średniowiecznych moralitetów i kulturowej tradycji europejskiej. Słowa **Nowaka** urealniamy tę prawdę, dając jej wymiar bardzo polski i bardzo swojski» — konkludowała recenzentka¹⁵.

Debiutancka proza **Edwarda Redlińskiego** «Listy z Rabarbaru» (1982) pojawiła się na telewizyjnej scenie w formie zaadaptowanego monodramu z repertuaru «Teatru Jednego Aktora». Spektakl w wyborze i wykonaniu **Jana Moldawskiego** był opowieścią o wyobrażonej krainie mitycznego, miejskiego raj. Narrator «Listów» **Paweł** — podobnie jak u **Kawalca** — jest wiejskim wychodźcą, który za awans musi zapłacić pewną cenę¹⁶. Jednak bohater **Redlińskiego**, mimo towarzyszącego mu cały czas poczucia zdrady wobec własnej tożsamości, nie ugina się pod ciężarem dziedzictwa. Reprezentant drugiego już powojennego pokolenia nie poddaje się dyktatowi wiejskiej moralności, nie przeżywa głębokich rozterek, nie czuje się tak bardzo z nią związany. Ulega urokowi miasta, nie cierpi już gdy buldożery niszczą kwitnące sady. Właściwie wygrywa, ale czy jest szczęśliwy?

Spośród wymienionych pisarzy nurtu wiejskiego jedynie twórczość **Wiesława Myśliwskiego** zachowała swoją żywotność. W trzydziestoletniej bez mała obecności utworów tego pisarza na scenie teatralnej i małym ekranie, nadal chętnie jest adaptowana i wystawiana. Pierwszym utworem, który znalazł się w repertuarze telewizyjnego teatru była powieść «Pałac» w adaptacji autora i reżyserii Ryszarda Bera (1974). Pod piórem Myśliwskiego utwór zyskał formę monodramu. Jego podstawą stał się społeczny aspekt przewartościowywania się losu głównego bohatera, pasterza Jakuba. Jakub w koncepcji autora jest symbolicznym uosobieniem plebejskiego losu i chłopskiej tradycji.

Najczęściej na telewizyjny ekran powracał spektakl przygotowywany na podstawie dramatu «Złodziej» (1979). Występuje w nim charakterystyczny dla Myśliwskiego bohater o wiejskim rodowodzie. Metaforyczny sens sztuki, a właściwie moralitetu o głębokich perspektywach filozoficznych i moralnych w sposób doskonały został zaakcentowany dzięki wykorzystaniu telewizyjnych konwencji. Właściwe dla tego medium zmniejszenie dystansu między widzem i aktorem pozwoliło skupić uwagę na mimice, geście, ruchach. To poprzez nie wyrażane były myśli ludzkie, szczególnie te najbardziej ukryte. W sensie fabularnym bowiem niewiele się dzieje, cała walka racji, argumentów toczy się w duszy i umyśle bohaterów. Miejszem akcji jest chłopska chata, zaś przedstawione w dramacie wydarzenia zamykają się w ciągu jednej tragicznej nocy. Rodzina chłopska zostaje postawiona przed zadaniem, które ją przerasta. Ojciec i dwaj synowie złapawszy na gorącym uczynku złodzieja zamierzają wymierzyć karę. W pewnym momencie uświadamią sobie, iż w zrelatywizowanym systemie wartości, jakie przyniosła ze sobą wojna brakuje stałego układu odniesienia. Czasami nie sposób wyznaczyć granicę między Dobrem i Złem, jaką zatem przyjąć koncepcję sprawiedliwości. Mnożące się pytania i kontrowersje doprowadzają w finale do starcia trzech racji: Wiary, Współczucia i Nienawiści¹⁷. Zachwiana na chwilę wiara w uniwersalny system wartości zostaje odbudowana, choć ceną jest kolejna śmierć i nadal niezgłębiona tajemnica drugiego człowieka¹⁸.

Scenariusz spektaklu «W poszukiwaniu zgubionego buta» powstał na podstawie powieści Myśliwskiego «Widnokrąg»¹⁹. Adaptacji poddano jedynie siódmy rozdział, a jego tytuł przejęło całe widowisko. Izabella Cywińska, adaptatorka i zarazem reżyserka spektaklu na plan pierwszy wydobyla wieczne dążenie człowieka, poszukiwanie lepszego jutra, bytu, prawdy, a może nawet celu życia. Osadzona w plenerach wiejskich akcja koncentruje się wokół wędrówki trojga bohaterów, rodziny z kilkuletnim chłopcem. Wschodnie, ubogie rubieże Polski lat czterdziestych, rodzina wysiedleńców zmierza do sąsiedniej gminy, gdzie podobno jest do objęcia posada sekretarza. Trzeba się dobrze zaprezentować od tego bowiem

zależać będzie status i byt rodziny. Jednak daje o sobie znać przewrotny los i chłopiec w trakcie wędrówki gubi but, Matka decyduje się wracać z synem w nadziei odnalezienia zguby. «Ta droga tam i z powrotem to właśnie podróż przez różne ludzkie światy, dziwaczne przypadki, zwykłe i niezwykle zdarzenia»²⁰. Kluczową postacią opowieści jest Matka, nieustępliwa, uparta, chwilami nieznosna, a nawet śmieszna. To ona wydaje się być głową rodziny. Zawsze podąża przodem, mimo upału, zmęczenia, zdeterminowana, gotowa wiele poświęcić. Wszystkim jej działaniom przyświeca jeden cel: polepszenie bytu najbliższych, za których czuje się odpowiedzialna. W jednakowym stopniu dotyczy to męża jak syna. Sama bywa dla nich trudna, wiecznie dyryguje, strofuje, upomina, wszystko to jednak czyni w imię dobra, tak jak ona je pojmuje. Dla rodziny gotowa jest walczyć z każdym, kto zechciałby źle potraktować jej najbliższych. Mimo zaaferowania Matka (w tej roli doskonała Iza Dąbrowska) potrafi jednak choćby na chwilę zatrzymać się, zauważyć urodę krajobrazu. Umie też patrzeć na innych przenikliwie i poprzez gęstą pajęczynę pozorów dostrzec w drugim człowieku to, co najważniejsze.

Spektakl «Drzewo» to telewizyjna adaptacja sztuki Myśliwskiego napisanej na zamówienie ówczesnego dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie Kazimierza Dejmka²¹. Adaptacja Izabelli Cywińskiej przenosi czas akcji «Drzewa» w okres burzliwej transformacji lat dziewięćdziesiątych. Zrealizowane w przepięknych plenerach widowisko przepelnia nostalgia. Przeplatają się w nim dobroduszny humor z satyryczną nutą, realizm z akcentami poetyckimi, a tony liryczne z pospolitością zachowań. Bohaterem opowieści jest chłop, Marcin Duda, który postanowił bronić przeznaczonego na ścięcie drzewa. Drzewa, które jest całym jego światem i on chce bronić tego świata z jego ładem, sensem, wartościami i bólem. Jest jego częścią i ma do niego prawo. Dla Dudy jest oczywiste, że drzewa, w którego gałęziach gromadzą się ptaki i które daje cień, ścinać nie wolno. Wszyscy gremialnie chcą zmieniać świat, a należy mu pozwolić być takim jaki jest — konkluduje chłop. Nikt nie jest w stanie go przekonać do zmiany decyzji. Odrzuca argumenty córki, zięcia, zagniewanego inżyniera. Początkowo jedynie wnuczek solidaryzuje się z protestem dziadka, następnie — mając na uwadze pewne korzyści — dołączają także inni. Drzewo zaczyna pełnić podwójną funkcję: konsoliduje żywych i ściąga pod swoje konary tych, którzy odeszli. Zatarła się granica między światem żywych i umarłych. Dla Dudy to dowód, że czyni dobrze. Nie wolno niczego zmieniać, należy zachować to co zostało po przodkach, dla nich bowiem to jedyny znak, iż tu kiedyś mieszkali. Tylko na trwałych fundamentach przeszłości można budować nowe jutro. Szukanie miejsca nie musi oznaczać niszczenia i wrywania korzeni, nie tylko drzewa.

* * *

Dokumentacja spektakli wystawianych w Teatrze Telewizji

KAWALEC JULIAN: STAROŚĆ NIEPOKORNA

Na podstawie powieści J. Kawalca «W słońcu» i artykułu Ewy Owsiany. Adapt.: Tadeusz Malak, Zofia Śliwowa. Reż.: Tadeusz Malak. Real. tel.: Tadeusz Lis. Scenogr.: Jerzy Michalak.

Obsada: Jerzy Radziwiłowicz (Młody mężczyzna), Barbara Ludwiżanka (Stara kobieta), Bolesław Smela (Stary mężczyzna) oraz Krystyna Serusiówna, Hanna Smólska.

I, 21-03-1975, 41 min.; godz. 20:20 — Teatr Telewizji. Kraków.

KAWALEC JULIAN: STARY, GŁUPI I ANIOŁ

Na podstawie powieści «W słońcu». Scenariusz i reż.: August Kowalczyk. Real. tel.: Edwarda Paszkowska. Scenogr.: Ryszard Winiarski. Muz.: Tomasz Ochalski.

Obsada: Krystyna Królówna (Dziewczyna I i Wnuczka), Jadwiga Polanowska (Dziewczyna II i Synowa), Barbara Dobrzyńska (Dziewczyna III i Młoda), Halina Czegery (Kobieta i żona), Stanisław Mikulski (Mężczyzna I i Głupi), Andrzej Siedlecki (Mężczyzna II i Syn), Andrzej Antkowiak (Mężczyzna III i Młody), Wojciech Alaborski (Mężczyzna IV i Anioł), Janusz Zakrzęski (Mężczyzna V i Władek), Tadeusz Fijewski (Stary).

I, 13-09-1976, 71 min.; godz. 20:20 — Teatr Telewizji. Warszawa. Wstęp: Krzysztof Teodor Toeplitz 3 min.

II, 14-09-1976, godz. 17:50 — Teatr Telewizji.

Artykuły, recenzje, noty: Brzostowiecka Maria «Ekran» 1976. № 40. S. 11. — [Gralińska Mirosława] (grl) «Trybuna Ludu» 1976. № 222. S. 8. — Kowalczyk August «Radio i Telewizja» 1976. № 38. S. 2 [wywiad, rozmawiała Elżbieta Tarnawska]. — [Wernic Danuta] (dw) «Słowo Powszechne» 1976. № 211. S. 4. — [Wilmański Jerzy] Teleman «Odgłosy» 1976. № 39. S. 10.

KAWALEC JULIAN: SZARA AUREOLA

Adapt.: Halina Szram-Kijowska, Wojciech Sarnowicz. Reż.: Tadeusz Kijański. Scenogr.: Janusz Kijański. Muz.: Włodzimierz Romanowski. Zdjęcia: Tomasz Tarasin.

Obsada: Zofia Jarończyk (Babka), Tadeusz Bradecki (Chłopiec), Jakub Zaklukiewicz (Drugi), Wiesław Grabek (Działacz), Mieczysław Daszewski (Hrabia), Danuta Morawska (Hrabina), Ewa Milde (Jaśnie panienka), Henryk Talar (Jerzy Wilk — syn i Antoni Wilk — ojciec), Bernard Krawczyk (Marcin Bednorz — oprawca), Zofia Wicińska (Matka), Maria Wilhelm (Matka młoda), Mieczysław Jasiecki (Nauczyciel), Jerzy Król (Pierwszy), Emir Buczacki (Prokurator), Zygmunt Sierakowski (Student), Ewa Markowska (Studentka), Władysław Kozłowski (Śmierdziel I), Adam Kopciszewski (Śmierdziel II), Tadeusz Szaniecki (Świadek).

I, 12-04-1976, 58 min.; godz. 20:25 — Teatr Telewizji. Katowice.

II, 13-04-1976, godz. 17:50 — Teatr Telewizji.

Artykuły, recenzje, noty: Karbowski Małgorzata «Głos Robotniczy» 1976. № 85. S. 3. — [Lubosz Bolesław] Stańczyk «Poglądy» 1976. № 9. S. 19. — [Misiorny Michał] (m.) «Trybuna Ludu» 1976. № 90. S. 8. — Szczepański Tadeusz «Odgłosy» 1976. № 17. S. 7. — Szymańska Janina «Ekran» 1976. № 18. S. 10-11. — «Radio i Telewizja» 1976. № 16 okl. [fot.]. — «Tygodnik Kulturalny» 1976. № 19. S. 10 [listy czytelników].

KAWALEC JULIAN: TOPORNY

Na podstawie powieści «Tańczący jastrząb». Adapt. i reż.: Grzegorz Królikiewicz. Real. tel.: Tadeusz Lis. Scenogr.: Zbigniew Warpechowski. Muz.: Jerzy Kaszycki.

Obsada: Ryszard Kotys (Chłop), Tadeusz Malak (Dyrektor naczelny), Henryk Giżycki (Dziedzic), Jerzy Stuhr (Inżynier), Janusz Nowicki (Kinol), Elżbieta Karkoszka (Maria), Franciszek Trzeciak (Michał Toporny), Andrzej Kozak (Nauczyciel), Władysław Bulka (Portier), Jan Tokarski (Profesor), Janusz Sykutera (Przedstawiciel ministerstwa), Maciej Szary (Przewodniczący), Ferdynand Wójcik (Rzemieślnik), Stanisław Gronkowski (Sąsiad), Barbara Omielska (Sekretarka), Edward Wnuk (Syn Kinola), Irena Orska (Teściowa), Wiktor Sadecki (Teść), Ewa Ciepela (Wiesława), Piotr Różański (Żebrak).

I, 30-09-1974, 80 min.; godz. 20:15 — Teatr Telewizji. Kraków.

I, 12-05-1975, godz. 20:20 — Teatr Telewizji.

Artykuły, recenzje, noty: Augustyn Adam «Wieści» 1974. № 41. S. 10. — [Bober Jerzy] BOB «Gazeta Krakowska» 1974. № 236. S. 3. — Falińska Helga «Ekran» 1974. № 45. S. 23 [list do red.]. — [Grodzicki August] (g) «Życie Warszawy» 1974. № 235. S. 6. — Głogowski Krzysztof «Kierunki» 1974. № 41. S. 10. — Konieczna Romana «Trybuna Opolska» 1974. № 269. S. 7. — Królikiewicz Grzegorz «Dziennik Ludowy» 1974. № [wywiad, rozmawiała HAL właściwie Halina Przedborska]. — Misiorny Michał «Trybuna Ludu» 1974. № 276. S. 8. — Przedborska Halina «Dziennik Ludowy» 1974. № 233. S. 7. — [Srokowski Stanisław] Kowal Jacek «Wiadomości» (Wrocław) 1974. № 20. S. 12. — [Toeplitz Krzysztof Teodor] KTT «Teatr» 1974. № 22. S. 19. — (ż) «Ekran» 1974. № 31. S. 6-7. — «Tygodnik Kulturalny» 1974. № 43. S. 10; № 45. S. 10 [listy czytelników]. — «Tygodnik Kulturalny» 1974. № 39. S. 10 [fot.]. — Nagroda «Złoty Ekran» 1974 dla Grzegorza Królikiewicza za scenariusz i reż. widowiska. — Królikiewicz Grzegorz «Ekran» 1975. № 14. S. 6-8 [rozmawiał Marian Kamiński].

KAWALEC JULIAN: ZIEMI PRZYPISANY

Adapt. Maria Komorowska. Reż.: Jerzy Markuszewski. Real. tel.: Anna Minkiewicz. Scenogr. Zofia Góralczyk.

Obsada: Wojciech Siemion (Prokurator), Stefan Śródka (Wojciech Trepa), Zofia Rysiówna (Jadwiga), Wanda Łuczyczna, Janusz Paluszkiwicz (Świadkowie) oraz Henryk Bąk, Zygmunt Maciejewski, Zdzisław Salaburski.

I, 25-10-1963, 45 min.; godz. 21:50 — Studio 63.

Artykuły, recenzje, noty: Czarnecki Stefan «Ekran» 1963. № 42. S. 15. — Ostrowski Adam «Radio i Telewizja» 1963. № 41. S. 20.

MYŚLIWSKI WIESŁAW: DRZEWO

Scenariusz: Thomas Brezina, Milan Door Guntmar Lasnig. Reż.: Izabella Cywińska. Scenogr.: Jacek Osadowski. Kost.: Magdalena Biedrzycka. Zdjęcia: Ryszard Lenczewski. Muz.: Krzesimir Dębski.

Obsada: Aleksander Bednarz (Duda), Andrzej Grabowski (Robotnik z piłą), Jan Kociniak (Robotnik z siekierą), Iza Dąbrowska (Zośka), Cezary Kosiński (Franek), Jan Maciej Jabłoński (Jędrzek), Bronisław Wrocławski (Inżynier), Sławomir Orzechowski (Policjant), Janusz Michałowski (Szpicel).

I, 14-12-1998, 93 min.; godz. 21.15 – Teatr Telewizji.

III, 15-04-1999, godz. 20.05 – Teatr Telewizji.

Artykuły, recenzje, noty: Cywińska Izabella, «Antena» 1998. № 49. S. 16 [wywiad, rozmawiała Kinga Zabawska]. – Pawłowski Roman «Gazeta Wyborcza» 1998. № 293. S. 2. – [Wierzbicki Jacek] JW, «Gazeta Telewizyjna» 1998. № 291. S. 18.

MYŚLIWSKI WIESŁAW: PALAC

Adapt. autora. Reż.: Ryszard Ber. Real. tel.: Edwarda Paszkowska. Scenogr.: Jacek Hosensee. Oprac. muz.: Andrzej Fronczak. Układa tańca: Henryk Rutkowski.

Obsada: Zdzisław Wardejn.

I, 26-07-1974, 57 min.; godz. 22.05 – Teatr Małych Form.

II, 07-12-1975, godz. 21.40 – Scena Monodram.

Artykuły, recenzje, noty: [Srokowski Stanisław] Kowal Jacek «Wiadomości» (Wrocław) 1975. № 50. S. 2.

MYŚLIWSKI WIESŁAW:**W POSZUKIWANIU ZGUBIONEGO BUTA**

Na podstawie powieści «Widnokrąg». Adapt. i reż. Izabella Cywińska. Scenogr.: Magdalena Dipont, Roman Tarwacki. Kostiumy: Magda Biedrzycka. Muzyka: Jerzy Satanowski. Zdjęcia: Jacek Petrycki

Obsada: Iza Dąbrowska (Matka), Jan Prosiński (Piotrek), Andrzej Iwiński (Ojciec), Irena Kownas (Gospodyni), Tomasz Zaliwski (Gospodarz), Henryk Gołębiowski (Chłop z kartoflami), Jan Kociniak (Chłop z rowerem), Halina Bednarz, Anna Lenartowicz-Stępkowska, Jerzy Dukay, Jerzy Kozłowski, Stanisław Penksyk, Maciej Szary (Przy płocie), Anna Gornostaj, Małgorzata Roźniatowska, Tomasz Musiałowicz, Marcin Sosnowski (Na kartoflisku), Jerzy Kamas (Starzec), Janusz Michałowski (Przewoźnik).

II, 5-02-1998, 56 min.; godz. 23.05 – Studio Teatralne Dwójki.

III, 31-03-1998, godz. 23.05 – Teatr Telewizji.

Artykuły, recenzje, noty: Lutomski Jacek, «Rzeczpospolita» 1998. № 5. S. 8. – [Wierzbicki Jacek] JW, «Gazeta Telewizyjna» 1998. № 26. S. 29.

MYŚLIWSKI WIESŁAW: ZŁODZIEJ

Reż.: Stefan Szlachtycz. Real. tel.: Paweł Karpiński. Scenogr.: Andrzej Przybył. Muz.: Andrzej Fronczak.

Obsada: Hanna Skarżanka (Matka), Mirosław Konarowski (Michał), Janusz Kłosiński (Ojciec), Franciszek Pieczka (Szczepan), Zdzisław Wardejn (Walek), Maciej Szary (Złodziej).

I, 23-04-1979, 84 min.; godz. 20:15 – Teatr Telewizji. Warszawa. Wstęp: Stanisław Marczak-Oborski 7 min.

II, 29-04-1979, godz. 10:45 – Teatr Telewizji.

I, 01-12-1984, godz. 10:40 – Historia Dramatu Polskiego.

Artykuły, recenzje, noty: Domagalik Krzysztof «Radio i Telewizja» 1979. № 17. S. 2. – [Grzelecki Stanisław] STG «Życie Warszawy» 1979. № 94. S. 7. – Kielak Ewa «Trybuna Ludu» 1979. № 95. S. 8. – Orłowski Władysław «Odgłosy» 1979. № 18. S. 12. – Orzechowski Marek «Merkuriusz» 1979. № 6. S. 15. – [Segiet Janusz] Seg «Gazeta Olsztyńska» 1979. № 100. S. 5. – [Sieradzka Zofia] (Sier.) «Głos Pracy» 1979. № 98. S. 7. – [Brzostowiecka Maria] (B) «Ekran» 1984. № 48. S. 11.

NOWAK TADEUSZ:

A JAK KRÓLEM, A JAK KATEM BĘDZIESZ

Adapt.: Kazimierz Borowiec. Reż. i real. tel.: Cezary Łagiewski. Scenogr.: Michał Jędrzejewski. Oprac. muz.: Barbara Mentel.

Obsada: Kazimierz Borowiec.

II, 03-04-1972, 48 min.; godz. 21.10 – Scena Monodram.

Artykuły, recenzje, noty: [Kosińska Maria] (x) «Życie Warszawy» 1972. № 81. S. 5.

NOWAK TADEUSZ:

A JAK KRÓLEM, A JAK KATEM BĘDZIESZ

Adapt.: Tadeusz Nowak. Reż.: Janusz Nyczak. Real. tel.: Tadeusz Piotrowski. Scenogr.: Waław Kula.

Obsada: Joanna Orzeszkowska (Hela), Wiesław Komasa (Piotr) oraz Henryk Abbe, Leszek Dąbrowski, Tadeusz Drzewiecki, Michał Grudziński, Bolesław Idziak, Elżbieta Jarosik, Marian Krawczyk, Sława Kwaśniewska, Lech Łotocki, Ewa Mirska, Józef Onyszkiewicz, Wanda Ostrowska, Edmund Pietryk, Zbigniew Roman.

I, 13-12-1974, 76 min.; godz. 20:20 – Teatr Telewizji. Poznań.

Artykuły, recenzje, noty: Boltuń Irena «Scena» 1974. № 12. S. 37. – Kofta Mieczysław «Radio i Telewizja» 1975. № 1. S. 12. – Szymańska Janina «Ekran» 1974. № 52. S. 11. – «Tygodnik Kulturalny» 1975. № 4. S. 10 [listy czytelników].

REDLIŃSKI EDWARD: LISTY Z RABARBARU

Adapt.: Jan Młodawski. Reż.: Anna Minkiewicz. Real. tel.: Anna Minkiewicz. Scenogr.: Zofia Branicka, Andrzej Branicki.

Obsada: Jan Młodawski.

I, 01-11-1982, 67 min.; godz. 20:15 – Teatr Telewizji. Warszawa.

II, 07–11–1982, godz. 10:50 – Teatr Telewizji.

Artykuły, recenzje, noty: Brzostowiecka Maria «Ekran» 1982. № 4. S. 4. –
(T) «Antena» 1982. № 26. S. 13.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Związku Literatów Polskich, Czytelnika, Państwowego Instytutu Wydawniczego, Iskier i Wydawnictwa Literackiego.
- 2 *Ostrowski A.* Ziemi przypisany // Radio i Telewizja. 1963. № 41. S. 20.
- 3 Ibidem.
- 4 *Czarnecki S.* Człowiek, ziemia i paragraf // Ekran. 1963. № 42. S. 15.
- 5 *Królikiewicz G.* Toporny – mit losu tragicznego // Ekran. 1975. № 14. S. 8 [rozmowa z Marianem Kamińskim].
- 6 [Toeplitz Krzysztof Teodor] *KTT.* Toporny // Teatr. 1974. № 22. S. 19.
- 7 *Głogowski K.* «Kierunki». 1974. № 41. S. 10.
- 8 [Toeplitz Krzysztof Teodor] *KTT.* Toporny // Teatr. 1974. № 22. S. 19.
- 9 *Marzec A.* Proza Juliana Kawalca w przekładach intersemiotycznych // W kręgu twórczości Juliana Kawalca. Zbiór szkiców i artykułów / Pod red. Z. Andersa i G. Ostasza. Rzeszów, 1982. S. 175.
- 10 W scenariuszu telewizyjnym inaczej niż w powieści bohaterom nadane zostały imiona i nazwiska: Antoni Wilk (ojciec), Jerzy Wilk (syn), Marcin Bednorz (oprawca).
- 11 [Lubosz B.] *STAŃCZYK.* Szara aureola // Poglądy. 1976. № 9. S. 19; O spektaklu «Szara aureola» // Tygodnik Kulturalny. 1976. № 19. S. 10 [głosy czytelników].
- 12 *Brzostowiecka M.* Stary, Głupi i Aniol // Ekran. 1976. № 40. S. 11.
- 13 Nagrodzona na VI Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu w 1971 r.
- 14 Premiera: Poznań, Teatr Nowy 1973.
- 15 *Szymańska J.* A jak królem, a jak katem będziesz // Ekran. 1974. № 52. S. 11.
- 16 *Brzostowiecka M.* Listy z Rabarbaru // Ekran. 1982. № 4. S. 4.
- 17 *Domagalik K., Myśliwski W.* Złodziej // Radio i Telewizja. 1979. № 17. S. 2.
- 18 *Orłowski W.* Wymiar sprawiedliwości – materia delikatna // Odgłosy. 1979. № 18. S. 12.
- 19 Autora uhonorowano, po raz pierwszy przyznana, prestiżową Nagrodą Nike (1997) za najlepszą książkę minionego roku.
- 20 *Lutomski J.* W poszukiwaniu zgubionego buta // Telerzeczpospolita. 1998. № 5. S. 3.
- 21 Premiera: Teatr Polski w Warszawie 1988 r.



В. Н. Топоров

ОТВЕТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ*

5 августа 1772 года в Петербурге была подписана конвенция о том, что после стало называться «первым разделом Польши». Три соседних государства Австрия, Пруссия и Россия мотивировали этот акт в основном двумя обстоятельствами, казавшимися им достаточно серьезными и убедительными, — необходимостью восстановления «спокойствия и порядка во внутренних делах Республики» с тем, чтобы соседи Речи Посполитой смогли удовлетворить свои требования — «столь же древние, как и законные». Сама двуступенчатость требований ничего хорошего Польше не сулила. Впрочем, и до этого дела Польши были уже скверными. К внутренним проблемам, раздиравшим страну и ее общество, которое не было единым ни в конфессиональном, ни в этническом отношении, после смерти короля Августа III, присоединилось открытое вмешательство, как теперь бы сказали «великих держав» в польские дела. Роль посла России в Варшаве князя Н. В. Репнина при восшествии на престол Августа IV (графа Станислава Понятовского, к которому благоволила Екатерина II) возросла чрезвычайно. Он не гнушался действовать и силой — в Варшаву были введены русские войска, католические вожаки сейма были схвачены и отвезены в Россию (в их числе были и два епископа, Солтык и Красиньский), диссидентская шляхта уравнивалась в правах с католическою. Екатерина II, обещавшая отныне и в будущем защищать государственный строй Польши и Литвы, практически устанавливала протекторат России над Речью Посполитой: проницательные люди по обе стороны границы понимали, что страны-«радетельницы» на этом не остановятся и что надо ожидать и худшего. Те, кто детьми помнил события начала 70-х годов, прошли еще два раздела страны, последний из которых означал уничтожение польской государственности, иногда доживали и до кровавых собы-

* Статья печатается в авторской версии.

тий 1831 года и могли убедиться в неизменности русской политики в отношении Польши (даже при относительно добрых намерениях Александра и возлагавшихся на него надеждах, окончательно рухнувших с появлением на престоле Николая I).

Конечно, во всей этой череде печальных, более того, трагических событий часть вины (но, безусловно, меньшая) лежит и на польской власти, сейме и широкой общественности. Об этом много писали и, конечно, будут еще писать польские историки. Наше дело — вина России, ее власти, ее общества. Счет преступлений известен. Крупнейшие — разделы 1772, 1793 и 1795 годов, кровавые события 1831 и 1863-го и Сибирь, нападение на Польшу в трагические дни сентября 1939 г. и оккупация восточной части Польши, 1944 год и стояние перед Варшавой и без малого полувековое держание страны на коротком поводке.

Польша — больная, кровоточащая совесть России, ее вина, еще неискупленная. Можно сказать и рельефнее и точнее — преступление российской власти и вина общественности — и той, которая понимала, что происходит страшное, и молчала — пусть бы только молчала: времена были страшные, но и молча старалась не видеть, не помнить, забыть, т. е. внутренне предать страну и народ Польши в беде, и той части общественности, которая считала, что так тому и быть и всё это правильно и даже к лучшему и которая недостойна называться высоким по своему смыслу словом «общественность». К счастью, мы знаем людей с живой совестью и чувством справедливости, чья позиция, чье поведение были безупречны. К несчастью, их было немного.

Тем важнее сказать слово об одном благородной души человеке, свидетеле первого раздела Польши, как и двух последующих, «сочувственнике» ее трагической судьбы. — Речь пойдет о выдающемся русском гуманисте, известном писателе, общественном деятеле, попечителе Московского Университета, товарище министра народного просвещения Михаиле Никитиче Муравьеве (1757–1807). В конце 60-х годов семья Муравьевых жила в Москве. Мальчик учился в гимназии при Университете и через полтора года поступил уже в Университет, но пробыл там недолго, потому что должен был в феврале 1770 г. уехать в Архангельск, куда получил назначение его отец Н. А. Муравьев. Через два с половиной месяца после подписания конвенции о разделе Польши юноша уже солдат Измайловского полка, что не мешает его усиленным литературным занятиям, близкому общению с кругом петербургских литераторов, среди которых были и видные поэты того времени. Трагедия, как и многим совре-

менникам Муравьева, представлялась наиболее престижным жанром. Трагедийность в сочетании с исторической тематикой, возвышенным стилем, подчеркнутой эмоциональностью привлекала внимание юноши. К этому времени у него уже были опыты переводов фрагментов трагедий Корнеля, Расина, Вольтера, и он буквально бредил трагедией, имея и собственные планы. Вспоминая это время позже, Муравьев писал о своем «юношеском бреде трагедии». Так и случилось, что поэзия и проза, «литературное» и «историческое», актуальное настоящее и отдаленное прошлое сошлись для Муравьева именно в конце 1772 — начале 1773 годов. Именно тогда, по горячим следам польских событий, у Муравьева возникает замысел трагедии «Болеслав». Начинающему автору было в это время, видимо, 15 лет (его день рождения приходился на 25 октября [5 ноября]).

«Польская» тема в те годы привлекала внимание многих. В Москве в том круге, к которому принадлежали Муравьевы, живо интересовались «польскими» делами, тем более что Россия к этому времени была сильно вовлечена в них, вмешивалась во внутреннюю политику Польши, эксплуатируя «диссидентский» вопрос, интриговала в связи с выбором претендента на королевский трон. Поэтому нет ничего случайного в том, что именно в это время юный поэт выбирает темой своей трагедии историю Польши первой трети XII в., когда ею правил с 1102 по 1138 год король Болеслав III по прозвищу Кривоустый (Bolesław III Krzywousty). Ему удалось добиться единства Польши, он воевал со всеми, с кем только мог, — со своим братом Збигневом, с его союзниками чехами и германским императором, захватывал Киев (1069 г.) и воевал с Поморьем. Человек больших возможностей и обладающий властью, Болеслав, казалось, мог сделать все, что захочет. И, действительно, к началу 1108 года почти все польские земли оказались под его властью, в начале 20-х годов XII века успех сопутствовал Болеславу и в Поморье, и тем не менее вскоре он вынужден был признать сюзеренитет германского императора над Западным Поморьем и довел страну до той роковой черты, за которой ничего, кроме распада государства и торжества раздробленности, не могло быть. Стоило Болеславу умереть, как всё ожидаемое и предвиденное худшее случилось.

Выбор Болеслава III в качестве главного героя трагедии и главной темы — борьбу за единство Польши (при том, что эта тема была обострена любовной коллизией: человек сильных страстей, Болеслав влюблен в возлюбленную его брата и врага Збигнева Свентельду и удерживает ее в своем плену), кончающуюся крахом (во всяком случае так восстанавливается сюжет трагедии по своего рода резюме в стихотворении «Болеслав, король Польский», написанном в 90-е го-

ды XVIII века, когда поэт понял, что завершить трагедию он уже не сможет [стихотворение было опубликовано только после смерти его автора в «Вестнике Европы» 1810, № 9. С. 45 и в «Собрании русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов, изданное Василием Жуковским». М., 1810. Ч. 2. С. 277]) представляет собою весьма удачную находку, и нужно особенно высоко оценить острую интуицию юного поэта и тонкое чувство «исторического» уже хотя бы только в выборе этого героя и этой темы. То же, что автор сумел соотносить тему польских событий начала 70-х годов XVIII века с событиями первой половины XII века в той же Польше и с центральной и в известном смысле символической фигурой трагического героя Болеслава III (в 70-е гг. XVIII в. в Польше едва ли можно было бы найти фигуру такого масштаба), представляется весьма сильной исторической конструкцией, более того, психологически верной установкой.

Итак, Муравьевым были найдены та ситуация и (отчасти) тот герой, которые отсылали бы проницательного читателя к польской ситуации, переживаемой именно тогда. Есть известные основания полагать, что на зло развернувшейся на глазах трагедии Польши доброе сердце автора откликнулось горестным, но сочувственным воспоминанием о другом подобном событии и о благородном, но несчастном, как видел его Муравьев, образе польского короля первых десятилетий XII века.

Эти предположения при их верности могли бы объяснить, хотя бы частично, и дальнейшую судьбу трагедии, особенности работы над нею. Второй раздел Польши (1793 г.) и тем более третий (1795 г.), нарастание в известных кругах русского общества антипольских настроений, официальная точка зрения российской власти на уничтожение польской государственности как на исторически и политически оправданную необходимость делали публикацию трагедии «Болеслав» (а следовательно, и доведение ее до конца) бесперспективной, идущей вразрез с общественным мнением (во всяком случае в большей части его спектра) и уже только поэтому нежелательной.

В этом контексте очень показательным можно считать мнение знаменитого актера того времени И. А. Дмитревского, присутствовавшего на чтении Муравьевым своего «Болеслава» в кругу литераторов (запись обнаружена и опубликована Л. А. Алексиной в 1990 г., см. *Алексина Л. А.* Архивные материалы М. Н. Муравьева в фондах отдела рукописей // *Записки отдела рукописей.* М., 1990. Вып. 49. С. 32; запись находится в архиве Н. С. Тихонравова в Отделе рукописей РГБ). В этой записи, среди прочего, Муравьев сообщает, что Дмитревский «не совсем был доволен тирадами о Политикѣ

(разрядка наша. — В. Т.). Там же говорится и о реакции других присутствующих: «Мои друзья противоположали мнѣ недостаток причины сих стихов», т. е. недостаточную мотивировку сценического действия. Разумеется, могли быть замечания и претензии к пьесе чисто профессионального характера, но за этими аргументами могла стоять и своего рода опаска идеологического свойства. Нужно помнить и о том, что в выборе своей общественной позиции Муравьев с 1784 г., когда он был приближен к царскому двору и стал учителем русской истории, русской словесности и нравственной философии обоих высокородных наследников, великих князей Александра и Константина, был несвободен. Говорить вопреки он не мог; говорить за, не будучи согласным, ему не позволяли нравственные императивы.

Михаил Никитич Муравьев был добрым, кротким и сочувственным человеком, чутко различавшим справедливость и несправедливость, но борцом и радикалом он, конечно, никак не был, не покидая, однако, своей нравственной позиции. Если все это так, то доброе, сочувственно-скорбное слово о Болеславе могло быть и словом утешения падшей Польше конца XVIII в., а может быть, и тем напоминающим о прецеденте, которое в трудную годину вселяет в сердца надежду. Своим «Болеславом» Муравьев пытался отозваться на события 1772 г. в Польше. Ни на 1793, ни на роковой 1795 год он не мог отозваться. И это молчание многого стоит. Над поверженной сестрой он не писал ни «Гласа патриота на взятие Варшавы», как И. И. Дмитриев в 1794 году, ни «Клеветников России», ни «Бородинской годовщины», как это было сделано 60 лет спустя в 1831-м Пушкиным, ни «Старой песни на новый лад (На голос: „Гром победы, раздавайся!“)», ни «Русской славы», как Жуковский. Скорее он мог бы согласиться с совершившимся и пожалеть Польшу, как это сделал Тютчев в стихотворении того же 1831 года: *Как дочь родную на закланье / Агамемнон богам принес... с концовкой надежды: Твой пепл мы свято бережем, / И наша общая свобода, / Как феникс, зародится в нем.* Но как бы то ни было, в любом случае и «Болеслав» и его автор — в благой части пространства русско-польских культурных связей.

Муравьев очень хотел написать трагедию «Болеслав» и связывал с нею очень большие надежды. Готовился он к писанию исключительно тщательно, как никто из писателей XVIII века, избравших историческую тему (да и в XIX веке, во всяком случае в первой его половине, примеры такого полного учета и использования самых разных источников, кажется, неизвестны). В известном смысле, работая именно над «Болеславом», Муравьев стал и историком. Достаточно лишь кратко напомнить исторические и литературные источ-

ники, использованные им и им же названные. Первые относились собственно к истории Польши и соответственно содержали сведения о Болеславе III. Из исторических источников основным для Муравьева был Герборд — «Летопись Гербуртова», с одной стороны, и две современные книги на русском языке — «Еминова история» Ф. А. Эмина (т. е. «Российская история жизни всех древних от самого начала России Государей [...]». СПб., 1768, т. II), в которой Болеславу было посвящено более 40 страниц, и русский перевод, сделанный тем же Эминым, «Истории польской» Солиньяка (P.J. De la Pempie Solignac), вышедшей в Петербурге в 1766 году в двух томах, где Болеславу посвящено более 30 страниц (нужно напомнить, что по отношению к «Еминовой истории» перевод книги Солиньяка и тем более ее французский текст являются первичным источником). Опосредованным источником с существенными ограничениями можно считать и сочинение Гельмольда «Chronica Slavorum» (см. ниже). Самым большим упущением в источниках является, конечно, отсутствие среди них «Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum» Галла Анонима, изданная в 1749 г. в Гданьске, а в 1776 г. практически перепечатанная и вышедшая в Варшаве. Разумеется, «Хроника» Галла Анонима была главным источником в связи с Болеславом III, хотя она и обрывается на 26-й главе третьей книги, т. е. доведена до событий июля 1113 года. Вероятно, Муравьев не знал о существовании этого источника и/или текст его в Петербурге отсутствовал. Имени Галла Анонима Муравьев не упоминает. Он многого лишил себя, не используя этот источник, столь богатый не только информацией, но и эффектными деталями, как бы сами собой просящимися в трагедию.

Вторые источники, собственно литературные, были для Муравьева в известном отношении не менее важны, поскольку они «разыгрывали» художественными средствами ситуации, типологически подобные той, которая лежит в основе «личной» темы муравьевского «Болеслава» — безнадежной любви польского короля к находящейся в его плену Свентельде, возлюбленной Збигнева, брата Болеслава. Среди этих источников ближайшими к теме Болеслава, точнее, к типу ситуации, в которой он очутился, нужно считать (их и называет сам Муравьев) трагедии Вольтера «Аделаида» и И.-Э. Шлегеля «Германн» и «Канут». Меньшая степень подобия болеславской истории обнаруживается в хорошо известных Муравьеву трагедиях Сумарокова «Хорев», «Синав и Трувор», «Мстислав», но здесь речь могла идти только о типологических параллелях в разработке любовной линии в сочетании с литературными влияниями.

Как можно восстановить, основная работа над «Болеславом» происходила в 1773 и 1776 гг., но мысль о трагедии подспудно присутст-

вовада и в промежутке между этими датами и в конце 70-х годов, когда перед Муравьевым, кажется, впервые встал призрак незавершенности работы и невозможности ее завершить, что было для автора и его собственной трагедией.

Существует несколько записей Муравьева, в которых он фиксирует основные вехи в его работе над трагедией, указывает источники ее, говорит о своем состоянии в ходе писания «Болеслава». Несколько примеров:

Болеслав

В 1773 году, думаю, попалась мне в руки волтерова Аделаида. К стыду моему я читал ее за безименное сочинение. И чтение сие меня поразило во всяком смысле, и как трагедия, и как сочинение в стихах. Оно возобновило мой юношеский бред трагедии. Между тем читал Еминову Историю принаровнивал [приноравливал (?). — В.Т.] я каждое попадавшееся мне мрачное [нрзб.] в трагедию. Наконец попал мне Болеслав Кривоустый. Его вражество с братом Сбигнеем. Я приобрел себя волтеровы трагедии, в Академической библиотеке сыскал Летопись Гербуртову, помнится, чтоб подробнее узнать моего Героя. Читал Шлегеля [нрзб.] Я [нрзб.] наровил как в последователи [нрзб.]. Наконец: сцена первая, помощь демона декламаций и некоторых отрывков трагических изложение; жар рифмы и [нрзб.] развертывался там скорее [?] что б в некоем времени (какие счастливые вечера, целые дни!) действие первое и половина второго [...] Из сего предъла положено было непреходить (РНБ ОР. Ф.499. Ед.хр.39. М.Н. Муравьев «Записки и чтения литературные». 1770-е гг. С. 11).

В январь, я думаю, 1775 года, ежели не в 74, попалась мне в руки Аделаида Вольтерова. Ея чтение внушило мне сильное желание подражать. Тогда же в Еминь ища содержание трагедий, нашел я сие. Тогда я съфлал первые стихи первого явления. Но они лежали, помнится, до сентября 1775 г. В сем месяце написал я первое действие и половину следующего (Алехина Л.А. Указ. соч., 32).

Ты снисходительно слушал, с пристрастием дружества, лепетание ученической музыки моей. Где Болеслав мой, в которого я желал перелить все движения Аделаиды дю Гесклен. Столько [так! — В.Т.] чтение прекрасного образца может овладеть воображением и невольным образом увлекать к подражанию («Эмилиевы письма», письмо от 20 октября Берново).

Вообрази себе, что ты принимаешься опять за историческую картину, которую ты в молодости зачинал не без успѣху; ибо знатоки сие сказали [...] Всю свою чувствительность, знания, каковы ни есть, обрати к сему творению. Оставь знание своей жизни, характера, чувствований всей трагедии. Пусть каждое утро посвящено будет сей работе. Забудь все, кроме Болеслава. Зачни снова свое учение. Прочти Расина, Корнеля, Волтера, Сумарокова, Софокла, Метастазия. Не пропускай ни одной по случаю попадающейся тебѣ трагедии, не прочитай ее. Оставь в бумагах свидѣтельство, что ты ее читал, размышления [...] Размышляй над планом своей трагедии. И если думаешь, что план твой не довольно сияющ: исправь его исполнением. Сотвори характер Болеслава, Збигнева, Свенельды, Жиромысла, которые, ежели не существовали в истории, должны бы существовать были. Так вообрази сии характеры, чтобы они тебя первого обманули [...] (из рабочих тетрадей 1770 — начала 1780-х годов, тетрадь № 48. Л. 38об.; см. *Фоменко И. Ю.* М. Н. Муравьев о чтении: из рабочих тетрадей [...] // *Рукописи. Редкие издания. Архивы.* М., 1997. С. 109).

Я решился: или совсем не писать стихов или кончить Болеслава. Сим сочинением хочу я быть известен [...] («Мысли, замечания, отрывки», 1780 // Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева. Часть третья. СПб., 1820. С. 270).

По таким высказываниям и некоторым примыкающим к ним фактам создается впечатление, что не только или, вернее, не столько общественная ситуация и изменяющееся положение самого Муравьева были причиной затруднений в работе над «Болеславом», сколько нечто иное. Можно думать, что с этой трагедией Муравьев связывал слишком большие надежды, мыслил ее как главное дело на своем творческом пути, к которому необходимо подготовиться, объяв все, что только можно. Это превышающее разумный предел стремление к полноте используемого материала (перечитывание трагедий от Софокла до Сумарокова), поневоле приобретающее экстенсивный характер, это откладывание продолжений работы, это недоверие к спонтанности, к импровизации — всё это не столько помогало, сколько мешало работе. Не случайно лучшее в «Болеславе» то, что написано первым, когда рациональное еще не угнетало эмоциональное. Шанс был упущен, и началось некое творческое безволие именно в связи с «Болеславом», тогда как другие поэтические произведе-

ния при всей характерной для Муравьева неровности становились всё более зрелыми и совершенными. Чем больше поэт думал о «Болеславе», его продолжении и завершении, тем труднее становилось для него новое обращение к трагедии.

Трагедия так и не была завершена, но тот образ Болеслава, правителя, политика, человека, который создан Муравьевым, нужно считать значительным успехом. Натура одаренная, но сложная, благородная, но не без тираничности, стремящаяся к справедливости, но не последовательная, не тождественная самой себе в разные моменты («Едва ли Болеслав днесь сходен сам собою», — говорит он в беседе с ближайшим к нему человеком, полководцем Жиromыслом). Болеслав сознает глубочайшее противоречие, существующее между лучшим в нем и тем, что препятствует ему быть таковым, не позволяет ему преодолеть самого себя, пробиться к лучшему в себе:

Я страстен: и уже я страстен стал на вѣк.
 Старапья тщетны всѣ и всѣ безсилны средства.
 Ах! Сколько воображал я тѣ плачевны слѣдства,
 Которы страсть моя с собою повлечет,
 Княжна представится, и все то утечет.
 В неизцѣлимой я, мой друг, любви тлѣю,
 Врагов одолѣвал, себя не одолѣю.
 Стыжусь, что пламени не чувствовал в крови,
 И мнил: не буду вѣк я плѣнником любви.
 Вот стал! о! люта страсть! Знать всяк тебѣ подвластен;
 Не знал тебя, узнал, и стал на вѣки страстен.
 В побѣдах, в торжествѣ, покой свой нарушѣ,
 Забылася во мнѣ кичливая душа!
 Однакож иногда свой срам отомщевая,
 Входил в себя; но чтож? себя не познавая,
 Срамялся славных дѣл и воздыхать узнав,
 Хотѣл, чтоб не был я ни царь, ни Болеслав.
 Опомнясь, представлял Сбигнея сопостатом,
 И вкупѣ вспоминал, что он рожден мнѣ братом;
 Свентельду представлял невольницей своей,
 Котору получил невѣстою Сбигней.
 Я все то представлял и паче раздражался,
 Не зря ее, рвался, а видя, заражался.
 Безсилен сам в себѣ, от ярости рыкал,
 Что в братѣ зрю врага, я ей то упрекал.
 И мне ругать врага, увы! Того не видѣл
 Что в братѣ жениха Свентельды ненавидѣл.

А чтоб злодѣйску страсть питать наединѣ,
 Велѣл ей пребывать, под стражей в Стетинѣ.
 Тиранствовал любя, любя чинил мученье,
 И с ней душа моя пошла жить в заточенье.

Вот автопортрет Болеслава, безжалостно строгого к себе, мучающегося и заставляющего мучиться ту, без которой ему жизнь не жизнь, справедливого, но и творящего несправедливость, считающего себя погубленным навек и не видящего пути к спасению, по крайней мере, в той части трагедии, которую ее автор успел написать. Болеслав, этот гений самоанализа и человек, умеющий совмещать в себе несовместимое, он оставлен в трагедии на распутье. Что будет с ним дальше, чем закончится трагедия — вот вопрос, неизбежно возникающий перед читателем. В духе и традиции классицизма можно было бы думать о коллизии между страстью и долгом и выборе, сделанном главным персонажем. Может быть, и Муравьев пошел бы по этому пути и в финале читатель узнал бы о сделанном выборе. Но несравненно правдоподобнее, что финал был бы другим. Об этом можно догадаться по тому, что автор еще успел написать.

Когда муки заточенной Свентельды достигли предела и она считает себя обреченной (явление пятое действия первого основного текста), после встречи с Болеславом, когда он, видя льющую слезы Свентельду, говорит ей о своей вине с такой болью: *О! Как я пред тобой мятуся в сей винѣ!* — и, кажется, готов покаяться: *Чѣм будет наградить твоих утѣх мнѣ трату? / Я каю сь...* (и тут, спохватившись и уступая себе прежнему, страстному) *нѣ т, тебя не возвращу я брату*, — побеждает лучшее. Свентельда уходит, и шестое явление начинается с прихода Жиромысла, объявляющего ей — против своей воли: *Внимай, что Болеслав велѣл мнѣ возвѣстить: / Тебя он предпри- ял Сбигнею возвратить*. Жиромысл рассчитывал на другой исход и готов был не выполнить волю своего повелителя. Предчувствуя это, Болеслав торопит Свентельду: *Бѣги*. Она уходит, а Болеслав перед этим на минуту спохватывается: *Нѣт, ты жестокий друг рѣшил мое мученье. / Ты робкой дал рукѣ над сердцем вознестись / И безразсуд- ным сим словам произнестись*, но тут же — катарсис:

Душа моя сію жестокость отвергает...
 Жестокости! Так свою я слабость признаю
 И каю сь... Болеслав! Я быть им престаю.
 Таящейся души боюсь узнать движенья
 И присвою их без выбора сраженья.

.....

Владычица души! Свентельда дорогая!
 Теперь уж можно мнѣ невинну страсть питать.
 О Польша! И почтоб ты стала днесь роптать,
 Коль узы, для тебя столь милы, разрываю,
 Что, тщась расторгнуть их, сіе претерпѣваю!

Выврав корень страсти, преодолев ее, Болеслав, согласно ремарке, «погружается в недвижимость печали» и не сразу замечает чиновника, который объявляет о приезде богемского посланника. И до того лавинообразно развивавшиеся события обрушивают на Болеслава новую лавину.

Посланный

.....
 Я наше возвѣститъ тебѣ предстал нещастье.
 Такое ж, Государь, ты примешь в том участие;
 Отшел враждебник твой из смутной жизни сей:
 Лишился брата ты.

Но катарсис, начавшись, продолжается:

Болеслав

.....
 Судьба мгновенно свой поступок премѣня,
 Благодворит ли мнѣ или казнит меня?
 К а з н и т. О сердца глас! тебя я разумѣю;
 Но должен ты молчать и слезы дать Сбигнею.
 Жестокосердые! посявшіе в пас
 Плачевную вражду [...]
 Вы брата у меня похитили [...]

А далее просьба — [...] *да будет невозбранно / Мнѣ тѣло воспріять Героя бездыханно* и еще прошение — в течение года дать ему возможность *Без ополчения оплакать [...] урон*.

А после начинается плач по погибшем брате:

Сбигней! Сбигней мой брат, кого я столь любил,
 Ах! Жизни ты своей нещастье учредил
 И совершил мое. Вражды единокровны,
 Погибните и вы, оружія виновны,
 Которых служба мнѣ столь бѣдственна моя

Раскаяние и покаяние Болеслава знаменуют преодоление «злых» следствий хитросплетений политики, борьбу с теми, кто свои коры-

стные интересы ставил выше интересов единой и сильной Польши, той, казалось, неодолимой страсти, которая порождала «тираничность» чувства.

В 90-х годах XVIII века и начале 1800-х годов, находясь под бременем многочисленных дел и обязанностей, практически не оставлявших времени для литературного творчества (хотя иногда, изредка удавалось выкроить минуты досуга, когда он мог предаться поэтическим занятиям), Муравьев все-таки решил сказать свое последнее слово о дорогом его сердцу Болеславе, поставив тем самым точку в своем «болеславовом» тексте. Соответствовало ли это его слово прежним его замыслам, до конца не осуществленным, или нет, сказать трудно. Скорее соответствовало в общем направлении, но Муравьев, сознавая, что это последнее его слово о Болеславе, прощание с ним, сумел найти некий новый ракурс, в котором он увидел своего героя, и новые слова о нем, отдав ему должное и пожелав увидеть его именно таким, каким он был изображен в стихотворении «Болеслав, король Польский», опубликованном в «Вестнике Европы» за 1810 год (№ 9. С. 45) и перепечатанном в том же году во 2-й части (С. 277) «Собрания русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских [...]», изданного Жуковским (с добавлением в заглавии слова «Баллада»; кстати, это стихотворение было одной из первых русских баллад, событием в становлении этого жанра в русской поэтической традиции; во всяком случае оно существенно предшествует и «Светлане» и «Людмиле» Жуковского и несопоставимо как с так называемыми «песнями-балладами» народной традиции, так и с ранними опытами в русской литературе типа «Баллад о том, что любовь без заплаты не бывает от женска пола» Тредиаковского). В стихотворении по сравнению с известным текстом трагедии есть существенные сдвиги. Главный из них имеет своей целью драматизацию ситуации — Сбигней (Збигнев стихотворения) не просто убит в бою, но его убивает именно Болеслав, хотя и не зная, что витязь в шлеме у ног княжны (Свентельды трагедии) его брат. Это убийство неузнанного своего брата — кульминация, полностью преображающая Болеслава. Теперь он, так радевший о Польше, ее единстве, ее интересах, пытается покончить жизнь самоубийством и, когда приближенные предотвратили исполнение этого замысла, он, полный горести и смирения, в рубище, ходит по святым местам Польши, исповедует свои грехи. Автор завершает стихотворение надеждой на то, что *спокойство / Наконец сошло с небес* на Болеслава:

Болеслав, король Польский

Замолчала многих слава
И героев и царей;
Ты содержишь Болеслава,
Польша, в памяти своей.

Посреди верховной власти,
Верен дружбе и любви,
Сохранял он сильны страсти
В воскипающей крови.

Счастлив, ежели бы брата
Не имел Збигнея он,
Что глазами сопостата
Болеславов видел трон.

Не давал он мщенью места,
И виновного любя;
Ах! Збигнеева невеста!
Для чего он зрел тебя?

.....
Зреть, любить тебя Збигнею —
То мгновение одно.
Приступить ко Именею
Было слово уж дано.

Раздались внезапно бубны,
В поле прах столпом стоит,
К бою звали гласы трубны, —
Побежден, Збигней бежит.

Так, как ангел-покровитель,
Входит в город Болеслав,
Зрит княжну — и победитель
Просит уз, пред ней упав.

Со Збигнеем обрученна,
Во слезах гласит княжна:
«Хоть навеки разлученна,
Буду ввек ему верна!»

.....
Между тем не без успехов
Злобный дух Збигнеев был,
И с огромной силой чехов
Под Воллин он подступил.

Тщетно все: от Болеслава
Побежала чехов тьма,
Взят и вождь свирепа права;
Не снимает он шлемъ.

Пленна витязя сретае
Царь у ног княжны своей;
Меч во грудь его вонзает,
Шлем валится — то Збигней.

Где возьму я выраженья,
Что бы горесть описать,
Коею лишась движенья,
Царь не знает, что начать.

Обратил, жестокосердный,
Меч он к сердцу своему:
Приближенных сонм усердный
Воспротивился тому.

Свой оставив трон высокой
И во рубищах простых,
Ходит в горести глубокой
По обителям святых

Предо всеми, кто б случились,
Исповедует свой грех,
Просит он, чтоб помолились
За него владыке всех.

Должно думать, что спокойство
Наконец сошло с небес.
Ах! Ни чести, ни геройство
Не спасают нас от слез.

Это преодоление злой страсти, очищение, покаяние, раскаяние, смирение Болеслава под пером поэта — знак его оправдания, признания высоты его души. Смиренность бывшего владыки Польши, его странничество, наконец, то, что предшествовало всему этому — отречение от «трона высокого», от власти над любимой им Польшей, — оказались очень близки русскому народному религиозно-нравственному сознанию, пониманию пути великого грешника к тому, что можно назвать предшеством святости.

Зная датировку тех немногих стихотворений, которые были написаны Муравьевым в 90-е годы (с 1791 по 1795 исключительно),

можно предположить, что и стихотворение «Болеслав, король Польский» было написано в первой половине 90-х годов, когда над Польшей снова сгустились тучи и двукратно разразилась гроза. Если это предположение верно, то перед нами еще один пример обращения Муравьева к польской теме — сочувственное и сострадательное, как бы помнящее о страданиях Польши в годы ее роковых испытаний. Думается, что таким и был ответ лучшей части русской литературы на ту беду, в которой оказалась Польша.

Этот ответ оказался в начале новой традиции отношения к Польше и ее бедам, пусть прерывистой и представленной немногими, хотя среди них был и сам Лев Толстой с его рассказом «За что?» (1906), толчком к написанию которого было знакомство с книгой С. В. Максимова «Сибирь и каторга». Автор отдавал себе отчет в том, что зло, причиненное полякам и Польше, по существу есть зло и для русских и России. Стоит обратить внимание на последний абзац рассказа и сам тон его —

Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе и гордился тем, что он не нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он умирая искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все силы.

Публикацию версий трагедии «Болеслав», характеристику источников и анализ трагедии см. в книге автора — М. Н. Муравьев: Введение и творческое наследие. Книга I. М., 2001. С. 29–240.

Ю. А. ЛАБЫНЦЕВ

ПОЭТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ ПРЕДТЕЧ
АДАМА МИЦКЕВИЧА
из околиц Новогрудка*

*Język polski utwierdził się
naprzód na ołtarzu,
przeniknął do modlitwy,
pomału stał się językiem
domowym.*

Adam Mickiewicz

Вопрос о христианизации народов Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского всегда казался непростым и запутанным. Однако тезис «о принятии Литвой христианства», «о крещении Литвы» в 1387 г., присутствовавший и все еще присутствующий во множестве работ, являлся не более чем исторической манипуляцией, если не сказать неправдой. К указанному времени (конец XIV в.) абсолютное большинство жителей Великого княжества Литовского уже в течение нескольких столетий исповедовали христианство, были православными христианами. Причем среди них оказалось и немалое число литовцев, преимущественно представителей высших слоев. Можно даже говорить и о литовской православной литературе тех лет, которая уже существовала к моменту так называемого «крещения Литвы»¹.

Начиная с 1380-х гг. на землях Великого княжества Литовского, государства уже вполне христианского, усиленно насаждается католицизм, исповедники которого сразу же получают огромные привилегии от властных государственных структур. Католическая экспансия постепенно охватывает и славянские земли Великого княжества Литовского. Процесс этот идет невероятно медленно, но он успешно развивается и приобретает в конце концов необратимый характер. Так появляются и первые католики из числа восточных славян. В течение довольно длительного времени эти католики и их общины сохраняют в основном прежнюю православную обрядность, включая прежде всего литургическую книжность и церковнославянский язык².

Позиции католицизма в Великом княжестве Литовском не были прочными до самой победы контрреформации. Первая попытка его

* Исследование осуществлено благодаря финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (01-04-18001е).

введения при Миндовге в 1251 г. окончилась полным провалом и была возобновлена лишь через столетие великим литовским князем и будущим польским королем Ягайлой. В деятельности среди местного православного населения в духе прозелитизма особенно преуспели в конце XIV — XV в. монахи доминиканского и францисканского орденов, а в XVI в. на позиции католицизма в массовом порядке начинает переходить православная шляхта, реализуя неукоснительный принцип польского варианта контрреформации: шляхтич — католик. Несмотря на совершенно несравнимое преобладание среди населения Великого княжества Литовского православных, католики сразу же становятся особо покровительствуемой группой, получают протекционные права во всех сферах жизни, включая религиозную. Так, например, уже в 1511 г. городской аппарат самоуправления в столичном воеводском Новогрудке состоял наполовину из православных, а наполовину из католиков³, в то время как в этом центре православной митрополии был всего-навсего один католический приход.

Векторные моменты все еще не написанной истории католицизма на белорусских землях довольно точно изложены знаменитым деятелем белорусского национального движения первой половины XX в. ксендзом Адамом Станкевичем в ряде его рукописных работ. Вот что он сообщал в 1940-е гг. в одной из них: «...Католичество стало проникать на Беларусь со времени Ягайлы (XIV в.), когда Беларусь начала входить в тесные отношения с Польшей. Поздней факторами, способствующими распространению католичества в Беларуси, были: а) задача белорусскому боярству польских дворянских гербов (XV в.), б) переход белорусского боярства в кальвинизм, а далее в польское католичество, в) Люблинская (1569) и Брестская (1596) унии, которые широко открывали для Польши в Беларуси дорогу в политической, культурной и религиозной жизни, г) ликвидация Николаем I религиозной унии (1839) и массовый (2 миллиона) переход белорусских униатов в латинское (польское) католичество, е) 20-летнее существование на землях западной Беларуси польской государственности (с 1920 г.), когда также массово белорусские католики переходили в польское католичество, ибо иначе они фактически были неполноправными гражданами.

...Католичество в Беларуси с самого начала его здесь появления стало действительно польской верой. Неудивительно, что и сегодня его тут многие так и называют. Польские политики всегда старательно заботились, чтобы католичество в Беларуси было не универсальным, как свидетельствует само его название, а исключительно польским. И в самом деле, католический костел в Беларуси всегда был инструментом польской политики. Однако из этого не следует,

что все католики в Беларуси это поляки. Нет. Полякам через костел и другими путями удалось колонизировать только незначительный процент белорусского народа и прежде всего на самых западных белорусских этнографических рубежах, в целом же белорусский народ остался верным своему языку, обычаям, своей национальности. Таким образом, католиков-поляков в БССР только совсем незначительный процент»⁴.

Все сказанное белорусским католическим ксендзом Адамом Станкевичем полвека назад полностью подтвердил в конце 1990-х гг. такой авторитетный наблюдатель, как Ежи Гедройц. На вопрос, как он «оценивает деятельность католического Костела у наших соседей на востоке», был дан весьма критичный ответ: «Негативно. Там попросту проводится обычная колонизаторская акция. Польские ксендзы, которые туда приезжают и занимают там все приходы, прежде всего занимаются миссионерской деятельностью, то есть не столько опекой поляков и польских костелов, сколько обращением православных белорусов в католицизм...»⁵

В последние годы в Беларуси и Польше все чаще и чаще начинают говорить о белорусах-католиках латинского обряда, однако эти суждения в основном не выходят за рамки констатации данного факта в духе суждений Брачыслава Скаринича (Яна Станкевича) восьмидесятилетней давности⁶. Собственно, неизвестно даже приблизительно общее их число. Цифры называют самые разные, различающиеся в десятки раз. Естественно, первоначально при таком подсчете было бы необходимо отталкиваться от или по крайней мере учитывать общее число католиков и поляков в самой Беларуси. Но и тут, где, казалось бы, достаточно самых простых статистических подсчетов, опирающихся на соответствующие переписи, ясности нет никакой. Наиболее правдоподобные, на наш взгляд, цифры относительно белорусов-католиков согласно переписи 1897 г. приводит Ф. Д. Климчук («белорусскоязычных католиков — около 740 тысяч», или «78,8% всех католиков, какие жили на территории современной Республики Беларусь»)⁷, а касательно наших дней — Ю. Туронек: «Переселенческая акция в Польшу, которая охватила около 400 тысяч белорусских католиков, была наиважнейшим фактором их уменьшения в БССР... на конец 50-х годов их общая численность в Беларуси не превышала 600 тысяч... на протяжении следующих десятилетий численность католического населения продолжала уменьшаться... и даже если посчитать сейчас и атеистов католического происхождения и детей католическо-православных и иных супружеств, то суммарное число... достигая примерно 600–700 тысяч... составило бы только 6–7% всего населения республики»⁸.

Католики в Беларуси проживают в основном в местностях вдоль северной части белорусско-польской границы, вдоль всей белорусско-литовской границы, а также к западу от Минска в верхнем течении Немана и его притоков. Пожалуй, чуть ли не большинство католиков Беларуси причисляют себя ныне к полякам. Это сложилось исторически, хотя правды тут нет никакой. «На Украине, — пишет бывший атташе по культуре Посольства Польши в Беларуси П. Пшецишевский, — мы видим украинцев-католиков, которые по происхождению поляки, а на Беларуси едва ли не все, кто считает себя поляками, по происхождению белорусы. Кресы коронные (украинские) и Кресы литовские (белорусские) со времен Люблинской унии были как два разных мира... „Я тутейший, я католик — так видно поляк“, — приблизительно так отвечают белорусские католики-сельчане на вопрос о своей национальности»⁹. Расставить все на свои места помогает, в частности, анализ языковой ситуации в прошлом, далеком и не очень, и теперь. Наши собственные наблюдения, в том числе экспедиционные, изучение всевозможных архивных материалов убеждают в том, что в абсолютном большинстве случаев католики Беларуси ведут свою родословную от коренных местных жителей восточнославянского происхождения. Католики же этнические поляки в Беларуси явление довольно редкое. И здесь мы вполне солидарны с мнением все того же П. Пшецишевского, который недавно писал: «Эти люди привязаны к польскому литургическому языку, который достойно заменил латынь и сохранил красивую старинную паралитургию. Однако чаще всего эти же люди не понимают польскоязычные проповеди, а к приехавшим из Польши ксендзам, если совсем не могут по-польски, обращаются „по-руски“... И совсем не видно светских верующих, которые бы встречались вне костела и говорили бы между собой по-польски... Старшее поколение „тутейших поляков“, привязанных к польскому языку и обрядности, вымрет. Оставит после себя кресты с польскими надписями и польским правописанием своих белорусских фамилий с обычным окончанием на -ич, носители которых внесли такой огромный вклад в культуру Польши»¹⁰.

Современные католики Беларуси часто видятся стороннему наблюдателю и даже ученым неким социально-культурным и конфессиональным монолитом. На самом деле это далеко не так. Прежде всего необходимо различать, так сказать, «старых», или «традиционных», католиков и католиков «новых», хотя подобное деление и довольно условно. К последним, например, можно отнести многих католиков на Полесье, о переходе которых из унии в католичество в 1837–1839 гг. сохранились целые подборки архивных документов¹¹. К «старым», или «традиционным», католикам принадлежат, в частности, верую-

щие околиц Новоградка. В настоящее время количество католических приходов в Беларуси приближается к числу существовавших в 1917 г., когда их насчитывалось 445, и это несмотря на явное уменьшение католического населения¹². Примечательно, что к моменту первого раздела Речи Посполитой, в 1772 г., на территории современной Беларуси насчитывалось всего лишь 224 католических прихода¹³.

Теперь обратимся к вещим словам Адама Мицкевича, взятым нами в качестве эпиграфа, — они суть тезисы или абрис той формулы развития или, точнее, существования, бытования польского языка на землях Великого княжества Литовского, которые с различными корректировками подтверждаются позднейшими исследованиями, особенно теми, кто так или иначе был связан с этими регионами¹⁴. В настоящий момент, как показывают наши наблюдения, языковая ситуация в среде католиков Беларуси наследует существовавшую прежде, с тем лишь различием, что сейчас уже нет той давнишней польскоговорящей католической элиты, основу которой всегда составляла местная шляхта, а позднее ее потомки. В общем-то никак нельзя пока говорить и о белорусизации костела. Как справедливо замечают ксендз С. Лясковский и В. Адзиноченко, «сейчас в католических храмах служба ведется на трех языках: белорусском, польском и русском, — на польском преимущественно в западных областях... Согласно католической традиции, все миссалы должны переводиться с латинского языка, а сейчас очень мало специалистов, которые бы одновременно хорошо знали латинский и белорусский языки, могли бы передать дух последнего»¹⁵. Эти же авторы предлагают католикам Беларуси «избавляться от полонизмов» и даже вместо «Костел» говорить «Церковь», что всякий раз сбивает простых верующих с толку и пока ведет лишь к нарастанию непонимания.

Если языки белорусских католиков, в том числе и относящиеся к разряду *sacrum*, постепенно начинают изучаться¹⁶, совершенно неизвестной остается их литературная культура как в прошлом, так и в настоящем. Учитывая это, мы уже в течение ряда лет пытаемся собирать всевозможные материалы, касающиеся данной проблематики. Накопленные нами источники позволяют войти в пространство этой культуры, в общих чертах выявить его очертания, даже описать отдельные участки границы и, конечно же, сделать общий вывод о ее богатстве и большой социальной значимости. Строго говоря, культура эта, оставаясь сугубо религиозной, обладает и огромным числом светских или, вернее, парасветских черт. В истоке ее прослеживается и влияние кирилло-мефодиевской традиции. Все это в конце концов в значительной степени определило начало многих воплощений белорусской, и не только белорусской, классической литературы XIX–XX вв.

Несомненным феноменом литературной культуры белорусских католиков является ее непрерывность, жанровая и тематическая полифония собственно литературной составляющей. Последняя характеризуется к тому же большой языковой и содержательно-типологической разнородностью произведений. Классификация их представляется весьма затруднительной и с литературоведческой, и с лингвистической, и с теологической точки зрения. Несомненно лишь, что в основу такой предполагаемой классификации, если она когда-нибудь и будет осуществлена, будут положены принципы иерархичности произведений и языков, на которых они написаны и воспроизводятся, включая и различные устные формы. Впрочем, какое-то самое общее деление или разделение этой литературы на отдельные огромные по объему и значению части можно предложить уже сейчас. Таких основных частей три: литургическая литература и книжность, паралитургическая литература и, так сказать, «четыре».

Особое внимание обращает на себя паралитургический корпус этой литературы и книжности. Прежде всего широтой распространения, бытования. Без преувеличения это самый массовый ее вид, существующий в печатной, рукописной и устной формах. Популярен он среди всех возрастных групп католиков, особенно людей пожилого и среднего возраста. Всенародная признанность эта идет, что называется, из веков. По крайней мере мы располагаем сведениями на этот счет начиная с XVII в. В настоящий момент самыми популярными и наиболее часто встречаемыми из числа паралитургических произведений являются различного рода польскоязычные кантычки — печатные, очень редко старопечатные, и рукописные, распространяемые в виде записей в тетрадках или на отдельных бумажных листках. Белорусоязычные кантычки встречались нам пока только как исключение, хотя в последние годы в связи с активизацией издания белорусоязычной католической литературы они появляются в домах католиков Беларуси все чаще, особенно у городской и сельской интеллигенции¹⁷.

Кантычковая польскоязычная католическая литература Беларуси, явление сколь значительное и масштабное, столь и малоизученное¹⁸, сохранила свой живой первоначальный характер и функционально практически не изменилась, невзирая на солидный, в некоторых случаях двух–трехвековой и более, возраст произведений, ее составляющих. Собранные нами материалы позволяют говорить о необычайной их вариативности, когда одно и то же сочинение, распространяемое в рукописных списках или/и бытующее в устной форме, известно во множестве вариантов, точное число которых установить практически невозможно. Наблюдения над этой литературой позволяют вы-

делить несколько ее особых пластов, среди которых одним из самых интересных, на наш взгляд, являются кантычки и различного рода духовные и исторические песни, написанные восточнославянскими жителями Великого княжества Литовского в XVIII столетии.

До сих пор вся кантычковая литература относится к своего рода литературоведческой и вообще исследовательской *terra incognita*. Крупнейший польский литературовед и фольклорист XX в. Ю. Крыжановский откровенно признавался: «Установление очередности их появления весьма затруднительно, так как кантычки пользовались особой популярностью, были зачитываемы и экземпляры их являются ныне величайшей редкостью»¹⁹. Появление во второй половине прошлого века нескольких весьма важных работ, посвященных данному вопросу, мало что меняет в целом, так как все они касаются какой-либо узкой темы²⁰. Едва ли верно и утверждение Ю. Крыжановского для XIX в. о том, что «тип кантычки установился от момента появления сборника ксендза М. М. Мёдушевского»²¹. Все было гораздо сложнее, и подобные выводы Ю. Крыжановского базировались на не слишком значительном материале, бывшем в его распоряжении.

Польскоязычные кантычки восточнославянского происхождения появляются довольно рано, первые, возможно, уже в XVII в. Среди их сочинителей выделяются авторы из числа образованных базилиан, отдельные произведения которых в конце концов стали достоянием и римско-католиков. Для белорусов одним из крупнейших литературных и издательских центров, формировавших данную традицию, всегда был Супрасль, Супрасльский Благовещенский монастырь с его многовековой литературной школой²². Супрасль, дав наиболее ранние примеры белорусского польскоязычного кантычкового творчества, способствовал распространению подобных произведений в XVIII — начале XIX в. в огромных по тем временам количествах²³.

Адам Мицкевич в самом раннем детстве познакомился с кантычками, полюбил их, что ярко отразилось в его теоретических писаниях, университетских лекциях, а главное — в его поэзии. Вероятно, его же следует считать первым светским ученым — исследователем кантычек²⁴. О том, как высоко ценил А. Мицкевич это творчество, свидетельствует множество примеров, и совершенно непонятна ирония по данному поводу Ю. Крыжановского, которому как знатоку фольклора и литературы должна была быть ясна важнейшая роль этих произведений в становлении хотя бы польской романтической поэзии²⁵. Выполняя своего рода завет отца, сын Адама Мицкевича Владислав, верный его духовный наследник, биограф, издатель и популяризатор, выпускает в 1868 г. в своей знаменитой серии «*Biblioteka Ludowa Polska*» четыре изящных томика собрания кантычек с предисловием ве-

дикого поэта²⁶. «Pierwszy zawiązek narodowej pieśni polskiej, — писал в этом предисловии А. Мицкевич, — znajduje się w pieśniach religijnych, w kantyczkach. Poezja religijna była śpiewana i powszechnie znana, dotykająca jednym bokiem ludowej, drugim piśmiennej»²⁷. А вот и более чем достойный, без преувеличения гениальный в своей простоте и ясности, ответ Пророка первым польским критикам его поэзии, да и по части иронии Ю. Крыжановского касательно особого внимания к кантычкам и их авторам: «Ponieważ jednak ci poeci prostaczkowie wtrącali czasem wyrażenia gminne, pieśni te długo służyli za pośmiewisko ludziom zezdolnym ich ocenić»²⁸.

В процессе наших экспедиционных исследований у католиков Беларуси и польско-белорусского пограничья нам неоднократно удалось видеть и записывать кантычки, которые слушал и знал еще маленький Адам Мицкевич. Среди них есть и связанные с Новогрудчиной и составленные там или же в ее околицах. Их по-прежнему знают и поют местные жители. Эта польскоязычная кантычковая поэзия XVIII столетия все еще жива и живет относительно полнокровно, найдя когда-то такой сильный отзвук в душе и сердце великого уроженца новогрудской земли. Среди наших находок часто встречается в различных вариантах знаменитая «Pieśń o Nayśw. Pannie Maryi Cudami słynącej w Obrazie Nowogródzkim, pod strażą xx. Bazylianów zostającą»²⁹, перекликающаяся с известными строками из «Pana Tadeusza»:

...Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniaś z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem...³⁰

Известно, что этот образ, эта икона сыграла особую роль в судьбе поэта. Как рассказывал и писал он сам, она помогла вернуть его, малютку, выпавшего из окна, к жизни³¹. Отныне и навсегда образ этот в памяти А. Мицкевича. Виделся он ему и в далеком Париже³².

Мировое литературоведение, в том числе и белорусское, многое сделало для изучения творческого наследия великого поэта³³. Довольно давно появились и первые работы о значении белорусских элементов в польском литературном творчестве периода романтизма³⁴. Вместе с тем до сих пор мы очень мало знаем о местной духовной атмосфере, вдохновлявшей А. Мицкевича всю его жизнь, как, впрочем (пусть это не покажется странным), и едва ли не о самом важном — о языке поэта³⁵. А вот как он сам видел и определял язык жителей околлиц Новогрудка, своих земляков: «Lud polski w Litwie mówi dialektem ruskim zmieszanym z polską mową...»³⁶ Это признание А. Мицкевича — ключ к пониманию многих особенностей его жизни, творчества и даже отношения к окружающему миру. И написаны эти

слова были по весьма знаменательному поводу. Они из небольшого эссе о Франтишке Карпинском, незадолго перед тем почившем замечательном поэте, земляке А. Мицкевича, жившем на восточной окраине Беловежской пуши, тонком знатоке местной народной жизни и культуры, сочинителе кантычек, издававшихся в польскоязычной белорусской среде³⁷ и переиздающихся до сих пор³⁸. Эссе о Ф. Карпинском писалось А. Мицкевичем в Москве и там же увидело свет в 12-м номере журнала «Московский телеграф» за 1827 г. В польской печати оно появилось значительно позднее, только в 1890 г.³⁹

Встречаясь ныне в родимой стороне А. Мицкевича с живой традицией местной польскоязычной народной поэзии, невольно прослеживаешь ту несомненную неразрывную ее связь, ее влияние на его творчество. Имея в распоряжении необходимые тексты, сделать это не так трудно. Сравните, например, сочиненное им с прекрасной местной, происходящей из обширных околиц Новогрудка, «исторической песней» XVIII столетия, записанной нами во время экспедиции 2001 г. в Беларусь.

Pieśń historyczna o Nayśw. Pannie w Cerkwi Ładzieńskiej

Pierwsza po Bogu świata Monarchini,
Obralaś mieysce w Ładzieńskiej pustyni,
Między zwierzęty chcesz mieszkać dzikiemi,
Która Palacy rządysz Niekieskami,
Cóż to jest, że Ty ulubilaś lasy?
Naywięcej Ciebie szukać temi czasy.
Po puszczach, czy to, że sami grzechami,
Wypychamy Cię i z Miast wytrącamy?
Już Zyrowice dawno się wslawiły,
Teraz Boruny, i Sirocin Ci miły,
Brasławie, Suprasł, Mahirow i Kanie
Obralaś sobie najmale mieszkanie.
Krasnobor, Leśną i Bliskie Dudzicze,
Ładzieńską puszcę, a innych nie liczę
Dość, że się teraz po pustyniach gęstych
Kryiesz, chyba dla naszych grechow częstych,
A Duch Cię Święty z pustyni zaprasza,
Wynidź z Libanu, o pociecho nasza!
Lecz gdyś się puste mieysca podobały,
Niech i te będą pełne twoiey chwały.
Y to, że się Ty nie ziawisz innemu,
Tylko prostemu, albo ubogiemu,
Znać, że tych kochasz, jaką sama stała,
Gdyś się pokorą Bogu podobała.
Z tego widoczny ten Document mamy,

Ze Ty nie gardzisz Panno prostakami,
 Królewskiej Pani zapomniawszy stymy,
 Idziesz do Chłopow w piekarniane dymy:
 W Ładzie kołaczysz we drzwi do Kiryka,
 Budzisz! wychodzi i Ciebie spotyka.
 O jakie szczęście Chłopa mizernego,
 Ze Pani Nieba przychodzi do niego!
 Jeszcześ go przedtym kochankiem nazwała,
 Gdyś do innego Chłopa kołatała.
 A gdy ten kwoli tobie nie odmyka,
 Rzekłaś: ja pójdę do mego Kiryka.
 Idziesz i oraz każesz iść za sobą
 A Syn Twój Jezus dziecinną osobą
 Wraz idzie z tobą, Kiryk assystuie.
 Tey, która Niebo na rękę piastuie
 Znalazłszy miejsce sobie ulubione,
 Mówisz: me Imię tu będzie chwalone,
 Niech tu Krzyż stanie, znak Syna moiego;
 Bom nie znalazła miejsca piękniejszego.
 Odpowie Jezus: moia Matko miła,
 To niepodobno, bo wielka mogiła
 Przeszkadza, Matka rzecze: Synu miły,
 Wyrównam ja te, gdy zechcę mogiły.
 Idziesz drugi raz, każesz mu nieść siebie,
 Człowiek nie pozna, czy tu, czy już w Niebie?
 Ciebie piastować, czegoż więc trzeba?
 Jakież to szczęście! niechciałbym i Nieba.
 A gdy Cię nosi, w siłach nie faluie.
 Choć całe Niebo na sobie piastuie.
 Czy możeż większa w pracach być ochłoda,
 Jako Ty źródła Niebieskiego woda?
 Niebieskim światłem przyodziana była,
 Jeszcześ dwie świece w rękę swych nosiła,
 A potymś go mile poglaskala,
 Łaskawie, czy nie ciężko mu? spytała.
 Na to prostaczek, już poznawszy Ciebie,
 Rzekł: nie, Królowo, lżej nie będzie w Niebie.
 Czy nie zemdlaleś? ni, o jak tam miła
 Twoja rozmowa z tym prostaczkiem była!
 Nosi na sobie Niebieskie pieśczoty
 Ubogi, którey Anielskie z ochoty
 Pod Święte stopy mocy, że padaia,
 Za osobliwe sobie szczęście maią.
 Tę, która sam Bóg na rękę piastuie,
 Z wielką pokorą Niebo adoruie,

Przed którą Cherubin, Serafin się wstydzi,
Na swych ramionach jeden prostak widzi.
Nosi po lesie, przez zarosłe knieie,
W nocy to było, alić gdy już dnieie,
Spuszcza się z ramion i pod sosną siada
Panne tam, kędy teraz Święta Lada.
Kazała sobie założyć slobodę,
Na Szpital mieysce, także i na wodę.
Gdzie ma stać Cerkiew, sama ukazała,
Ze się tu moia szerzyć będzie Chwała.
Buduy, jak możesz, dla mnie Świętnicę,
Założ tym czasem choć mała Kaplicę,
Kładź na fundament choć cztery bierwiona,
A więcey ludzkie przyniosą ramiona.
Jeszcze, nie koniec twoiey łaski było,
Tak to Ladzieńskie mieysce tobie miło.
Każesz przychodzić nazajutrz z zarania
Temuż samemu człeku do świtania.
Pełni twój rozkaz, i przede dniem wstanie,
Wychodzi, słucha, aż w Ladzie śpiewanie,
Anielskie trąby, kotły dźwięk wydaia,
Czy Litanie, czy koncert śpiewaia.
Idzie na ten głos Kiryk prosto w Ladę,
Jeszcze sam nie wie, czy na jaką zdradę
Szatańska trafil? czy się zinyśli jemu
Zmarijowały Chłopowi Prostemu?
Aż gdy przychodzi i zdaleka stoi,
Widzi gmin Ludu, a ten wszystek w twoiey,
Panno, usłudze, drudzy się kłaniaia
Tobie, a drudzy wybornie śpiewaia.
W wielkiey jasności, właśnie jakby w Niebie
Kłęczą, a drudzy stoia koło Ciebie.
Y naszych Świętych niezmiernie gromady,
Z Nieba zstąpiły do tey Świętey Lady.
Mędzy którymi jeden celebriuie
Mszą Świętą, na tym mieyscu odprawuie,
Gdzie teraz Ołtarz, a po przeżegnaniu,
Poszli do Nieba wszyscy na świtaniu,
Padnie na ziemię, łzami się zaleie,
Z wielkiey miłości mało co nie mdleie.
Krzyżem na ziemi leży przez czas długi,
Myśli, i jaż to godzien tey posługi?
Wstawszy, powraca, bierze Oyca swego,
Idą obadwa, do mieysca onego,
Wkopuią tam Krzyż, gdzie mu rozkazała

Ta, co na jego barkach spoczywała.
 Cztery bierwiona na fundament kładnie,
 Zatym Kaplica zbudowana snadnie,
 Ludzie na sobie bierwiona nosili,
 Sami Kaplicę małą postawili.
 A dla pomocy kazałaś choremu
 Wstać Fiedorowi na tym przysięgłemu
 Świadkowi ciesli, by co prędzey stała
 W Ładzie dla Ciebie Kaplica choć mała,
 Tyś na powietrzu w światłości widziana,
 Ześ szła do Lady złotem przyodziana.
 A gdy nad Lasy Ładzieńskie przybyła,
 Spuściłaś się tam, kędyś ulubila.
 Te wszystkie Cuda przysięgą przyznane,
 Ze nie w śnie, ale na jawie widziane,
 Gdy Kommissya była od Zwierzchności
 Dla większey tego zesłana pewności:
 Dowie się o tym Lud, że w Ładzie słynie
 Panna Cudami, aż tam zewsząd płynie,
 By łaski twoiey, Maryo, doznali,
 Biegą do Lady i starzy i mali.
 Tyszkiewiczowa zacna Święta Pani,
 Wojewodzina Mińska wielkie dani
 Daie, swe Dobra z Synem zapisuie,
 Bazylianow w tey Ładzie funduie.
 My Chrześcianie grzechami zmazani,
 W troskach wołamy do Ciebie, o Pani!
 Co w Ładzie mieszkasz, w noś proźbę za nami,
 Choć niegodnemi twoiemi sługami.
 Módl się, zastawiaj, niech twoja przyczyna
 Łaskę nam zjedna u twoiego Syna,
 Grzechy nam zgładzi, a Niebo daruie,
 W troskach, frasunkach każdych nas ratuie,
 Niebieska Pani, nasza Pustelniczko,
 Naszą przed Bogiem chciej być Pośredniczką.
 Niech Chrześcianie w każdym swym frasunku,
 Zawsze doznają twoiego ratunku.
 Za grzechy nasze karze Bóg plagami,
 Oyczyznę naszą srogiemi wojnami,
 Uczyni to Panno, ty co mieszkasz w Ładzie,
 Niechay przestaie Bóg na twoiey radzie.
 Niech da Oyczyźnie pokóy pożądaný,
 Nech zrządzi w sercach zgodę między Pany,
 A my cię za to z twym Synem społecznie
 Będziem wychwalać na wiek wieków wiecznie.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См.: Лабынец Ю. Литовская кирилловская письменность XIII–XV вв. и Катехизис М. Мажвидаса // *Senosios raštijos ir tautosakos sąveika: Kultūrinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtis*. Vilnius, 1998. P. 176–182.
- 2 См.: Лабынец Ю. А., Щавинская Л. Л. Полоцк — колыбель Православия на Беларуси. Минск; Полоцк, 1992. С. 35–37.
- 3 См., напр.: Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб., 1848. Т. 2. № 71.
- 4 Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси. Отдел рукописей. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 1–4.
- 5 См. интервью Е. Гедройца, озаглавленное «Prawda w oczy, groch o ścianę» (*Rzeczpospolita*. 17–18 lutego 1996).
- 6 См., напр., перепечатку его статьи: *Скарыніч Бр.* Аб беларусах лацінніках // *Спадчына*. 1992. № 4. С. 76–83.
- 7 *Клімчук Х.* Палякі Беларусі, Украіны, Летувы, Латвіі ў XIX–XX ст. ст. // *Хрысціянская думка*. 1994. № 1. С. 146.
- 8 *Туронак Ю.* Каталіцызм у Беларусі — маштаб праблемы // *Скарыніч*. Мінск, 1991. Вып. 1. С. 235.
- 9 *Пиэцішэўскі П.* Беларускія каталікі — якія яны? // *Наша вера*. 2000. № 1. С. 79. Ср.: *Kabzińska I.* Wśród «kościelnych Polaków» wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi. Warszawa, 1999; *Nowicka E.* Polacy czy cudzoziemcy: Polacy za wschodnią granicą. Kraków, 2000.
- Любопытно, что даже такой вдумчивый и многоопытный исследователь, как С. Литак, по сей день предлагает использовать конфессиональный критерий при определении этнической принадлежности жителей Великого княжества Литовского: «В целом католики латинского обряда — это население литовское и польское, а униаты и православные — руское» (*Litak St.* Stosunki kościelne na ziemiach litewsko-ruskich w latach 1772–1815 // *Ziemie Północne Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w dobie rozbiorowej 1772–1815*. Warszawa; Toruń, 1996. S. 77).
- 10 *Пиэцішэўскі П.* Указ. соч. С. 82–84.
- 11 См., напр.: *Lietuvos valstybino istorijos archyvas*. F. 634. II. № 475, 479, 480, 481 и др.
- 12 См.: *Matuśin S.* Granica pomiędzy Kościołem a Cerkwią Prawosławną na terenie współczesnej Białorusi w wieku XX // *Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce (XI–XX w.)*. В. м. 1997. S. 311–318.
- Обыстроменяющейся ситуации в католическом костеле в Беларуси см.: Канфесіі на Беларусі (канец XVIII–XX ст.). Мінск, 1998; специальный web-site: sacedu.unibel.by.
- 13 Подробнее см.: *Litak St.* Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku: Struktury administracyjne. Lublin, 1996.
- 14 См., напр.: *Turska H.* O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie. Vilnius, 1995.
- 15 Кс. *Ляскоўскі С., Адзіночанка В.* Беларуская мова ў сучаснай каталіцкай Царкве // *Перспективы развития і функцыянавання нарматыўнай лексікі*. Гомель, 1998. С. 182.
- 16 О ситуации с польским языком у католиков Беларуси в свете наблюдения самого последнего времени см., напр.: *Кортюшина Л. В.* Периферийный польский диалект на территории белорусско-литовского пограничья: Современное состояние: Языковая ситуация и заимствования // *Hungaro-Baltoslavica 2000*. Budapest, 2000.

Р. 72–74; *Курьян И.* Отражение белорусско-польских языковых контактов в проекте словаря смешанного говора региона Браслав // Там же. Р. 76–77; *Будько И. В.* Особенности функционирования языка *sasgum* на территории Браславщины (Беларусь) // *Studia Russica XVIII*. Budapest, 2000. Р. 31–34.

- 17 Очень показательна в этой связи популярность среди «новых» католиков Беларуси, и не только, старинного белорусского уннатского гимна «*O moy Boža, wieraŭ Tabie*», который не без влияния новых католических изданий все чаще переписывается кирилловским (гражданским) письмом, а не латиницей, как это было до сей поры.

Необходимо отметить, что за последние годы был издан целый ряд своего рода базовых белорусоязычных сборников, содержащих и паралитургические произведения. См., напр.: Касьцельныя песні. Менск, 1992; *Прыіідзі, Езусе*. Варшава, 1992; *З надзеяй Ойча, да Цябе*. Гродна, 1999 и др.

У католиков Беларуси и польско-белорусского пограничья можно видеть различные печатные фрагменты или же чаще латинографичные списки белорусоязычных кантычек, сочиненных в основном в XX, реже в XIX в, видимо как исключение, в XVIII вв. В абсолютном большинстве случаев об оригинале или протографе этих произведений сказать ничего нельзя. Более или менее точно мы можем указать лишь отдельные ранние издания, представляющие данную традицию. См. напр.: *Kantyczka, abo sabranie nabożnych piesieŭ dla użytku katalikaŭ białarusaŭ*. Wilnia, 1914.

- 18 Ср.: *Костюковец Л. Ф.* Кантовая культура в Белоруссии. Минск, 1975.

Важно подчеркнуть, что процесс перехода из разряда литургических в паралитургические произведения и наоборот вообще практически не изучен. Особенно это заметно на примере восточных славян. См.: *Stem D.* Відносини набожних пісень до літургії у східних слов'ян в XVII–XVIII ст. ст. // *Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrozenia po súčasnosť*. Bratislava, 2000. S. 321–330.

- 19 *Słownik folkloru polskiego*. Warszawa, 1965. S. 160.

- 20 См., напр.: *Kantyczki karmelitańskie: Rękopis z XVIII wieku / Przygot. do wydania B. Krzyżaniak*. Kraków, 1980; *Verkündigung durch Volksgesang: Studien zur Liedpropaganda und Katechese der Gegenreformation*. Berlin, 1981 и др.

- 21 *Słownik folkloru polskiego*. S. 161.

- 22 Подробнее см.: *Щаповицкая Л. Л.* Литературная культура белорусов Подляшья XV–XIX вв. Минск, 1998.

- 23 См.: *Lietuvos Mokslo Akademijos Biblioteka*. F. 18. № 160. Лучший экземпляр из числа сохранившихся супрасльских кантычек, датированный 1799 г., ныне сохраняется в Библиотеке Варшавского университета (сигнатура 4.19.3.70).

- 24 См. напр.: *Mickiewicz A.* *Dziela*. Warszawa, 1955. T. 9. S. 59–63.

- 25 См.: *Krzyżanowski J.* *Szkice folklorystyczne*. Kraków, 1980. T. 1. S. 181–182.

- 26 См.: *Kantyczki: Podług wydania 1785. Przedm. A. Mickiewicza*. Paryż, [1868]. T. 1–4.

- 27 *Kantyczki*. T. 1. S. I.

- 28 *Kantyczki*. T. 1. S. II.

- 29 Мы публикуем один из вариантов этой песни, записанной нами во время экспедиции 2001 г., с сохранением всех основных особенностей оригинала:

Najświętsza Panno, Nowogródzka Pani,
W Zamku twym ściełą suplikę poddani:
Okryj nas płaszczem litości, błagamy,

Gdyż Cię za Matkę miłosierdzia mamy.
 Słynieś łaskami w twoim Wizerunku,
 Nie odmawiając nikomu ratunku,
 Nie spuszczaś tedy i nas z twej Obrony,
 Gdy w Zamku twoim szukamy ochrony.
 Z Ciebie, jak z źródła łask, chorzy czerpać
 Zdrowie, umarli z swoich mar powstają:
 W troskach, kłopotach, za jedno westchnienie,
 Odnoszą smutni hojne pocieszenie.
 Slepym wzrok daieś twym jednym spójrzeniem,
 Wszyscy proźb skutek biorą z wyrażeniem,
 Ześ jest wielkiego pełna użalenia,
 Morze łask wszelkich z własnego Imienia,
 Każdy, kto ufa, przy twoim Obrazie
 Ma swe pociechy, by w największym razie.
 A czemuż Matko szczodra mając rękę,
 Mała od ludzi odnosisz podziękę?
 Odzów się Panno, żeś jest na pustyni,
 Y ledwie który pokłon tobie czyni:
 A twój ony Domek, gdzie daieś Odpusty,
 Wcale odludny, i niemal też pusty!
 Ja grzesznik wielki tego nie uproszę,
 Przecież mą proźbę z pokorą zanoszę:
 Zapal Affekta, któraś oświecała
 Kaplicę w nocy, tak, jakby gorzała:
 A nas w swej świętej miej zawsze Obronie,
 Cudny Boskiego miłosierdzia Tronie,
 Y nie wypuszczaj nas nigdy z Opieki,
 Którzy Ci służyć pragniemy na wieki.

- 30 Mickiewicz A. Dzieła. Warszawa, 1995. T. 4. S. 11.
- 31 См., напр.: Ziemia T. Młodość Mickiewicza: Obraz pierwszych wpływów na rozwój umysłu i charakteru. Kraków, 1887. S. 13.
- 32 М. Пишчковский даже предполагал, что А. Мицкевич мог иметь собрание кантычек, подобное тому, которое попало в руки исследователя. См.: *Piszczkowski M.* Nieznany kancjonał z przełomu XVIII i XIX w. // *Ruch Literacki*. 1966. Z. 6(39). S. 299.
- 33 См., напр.: Адам Мицкевич і Беларусь. Мінск, 1997; Адам Мицкевич і нацыянальная культура. Мінск, 1998.
- 34 См., напр.: *Stankiewicz S.* Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej. Wilno, 1936.
- 35 Любопытны в даної связи, к примеру, слова Роберта Стиллера, прозвучавшие в преддверии 200-летнего юбилея А. Мицкевича. См.: *Stiller R.* Wciąż klamać o Mickiewiczu // *Wiadomości Kulturalne*. 1998. № 9 (197). S. 8.
- 36 *Pilat R.* Nieznana rozprawka Mickiewicza o Karpińskim // *Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza*. 1890. T. 4. S. 181.

- 37 Так, кантычки, сочиненные Ф. Карпинским, издавались базиллянами в Супрасльском Благовещенском монастыре. См., напр.: *Pieśni nabożne. Supraśl, 1792*. В это время поэт находился неподалеку от Супрасля в Заблудове, где служил у Радзивилов.
- 38 См. великолепное факсимильное переиздание одного из супрасльских томиков его кантычек по экземпляру из собрания Библиотеки Института литературных исследований РАН: *Karpiński F. Pieśni nabożne. Supraśl: Współczesna Oficyna Su-praska, grudzień 1992*.
- 39 В 1898 г. на эти слова А. Мицкевича обратит внимание С. Здзярский в своей книге о народных основах его поэзии. См.: *Zdziarski S. Pierwiaszek ludowy w poezji A. Mickiewicza. Lwów, 1898. S. 18*.

Нельзя не привести в данной связи и еще одно мнение, высказанное А. Мицкевичем: «Dla Słowianina nie masz nic ciekawszego nad śledzenie i kreślenie dziejów postępu i ustalania się języka polskiego na ziemiach ruskich». См.: *Mickiewicz A. Dzieła. Warszawa, 1955. T. 9. S. 6*.

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ В «КРЫМСКИХ СОНЕТАХ» А. МИЦКЕВИЧА

В каком бы аспекте и с какой бы методологией мы ни подходили к тексту, прямо или опосредованно мы всегда имеем дело с феноменом художественного *восприятия*. Оно — психологический импульс для создания текста, необходимое условие для художественной реализации сложного комплекса самых разных впечатлений и переживаний автора, звено в информационной цепочке, обеспечивающее прочтение — то, что мы называем обратной связью.

Представляется интересным взглянуть с этой точки зрения на «Крымские сонеты» Мицкевича.

Первый вопрос, который возникает при этом, касается психологической ситуации, предшествовавшей и сопутствующей созданию цикла, и внутренней установки самоощущения, аккумулировавшей многие внешние обстоятельства жизни поэта того времени.

Вероятно, не будет натяжкой предположение, что ключевым переживанием для Мицкевича тогда было само обстоятельство высылки его в Россию. Основная эмоция — эмоция изгнания. В ее поле, кстати, семантика образа пилигрима, с которым себя идентифицировал поэт, приобретала особый, личностный смысл.

Не менее существенным было и пребывание в совершенно непривычном для молодого поляка южном городе, каким была Одесса, и пережитый именно тогда опыт новой и достаточно жесткой, как оказалось, реальности. Так что ощущение одиночества, а в известном смысле своей исключительности, отдельности в этой чужой реальности, усиливающее тоску по родине и воспоминания о пережитой там любви, было психологическим фоном, на который накладывались впечатления от поездок сначала в Аккерман и его окрестности, а затем в Крым.

Одиночество, исключительность, обособленность как доминантные душевные состояния проецировались на чужое пространство и чужое время. Так до текста задавался масштаб самоощущения лирического героя.

Эти поездки несомненно дали Мицкевичу совершенно новые для него впечатления исключительной силы. Можно представить силу воздействия на молодого поэта красок, ландшафта, природы Крыма.

Но одно дело — впечатления свободного человека и другое — впечатления как бы навязываемые. Одно дело — впечатления жителя

России, частью которой Крым стал всего каких-то несколько десятилетий назад и которой стремительно обжился, и другое — впечатление человека, чья родина находится в зависимости от России, по вине которой он сам оказался изгнанником. Россия чужда и навязана ему. И Крым, как бы прекрасен сам по себе ни был, навязан тоже.

Так что между тем, *что* являлось тогда взору любого путешествующего по Крыму человека, и тем, *что* и *как* воспринимал поэт-изгнанник, масса несовпадений. Каждое мгновение создает ту или иную — колеблющуюся в большом эмоциональном диапазоне — тональность переживания получаемых впечатлений. Хаотичность и разнообразие их структурирует память. Разнонаправленные, противоречивые импульсы, которые невозможно даже просто учесть, трансформируются в образы, требующие определенной системы упорядочивания — т.е. поэтической формы.

Такова приблизительная схема работы восприятия.

То, что видел и непосредственно переживал Мицкевич во время поездки, существенно отличается от того, что выражено, отражено, воплощено в тексте «Крымских сонетов».

Известно, что по крайней мере часть сонетов родилась сразу. Но известно также, что текст, который более полутора веков читают, переводят на другие языки, изучают, возник в результате кропотливой многомесячной работы. Он выверялся и выстраивался. И Мицкевич при этом не ограничился лишь своими впечатлениями, своей памятью — он обращался к другим источникам. Поэт не ограничился только стихами, но дал к сонетам еще и комментарий, объясняя те или иные реалии.

И еще одно немаловажное обстоятельство. Работа шла в канун и непосредственно после декабрьского восстания. Книга сонетов вышла, когда пятеро декабристов были казнены. Среди них близкий знакомый Мицкевича и первый его переводчик на русский язык — Рылеев.

Зловещую тональность атмосферы, в которой Мицкевич работал над циклом, в которой потом сонеты были прочитаны первыми читателями и которая создавала эмоционально уже закрытые от сегодняшнего читателя, а тогда необычайно действенные аллюзии его восприятия, тоже надо иметь в виду. Хотя бы потому, что эта атмосфера окрашивала (а может быть, в значительной степени задавала) установку поэтической памяти.

Итак: был реальный Крым. Южная природа. Море, горы с их необыкновенно сложным, отражающимся друг в друге ритмом. Потрясающей красоты виды — впечатления от природы как таковой. Для европейца Крым являлся тогда образом Востока (и во многом был им после совсем недавнего существования Крымского ханства). И для Мицкевича это было первое его личное переживание Востока.

К тому времени сложилась поэтическая модель европейского ощущения Востока, и Крым не мог восприниматься Мицкевичем вне художественного опыта Гёте или Байрона, недавно им прочитанных. Через Байрона Мицкевич вживался в столь близкое ему по мироощущению мессианское предназначение романтического поэта.

И, наконец, это время увлечения сонетами Петрарки, усиленного идентификацией с их содержанием своего любовного опыта, т.е. к моменту крымского путешествия психологически притягательным для Мицкевича образцом поэтической формы был сонет.

Таковы источники впечатлений и установки восприятия — эстетической и мироощущенческой.

Последовательность сонетов в цикле, как известно, не совпадает ни со временем их написания, ни с последовательностью посещения Мицкевичем тех или иных мест в Крыму.

Так, четыре бахчисарайских сонета и сонет о Чуфут-Кале, который должен был бы следовать за ними, в цикле разведены, и очень значительно. Точно так же два алуштинских сонета отделены от сонета «Аю-Даг». Есть и еще ряд топографических перебросов. То есть цикл сонетов никак не является ни путевым дневником, ни сборником лирических стихов о путешествии.

Конкретных мест, которые, вне всякого сомнения, видел в Крыму Мицкевич, на самом деле было неизмеримо больше, чем вошло в сонеты. Причем мест не менее ярких.

Впечатления от путешествий — всегда в первую очередь зрительные.

Зрительное же восприятие, по словам его известного исследователя Грегори, вовлекает многочисленные источники информации помимо тех, которые воспринимаются глазом, когда мы смотрим на объект. В процесс восприятия, как правило, включаются знания об объекте, полученные из прошлого опыта, а этот опыт не ограничивается зрением, предполагая и другие ощущения. Вещи — не больше чем набор стимуляций, они имеют прошлое и будущее, когда мы знаем прошлое предмета и можем предсказать его будущее, восприятие предмета выходит за пределы опыта и становится воплощением знания и ожидания, без которых жизнь даже в простой форме невозможна.

В случае с Мицкевичем роль прошлых знаний играли существующие и значимые для него образцы поэтических описаний Востока, культурная его интерпретация, а непосредственные зрительные впечатления — это бесконечное разнообразие крымских ландшафтов и пейзажей, их красок.

Пейзаж в поэзии так или иначе отражает внутреннее состояние человека. Он психологичен.

Для Мицкевича это чужой пейзаж. Это — во всяком случае поначалу — чужая и чуждая красота, чем-то, возможно, усиливающая чувство одиночества. И потому, что она не свободно им выбрана, она для него еще более чужая и чуждая.

Интересно, что первым (или одним из первых) сонетов, написанных еще в Крыму, был «Пилигрим». Но пейзажа как такового там нет. Он лишь намечен упоминанием Байдар («slowiki Bajdaru», «Salhiry dziewice»). Два упоминания о цвете: небо цвета сапфира и золотые ананасы (которые, кстати, в Крыму не растут) — канонические признаки южной экзотики. Зато в этом сонете есть прямо выраженная отстраненность как главная психологическая краска самоощущения, чувство одиночества. «Если душа закрыта, — писал через сто с лишним лет о связи восприятия цвета с психическим состоянием человека В. Кандинский, — то цвет не оставляет сильного и долгого эмоционального впечатления». Но воспоминание о нем и его воздействии остается в памяти и может быть оттуда извлечено.

Это едва ли не самый открыто лирический, не переусложненный метафорами сонет. В цикле он окажется в середине, и это место, и контекст несколько изменяют его прочтение.

Все элементы ландшафта — степь, море, горы, долины, ущелья, руины — в крымских сонетах так или иначе присутствуют. В то же время почти ни в одном сонете нет конкретного пейзажа, он всегда обобщен, составлен как бы из *символов* крымских реалий. Но при этом достаточно абстрактным морским картинам Мицкевич испытывает необходимость придать признаки топографической достоверности. Он дает подзаголовок к «Морской тишине» («Na wysokości Tarkankut»), комментарий к «Буре» («Na wysokości Kikineis»).

В крымских сонетах создается иллюзия одновременности наблюдения, переживания и описания (слова «здесь», «уже», «там», «еще», «эти», глаголы в настоящем времени) и конкретности описания (топонимы, ориентализмы в самом тексте).

Душевное состояние, в котором воспринимается конкретный пейзаж, сам процесс созерцания и отклика, всегда состоящего из непосредственных впечатлений-импульсов, которыми созерцание сопровождается, — все это внутреннее движение, отодвинутое во времени, достаточно сложно закодировано в сонетах образами, имеющими для читателей-современников набор общепонятных расшифровок и ассоциаций — в структуре бытовавшего тогда художественного языка.

Установка памяти превращает конкретный пейзаж в символическую картину непривычной природы, сюжет которой разворачивается в двух катренах сонета. Этот сюжет должен вызвать определенное

впечатление и отношение к картине. После чего в двух терцетах идет параллельный первому второй — собственно психологический и метафизический — сюжет, в котором непосредственно присутствует лирический герой (или автор) и в котором он говорит *о себе*.

Конечно, такая внутренняя композиция, упорядочивающая психологический хаос, продиктована традицией построения сонетной формы: оба катрена всегда ведут линию подъема, развязка же, рефлексия совершается в терцетах, где особенно выразительной должна быть заключительная строка. Характерен в этом отношении, например, морской триптих, где проводятся традиционные романтические параллели: море—мысли, ветер—дух. И все же выбор именно сонетной формы, я думаю, был интуитивно очень точен: именно такая композиция давала возможность пережить и изжить то состояние чужести и чуждости, о котором речь шла выше.

Характерно для крымских сонетов соединение в одном описании, имитирующем непосредственность зрительного впечатления, *нескольких* его стадий.

Так, в «Бахчисарае ночью» возникает картина наложения друг на друга разных времен, когда одновременно присутствуют несовместимые в реальности детали. Упоминается «рубин зари» (т. е. заход солнца, который в Бахчисарае мгновенно сменяется темнотой), появляются звезды — т. е. это уже время *после* наступления темноты, и одновременно видны «safirowy przestwór» (т. е. небо) и плывущее облако («jeden obłok, jak senny łabędź na jeziorze, pierś ma białą, a złotem malowane krańce») — это впечатления, предшествующие тьме. То же самое — тень от минарета и кипариса, которая должна быть видна раньше, до наступления полной тьмы. Небо, которое внезапно освещает молния, днем, а не ночью, видится лазурным.

Эффект наложения пейзажа на пейзаж (т. е. теперь уже пространства на пространство) есть в алуштинских сонетах, где соединены *разные* места в окрестностях Алушты, разные точки обзора.

Этот эффект называют сегодня в психологии зрительного восприятия *несовместимой информацией*. Он возникает при чрезмерном эмоциональном напряжении, при перегрузке от впечатлений, когда перцептивная система начинает работать по своей логике, а не по логике «рассуждающих систем».

Отсюда почти сюрреалистический образ:

A gdy spieniony rumak nie słucha rozkazów,
Gdy świat kolory traci pod całunem mroku,
Jak w rozbitym zwierciadle, tak w mym spiekłym oku
Snują się mary lasów, i dolin, i głazów.

В сонете «Вид гор из степей Козлова», откуда действительно открывается вид на Чатырдаг, непосредственное впечатление на самом деле скорректировано *уже* имевшимся знанием. Восстанавливая в памяти картину, Мицкевич *уже* знал, каков Чатырдаг, он *уже* поднимался на него, *уже* испытал особое чувство его высоты. Это впечатление от впечатлений, испытанных, прожитых, отрефлексированных в разное время. По сюжету же цикла этот сонет идет сразу после морских и в нем описывается одно из первых впечатлений от Крыма.

Крым — это невероятное разнообразие красок. В то же время в сонетах прямо названного цвета, цветовых пятен вообще немного. Одно-два на сонет, а то и ни одного. Несколько больше их в «Бахчисарае ночью» и «Алуште днем». В трех морских сонетах — всего одно цветое пятно («Słońce krwawo zachodzi»).

Правда, Мицкевич использует опосредованные указания на цвет — как, например, «kwiatów powódź», «morze lodu», «łabędź», «niby tęczy kosa» и пр. Цвет выступает как элемент сравнения или часть метафоры. Он не дан, а описан. Гораздо чаще встречаются образы блеска («błyszczący obłok», «srebrny król nocy», «błyskawica», «świeca gwiazd gromady», «iskra oka», «srebrne śniegi» и пр.) или контрасты темный/светлый («Tu cień pada z menaru i wierzchu cyprysa / Dalej czernią się kołem olbrzymy granitu»; «Pod namiotem ciemności», «Czy wzrok twój ognia pełen, nim zgasnął w mogile / Tam wiecznie lecąc jasne powypalał ślady?»).

Очевидно, зрительные ощущения — и в первую очередь ощущение цвета, эмоциональное его переживание — для Мицкевича в силу той же их «навязанности» долгое время оставались как бы отстраненными, внешними. Они восхищали, удивляли, слепили, поражали, но изначально были чужими, не созвучными тому, что ощущалось как *свое*.

В сонетах, где особенно много Востока, это душевное состояние особенно сильно — хоть и опосредованно — выражено через цвет. Интересно, что цветовые аккорды демонстрируют поразительную *психологическую* точность поэтической памяти Мицкевича. Скорее всего, он не думал об этом сознательно и вряд ли знал законы воздействия цвета. Теория цвета Гёте, правда, к этому времени уже появилась (1810), но знал ли ее Мицкевич? Да и не в этом дело. Из бесконечного разнообразия красок Крыма, их фантастических превращений поэт выбирал именно те сочетания, в которых ему виделось его собственное душевное состояние.

Несколько наблюдений над восприятием слуховых впечатлений. С наступлением темноты акцент переносится на звук. В «Аккерманских степях» постепенно исчезают цветовые пятна («zieloność», «ko-

ralowe ostrowy burzanu»), последнее зрительное впечатление — «błyszczący obłok», «błyszczący Dniestr», затем остаются звуки — «jak cicho», «słyszycie ciągnące żurawie», «słyszycie, kiedy się motyl kołysa na trawie», весь последний терпет: «Kiedy wąż śliską piersią dotyka się ziola. / W takiej ciszy! — tak ucho natężam ciekawie, / Że słyszałbym głos z Litwy. — Jedźmy, nikt nie woła!».

Подобным образом в «Алуште ночью» первая строфа заканчивается строкой «I gaśnie. Błędny pielgrzym ogląda się, słucha:», вторая же построена на звуках («źródła szemrzą») и запахе («powietrze tchnące wonią, tą muzyką kwiatów»). Психологически это очень точно переданное состояние.

Обращает внимание то, что все воспоминания о родине связаны в «Крымских сонетах» со слуховыми впечатлениями.

...tak ucho natężam ciekawie,
że słyszałbym głos z Litwy.

(«Аккерманские степи»)

Podróźni często przy twym rozinawiają grobie
I mnie wtenczas dźwięk mowy rodzinnej ocuci;
I wieszcz, samotną piosnkę dumając o tobie,
Ujrzy bliską mogilę i dla mnie zanuci.

(«Могила Потоцкой»)

Litwo! pialy mi wdzieczniej twe szumiące lasy
Niż słowiki Bajdaru, Salhiry dziewice.

(«Пилигрим»)

И это тоже подтверждение гениальности поэтической интуиции и точности памяти. Известно, что зрительные перцепции требуют меньшей эмоциональности. Они более рационалистичны. Возможно, это связано со скоростью усвоения зрительной информации. Но это известно сегодня и не было известно во времена Мицкевича. Тем не менее самый уровень его личных переживаний, существующая для него на глубине подсознания шкала значимости — все это совершенно точно зафиксировано в поэтике его сонетов. Слово, которое «вытянуто» из зрительной, слуховой памяти, точно передает душевную вибрацию.

Единицей образа — в соответствии с поэтикой романтизма, но и с тогдашним душевным состоянием поэта — оказывается в «Крымских сонетах» достаточно усложненная и насыщенная метафора. Она похожа на скрученную в спираль ассоциативную цепочку. Ощущение, происхождение которого можно вначале только зафиксировать, соединяется затем с другими, которые уже невозможно вычлениить, и

«на выходе» дает картину эмоционального состояния, ассоциированного с работой памяти. Опосредованный цвет в такой метафоре-спирали, как и включенные в нее символы или реалии, интегрируется во внутренний опыт.

Сама же эта цепочка — выбор и перебор громадного числа живых впечатлений, пропущенных сквозь обобщающее устройство памяти и установки личности — прежде всего установки данного момента. Именно она влияет на ход ассоциаций, на то, что память блокирует, а что пропускает и чему находит языковой эквивалент.

Огромное количество метафор связано с водной стихией: «Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, / Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi; / Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, / omijam koralowe ostrowy burzanu», «morze/myśli», «morze lodu», «dla światów żeglujących po morzu natury», «potop złoty», «Lasy, doliny, głązy, w kolei, w natłoku / U nóg mych płyną, giną jak fale potoku», «myśl, jak łódka wirami kręcona», «myśl/kotwica» и пр.

Известно, что романтизм открыл многозначность поэтических смыслов моря (до этого времени образ моря оказывался чаще всего или реминисценцией из античной литературы, или составной частью аллегории). По словам Ю. Бахужа, именно с «Крымских сонетов» «начинается карьера моря в польской романтической поэзии»^{*}, и не случайно, что романтическая поэзия моря началась с переживания моря как некоей универсалии. Образ его связан у романтиков со стремлением к бесконечности, к более глубокому переживанию многозначности бытия, мощи стихии, битвы, поражения, полета, одиночества. (Правда, в психоанализе, который в своей главной части — теории бессознательного — был предсказан еще в первой половине XIX в., море олицетворяет угрозу.)

Но удивительно: в морских сонетах при всей их аллегоричности и символической гораздо больше иллюзии непосредственного переживания, даже личного приятия стихии воды — движения, обещающего перемены, — чем в «горных» застывших впечатлениях. Подъем на Чатырдаг, откуда открывается вид действительно неслыханной красоты и величия, рождает ощущение существования «наедине» с небом, возможности невозможного.

Представить себе, что Мицкевич, глядя на открывающийся с Чатырдага Крым и море, не был захвачен этим мгновенным впечатлением, трудно. Но в сюжет сонета вошло другое переживание — результат сложной и длительной рефлексии. Чатырдаг сравнивается

^{*} Bachórz J. Akwaticzne motywy: jezioro, rzeka, morze // Słownik literatury polskiej XIX wieku. Wł., 1997. S. 9.

со стеной, минаретом мира, мачтой крымского корабля, тронем из заледеневшей тучи, морем льда, падишахом гор, маяком и т. д. И в нем все-таки нет освобождающего чувства высоты.

Несколько слов о композиции.

Чередование трех (в одном случае — четырех) сонетов и затем одного, выделяющегося содержанием и присутствием ярко выраженного лирического героя («Аккерманские степи», «Вид гор из степей Козлова», «Байдары», «Пилигрим» и «Аюдаг»), действительно отмечает очередной этап внутренних переживаний, движение психологических состояний. Один такой сонет каждый раз как бы начинается новую их тему.

Цикл почти точно делится на две части. От грусти и меланхолического созерцания в «Аккерманских степях», тяжелых и контрастных переживаний и впечатлений в бахчисарайских сонетах (ночь, смерть, глени, могилы, руины, равнодушное, чуждое величие природы) — через просветляющие и более свободные от привязки к восточным реминисценциям впечатления от красоты Байдар — к алуштинским сонетам, где зеркально повторяется смена дня и ночи, но уже без концентрированной тяжести бахчисарайских стихов. Правда, здесь-то и возникает чужой и холодный в своем величии Чатырдаг, воспоминание о пропасти в Чуфут-кале (щель мира), но эти картины и состояния сменяются видом с Кикинеиза на «голубую степь вод» (вспомним ощущение степи как зеленого океана в «Аккерманских степях»), затем снова возникает тема руин («Развалины замка в Балаклаве»), но тональность ее совершенно иная — преходящесть всего земного здесь не ужасает и не поражает. И, наконец, спокойный «Аюдаг» («*Lubię poglądać wsparty na Judahu skale...*»). Последняя проверка полученного душевного опыта и принятой в соответствии с ним оптики.

Мицкевич очень точно, как можно видеть, выстроил цикл как определенный *психологический* сюжет. Он точно передал, видимо, даже какие-то объективные — в основе своей геофизические — причины контрастных и сгущенных душевных состояний и переживаний, охватывавших его в разных частях Крыма.

Можно сказать, что цикл выстроен по законам музыкального произведения. Видимо, размещая сонеты так, а не иначе, Мицкевич по-своему слышал движение и смену заключенных в них душевных состояний. И в этом он тоже оказался конгениален тем прозрениям, в которых интуитивно уже тогда ощущалось глубочайшее внутреннее родство звукового (слухового) и цветового (зрительного) восприятия, основанного на едином механизме *модуляции чувствительности*.

Это лишь некоторые наблюдения, связанные со спецификой художественного восприятия Мицкевича.

Добавим, что в подтверждение некоторых предварительных интуиций было бы очень заманчиво сделать сплошной звуковой анализ сонетов с точки зрения частотности в них «светлых» и «темных» звуков, провести сплошную расшифровку присущей Мицкевичу в сонетах избирательности цвета и цветовых сочетаний в соответствии с классификациями смыслов психологического воздействия цвета, расшифровать составные некоторых метафор, в которых оказываются самым неожиданным образом спрятаны топографические реалии, и т. д.

Если «внутренняя эмоциональная жизнь», по словам современника Мицкевича Делакруа, «проявляется сущностным образом посредством цвета» — но также, добавим, и звука, — то поэзия существует для того, чтобы своими средствами сказать о ней.

MARIA JANION

MISTYKA CZY ZABOBON

Tu patrz! jak straszne są duchowe sprawy!

I za życia, i długo jeszcze po śmierci twórczość Słowackiego nie cieszyła się zbyt pochlebnymi opiniami. Jeden ze współczesnych mu krytyków emigracyjnych napisał nawet o «wielkiej niezgodzie w ogólnym pojmowaniu poezji między Polską a p. Słowackim». Ale to, co spotkało opublikowany w Paryżu w roku 1844 «romans dramatyczny w pięciu aktach» — «Sen srebrny Salomei», nacechowane było wyjątkową nieprzychylnością. Przede wszystkim nie podobał się matce poety, Salomei Becu, dla której miał być prezentem imieninowym; aluzja do dnia imienin znajduje się w finale dramatu, a i tytuł, i różne wzmianki w tekście wskazują na to, jak ważną postacią była ona w tym utworze rozkochanego w niej (jeśli sądzić na podstawie słynnych listów do matki) syna. Pierwszy monografista poety, Antoni Małecki, uważał, że «Sen srebrny Salomei» to utwór całkowicie poroniony: jakkolwiek zamysł był wielki, to niedorzeczne wykonanie zepsuło wszystko i pozostawiło odbiorcę w labiryncie, z którego nie ma wyjścia. Józef Tretiak w swej słynnej, wydanej na początku naszego wieku, monografii życia i twórczości Słowackiego nie znał litości — żywy wiersz nawet pochwalił, ale jednak to, co zostało w nim powiedziane, zdezwuouwał całkowicie: osoby dramatu zaczynają «bredzić gorączkowymi obrazami lub w nieprawdopodobnych występować sytuacjach». Nawet taki zapalony wielbiciel Słowackiego, jak Juliusz Kleiner, w swej epokowej, wielotomowej książce o Słowackim, nie mógł się powstrzymać od ciężkich zarzutów. Skierowane one były przeciwko towianistycznym deformacjom widzenia codzienności — w ciemnym natrętnej, małostkowej wykładni tajemniczych znaków Bożych. «Wystarczy odebrać mistyce wielkość i duchowy rozmach, a stanie się zabobonem. Ideologia «Snu Srebrnego» nie ma wielkości ni rozmachu...», pisał, wyrzucając swemu ukochanemu poecie pomieszanie poważnej postawy mistycznej wobec zjawisk życia codziennego ze zwykłym, ciemnym zabobonem. Dopiero właściwie inscenizacje teatralne dramatu Słowackiego — przedwojenne i powojenne — przywróciły mu blask i stały się zarzewiem nowej debaty o sensie i wartościach mistycznego dzieła Słowackiego.

Sam poeta był jednak nieodmiennie ze swego utworu bardzo zadowolony, co pobudziło niektórych historyków literatury do wyrzucania mu braku autokrytycyzmu. Musimy jednak opowiedzieć się po stronie Słowackiego: dramat jego jest znakomity. Pisał go w uniesieniu — w liście

do matki wyznał, że tworzył «Sen» w stanie radości i zachwycenia; widać to w cudownej melodii wiersza. Najwyższym autorytetem moralnym, ale i poetyckim był dla niego wówczas Chrystus. I właśnie przed nim — dowodził — mógłby deklamować fragmenty ze «Snu srebrnego Salomei».

Gdy próbował matce w liście z 30.XI.1844 detalicznie objaśnić swe dzieła mistyczne, natknął się na nieprzezwyciężone trudności i pokonał je w zdaniach wskazujących na niezwykłą inspirację poetycką, na napór obrazów, którym bezwolnie ulegał, przekonany o ich wyższym pochodzeniu: «Teraz ci powiem, droga moja, że ja sobie żadnego z moich utworów terazniejszych wytłumaczyć nie mogę — nie wiem bowiem, skąd przychodzą i dokąd idą — ale czasem względem nich są dziwne okoliczności, które mi dowodzą dziwnego związku tych rzeczy ze światem niewidzialnym, a stąd i potrzeby ich dowodzą...»

Świat niewidzialny to świat duchów. Słowacki w okresie mistycznym nieraz mówił, że duchy dyktowały mu jego utwory albo że były blisko niego, gdy pisał «jak szalony» — w wielkim natchnieniu i z wewnętrznym, głębokim zrozumieniem ludzkości i kosmosu.

Opętany przez duchy, żyjący w transie, uchodził na emigracji za wariata. Krasiński ironicznie relacjonował Cieszkowskiemu, co mówiono w Paryżu o Słowackim: «Gaszyński dodaje, że jemu piana brzegiem ust się sączy, oczy dziki wzrok mają, gdy rozprawia i utrzymuje, że posiadał trzy słowa, które wszystko tłumaczą — itd., itd. W liście zaś jego do mnie wciąż mowa o duchach i opowiadanie dialogów z nimi!»

Najistotniejsze odkrycie poety-mistyka dotyczyło śmierci. Upamiętnienie sobie «wiekowych dziejów ducha mego» służyło objawieniu prawdy, że «wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzonym jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje...» Niszczenie materii powoduje postęp ducha. Dlatego w toku ewolucji niektóre duchy świadomie ofiarowywały się na śmierć, porzucając zużyte poprzednie formy.

Friedrich Dürrenmatt w ostatnim przedśmiertnym wywiadzie z roku 1990 powiedział, że nie boi się śmierci, gdyż zgłębienie jej konieczności należy do poznawczych obowiązków człowieka. Śmierć to podstawa ludzkiej kultury, która została zbudowana w opozycji do śmierci. A jednak śmierć powinniśmy pojmować jako coś naturalnego — bez niej nie byłoby ewolucji: «Gdybyśmy byli nieśmiertelni, całą powierzchnię Ziemi zajmowałaby galareta jednokomórkowców». Słowacki wierzył w nieśmiertelność ducha i swoje myśli wypowiadał w stylu mistycznej gnozy. Ale myśl o ewolucji jest podobna, jakkolwiek towarzyszy jej nienawiść do materii. «Przez przyspieszenie śmierci ciał przyspieszał się pęd duchowy żywota, a śmierć jako prawo formy została, że tak powiem, królową mask, powłok i szat duchowych i dotychczas jest marą bez żadnej

rzeczywistej władzy nad stworzeniem». Fantazmat gnostycki Słowackiego mistycznego powtarza bezustannie figurę zniszczenia materii przez jej pożarcie. Ryszard Przybylski w znakomitej rozprawie «Śmierć Saturna» ukazał Anioła Transfiguracji Materii, pracującego w wielkiej «fabryce ducha», jaką jest świat dla Słowackiego. Duch pochłania całą materię, przeaniela ją w «męce ciała».

Niszczenie materii łączy się z poszerzaniem świadomości. Słowacki, studiując w okresie mistycznym rozmaite doktryny ezoteryczne, pragnął, podobnie jak ich twórcy, obudzenia uśpionych ludzkich możliwości percepcji świata. Mogło się to dokonywać na drodze sięgania do tzw. imaginacji aktywnej. Tworzyła ona nowy porządek pojmowania rzeczywistości, pochodzący nie od wiedzy, nie od wiary, lecz od wyobraźni. Gnostycy ustanawiali w ten sposób trzeci świat, łączący to, co rozumiane i to, co odczuwane, w obrazach ezoterycznych, zakorzenionych w nieświadomości głębinowej. Pojawia się idea mocy sprawczej wyobraźni. Widoczna jest ona u silnie działającego na romantyków, szesnastowiecznego filozofa natury i lekarza, Paracelsusa (według niego wyobraźnia to «słońce wewnętrzne» i magiczna siła aktywna, która potrafi ucieleśnić to, co sobie zaprojektuje), i objawi się u dwudziestowiecznego Artauda, który pisał o «nieobliczalnym przejściu obrazu myślanego w obraz prawdziwy: na przykład człowiek, co bluźni, widzi nagle, jak obraz jego bluźnierstwa nabiera prawdziwych kształtów». Podobne pomysły o substancjalności snu, jak i wyobraźni mamy przecież w «Królu-Duchu», gdy duch bohatera wychodzi z ciała podczas snu — i morduje.

Narzędzie ludzkiego widzenia twórców wyobraźni — oko — jedyne żyje światłem, twierdzili gnostycy. Reszta tkwi w błocie materii. W żrenicy widać głębie duszy i odbłask boskiego światła. «To punkt magiczny, w którym człowiek i bóg spotykają się i łączą» (Lacarrière o gnostykach). Stąd szaleństwo widzenia, które jest tak charakterystyczne dla mistycznej twórczości Słowackiego.

Również oczywiście dla «Snu srebrnego Salomei», poczynając już od koloru srebrnego, który, jak obliczono, pojawia się w całym dramacie aż trzydzieści cztery razy i może symbolizować również «srebrny» ideał Ukrainy. Nad wszystkim górują obrazy śmierci, zadawanej wśród niesłychanych krwawych okrucieństw. Wydarzenie historyczne, które służy dramatowi Słowackiego za ośnowę, dostarczało wyjątkowego materiału. Zwany koliszczyzną lub hajdamaczyzną bunt ukraińskich kozaków w roku 1768 przeciw polskiej szlachcie obfitował w obrazy «męki ciała» po obydwu walczących stronach. Śmierć staje się rzeczywistą dramatyczną promotorką purpurowej tragedii Słowackiego. «Tu patrz! jak straszne są duchowe sprawy!», możnaby powiedzieć słowami z «Króla-Ducha».

Gdyż «męka ciał» musi być znakiem w mistycznej hierarchii wartości. Zbuntowany Semenکو zostaje powolnie strawiony przez ogień. Ogień, który «ciało odbiera i rozkłada», który wymierza karę «zniszczeniem kształtu». I dlatego Sawa, ujrawszy «straszłą marę» Semenکی, «lezące pogorzelisko», «widziadło», któremu uciął ręce i które za nim goniło, tak może jego sprawę w dramacie zakończyć:

*I aż tutaj, pode dworem,
Na piasek złoty upadło,
Wylawszy dwa koralowe
Strumienie... co zda się piszą
Prześwięte y Jezusowe...*

Szlachcic Gruszczyński, który zaleniwił się wśród «wiejskich słodczy» i nie poszedł do konfederacji barskiej, ponosi karę podczas koliszczyzny, ale znajdując się wyżej niż Semenکو w hierarchii duchów męczeńskich. Przez Chrystusową ofiarę bowiem osiągnął ś w i a t ł o duchów najwyższych. Mówi Pafnucy o jego śmierci:

*Słońce tej okropnej sceny,
Słońce jasne, jego głowa
Spokojna, a purpurowa
Od męki ciemniów serdecznych;
Jakoby w kręgach słonecznych
Dziś mi przed oczyma staje.*

Nad koliszczyzną unosi się zatem słońce umęczonych. Nie ma absurdu historii jako krwawej rzeźni. Męka ciał przez «ogień» prowadzi ku «światłu» — taka jest wykładnia «Snu srebrnego Salomei» w mistycznym języku estetyki i etyki Słowackiego. «Historia, ta męka ciał — pisał Słowacki do Krasińskiego w słynnym liście z 17.I.1843 — staje się nauką duchów, wszystko się wyjaśnia — Bóg się pokazuje z każdej mgły, z każdej chmury». Historia została uświęcona i usensowiona całkowicie i bez reszty. Tłumaczy się w niej najdrobniejszy szczegół, a sam sposób umierania ma rozstrzygające znaczenie.

Wszystko jest znakiem, zdaje się mówić Słowacki. «Jednej plagi, jednej choroby nie ma przysłanej na próżno...», dowiadujemy się z cytowanego już listu do Krasińskiego. «Sen srebrny Salomei» usiany jest znakami tajemnicy, znakami stamtąd. Przypomnijmy: sny, wizje, reminiscencje, przeczucia, zapowiedzi, zwidzenia, przepowiednie, proroctwa, znaki wróżebne, czasem fałszywie przez bohaterów odczytane, ale zsyłane przez duchy, które bezustannie ostrzegają, niekiedy nadaremnie. Przeświadczenie Słowackiego o celowości wszystkiego każe sądzić, że nie ma u niego przypadku. Mnogość znaków i ich spójność we wzajemnym oddziały-

waniu dowodziłyby istnienia w dramacie głębokich struktur mitycznych, o których pisze George G. Grabowicz w swej rozprawie o micie Ukrainy w «Śnie srebrnym Salomei».

Sam dramat zbudowany został na takiej głębokiej strukturze mitycznej, jaką stanowi sen. Bohaterka tytułowa żyje w dziwnym stanie somnambulicznym, jest postacią mediumiczną, letargiczną, obcującą z duchami. O swych kontaktach zaziemskich wprawdzie mówi wprost po to, by zagrozić niewiernemu kochankowi, ale jest to prawda jej życia:

*Bom jest na to podmówiona
I udarowana mocą
Przez duchy...*

Podobnie zresztą, a nawet może w większym stopniu, panowaniu duchów poddana została druga postać kobieca Snu, a mianowicie Księżniczka. Akcja dramatu przebiega przecież zgodnie z jej snami, dlatego już na początku może powiedzieć:

*I sprawdzają się widzenia
I świat jest z duchami zgodny.*

Naturalną jest dla Salomei, jak i dla Księżniczki duchowa cudowność rzeczywistości, podobnie jak dla samego Słowackiego. Można powiedzieć, że w tych bohaterkach uosobiła się jego żeńska anima...

Ale też trzeba pamiętać, że w podtytule utworu poeta umieścił jego określenie gatunkowe: «romans dramatyczny» i przywiązywał do niego duże znaczenie. Rzeczywiście jest to «romans» osnuty na popularnych w epoce motywach intryg, zaczerpniętych z melodramatu i sensacyjnej powieści grozy. Wątki romansowej «haniebnej intrygi», jak ją nazywa sam jej twórca, Leon, zostały w dramacie Słowackiego ujęte w sposób wyjątkowo drastyczny, a nawet brutalny. Salusia, przebywająca pod opieką Regimentarza, zostaje uwiedziona przez jego syna, Leona («rozdarta przez lwa»), oszukana i przez pana-uwodziciela odstąpiona słudze — Semence, który przyczynił się do wyrznięcia jej domu rodzicielskiego. Kozak Semenko może się z gorzką ironią znęcać nad szlacheckim synem:

*Gdyby ty był człek honoru?
Toby swą kochankę cenił,
I sługi z nią nie ożenił,
Wypaliwszy wstydu znamię...*

Doprowadzenie obojga bohaterów — Salusi i Leona — do prawdziwego ślubu wymaga w dramacie wielu perypetii — dzikich, dziwacznych, obłąkanych, jak np. uwijanie się Leona, który popadł w chwilowe sza-

leństwo, z piszczelem trupim w ręce po cmentarzu. Ale w końcu wyznaje on swój grzech i dostępuje oczyszczenia. Perypetie sekretne małżeństwa Księżniczki i Sawy są równie skomplikowane, choć dużo mniej drastyczne. Fabuła — tak nieprawdopodobnie zwikłana, jak w innych utworach mistycznych Słowackiego — stanowi świadectwo pisania w stylu epoki, która wydała powieści Eugeniusza Sue i dramaty Aleksandra Dumasa. Ale jednak w okresie mistycznym Słowacki używał popularnych wątków romansowych przede wszystkim po to, by ukazać, jak duchy kierują światem, doprowadzając ludzi do przemienienia i moralnego odrodzenia, co odbywa się zresztą czasem nie bez ironicznych dysonansów.

Odrodzenie owo zyskuje jednak dosyć nieoczekiwaną formę: weselnego zakończenia, które budziło tyle wątpliwości u interpretatorów. Jak po takim krwawym koszmarze Regimentarz może pogodnie zachęcać do pociągnięcia z weselnego kielicha, pochwalając małżeństwa, które jeszcze wczoraj, jak sam mówi, skarciłby surowo? Jak tragedia łączy się z idyllą? Z komedią? Bodaj najlepsze wytłumaczenie tego zaskakującego finału znajdziemy u Kleinera, który objaśnia go za pomocą psychologii snu i przebudzenia. Przewycięzeniem strasznej sennej zmyry badacz nazywa «nagły przeskok do małżeństwa, żartów, uczyty, toastu». Po ocknieniu z przerażających snów «ogarnia człowieka radość, że wszystko to minęło»...

To prawda. Ale w tym śnie dokonało się też coś rzeczywistego i nieodwracalnego. Pafnucy biada:

Ach! Ukrainy nie będzie!

Bo ją ludzie ci na mieczach rozniosą.

[...]

Ach! koniec Ukrainie!

Bo się sztandar szlachecki na kurhanach rozwinie.

Nie będzie już starej, dawnej Ukrainy również i dlatego, że stanie się ona, jak pisze Grabowicz, «sentymentalnym materiałem służącym zabawie szlachty». Pojawi się nowa Ukraina, rozdarta, rozpolowiona i szukająca nadaremnie pojednania. Dlatego tak mityczna i wyroczna postać, jak wieszcz ukraińsko-polski Wernyhora, odchodzi w dal stepu ze słowami:

A co dziś? ja człek grobowy! —

Pany! wasz dom purpurowy

Niech śpi... — i ja spaty budu.

ALINA BRODZKA-WALD

KOBIETA PISZĄCA — WARSZAWA,
LATA SIEDEMDZIESIATE
I OSIEMDZIESIATE XIX WIEKU
(glossa do tematu)

Wiktorowi

Interesująca nas historia zaczyna się w 1877 roku, kiedy to pewna kobieta, matka wychowująca sześcioro dzieci, opuszcza folwark dzierżawiony przez męża i przenosi się do Warszawy. W pierwszych tygodniach liczyć jeszcze może na ojca, prawnika; on jednak wkrótce umiera; pozostaje jej zatem liczyć na własne siły. Jej mąż, pozostający trwale w posiadaniu jej paszportu, jest w stanie (i też nie zawsze) utrzymać zaledwie siebie. Teraz więc Maria Konopnicka — bo o niej mowa — obserwację nędz społecznych może praktykować we własnym doświadczeniu.

Ma trzydzieści sześć lat; w myśl reguł epoki ma więc młodość za sobą. Jest odpowiedzialna nie tylko za siebie, bo jest matką. Jednocześnie jest sama; wcześniej już podkreśliwszy swój — stopniowo rosnący — dystans wobec środowiska szlacheckiego, podtrzymuje ten dystans i teraz, na przykład uchylając się od obiadów u pani Ilnickiej i rezygnując z bezpiecznej zależności od potencjalnie przychylnych protektorów. W tej sytuacji pisanie i prywatne nauczanie literatury są jedyną dla niej szansą przeżycia i zapewnienia szans życiowych dzieciom.

W swym samowiednie kontrolowanym odosobnieniu Konopnicka nie pozostaje jednak niewrażliwa na atmosferę kulturalną Warszawy, na pasję, zainteresowania i spory rozmaitych pokoleń. Ale jednocześnie — nie ulega niczym naciskom, nawet tym, które wiążą przez pochwałę. A tak mogło się zdarzyć, gdy opublikowała po raz pierwszy w Warszawie swoje wiersze, przez nią samą nie najwyżej oceniane; wzbudziły one życzliwe zainteresowanie bardzo już wtedy cenionego Sienkiewicza-Litwosa. Jego przychyłność i aplauz innych osobistości opiniotwórczych trwa, póki pisarka nie okaże, iż cenzury kół konserwatywnych nie ścierpi. Sygnałem długotrwałego z nimi konfliktu był spór o publikację «Fragmentów dramatycznych»; autorka odmawia wówczas retuszu swych nieortodoksyjnych poglądów. A zważmy, że ją po prostu szantażowano: jej wolnoimysłność miała rzekomo być na rękę zaborcom. I taka już Konopnicka pozostała: nieuległa perfidii i pokusom, niepokorna, samodzielnie myśiąca.

Środowiska intelektualne będą musiały wreszcie przyjąć do niechętniej świadomości fakt istnienia pisarki, która wbrew jakimkolwiek gotowym

regułom, spontanicznie wybija się na niepodległość — wobec bardzo zresztą różnych przekonań, od organiczników do socjalistów, od ortodoksów obyczajowych po dekadentów. Jednakże uznanie tego faktu nie oznacza jeszcze, iż zrozumiano jej postawę i oddano sprawiedliwość pisarce. Ów brak zrozumienia jej przeświadczeń i praktyk przejawia się wielotorowo. Najczęściej — jako chęć zawłaszczenia jej osoby i jej pisarstwa, a w rezultacie ich podporządkowania różnym zresztą schematom. I tak Konopnicka bywa traktowana bądź jako posłuszna kontynuatorka tradycyjnie patriotycznych racji, jako «dobra pani» z dworku z całym jego wyposażeniem. W ten sposób ujawnia się nadzieja, że da się Konopnicką bez reszty wpisać w rolę bezkrytycznej strażniczki narodowego kanonu. Ale bywało także, że kręgi ultraradykalne chciały, by została ich dobošem — wybijającym rytm walki klas, podporządkowanym partyjnym programom. Z kolei, ze strony ortodoksyjnych zachowawców pojawiała się totalna negacja: Konopnicka uznana bywa za rozwydrzoną «wieszczkę poganizmu» szargającą wszelkie świętości: zarówno swoim życiem kobiety, która opuściła męża (co zresztą jest trywialnym i bezzasadnym uproszczeniem), jak też i twórczością, w której dominuje solidarność z odepchniętymi od «stołu życia». Te wygodne stereotypy funkcjonują — dosłownie — po dziś dzień.

Tymczasem, postać tej kobiety piszącej domaga się porzucenia klisz. Konopnicka czeka nowego portretu: mamy dobrą po temu sposobność i perspektywę. Ta kobieta pisząca minionej epoki rzeczywiście zdobyła niepodległość, wbrew jakimkolwiek i czyimkolwiek klasyfikacjom i przyrętom. Nie miała zaś nawet tego oręża, jakim był język sufrażystek, a lata świetlne ją dzieliły od dyskursu feministek naszej ery.

W czym więc jej inspiracyjna odkrywczość? Otóż — i w tym była kobietą! — znalazła ona język nowej wrażliwości, odrębny od jakiegokolwiek ideologii, nie poddający się rygorom wielkich liczb, uchylający się funkcjonalizacjom partyjnym, ale także — niemal (bo nie zupełnie!) wyzuty z operowania własną, osobistą prywatnością. Znalazła Konopnicka ów język w niektórych lirykach, zwłaszcza jednak w prozie — tekstualizując zagadkowość, nieprzejrzystość kontaktu personalnego osób, kontaktu, w którym narracyjne «ja» jest tylko — i aż — słuchaczem. W tym kontekście, spojrzenie narratora na postać, skądkolwiek, kimkolwiek by była, jest spojrzeniem całkowicie skoncentrowanym na jej prawdzie, jej tajemnicy. To spojrzenie ujawnia rudymenarną wspólność doświadczenia osób a zarazem ujawnia, iż wie, że podmiotowość jest czyjaś, jednokrotna. Warto trwać przy tej wiedzy w naszych dyskursach.

**«Ночи и дни» МАРИИ ДОМБРОВСКОЙ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РОМАНА-САГИ 20–30-х гг.**

Если говорить о классическом романе-саге в польской литературе, то этот жанр развивался с некоторым опозданием и не получил столь широкого распространения, как в прозе западноевропейских стран. Однако в польской литературе XIX–XX вв. был очень популярен роман об одной семье в нескольких поколениях: у А. Мицкевича («Пан Тадеуш») — Соплицы, Горешки, у Э. Ожешко («Над Неманом») — Корчиньские, Богатыревичи, у С. Жеромского («Канун весны») — Барыки. Эта тенденция продолжает жить и трансформироваться, «приспосабливаясь» к современным условиям развития романа. Однако и в мировой литературе роман-сага является незавершенным жанровым образованием. Он имеет довольно длинную предысторию, восходя к семейным хроникам и сказаниям раннего Средневековья, которые позже трансформировались в романские циклы. Знаменательным в этом плане был период расцвета в последней трети XIX в. реалистического романа, соединившего в себе показ жизни вширь (бальзаковская тенденция) и вглубь (мопассановская тенденция). Иными словами, это была попытка воплощения в романе исторических событий и обусловленных ими человеческих поступков.

В начале XX в. этот жанр трансформировался в семейную хронику, показывающую жизнь нескольких поколений одной семьи. Такой тип романа литературовед Б. Сучков назвал «эпопеей о судьбах буржуазного общества», в которой «смена поколений... символизировала смену различных этапов общественного сознания и исторического положения класса буржуазии»¹. В эту группу он объединил романы, созданные в первой трети XX в. рядом европейских писателей: «Будденброки» Т. Манна, «Сага о Форсайтах» Д. Голсуорси, «Семья Тибо» Р. М. дю Гара, «В поисках утраченного времени» М. Пруста, «Дело Артамоновых» М. Горького. Классификация романа-саги не по жанровым, а по проблемно-содержательным признакам помешала литературоведу показать его «географию». Этот тип романа появился в Польше, повествуя о жизни шляхты и интеллигенции (М. Домбровская, «Ночи и дни»; З. Налковская, «Нетерпеливые»), в Германии — о жизни рабочего класса (В. Бредель, «Родные и знакомые»), в Чехии — об исторических судьбах страны (трилогия М. Пуймановой «Люди на перепутье», «Игра с огнем», «Жизнь после смерти») и др.

Появление каждой жанровой структуры определяется потребностями времени, культуры, общества и связано с особенностями жизни и активностью личности. Это и заставило писателей рассматривать в произведениях «не только факты, но и идеи времени» и «почувствовать соприкосновение теории с исторической жизнью человечества»².

Так сложился в романе-саге прием исторического обобщения частной жизни одной семьи, разрастающейся по вертикали (временной фактор) и по горизонтали (эпический фактор). Эти два фактора находятся в прямой взаимозависимости. В любом романе-семейной хронике легко вырисовывается генеалогическое древо, напоминающее прозрачную пирамиду, расположенную вершиной книзу, к земле, из которой вырастают вверх и разрастаются по поверхности новые поколения семейства.

На каждом временном витке очередное поколение заполняет отведенные ему историей социальные ячейки, в сумме составляющие картину конкретных этапов развития общества.

Своеобразие жанровой структуры саги заключается и в изображении жизни в двух срезах. Вертикальный срез дает возможность увидеть происходящее в историко-временной эволюции. Количество горизонтальных срезов определяется числом поколений, участвующих в романских событиях и романном времени.

Сфера наблюдений расширяется по мере приближения писателей к современности. Симптоматично, что пик популярности романа-саги падает на первую треть XX в. — период стремительных исторических перемен, мировых катаклизмов и революций: социальный закат бюргерства (Т. Манн), Первая мировая война (Р. М. дю Гар, М. Домбровская), предвидение новой катастрофы (З. Налковская). Это определило один из двух главных мотивов саги — прежде всего мотив минорный, связанный с прощанием с прошлым, стремлением к его пересмотру и ревизии, с разрушением и гибелью жизни. Такой мотив доминирует в «Будденброках» (история гибели одного семейства) Т. Манна и «Нетерпеливых» З. Налковской, анализирующей постоянную тягу почти всех представителей рода Шпотавых к самоубийству. Доминирование драматического мотива гибели определилось тем, что оба романа как бы заключают в трагическую раму целую эпоху: у истоков Первой мировой войны создаются «Будденброки», накануне Второй — «Нетерпеливые». Обратим внимание и на преемственность идейных и художественных традиций Т. Манна и З. Налковской. В обоих романах представлены этапы распада и разрушения двух семейных кланов, олицетворявших два этапа жизни общества накануне мировых войн и неминуемых глобальных трагедий. Однако ни в «Будденброках», ни в «Нетерпеливых» не представлена тотальная гибель всех. Более

того, в каждом из произведений есть персонажи, наделенные желанием жить. И с ними связано наличие второго (правда, представленного очень робко) мотива надежды и возрождения жизни. В названных произведениях он проступает как едва уловимая вариация, окрасивающая мощное трагическое звучание.

Не случайно вслед за Т. Манном к жанру романа-саги обращаются Д. Голсуорси («Сага о Форсайтах»), Р. М. дю Гар («Семья Тибо»), М. Домбровская («Ночи и дни»). Сохраняя ту же, что и у Т. Манна, жанровую структуру и даже его сюжетную схему, все названные писатели изменили, однако, в своих произведениях главный мотив с минорного (трагического) на мажорный (оптимистично-трагический), связанный с поиском надежды и обретением смысла бытия. Этот мотив исходит из романа-эпопеи XIX в. и связан с появлением в нем образа ребенка, олицетворяющего будущее, скажем, Николенки Болконского («Война и мир»). Эта галерея продолжена Д. Форсайтом («Сага о Форсайтах»), Жаном-Франсуа («Семья Тибо»), Агнешкой Нехиц («Ночи и дни»).

Значение традиции Л. Н. Толстого подчеркнул Р. Роллан в письме к Р. М. дю Гару, восхищаясь не только его романом «Семья Тибо», но и его умением мастерски использовать достижения классической литературы. «Судьба Вашего Антуана не могла быть иной, чем Вы ее описали. В последней строке — последнее слово надежды, возобновления: ребенок — точно закрываешь „Войну и мир“»³.

Добавим, что в названных произведениях главным историческим рубежом является Первая мировая война, и каждый писатель показал огромность ее трагедии, но в то же время попытался доказать, что жизнь на этом не кончается и за небывалым еще катаклизмом что-то скрывается, как скрывается что-то и за жизнью каждого человека. Но что? Этот вопрос был поставлен всеми, но не разрешен. Голсуорси загадку будущего представил в гротескно-аллегорическом ключе: белая обезьяна смотрит на кожуру съеденного ею неизвестного плода. У дю Гара это модель современного мира, погрузившегося во мрак неизвестности: обеспокоенный чем-то малыш убегает прочь. Лишь Домбровская показывает Агнешку в целенаправленном деянии: она борется за независимость Польши. Оптимизм писательницы был исторически и идейно оправданным: она тщательно проанализировала сложный путь польского народа к свободе.

Итак, каждый из писателей предлагает свою модель мира, свою концепцию целесообразности жизни. Голсуорси считает, что человек должен быть богатым и спокойным. Дю Гар прежде всего пацифист, и потому главное для него — мир: люди не должны убивать друг друга. Домбровская, подчеркнув многообразие жизни, пришла к выводу, что назначение человека — беречь землю, хранить ее красоту и щедрость.

Представляя жизнь за чертой носящей конкретный характер катастрофы, ни один из авторов романа-саги не изображает ее завершенной, представляя читателю каждой эпохи представить дальнейшую судьбу мира. Так сложился в романе-саге прием сюжетной незавершенности или открытого сюжета, получивший широкое распространение в литературе после 1945 г.

Заслуживает внимания в исследуемой разновидности романа и проблема драматизма, определившая в нем тенденцию синтеза социального и психологического конфликта. Показывая закат бюргерства (Т. Манн), разрушение форсайтизма (Д. Голсуорси) и либерализма (дю Гар), расслоение и гибель шляхты (М. Домбровская, З. Налковская) как носителей черт социальных групп, формаций, даже эпох, писатели подчеркивали их историческую роль и квалифицировали их драмы как драматизм эпохальный, охватывающий все слои общества и все проявления жизни. Но был и другой, более глубокий драматизм, заключенный в человеческих судьбах, во внутрисемейных противоречиях, несовпадении взглядов и духовных запросов, душевных терзаниях из-за неосуществленных стремлений и т. д. Почти в каждый роман писатели вводят трагические супружеские пары: Тонни и Грюнлих («Будденброки»), Котельба и Целина («Ночи и дни»), Якуб и Теодора («Нетерпеливые») и т. д. Индивидуальные и супружеские трагедии, представленные в произведениях, не сужают трагической обобщенности, но конкретизируют ее и придают ей характер фатальной безысходности. Человек находится в плену устоев своего социального круга и не может распоряжаться собой, хотя каждому из таких персонажей дается шанс иной, счастливой жизни, выбор которой, казалось бы, полностью зависит от самого героя. Но никто из них не использовал возможности. Показывая социальную, а с ней и нравственную предопределенность судеб персонажей, авторы подчеркивали тем самым значение всеобщей трагедии. Но объединяло произведения стремление писателей предостеречь человечество от беды. И если принять формулу А. Шопенгауэра, что «интеллект — лишь посредник мотивов»⁴, служащий для объяснения смысла поступков личности, то роман-сага XX в. в мировой литературе в целом и в польской в частности, помогал прежде всего извлечению исторического урока из трагедии Первой мировой войны. Это определило две тенденции саги, выраженные, по сути, двумя гипотезами.

Первая представлена Т. Манном в «Будденброках», и на основании анализа судеб персонажей (от Иоганна Будденброка-старшего до Ганно — последнего отпрыска рода по мужской линии) ее можно сформулировать так: если человек не будет противостоять разрушению, он погубит себя, землю, жизнь и все человечество. Этой гипотезой восполь-

зовались К. Чапек («Война с саламандрами») и З. Налковская («Нетерпеливые»). Чапек использовал социально-политический аспект саги, показав три ступени технического, материального и научного развития общества и на их фоне три этапа деградации человечества, идущего навстречу собственной гибели. Налковская придала этому приему крайне мрачную окраску. Ее эпическая аллегория связана с тенденцией катастрофизма: все представители рода Шпотавых изначально наделены инстинктом самоубийства, который не только разрастается в последующих поколениях, но у последних отпрысков трансформируется в жажду уничтожать близких (Якуб). Добро же в «Нетерпеливых» представлено хрупким и бессильным. Его носитель Альбин не имеет семьи и детей. По сути, в межвоенной литературе роман Налковской завершает историю гибели одного семейства, являющегося аллегорией общества и даже человечества накануне новой катастрофы. Поэтому «Нетерпеливые» с полным основанием можно отнести к типу романа-предупреждения.

Принципиально отличается вторая гипотеза в романе-саге, хотя с ее помощью решаются те же проблемы. Р. М. дю Гар, Д. Голсуорси, М. Домбровская, предостерегая человечество, не отнимают у него перспективы совершенствования жизни. Эту мысль убедительно выразила М. Домбровская: герой романа «Ночи и дни» Богумил Нехциц говорит, что люди смертны, а «земля остается вечно. И ее надо обрабатывать как следует»⁵.

Итак, в романе-саге эпохи мировых войн возрождается тезис Вольтера: «Надо возделывать наш сад»⁶, который, однако, приобретает новое значение: создавать жизнь заново, преодолев тяжести войны и извлекая ее трагические уроки. Последнее оказалось самым трудным. Об этом свидетельствует речь дю Гара при получении им Нобелевской премии в 1937 г., наполненная тревогой за судьбы человечества, которое вновь шло «к трусливому фанатизму и всеобщей покорности». «В этот серьезный момент, — сказал писатель, — я хотел бы не из тщеславия, но от всего сердца, измученного беспокойством, чтобы мои книги о лете 1914 года читались, обсуждались, напоминали всем патетический урок прошлого»⁷.

В романе-саге М. Домбровской, созданном в период оптимистической надежды на улучшение жизни, показаны мечущиеся по стране в поисках пристанища массы народа, напуганного войной. И среди них — одна из главных героинь романа, Барбара Нехциц — она стоит у закрытых ворот имения Толибосского (когда-то любимого ею). И все же окружающая Барбару непроглядная тьма олицетворяет не безнадежность, а лишь неизвестность. «Шимшель, вы видите дорогу?» — спросила она возницу и услышала ответ: «Не бойтесь, ваша милость. Лошади по памяти идут!»⁸.

Симптоматично, что писательница, как правило сопровождавшая повествование обширными собственными рассуждениями, в финале отказалась от этого приема. В данном случае речь идет не столько о неожиданном для читателя изменении стиливой манеры повествования, сколько о подчинении ее идейной заданности произведения, воплощенной в финале. Домбровская исключила в романе традиционную развязку и приобщила тем самым к соавторству читателя — в 1932 г. свидетеля, участника и творца сложной эпохи. Что означала подобная концовка произведения, подводившего итог идейно-художественным исканиям 20-х гг. и открывавшего второе десятилетие межвоенного периода?

В начале 30-х годов еще живы были надежды на возможность предотвращения войны. Домбровская надеялась скорее на здравый смысл человечества. Поэтому возница не искал дорогу в темноте, но полагался на «память» лошади.

Пессимистические тенденции в литературе возросли в 1937 г. В этот период усиления репрессий в СССР и фашистской агрессии политические и социальные факторы оказывали непосредственное влияние на культуру. Речь идет не только о проблемно-тематической ее стороне, но и о явлениях художественных. Изменение тональности в литературе вело к изменению приемов изображения психики персонажей — ее деформации и перестройки. В большей мере определились психологические роли личности: жертва—палач, суть—маска, преступление—наказание. Литераторы все чаще стали использовать приемы антитезы и контраста. Отметим и внимание писателей к проблеме двойственности и противоречивости человеческой природы. Этим объясняется возрождение интереса к творчеству Ф. Достоевского и прежде всего к его опыту в изображении двойника и исследовании расщепленного сознания.

Убедительный пример тому — «Нетерпеливые» З. Налковской, в частности внутренний монолог одного из главных персонажей Якуба, воспроизведенный с помощью несобственно-прямой речи: «Они (мертвецы) выходили к нему из него самого... Появлялись даже как чужое воспоминание... питаюсь порой более поздним материалом... Так существовали в Якубе все чужие эпохи, все пространства отраженных, искусственно вскормленных вторичных жизней, прекрасно и привычно чувствующих себя в какой-то извилине его памяти»⁹.

Концепция мира и личности в произведении определилась периодом его создания — кануном Второй мировой войны. Писательница насыщает роман чертами трагедии, обращая внимание на момент качественной эволюции психики человека, когда тяга к самоубийству трансформируется в стремление уничтожить окружающих.

Упоминавшийся выше Якуб убивает свою жену. Важную роль играет атмосфера, как будто перенесенная из романа Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен»: гибель человека никак не нарушает хода войны. У Налковской: «В тихом воздухе, наверное, все услышали эти два выстрела... после ухода Теодоры и Якуба... но никто не обратил внимания»¹⁰.

Созданные в начале 30-х гг. роман-сага «Ночи и дни» и на закате десятилетия — «Нетерпеливые» определили и происходившие в нем жанровые изменения.

Роман Домбровской представляет тип шляхетской антиутопии, главной мыслью которой является доказательство не гибели шляхты, а ее многообразных перерождений — социальных, нравственных, политических. Шляхта участвует, как справедливо отмечает писательница, в возрождении и обновлении жизни. Но это становится очевидным при чтении «Ночей и дней» лишь через романтические кружева шляхетской идиллии «Пан Тадеуш». Идейным и художественным ключом к пониманию романа Домбровской служит произведение А. Мицкевича. Этот прием в польской литературе встречается довольно часто — у Т. Мициньского, З. Налковской, Э. Зегадловича и др.

В «Ночах и днях» прослеживается преемственность принципа отбора и трактовки исторического материала, используемого А. Мицкевичем. В обоих произведениях активное романное время и действие заключены в рамки важнейших исторических событий. В «Пане Тадеуше» отсчет социальной судьбы шляхты начинается с наполеоновских войн, в «Ночах и днях» — с восстания 1863 г. Мицкевич завершает свой роман в стихах судьбоносным решением, которое принимают молодые герои: они освобождают своих крепостных. Домбровская заканчивает повествование изображением Первой мировой войны.

Итак, в первом случае — акт свободы, во втором — катаклизм. Это определило тональность произведений. У Мицкевича элегическая грусть об уходе шляхты с исторической сцены сменяется романтически возвышенным рассказом о любящих друг друга молодых людях, определивших своим решением счастье крестьянства. Реалистическое повествование поэт завершает воспеванием романтической мечты. Домбровская же в течение всего хода действия пытается сохранить романтическую приподнятость, особенно в тех сюжетных линиях, которые связаны исторической памятью поколений о восстании 1863 г. Лишь в последнем эпизоде писательница вступает в своеобразную полемику с Мицкевичем. Процесс разочарования краток, но причиняет героине Домбровской почти физическую боль. Поэтому в текст романа введен не «Пан Тадеуш», а фрагмент стихотворения Мицкевича «К М...», который пытается вспомнить Барбара Нехциц в мо-

мент, когда ей отказали в приюте в имении Толибосского. Это мгновение вмещает в себя всю жизнь героини, происходит переоценка ценностей, а за ней — освобождение от иллюзий.

Домбровская использовала произведение Мицкевича с максимальным психологическим эффектом. Барбара пытается воспроизвести в памяти не только стихи любимого поэта, но и эпизод из собственной молодости: склоняющегося к ее ногам Толибосского, который для нее достал из пруда букет лилий. Этот эпизод выполняет в романе три функции: социальную, психологическую и эстетическую. Домбровская выстроила события так, что в душе Барбары это сказочное воспоминание (романтическая традиция) сопровождалось другим воспоминанием — о горечи развязки: Толибосский бросил ее ради выгодной женитьбы на богатой женщине (реалистическая традиция). Писательнице удалось создать вокруг Барбары психологическую атмосферу «вечной тревоги», порождавшую дисгармонию в ее душе и бросавшую тень на ее жизнь, супружество, отношение к окружающим и вызвавшую недооценку Богумила Нехцица.

На первый взгляд в «Ночах и днях» соблюдаются принципы повествования, свойственные классическому реалистическому роману, и рассказчик, обладающий абсолютным знанием происходящего, вводит читателя в курс событий. Но традиционность эта во многом кажущаяся. Да и сама Домбровская в анкете для журнала «Атенеум» отметила свое стремление к «декомпозиции формы», причем подчеркнула, что «это форма польской жизни»¹¹. Что же касается повествовательной манеры, следует обратить внимание на одну ее особенность, связанную с ролью рассказчика. Его Домбровская наделяет чертами *alter ego* героини и «располагает» очень близко к ее душевному миру, психике, интимным переживаниям. Таким образом, писательница почти вплотную подходит к приему косвенного внутреннего монолога и несобственно-прямой речи.

Итак, социальные и эстетические конфликты Домбровская переводит в психологическую сферу, перенося идейную и психологическую нагрузку на введенное в текст стихотворение Мицкевича. Проявление — но не разрешение — конфликтов Домбровская относит в финал произведения, показывая тем самым цену, которую платит человек за романтические заблуждения.

«Барбара стала слегка подремывать. Ее пробудили слова, которые шепотом произносили ее собственные губы. То были не обычные разговорные слова, то были стихи:

„Забудь совсем!“ — Нет, этому приказу
Не может наша память быть послушна.

Почему наша? — удивилась Барбара. Какое самомнение. Твоя память уже ничего не помнит. И откуда это?

— Забудь совсем... — повторила она, и ее стало мучить ощущение какой-то неполноты этих слов.

„Это конец строфы, — думала она, — там есть что-то раньше“.

И вдруг вся строфа вырвалась из забвения, как пламя, которое долго и мучительно тлело, прежде чем вспыхнуть.

Прочь с глаз моих! —

сочились слова, причиняющие боль, словно рана.

Послушаюсь я сразу,

„Из сердца прочь!“ — И сердце равнодушно.

„Забудь совсем...“ — Нет, этому приказу

Не может наша память быть послушна» (2, 612).

К сожалению, в представленном в романе русском переводе стихотворения переживания субъекта — романтического героя из сферы личностной или конкретного «я» перемещены в сферу абстрактно-множественного «мы». Это привело к «размытости» субъекта, а тем самым не только к неточности перевода, но и к разрушению психологического и идейного эффекта — финала «Ночей и дней» в русском переводе.

У Мицкевича вступают в противоречие лирический герой-повествователь с героем романтически-мифологическим, выступающим в роли антипода — разрушителя его счастья и любви. Эту концепцию и даже коллизию использовала М. Домбровская:

Precz z mej pamięci!... nie... tego rozkazu

Moja i twoja pamięć nie posłucha...

...moja postać im dalej ucieka,

Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy¹².

Итак, воспоминание не слушается разума, здравого смысла. Чем дальше оно уходит в прошлое, тем сильнее и мрачнее его воздействие. К какому «ты» апеллирует Домбровская? К человеку, предавшему романтическую любовь Барбары. И для героини освобождение от прошлого равносильно расчету с ним, полному отказу от него. «Твоя и моя память» ни у Мицкевича, ни у Домбровской никоим образом не ассоциируются с «нашей памятью», как это сделано в переводах исследуемых произведений*.

* Переводчица «Ночей и дней» Е. Усиевич использовала стихотворение А. Мицкевича не в оригинале, а в переводе М. Зенкевича.

Обратим внимание и на второй ассоциативный узел, который использует Домбровская в «Ночах и днях» — библейские источники: Пятая книга Моисея и Евангелие от Матфея. Они определили не только трагический оптимизм произведения, но и его главные тезисы, утверждающие связь человека с вечностью через его добрые повседневные дела, его любовь к земле и бескорыстие труда на ней и, наконец, обретение смысла бытия: великой любви к жизни и людям. С помощью библейского ключа писательница подходит к гуманистически-философским проблемам, фокусируя их на примерах судебных довольно большой группы персонажей различных поколений (Богумил, Цеглярский, Агнешка, Фелиция и др.). Среди них возвышается монументальный образ Богумила Нехцица, созданный в лучших традициях мировой литературы. И не случайно он становится alter ego самой писательницы, выразителем ее взглядов, идей, идеалов.

Хотелось бы думать, что гуманистическая тенденция творчества исходит не только из убеждений писателя, но заложена в его природе и определяет его вдохновение. В связи с этим подчеркнем значение главных факторов, определивших у Домбровской концепцию личности и мира: талант, вдохновение и доброта. Задолго до появления «Ночей и дней» в своем интервью писательница рассказала об эпизоде из раннего детства — ночном разговоре с мамой, определившем впоследствии ее творческое кредо. «Помню, — отметила Домбровская, — как я спросила у мамы, что надо сделать, чтобы стать поэтессой. Это было ночью, и мама ответила мне сквозь сон: „Надо быть очень добрым человеком“»¹³.

Философией доброты и любви к жизни писательница щедро наделяет прежде всего Богумила. Пожалуй, впервые в польской литературе слово и дело героя выступают не в трагическом противоречии, а в диалектическом единстве, в своеобразной и необыкновенно выразительной гармонии. В мыслях, чувствах, поступках проявляется его душевная щедрость и бескорыстие, доброта и мудрость, свойственная библейским святым. «Всюду и во всем, — думал Богумил, — столько радостного для человека, умеющего видеть суть вещей» (1, 130).

Творить добро, взрачивать сад, обрабатывать землю он считал естественным, никогда не думая о выгоде, стяжательстве, корысти. Тезис «победитель не получает ничего» широко распространился в мировой литературе первой половины XIX в. Особой выразительности он достиг в творчестве Э. Хемингуэя. Однако в «Дневнике» Домбровской упоминаний о Хемингуэе нет, несмотря на его широкую известность в мире. Романы американского писателя «Фиеста (И восходит солнце)» (1926) и «Прощай, оружие!» (1929) Домбровской скорее всего известны не были. Следовательно, искать надо общий

источник, из которого Хемингуэй и Домбровская извлекли этот тезис и перенесли его в свои произведения. Таким источником, несомненно, была Библия, и в частности Пятая книга Моисея Ветхого Завета. Хемингуэй создал модель концепции человека, который платит за постижение знаний мира собственной жизнью, но осознает это в последнее мгновение. Американский писатель использует прием антитезы. Мир в ней — постоянная величина, олицетворяющая зло, беспощадность, эгоизм, стяжательство. Человек представлен в эволюции, в движении к добру. Кульминацией является столкновение этих двух величин, в результате наступает физическая гибель человека, но остается его добрый след. И не случайно герой каждого последующего произведения начинает свою жизнь с реализации той идеи, ради которой погиб его предшественник.

Таким образом, герой Хемингуэя борется и с миром (окружающим злом), и с собственным несовершенством (злом внутри себя). Налицо намеренное наслоение конфликта социального на конфликт психологический, ведущее лишь к драматическому разрешению проблемы.

Домбровская же «располагает» человека ближе к Богу. Богумил (возможно, и имя героя говорящее) наделен столь многими благородными чертами, что одни литературоведы (Я. Станюкович) считают его идеалом человека¹⁴, другие (Т. Древновский) видят в нем «воплощение нравственного идеала»¹⁵. Подобные оценки нравственных качеств героя были широко распространены и в критике 30-х гг. Среди них Л. Фриде¹⁶, С. Колачковский¹⁷, А. Грушецкая¹⁸, К. В. Заводзинский¹⁹. Добавим лишь, что Богумил достойно пополнил в польской литературе галерею благородных героев-участников восстания 1863 г., начатую Э. Ожешко в романе «Над Неманом», и борцов за свободу в «Пане Тадеуше» А. Мицкевича. Обратившись к опыту мировой и польской литературы, Домбровская в трактовке образа Богумила Нехцица одновременно использовала библейскую концепцию личности и ее взаимоотношений с миром. Вспомним, что участие Богумила в восстании 1863 г. закончилось трагически: израненный юноша теряет сознание, и его вместе с мертвыми чуть ли не зарывают в могилу. Чудом он остался в живых, более того, возвращение Нехцица к жизни напоминает воскрешение из мертвых. И Барбара, как кающаяся грешница, целовала его шрамы, когда узнала (хоть и через много лет) о случившемся.

Интересно в «Ночах и днях» используется и сюжетная модель Ветхого Завета. Она проявилась в описании смерти Богумила, а точнее — его прощания с жизнью и землей. Это произошло в тот период, когда Нехциц наконец сумел купить небольшое имение Паментов и собирался впервые засеять не чужое, а собственное поле и тем самым

обеспечить будущее своим детям. Описание это удивительно светлое и поэтичное. Домбровская использовала оригинальное сочетание нескольких художественных приемов для изображения душевного состояния героя, его влюбленности в красоту мира и благодарности за жизнь. Несобственно-прямая речь послужила для максимального сближения автора, рассказчика и героя. Это позволило Домбровской выразить через душу героя собственное мироощущение. Внутренний монолог раскрыл ее богатство. Авторское повествование усилило философско-аналитический аспект романа и позволило подчеркнуть значение тезиса «Победитель не получает ничего», но он дарит миру свой опыт, свое щедрое сердце и отдает свой труд для совершенствования земли. Посаженный Богумилом сад будут возделывать его дети. Поэтому и смерть Богумила так прекрасна. Она, по мысли писательницы, является продолжением его жизни: «Постояв над землей... он присел на камень... что-то росло, зрело в его душе, словно песня, что вот-вот зазвучит словами и мелодией... Он напряженно трудно искал ее, и вот она сформировалась, наконец, в чистую, как кристалл, мысль: „Идя за одним и тем же плугом, можешь видеть Бога или лишь глыбу земли. Глядя на одно и то же дерево, можешь видеть в нем чудо творения или укрытие от зноя, листья, плоды, строительный материал...“

Мысль эта поднималась все выше, и вот-вот из нее должно было возникнуть еще более полное откровение жизни и мира».

Впечатляет завершающий момент этого эпизода, когда человек видит себя как бы со стороны и в то же время описание его обыкновенно, поскольку доведено до зримости. На пробуждающейся к жизни земле, в лучах солнца стоит коленопреклоненный человек и шепчет молитву.

«И когда солнце выплыло из-за тучек и, румяное, без лучей, повисло вплотную над темной границей земли... вдруг... он заметил, что стоит на коленях на порыжевшей прошлогодней траве и губы его шепчут: „Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое...“» (2, 515–516). Богумил подобен здесь бронзовой скульптуре, прекрасно-му памятнику, воплощенному в художественном слове. В этой сцене Богумил близок и к «Мыслителю» Родена. Обращает особое внимание подобие описанного фрагмента с финалом Пятой книги Моисея, проявившееся в сходстве сюжетных ситуаций, ритма повествования, идей, даже описаний смерти героев: «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана... И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: „семени твоему дам ее“. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь» (Втор. 34: 1–4).

И хотя в трактовке образа Богумила нет прямых аналогий с образом Сеятеля, их сходство несомненно. Образ Сеятеля широко известен в мировой культуре и нашел удивительное выражение в одноименном полотне Ван Гога. Он имеет сходство и с героем романа Домбровской: «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать... Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем» (Мф. 13: 23–24).

Несмотря на раннюю весну — пору сева, когда земля бывает еще голой, ни у Ван Гога, ни у Домбровской почти нет черного цвета. В этом фрагменте романа «черным был лишь край земли, соприкасавшийся с небом»; на полотне Ван Гога черные только две небольшие птицы. Преобладали в обоих случаях белый, голубой и солнечно-желтый цвета в различных оттенках. Для определения цветовой гаммы Домбровская использует не только эпитеты, но метафоры и сравнения. Поэтому описание оживает, приобретает динамичность и необыкновенную прозрачность: «небо пенилось тучками, среди которых, то исчезая, то вновь сверкая, плясало солнце»; «солнце... румяное, без лучей», «солнце... повисло», «тучи с золотыми краями», «сияла весенняя зорька» (2, 516).

Мир этот прекрасен, и существует не только сам по себе, но и для человека. «Существуем мы или нет нас, — говорит Барбара, — дни и ночи текут и текут». Разъяснение этой мысли заключено в ответе Богумила: «А может, в каждом человеке есть крупица золота, которая все выдержит и умножит какое-то сокровище, когда толпа тащит на себе тяжесть, то один человек вроде бы ничего не значит, но если бы всякий считал, что раз он не нужен, то и отстать можно — мир бы погиб» (2, 76).

Появление «Ночей и дней» вызвало небывалое внимание критики и активизировало размышления Домбровской о произведении, в котором проявилось ее отношение к жизни, к творчеству, к формированию нравственных устоев ее персонажей. И не случайно страницы «Дневника» писательницы знакомят читателя с источниками той философской мудрости и нравственной доброты, которой наделены ее герои, прежде всего Богумил и его дочь Агнешка.

«Я люблю мир, жизнь, небо и землю», — читаем дневниковую запись Домбровской от 13 мая 1931 г.²⁰. «Можно ли перестать любить землю и небо потому, что случаются ненастья, дует ветер, дождь сечет в лицо?» — размышляет вслух Богумил Нехциц (2, 471). Его дочери Агнешке свойственны порывы юности, поэтому свое кредо она выражает более эмоционально: «Дышу сиянием зари и восхищаюсь

великолепием бытия... как примирить сознание того, что мир дурен, ведь он так плохо устроен, с тем, что он так чудесен и хорош, так хорош...» (2, 176).

Писательнице удалось раскрыть не только философию и характеры своих героев, но и их возрастные особенности, определившие романтический пафос всех трех внутренних монологов. Дневниковая запись Домбровской сделана в период расцвета ее творческой славы, семейного счастья, роста популярности.

У Богумила оптимизм выстрадан. Он на своей тяжелой доле узнал, что такое «ветер и дождь, секущий в лицо». Агнешка же только начинает самостоятельную жизнь. Ее мир пока еще ограничивается семьей, любящими родителями, готовыми всегда помочь, Сербинowym, возделанным, как сад, ее отцом. Этот мир вызывает восхищение. А о том, другом, несправедливом, жестоком, она узнает из книг и от людей. «Ах, жить, жить, — шептала она. — Познавать все „как“ и все „почему“, развиваться, расцветать, охватить все, если не жизнью, то духом!» Обратим внимание на комментарий автора, являющийся по сути продолжением монолога героини: «...мечтала она с упоением ранней юности, которая жаждет либо обнять весь мир, либо стремиться к чему-то исключительному» (2, 177).

Домбровская группирует персонажей со сходными идейными позициями, психологическими качествами, убеждениями, отношением к жизни и т. д. вокруг одного героя, воплощающего эти черты в максимальной степени. Так, Богумил представляет тип человека, живущего в согласии со своим назначением. Его взгляды разделяют Тереса, Агнешка, Цеглярский, Фелиция и др. Они представляют разные поколения с несхожим образом жизни, относятся к разным социальным слоям, к тому же они намеренно рассеяны по всей земле и представляют на ней добро, справедливость, сострадание, человечность.

Близка к ним и Барбара, пребывающая в вечной тревоге, беспокойстве, неудовлетворенности собой, часто испытывающая недовольство другими людьми (мужем, сыном, даже любимой сестрой). С некоторой долей условности сюда же можно отнести Люциана, Марцина и Эмилька, которые унаследовали некоторые черты романтических героев-носителей мировой скорби.

Наконец, третья группа персонажей связана с эволюцией социальной — превращением шляхты в буржуазию. В историческом плане она прошла уже два этапа: неудавшуюся попытку объединения здоровых сил нации (позитивизм) и собственно накопительство, расцветавшее в деятельности молодого Остпенского на глазах читателя. Кроме Анзельма, к этой группе относятся Юлиан и Даниель Остпенские, сестры Михалина и Стефания Полесские. Хотя Домбровская

писала, что распад шляхты она показала на примерах «порядочных людей», все же эту группу персонажей писательница наделила далеко не привлекательными чертами: Юлиан — космополит, Даниель — демагог, Михалина — мещанка, Анзельм — бессердечный стяжатель. Подобную категорию людей Голсуорси еще в 1905 г. назвал собственниками, которых отличало оценочное отношение ко всему на свете. И потому в их трактовке Домбровская, вслед за автором «Саги о Форсайтах», использовала те же приемы психологической обоснованности характеров и поступков людей, представлявших поколение новой буржуазии. Порвав с традициями либерализма и романтизма, они провозгласили культ обогащения, позволяющего купить все, вплоть до любви.

В этом плане прямым преемником Сомса Форсайта стал Анзельм Остшенский. Достаточно убедительно в судьбах обоих персонажей проявилось их отношение к женам. «Мысль о том, что Ирэн была одной из тех женщин, — читаем в „Саге о Форсайтах“, — которые рождены любить и быть любимыми, для которых без любви нет жизни, разумеется, ни разу ему (Сомсу) не пришла в голову. Он смотрел на ее обаяние как на часть той ценности, которую она собой представляла, будучи его вещью»²¹. «Богатую жену, — говорит Анзельм, — обычно ищет тот, кто деньги тратить собирается. А я намерен добывать их. Мне нужно... чтобы жена была здоровая, красивая, интеллигентная и моя» (2, 437).

Прекрасные социально-психологические портреты Домбровская дополняет авторским комментарием, используя смешение стилей, противопоставления, иносказания, введение пословиц, афоризмов и т. д. И все же между Сомсом и Анзельмом есть существенная разница: первый — персонаж трагический, скупаемый душевными противоречиями, второй — натура цельная, не знающая внутреннего разлада. Сомс убеждается на примере своей судьбы в том, что красота и любовь не подвластны деньгам и неподкупны. Анзельм не поднимается до осознания красоты. Он покупает то, что может увеличить его капитал. Сомс честен в буржуазном значении этого слова, Анзельм — плут, готовый нажиться даже на наивности своей тетки: «Анзельм ухаживал за Нехцицами с какой-то покровительственной заботливостью, похожей на нежность, какую командующий испытывает к солдатам, посылаемым им под пули, а делец — к людям, которыми он воспользовался как орудием в своих расчетах» (2, 438).

Правда, порой писательница сопровождает описания излишне пространными назидательно-морализаторскими и теоретическими рассуждениями, особенно разросшимися в заключительной книге романа. Такие авторские отступления служат для обоснования тео-

ретических постулатов писательницы и усиливают полемическое звучание романа. В произведение введена довольно подробная программа движения в защиту кооперации, не вызвавшая восторгов ни у критики, ни у читателей. Это подчеркивали З. Либера²² и особенно К. Ижиковский, назвавший позицию Домбровской филистерской. Литературовед с особой язвительностью развенчивает философско-политические взгляды писательницы, отмечая, что ее герои «воспитаны эпохой позитивизма и новой эпохи никогда не поймут»²³.

Подобное мнение высказывает и польский исследователь Г. Маркевич, называя «Ночи и дни» «первой волной ностальгических сентиментов в отношении к буржуазному прошлому XIX в.»²⁴.

Вряд ли можно согласиться с оценками критиков, поскольку Домбровская, характеризуя персонажей-собственников, вступает по сути в полемику с романом Б. Пруса «Кукла», в котором показано поколение «последних романтиков» позитивизма. О стяжателях в «Ночах и днях» Домбровская писала, что они обрели богатство ценой утраты лучших человеческих черт²⁵. Однако значение Пруса не исчерпывается полемическим противопоставлением бескорыстным позитивистам собственников XX в. Его влияние проявилось главным образом в том, что он помог Домбровской обратиться к «эпическому реализму», к «демократическим и рационалистическим традициям»²⁶. Это влияние наблюдается в «Ночах и днях» как в аспекте художественном (традиция реалистического социально-бытового романа), так и в идейно-идеологическом (изображение и трактовка социальной структуры общества). И хотя Домбровская в период работы над «Ночами и днями» писала в своем дневнике: «У меня нет никакой идеологии. Я руководствуюсь только любовью к людям и жизни и состраданием»²⁷, тем не менее религиозным проблемам уделяется много внимания.

«У Домбровской, — отметил Т. Древновский, — проявляется многообразие знаний о человеке и обществе»²⁸. И потому в романе нашли отражение проблемы болезни общества, представленные немногочисленной группой персонажей, главным образом Янушем, Целиной, Тадеушем Кремпским. Сама писательница назвала их «ущербными», «выключенными из жизни», но подчеркнула, что относится к ним «с жалостью и сочувствием»²⁹. К сожалению, критика очень мало затрагивает этот аспект, хотя в романе он исследуется с особой тщательностью и удивительной деликатностью. Болезни общества распространены в жизни довольно широко и коснулись даже столь обаятельных персонажей, как Тереса и Люциан Коцелы, Эмилька, Томашек и даже альтруист Цеглярский. В критике же лишь бегло упоминается о Януше как о влюбленном в себя нарциссе и самоубийстве из-за несчастной любви к нему Целины³⁰.

Исключение представляет точка зрения Л. Фриде, который развил тему беспокойности за человека, высказанную М. Домбровской. «Наступают иные времена, — писал литературовед в 1935 г., — и предвещают их калинецкие декаденты: поклонница Пшыбышевского панна Целина Мрочкувна и больной угасанием силы воли Януш Остшенский». Их драмы Фриде справедливо считает волнующей читателя «самостоятельной сюжетной линией». Противопоставляя сомнения рефлексизирующих гуманистов «твердой убежденности» революционеров в том, что «цель оправдывает средства», критик становится на сторону первых. Его вывод: «нравственный идеал является основанием для художественного формирования действительности»³¹ — явственно перекликается с утверждением Л. Толстого: «Истинными шедеврами являются произведения, в которых выражается совесть эпохи»³².

Обратим внимание и на пару главных героев — Богумила и Барбару, — с которыми Домбровская связывает важнейшие нравственные и философские решения проблем жизни, в первую очередь переход этих людей из «своей сферы, своей социальной группы, своей среды» на иную социальную ступень и обретение ими места и назначения в новых условиях.

«Важнейший для меня вопрос, — отмечает писательница, — как таковой момент перехода из одного мира в другой отражается на двух столь различных подходах к жизни, которые представляют Богумил и Барбара. Суть Барбары заключается во внутренней борьбе с собой и миром, усиливающейся страхом и чрезмерным воображением. Суть Богумила являет мужество, определенного рода неосознанное творчество на указанном судьбой отрезке времени, спокойствие, любовь»³³.

Этим объясняется «открытость миру» Богумила и «вечная тревога», «несогласие с миром» Барбары. Обозначая два противоположных философских полюса, писательница в различной степени наделяет этими качествами всех остальных персонажей, чтобы, по ее словам, избежать схематизма, «психологического натурализма», «абстрактных обобщений» и показать сложность человеческой натуры. Любое излишнее отклонение — или в сторону «натуралистического анализа», или «к спиритуалистическому синтезу» — ведет к деформации произведения и утрате его коммуникативных функций³⁴. Так в роман «Ночи и дни» вводится понятие границы в различных ее философских значениях. Оно определяется и категориями космическими (граница между землей и небом, жизнью и смертью), и различиями жизненных критериев у людей, и внутренними противоречиями в душе человека. Появление контрастной линии как своеобразного художественного образа, разделяющего вселенную, мир, землю, людей и «разрезаю-

щего» душу человека, — прием, свойственный скорее живописи, но у Домбровской он используется по-настоящему мастерски. С его помощью усиливается контрастность описаний, эффективнее используются антитеза и светотени и принцип ночей и дней в изображении жизни. Этим объясняется необыкновенное богатство и многоголосие романа, разнообразие воплощенных в нем жизненных принципов и философских концепций. Не случайно поэтому и множество трактовок и «прочтений» произведения литературоведами и читателями различных поколений.

Философия Домбровской устремлена к добру, несмотря на все невзгоды и трудности, с которыми встречается человек. «Человеку долго кажется, что у него достаточно сил, чтобы удовлетворять свои желания, но проходят годы и вдруг в один прекрасный день обозначаются границы, за которые тебе уже не шагнуть» (1, 62), — размышления Барбары Нехциц являются скрытым во внутреннем монологе назиданием читателю. Мысль о быстротекущей жизни человека и вечном существовании вселенной постоянно подчеркивается писательницей. И как когда-то Гёте ввел в трагедию «Фауст» сентенции о диалектическом материализме, так и Домбровская в своем романе воплотила учение о теории относительности. Добавим, что главный философский принцип, которым руководствуется она в «Ночах и днях», — это материалистическая диалектика, причем диалектика светлая, озаренная высоким назначением человека творить добро.

С подобной концепцией в тот же период выступил Г. Манн в дилогии о короле Генрихе IV. Как и немецкий писатель, Домбровская показала жизнь в двух временных измерениях — историческом, связывающем жизнь человека с вечностью бытия, и реальном его существовании на земле. Это определило наличие в романе двух разновидностей восприятия времени: объективного (реальный ход исторических событий, включающих и жизнь человека как элемент естественного диалектического движения) и субъективного (познание человеком форм бытия на отрезке его биологического существования). Э. Коженевская связывает фактор субъективного времени с философским учением Бергсона³⁵.

Второй аспект активного использования философии в «Ночах и днях» связан с трактовкой человеческой психики. Домбровская представила удивительное многообразие психологических портретов, отличающихся неповторимостью и индивидуальностью. В создании каждого психологического типа использовались и традиции литературы, и художественный поиск, и определенное философское учение. Скажем, группа революционной молодежи, назовем ее польской колонией в Лозанне, показана в традициях Мицкевича, Пруса, Л. Тол-

стого. Но одновременно в ней представлены и качества людей XX в. — политическая активность, сочетающаяся с глубокими раздумьями, предвидением будущего. Поэтому в описаниях Мартина, Агнешки и их друзей использовались приемы психологизма, внутренние монологи, граничащие с потоком сознания. В их рассуждениях, мыслях, действиях прослеживается влияние философских учений, одухотворивших революционные и демократические движения в первые десятилетия XX в.

Персонажи, пораженные «ущербностью» (термин Домбровской), психически уязвимые, создавались не без влияния учений Фрейда и Юнга. Для Януша и Целины характерны необоснованная импульсивность, непредсказуемость поступков, порой и неконтролируемость сознания, болезненные галлюцинации. Для художественной убедительности и реалистической обоснованности этих героев необходимо было изображение не только психики, но и подсознания. Этому служило использование приема потока ассоциаций и особого рода описаний, изменивших роль и функции рассказчика. Писательница почти исключает дистанцию между ним и объектом наблюдения. Повествователь превращается из наблюдателя и регистратора событий в аналитика, а порой и психоаналитика. Смерть Януша, Целины, Люциана представлено не только с натуралистическими подробностями, но и в духе врачебного эпикриза.

Писательница использовала многообразие художественных средств, литературных школ, связанных и с традиционными, и с авангардистскими направлениями в искусстве. Стремясь уже в начале 30-х гг. «выскочить из эпической шкуры», она создала в польской литературе новый тип романа — семейной хроники и одновременно образец лирической эпопеи, воплотившей животрепещущие проблемы Польши и мира. Гуманистические идеи, актуальность, художественная оригинальность и новизна выдвинули роман «Ночи и дни» в число лучших достижений в польской литературе. О романе развернулась дискуссия, в которой участвовали литературоведы, писатели, читатели. Последние обращались с просьбой продолжить полюбившееся им произведение. В критике же и противники, и сторонники романа подчеркивали его значимость. Интерес к нему не исчерпал себя и до сегодняшнего дня, так как «Ночи и дни» — это своеобразная энциклопедия польской жизни на рубеже XIX–XX вв., воплотившая светотени польского характера, своеобразие жизни интеллигенции и запечатлевшая важный исторический момент — трансформацию шляхты и процесс ее вживания в новую эпоху.

Художественные достоинства произведения заключаются и в том, что писательница сумела связать традиции польской и мировой

классической литературы с новейшими эстетическими достижениями своего времени. О мастерстве Домбровской наиболее убедительно сказал поэт и эссеист Ю. Пшибось: «Когда мне хочется вдохнуть аромат польского языка в поэзии, я склоняюсь над „Паном Тадеушем“, если же я захочу напиться из родника прозы, то погружаюсь в „Ночи и дни“»³⁶.

Но писательницу не удовлетворяет роман. Она уединяется, много работает и словно переживает те же сомнения и беспокойство, что и ее Барбара. Об этом она сообщает в письме к лечившему ее врачу Ежи Чопу: «...я отказываюсь от всех приглашений... потому что стою перед решением головоломных задач, которыми сверну себе шею. Шум, поднявшийся вокруг моей книги, и, о диво, продолжающий нарастать, во многом перерастает ее значимость, в частности значимость ее продолжения, которого все ждут с нетерпением, как неизвестно чего»³⁷.

30 декабря 1933 г. за еще не законченный роман Домбровская была удостоена Государственной литературной премии. «Во всех газетах, — отмечает писательница в дневнике от 1.01.34, — мои фотографии, статьи». Она встречается с различными людьми, принимает многочисленные поздравления, проводит творческие вечера, выступает в прессе, но не столько радуется шумной славе, сколько тревожится: «Как от легкого флирта к трудной и большой любви, я возвращаюсь к IV тому — к моим „Ночам и дням“. Ими умираю и живу» (5.02.34).

Трудные будни творчества переплелись в жизни Домбровской с всеобщим признанием. И вот уже с некоторой долей самоиронии она мысленно обращается к читателям, воспроизводя в дневнике воображаемую встречу с ними. Эта запись сделана еще и потому, что многие газеты исказили смысл выступлений Домбровской. И она проливает свет на творческий процесс, на превратности литературной жизни и субъективность суда людского.

«Прошу меня простить, — читаем в дневнике, — за то, что не могу найти нужных слов, чтобы Вас поблагодарить. Мыслию я очень медленно. Если бы я думала неделю, то, может, и знала бы, что сказать. Хочу лишь отметить, что творение, по крайней мере такое, как большой роман, похоже на симфонию или какое-то произведение для оркестра. Создает его множество факторов, перечислить которые я не в состоянии. Вы тоже создавали этот роман вместе со мной. Писатель в таком случае является дирижером оркестра, а возможно, всего лишь палочкой в руках неизвестного дирижера. Я хочу Вас только предостеречь: если Вы будете меня своей добротой баламутить, то я потеряю голову, а с ней такт, и конец... ночей и дней... В заключение скажу Вам приятную новость. Я узнала, что Хороманьский только

что получил премию Академии литературы. Так что лауреаты сыплются, как из рукава»³⁸.

Эта запись напоминает искрометную юмористическую миниатюру. Писательница ввела прием, который будет широко использоваться в польской прозе 60-х гг. К. Брандысом («Себе и Вам», «Как быть любимой?»), К. Филиповичем («Дневник антигероя»), Я. Бохеньским («Божественный Юлий») и др.

Нетерпимость Домбровской была широко известна. Однако дневник свидетельствует о ее максимальной требовательности и к себе самой. «1 июня я закончила „Ночи и дни“... — читаем в дневнике от 18.06.1934 г. — Чувствую себя, как пьяница после отрезвления или как тяжелый больной после лежания в кровати»³⁹.

Итак, вместо скромной задачи «перестановки форм польской жизни», поставленной в начале работы над произведением, — плод огромного многолетнего труда, синтез традиций и появление нового типа романа, с широким охватом жизни во времени и почти 250 действующими лицами, но... «чистой ли воды эпопея?»⁴⁰.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Сучков Б. Л. Линки времени. М., 1976. Т. 1. С. 306.
- 2 Днепров В. Д. Черты романа XX века. М., 1965. С. 404.
- 3 Иностранная литература. 1958. № 10.
- 4 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. СПб., 1983. С. 213.
- 5 Домбровская М. Ночи и дни. М., 1964. Т. 1. С. 203.
- 6 Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести. М., 1964. С. 489.
- 7 Писатели Франции. М., 1964. С. 643.
- 8 Домбровская М. Указ. соч. Т. 2. С. 613. Далее сноски на этот роман даются в тексте с указанием тома и страницы.
- 9 Nalkowska Z. Niecierpliwi. Warszawa, 1978. S. 13.
- 10 Ibid. S. 247.
- 11 Ateneum. 1938. № 4–5.
- 12 Mickiewicz A. Wiersze. Warszawa, 1972. S. 135.
- 13 Podgórska-Okolów S. U laureatki Nagrody wydawców. Maria Dąbrowska o sobie // Wiadomości Literackie. 1925. № 10.
- 14 Сташюкович Я. Реализм Марии Домбровской. М., 1974. С. 91.
- 15 Drewnowski T. Rzecz russowska. Kraków, 1981. S. 180.
- 16 Fryde L. «Noce i dnie» // Droga. 1935. № 5.
- 17 Kolaczowski S. O powieści Dąbrowskiej // Marchoń. 1935. № 3.
- 18 Gruszecka A. Powieść współczesna // Przegląd Współczesny. 1934. № 141.

- 19 *Zawodziński K. W.* Maria Dąbrowska. Historycznoliterackie znaczenie jej twórczości // *Przegląd Współczesny*. 1933. № 129.
- 20 *Dąbrowska M.* Dzienniki. Warszawa, 1988. T. 2. S. 314.
- 21 *Голыгорец Д.* Слуга о Форсайтах. М., 1971. С. 73.
- 22 *Libera Z.* Maria Dąbrowska. Warszawa, 1965.
- 23 *Irzykowski K.* Zagadnienia filisterstwa w powieści M. Dąbrowskiej «Noce i dnie» // *Polonista*. 1933. № 4.
- 24 *Markiewicz H.* Pozytywizm. Warszawa, 1980. S. 440.
- 25 *Dąbrowska M.* Kilka myśli o «Nocach i dniach» // *Ateneum*. 1938. № 4–5.
- 26 «Noce i dnie» wypadkiem literackim sezonu. Maria Dąbrowska o swojej nowej powieści // *Wiadomości Literackie*. 1932. № 2.
- 27 *Dąbrowska M.* Dzienniki. S. 280.
- 28 *Drewnowski T.* Op. cit. S. 373.
- 29 *Dąbrowska M.* Kilka myśli...
- 30 *Станюкович Я.* Реализм Марии Домбровской. С. 96.
- 31 *Fryde L.* «Noce i dnie»...
- 32 *Толстой Л. Н.* Что такое искусство // *Толстой Л. Н.* О литературе. М., 1955. Т. 2. С. 398.
- 33 «Noce i dnie» wypadkiem literackim...
- 34 *Dąbrowska M.* Kilka myśli...
- 35 *Korzeniewska E.* Tradycja i nowoczesność — Maria Dąbrowska // *Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego*. Warszawa, 1972. S. 131.
- 36 *Dąbrowska M.* Pisma wybrane. Warszawa 1956. T. 1.
- 37 *Drewnowski T.* Op. cit. S. 170.
- 38 *Dąbrowska M.* Dzienniki. S. 47.
- 39 *Ibid.* S. 51.
- 40 *Kołaczkowski S.* Przymierze z życiem // *Kultura*. 1932. № 11.

Войцех Кайтох

КОГДА ДВОЕ ГОВОРЯТ ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ (ПУБЛИЦИСТИКА ЯНА КОТТА И КАЗИМЕЖА ВЫКИ 40-х гг.)

В послевоенный период возникает новый подход к литературе, и надо заметить, что этот подход в дальнейшем был характерен для писателей и критиков, которые в целом являлись сторонниками политики руководства ПНР. Начало ему положили, как мне кажется, выступления двух необыкновенно влиятельных, но во многом разных критиков¹ — Казимежа Выки и Яна Котта. В интересующий нас период они оба полагали, что современность должна найти отражение в литературе, в первую очередь в романе. Оба ставили вопрос: каким должен стать новый роман и почему?

Однако их ответы были совершенно противоположными.

«Я ишу учителя и мастера <...> дабы отделил он свет от тьмы», — это слова из книги «Беспокойство», которую двадцатилетний Тадеуш Ружевич опубликовал в 1947 г. Ян Котт, всего семью годами его старше, юрист и специалист по романской филологии, бывший редактор «Млодей демократии» (подпольное коммунистическое издание военных лет), предложил возложить эту педагогическую миссию на литературу. Котт серьезно отнесся к одной из самых существенных проблем современной этики². Опыт последней войны заставил пересмотреть традиционные критерии оценки человеческих поступков, которые основывались на христианских заповедях и учитывали намерения и цели. Этой мерой судимые, поступки неожиданно оказались добрыми и злыми одновременно, вместе — правильными и неправильными. (Например, поступки могут быть в принципе верными, но это будет верность принципам более глобальной и, безусловно, аморальной системы, как это было в случае образцового выполнения своих обязанностей лагерными «капо».)

Таким образом, автор предложил прагматически подойти к решению нравственных вопросов. «Пацифистский роман, появившийся после предыдущей мировой войны, — писал Котт, — уравнивает подвиг и страдания обеих сражавшихся сторон. Сегодня подобное глубоко оскорбляет наше нравственное чувство. Если смерть миллионов немцев оставляет меня равнодушным, если я с пренебрежением отношусь к героизму и страданиям фашистских солдат, то не потому, что считаю, что они как-то иначе сражаются и умирают, чем наши

солдаты. Я презираю их духовную жизнь, их героизм и смерть, поскольку они защищали режим, который превратил Европу в один большой концлагерь. Смерть защитника фашизма и смерть борца за свободу — это не одно и то же»³.

Кстати сказать, обращаясь к фигурам отечественной истории, Котт предлагал с тех же позиций оценивать личность и деятельность генерала Бор-Коморовского. Ведь Варшавское восстание, несмотря на патриотические побуждения, закончилось прежде всего гибелью миллионного города⁴.

Другими исходными пунктами его литературно-критической мысли были:

- анализ фашизма, подчеркивающий безнравственность и иррационализм его доктрины,
- знание основных тезисов марксистской эстетики, в ее ортодоксальном, лукачевском варианте,
- знакомство с декартовской традицией, рационалистической мыслью Просвещения и симпатия к любому проявлению рационализма.

Наконец, Котт не упускал возможности использовать литературную критику как повод высказаться по общественно-политическим вопросам.

В 1946 г. Котт писал: «Только что завершившаяся война с необыкновенной отчетливостью показала, каким жестоким и страшным бывает возмездие как для социальных групп, так и для целых народов — за любое бегство от действительности, любое отступление от суровой правды фактов. Война явилась великой проверкой всех мифологий <...>. Война закончилась банкротством всех мифов. Оказалось, что жизнь общества регулируется столь же строгими законами, что действуют в науке, — законом юридическим и законом прогресса, и что любое неподчинение этим законам приносит поражение или смерть. Оказалось, что в истории есть смысл, что одержать победу могут только те народы, чья общественная жизнь подчинена этим законам. Итог войны стал великой победой реализма»⁵.

По мнению Котта, действительность устроена в соответствии с объективными законами. Человек живет в обществе, одни формы которого сменяются другими. Главную роль в этом мире играют не абстрактные этические понятия. Существующие в нем закономерности имеют также и не биологический, детерминистский характер, но являются результатом деятельности людей. Настоящий героизм — это «согласие с законами общества, к которому ты принадлежишь, к которому хочешь принадлежать», поскольку поступки людей оцениваются по их результатам, а сопротивление логике истории хотя и возможно, но всегда имеет трагический финал.

Этот постулат, адресованный⁶, вероятно, прежде всего к скрывающимся «в лесах» аковцам и ушедшей во внутреннюю эмиграцию интеллигенции, в то же время являлся выражением его эстетической концепции. Согласно этой концепции, литература должна создавать такой образ мира и человека, который можно было бы оценивать с точки зрения тех же законов, какими мы руководствуемся в жизни. Этот образ должен иметь ту же структуру, какую мы наблюдаем в реальном мире. Другими словами, Котт настаивал на создании образа исторически обусловленной действительности и исторической (или, иначе говоря, «социологической») судьбы человека.

Критике произведений предшествовавшего литературного периода Котт посвятил свой известный сборник эссе под названием «Мифология и реализм». Частично он был написан во время войны, а опубликован в 1946 г. Автора абсолютно не удовлетворяла эта литература, поскольку, на его взгляд, она выражала мировоззрение, ставшее культурной и идейной основой фашизма.

Котт изобрел для нее термин «абутизм» (от «abêtussez-vous» — «дурите себя»). Он объяснял это название тем, что в течение по крайней мере пятидесяти лет наряду с бергсонизмом, прагматизмом, конвенционализмом, энергетизмом, эмпириокритицизмом эта литература, по его мнению, отучала от «серьезного» мышления: утверждала, что «все дозволено» и все возможно, пропагандировала «культ действия, энергии и силы», или «идеи хаоса, эксперимента, абсурда», — словом, все то, что вошло в практику в государствах с фашистскими режимами. Для этой литературы человеческая личность была объектом непознаваемым, а действительность не подчинялась никаким законам. Сама же литература должна была быть «духовным приключением, великой ересью современной эпохи», поиском якобы утраченных в ходе развития цивилизации настоящих, естественных, биологических ценностей человека, мистическим опытом, моральным экспериментом — чем угодно, но не изображением реального мира.

Таким образом, в литературе произошел распад основных категорий, а именно рационально понимаемого человека и объективно существующей действительности. Это в конечном счете вытекало из общественных условий: классовое господство буржуазии подходило к концу; начиная со второй половины XIX в. она все меньше могла сказать об окружающей ее капиталистической действительности. Художники и интеллигенция выразили охватившее буржуазию ощущение бессмысленности, неприятие мира, которое возникло в ответ на спровоцированную Первой мировой войной потерю чувства стабильности.

Исходя из вышеизложенных предпосылок, Котт писал: «Любой поэтический идеал, если вчитаться в него до конца, всегда отражает

надежды, тревоги или ужас той общественной группы, которая его выразила. Когда люди перестают различать зло и противиться ему, ответственность перекладывается на извечную природу человека. Зло начинает восприниматься как нечто ужасное и безобразное, что зарождается в глубинах человеческой души»⁷ (конкретно он имел в виду фрейдизм и увлекавшийся им сюрреализм).

«Современная литература» представляет образ психики, которая является «борьбой инстинкта силы с инстинктом уничтожения, инстинкта жизни с инстинктом смерти», обнажает в человеке биологическое, иррациональное, необъяснимое, подсознательное, изменчивое. И это нормально в контексте охватившего буржуазных художников отвращения к культуре, созданной их классом. Однако дальше так продолжаться не могло, утверждал критик. Следует отметить, что протест Котта в данном случае был не сущностного, а скорее этического характера. Хотя он и придерживался мнения, что «человек биологический, человек вне культуры не существует», однако признавал существование противоречий в поведении каждого человека.

«Не это является предметом спора, — писал Котт. — Речь идет о моральной оценке, об одобрении внутреннего хаоса, брожения и беспорядка и преклонении перед ним. В конечном итоге ставится вопрос о возможности понимания и оценки человеческих поступков. Мы ведь помним, что в момент, когда речь заходит о трагизме существования, человек превращается в существо непознаваемое. Отсюда только один шаг, и власть над миром людей обретают демоны»⁸.

Самое главное, что человека биологического, естественного в принципе невозможно оценивать (природа не подлежит моральным оценкам), а человека, рассматриваемого «изнутри», с точки зрения психологии, обычно во всем оправдывают. В одной из работ наиболее показательным примером своеобразного психологического оправдания аморальности в польской литературе Котт назвал рассказ Ежи Анджеевского «Перед судом». Как мы помним, в нем изображены переживания лесничего, который (обвиненный в хранении оружия и жестоко избитый немцами во время допроса) не выдержал, выдал своего друга и погиб вместе с ним. Воспроизведенный во всех подробностях поток мыслей предателя, рассказ с «его точки зрения» (здесь я использую терминологию более современную, чем Котт) должен был стать чем-то вроде объективного, независимого от намерений автора оправдания⁹.

Котт считал, что в литературе будущего, в послевоенной литературе должна появиться другая модель человека. Необходимо изображать личность, которую можно понять, объяснить и дать ей оценку. Человек должен быть таким, каким мы видим его в обычной,

будничной обстановке, а это значит, что он должен быть изображен с внешней перспективы, с позиции его общественно значимых поступков. Эти поступки имеют свои последствия и, следовательно, могут быть оценены с точки зрения объективных категорий вреда и пользы, успеха и поражения, прогресса и отсталости. Кроме того, человек должен рассматриваться на фоне общественных изменений той социальной группы, к которой он принадлежит. Такое видение придает образу человека рациональность, поскольку демонстрирует его культурную составляющую. Именно она является в человеческой натуре фактом относительно постоянным и доступным для понимания и объяснения.

Эти требования к изображению человека были открыто заявлены во имя высокой цели: «Здесь речь идет не об отвлеченной проблеме модели человека в литературе, но о том, какими мы должны быть»¹⁰.

Что касается процесса, углублявшегося в литературе после Бальзака, который сегодня называют «персонализация повествовательной перспективы» или «смерть автора», то для Котта он означал разрушение образа объективной — по отношению к субъекту повествования — действительности. «Писатели нынешней эпохи, — отмечал Котт, — демонстрируют странное пристрастие: они предпочитают смотреть на мир глазами выжившего из ума курьера транспортного агентства, или девицы с дурной наследственностью, или бабки, продающей билеты в общественном туалете, или смертельно скучающего графа, страдающего эпилепсией. Очевидно, что такой образ действительности, изначально искаженный, не может соответствовать правде, не может показать все богатство отношений, соединяющих людей в действительности»¹¹.

Сходным образом Котт трактовал так называемую «независимость героя от автора»: «В романах начального периода реализма автор знал о своих героях все. Начиная со времен Флобера, автор охотно отождествляет себя с кем-либо из своих персонажей и его глазами смотрит на остальных, о которых он знает ровно столько, сколько избранный им в качестве секретаря аптекарь, торговец или лоточника. В последней стадии упадка психологического романа автор уже не в силах ничего сказать ни об одном из своих персонажей»¹².

Все эти художественные явления должны были сопутствовать социологическим процессам, которые в сумме привели к тому, что буржуазия постепенно утратила способность познавать мир.

Кульминацией, наивысшей ступенью развития этих явлений было творчество самого большого абутиста — Жида, у которого:

– «Реальный мир, подчиняющийся законам, мир, который сопротивляется действию и мысли, перестает существовать. Мы чувству-

ем, как погружаемся в какую-то кипящую биологическую магму, постоянно слышим об ожиданиях и стремлениях, желаниях и страстях. Действительность становится одним неуловимым впечатлением, ускользающим из-под контроля разума. Новизна ослепляет, экстаз заменяет познание <...>.

– Правда отождествляется с искренностью, искренность не поддается проверке. Мир, в котором между людьми существуют реальные связи, исчезает. На смену ему приходит царство «психологического произвола» <...>.

– Переживание приравнивается к опыту. Размываются контуры мира, разрывается объективная, эмпирически устанавливаемая связь между идеями и предметами, существует только переживающий и драматизирующий собственные переживания субъект. Все возможно, поскольку все произвольно <...>.

– Реальность была отождествлена с силой переживаний. Личность, индивидуальность стала единственным мерилем ценности.

Самая короткая рецензия Котта звучала следующим образом: «Это литература для молодых фашистов. Эти книги воздействуют как прилив крови»¹³.

Интерпретируемой подобным образом современной литературе критик противопоставлял героев и реалии романов Бальзака и Стендаля. Его энтузиазм был вызван тем, что персонажи этих писателей полностью «объяснены и растолкованы, не скрывают в себе никакой тайны». Стендаль достигал этого, формируя психологический портрет героев из типичных элементов, на основании которых можно вывести законы, управляющие поведением любого представителя «рода человеческого»¹⁴. Но ключевым моментом по-прежнему оставалась их так называемая «конструкция судьбы».

«Герои Стендаля и Бальзака потому являются настоящими героями, что воплощают законы исторического развития <...>. Они возвышаются как великаны над серой заурядностью своих современников потому, что их жизненный путь не является случайным и сугубо индивидуальным, но формируется историческими законами»¹⁵.

Котт понимал, что таким образом сконструированные персонажи могут показаться читателям неправдоподобными с точки зрения психологии, а образ действительности может противоречить их обычному повседневному опыту. Не столь существенно, утверждал Котт, что обвиненный в убийстве г-жи де Реналь Жюльен Сорель, провоцируя судей во время процесса, поступает абсурдно. О правдивости истории его жизни свидетельствует то, что она выражает имевший место в действительности этап общественного развития, а именно конец героического периода в развитии французской буржуазии, который

пришелся на эпоху Реставрации. В свою очередь в романах Бальзака история была явно «сконцентрирована»: де Рюампре делает в Париже литературную карьеру за два дня. И хотя не могло бы так произойти «на самом деле», но в этом заключена своя правда. Это событие точно передает капиталистический подход к вопросам искусства. Котт знает, что «великие классики реализма, верные глубокой правде истории, пренебрегали поверхностным правдоподобием ситуации, которое сделали литературным каноном только последователи Флобера»¹⁶. Он решительно настаивает на том, что в литературе и искусстве реальный мир должен изображаться не с помощью «дословного» копирования в произведении его (мира) элементов, и не на основе здравого смысла, обыденного сознания. Он мечтал о достижении цели с помощью построения абстрактных интеллектуальных моделей.

Котт, в его понимании, достигает синтеза 1) этических и прагматических предпосылок, которые приводят к утверждению о необходимости изображать личности социологически интерпретированные, поддающиеся объективной оценке, а также 2) базовых положений марксизма, согласно которым литература является одной из форм общественного сознания и выполняет познавательную функцию.

Продолжение цитаты о героях Бальзака и Стендаля, вырастающих над обыденностью, звучит следующим образом: «Бальзаку хватило смелости своих героев продумать и довести до конца, разглядеть за индивидуальной драмой драму общественного развития. Незаметная, но великая героиня «Человеческой комедии» — это ипотека. Крах Давида Сешара и карьера Растиньяка демонстрируют исторические перемены, духовные и материальные катастрофы, становление новых экономических форм».

Как мне кажется, Котт полагал, что если для достижения моралистической цели необходимо изображение социальной составляющей человека, которая является не чем иным, как проявлением процессов, управляющих жизнью общества, то уже само по себе отражение этих процессов в произведении, сама направленность познавательной активности на социальную действительность обеспечат успех в достижении этической цели.

Проявление же такой активности (т. е. признание существования закономерностей в устройстве бытия и последующий их поиск) является в глобальном масштабе, в масштабе общества — явным знаком прогрессивности и благоприятной ситуации данного класса. (Соответственно: конец классового превосходства отмечается в литературе, выражающей сознание данного класса, отходом от показа объективной, подчиняющейся законам действительности, созданием иррациональной концепции героя и моральной деградацией.)

Отсюда следовал очевидный вывод относительно целей, которые должна ставить перед собой литература государства, которому вскоре предстояло стать социалистическим. Эта литература демонстрировала сознание молодого и прогрессивного (а значит еще заинтересованного в поиске правдивой информации о себе и своей общественной ситуации) класса. В ней должен был быть представлен как можно более полный и правдивый образ действительности. Однако пока Котт — в соответствии с программой-минимум марксистов¹⁷ — призывал не прибегать к аргументации, подобной вышеизложенной, а вместо этого сосредоточиться на этическом аспекте и собственных убеждениях: «Великие реалисты не стыдились выражать собственные пристрастия, убеждения и суждения. Великий реализм не исключает гнева, бунта, презрения. Он не боится суда эпохи, но сам выносит ей суд. И поэтому он творит героев. Малый реализм не понимает истории, не умеет прочесть ее в человеческих поступках. Свою беспомощность он прикрывает фальшивым догматом о беспристрастности художника. Малый реализм боится быть пристрастным и судить и потому не способен создать героических образов»¹⁸.

То, что этот вывод остался в «Мифологии и реализме» недосказанным, было предопределено самим характером книги, посвященной главным образом критике литературы недавнего прошлого. Но Котт и не мог бы рассчитывать, что его идеи получат быстрое и широкое распространение, в связи с тем, что его эстетические требования вызвали стойкое неприятие у немарксистов.

Достаточно принять во внимание, что, если, например, следовать его требованию — изображать героя главным образом в действии, это означало бы восстановление в романной технике доминирующей роли фабулы. Для тех, кто не разделял «спиральной» теории развития культуры, это было бы равносильно бессмысленному поражению и бесплодному отступлению от достижений последних ста лет развития прозы. Котт в свою очередь полагал, что это были не достижения, но симптомы упадка, о чем свидетельствует следующее его высказывание: «...в творчестве великих абутистов деградация этических понятий сопровождалась разрушением литературных жанров»¹⁹. И наоборот, то, что для обычного критика 40-х годов было традиционализмом и эпигонством, Котт называл смелым экспериментом (ярчайшим примером могут служить его взгляды на современную живопись, от которой он требовал введения анекдота)²⁰.

Свою позитивную программу Котт развивал на страницах периодических изданий. Поначалу он не выходил за рамки общих, созвучных с тезисами «Мифологии и реальности» положений типа: «Реализм — это осознание, что характер и судьбу человека определяет не

только биология и психология, но история, в первую очередь история». Или: «Погружаясь все глубже и глубже в тайники душевной жизни человека, мы утратили способность выносить справедливую и человеческую оценку»²¹. Однако в соответствии с тем, что уже было сказано о возможности непосредственного перехода от требований этических к познавательным, уже в 1946 г. суть «великого реализма» он определил как «обнажение решающего конфликта эпохи – идейного, нравственного или морального»²². А условием, которое уже автоматически обеспечивает успех создания в произведении требуемой исторической концепции судьбы личности, Котт считал насыщение данного произведения общественными реалиями, введение в него социального анализа²³.

Следующим важным моментом в понимании Котта было стремление создать строго литературную программу, вплоть до разработки конкретных указаний (иными словами, нормативной эстетики), касающихся конструкции литературного произведения (в первую очередь романа), которые обеспечат достижение идейной цели писателя.

Провозгласив в 1946 г. завершение первого этапа в «споре о реализме», Котт свои предыдущие положения назвал только базовыми требованиями. Они включали в себя:

- «Объективизм познания, верность реальным фактам <...>.

- Воспроизведение моральных ценностей, которые позволят справедливо оценивать поступки людей в соответствии с требованиями прогресса и общественного развития, (рассматриваемыми как. – В.К.) требования общественной педагогики <...>.

- Насыщение политическим содержанием, (понимаемое как. – В.К.) выбор верных причинно-следственных связей, определяющих действия человека.

- Конструкцию человеческой судьбы (под которой он понимал – В.К.) не исследование страсти, болезни или воздействия чьей-то милости, но анализ эволюции общественной группы»²⁴.

Теперь, однако, отмечал Котт, попыток убедить теоретическими положениями уже недостаточно. На втором этапе необходимо эти требования перевести на язык художественной практики.

Котт предложил писателям две трактовки «результатов анализа», которые различаются, если говорить кратко, степенью своего антипсихологизма и привлекаемыми историческими образцами.

Первая концепция, концепция интеллектуально-исторического романа, не получившая широкого резонанса, наиболее полно изложена в восторженной рецензии на «Стены Иерихона» Тадеуша Брезы. Котт писал: «Неудачным каноном психологизма было то, что автор опускался на уровень ниже его интеллектуальных возможностей.

Догмат достоверности заставлял имитировать в прозе нудные, повседневные разговоры заурядных героев <...>. Все это началось с Флобера. Флобер преувеличивал разговорные клише и банальности из ненависти к мещанской глупости, чтобы никто уже не осмелился произнести подобной никчемной чепухи. К сожалению, это было воспринято как главная задача романа. Бреза, следуя примеру великих классиков, заставляет своих героев вести высокоинтеллектуальные беседы <...>. Он возвращает диалогу его истинное значение <...>. Диалоги характеризуют людей и эпохи <...>. В них сосредоточивается интеллектуальный опыт автора»²⁵.

Котт просто имел в виду многочисленные эффектные остроумные максимы и изобретательные формулировки, которые Бреза вкладывает в уста персонажей. Их роль в романе должна была быть весьма существенной. В «Стенах Иерихона» благодаря таким высказываниям, «как у Стендаля, как у Дидро, проза заново становится литературным родом, позволяющим говорить вещи умные, важные и верные»²⁶.

Лишение героев личностного своеобразия ввиду утраты диалогами функции характеристик или автохарактеристик персонажей, а также упоминание Дидро можно расценивать как явный призыв критика к подражанию философской повести XVIII в. По мнению Котта, она, несмотря на схематичность героев, благодаря богатству общественно-исторических деталей и мудрому комментарию смогла показать суть своей эпохи, дать картину распада старого слоя и зарождения нового — образ такой «прозрачный и ясный, что его можно было бы заключить в строгую математическую формулу»²⁷. (Подобным образом Бреза должен был показать «подлинную диалектику изменений правящего лагеря после смерти Пилсудского».) Критик приводил в пример Дидро еще несколько раз, полагая, что современное обращение к этому образцу было бы одновременно возвращением к первоначальному, стихийному, как бы народному периоду развития романа, т. е. ко времени, когда его создавала еще молодая буржуазия. Ведь это был момент перелома двух эпох, а сейчас мы переживаем следующий переломный момент... Значит, аналогичный прежнему жанр романа сегодня мог бы послужить целям рабочего класса»²⁸.

В другой, намного менее оригинальной концепции критика (ограничивающейся в основном пропагандой бальзаковского, или «классического» образца) подчеркивалось значение фикции, а фабула рассматривалась как наиболее адекватное средство изображения. Причинно-следственные связи между событиями, происходящими в романе, должны быть аналогичны объективным, т. е. связям в реальной действительности. События, из которых складывается фабула реалистического литературного произведения, внушают читателю

определенный взгляд на логику реальных фактов. Котт пояснил свои идеи на примере «Пепла и алмаза» Ежи Анджеевского:

Что означают действия, совершаемые в романе Мацеком Хелмицким? Каково их значение? — Они подсказывают читателям, что «распад Армии Крайовой — это трагедия молодежи, которая не может вернуться к нормальной — читай: обывательской — жизни».

Что означает случайное убийство Хелмицкого? — То, что «жизнь не имеет смысла, если молодые и благородные обречены совершать бессмысленные убийства и бессмысленно погибать»²⁹.

Обе эти мысли, с точки зрения Котта, абсолютно неверны. Ведь миром правят силы прогресса, а аковцы вроде Хелмицкого — это просто польские фашисты. Роман, чтобы показать эту правду, должен заканчиваться арестом главного героя.

Приблизительно такова была ведущая мысль известного разбора (1948 г., позднее автор отказался от высказанных в нем суждений³⁰) романа Анджеевского. Эта обширная рецензия оказалась предвестием того метода критического анализа, который позднее получил широкое распространение. Он основывался на проведении соответствия между сюжетными событиями данного произведения и определенными социальными закономерностями, якобы выраженными этими событиями. Критики размышляли над тем, какой именно социальный закон отражен через данное событие, не лучше ли было изобразить его иным способом, какие факты и законы в произведении не получили отражения, хотя следовало бы, и т. д. Рецензенты давали свои варианты рассматриваемого произведения, иногда рецензия даже превращалась в политический донос.

Здесь следует отметить, что, когда Котт писал, что «любая композиционная схема выражает идеологию <...>, конструкция романа демонстрирует мировоззрение не менее ясно, чем выбор тематики или типа аргументации героев»³¹, — он имел в виду главным образом фабульные приемы и схемы, а не конкретные сюжетные события данного произведения. Кроме того, он подчеркивал, что имеется в виду объективное значение, независимое от сознательной воли писателя³². Речь скорее идет не о политической позиции Ежи Анджеевского, Котт оценивает классовое значение образов, которым он, вероятно, следовал (Конрад, Мальро и др.).

* * *

Различий между характерами, предвоенным творческим путем, опытом военных и предвоенных лет Яна Котта и Казимежа Выки так много, что нет ни возможности, ни смысла их здесь перечислять. Од-

нако в различиях между двадцатидевятилетним кандидатом философии, членом Литературного и Социологического комитета ПАН, выдающимся критиком-персоналистом, знатоком и любителем Бжозовского и Сореля, и двадцатипятилетним «молодым поэтом» из варшавского «Клуба С», который первые годы войны провел в аннексированном Советским Союзом Львове, отразилась разница между двумя блоками польской интеллигенции, которая сознательно откликнулась на приглашение новых властей участвовать в строительстве новой культуры. Это оправдывает использование в этой части исследования биографического материала.

Так же как и Котт, Выка после войны провозгласил веру в объективный порядок истории, веру, что именно в истории, а не в метафизической сфере моральных ценностей реализуется жизнь человека. Фашисты, писал он в известной среди полонистов статье «Трагизм, насмешка, реализм», проиграли войну не потому, что оскорбили своими преступлениями «некий имманентный, данный сверху моральный порядок, равный историческому порядку, но потому, что их победила другая сила и более справедливая идея»³³.

Однако Выка воспитывался в духе антипозитивистской школы мышления о политике, литературе, истории, и его мировоззрение целиком сформировалось еще до войны. В дальнейшем, после того как его представления столкнулись с действительностью, ему уже не удалось на их основе создать цельной и оптимистичной картины мира. Познакомившись после войны с марксистским учением, Выка, однако, в своей критике и публицистике выдвинул на первый план проблему анахронизма³⁴: «Наше мышление, наше воображение использует застывшие схемы гораздо чаще, чем нам кажется. А полное непонимание сути проживаемого исторического момента вызвано обычно тем, что устаревшая схема представлений оказывается несостоятельной, а воображение все еще отчаянно за нее держится»³⁵.

И явно личный тон вышеприведенных слов, и историко-литературное или психологическое правдоподобие заставляют задуматься о некой подлинной идейной катастрофе и внезапной утрате иллюзий, которая имела место во время войны. В этой ситуации неудивительно, что Выка в отличие от Котта говорит не столько об инструментальной, сколько о терапевтической функции литературы. Не удивляет также различная у обоих критиков оценка литературы прошлого. «После безвозвратной гибели ценностей, которые составляли общую базу европейской культуры, независимо от того, какой нацией они были созданы, после столь разрушительного эксперимента — наша культура не может себе позволить дальнейшие эксперименты»³⁶ — так писал Выка в работе, где он изложил свое отношение к

предвоенным авангардным течениям. Он решительно отвергал среди них не только те, чьи философские принципы казались близкими к философии фашизма (футуризм, экспрессионизм и т.п.); по-видимому, с тех же позиций он осуждал традицию натуралистическую. Хотя он осознавал, что европейская культура в последнее время «обладала пищеварительными соками, способными переварить ее собственные стенки», — автор «Пограничья романа» не намеревался производить ее классово-социологический анализ (а именно такой применял Котт). Он рассматривал культуру как единое целое.

Последствия принятия этого тезиса были значительными: в теории реализма Выки не было проблемы общественных классов и их трудностей в познании мира. Допустим, что отсутствие в польской литературе межвоенного периода реалистического творчества нельзя расценивать как симптом утраты художниками способности и желания проводить глубокое исследование окружающей их действительности. Наоборот, утверждал Выка³⁷, это действительность (а она в реалистическом произведении просто объективно соответствует реальной) — действительность предвоенной Польши не несла в себе элементов, которые подходили для реалистического изображения. И это предопределило то, что художники вынуждены были ограничиться либо иронией в отношении того, что их окружало, либо манифестацией ощущения трагизма. Если вспомнить то, что говорил Котт о сути реализма (реалистическое произведение отражает суть действительности, постигая ее с помощью изображения действующих в реальности объективных законов) и о его классовом характере, следует признать, что излагающий свою концепцию Выка либо забыл о декларации, приведенной парой страниц выше, и полагал, что возможен «мир без истории» и что общественная жизнь Второй Речи Посполитой не регулировалась никакими социальными процессами, достойными исследования, либо что он употреблял слова «реализм» и «действительность» в ином значении, нежели Котт.

Я придерживаюсь второй версии. Для меня очевидно, что Выка понимал реализм как одну из чисто художественных конвенций представления результатов обычного познания, выполняющую определенные формальные требования, и на практике не придавал реализму (и противопоставляемым ему понятиям) классового характера.

Придерживаясь вышеизложенных принципов, Выка сумел (несмотря на согласие с переменами в стране и обращение к марксизму в публицистике):

1) сохранить «открытый взгляд на последнюю художественную революцию»³⁸, а также признать, что «трагизм и ирония являются уже перевернутыми листьями в книге нашего опыта <...>. Но эти

страницы не следует вырывать или предавать забвению, как нам предлагают. На нынешнем этапе развития польской прозы мы не сможем сделать новый шаг, если обе эти позиции отбросим как несущественную ошибку. Ошибку, которую следует забыть, чтобы искать подлинный выход где-нибудь в другом месте»³⁹. (Иными словами, это признание части формальных достижений постбалльзаковской прозы достойными продолжения.)

2) проявлять терпимость и широту взглядов, характерную для подлинного профессионала. Например: утверждая, что раз после войны в польском обществе происходят глобальные перемены, то литература должна решиться на реализм новых общественных форм, который способен увидеть эти перемены и даже предвидеть их, — он не выдвигал никаких реальных требований.

Описанные выше принципиальные различия в представлениях обоих критиков о литературе в полной мере проявились в следующем конфликте. Оба говорили о необходимости отражения в литературе законов и механизмов истории, однако оба понимали, что литература должна создавать образы. Принципиальное несогласие касалось того, что ставить на первое место. Мы помним, что Котт предлагал ради познавательной цели, ради изображения объективной действительности отказаться от психологического правдоподобия героев и вообще ограничить притязания романа на проникновение в духовный мир человека. Выка придерживался противоположной точки зрения.

Правда, анализируя творчество «трагических» авторов, он, разумеется, признавал, «что писатели, искавшие трагизм исторического конфликта прежде всего в столкновении моральных позиций, в неожиданных кратких минутах торжества добра или зла в человеке, во внезапных внутренних озарениях, после которых души вновь погружаются во мрак, продвигались на первый взгляд очень глубоко, а все-таки не достигали некой сердцевины человеческих отношений». Кроме того, Выка выражал сомнение в том, что хотя, очевидно, существуют глубинные откровения, которые раскрывают суть человека более явно, чем его повседневная жизнь, но играют ли эти столкновения решающую роль в историческом процессе, в реальных общественных процессах, в развитии народов⁴⁰. Тем не менее он сразу же оговаривал, что исследование этой «сердцевины» не является задачей даже художественной литературы реализма. Выка так пояснял свою мысль: «Будем откровенны. Далеко ли мы продвинулись в этой сфере, в сфере внутренних мотивов человеческих поступков, по сравнению с предвоенным и особенно с военным временем <...>. Вспомним, насколько близко во время оккупации соседствовали про-

тивоположные психологические мотивы <...>. Было бы смешно полагать, что революции, а тем более революции мирные меняют людей коренным образом. Но еще более смешным и наивным стал бы отказ от общественных изменений по той причине, что они не вызывают изменений индивидуальных, что люди остаются людьми, только людьми, лишь ведомыми к более справедливой цели. Однако писатель, а особенно писатель-реалист имеет дело с индивидуальными изменениями. И источники, из которых он должен черпать чистоту реализма, замутнены»⁴¹.

Говоря кратко, для Выки соблюдение жизненного и психологического правдоподобия персонажей, создаваемых литературой, является основным критерием реализма, а эмпирический опыт и «здравый смысл» — единственным критерием художественной правды.

Этот подход принес свои плоды в сфере его представлений о том, как в романе отражаются широкие общественно-исторические процессы. Ведь то же самое он утверждал в 1946 г., когда писал, что роман направлен на изображение ситуаций и событий индивидуальных, связанных с личностью и ее психологией, но на основе общего материала, типичного в своих во многом сходных проявлениях; что роман должен решать двойную задачу: типичности и индивидуальности⁴². (Оставим в стороне вопрос, насколько это мнение в той конкретной ситуации, когда оно было высказано, являлось манифестацией взглядов пишущего, а насколько — тактичным вступлением в полемику с «Зоилом» Котта и статьями поддерживающих его публицистов.)

О том, каковы были взгляды Казимежа Выки, можно составить представление, обратившись к его рецензиям на исторические романы. Направленность этого жанра на изображение исторического процесса не вызывает сомнений. В анализе «Пробы огня» Тадеуша Голуя, например, читаем: «Неоспоримым положением польской историографии является утверждение, что причиной поражения всех восстаний был классовый эгоизм шляхты, которая в деле национального освобождения не принимала во внимание крестьянский вопрос. Если художник согласен с этим утверждением, его задача так выразить эту точку зрения, чтобы теоретический тезис перестал быть просто тезисом, а обогатился фактами эпохи, психологией людей того времени и их представлениями об окружающем мире»⁴³.

По мнению Выки, Голуи справился с задачей — воплотить с помощью художественных средств правду об интересующем его событии, поскольку его книга явилась «реалистичной и в целом удачной реконструкцией событий ноябрьского восстания, какими они предстали глазам простого народа»⁴⁴.

Таким образом, Выка считал надлежащим способом изображения исторического процесса или события не выражение какой-то их объективной сути, но описание субъективного восприятия их теми, кто в них участвовал. А критерием подлинности этого субъективного восприятия является исключительно достоверность способа мышления персонажа, и — здесь мы возвращаемся к исходному пункту — именно по психологическая достоверность.

Для полноты картины надо добавить, что в критике и публицистике Казимежа Выки 40-х годов можно также встретить иную концепцию, касающуюся как воплощения в литературе проблемы человека и истории, так и используемой при этом изобразительной техники. Если бы краковский критик изложил свою концепцию, несмотря на разницу в содержании, она прозвучала бы так же, как изложение взглядов Котта. Это обусловлено тем, что его концепция предполагала стремление к изображению глобального исторического процесса через создание типического характера. Различие в том, что Выка рассматривал процессы истории не как конкретно-исторические, а как универсальные. Примером может служить его высказывание об одном из героев «Храброго» Антония Голубева: Контраст в судьбе Кендзёрка, действительно, больше говорит нам о том великом Новом, что вместе с христианством входило в Польшу, чем чисто формальное принятие язычниками христианства. Потому что в его судьбе одновременно отражается масштаб перехода от довольства чисто биологическим существованием к некоторой, в данном случае христианской, культурной норме и ее требованиям»⁴⁵.

Как видим, Выку, скорее всего, не интересовала познавательная в марксистском понимании функция литературы. Вместо этого свои главные усилия он направил на определение формальных аспектов реализма, в том числе на разработку «идеального» образца реалистического романа.

В самом общем виде его концепция заключалась в следующем: «Существуют два полюса искусства: действительность, данная писателю в форме индивидуального опыта и <...> форма, данная писателю в виде художественной традиции, системы формальных приемов, в рамках которой воображение должно уместить его опыт. Художник не создает действительности. Он должен владеть формой, чтобы действительность не утекала у него сквозь пальцы <...>. Естественно, сама проблема формы не является сегодня достаточным аргументом для полной перестройки искусства и литературы. Она словно сказуемое, для которого мы должны создать подлежащее <...>. Она не должна служить экспериментаторству, но призвана вернуть в полной мере смысл выражению: правда через форму»⁴⁶.

Этой метафорической формулой критик определил важнейшую для него черту реализма. Согласно принятым условностям, предполагается, что воссоздаваемый реальный мир отражает гармоничную и упорядоченную действительность. Реалистическое произведение позволяет выразить «простую человеческую правду» и может удовлетворить обычное любопытство: «а как было?». Следовательно, оно обладает чертами, которые наиболее необходимы читателю после 1945 г. — в ситуации идейного брожения и морального вакуума.

Таким образом, реализм с учетом двух аспектов значения формы был противопоставлен, с одной стороны, натурализму, а с другой — так называемому аморфизму⁴⁷. Он предполагал обязательное достижение в данном произведении равновесия между конструкцией и хаосом, между объектом и субъектом изображения.

Быка пояснял: «Мнение Золя о том, что роман — это слепок с действительности, пропущенный через индивидуальный темперамент, несправедливо. Оно проистекает из наивного предположения натурализма относительно того, что достаточно простого наблюдения, чтобы создать произведение искусства. Суть проблемы заключается в умении создать гармоничный образ мира, заменяющего реальный, мира, элементы которого возникают вследствие формальных поисков, благодаря владению нескоординированным, не поддающимся именованию хаотичным материалом реальности. — И тут же добавлял: — Совершенная форма отличается сбалансированностью, поэтому она менее всего заметна и на первый взгляд наиболее очевидна, а очевидна она потому, что ни один из ее элементов не выбивается⁴⁸.

Первый аспект значения формы, вероятно, заключается в том, что она позволяет натуралистическую «фотографию» действительности превратить в целостную конструкцию, передающую не только «внешние параметры» отдельных элементов, но и весь «механизм современной жизни (здесь одновременно подчеркивается ее познавательная функция).

Однако для того, чтобы роман получился удачным, необходимо найти «равновесие между художественными элементами и содержащимся в романе, но нигде не высказанным напрямую личным акцентом, потому что именно это равновесие обеспечит требуемую гладкость». Чтобы ее добиться, необходимо:

- соблюдать принцип авторского объективизма, избегать тенденциозности;

- придерживаться принципа так называемой «предметности» изображаемого мира, т. е. заботиться о том, чтобы общий смысл произведения формировался с помощью значения и конструкции от-

дельных элементов изображаемого мира, а не через прямое воздействие автора.

Говоря о «прямом воздействии» Выка имел в виду не только чрезмерный авторский комментарий, но также

– гипертрофированную, доходящую до пустословия стилизацию – поскольку в этом случае «искусство правды становится всего лишь искусством словесных оттенков»;

– чрезмерную «взволнованность в отношении темы», потому что она, во-первых, грозит дидактизмом, а во-вторых, нарушает принцип психологического правдоподобия (автор из наиболее субъективного материала не создаст действительно разнообразных характеров);

– любое другое нарушение дисциплины⁴⁹.

Подводя итоги, можно сказать, что концепция Выки (нормативная, как и концепция Котта, но в большей степени основанная на традиционном понимании литературы), по существу, ограничивалась пропагандой романной конструкции, характерной для произведений Пруса или Флобера (в любом случае уже в романах Жеромского, с точки зрения Выки, было большое количество композиционных промахов). Она практически оставалась в рамках понятий, разработанных в 80-х гг. XIX в. в ходе дискуссии в польской критике по проблеме обоснованности непосредственного проявления авторского «я» в романе, начало которой положила публикация «Beiträge zur Theorie und Technik des Romans» Фридриха Шпильгагена⁵⁰.

* * *

Данная статья была задумана как работа, в которой будут в основном представлены материалы самих критиков, в соответствии с известным девизом Леопольда фон Ранке, который гласит, что история не должна поучать, но только показывать, «как это было на самом деле». Тем не менее я чувствую необходимость дать короткий комментарий.

Не случайно тезисы Казимежа Выки звучат сегодня как очевидные, естественные и справедливые, не случайно утверждения Яна Котта воспринимаются как пресловутая «сказка о железном волке». Его представления, широко известные в первом послевоенном десятилетии, позднее были забыты. Но, как мне кажется, они заслуживают в меру беспристрастного освещения. Кроме того, я считаю изначально несправедливой оценку произведений, воплощавших на практике требования Котта⁵¹, с помощью критериев, заимствованных у Казимежа Выки, как это повсеместно принято. Как можно от литературы, стремящейся вырваться за пределы житейского опыта,

пытающейся создать образ «объективной действительности», требовать описания действительности такой, какой ее видят или видели люди. Не стоит также упрекать в недостоверности психологического рисунка литературу, которая принципиально отвергала психологизм. Реализм в понимании Выки и реализм в понимании Котта выдвигал абсолютно разные требования к литературе. В дискуссии о двух вариантах реализма под одинаково звучащими терминами понимались различные или вовсе противоположные понятия.

Например, тенденциозность. Для Выки она была помехой в поисках правды, чем-то навязчивым, дисгармоничным, нарушающим чистоту формы. Для Котта, наоборот, тенденциозность была условием правды, изначальным условием любой попытки достоверного воспроизведения мира. Он понимал под тенденциозностью служение писателя интересам «прогрессивного» общественного класса.

Легко заметить, что разница между двумя вышеизложенными пониманиями тенденциозности была предопределена разницей в уровне обобщения, к которому прибегал каждый из критиков. Теоретически можно себе представить книгу тенденциозную с точки зрения Котта и объективную для Выки либо тенденциозную для обоих.

Еще одним общим (для польской литературы) моментом был источник рассматриваемых в этой статье теорий реализма. Их происхождение можно объяснить потребностью идейного расчета с тем, что нес с собой фашизм. И это дает мне повод полагать, что между двумя более общими концепциями искусства, примерами которых являются рассмотренные нами литературные теории, нет иных различий, помимо тех, что следуют из разницы в методологическом подходе и тяготения к разным эстетическим традициям.

Однако отсутствие принципиальных различий, я бы сказал, онтологического характера не означает отсутствия политических различий. Если какой-либо критик разделял тот или другой подход к реализму, то в обстановке 40-х гг. это являлось ответом на довольно существенный вопрос: «Должно ли изменение строя в стране привести не к отвлеченным (поскольку здесь были согласны все писатели и критики, декларировавшие политическую поддержку новых властей), а к практическим результатам в создании литературы и искусства?»

Котт полагал, что должно было. Выка, вероятно, только делал вид. Ведь при каждой возможности он не уставал призывать к умеренности, терпению и «реализму в оценке возможностей нашей прозы»⁵², он откладывал момент появления «марксистско-реалистического» творчества — до греческих календ. Можно даже выдвинуть смелое предположение, что Выка, использующий ту же терминологию, что и Котт, боялся воплощения в жизнь требований Котта.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В список критических работ Яна Котта 1940-х гг. входят: *Mitologia a realizm. Szkice krytyczne*. Warszawa, 1946; *Szkola klasyków*. Warszawa, 1946. Небольшие статьи были собраны во 2-м томе сборника: *Postęp i głupstwo. Krytyka literacka, wspomnienia 1945–1956*. Warszawa, 1956. Далее цитируются эти издания.

Еще не опубликовано отдельной серьезной работы об этом критике. Определенные сведения содержатся, например, в книгах, посвященных журнальной периодике того времени: Збигнева Жабицкого «„Kuźnica“ i jej program literacki» (Kraków, 1966) и Казимежа Козыневского «*Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944–1950*» (Warszawa, 1977), в которых я почерпнул много полезной информации, а также книга Анны Соболевской «*Polska proza psychologiczna 1945–1950*» (Wrocław, 1979). До сих пор остается актуальной работа Генриха Маркевича «*Krytyka literacka w walce o realizm socjalistyczny 1944–1954*» (Warszawa, 1955). Также следует назвать: *Gosk Hanna. W kręgu „Kuźnicy”*. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945–1948. Warszawa, 1985; *Fialkowska B. Polityka i twórcy. 1948–1959*. Warszawa, 1985; *Jarosiński Zbigniew. Nadwiślański socrealizm*. Warszawa, 1999.

Литературная критика и публицистика Казимежа Выки 1940-х гг. собрана в книгах «*Pogranicze powieści. Proza polska w latach 1945–1948*» и «*Życie na niby. Szkice z lat 1939–1945*» (Warszawa, 1957). Исследования критика в переводе на рус. яз. см.: *Выка К. Статьи и портреты*. М., 1982.

Послевоенный период деятельности этого критика слабо изучен, тем не менее многочисленные факты о нем содержатся в исследовании «*Kazimierz Wyka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografie*» (Kraków, 1978. Pod red. Henryka Markiewicza i Aleksandra Fiuta), а также в статье Ежи Квятковского «*O krytyce literackiej Kazimierza Wyki*» // «*Z problemyw literatury polskiej XX wieku*» (Warszawa, 1965) и в книге Веслава Павла Шиманьского «*„Odrodzenie“ a „Kuźnica“ w Krakowie*» (Wrocław, 1981).

Я также использовал воспоминания Ежи Квятковского «*Niedyskretny urok pamięci*» (Kraków, 1982); Ежи Путрамента «*Zagranica*» (Warszawa, 1985); «*Literaci*» (Warszawa, 1971); Романа Братного «*Pamiętnik moich książek*» — część pierwsza (Warszawa, 1978); Тадеуша Древновского «*Tyle hałasu o nic?*» (Warszawa, 1982); Генриха Воглера «*Autoportret z pamięci*» // «*Dojrzałość*». Cz. III (Kraków, 1981).

Непосредственно с темой данной статьи перекликается произведенный проф. В. А. Хоревым анализ послевоенной дискуссии о реализме в его статье: На пути реализма (о польской литературе в первые послевоенные годы) // Выбор пути. М., 1987. С.96. См. также: *Он же. Польская литература // История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны. Т. 1. 1945–1960 гг.* М., 1995. С. 89–94.

² Ср.: *Podgórecki Adam. Patologia działania instytucji // Socjotechnika. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji*. Warszawa, 1974. S. 39–67, tu zwłaszcza S. 53.

³ *Postęp...* S. 26.

⁴ *Ibid.* S. 17–19.

⁵ *Mitologia...* S. 78–79.

⁶ *Ibid.* S. 117–186.

- 7 Mitologia... S. 59.
- 8 Ibid. S. 94.
- 9 Эта точка зрения не выглядит столь абсурдной, если учесть, что Станислав Эйль полагал: «...в персональном романе или сходным образом построенном повествовании от первого лица отсутствие дистанции автора по отношению к мыслям и переживаниям героев способствует возникновению у читателя симпатии к миру чувств героев, к их ценностям» (*Eile St. Światopogląd powieści*. Wrocław, 1973. S. 123).
- 10 Mitologia... S. 93.
- 11 Postę... S. 15.
- 12 Mitologia... S. 105.
- 13 Ibid. S. 96–98.
- 14 Ibid. Rozdział «Nad Stendhalem».
- 15 Ibid. S. 50.
- 16 Ibid. Следует отметить, что Котт почти дословно повторяет тезис Лукача из статьи об «Утраченных иллюзиях». Критик ссылается на издание: *Лукач Г.* К истории реализма. М., 1939.
- 17 «Наша программа является программой-минимум, мы просто провозглашаем добродетели французских буржуа середины XVIII столетия: веру в знание, веру в действительность общественных реформ, скептицизм в отношении суждений, не подтвержденных опытом» — так, по мнению Котта, должен был писать Адам Важиш. Ср.: Postę... S. 70.
- 18 Mitologia... S. 17.
- 19 Ibid. S. 107.
- 20 Postę... S. 120–126. Здесь он полемизирует с Юлианом Пшибосем.
- 21 Ibid. S. 15, 25.
- 22 Ibid. S. 128.
- 23 В статье «Путь к реализму», анализируя рассказ Ежи Анджеевского «Страстная неделя» из книги «Ночь», Котт писал, что в этом произведении «достаточно богатый и разноплановый социальный анализ, чтобы „перевернуть“ прежнее соотношение и драму этических позиций превратить в историческую драму социальной группы». Он имел в виду второй, опубликованный вариант рассказа (с первым он ознакомился в рукописи). Разница между двумя версиями была заметной: «В первой <...> отношение поляков к евреям было драмой ответственности каждого человека за жестокость и зло мира. Во второй — богатый, точный и разноплановый анализ той общественной ситуации, в которой находятся все персонажи, позволил мир, перевернутый с ног на голову, поставить обратно на ноги. Восстание евреев в гетто перестало быть мистической трагедией избранного народа, стало эпизодом всеобщего сопротивления немецкой оккупации. Во второй версии <...> впервые появилось слово „фашист“» (Postę... S. 83–88).
- 24 Postę... S. 80.
- 25 Ibid. S. 130.
- 26 Ibid.

- 27 Mitologia... S. 31.
- 28 Postęp... S. 165.
- 29 Ibid. S. 186–197.
- 30 В ответе на анкету «Новой культуры» в 1954 г., а позднее, например, в докладе на 19-й сессии Комитета по культуре и искусству в марте 1956 г. Примечательно, что он не предпринял повторного анализа, а только отказался от предыдущих оценок.
- 31 Postęp... S. 181.
- 32 Котт полагал, что современность поставила «на повестку дня» проблему социального заказа, характерного для времени, «когда общественная жизнь требует от литературы нового языка и новых образов, когда происходят события, для изображения которых прежних художественных средств уже недостаточно» (Postęp... S. 102).
- 33 Цит. по: Wyka K. Pogranicze powieści. Warszawa, 1974. S. 25. Далее цитаты приводятся по этому изданию.
- 34 Это ведущий мотив двух главных эссе из «Życia na niby» — «Dwóch jesieniach» и «Gospodarce wyłączonej», как и некоторых текстов «Pogranicze powieści» например «Rozrachunki inteligenckie», «Powieść piastowska». На идейную эволюцию, которую пережил Выка во время войны, проливает свет книга: Wyka K. Życie na niby. Pamiętnik po kłęsce. Kraków, 1984. См. мою рецензию «Nad I tomem „Pism” Kazimierza Wyki» // Pismo Literacko-Artystyczne. 1985. № 4.
- 35 Wyka K. Życie na niby. Pamiętnik po kłęsce. S. 85.
- 36 Pogranicze... S. 47.
- 37 См.: Tragiczność, drwina, realizm.
- 38 Pogranicze... S. 24.
- 39 Ibid. S. 27.
- 40 Ibid. S. 28.
- 41 Ibid.
- 42 Ibid. S. 137.
- 43 Ibid. S. 295.
- 44 Ibid. S. 296.
- 45 Ibid. S. 264.
- 46 Ibid. S. 57.
- 47 Выступая против «аморфизма», Выка имел в виду смешение и распад прежних жанров, особенно романа: «Требование чистоты жанра, для меня по крайней мере, является основным дополнением к требованию реалистичности изображения. Реализм в теме, в содержании — это требование, которое невозможно свести к нескольким ясным указаниям. Зато чистота и строгое соблюдение жанра дают писателю формальный инструмент, позволяющий углубить действительность» (Ibid. S. 144).

Учитывая, что форму он определял как «технические средства и возможности, которыми обладает искусство и которые используются как форма» (Ibid. S. 56), можно предположить, что проблему формы он, по сути, ограничивал проблемой чистоты жанра. Это веский аргумент, чтобы оценивать его концепцию как формальную, нормативную и традиционалистскую.

В свою очередь, аргументы против натурализма поднимали вопрос о его низкой познавательной ценности и скомпрометировавшей себя философской и идеологической основе: «Зеркало отражает, но зеркало не может научить механизму современной жизни. В лучшем случае оно покажет его единственно возможным образом: в сжатой перспективе, но не в его правде, поскольку правда требует знания. <...> Натурализм, если его понимать последовательно и до конца, окажется пустым в интеллектуальном аспекте. Темперамент, инстинкт — это его поправка к действительности» (Ibid. S. 41–42).

48 Ibid. S. 35.

49 Ibid. S. 36–40.

50 Ср.: *Eile St.* Op. cit. S. 86–89 и *Burkot St.* Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX wieku. Wrocław, 1968. S. 124–152. Есть возможность изучать позицию Выки в более широком контексте. Учитывая, что взгляды Выки фактически означали защиту старой, авторской модели романа, и принимая во внимание момент, когда они были высказаны, логично рассматривать его тезисы не только как участие в так называемом «споре о реализме», но и как один из голосов в большой общеевропейской дискуссии на тему романа и его повествователя, начатой Шпильгагеном и продолжавшейся до конца 50-х гг. В этой дискуссии участвовали в том числе: Поль Бурже, Альбер Тибо, Кэте Фридемани, Оскар Вальцель, Вольфганг Кайзер и др.

51 Концепция Котта, без сомнения, имела много общего с нормами соцреализма, вероятно, из них выростала, но не была им идентична. Котт все же не требовал изображать в литературе «будущее как настоящее», или не призывал к «революционному романтизму». Хотя очевидно, что использование на практике советов Котта формировало польский соцреализм.

52 Pogranicze... S. 24.

Перевод Е. Костюк

CZAS TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ

Czym jest lokalność w literaturze, zwłaszcza w prozie? Bardzo trudno byłoby podać definicję tego pojęcia, między innymi dlatego, że problematyka lokalności nie występuje w izolacji lecz w jakichś kontekstach problemowych i nabiera rozmaitych znaczeń w zależności od tych kontekstów. Niemniej, zainteresowania lokalne natychmiast rozpoznajemy, bo odbieramy ich wyraźne sygnały. Są to przede wszystkim ściśle związki utworu z konkretnym, możliwym do zidentyfikowania, zdecydowanie wyodrębnionym miejscem. Pojawiają się autentyczne nazwy miejscowe, widziny wierność wobec lokalnych miar odległości i czasu, wobec pewnych wyróżników topograficznych i znaków identyfikacyjnych (także w zabudowie).

W nowszej polskiej prozie pełno jest przykładów takiej natychmiast rozpoznawalnej lokalności, która często uzyskuje czytelnicze potwierdzenie. Jednym z nich może być «Dukla» Andrzeja Stasiuka, opowieść o dość sławnym podkarpackim miasteczku — jakże szczegółowo wierna! Oto wspomniany jest tam kilkakrotnie zakład fotograficzny Pana Szczurka. Przeglądając recenzje z książki Stasiuka można zaś natknąć się na recenzję podpisaną tym właśnie nazwiskiem — syna właściciela warsztatu, mieszkającego obecnie na Śląsku — będącą holdem dziękczynnym dla autora za tak wierne i czule odtworzenie jego rodzinnej ojczyzny. Wytyka on Stasiukowi jedną tylko niedokładność — przedstawienie kolejności dwóch wsi przy jednej z dróg dojazdowych do Dukli — ale jest to oczywiście taka niedokładność, która potwierdza dążenie do ścisłości, bo tych szczegółowo opisanych dróg jest chyba cztery.

Przykładem innego rodzaju lokalnej wierności jest «Prawiek» Olgi Tokarczuk, powieść dziejąca się na niewielkim terenie wyodrębnionym czterema mitycznymi, nieprzekraczalnymi granicami strzegącymi tego szczególnego miejsca. Dla potrzeb literackiej mitologii zakamuflowane zostało — przynajmniej w nazwach — samo centrum tego obszaru ale cała reszta jest zgodna z faktyczną topografią i rzeczywistym nazewnictwem. Rzeki, drogi, kompleksy leśne są do zidentyfikowania z mapą.

Niektóre książki wręcz zachęcają do czytania ich z mapą czy planem miasta w rękę. Zwłaszcza powieści dziejące się na terenie Trójmiasta, które nie są powieściami o Gdańsku czy o Gdyni «w ogóle», lecz o kilku ulicach. «Weiser Dawidek» Pawła Huellego to jest kilka ulic Wrzeszcza, «Hanemann» Chwina to parę uliczek, czy wręcz jedna ulica, Oliwy, Jerzy Limon w «Koncercie Wielkiej Niedźwiedzicy» tworzy legendę ulicy przy

której w Sopocie zamieszkała jego rodzina. Zawarta w tych powieściach sugestia skonfrontowania ich realiów z planem miasta została podchwyciona między innymi przez uczestników konkursu dla młodzieży z okazji 900-lecia miasta. Ci z nich którzy pisali o «Hanemanie» Chwina wędrowali po mieście jego śladem i zaopatrywali swoje prace w odpowiednie mapki.

Te przykładowo wymienione powieści, świadczące o istnieniu wyraźnych przejawów lokalności w dzisiejszej nowszej prozie polskiej, sygnalizują też od razu, w jakich kontekstach problemowych ona się pojawia. Są to bowiem powieści dotyczące także problematyki wykorzenienia i ponownego zadomowienia, dezintegracji i poszukiwania nowej tożsamości, którą – dla odróżnienia od innych formuł tożsamości charakterystycznych dla wcześniejszej literatury polskiej – można określić mianem tożsamości lokalnej.

Problematyka tożsamości lokalnej w nowszej prozie polskiej została narzucona dzisiejszej świadomości literackiej przez młodych pisarzy ziem północnych i zachodnich, przede wszystkim – pisarzy Gdańska i Pomorza. Stało się tak z racji pierwszeństwa, jakości, ilości utworów podejmujących tę problematykę oraz trwałości całego zjawiska, liczącego sobie dzisiaj już około piętnastu lat. Sprawa zaczęła się przecież od głośnych powieści Pawła Huellego («Weiser Dawidek», powst. 1984, wyd. 1987) i Stefana Chwina («Hanemann», 1995), a gdyby chcieć być ścisłym, to może od «Münchhausenjadi» (powst. 1978, wyd. 1980) Jerzego Limona, autora coraz bardziej znaczących książek, m.in. wzmiankowanego «Koncertu Wielkiej Niedźwiedzicy» (1999). Jest znamienne, że Gdańszczanie nie przestają być pisarzami gdańskiej lokalności – lub problematyki tożsamości lokalnej umiejscowionej gdzie indziej – nawet kiedy Gdańsk opuszczają. Pierwszy przypadek to m.in. trylogia wschodniopruska («Ślady na piasku», «Pory roku», «Vox lucis») Marka Jastrzębca-Mossakowskiego i proza Izabeli Filipiak («Absolutna amnezja»). Przypadek drugi to, między innymi, «Słowa obcego» Bronisława Świdorskiego (powieści dziejącej się w Kopenhadze) czy «Wilczy notes» Mariusza Wilka, który osiadł na Wyspach Solowieckich i tam właśnie usiłuje się zadomowić. Gdańsk okazał się także zdolny do przeobrażenia poczucia lokalnego związanego z miejscem pochodzenia na tutejsze – związane z miejscem zamieszkania. Spośród pisarzy starszych potwierdza to Zbigniew Żakiewicz, ewoluujący od lokalności wileńskiej («Ród Abaczów») do kaszubskiej («Ciotuleńka», «Gorycz i sól morza»), spośród młodszych – Aleksander Jurewicz, autor głośnej niegdyś «Lidy», poświęconej miejscu urodzenia na Białorusi, a teraz jeden z bardziej aktywnych pisarzy gdańskich

Szczegółne znaczenie ziem północnych i zachodnich w rozwoju dzisiejszej lokalności literackiej potwierdza twórczość pisarzy związanych z innymi miastami i ośrodkami położonymi na ich terenie: Szczecinem (Inga

Iwasiów), Toruniem (K. Myszkowski), Olsztynem (pisarze środowiska Borussi), Wrocławiem, Nową Rudą na Dolnym Śląsku (K. Maliszewski, ostatnio — Olga Tokarczuk). To szczególne znaczenie zostało oczywiście zauważone i wyeksponowane — jednakże nie tylko z pożytkiem ale i z pewną szkodą dla rozumienia całego zjawiska. Zwrócenie uwagi na północno-zachodnią kresowość dzisiejszej lokalności pozwoliło od razu spostrzec jej nowość w stosunku do dotychczasowej lokalności polskiej literatury, bo ta — pomimo wszystkich i rozmaitych różnic — była głównie kresowo-wschodnia. Marzenie, żeby literatura polska pokochała także Zachód było właśnie marzeniem, programem — najbliższym zrealizowania może w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy zaistniał regionalizm śląski czy kaszubski.

To spostrzeżenie nowości nie przełożyło się jednak na pogłębioną refleksję nad jej charakterem i przyczynami, ponieważ kazało interesować się przede wszystkim socjologią zjawiska i w tej sferze znalazło zbyt gotową i prostą odpowiedź na wszystkie pytania. Tkwi ona oczywiście w masowych migracjach po II wojnie światowej, w przesiedleniu na ziemie północno-zachodnie narodu ze Wschodu, w potrzebie oswojenia nowej rzeczywistości i zadomowienia się w niej. Przykładem takiego ujęcia może być książka Leszka Szarugi «Dochodzenie do siebie» (1997), która do wspólnego mianownika «pisanie Polski od nowa» sprowadza utwory o bardzo różnym charakterze i z bardzo różnych poziomów twórczości.

Objaśnianie problematyki nowej lokalności samymi powojennymi przemieszczeniami ludnościowymi i geograficznymi Polski nie udziela odpowiedzi na wiele pytań, między innymi na pytanie: dlaczego teraz? Nie tłumaczy też, dlaczego problematyka tożsamości lokalnej pojawiła się jednocześnie w twórczości wielu pisarzy nie związanych biograficznie z tymi przemieszczeniami (Andrzej Stasiuk, Jerzy Pilch), w tym — starszego pokolenia (Wiesław Myśliwski, Marek Nowakowski, Jarosław M. Rymkiewicz).

Przekonywujące objaśnienie niezwyklej kariery problematyki lokalności we współczesnej prozie powinno wskazać przyczyny także przykładowo wymienionych przypadków, najlepiej takie jednak, które tłumaczyłyby jednocześnie, dlaczego owa lokalność rozwinęła się zwłaszcza w prozie pisarzy ziem zachodnich i północnych. Pouczające pod tym względem może być dokładniejsze przyjrzenie się rozwojowi twórczości porozatorskiej Adama Zagajewskiego (ur. 1945), pisarza, który zdążył urodzić się we Lwowie ale świat zaczął poznawać w śląskich i poniemieckich Gliwicach. Miasto to w sposób znaczący jest już obecne w jego prozatorskim debiucie («Ciepło, zimno», 1975), głównym jednak i samodzielnym tematem stało się dopiero w eseju «Dwa miasta» (1991). Twórczość Zagajewskiego unaocznia przede wszystkim, że pisarskie zainteresowanie nowymi miejscami osiedlenia nie jest jakąś automatyczną konsekwencją przesied-

leń, zwłaszcza zaś — że nie da się rozpatrywać jako jednostkowa realizacja zbiorowego doświadczenia wykorzenienia i nowego zakorzenienia. Ten rodzaj ciekawości przybysza, z jakim mamy do czynienia w książkach nowej lokalności jest charakterystyczny dopiero dla dzieci przesiedleńców, zwykle urodzonych już na nowych ziemiach, i łączy się z wyobcowaniem także z grona wykorzenionych ze Wschodu — zwłaszcza starszych członków rodziny, duchowo przebywających ciągle w swojej pierwszej ojczyźnie. Zagajewski przekonująco pokazuje, jak jego ciekawość miejsca, które miało być jedynym miejscem jego życia, spotyka się z brakiem jakiegokolwiek pomocy, zrozumienia a nawet wrogością ze strony rodziny, która Gliwic nie zamierzała traktować inaczej niż jako miejsca przejściowej najpewniej emigracji. To nie tylko odwlekalo w czasie literacki wyraz zainteresowania przybyszy nowymi ziemiami — przynajmniej do momentu osiągnięcia pisarskiej dojrzałości przez pokolenie dzieci przesiedleńców — ale i obarczało te zainteresowania przymusem konfrontacji z mitem porzucanych miast, jakiegoś sprostania temu mitowi, dokonania syntezy przeszłości z własną terażniejszością. W związku z tym najpewniej sam Zagajewski zadomowił się ostatecznie nie w Gliwicach lecz w Krakowie, do którego przybył na studia, i którego odkrywanie w pierwszych miesiącach pobytu było dla niego na tyle ważne, że przynajmniej trzykrotnie wracał w swojej prozie do tego okresu swojego życia. Coraz wnikliwiej odkrywa je jako miasto syntezy — niemieckiego gotyku, włoskiego renesansu, żydowskiego Kazimierza, polskości i europejskości — i charakteryzuje jako palimpsest umożliwiający zadomowienie się w różnorodności historycznej i kulturowej. Najpełniej w książce *«W cudzym pięknie»* (1999).

Dlaczego do tej syntezy i zuniwersalizowania lokalności doszło tak późno? Ważny był jeszcze jeden czynnik: radykalna przemiana postawy wobec historii — od jej akceptacji jako ram i perspektywy działania, dającego poczucie przynależności i tożsamości, do uznania jej za pewną konstrukcję ideologiczną, która oto rozpadła się pozostawiając odczucie wydziedziczenia, chaosu, i rodząc konieczność porządkowania wszystkiego na własną rękę — poczynając od miejsca w którym zastała nas katastrofa. Bohater powieści Zagajewskiego z 1975 roku w historii właśnie szukał możliwości przewyciężenia podwójnego wyobcowania. Sam Zagajewski — jako współtwórca grupy poetyckiej *«Teraz»*, współautor manifestu krytycznoliterackiego pt. *«Świat nie przedstawiony»*, wreszcie: aktywny działacz opozycji demokratycznej — był zresztą jak najbardziej jej uczestnikiem. Jednak kiedy tylko było możliwe rozluźnienie szeregu *«solidarnych»*, podjął próbę odzyskania podmiotowej suwerenności (*«Solidarność i samotność»*, 1986), wyzwolenia się spod *«terroru historii»*, narzuconego przez totalitaryzm i przymus zbiorowej walki z tymże. Pobyt za granicą, ułatwiający konfrontację ze zwyczajnością innych krajów, bardzo temu

sprzysiał. Mimo wyzwolenia z historyzmu i radykalnej niechęci do koncepcji człowieka jako istoty historycznej, Zagajewski, w imię całościowej wizji bytu właśnie, nie chce jednak rezygnować z historycznego wymiaru egzystencji. Ale odbudowuje ten wymiar w opozycji do historii wielkiej, «oficjalnej». We wzmiankowanych «Dwóch miastach» wraca do historii rodzinnej, do dzieciństwa — nie z nostalgii jednak, lecz po to, by odzyskać własne miary historyczności, zgodnie z przekonaniem, że «nasze życie jest jedynym metrem, którym mierzymy ubranie, w jakie ubrała nas epoka» («Solidarność i samotność»). Dalsze poszerzanie tego wymiaru jest możliwe poprzez poznawanie, odczytywanie, przyswajanie sobie historyczności jako atrybutu miejsc, które stały się miejscami naszego poznania i egzystencji. Stąd rola Krakowa.

Rozrachunek z historią jako unifikującą wizją, przemocą narzucaną ludziom i społeczeństwom, jest czymś co, tak czy inaczej, pojawia się w twórczości wszystkich pisarzy zainteresowanych lokalnością. Towarzyszy temu zwykle zdystansowanie się wobec niej jako wrogiego, niszczącego żywiołu i przeciwstawianie jej historii «małej», rodzinnej, poznawalnej i sprawdzalnej — także po to, żeby od niej rozpocząć odbudowywanie własnego miejsca w świecie. («Krótka historia pewnego żartu» Stefana Chwina, «Prawiek» Olgi Tokarczuk należą do najbardziej radykalnych prób w tym zakresie.) Podobnie powszechne jest zainteresowanie okolicami o zintensyfikowanej historyczności umożliwiającymi samodzielne zakorzenianie się także w przeszłości kultury. Motywy te odnajdujemy m.in. w najnowszej twórczości Olgi Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka, których odczucie rozpadu historii łączy się zresztą raczej z przemieszczeniami społecznymi niż geograficznymi, a którzy również w swoich dość odludnych miejscach osiedlenia (Kotlina Kłodzka, Beskidy) potrafili odnaleźć nawarstwienia różnorodnej historii (Dukla, Wambierzyce).

Te przykłady pozwalają stwierdzić, że swoista decentralizacja myślenia o historii była najważniejszym i koniecznym warunkiem pojawienia się nowej lokalności w prozie, że bez tej przemiany chyba nie byłaby ona możliwa. Specyfika ziem zachodnich i północnych sprawiła, że przemiana postaw twórczych w tym zakresie nastąpiła tu wcześniej, radykalniej i wyraziściej niż gdzie indziej. Unifikująca wizja historii była tu bardziej niż gdzie indziej zaklamana i sprzeczna z rzeczywistością. Nie mówiła o niemieckiej przeszłości tych ziem i o regionalnych odrębnościach również niechętnie widzianych w świetle mitu odwiecznej, pias-towskiej polskości. Milczała o tragedii niemieckich i polskich przesiedleń, o budowaniu nowego życia w ponemieckich domach i sprzętach. Jerzy Limon we wzmiankowanym «Koncercie Wielkiej Niedźwiedzicy» przez samą analizę nazw miejscowych i nazw ulic pokazał, w jak sztucznej, wymyślonej rzeczywistości historycznej osadzone zostało jego miasto. Zi-

emie zachodnie i północne przedstawiały jednak też bogatą ofertę nowego zadomowienia i zakorzenienia, właśnie ofertę starych, europejskich miast o zróżnicowanej przeszłości i jej czytelnych pozostałościach. Była to szansa sprostania mitowi miast pozostawionych na Wschodzie; było co przeciwstawić nostalgicznej wierności miejscom urodzenia pokolenia rodziców.

Ta możliwość była sprawą ważną, bo otwierała drogę do podjęcia dotychczasowej tradycji lokalności w polskiej literaturze. Tradycja ta, ukształtowana przez kolejne pokolenia emigrantów z kresów — nostalgiczna, związana z miejscem pochodzenia i utraconą ojczyzną dzieciństwa — była pod wieloma względami już anachroniczna, ale odznaczała się też pewnymi elementami znowu aktualnymi: nastawieniem na wielokulturowość, kresowość, pograniczność. Okolicznością sprzyjającą było zapewne, że te cechy polskiego wzoru lokalności pozostawały w zgodzie z nowymi trendami myślenia humanistycznego, myślenia kategoriami różnicy, graniczności.

Znaczenie wzoru lokalności wschodnio-kresowej dla ukształtowania się zainteresowań pograniczami północno-zachodnimi potwierdza Inga Iwasiów. Narzędzi refleksji nad życiem w przygranicznym Szczecinie («Miasto-ja-miasto») szukała pisarka w kresowej prozie Odojewskiego, poświęciła jej oryginalną rozprawę. Nie da się też pominąć inspirującej roli prozy twórców niemieckich stąd się wywodzących: Günthera Grassa, Siegfrida Lenza, Ernesta Wiecherta — czyli literatury dawnych niemieckich kresów wschodnich. (Zwłaszcza po ukazaniu się przekładów polskich — z «Błaszanym bębenkiem» na czele). Chęć sprostania obydwu wzorom lokalności kresowej jest widoczna w książce o «pisarzach kresów zachodnich» («Opowieść o cynowym raju», pod red. Sergiusza Sterny-Wachowiaka). Składa się ona głównie ze szkiców o twórczości niemieckich i żydowskich pisarzy, którzy kresy te opuścili i dla których oczywiście pozostały one kresami wschodnimi.

Rola tradycji tak potężnej nie mogła raczej ograniczyć się do roli stymulatora, powstała też realna pokusa naśladownictwa, która jednakże nie zagroziła zatarciem zasadniczej odmienności wynikającej z faktu, że teraz mamy do czynienia z lokalnością związaną z miejscem zamieszkania a nie — z utraconym miejscem urodzenia. Widoczne jest to zwłaszcza w motywie powrotu do dzieciństwa, który służy dziś nie tyle nostalgii co rekonstrukcji procesu wtajemniczania w nową rzeczywistość kulturową, jest obrócony ku przyszłości.

Znaczenie tych wszystkich czynników stymulujących łatwo jest docenić, kiedy porówna się obecność wielkich miast ziem zachodnich i północnych w nowszej polskiej prozie z obecnością — dla przykładu — Warszawy, miasta też w końcu zasiedlonego głównie przez powojennych przybyszów. Może nie jest przypadkiem, że najgłośniejsza i najlepsza w ostatnich latach książka o Warszawie — «Sny i kamienie» Magdaleny

Tulli — tworzy poetycką wizję miasta zbudowanego na planie ideologicznej i biurokratycznej utopii. W związku z tym jest ono bezbronne wobec naporu anty-miasta, ulega zniszczeniu, nie może stać się narzędziem walki z chaosem, miejscem odbudowywania porządku bytu.

Książka Tulli jest też jednak kolejnym przykładem, że sprawy nowej lokalności nie należy wiązać tylko z problematyką przemieszczeń geograficznych i społecznych, że czynnikiem, z którym jest ona nierozzerwalnie związana jest jednak tak czy inaczej odczuwany «rozpad historii». Szczególnie wymowny może tu być przykład prozaików starszej generacji, którzy pod koniec lat siedemdziesiątych akceptowali różne formuły tożsamości społeczno-kulturowej odsyłające do tradycji. W słynnym eseju poprzedzającym katalog wystawy «Polaków portret własny» (1979), Jan Błoński stwierdzał powszechny zanik poczucia tożsamości fundowanego na identyfikacji z historią PRL-u i zwracał uwagę na renesans samowiedzy budowanej na rozleglejszych tradycjach historycznych: chłopskiej, inteligentkiej, żydowskiej. Ale i te formuły nie wytrzymały próby Sierpnia i lat stanu wojennego. Wiesław Myśliwski, który z uzasadnieniem może być uważany za głównego twórcę formuły tożsamości chłopskiej, związanej z procesem emancypacji wsi, w «Widnokregu» (1996) zdecydowanie porzuca perspektywę historii na rzecz refleksji w horyzoncie elementarnych ludzkich doświadczeń i wartości — zlokalizowanym w Sandomierzu. Jarosław Marek Rymkiewicz, który zawsze demonstrował przywiązanie do tradycji polskiej inteligencji, usiłuje teraz wyzwolić się z niej, poczynając od «Rozmów polskich latem 1983», na rzecz formuły «powiatowej» tożsamości polsko-litewskiej. Marek Nowakowski, który najwyraźniej może uległ posierpniowej perspektywie powrotu do poczucia historycznej tożsamości, fundowanego na uczestnictwie we wspólnym działaniu zbiorowości («Raport o stanie wojennym»), bardzo szybko stał się odkrywcą i strażnikiem ostatnich szczątków starej, «autentycznej» Warszawy (trzy tomu «Powidoków»).

Potwierdzeniem znaczenia zmiany postaw wobec historii, tendencji do wyzwolenia się z niej także jako z pewnego układu interpretacyjnego, są wreszcie pewne zbieżności literackie towarzyszące zainteresowaniu problematyką miejsca — niezależnie od bardziej szczegółowych potrzeb, na które stanowi ono odpowiedź. Zbieżność ta polega przede wszystkim na poszukiwaniu jakiegoś porządku bytu alternatywnego wobec historii, takiego w każdym razie, który historii nie podporządkuje się w całości, pozostanie w jakimś stopniu tajemnicą. Jej omówienie wymagałoby już przejścia do szczegółowych interpretacji wymienionych i nie wymienionych utworów.

DATY I DEDYKACJE

(o wątkach miłosnych w poezji Stanisława Barańczaka)

Poeeci Nowej Fali nie pisywali erotyków. W ich wierszach chodziło o Prawdę i Wolność, nie o usta i piersi ukochanej. Zamiast patrzeć w oczy dziewczyny, dwudziestoparoletni poeta pisze wiersz: «Spójrzmy prawdzie w oczy»¹. Ciało jest często powracającym tematem i całe rodziny wyrazów bliskoznacznych, związanych z nazwami części ciała i jego funkcjonowaniem, stanowią ważną część leksyki we wczesnej twórczości zarówno Stanisława Barańczaka, jak Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego czy Juliana Kornhausera. To ciało jednak niewiele ma wspólnego z erotyką. W ich wierszach usta i język raczej służą do mówienia (prawdy lub kłamstwa) niż do pocałunków. Proporcjonalnie do tego krytycy poświęcali niewiele uwagi liryce miłosnej poetów tego pokolenia. Monograficzna książka Krzysztofa Biedrzyckiego o poezji Barańczaka², licząca prawie trzysta stron, tematowi miłości poświęca zaledwie osiem.

W miarę upływu czasu drogi poetów, tworzących na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Nową Falę, rozchodziły się coraz bardziej, a oni dojrzewali i stawali się wyraźnie odrębnymi indywidualnościami, zdystansowanymi też od dawnej, nowofalowej wspólnoty. Dla żadnego z nich miłość nie stała się wielkim, wszystko pochłaniającym tematem. Ale kiedy czytamy całość dotychczasowego dorobku lirycznego Stanisława Barańczaka, widzimy jak inyśl o miłości do kobiety biegnie przez jego książki niby ścieżka obok drogi. W jego poezji temat miłości jest rzeczywiście prawie nieobecny — choć może dokładniej byłoby powiedzieć — prawie niewidoczny. Cykl poświęcony ukochanej kobiecie pojawia się dopiero w tomie «Chirurgiczna precyzja» wydanym w 1998 roku, a więc trzydzieści lat po debiucie («Korekta twarzy», 1968). Od tej reguły milczenia o miłości jest wprowadzić jeden wyjątek, ale o nim później.

Czytelnik poezji Barańczaka nie może nie zwrócić uwagi na wiersze z «Chirurgicznej precyzji» nie tylko dlatego, że wprowadzają one temat przedtem nieobecny u tego autora, ale i dlatego, że nie jest to pojedynczy utwór lecz cała grupa tekstów, wyodrębnionych jako osobna (czwarta i ostatnia) część tomu, a wreszcie dlatego, że stanowią one zwarty cykl, precyzyjnie skomponowany, opatrzony wspólnym tytułem i wyróżniony wyborem określonej formy gatunkowej. Jest to pięć wierszy, objętych tytułem «Piosenki nie śpiewane Żonie (wyłącznie z małodusznego braku wiary we własne możliwości wokalne)» i dodatkowo ujętych w swego

rodzaju ramę kompozycyjną, utworzoną z dwu tekstów, wchodzących w skład czwartej części tomu, ale nie włączonych do cyklu. Wiersz poprzedzający «Piosenki», zatytułowany «Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził», w istocie wiąże się najściślej z cyklem przez swą tematykę — a także przez dedykację: «Ani, jedynej» — ale z uwagi na tonację stylistyczną i formę gatunkową nie może się w cyklu pomieścić. Jest bowiem elegią, nie piosenką.

Cały cykl «Piosenek nie śpiewanych Żonie» utrzymany jest konsekwentnie w tonacji żartobliwej, z grami językowymi na granicy pure-nonsense, które zaczęły pojawiać się w języku poety na początku lat dziewięćdziesiątych, np. w takich tomach jak: «Zwierzęca zajadłość» (1991), «Biografioly» (1991) i inne, wraz z tłumaczeniami z humorystów angielskich i amerykańskich, między innymi Ogdena Nasha, Edwarda Leara i Lewisa Carolla, zebranymi później w antologiach «Zwierzę słucho zwierzeń» (1992) i «Fioletowa krowa» (1993). Wcześniej zabawy lingwistyczne tego rodzaju stanowiły coś w rodzaju nieoficjalnego marginesu twórczości poety, mającego charakter okazjonalny, na wpół prywatny. Do publikowanych tomików jego wierszy pure-nonsense gry językowe przenikają stopniowo wraz z ogólniejszym tonem ironii, który pojawia się w wierszach o tematyce politycznej pod koniec lat siedemdziesiątych. W omawianym cyklu z «Chirurgicznej precyzji» żart językowy jest zawsze podporządkowany cieplej tonacji emocjonalnej. Natomiast poprzedzający cykl wiersz «Płakała w nocy» jest z gruntu odmienny. Został napisany całkowicie w sposób elegijny. W jego głębokim, choć pełnym tkliwości smutku słychać nawet nutę tragiczną, ton rozdzierającej rozpacz, nieubłaganego poczucia samotności, które może być złagodzone tylko przez bezgraniczną miłość.

Obramowanie zamykające cykl stanowi wiersz «Płynąc na Sutton Island», nie związany już ani tematem, ani dedykacją z osobą ukochanej, natomiast korespondujący z filozoficzną postawą z utworu poprzedzającego cykl «Piosenek». Bowiem «Płynąc na Sutton Island» jest znowu utrzymany w elegijnej tonacji. Tyle, że tym razem to wierszem o przemijaniu rzeczy tego świata — nieuchronnym, acz z pozoru niedostrzegalnym — choć kończy się jasnym przeblaskiem, myślą o możliwości przezwyciężenia niszczących skutków upływu czasu:

(...) że można
samą siłą kochania, jak wyspę wśród morza,
uchować coś przed zmianą.

Widzimy więc, że zgodnie z tym, co zapowiada tytuł całego tomu, jego końcowa, czwarta część, skomponowana jest z istic chirurgiczną precyzją: składa się z cyklu pięciu piosenek, objętych ramą dwu wierszy elegijnych. Obie te gatunkowe możliwości zapowiada podtytuł «Chirurgicznej precyzji», który brzmi: «Elegie i piosenki z lat 1995–1997». Tytuł każdej z piosenek zaczyna się nazwą formy muzycznej:

Madrygał probabilistyczny

Aria: Awaria

Blues przy odgarnianiu śniegu ze ścieżki przed domem

Alba lodówkowa

Serenada, szeptana do ucha przy wtórze szmeru klimatyzatora.

Dwie «piosenki» ostatnie nieprzypadkowo sąsiadują ze sobą, bo przecie albę prowansalski trubadur śpiewał swej ukochanej o świcie, a serenadę wieczorem. I właśnie w serenadzie, ostatniej, a więc będącej ukoronowaniem i zamknięciem tego wyjątkowego w poezji Barańczaka cyklu poświęconego ukochanej, kryje się kilka zagadek.

SERENADA, SZEPTANA DO UCHA PRZY WTÓRZE SZMERU KLIMATYZATORA

Przez lat dwadzieścia dziewięć
wiedziałaś wszystko; tylko
jednego do dziś nie wiesz:
jak mi się znudzić. Był to

wyczyn jedyny w swoim
rodzaju. Odkrycia inne —
maczanie w sosie z soi
chińskich pierożków, w kinie

obejrzani «Walkonie»,
pusta plaża (poligon)
pod Mrzeżynem, gwałtownie
szkarlatne i kolibrom,

ich liberalnym flirtom
chętne kwiaty Hawajów,
Guinness, *Das wohltemperierte*
(tego słuchają w Raju:

Arta Tatuma i Bacha),
powieści Nabokowa,
smak rzadkich przewag w szachach,
herbata (nałogowa

zależność), nawet mała
maciejka czy hortensja —
każda rzecz jakoś umiała
wyrobić w sobie potencjał

przyzwyczajenia. Czyli
można, jeżeli się chce.
Głupie rzeczy się nauczyły.
A ty, taka bystra — nie.

Wprowadzenie prozaizmów i oparcie całości na ironicznym koncepcie wydaje się mało odpowiednie dla liryki miłosnej. Tej serenady nie śpiewa romantyczny kochanek przy wtórze czułych dźwięków lutni lub violi d'amore. Akompaniament — odgłos technicznego urządzenia, będącego jednym z symboli współczesnej cywilizacji — przypomina raczej muzykę konkretną. Ale zaraz — czy nie chodzi tu raczej o muzykę języka, o maestrię onomatopeicznych współbrzmień: «serenada szeptana przy wtórze szmeru...». Czulość dla ukochanej jest tu zaprawiona szczyptą autoironii, pewnie po to, by nie wpaść w banalny sentymentalizm. Prozaizmów jest więcej. W potocznym stylu utrzymany jest przecież inicjalny zwrot do adresatki, której «trubadur» (choć sam nie umie śpiewać), zdaje się czynić wyrzuty:

(...) tylko
jednego do dziś nie wiesz

A na końcu ten wyrzut przeradza się prawie w surową reprimendę:

(...) Czyli
można jeżeli się chce.
Głupie rzeczy się nauczyły.
A ty, taka bystra — nie.

Tak mógłby się zwracać zniecierpliwiony ojciec do zdolnej, ale niezbyt pilnej córki, która nie odrobiła lekcji. Ale nie poeta do ukochanej. Chyba, że sięgając po tradycyjne formy madrygału, arii, bluesa, alby i serenady chce nadać im własny, nowy ton. Zachować ich finezję i czar a zarazem pokazać, że nie są one zmurszałym zabytkiem, przebraniem pożyczonym z teatralnej garderoby, ale można ich użyć, żeby tu i teraz, w realiach, w których żyjemy na co dzień w XX wieku, powiedzieć ukochanej kobiecie o swojej miłości. Prozaizmy i potoczność stylu ujawniają się na poziomie leksyki, w doborze wyrazów. Ale spójrzmy, jak kunsztownie ukształtowana jest składnia i przeplot porządku zdania z podziałem na wersy i strofy. Od drugiej do siódmej (ostatniej) zwrotki ciągnie się jedno długie zdanie, złożone z litanii wyliczeń, z nawiasowymi wtrąceniami. Skomplikowany retoryczny okres, z licznymi znakami przestankowymi, nienagannie poprawny. Kontrastowo spointowany trzema krótkimi, ściśniętymi w jednej strofie zdaniami. Każde z nich cięte ostro, jak okrzyk. To nie jest potoczna gadanina, o nie.

Serenada zwykle wyrażała namiętne uczucia i opiewała zalety ukochanej. Autor «Chirurgicznej precyzji» podejmuje ten wzór, ale stosuje go z ironicznym przekształceniem. Uwielbienie zostało tu wyrażone w sposób paradoksalny, w formie pozornej przygany. W polskiej tradycji literackiej szczególnie dobrze znany jest świetny przykład podobnego zastosowania ironii: Ignacego Krasickiego satyra «Do króla», mająca pozór nagany, a będąca w istocie rozprawą z krytykami Stanisława Augusta i poetycką mową na jego cześć. Każdy czytelnik pamięta z lektur szkolnych przykład tego chwytu i może sobie przypomnieć, że współczesny poeta, żeby mówić do ukochanej kobiety, sięga ponad dwoma stuleciami po taki sam pomysł, jakiego używał kiedyś poeta oświeceniowy — żeby mówić do króla.

Spójrzmy teraz, cóż to się mieści w wyliczeniach, zawartych w tym wymyślnym retorycznie zdaniu. Jakie to rzeczy i sprawy zostały przywołane? Zestawienie na pierwszy rzut oka może wydawać się chaotyczne. Jeśli to jednak naprawdę chaos, to taki, którym jest samo życie, całe życie, w którym sąsiadują ze sobą sprawy wzniosłe i przyziemne. Wiersz przywołuje sztukę i dawną (Bach) i współczesną (jazz, kino), przyrodę egzotyczną i bardzo swojską, bo Mrzeżyno to skromna miejscowość nad Bałtykiem, a jednak zjawia się obok tropikalnego, barwnego przepychu Hawajów. Kwiaty (bo jednak są kwiaty w tym wierszu dla ukochanej!) też zostały dobrane tak, że tworzą zestawienie kontrastowych jakości: wraz z efektowną, cieplarnianą hortensją pojawia się niepozorna, skromna maciejka, którą wyróżnia tylko niezwykle piękny zapach, pojawiający się wieczorem. Obok wyrafinowanych rozrywek intelektualnych (powieści Nabokowa, szachy) są też przyjemności kulinarne (specjały kuchni orientalnej, słynne piwo i herbata). Chciałoby się powiedzieć, że ten nie wierzący w swoje możliwości wokalne, nieco ironiczny «trubadur», zna smak życia i potrafi się nim cieszyć. Ogarnia je całe: od zmysłowej przyziemności po natchnioną wzniosłość, od sztuki po naturę, od Bałtyku po Hawaje. I w swoją serenadę, nie śpiewaną ale tylko szeptaną, wkłada cały świat, całe życie. No, może jeśli nie całe życie, to na pewno ostatnie dwadzieścia dziewięć lat.

Dlaczego akurat 29? Zastanawiająca jest ta dokładność. Liryka miłosna, która chciała powiedzieć coś o uczuciu trwającym wiecznie, nie używała na ogół tak buchalteryjnie dokładnych cyfr. Obiecywano kochać «zawsze», «na wieki». W romantycznej balladzie miłość chciałaby trwać «do śmierci», a nawet «poza grób». Barańczak nie tylko w «Chirurgicznej precyzji» zachowuje precyzję w liczeniu lat. Wprawdzie tylko niektóre wiersze są datowane (np. cykl «Dziennik zimowy» w «Tryptyku z betonu, zniechęcenia i śniegu») natomiast wiele jego tomów opatrzonych jest w podtytule informacją, dotyczącą czasu powstania utworów, np.: «Dziennik poranny. Wiersze 1967–1972», «Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975–

1977», «Atlantyda i inne wiersze z lat 1981–1985», «Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986–1988». W «Widokówce» są także utwory noszące w tytule daty miesięczne i roczne: «Lipiec 1952», «Czerwiec 1962», «Wrzesień 1967», «Grudzień 1976», «Sierpień 1988». W ten sposób przez cały tomik (omawianie jego arcyciekawej skądinąd problematyki nie może zmieścić się w tym krótkim szkicu) przeplata się cieniutka nić autobiograficznych aluzji. Z wyjątkiem ostatniego tekstu, zawierającego już obrazy z życia w Ameryce, wszystkie «wiersze-miesiące» z dawniejszych lat osnute są wokół wspomnienia wydarzeń, rozgrywających się w realiach polskich. «Lipiec 1952» to wspomnienie wypadku w wiejskiej kuźni «szwagra naszej gospodyni, Hendryka», kiedy to sześciolatek chłopiec został skaleczony w skroń odpryskiem gorącego żelaza. «Czerwiec 1962», już dziesięć lat później, mówi o wizycie w prosektorium, do którego ojciec lekarz zabral ze sobą syna, pragnąc skłonić go do studiowania medycyny. «Wrzesień 1967» to wiersz o miłosnym spełnieniu dwojga młodych, a w «Grudniu 1976» jest już dorosłość żonatego człowieka, z czytelną aluzją do jego zaangażowania w działalność demokratycznej opozycji, która utworzyła Komitet Obrony Robotników po brutalnie stłumionych robotniczych protestach z czerwca 1976. Może ta skrupulatność w datowaniu nie jest przypadkowa, skoro sześciolatek chłopczyk, zbyt ciekawie zaglądający do kuźni w 1952 roku, jest rówieśnikiem autora (urodzonego w 1946 roku), a «Elegia druga, urodzinowa, z Tryptyku...», zaczynająca się od słów:

Obchodzę urodziny
z daleka i na palcach

liczę trzydzieści trzy lata, skończone

na chylbika i z grubsza

znajduje się pomiędzy wierszami zatytułowanymi: «1.11.79. Elegia pierwsza. Przedzimowa» oraz: «29.11.79. Z innych ważnych względów społecznych», natomiast dokładna data urodzin poety trzydzieści trzy lata wcześniej to 13.11.1946. Być może więc szeptana serenada nie przypadkiem mówi o dwudziestu dziewięciu latach — ale niestety — akurat «Serenada» nie jest datowana! Może jednak uda się dotrzeć do kłębka po nitce, której koniec spróbujmy schwycić w podtytule, który brzmi, jak pamiętamy: «Elegie i piosenki z lat 1995–1997». Nie mogąc, z braku dokładnej daty, dokonać obliczenia z «chirurgiczną precyzją», przyjmijmy do obliczeń dotyczących «Serenady» średnią pomiędzy 1995 a 1997 czyli rok 1996. Tak więc dwadzieścia dziewięć lat wspomnianych w «Serenadzie» mogłoby zacząć się w 1967. A przecie już mamy wiersz z tą datą — ten jedyny we wcześniejszych tomach Barańczaka erotyk w «Widokówce z tego świata»!

WRZESIEŃ 1967

I jakim prawem mieliśmy w sobie aż tyle
nieprzezorności, aby w bezsennym przedziale
spędzić noc, wysiąść, drząc z zimna, i znaleźć
między dnem szarych chmur a warstwą rudych szpilek
śliski od mżawki, pusty po sezonie camping –
garść słupów od siatkówki i sklejkowych ruder,
zza których grzmiało morze; aby w przemokniętym
domku z dykty nie zwlekać już ani przez chwilę
dłużej i paść w ubraniach na nagi materac
i, niezdarnie zdzierając je z siebie, docierać
do nas, odnalezionych Bóg wie jakim cudem

i jakim trafem; aby nic wtedy nie przeczuć,
chichotać z układanych wspólnie – senną głową
przy ciepłej piersi – głupstw: «Morze miarowo
szumi, Bo niemiarowo nie umi», pod wieczór
nadal czuć w ciele slony, dziki, jednostajny
rytm fal, które zbijały z nóg spionym światłem
zmieszonym z piaskiem, żwirem i wodorostami,
i ten rytm naśladować w śpieszniejszym narzeczu
dwojga ciał; aby wargi błędzące powoli
płaża skóry, natrafiały na kryształki soli
z morza? z potu? nie wiedząc jeszcze, jakim wiatrem

i jakim trwaniem będą zdmuchnięte, splukane;
aby języki dwa bez skutku ale czule
chciały się spleść, przytrzymać nawzajem, nie ulec
sygnałowi z latarni morskiej, gdy nad ranem
buczał przez mgłę na znak, że wszystko ma swój brzeg,
i gdy do wnętrza domku przez koślawą ramę
okna sączył się z anten, kominów i drzew
świt ze swoim natrętnie milczącym pytaniem,
jakim właściwie cudem, jakim trafem, jakim
prawem wszystko ma odtąd pozostać tym samym
morzem, tym samym snem, tym samym słonym smakiem.

Co jeszcze przemawia za trafnością takiego a nie innego intertekstualnego nawiązania? Wśród najważniejszych «odkryć» życiowych, które wylicza poeta w «Serenadzie», znajduje się, jak pamiętamy «pusta plaża (poligon) pod Mrzeżynem». Koresponduje z tym wspomnieniem sceneria przedstawiona w wierszu «Wrzesień 1967»:

pusty po sezonie camping –
garść słupów do siatkówki i sklejkowych ruder,
zza których grzmiało morze;

Ten piękny erotyk to jedyny wiersz miłosny opublikowany przed «Chirurgiczną precyzją». Jedyny, ale przywołany wyraźną aluzją i w ten sposób dołączony do «Piosenek nie śpiewanych Żonie». Poprzedzający je wiersz «Płakała w nocy...» dedykowany jest «Ani, jedynej». Można się spodziewać, że poeta, tak uważny w datach i liczeniu lat, także dedykacje umieszcza w sposób nieprzypadkowy. Jest tych dedykacji niezbyt wiele, pojawiają się przede wszystkim przy wierszach zamieszczanych w tomikach od debiutu poczynając, do lat osiemdziesiątych. Pojedyncze teksty dedykowane są przede wszystkim przyjaciółom – poetom z kręgu Nowej Fali: Ryszardowi Krynickiemu, Adamowi Zagajewskiemu, Lechowi Dy-marskiemu, później też Zbigniewowi Herbertowi. Pojawia się także kilka innych bliskich poecie osób, związanych jednak z jego działalnością, by tak rzec publiczną: Edward Balcerzan (po części literacki, po części naukowy mistrz z lat uniwersyteckiej młodości Barańczaka) i Adam Michnik (to już w okresie aktywnego zaangażowania w działalność opozycyjną w połowie lat siedemdziesiątych).

Jeżeli chodzi jednak o dedykacje położone nie na pojedynczych wierszach, ale obejmujące całe poetyckie tomy – tu nieodmiennie pojawia się osoba prywatna. Debiut, «Korekta twarzy», nosi dedykację «Dla Ani». Tylko drugi z kolei tom, «Jednym tchem», nie ma żadnej dedykacji – ani ogólnej, ani przy pojedynczych tekstach. Poprzedzony jest za to wstępem, manifestem autora «Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej» i ma w sobie młodzieńczą powagę bardzo solennego, publicznego wystąpienia. Nie tylko treść wierszy, ale cały edytorski kształt tomu mówi czytelnikowi o tym, że poezja jest ważną misją, za którą autor ręczy całym sobą (po wstępie zamieszczona jest jego fotografia), i że ma za sobą wsparcie intelektualnej wspólnoty. Tomik wierszy, niby dzieło naukowe, należy do serii mającej swego redaktora i recenzentów, których nazwiska znajduje czytelnik na początku książki. Wszystkie późniejsze tomiki poetyckie Barańczaka są już zawsze dedykowane tej samej osobie: «Ani», zawsze: «Ani». Tylko «Ja wiem, że to niesłuszne», pierwszy tom opublikowany poza cenzurą (w Giedroyciowym Instytucie Literackim w Paryżu) ma dedykację nieco szerszą: «Matce, Żonie i Synowi».

Jak widać, nic dziwnego, że o poezji miłosnej Barańczaka pisano nie wiele. Jego utwory są wyjątkowo powściągliwe w mówieniu o uczuciach. A jednak wczytując się w tę garść wierszy, dedykacje i szyfr ukryty w datach, odnajdujemy ciągnący się nieprzerwanie od debiutu w 1968 roku wątek oddania, uwielbienia i zachwytu dla «Ani, jedynej». W końcu wszystkie te

wiersze: i lingwistyczne, i polityczne i metafizyczne, w których kobieta i miłość nie pojawiają się ani na moment, okazują się składanym jej nieustannym holdem; bo wszystkie są jej ofiarowane — bez względu na temat. Stałość jako ważna cecha miłości pojawia się też w poprzedzającym Wrzesień 1967 wierszu Drobnomieszkańskie cnoty. Przeciwstawia się tam dwa modele artysty: cygana, «poety przekłętego», neurotyka oraz drugą postawę, której ów buntowniczy przedstawiciel bohemy zarzuca filisterstwo. Stosując ten sam co w Serenadzie chwyt ironicznej odwrotności, mówiący w wierszu poeta «B.» składa rzekomą samokrytykę:

(...) co za blamaż, nie mieć w biografii
ani jednego rozwodu, dewiacji, większego nalogu,
kuracji psychiatrycznej, burzliwego romansu na boku.

Ukochana w wierszach Barańczaka jest «jedyna» nie tylko w tym sensie, że nie ma rywalek, że całe życie jest jedna i ta sama. Przymiotnik ten użyty został też w drugim znaczeniu: ona okazuje się «jedyna» bo inna, z nikim i niczym nieporównywalna. W «Serenadzie» mówi się przecież o tym, że wszystko co w życiu najbardziej frapujące mogło się w końcu znudzić, a ona — nie. «Był to wyczyn jedyny w swoim rodzaju».

Z kilku wierszy, kilku fragmentów, dat i dedykacji wyłania się obraz miłości wpisanej w poezję Barańczaka, obraz miłości bezgranicznie wiernej, mimo upływu dziesięcioleci pełnej wciąż tego samego uwielbienia i młodzieńczego zachwyty. Wspartej na przekonaniu, wyrażonym na końcu elegijnego wiersza «Płynąc na Sutton Island», który pojawia się jako koda, już po zamknięciu cyklu «Piosenek nie śpiewanych Żonie»:

(...) że można
samą siłą kochania, jak wyspę wśród morza,
uchować coś przed zmianą.

Wiara w to jest jakby odpowiedzią na pytanie, kończące «Wrzesień 1967»:

jakim właściwie cudem, jakim trafem, jakim
prawem wszystko ma odtąd pozostać tym samym
morzem, tym samym snem, tym samym słonym smakiem.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Barańczak S. Jednym tchem. Warszawa, 1970.

² Biedrzycki K. Świat poezji Stanisława Barańczaka. Kraków, 1995.

Проблемы литературных связей. Контакты — типология



ТАДЕУШ ШИШКО

«РАЗГОВОР» МИЦКЕВИЧА В ПИСАТЕЛЬСКОМ СОЗНАНИИ НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА

В одном из ранних вариантов своего неоконченного романа «Соколий перелет», носящего подзаголовок «Записки человека без направления», Николай Лесков так описывал вводимого им начиная с IX главки нового героя:

«Адам Львович Безбедович был сын униатского священника из-под Пинска. Раннее детство свое он провел в приходе отца, среди болот и лесов литовского полесья, к которому чувствовал во всю остальную жизнь некоторые неопределенные симпатии. Мне кажется, что эти симпатии крылись в детской свечке его с грустной природою глубокой Литвы и в живом сострадании его печальной участи здешнего всем бедного населения. Я так думаю потому, что Адам знал наизусть из Мицкевича все превосходнейшие описания литовской природы, но не знал ни одного из его сонетов и баллад и даже не любил самого Мицкевича. Он избегал говорить о нем, а сколько мне известно из его отрывочных выражений, считал его „большим поэтом и сентиментальным пустозвоном“. Когда мы были в Париже, где в то время пребывал Мицкевич, я напомнил об этом Безбедовичу, ожидая, что он сходит на поклон к своему тезке, но он отвесил, что не видит в этом никакой надобности, что лучшее, что было в Мицкевиче, он знает, а худшего не хочет видеть»¹.

Несомненно, рисуя в этом полуавтобиографическом варианте «Сокольного перелета» образ Адама Безбедовича, Лесков в некоторой степени дополнял свой собственный образ, всегласно, например, признаваясь в своих познаниях личности и творчества Адама Мицкевича. Ведь Лесков, подобно своему герою, не только знал из Мицкевича «все превосходнейшие описания литовской природы», чему наглядным доказательством может служить хотя бы глава «В Беловеже» из третьей книги его знаменитого романа «Некуда», в которой образы природы живо напоминают, даже своей композицией, описания природы в четвертой книге «Пана Тадеуша»², но и превосходно знал

соколами, кружащими над чуждыми стихиями, где волевым птицам
суждено погибнуть. Напомним, что уподобление человеческих глаз
соколиному взору присущствует и в III части «Лядов»: «За пещі, пещі
за піеши осы ме соколе, осы білскавіце» (s. 123).

Культурное пространство также открыто, но очень своеобразно.
Его открытость — это мера исторического времени. Здесь еще ничто
не начиналось. Это пространство вызывает образ чистого листа бу-
маги. Если бы Бог взял за перо, а буквами бы стали добродетель-
ные люди, то он открыл бы им, что любовь правит ими, что главное
их богатство — жертва. Если за дело возьмется сатана, то он напишет
только одно слово — кнут. Таким образом, по Мицкевичу, открытое
культурное пространство становится пространством зла.

Противопоставление—сблизжение природного и культурного про-
странства не постоянно. Оно видоизменяется с появлением еще одного
пространственного признака — струюрированности. Русское природ-
ное пространство, пустое и открытое, представляется как неструкту-
рированное, не исчерченное разномасштабными движениями, кото-
рые должны были бы придать ему законченные очертания. Заметим,
что отсутствие движения всегда путало и беспокоило романтика, для
которого природа, дух, история, мысль всегда находились в беспре-
станном стремлении к Абсолюту, а литературные герои, художественное
пространство и время непрерывно наделались динамизмом. Его от-
сутствие было равносильно смерти. Потому код движения был наи-
более распространеным среди других в искусстве эпохи романтизма.

Пространству—природе в «Отрывке» свойствен хаотический, не-
направленный тип движения. Его совершают ветер («wiatr szaleje,
Bryły zamieści odrywa i siska» (s. 204)), вихрь, ураган, подобный саму-
му, снел, кружащийся и поднимающийся с земли. В этом ненаправ-
ленном движении поэт не усматривает целенаправленного смысла.
Такая характеристика пространства частично снимается с введением
концепта пути, но принадлежит путь не русскому пространству, а не
по своей воле попавшим в него полякам. Как известно, путь — глав-
ное в характеристике пространства. Это способ его познания, освое-
ния, преодоления, способ наделения ценностными смыслами, «образ
связи между двумя отмеченными точками пространства в природном
тической и религиозной моделях мира»³. В «Отрывке» в природном
пространстве движением наделены только слышимые поляки, дви-
гающиеся по чужим просторам по принуждению, перемещающиеся в
чужом мире как чужие. Их движение несвободно и не имеет внят-
ного смысла. Оно не нацелено на познание, не может привести к
желанной цели, к освобождению. Поляки отправляются в путь не
добровольно, и приводит он в тупик, к замкнутому центру империи.

выдающиеся поэты, как Николай Огарев, Лев Мей, Афанасий Фет, а также видные прозаики, как Григорий Данилевский и Николай Берг⁸. Не подлежит сомнению, что Лесков знал и читал их переводы, но он, как явствует из его ссылок на это стихотворение, предпочитал оригинал и первую строку «Разговора» всегда цитировал по-польски. Правда, единственный раз, как удалось нам установить, Лесков прибегнул к русскому переводу «Разговора», но только не первой, а последней строки. Так, в вышедшей недавно первой книге 101-го тома «Литературного наследия» опубликован незавершенный мемуарно-биографический рассказ Лескова «Посланныцы Амура», в котором автор рассказывает, как по приглашению своей родственницы он приехал из «большого университетского города» в «родные палестины», где познакомился с обладателем прекрасной библиотеки, которую однажды вместе с ее владельцем посетил. «Мы оба взяли по зажженной свече, — рассказывает автор, — и вошли в библиотеку, и мое сердце сначала замерло, а потом затрепетало от восторга <...> Я разинул рот и стоял; свеча трепетно шевелилась в моей руке, — мне хотелось раздавить стекла шкафа, скрасть целую охапку этих книг, убежать с ними куда-нибудь в такое место, где меня никто не может найти, и там читать, как поэты говорят, „до конца света и по конце света“»⁹.

Рассказ «Посланныцы Амура», как предполагают его издатели, создавался Лесковым в 80-е годы. В эти же годы, а конкретно в 1883-м, Лесков опубликовал в журнале «Россия» рассказ под заголовком «Картины прошлого. Ветренники», печатаемый в дальнейшем под названием «Обман». В этом полном неподдельного юмора повествовании, написанном в тогдашней лесковской манере «святочного рассказа», один из пассажиров поезда, следующего «под самое Рождество» на юг России, бывалый отставной офицер, рассказывает о любовных похождениях русских военных в Польше, а потом в румынской Молдавии. Румынки, повествует офицер, «нам очень понравились — очень томны и так гибки, что даже полек превосходят, а ведь уж польки, знаете, славятся, хотя они на мой вкус немножко большероты, и притом в характере капризов у них много. Пока дойдет до того, что ей по Мицкевичу скажешь: „Коханка моя! На цо нам розмова“, — вволю ей накланяешься»¹⁰.

Впервые стихотворение Мицкевича «Разговор», которое несомненно Лесков выучил наизусть еще в свои «университетские годы» и которое, как видим, оставалось у него в памяти «до старости глубокой», было литературно использовано им в 1863 г. в преисполненной глубокого лиризма «арабеске», напечатанной в «Северной пчеле» под заглавием «Kochanko moja! Na co nam rozмова?» и подписанной начинающим быть постоянным его псевдонимом — М. Стебницкий¹¹.

Сюжетом этой арабески, целиком написанной ритмической прозой, является грустная судьба молодой девушки Ядвиги, дочери рожденной над Вислой польки и русифицированного немца. Когда Ядвига исполнилось девять лет, ее мать, помолившись в костеле, надела ей на шею образок Божьей Матери Остробрамской и послала в пансион, который Ядвига с блеском окончила. «Девочка очень была развита: характером кротким и разумом светлым ее Господь одарил. Гёте и Шиллера знала на память, книг русских немало читала, но Богу молилась по-польски»¹². После смерти родителей в «холерный год» Ядвига вернулась в свой пансион, где стала работать. И тут, когда ей шел девятнадцатый год, она пережила свою первую большую любовь к местному учителю, который вскоре «ушел на север», где уже собирались «черные тучи». Уходя, он подарил ей кольцо со змием и долго говорил о своем «гражданском долге» и просил, чтобы она его не забывала и ждала его возвращения. А Ядвига, глотая слезы, сказала по-польски: «Kochany! Na co ta goznowa?» Дальнейшая судьба Ядвиги оказалась трагической. Ее возлюбленный не вернулся, из пансиона ее вывели, и она, с дитятей на руках, уехала в Петербург искать работу. Не нашла. Чтобы пропитать себя и ребенка, стала уличной женщиной. Но вскоре тяжело заболела и умирала от голода. И тогда явился «он», простой смертный, который, как пишет автор, «великих идей за хвост не ловил и ближних страдания от раза смахнуть не собирался». Этот «чудак», который сам сильно пострадал от жизни, похоронив умершего ребенка Ядвиги, два месяца спасал ее от смерти. И спас, и влюбился в нее, и признался ей в любви. И Лесков кончает свою арабеску словами:

«Ждал он ответа, сидя у ее ног пред камином, а она еще все не решалась ответить; трудно ей было поверить любви, труднее еще от нее отказаться. В раздумьи тревожном она наконец прошептала: „Былое! Былое! Ах, если б былого не было! Но память как свет беспощадна. Она не дает говорить о любви, когда повесть свою не краснея нельзя рассказать никому“.

Поэта он вспомнил, услышавши это раздумье, и сказал ей спокойно: „Kochanko moja! Na co pam goznowa?“

И не было больше ненужной goznowy. Свеча на камине погасла и чирикнул веселый сверчок»¹³.

Эту арабеску написал Лесков в Париже, что и обозначил в ее окончании. Пребывая в столице Франции с конца 1862 по март 1863 г., Лесков, о чем свидетельствуют его очерки «Русское общество в Париже», общался и с польскими эмигрантами, среди которых культ умершего сравнительно недавно Мицкевича был повсюдным. Култом Мицкевича, как всеславянского поэта, был, конечно, заражен и

Лесков. И он, как видим, несмотря на кровопролитную борьбу русских с восставшими в январе 1863 г. поляками, пишет в этот год и в этот же год публикует свою «мицкевичевскую» арабеску. Но использует он тут, что следует отметить, раннее стихотворение поэта. «Позднего» Мицкевича, Мицкевича — последователя учения мистика А. Товьянского и Мицкевича — пропагандиста наполеонизма, Лесков, подобно своим литературным героям, названному выше Адаму Безбедовичу и Нестору Долинскому из романа «Обойденные», не восхвалял¹⁴. В своем третьем, написанном в том же 1863 г. очерке «Русское общество в Париже» Лесков, критически относясь к повсеместному бонапартизму поляков-эмигрантов, восклицал: «Сколько светлых и великих умов, обсуждая высокое значение Мицкевича в истории славянской литературы, становилось втупик перед его „Ad Napoleonem III Caesarem Augustum ode in Bomarsundum captum!“»¹⁵. Как известно, в этой написанной по-латыни оде, созданной Мицкевичем в связи с взятием англо-французским флотом в августе 1854 г. русской крепости Бомарзунд на острове Аланд, ярко проявилась иллюзорная надежда поэта на Луи Бонапарта как на освободителя польского народа из-под русского господства. Такую же иллюзорную надежду возлагали на французского императора и все знакомые Лескову поляки, когда в январе 1863 г. в Польше вспыхнуло восстание. Жизнь в Париже становилась для него, как представителя «поработителей» не очень приятной, и он уже в начале марта уехал в Петербург.

В заключение небезынтесно обратиться к одному, затерянному в пожелтевших фоллиантах «Биржевых ведомостей», использованию Лесковым «мицкевичевского материала». Так, в связи с наступившим новым 1870 г., описывая в своем обширном новогоднем фельетоне праздничные дни текущей общественно-культурной жизни, Лесков начал с утверждения, что таких праздничных дней нет у журналистов, ибо каждый их день — это сплошные будни. И, причисляя себя к сонму этих трудолюбивых журналистов, которые только что «вывели последние строки 1869 года» и, «не умствуя лукаво»¹⁶, уже начали отмечать «заботы, злобы и деяния дней нового 1870 года», Лесков жаловался: «Мы лишены даже отрадного права поэтов забываться и, унося выспрь, мечтать что с истекшим годом в жизни что-то кончилось, и в этой грани вдруг распочинается, возникает и растет нечто новое». И дальше Лесков писал:

«Адам Мицкевич, последний из талантливых поэтов в качестве мистика и поляка, упорнее всех не оставлял обычая приветствовать новогодия и внушать, что с тем годом, который окончился, что-то кануло в вечность, и уверять, что с новым он, будто иродов волхв, видит восход какой-то новой звезды:

„Умер год старый, и из пепла его
 Возник и вознесся год новый:
 Он крылья свои по небу простер,
 И сретает его целый свет упованием!“¹⁷

Очень поэтическое и картинное представление, не теряющее не-
 которого значения даже в наши прозаические дни, когда преобла-
 дающие „упования“ наших соотечественников, может быть, не парят
 под небом, а жмутся в уне государственного банка, откуда невинная
 рука откровицы вынет на чью-нибудь долю куш в двести тысяч.

Как вы хотите, а в столь прозаическое время простительно, при-
 нось обществу поздравления с новым годом, не только стремиться
 удалиться от той торжественности, с какою это делал Мицкевич и
 „поэты лавреаты“, но даже простительно впасть несколько в совсем
 противоположный тон, на который поэзией наших дней перегнуты
 возвышеннейшие произведения высочайших душ и величайших та-
 лантов»¹⁸.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Литературное наследство. Т. 87. Из истории русской литературы и общественной мысли 1860–1890 гг. М., 1977. С. 56.
- 2 Сам Лесков как бы уведомлял об этом читателей, начиная главу «В Беловеже» словами: «Заповедный заказник, занимающий огромное пространство в Гродненской губернии, известен под именем Беловежской пушчи. Этот бесконечный лес с незапамятных пор служил любимым и лучшим местом королевских охот; в нем водится тур, или зубр, и он воспет Мицкевичем в одном из самых бессмертных его творений» (Лесков Н. С. Собрание сочинений в двенадцати томах. М., 1889. Т. 4. С. 589).
- 3 Интересно отметить, что Лесков любил ссылаться на выражение *wielkie nic* из мицкевичевской баллады «Тукай», а один из героев не опубликованного при жизни рассказа «Счастье в двух этажах», Фортунат Дубов, часто посещал «берега воспетого Мицкевичем озера Свитезя» (Литературное наследство. Т. 87. С. 102).
- 4 Лесков А. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. М., 1954. С. 155.
- 5 Лесков-Стебницкий Н. С. Сборник мелких беллетристических произведений. СПб., 1873. С. 409. Шире об отношении Лескова к Мицкевичу см. статью: *Szyszko T. Mikołaj Leskow a Mickiewicz* // *Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk*, 1975. Т. 2. S. 49–62.
- 6 Сам Лесков в письме к Ивану Аксакову от 1 сентября 1875 г. скромно свидетельствовал: «...я до некоторой степени знаю польский язык и могу на нем объясняться и писать...» (Лесков Н. С. Собрание сочинений в одиннадцати томах. М., 1958. Т. 10. С. 420–421).
- 7 См., например, очерки Лескова «Из одного дорожного дневника», где по-польски цитируются стихи В. Сырокомли; в тех же очерках и в «Вонтеильнице» — отрывки

- из «Марини» А. Мальчевского; в «Некуда» — из стихотворений Мицкевича «Смерть полковника» и «Два слова».
- 8 См.: Библиография русских переводов произведений Адама Мицкевича. М., 1956. С. 30–32.
- 9 Литературное наследство. Т. 101. Кн. 1. Неизданный Лесков. М., 1997. С. 500–501. К сожалению, этот заключительный стих мицкевичевского «Разговора» упустили из виду редакторы публикуемого рассказа Лескова, и потому в помещенном во второй книге этого тома указателе имен фамилия Мицкевича отсутствует.
- 10 Лесков Н. С. Собрание сочинений в двенадцати томах. М., 1989. Т. 7. С. 88.
- 11 В сноске Лесков дал объяснение: «Kochanko moja! Na co nam rozmowa?» (Милая моя! На что нам разговоры) — первая строка стихотворения А. Мицкевича «Rozmowa».
- 12 Северная пчела. 1863. № 180. С. 805.
- 13 Там же. С. 806. В рассматриваемой арабеске явно проглядывает и мотив известного стихотворения Николая Некрасова «Еду ли ночью по улице темной» (1847).
- 14 В опубликованном в 1865 г. романе «Обойденные» Нестор Долинский, во многом напоминающий самого Лескова, был знаком со многими поляками, также и в Париже, где читал между прочим «мистические бредни Товянского, известнейшего мистика, имевшего столь печальное влияние на прекраснейший ум Мицкевича и давшего совершенно иное направление последней деятельности поэта» (Лесков Н. С. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 3. С. 254).
- 15 Библиотека для чтения. 1863. № 9. С. 6. Перед этой одой «ставал втуник» и такой почитатель Мицкевича, как Александр Герцен, знавший лично польского поэта. См. его «Былое и думы», часть пятая, глава XXXVI.
- 16 Лесковская парафраза слов Пимена из «Бориса Годунова» А. Пушкина: «не мудрствуя лукаво».
- 17 Лесков процитировал в русском переводе первые три строки, написанного Мицкевичем в 1823 г. стихотворения «Nowy Rok. Myśl z (Jean Paul) Richtera»:

Skonał rok stary; z jego popiołów wykwiła
 Feniks nowy; już skrzydła roztacza na niebie;
 Świat go cały nadzieją i życzeniem wita.
- 18 Русские общественные заметки // Биржевые ведомости. 1870. № 5. 4 января.

Брюсов о Польше и польских писателях

(По материалам военной публицистики и переписки поэта)

Встречи Валерия Брюсова с Польшей, его сотрудничество и личные знакомства с польскими писателями уже давно привлекли внимание русских и польских исследователей. Наиболее обстоятельно эта тема разработана Святославом Балзой в статье «Брюсов и Польша»¹. В работах других авторов освещался интерес Брюсова к польской литературе², польские переводы его поэзии в начале XX в.³, польские мотивы в его военных стихотворениях⁴ и, наконец, его десятимесячное пребывание в Польше и скитания по польским городам в годы Первой мировой войны⁵.

Связи Брюсова с Польшей и польской культурой — что вполне естественно — расширились и углубились во время пребывания поэта в Варшаве, где он служил военным корреспондентом с половины августа 1914 (по старому стилю) по 10 июня 1915 г. Когда началась Первая мировая война (1 августа 1914 г.), Брюсов лечился на даче близ Москвы. Этот момент его жизни так впоследствии вспоминала жена поэта, Иоанна Матвеевна: «...в день разразившейся войны покинул дачу, забыл о лечении, в величайшем возбуждении, потратив минимум времени на сборы, отправился на фронт корреспондентом от „Русских ведомостей“»⁶.

Брюсов был одним из многих русских писателей, которые в августе 1914 г. приехали в Варшаву и другие польские города как военные корреспонденты. Эту роль взяли тогда на себя Алексей Толстой, Александр Серафимович, Виктор Муйжель, Александр Федоров, Сергей Мамонтов и др. Однако, как нам кажется, только Брюсов сильнее всех и глубже всех откликнулся тогда на разные польские вопросы в своей военной публицистике и художественном творчестве.

Нет сомнений, что «польский период» жизни автора «Зеркала теней» нуждается в более подробном изучении, чем это делалось до сих пор. В некоторых работах русских исследователей освещалась уже эволюция взглядов Брюсова на войну 1914–1917 гг., на военную политику царского правительства, на славянский вопрос и будущее России после прекращения войны⁷. Однако трактовка Брюсовым некоторых аспектов «польского вопроса» в 1914–1915 гг. требует дальнейшего изучения, что и является целью данной работы. На основании военной публицистики и переписки Брюсова характеризуются

здесь его взгляды на польский вопрос, на русско-польские отношения и их значение в ходе войны. Много внимания в связи с тем уделяется также встречам Брюсова с поляками и его высказываниям о некоторых польских писателях.

Читая военную публицистику Брюсова, можно убедиться, что он хорошо разбирался в ходе военно-политических событий своего времени. Поэт непреклонно верил в победу России над Германией и Австрией, в мессианский и освободительный характер военного подвига русской армии⁸. В русской политике времени Первой мировой войны исключительно важным оказывалось решение пресловутого польского вопроса, чтобы вернее обеспечить русской державе поддержку поляков, так как главные военные сражения протекали тогда на польской земле (в так пазываемом Привислинском крае).

Взгляды многих россиян на польский вопрос в начале мировой войны так объяснял Брюсов в 1917 г. в брошюре «Как прекратить войну»:

«...Были мечты, что победа союзников над германскими империями поведет к осуществлению справедливых надежд поработенной и растерзанной на части Польши, что польский народ получит, наконец, возможность самостоятельной жизни, соединит в одно целое свои разделенные между тремя государствами земли и, путем самоуправления, установит для себя формы своей государственности и общности»⁹.

Как видно, Брюсов в начале войны почти полностью разделял тогдашние взгляды царского правительства на польский вопрос и не допускал мысли о возрождении независимой Польши, говорил лишь о надеждах на возможность «самостоятельной жизни» и «самоуправления» польского народа. В своих военных корреспонденциях из Варшавы он пользовался тогда следующими названиями: «наша Польша» и «русская Польша».

Брюсов сознательно готовился к роли военного корреспондента в «русской Польше». Накануне приезда в Варшаву он опубликовал в газете «Русские ведомости» стихотворение «Польше»¹⁰. Оно было напечатано * (21) августа 1914 г., встретило весьма положительные отклики среди поляков и было сразу переведено двумя польскими поэтами — Лео Бельмонтом и Эдуардом Слоньским на польский язык¹¹. Автор обращался в этом стихотворении к поработенному польскому народу как к близкому славянскому брату:

...А ты, народ скорбей и веры,
Подъявшийся вместе с нами брань,
Услышь у гробовой пещеры
Священный возглас: «Лазарь, встань!»

Ты, бывший мертвым в этом мире,
Но тайно памятный Судьбе,
Ты — званый гость на нашем пире,
И первый наш привет — тебе!

Вскоре оказалось, что эти строки открывали Брюсову сердца поляков, двери польских домов и редакций варшавских газет и журналов. Это чувствовал и хорошо понимал сам Валерий Брюсов, когда 23 августа (5 сентября) 1914 г. сообщал Иоанне Матвеевне из Варшавы:

«...Снова приехал А. Р. Ледницкий. Он сразу «схватил» меня под свое покровительство и начал возить всюду. Я побывал во всех редакциях, у всех знаменитых писателей и у всех видных польских общественных деятелей, особенно у последних. Пришлось научиться если не говорить, то понимать по-польски. Все говорят по-польски, а я отвечаю по-русски. И, представь себе, — ничего, так или иначе разбираюсь. Интереснее всех оказался, конечно, Свентоховский, патриарх местной журналистики, старик с головою пророка. И целые дни я произношу речи, слушаю и спорю о „польском вопросе“. Уверяю Тебя, я сделался его прекрасным знатоком и все меня принимают как поборника польской идеи. Вот что сделали мои стихи, где поминается „Польша не сгинела“.

Пиши мне, милая девочка! Я еду, кажется, в Млаву, но вернусь в Варшаву и письмо до меня дойдет»¹².

Слова «Польша не сгинела» из известной польской патриотической песни (как известно, она стала польским национальным гимном) поэт действительно поместил в заключительных строках своего стихотворения «Польше», в которых выразился призыв к полякам, чтобы совместно с русской армией боролись они против немцев и австрийцев:

...И крики «Польша не сгинела!»
С победной русской песней слей.

Следует отметить, что эти строки стихотворения «Польше» печатались тогда и в другом варианте:

...И крики «Польша не сгинела!»
По-братски с русским гимном слей.

В приведенном выше отрывке брюсовского письма названы имена двух известных поляков, с которыми поэт встречался в Варшаве. Первым из них был московский адвокат и видный польский политический деятель Александр Робертович Ледницкий (1866–1934), поборник идеи русско-польского сближения. Второй варшавский зна-

комец Брюсова — Александр Свентоховский (1849–1938), писатель, публицист и многолетний редактор известного тогда еженедельника «Правда», пользовался большим уважением в кругах варшавских журналистов и не случайно привлек внимание поэта. В своей корреспонденции «Тени (Письмо из Варшавы)» от 27 августа (9 сентября) 1914 г. Брюсов, характеризуя польско-русские отношения и отношение поляков к войне, ссылаясь при этом на статью Свентоховского «Поляки и война».

Брюсов выехал из Москвы в Варшаву 13 (26) августа 1914 г. Он ехал через Вильно, где остановился на пять суток. В этом городе он успел побывать в польском театре, встретиться с местными журналистами (польскими и белорусскими) и написать несколько корреспонденций для «Русских ведомостей». В одной из них, озаглавленной «Путь на запад», отправленной в редакцию уже 15 (28) августа, так писал о Польше, где шли тогда тяжелые бои:

«Почтовый поезд неспешно, но неуклонно бежит на запад к тому краю, к которому теперь прикованы все наши помыслы. Десятки и сотни верст остаются за нами. И чем дальше мы едем, чем ближе оказываемся мы к таинственному „театру военных действий“, тем спокойнее и радостнее становится на душе»¹³.

В начале войны Брюсов был охвачен военным энтузиазмом, он непоколебимо верил в победу России. Такое же отношение к войне выражали тогда в своих стихотворениях и другие русские поэты — Константин Бальмонт, Федор Сологуб, Георгий Иванов, Игорь Северянин.

Приближаясь к Польше, Брюсов очень интересовался отношением поляков к войне и, конечно, к России. Польские помещики, которых встречал по дороге, показались ему «величественными и горделивыми» (замечание поэта в статье «Путь на запад»). В Вильне поэт заметил сильные антипрусские настроения среди поляков, которые так описал в корреспонденции от 17 (30) августа:

«...Наконец, не забудем, что большинство населения Вильны составляют поляки; немало в ней литовцев и белоруссов; для всех них пруссаки, немцы являются врагом историческим, национальным. Память о победе при Грюнвальде жива в народном сознании. Мне довелось быть в маленьком польском театре, где после исполнения разных „миниатюр“ выступил декламатор. Прочитанные им стихи, где изображалась жизнь старой Польши с ее национальными обычаями и которые сопровождались аккомпаниментом, удачно соединившим разные национальные польские мотивы, были, конечно, встречены аплодисментами. Но потом декламатор (молодой артист с прекрасной дикцией) начал читать стихи на темы о современных со-

бытиях. Уже первое стихотворение (если не ошибаюсь, поэта Ренерта-Чарноцкого), говорившее о борьбе с немцами, вызвало в публике бурю восторга»¹⁴.

После этих милых Брюсову виленских впечатлений он прибыл в Варшаву, по всей вероятности, 19 августа (1 сентября). На следующий день отправил «из Действующей армии» короткую телеграмму своей жене: «Варшава гостиница Франция сообщи кружку целую Валерий»¹⁵.

Брюсов действительно после приезда в Варшаву остановился в гостинице «Франция». Как видно, помнил не только о жене (почти ежедневно отправлял ей письма или телеграммы), но и о членах Московского литературно-художественного кружка, в котором активно участвовал и выступал на его заседаниях. На собрании этого кружка 5 (18) августа прочитал свое стихотворение «Польше».

Варшава военных дней в начале сентября 1914 г. произвела на Брюсова очень хорошее впечатление. Город показался ему спокойным, уверенным в победе русской армии. В стихотворении «В Варшаве» поэт писал о варшавянках, встречавших цветами русских солдат:

...А на улице, как стих поэмы,
Клики вокруг меня сливались в лад:
Польки раздавали хризантемы
Взводам русских радостных солдат.

Первую корреспонденцию «Проездом через Варшаву» Брюсов написал «1 августа (3 сентября)». Выразил в ней сочувствие польскому народу, который много страдал в своей истории. Поэт хорошо понимал, что разразившаяся война принесла полякам и их растерзанной родине новые страдания. Об этом и говорится в статье:

«Само собою разумеется, что вся Варшава с самым напряженным вниманием следит за событиями войны. Слишком большие надежды связаны у поляков с исходом этой „борьбы народов“, и слишком тяжелая роль выпала в ней на долю Польше, дети которой разделены по армиям трех разных государств и которая стала первой ареной кровавых столкновений. Кроме того Варшава все же отчетливее других больших городов России слышит самые гулы битв»¹⁶.

Из всех русских поэтов начала XX в. Брюсов был наиболее известен польским читателям. Его приезд в Варшаву был сразу замечен в польской печати. Газета «Курьер Варшавски» от 3 сентября 1914 г. напечатала в связи с этим следующую информацию:

«В Варшаве пребывает знаменитый русский писатель Валерий Брюсов, прибывший в качестве военного корреспондента газеты „Русские ведомости“. Господин Брюсов, как и многие другие коллеги, не

получил разрешения отправиться в действующую армию, поэтому его работа состоит в изучении отношений, сложившихся в нашей стране»¹⁷ (перевод мой. — Я. О.).

Известность Брюсова в Польше и его пропольские симпатии, выразительно проявившиеся не только в стихотворении «Польше», сделали свое. В честь русского поэта варшавское Общество литераторов и журналистов (свою деятельность оно начало в 1909 г.) устроило экстренное заседание, которое состоялось 24 августа (6 сентября) 1914 г. Писали об этом тогдашние польские и русские газеты¹⁸. Брюсов гордился тем, что был первым русским писателем, которого принимали в своем Обществе варшавские литераторы. Он писал об этом в статье «Варшава в дни войны» и в письме Иоанне Матвеевне, написанном в тот же день по свежим впечатлениям от милой для него встречи. Вот это письмо:

«Милая Jeanne!

Сегодня варшавское польское „Общество Литераторов и Журналистов“ устроило заседание в мою честь. Было много народа. Произносились речи по-польски, по-русски и по-французски. Говорили, что сегодня — великий день, когда пала стена между польским и русским обществом. Что еще два месяца назад они не могли думать, что будут в своей среде приветствовать русского поэта, хотя бы столь великого, как я (это — их слова, извиняюсь). Что с этого дня, со дня моего чествования, наступает новая эра русско-польских отношений itd. itd. Я, сколько умел, отвечал, конечно, по-русски... Потом декламировались мои стихи „К Польше“. Редактора пригласили меня сотрудничать в их польских журналах — одним словом еще один „триумф“...»¹⁹.

Военные события и многие встречи Брюсова с разными представителями польского общества ставили перед поэтом злободневный вопрос об актуальных и будущих политических отношениях между Россией и Польшей. Брюсов надеялся, что война будет способствовать сближению россиян и поляков. В названной выше статье «Варшава в дни войны» он высказал следующие замечания на эту тему:

«Многие, может быть, не ожидали того энтузиазма, с каким отнеслась Польша к войне с Германией... С величайшим энтузиазмом встречает варшавское население русские войска. Польские дамы раздают проходящим солдатам цветы и конфеты... Но здесь, в Польше, война имеет особое, чрезвычайно важное значение: она способствует сближению Польши с Россией. То обстоятельство, что поляки и русские слились в одном общем чувстве, что у обоих народов сказалась одна общая заветная цель, как бы пробудило первое, смутное сознание их

братства. Идея славянского единства, вообще чуждая полякам, вдруг нашла некоторый отклик в сердцах поляков. Много есть причин, решительно противодействующих сближению польского общества с русским обществом, польского народа с русским народом (я говорю об обществе, о народе), но, может быть, наши дни укажут пути, на которых оно возможно»²⁰.

В начале войны Брюсов в нескольких корреспонденциях из Варшавы подчеркивал дружественное отношение польского населения к русской армии и к России. Но одновременно его возмущало национальное и религиозное угнетение, которому подвергался польский народ со стороны русских властей. Поэт вскоре заметил в Варшаве, что в общениях русских административных и военных властей с поляками не допускается польский язык, что в русской армии, в которой вынуждены были служить и погибать на войне многие поляки, не было католических польских священников, хотя среди них были желающие идти на фронт. По мнению Брюсова, это были «малые тени», которые омрачали русско-польские отношения («большой тенью» он считал участие России в разделах Польши и уничтожение ее независимости). Брюсов с горечью писал об этих «тнях» 27 августа (9 сентября):

«В русской армии наберется не меньше 6 000 000 поляков-католиков. Значительная часть их побывала на передовых позициях и выдержала кровопролитные бои. Уже многие убиты, и по многим носят траур и плачут близкие в больших городах и маленьких деревушках. Между тем католических священников на фронте в нашей армии нет. Солдатам-католикам приходится томиться сомнением, мучительным для их простых душ, могут ли они обращаться за утешением религии к православному священнику... Трудно примириться с мыслью, что люди, с такой готовностью отдающие свою кровь и жизнь за родину, будут лишены последнего утешения, — перед смертью принять отпущение грехов от священника своего исповедания»²¹.

С глубоким сочувствием писал Брюсов о военных разрушениях в Польше и страданиях польского населения. Призывал русское общество организовать помощь полякам. В корреспонденции «На левом берегу» он сообщал читателям в России:

«...Только не надо забывать, что обширная, родная нам страна, вся левобережная Польша, обращена в одно великое пожарище, и что долг спасти этих погорельцев от окончательной гибели лежит на всей России»²².

Встречаясь в Варшаве со многими представителями польской интеллигенции, Брюсов много сделал для русско-польского культурного сближения. Он видел неотложную необходимость не только

материальной помощи полякам, но и ознакомления русского общества с польским языком и польской культурой, что одновременно могло бы помочь некоторым полякам, потерявшим работу в трудное военное время. В статье «Безработица в Польше» от 10 (23) сентября 1914 г. он предлагал:

«...Учителя могли бы преподавать польский язык, столь мало распространенный среди русских. Музыканты могли бы организовать оркестры, которые познакомили бы Россию с польской музыкой. Можно было бы найти лекторов, которые прочли бы в России ряд публичных лекций о польской литературе, о польском народе, и т. д. Но для организации всего этого, конечно, нужно содействие русского общества»²³.

В своих военных скитаниях по польским городкам и деревням Брюсов многократно встречался с гостеприимством местных жителей. Он с симпатией вспоминал пребывание в шляхетских усадьбах, и польские помещики уже не представлялись ему «величественными и горделивыми». Особенно приятные впечатления остались в его памяти после поездок к северу от Варшавы — в Прасныш, Пултуск и Цеханов. В статье «В северной Польше», написанной 6 (19) сентября, есть почти лирическое высказывание:

«...Мне вспоминаются те усадьбы, в которых я встречал такое любезное гостеприимство: те роскошные барские хоромы, освещенные электричеством, с вековым парком вокруг, те скромные сельские домики, тихие и уютные, с маленьким садиком и маленьким, руками хозяев насаженным цветником»²⁴.

Сентиментальное воспоминание о пребывании Брюсова в северной части Польши, окрашенное литературными реминисценциями, отразилось также и в корреспонденции «Мимоходом. В Плоцкой губернии». Об этих встречах с польской провинцией поэт так вспоминал в декабре 1914 г.:

«...В начале войны, в августе и сентябре, я объехал всю Плоцкую губернию, — не быстро промелькнул по ней в автомобиле, но объехал медленно на лошадях, проводя целые дни и ночуя в усадьбах у помещиков, к которым у меня были рекомендательные письма... Мне понравился этот край, лежащий в стороне от больших дорог, в котором сохранились старинные помещичьи гнезда и весь уклад старопольской жизни. Еще встречались там типы, словно вышедшие из романов Крашевского и Сенкевича...»²⁵

Однако ошибочно было бы думать, что Брюсов с одобрением и симпатией писал обо всем, что происходило тогда в Польше. Его радовали — что само по себе понятно — прорусские настроения в польском обществе и содействие поляков и русской армии, но ирониче-

ски и гневно высказывался он о тех поляках, которые сотрудничали с немцами и австрийцами. Особенно остро он атаковал Польские легионы Юзефа Пилсудского, отряды «краковских стрелков» и «соколов», которые с первых дней мировой войны начали бороться против русской армии. В рядах Войска Польского оказались тогда и некоторые известные польские писатели, например Ежи Жулавский (1874–1915) и Вацлав Серошевский (1858–1945). Осенью 1914 г. Жулавский служил некоторое время цензором польской военной печати в оккупированном немцами городе Лодзи (раньше Лодзь оставалась в пределах «русской Польши»). Брюсов приехал в Лодзь в конце октября, когда русские войска на несколько недель вытеснили немцев из города. На основании разговоров с местными журналистами поэт написал корреспонденцию «Немецкая цензура (По рассказам, сотрудников лодзинских газет)», в которой так характеризовал цензорскую деятельность писателя Жулавского:

«...Одновременно с Крато (и после него) исполнял обязанности цензора известный польский писатель Юриі Жулавский, офицер одного из легионов „войска польского“. Жулавский относился к немецкому делу с ревностью, с какой не относились и сами немцы. Одной газете он запретил, например, сообщить, что вся Варшава проникнута патриотическим духом. Другая газета хотела напечатать, что русскими сосредоточено под Варшавой много войска; и это было вычеркнуто»²⁶.

Ежи Жулавский, писатель, раньше проживавший в Кракове, действительно во время войны поступил в Польские легионы и работал в военном департаменте, которому подчинялась цензура. В 1915 г. он заболел тифом и умер в военном лазарете. Брюсов не случайно назвал его известным писателем. Имя Жулавского не было чуждым и России в начале XX в. (Т. Щепкиной-Куперник переведена и опубликована его драма «Эрос и Психея»). Кто таков Крато, сотрудник Жулавского по цензорному ведомству — не удалось установить.

Среди публицистических нападок Брюсова на Польские легионы и «соколов» интересно также его мнение о польском писателе Вацлаве Серошевском. Как политический ссыльный в молодости он провел много лет в Сибири, познакомился с Владимиром Короленко и активно участвовал в русской литературной жизни²⁷. Бурная жизнь Серошевского привела его в Париж, где он жил с 1910 по 1914 г. Из Парижа Серошевский послал Брюсову в 1912 г. четыре письма с просьбой напечатать его повесть «Затишье» в журнале «Русская мысль». Брюсов, однако, послал эту повесть в Петербург редактору Петру Струве²⁸. В Париже Серошевский вступил в польский Стрелецкий союз и отправился на войну осенью 1914 г. Прибыв в Польшу,

он организовал в окрестностях Лодзи новые военные отряды легионеров. В одной из своих корреспонденций Брюсов вспоминал о том, как Сорошевский принял в легионы новобранцев из городка Бжезины:

«...В Лодзи новобранцев накормили, дали им отдохнуть, а потом их повели к какому-то важному лицу, по их объяснениям, к „генералу“ соколов. По некоторым данным, можно догадываться, что это был Вацлав Сорошевский. Генерал произнес перед новыми соколами речь. Он сказал им, что императоры Вильгельм и Франц-Иосиф не положат оружия, пока хотя бы один поляк будет „стонать в неволе“...»²⁹.

Совершенно по-другому высказывался Брюсов о тех польских писателях, с которыми он встречался в Варшаве. О встречах с ними он сообщал в письмах к Иоанне Матвеевне. В них сохранились свидетельства о том, что круг варшавских знакомых и собеседников Брюсова составляли следующие писатели и поэты: Александр Свентоховский, Юзеф Вейсенгоф, Болеслав Лесьмян, Казимир Ясинский и Эдуард Слоньский. Вот что поэт писал своей жене 28 августа (10 сентября) 1914 г.:

«...Варшава меня утомила тем, что образовалось множество знакомств. Газеты стали писать обо мне, что вот де он у нас, особенно после приема меня „Польским Обществом Литераторов“. Об этом писали даже в московских и петерб[ургских] газетах (Биржевые Вед. 25 авг.). Один ксендз-профессор деликатно обращает меня в католичество. Человек очень милый. Один поэт (некто Ясинский) познакомил меня не только с женой, дочерью, мужем дочери, но даже с внучкой 8 месяцев... Но понравился совсем мне только старик Свентоховский — дивная апостольская голова. Приятный человек еще Кшивицкий. Впрочем все со мной очень мило, что я тоже делаюсь милым...»³⁰

Особенно близкие отношения связывали Брюсова и Эдуарда Слоньского (1872–1926). Они обменивались письмами, книгами, посвятили друг другу сонеты, взаимно переводили некоторые стихотворения. Брюсову пришлось даже лечить зубы у Слоньского, который был по профессии зубным врачом³¹. В сонете «В ответ Эдуарду Слонскому» Брюсов писал не о личной дружбе с польским поэтом, но о Польше и судьбах ее народа. Именно в этом сонете есть знаменательные строки русского поэта:

...слово «Польша», речью всем понятной,
Гласит так много сердцу и уму!

Обращенные к польскому поэту два сонета Брюсов написал в Варшаве 22–23 мая (4–5 июня) 1915 г. Этими сонетами автор прощался с Польшей и заканчивал свою деятельность военного корреспондента в Варшаве. Десять месяцев жизни Брюсова в Польше в на-

чале Первой мировой войны — это все еще мало изученный период его биографии. В польской столице написал он тогда десятки стихотворений (они вошли в сборник «Семь цветов радуги»), много военных корреспонденций, писем, переводил здесь зарубежных поэтов, знакомился с польскими писателями, жизнью польского общества (о ней собирался даже писать роман) и со всеми политическими аспектами «польского вопроса». В Польше совершилась эволюция взглядов поэта на этот вопрос. Если в начале войны он говорил о «русской Польше» как части великой русской империи, то в 1917 г., после февральской революции в России и немецкой оккупации всей территории Польши, Брюсов не сомневался в том, что «самостоятельное бытие» польского государства неизбежно, а предметом обсуждения должны быть уже только его будущие границы. Эту точку зрения на «польский вопрос» Брюсов выразил тогда в брошюре «Как прекратить войну»³². В таком подходе к русско-польским отношениям, свойственном тогда в России не одному только Брюсову, выразился своеобразный «знак времени» — предчувствие близкого возрождения независимой Польши, которому суждено было совершиться в ноябре 1918 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См.: Бэлза С. Брюсов и Польша // История и культура славянских народов. М., 1966. С. 186–205.
- 2 См.: Цыбенко Е. З. Взаимосвязи польской и русской модернистской прозы рубежа XIX и XX вв. (Пшибышевский, Берент, Брюсов, Арцыбашев, Белый) // Научные доклады филологического факультета МГУ. М., 1996. Вып. 1. С. 145–166; Orłowski J. Walerego Briusowa związki z literaturą polską // Slavia Orientalis. 1980. № 3. S. 427–432.
- 3 Поэзия В. Я. Брюсова в Польше в начале XX века // Очерки по истории славянских литературных связей / Под общей редакцией И. П. Вишневского. Львов, 1978. С. 48–65.
- 4 См.: Орловский Я. Польские темы в военных стихотворениях Валерия Брюсова // Валерий Брюсов. Исследования и материалы. Сборник научных трудов. Ставрополь, 1986. С. 128–133.
- 5 См.: Orłowski J. Kalendarium pobytu Walerego Briusowa na ziemiach polskich (sierpień 1914 – czerwiec 1915 rok) // Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Litteraria XI. Wrocław, 1988. S. 229–266.
- 6 Брюсова И. М. Материалы к биографии В. Я. Брюсова // Брюсова В. Избранные стихи. М., 1933. С. 138.
- 7 См.: Чудецкая Е. В. Из переписки Брюсова 1914–1915 годов // Брюсовские чтения 1973 года. Ереван, 1976. С. 437–447; Сивоголова Б. М. К истории идейно-художественной эволюции В. Брюсова в период Первой мировой войны // Научные записки Харьковского государственного педагогического института. Т. 26. Кафедра русской и зарубежной литературы. Харьков, 1957. С. 71–108.

- ⁸ См.: Максимов Д. Е. Поэзия Валерия Брюсова. Л., 1940. С. 250.
- ⁹ Брюсов В. Как прекратить войну. М., 1917. С. 12.
- ¹⁰ Брюсов В. Польша // Русские ведомости. 1914. № 181. С. 2.
- ¹¹ См. об этом: Бэлза С. Указ. соч. С. 192–194. Там же и польские тексты этих переводов.
- ¹² Архив В. Я. Брюсова. Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (им. В. Ленина). Ед. хр. Ф. 386/142/16. С. 10. В статье сохраняются даты по указаниям В. Брюсова, в скобках обозначены даты по новому стилю.
- ¹³ Брюсов В. Путь на запад // Русские ведомости. 1914. № 189. С. 2 (от 19 авг.).
- ¹⁴ Брюсов В. В Вильне // Русские ведомости. 1914. № 191. С. 4 (от 21 авг.).
- ¹⁵ Архив В. Брюсова. Ед. хр. Ф. 386/142/16. С. 6.
- ¹⁶ Брюсов В. Проездом через Варшаву // Русские ведомости. 1914. № 195. С. 3–4 (от 26 авг.).
- ¹⁷ Kurier Warszawski. 1914. № 242. S. 3.
- ¹⁸ См.: Брюсов В. Варшава в дни войны // Голос (Ярославль), 1914, № 200. С. 2 (от 31 авг.); См. также: Бэлза С. Брюсов и Польша... С. 197.
- ¹⁹ Архив В. Брюсова. Ед. хр. Ф. 386/142/16. С. 11.
- ²⁰ Брюсов В. Варшава в дни войны... С. 2.
- ²¹ Брюсов В. Тени (Письмо из Варшавы) // Русские ведомости. 1914. № 201. С. 2 (от 2 сент.).
- ²² Брюсов В. На левом берегу // Голос. 1914. № 271. С. 2.
- ²³ Брюсов В. Безработица в Польше // Русские ведомости. 1914. № 218. С. 5 (от 23 сент.).
- ²⁴ Брюсов В. В северной Польше // Русские ведомости. 1914. № 208. С. 2–3 (от 11 сент.).
- ²⁵ Брюсов В. Мимоходом. В Плоцкой губернии. «Русские ведомости». 1914. № 290. С. 2 (от 17 дек.).
- ²⁶ Брюсов В. Немецкая цензура (По рассказам сотрудников лодзинских газет) // Русские ведомости. 1914. № 253. С. 3 (от 2 ноябр.).
- ²⁷ См.: Рослякова Л. И. Вацлав Серошевский и его русские корреспонденты (По материалам неизданной переписки) // Славянские литературные связи / Ред. М. П. Алексеева. Л., 1968. С. 124–165.
- ²⁸ Эти письма В. Серошевского хранятся в Архиве В. Брюсова в РГБ в Москве. Ед. хр. Ф. 386/102/46.
- ²⁹ Брюсов В. О «соколах» // Русские ведомости. 1914. № 284. С. 3.
- ³⁰ Архив В. Брюсова. Ед. хр. Ф. 386/142/16. С. 13.
- ³¹ Подробнее об этом см. в статье: Бэлза С. Брюсов и Польша... С. 192–205.
- ³² См.: Брюсов В. Как прекратить войну... С. 28–29.

Е. З. ЦЫБЕНКО

**ТВОРЧЕСТВО
ВЛАДИСЛАВА СТАНИСЛАВА РЕЙМОНТА
В РОССИИ**

Несмотря на всю сложность и даже, можно сказать, трагический характер русско-польских политических отношений, несмотря на политику национального угнетения, проводившуюся в Королевстве Польском царским самодержавием и подчас, попросту говоря, анти-польские выступления некоторых официальных органов части русской прессы, русский читатель знал и любил польскую литературу, русские общественно-литературные журналы охотно печатали произведения польских писателей, а русские критики широко пропагандировали богатое и разнообразное польское словесное искусство.

Польская литература всегда воспринималась у нас, говоря словами одного из русских критиков того времени, как «близкая нам по племенному родству, по языку, по духу»¹.

«Русский образованный читатель, — отмечает Е. Аничков, — охотнее и внимательнее читает произведения современных польских писателей, чем произведения далекого Запада: Сенкевич, Ожешко, Прус, из молодых Жеромский и Реймонт — это имена не только хорошо у нас известные, но близкие нам, почти что свои»².

Польская литература стала в XIX в. одной из мировых литератур — и это несмотря на крайне неблагоприятные условия ее существования на землях, не имеющих своего государства, условия, когда народ в вооруженной борьбе отстаивал свое право на национальную независимость, на национальный язык и культуру.

А. Яцимирский, доцент Санкт-Петербургского университета, писал в 1908 г. в предисловии к своей двухтомной книге «Новейшая польская литература от восстания 1863 г. и до наших дней»: «Если борьба — единственная достойная человека форма существования и если вне борьбы — за право нации, класса, личности и т. д. — нет жизни, то ни одна из современных литератур не обладает такой революционной жизненностью как новейшая литература польского народа. И такой интерес, с которым в Европе и у нас следят за польской литературой, уже показывает ее значение»³.

Важно отметить, что прогрессивные русские журналы писали о польской литературе, учитывая тяжелые условия гнета, в которых она развивалась. Л. Полонский, например, пишет в журнале «Вестник Евро-

пы»: «Поляки страдали от той же системы, страдали еще более, так как к общему гнету присоединялись еще политические преследования»⁴.

Творчество Владислава Станислава Реймонта (1867–1925) — наряду с книгами его современника Стефана Жеромского — пользовалось в России конца XIX — начала XX в. огромной популярностью. Его произведения, начиная уже с ранних рассказов, переводились у нас сразу после их появления в польской печати.

Представляется, что этот интерес к Реймонту в России вызван не столько известной «универсальностью» проблематики его произведений, как считает современный польский исследователь Збигнев Барапский⁵, который в этом отношении противопоставляет Реймонту Жеромского с его стремлением откликнуться на национальное порабощение своей родины, сколько тем, что художественно решаемые Реймонтом темы жизни деревни, психологии крестьянина, отношения деревни и города, места искусства и положения актрисы, волновали также и русского читателя. И, конечно, Реймонт не мог не вызвать интереса своим талантом художника слова.

Реймонт предстал перед русским читателем как автор рассказов. Первый перевод относится к 1896 г. Это рассказ «Встреча», напечатанный сначала в газете «Нижегородский листок» (№ 86), затем в 1897 г. в газете «Киевлянин». Русская пресса, в том числе провинциальная, в конце 90-х — начале 900-х гг. охотно печатает новеллы Реймонта. Среди этих газет и журналов «Киевлянин», «Вольнь», «Астраханский вестник», «Смоленский вестник», «Нижегородский листок», «Волгарь», «Орловский вестник», «Днепровский вестник» и др. Наиболее часто до 1917 г. печатались рассказы «В сумерках» (17 раз), «В осеннюю ночь» (16 раз), «Тоска» (11 раз), «В катакомбах» (11 раз), «Перед рассветом» (11 раз), «Встреча» (9 раз), «На работе» (9 раз), «Счастливые» (8 раз), «Однажды» (7 раз), «Две весны» (7 раз), «На вырубке» и «Последний» (по 6 раз), «Смерть» и «Я убил» (по 5 раз)⁶. Многие из этих рассказов имели по несколько переводчиков и выходили под разными названиями.

В 1906, 1908, 1910, 1911 гг. в Москве и Петербурге выходили сборники рассказов Реймонта.

Сразу после написания был переведен на русский язык его роман «Комедиантка» в журнале «Литературные семейные вечера» (1897. № 2–7), затем он четыре раза до 1917 г. выходил в Москве отдельным изданием. Роман «Брожение» был опубликован в Москве в 1917 г. «Земля обетованная» выходила до революции 4 раза, первая публикация — в журнале «Русское богатство» (1903).

Особенно большой успех выпал на долю романа Реймонта «Мужики» (1904–1909) (в 1924 г. за этот роман Реймонту была присуж-

дена Нобелевская премия). Кстати, и «Комедиантка» и «Земля обетованная», изданные раньше, по-настоящему заинтересовали критику уже после знакомства с романом «Мужики», в котором мощь таланта писателя проявилась с особенной силой. Автор заметки о романе «Комедиантка» писал, например, в 1911 г., т. е. после появления в русском переводе «Мужиков»: «Русское общество заинтересовалось дотоле неизвестным ему польским романистом, почувствовав в создателе этой огромной крестьянской эпопеи большую художественную силу»⁷.

С романом «Мужики» русский читатель знакомился сначала по переводу его фрагментов, появившихся в 1906 и 1909 гг.⁸ Затем роман вошел в два собрания сочинений Реймонта (1910–1912).

Конечно же, издание подряд двух собраний сочинений Реймонта — в 1910–1911 гг. в 7 томах⁹ и в 1911–1912 гг. в 12 томах¹⁰ — свидетельствовало об усилении интереса к его творчеству со стороны русского читателя.

Что касается романа «Мужики», то в первом из этих изданий роман публиковался в переводе М. Троповской (т. 1–2), а во втором — в переводе В. Высоцкого (т. 9–12). Оба автора перевода относятся к числу активных переводчиков польской литературы.

Отдельным изданием роман «Мужики» вышел в 1910–1912 гг. в Москве в переводе В. Ходасевича¹¹. Роман в этом переводе переиздавался еще два раза — в 1914–1915 и в 1918–1919 гг.¹²

Самый известный у нас и заслуженный переводчик «Мужиков» — это, несомненно, Владислав Ходасевич (можно добавить, что он перевел также в 1915 г. рассказ Реймонта «*Ave patria, morituri te salutant*»¹³).

Вл. Ходасевич (1886, Москва — 1939, Париж) — один из крупнейших поэтов русского Серебряного века, до недавнего времени не очень часто у нас печатавшийся, поскольку в 1922 г. эмигрировал, где выступал с антисоветскими статьями. Сейчас мы наблюдаем своеобразный ренессанс Ходасевича. В 1996–1997 гг. в Москве вышло собрание его сочинений в 4-х томах, где впервые в России напечатаны его поэтические и прозаические произведения, а также критические статьи, написанные в эмиграции.

Отец Ходасевича Фелициан, художник и фотограф, был выходцем из польской шляхты, мать — ревностная католичка еврейского происхождения, воспитанная в католическом пансионе. Католиком был крещен и сам поэт. В детстве его окружала созданная матерью в семье польская и католическая культурная атмосфера. В статье о поэме Мицкевича «Пан Тадеуш» (1934) он вспоминает: «По утрам, после чаю, мать уводила меня в свою комнату, там, над кроватью, висел в золотой раме образ Божьей Матери Остробрамской. На полу

лежал коврик. Став на колени, я по-польски читал „Отче наш“, потом „Богородицу“, потом „Верую“. Потом мне мама рассказывала о Польше и иногда читала стихи. Это было начало „Пана Тадеуша“... Бог — Польша — Мицкевич: невидимое и непонятное, но родное и друг от друга неотделимое»¹⁴.

В одной из поздних статей «Друзья-москали» (1935) он рассказывает о том, как родители неосторожно отдали его в русскую школу и не осуществилась их надежда воспитать его в лоне польской культуры¹⁵.

Став русским поэтом, Ходасевич всю жизнь эмоционально ощущал свою связь с Польшей и ее культурой. Он особенно много сделал для ознакомления русского читателя с достижениями польской культуры. Он переводил Мицкевича, Красиньского, романы Сенкевича «Семья Поланецких» и «Крестоносцы», познакомил русского читателя с прозой Пшибышевского, трилогией Казимежа Тетмайера «Легенда Татр», издал в своем переводе целую книгу — «Польские народные легенды о Богородице», писал рецензии на переводы произведений польских писателей. Мысль о Польше, о своей связи с ней не оставляла поэта до конца его дней.

Возвращаясь к роману «Мужики», следует сказать, что сразу (еще до появления его русского перевода) он был оценен как крестьянская эпопея, как большое художественное завоевание всей польской литературы. Так, в одном из первых откликов на «Мужиков» (вернее, на его первые две части «Осень» и «Зима», так как остальные тогда еще не вышли и в Польше) В.Перемиловский в 1905 г. пишет о необыкновенной правдивости, осязательности, пластичности описаний Реймонта¹⁶.

Русский критик замечает, что о родной земле и народе писали почти все выдающиеся польские писатели начала XX в. — С.Выспяньский, Я.Каспрович, С.Пшибышевский, А.Немоевский, но у них, как считает критик, чувствовалось, что это «литература», а в романе Реймонта — «сама жизнь»¹⁷.

Самую характерную особенность романа В.Перемиловский видит в «чисто живописной, художественской точке зрения автора». Это качество, как считает критик, выгодно отличает роман Реймонта от русской народнической литературы, «преследующей главным образом задачи не художественной, то есть общей, но статистико-экономической правды»¹⁸.

Любопытно также в статье этого критика сравнение «Мужиков» польского писателя и повести А.П.Чехова с тем же названием (1897). Заметив, что это произведения разные, общим является главным образом заглавие, но и еще, однако, «художественная правда», В.Перемиловский сравнивает в них сам характер отношения писателей к «мужицкой душе».

Реймонт, считает В.Перемиловский, показывает, что тяжелый труд, вечная угроза нужды и голода огрубели, очерствили душу крестьян, но «они все же тянутся к источнику жизни»: «Реймонт с необыкновенной осязательностью изобразил эту живописную силу», показал, что «душа народная здорова, много еще выдержит и одолеет она, и свое будущее нетронутым несет она в себе». Иначе, по мнению критика, в произведении русского писателя. «Какая непроглядная ночь повисла над деревней у Чехова... — пишет критик. — Для чеховских „мужиков“ нет будущего»¹⁹.

Известно, что эта повесть Чехова вызвала в свое время бурную полемику в прессе, что ее не принял Л.Н.Толстой, хотя он любил Чехова и восхищался его талантом.

А.Яцимирский, который, кстати, сравнивает жизнь Реймонта, выходца из народа, жизнь, полную скитаний, перемен профессий, с жизнью Горького, так пишет о «Мужиках» в 1906 г.: «Роман, несомненно, следует признать шедевром Реймонта. Это произведение изобилует великолепными описаниями, диалогами, сценами, типами, написано оно языком до того своеобразным, что его почти нельзя перевести ни на какой другой, надо очень хорошо знать польскую диалектологию»²⁰.

А.Яцимирский в своей уже упоминавшейся книге «Новейшая польская литература от восстания 1863 г. и до наших дней» часто ссылается на мнения о романе «Мужики» польских критиков: И. Матушевского, П. Хмелевского, А. Брюкнера, Я. Стена и др. Он полемизирует с В. Фельдманом, который, сравнивая с Реймонтом произведения о деревне Золя, Пруса, Оркана, пришел к выводу, что они выше «Мужиков», так как в них «можно разглядеть душу автора». «Но для нас, — пишет А.Яцимирский, — этот аргумент неубедителен. Строгая объективность, полное отсутствие личности автора не может считаться в реальном романе его отрицательным свойством. Наоборот, — считает Яцимирский, — это свойство чисто положительное, так как лишь при его наличии возможно полнее и рельефнее изобразить жизнь, представив ее такой, какова она в своей конкретной действительности, и в то же время художественно»²¹.

Л. Полонский пишет в 1906 г. о «необыкновенной силе и неумолимой реальности» многих сцен романа. Реализму и объективности Реймонта критик противопоставляет субъективность и впечатлительность Жеромского, подчеркивая в творчестве последнего лирическое начало²².

Настоящим гимном «Мужикам» прозвучала статья о польском писателе, написанная в 1911 г. В.Фриче. Он сопоставляет роман Реймонта с другими произведениями мировой литературы, посвященными деревне, называя при этом «Землю» Золя, «Исповедь простого

человека» Гильома, «Крестьянина» Поленца, «Якова Последнего» Роззегера, «Проклятый хутор» Власко Ибаньеса и «Деревню» Бунина. Предпочтение критик отдает роману польского писателя, при знакомстве с которым, как он пишет, читатель все время испытывает чувство, что перед ним не «литература», а самая доподлинная живая действительность²³.

Жизнь деревни, замечает В. Фриче, с ее буднями и праздниками, домашним бытом и полевыми работами, ее семейными и социальными отношениями «изображена с необычайпо любовным вниманием и поистине гомеровской простотой»²⁴.

Русский критик считает, что во всей литературе трудно найти такие красочные и пластические описания природы, как те, которые открывают каждую из четырех частей произведения и рассыпаны далее по его страницам. «Эта природа, однако, — замечает он, — не является бездушной. Она царит как одушевленное существо над деревней, предписывая крестьянину весь его трудовой путь, всю программу его жизни»²⁵.

В. Фриче особенно ценит роман Реймонта за то, что его героем является вся деревня, за прекрасные, лучшие в романе, массовые сцены, которые завершают отдельные ее части (свадьба Бoryны, бой из-за помещичьего леса, объявление войны немецким колонистам, вывоз из деревни Ягны). «В этой черте, — пишет он, — огромное социальное значение „Мужиков“»²⁶.

Русский критик увидел в романе Реймонта и яркость образов, и мастерство композиции, и драматизм повествования, и особый язык. Особенно понравился критику эпизод с Бoryной, когда он накануне смерти отправляется в поле и в бреду засеивает землей землю. «Во всей мировой литературе, — пишет Фриче, — мы едва ли найдем такой глубоко прочувствованный апофеоз крестьянина-пахаря... В художественном отношении, — заключает критик, — „Мужики“ — одно из крупнейших произведений мировой литературы»²⁷.

Как уже было замечено, многие русские авторы, пишущие о «Мужиках», сравнивали их с произведениями русских писателей о деревне. Л. Козловский — поляк по происхождению, но, как он сам говорил о себе, «русский интеллигент»²⁸ — в статье «„Власть земли“ в польской литературе», высоко оценив художественные достоинства романа Реймонта, считает, что это произведение прекрасно восполняет пробел в русской литературе, т. е. русский читатель находит здесь «ряд картин для иллюстрации философских обобщений Глеба Успенского»²⁹.

Автор петербургского «Нового журнала для всех» проводит параллель между «Мужиками» и романом В. В. Муїжеля «Год», опубли-

ликованном в журнале «Русское богатство» за 1911 г., где также даются описания сельскохозяйственных работ, природы, особенностей быта крестьян в чередовании времен года. Сравнение это, пишет автор, «по правде сказать, не в пользу последнего. Настолько ярче и выпуклее фигуры в романе Реймонта»³⁰.

Можно предположить, как это и делает один из современных польских исследователей, что Муйжель знал роман Реймонта³¹. Его мать была полькой, дочерью участника восстания 1863 г., сосланного в глубь России. В одном из писем Муйжель пишет о большом влиянии на его воспитание матери³². Можно предположить, что мать учила будущего писателя польскому языку и знакомила с польской литературой.

Во всяком случае, сходство романов Реймонта и Муйжеля совершенно очевидно. Кроме близости композиции романов, можно отметить сходство отдельных образов (Мачей Боруна — Прокофий Ельников, Антек Боруна — Сергей Данилов и т. д.). Есть сходство и в отдельных сюжетных ситуациях.

П. Сорокин в статье 1912 г. рассматривает «Мужиков» на широком фоне разработки деревенской темы в русской литературе, вспоминая крестьян Решетникова, Засодимского, Златовратского, Успенского, Чехова, Горького, Бунина, Муйжеля и др. Их произведения о деревне, замечает он, кажутся чем-то маленьким по сравнению с «Мужиками», представляющими «исследование коллективной психологии крестьян»³³.

Автор журнала «Московские ведомости»³⁴ сравнивает произведение Реймонта с творчеством Г. Успенского. Их сближает изображение темноты народа, его предрассудков, подчинения всей жизни крестьян законам природы, порожденного всем этим фатализма и примирения с судьбой.

* * *

О творчестве Реймонта до появления романа «Мужики» писали сравнительно немного. Как уже отмечалось, рассказы писателя, его романы «Комедиантка», «Брожение» и «Земля обетованная» своевременно переводилась, но сразу они большого интереса не вызвали. Правда, первые отклики в России на творчество Реймонта — это три заметки о ранних произведениях: одна относится к 1900 г.³⁵, две других — конкретно о рассказе «Однажды» — к 1903 г.³⁶.

До рецензий на перевод романа «Мужики» были опубликованы в России только две заметки о романе «Земля обетованная»³⁷. Всего же об этом романе писали больше, чем о других произведениях Реймонта, появившихся до «Мужиков». Специально «Земле обетованной»

были посвящены 8 рецензий (пока речь идет о русских переводах и критике до 1917 г.). Этот интерес к роману вызван актуальностью для России того времени проблемы развития большого капиталистического города, а также тем, что русская литература не имела еще тогда широких полотен, изображающих «механизм» обогащения крупной буржуазии³⁸.

Л. Козловский в статье 1911 г. называет «Землю обетованную» одним из лучших произведений Реймонта. Он оценил роман за объективную картину буржуазного города. Хотя показаны представители трех национальностей, считает Козловский, но в процессе действия национальные черты исчезают в раскаленной атмосфере борьбы за золото. Остаются только победители и побежденные, эксплуататоры и эксплуатируемые³⁹.

Более радикальные авторы упрекали Реймонта за слабое изображение рабочей массы. В. Фриче, например, критиковал Реймонта за упрощенные образы рабочих, изображенных «автоматами», людьми, лишенными индивидуальных черт и целиком порабощенными машинами⁴⁰.

Л. Левинсон в рецензии 1912 г. на выход романа в собрании сочинений Реймонта оценил роман за то, что в нем Реймонт стремится воссоздать «коллективную душу капитала в бесконечном ряде конкретных образов», сожалеет, что в романе не нашлось места для рабочей массы, а вся ее трагедия усматривается в ее оторванности от земли. Л. Левинсон даже приходит к выводу, что Реймонт здесь «идет по истоптанной дороге западного натуралистического романа»⁴¹.

О романе «Комедиантка», перевод которого, как уже было замечено, появился в журнальном варианте уже в 1897 г., начали писать с 1911 г., когда роман был напечатан отдельной книгой. Всего ему было посвящено 5 рецензий (если не считать разговора о нем в работах о Реймонте общего характера). И в этом случае русские авторы, говоря о романе польского писателя, размышляют одновременно о русской литературе. А. Яцимирский, например, хорошо знавший польскую критику, приведя в своей уже упоминавшейся работе 1908 г. мнение И. Матушевского, который сравнивает Янку Орловскую, главную героиню «Комедиантки» и «Брожения», смилившуюся и опустившуюся духовно, с Наташей Ростовской из «Войны и мира» Л. Толстого, подчеркивает свое несогласие с этим сравнением, заметив при этом, что и Матушевский оговаривает разницу между обеими героинями: Янка выходит замуж не любя, попадает в совершенно непривычную обстановку, в менее культурную среду и т. д.⁴².

Другой автор в рецензии 1911 г., характеризуя роман «Комедиантка», замечает, что Реймонт «об актерах говорит почти то же, что

сказал наш Куприн» (очевидно, имея в виду его некоторые рассказы, например «В цирке») ⁴³.

Написанный после «Мужиков» роман «Мечтатель» (1909) имел в России 6 изданий в трех разных переводах: Е. Троповского (1911), А. Ковалевской (1911) и Е. Загорского (1914). Пожалуй, большого интереса у нас он не вызвал, однако имел 5 опубликованных в прессе откликов. Первый относится к 1910 г. и был написан как рецензия на варшавское издание романа того же года.

Был переведен и более слабый роман «Вампир» (1911) — три книжные издания 1911, 1913 и 1915 гг., которые вызвали три отклика. Один из них содержался в книге В. Фриче под названием «Поэзия кошмара и ужаса» (СПб., 1912), где роман Реймонта рассматривался наряду с другими произведениями европейской литературы.

Заинтересовался русский читатель и историческим романом «Год 1794». В 1913–1914 гг. в московской газете «Голос минувшего» была опубликована в переводе Е. Загорского первая часть трилогии под названием «Последний сейм Речи Посполитой», а в 1914 г. в той же газете опубликованы уже в другом переводе под названием «Инсurreкция» 7 глав второй части трилогии («Nil desperandum»). По поводу этого романа трижды выступал в печати Л. Козловский ⁴⁴.

Таким образом, произведения Реймонта вызвали в России еще при жизни писателя очень большой интерес. В библиографии русских переводов польской литературы, составленной И. Л. Курант (см. прим. 6), насчитывается 176 позиций переводов писателя до 1917 г. и 109 позиций литературы о нем.

* * *

Теперь речь пойдет о дальнейшей судьбе творчества Реймонта — уже в Советском Союзе, после 1917 г. Как представляется, первые суждения о творчестве каждого писателя, высказанные в его стране или за рубежом еще при его жизни, представляют всегда больший интерес, чем суждения позднейших периодов, — именно эти первые оценки это и есть рецепция творчества писателя, а рецензии и отзывы более поздние, тем более современные нам, — это уже история науки, литературоведческой мысли, а не рецепция как таковая, не факт взаимосвязей.

В 20–30-е гг. польскую литературу издавали у нас менее активно, чем в предреволюционные годы. Политические отношения культурным польско-русским контактам не способствовали. Эти политические отношения были сложными и до этого, однако факты показывают, что культурная политика в Советском Союзе была гораздо более же-

стой, чем издательское дело в царской России, что существовал мощный политический диктат. В межвоенные годы у нас издавали прежде всего те произведения польской литературы, авторы которых давали критическую оценку «панской», «санационной» Польше. Так, у нас одновременно появились шесть изданий романа С. Жеромского «Канун весны» (1924) в разных переводах, «Роман Терезы Геннерт» и «Граница» З. Налковской, «Люди оттуда» М. Домбровской, «Карьера Никодима Дызмы» Д. Мостовича и т. д.

Польская классика издавалась не так часто, как прежде. Что касается Реймонта, то его, однако же, издавали по сравнению с другими достаточно много. В 1923 г. вышел в переводе Е. Загорского роман «Мечтатель» (повторение издания 1914 г.), в 1925 г. — «Земля обетованная», в 1935 г. — «Мужики». Этот самый известный роман писателя был представлен не в переводе Владислава Ходасевича, ибо он находился в эмиграции и для руководителей культурной политикой как бы не существовал, а в заново отредактированном переводе М. Троповской.

Несколько раз выходили рассказы «Справедливо» (1925) и «Осужденная» (оба как отдельные книжные издания), заметки «1905 год в Варшаве» в переводе М. Троповской (1925) и «Кладбище» в сборнике под названием «Город победил!» (1926).

В 30-е гг. изучал роман «Мужики» профессор Ленинградского университета В. Чернобаев. Он опубликовал об этом произведении обширную работу «„Chłopi“ Вл. Реймонта. Опыт социологического анализа»⁴⁵, написал послесловие к роману «Мужики». Московский журнал «Литературный критик» поместил заметку об издании «Мужиков», написанную польским автором Я. Висляком (1936, № 3).

После 1945 г. у нас издавали Реймонта много и очень большими тиражами. Сначала в московском Гослитиздате вышли в 1950 г. «Мужики» тиражом 75 тыс. экз. (перевод М. Абкиной), затем это издание было повторено в 1954 г. еще большим тиражом — 150 тыс. экз. Третье издание «Мужиков» — 1981 г. (тираж 50 тыс. экз.).

Часто издавались рассказы Реймонта. Два из них — «Суд» и «На вырубке» — вошли в сборник «Польская новелла» (М., 1949), а в 1953 г. в Москве вышел сборник, составленный В. В. Витт, в переводе М. Абкиной, куда вошли рассказы «Сука», «Смерть», «Томек Баран», «Справедливо», «Однажды».

Романы «Комедиантка» и «Брожение» вышли в ленинградском отделении Гослитиздата в 1967 г. с предисловием В. Оболевича (тираж 50 тыс. экз.).

В 90-е гг. еще раз были изданы «Мужики» (1993), тираж уже меньше — 1500 экземпляров (сказались условия рынка, когда больше стали издавать детективов и приключенческих романов).

«Земля обетованная» появилась в новом переводе относительно поздно, только в 80-е гг. Последнее издание Реймонта у нас — это именно «Земля обетованная», вышедшая в 1997 г. в репрезентативной серии «Лауреаты Нобелевской премии» в московском издательстве «Панорама». Тираж этого издания 10500 экз. Написала предисловие к этому изданию известная полонистка О. Медведева. Говоря о «Мужиках», она подчеркнула универсальный характер проблематики романа: «Реймонт, изображая в «Мужиках» поляка с его неповторимым национальным характером и духовным складом, как бы выводит его за польскую межу и приобщает к человечеству» (С. 598). Она отмечает также универсальность картин природы: «Ровное, неостановимое дыхание природы, незримо присутствующее в произведении, придает той или иной жизненной детали значение сакрального символа, современность обретает надысторическое, мифологическое измерение» (С. 598).

Автор этого предисловия в 1975 г. защитила в Институте славяноведения и балканистики РАН кандидатскую диссертацию о проблемах реализма в творчестве Реймонта, опубликовала несколько статей о творчестве писателя.

Посвятил Реймунту, конкретно «Мужикам», свою кандидатскую диссертацию также и В. Оболевич из Ленинградского университета (1952).

Можно назвать и другие научные и научно-популярные работы наших литературоведов, посвященные творчеству польского писателя⁴⁶. Особенно следует выделить главу о творчестве Реймонта во втором томе «Истории польской литературы», изданной Институтом славяноведения и балканистики в 1968–1969 гг.⁴⁷, прекрасно написанную кандидатом филологических наук Н. Богомоловой.

Следует ожидать, что появятся и новые издания произведений Реймонта в России, и новые работы о его наследии.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Русская мысль. 1896. Кн. 4. С. 177.
- 2 Мир Божий. 1903. № 9. Библиографический отдел. С. 82.
- 3 Яцимирский А. И. Новейшая польская литература от восстания 1863 г. и до наших дней. СПб., 1908. Т. 1. С. XIII.
- 4 Полонский Л. Современный польский роман // Вестник Европы. 1906. № 6. С. 586.
- 5 Barański Zb. Reymont w Rosji // Slavia Orientalis. 1971. № 3. S. 271.
- 6 Здесь и далее информация о русских переводах Реймонта дается по изданию: Польская художественная литература XVI — начала XIX в. в русской и советской

печати. Указатель переводов и литературно-критических работ на русском языке, изданных в 1711–1975 гг. / Составитель И. Л. Курант. Вроцлав; Варшава; Краков, 1995. Т. 4. С. 119–129.

- 7 [Аннотация на кн.:] *Реймонт В.* Комедиантка. М., 1911 // Новый журнал для всех. 1911, май. № 31. С. 122.
- 8 *Мачей Борыня.* Эскиз по польскому роману Реймонта «Chłopi» // Вестник Европы. 1906. № 10. С. 521–570; *В. Реймонт.* Крестьяне: Осень // Новая иллюстрация (приложение к газете «Биржевые ведомости»). 1909. № 48, 49, 50.
- 9 *Реймонт В.* Полное собрание сочинений. В 7 т. М., 1910–1912.
- 10 *Реймонт В.* Собрание сочинений. В 12 т. М., 1911–1912. (Серия «Классики современной мысли».)
- 11 *Реймонт В.* Мужики. Современная повесть в 4-х частях / Пер. В. Ходасевича. М., 1910–1912. (Серия «Универсальная библиотека». № 754–757.)
- 12 То же. 2-е изд. М., 1914–1915; То же. 3-е издание. Т. 1–2. Изд-во ВЦИК СРСК и КД. 1918–1919. (Серия «Всеобщая библиотека». № 4, 5.)
- 13 *Реймонт В.* Ave patria, morituri te salutant. Пер. В. Ходасевича // Новая жизнь. СПб., 1915. № 4. С. 77–86.
- 14 *Ходасевич В.* К столетию «Пана Тадеуша» // *Ходасевич В.* Собр. соч. в 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 309–310.
- 15 См. об этом: *Бочаров С. Г.* «Памятник» Ходасевича // *Ходасевич В.* Собр. соч. в 4 т. Т. 1. С. 7.
- 16 *Перемилоский В.* [Рец. на кн.:] *Reymont W.* Chłopi. T. I. Jesień. T. II. Zima // Вопросы жизни. СПб., 1905. № 7. С. 150.
- 17 Там же. С. 224.
- 18 Там же.
- 19 Там же. С. 225–226.
- 20 *Яцимирский А. И.* Владислав Реймонт, его романы и рассказы (литературная характеристика) // Вестник иностранной литературы. 1906. № 6. С. 150.
- 21 *Яцимирский А. И.* Новейшая польская литература... Т. 2. С. 336.
- 22 *Полонский Л.* Современный польский роман // Вестник Европы. 1906. № 6. С. 609.
- 23 *Фриче В.* Владислав Реймонт // Новый журнал для всех. СПб., 1911. № 32. С. 93.
- 24 Там же. С. 98.
- 25 Там же.
- 26 Там же. С. 99.
- 27 Там же.
- 28 См. о нем: *Цыбенко Е. З.* Из истории польско-русских литературных связей. М., 1978. С. 170.
- 29 *Козловский Л.* «Власть земли» в польской литературе. (*Реймонт В.* «Chłopi», Варшава, 1904–1909) // Русские ведомости. 1910. № 131. С. 3–4.
- 30 М. Л. в рубрике «Новые книги» // Новый журнал для всех. 1912. № 5. С. 123.
- 31 См.: *Dłubak W.* Obraz wsi w świetle «Chłopów» Reymonta i powieści «Rok» W. W. Muzjela // Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych. 1971. R. 25. S. 1–6.

- 32 См. об этом: *Оляшек Барбара*. Роман Владислава Реймонта «Мужики» и русская демократическая литература о деревне конца XIX — начала XX в. Автореферат дис. ... канд. филол. наук. Л., 1979. С. 3.
- 33 *Сорокин П.* Деревня и мужики у В. Реймонта // Неделя «Вестника знания». СПб., 1912. № 41. С. 643.
- 34 Московские ведомости. 1912. № 48. С. 4 (без подписи). «Даже орган шовинистов и „черной сотни“, — пишет по поводу этой заметки современный польский исследователь, — высоко оценил „Мужиков“, ставя их автора на одно из почетных мест среди классиков мировой литературы». (*Grosbart Z.* Reymont w Rosji // *Prace Polonistyczne*: Ser. 24. Łódzkie Tow. Naukowe. 1968. S. 111.)
- 35 [*Шафковский К.*] Молодые польские писатели // Смоленский вестник. 1900. 21 июня. № 136. С. 2–3. Подпись *К. Ш-ский*.
- 36 Крокус. По журналам (...Вл. Реймонт. «Однажды») // Астраханский листок. 1903. 1 февраля. № 25; *Лейский В.* Журнальная литература. «Мир Божий», январь // Юг. 1903. 24 января. № 1399. С. 2–3.
- 37 *Кучинский И.* «Новые» в польской литературе. Новый польский роман. Реймонт... // Новое время. СПб., 1903. 25 июня. № 9807; *Ачкасов [А.]*. Журнальное обозрение // Семья. М., 1904. 25 января. № 4.
- 38 См. об этом: *Barański Z.* Reymont w Rosji. S. 277.
- 39 *Козловский Л.* [Рец. на кн.:] *Реймонт В.* Земля обетованная. Ч. 1. М., 1911 // Русские ведомости. 1911. 14 июля. № 135. С. 5.
- 40 *Фриче В.* Указ. соч. С. 96.
- 41 *Левинсон Л.* [Рец. на:] *Реймонт В.* Собр. соч. Т. 7 и 8. «Земля обетованная» / Пер. Т. Высоцкой. М., 1911 // Современный мир. СПб., 1912. № 3. С. 330, 331.
- 42 *Яцимирский А. И.* Новейшая польская литература... Т. 2. С. 326.
- 43 [Аннотация на кн.:] *Реймонт В.* Комедиантка. Полн. собр. соч. Т. 1. Изд. Саблина // Новый журнал для всех. 1911, май. № 31. С. 122.
- 44 *Козловский Л.* Новости польской литературы (Reymont. Rok 1794) // Русские ведомости. 1912. 1 авг. № 177; *Он же.* Новые романы: «1794 год» Вл. Реймонта // Бюллетень литературы и жизни. М., 1912. Сент. № 2; *Он же.* Из польской литературы: «Последний сейм Речи Посполитой» // Киевская мысль. 1914. 14 марта. № 73.
- 45 Труды Института славяноведения АН СССР. Л., 1934. Т. 2. С. 9–25.
- 46 См. в том числе: *Цыбенко Е. З.* Владислав Реймонт // Курс лекций по истории зарубежных литератур XX века. М., 1956. С. 621–636.
- 47 *Богомолоса Н. А.* Владислав Реймонт // История польской литературы / Редколлегия В. В. Витт, И. С. Миллер, Б. Ф. Стахеев, В. А. Хорев. М., 1969. Т. 2.

ТВОРЧЕСТВО ЮЛИАНА КАВАЛЬЦА В РОССИИ

С творчеством Юлиана Кавальца, одного из виднейших современных польских писателей, отметившего недавно свой 85-летний юбилей, русский читатель знакомится уже в течение нескольких десятилетий. Его повести и рассказы, опубликованные у нас неоднократно и большими тиражами, пользуются неизменным вниманием читателей, критиков и ученых. Этому безусловно способствует давняя и богатая история русско-польских культурных и литературных связей, постоянный интерес в России к польской словесности, одной из крупнейших мировых литератур. Имеют значение, конечно, и тесные контакты русского и польского народов на протяжении их многовекового, подчас драматического соседства, общность их судеб, особенно в XX в., во время и после Второй мировой войны.

Кавалец, как известно, родоначальник современной польской деревенской прозы. Примерно в те же 1960-е гг., которые отмечены его громким вхождением в польскую литературу, в русской зарождалось и разрасталось схожее течение. Деревенская проза во многом определила облик польской и русской литературы, стала одним из ее магистральных проблемно-тематических течений, представленных — и в Польше (наряду с Кавальцем это Тадеуш Новак, Веслав Мысливский, Эдвард Редлинский), и в России (прежде всего Валентин Распутин, Федор Абрамов, Василий Белов, Виктор Астафьев, Василий Шукшин) — крупными, талантливыми, общепризнанными писателями, широко переводимыми за рубежом. Обе страны — и Польша, и Советский Союз — только в 50–60-е гг. перестали быть крестьянскими по социальному составу своего населения. Бурные миграционные процессы вызывали подчас очень резкую, болезненную реакцию в сознании и психологии людей. Непростой ценой удавалось крестьянскому парню обрести твердую почву под ногами, перебравшись в город, «переплыть реку», как показал Кавалец; трудно удержать равновесие, находясь «одной ногой на берегу, другой в лодке», отмечал Василий Шукшин. Бросается в глаза даже сходство образно-словесного ряда, выстраиваемого польскими и русскими писателями.

Ощущая неизбежность, необратимость перемен, они тем не менее считали нужным благодарно проводить старую деревню, затонувшую, как Атлантида, на наших глазах, ее вечных тружеников, прежде всего стариков и старух. Эти почти идеальные и в то же время жиз-

ненно убедительные образы деревенских праведников вызывали восторг у одних критиков и кололи глаза другим — как в Польше, так и в России. Не слушая советов официальной критики, писатели в эпоху НТР делали своих положительных героев не инженерами, не передовиками производства, а малограмотными крестьянами, в эпоху навязывания атеизма они делали их людьми, не забывшими Бога.

И польская, и русская деревенская проза пронизана ностальгическими мотивами ухода, прощания, смерти, что отразилось и в названиях произведений. Вспомним у Кавальца — «Поваленный вяз» (*Zawałony wiaz*), «Прощание с горой» (*Pożegnanie z górą*), «Пусть умрет, глядя собаку» (*Niech umrze z ręką w kudłach psa*), у русских писателей — «Последний срок», «Прощание с Матерой» Валентина Распутина, «Последний поклон» Виктора Астафьева.

Сходной оказалась у авторов польской деревенской прозы, у Кавальца в первую очередь, и у русских писателей острая постановка экологических проблем, напрямую связанных с нравственными.

Русский читатель, воспитанный своей глубоко национальной литературой, хорошо воспринимал народно-национальное начало прозы Кавальца, умелое использование им фольклорных образов и мотивов наряду с библейскими, мифов, притч, напевной интонации, сказовой повествовательной манеры.

Риску предположить, что некоторая нарочитость повторов, морализаторство Кавальца терпимее и с большим пониманием воспринимались не на родине писателя, а в России, где классическая литература несколько в большей степени, чем польская, пронизана учительным, проповедническим пафосом.

Явный отход от схематизма и упрощенного оптимизма (период их преобладания в польской литературе был значительно короче), поворот к психологизму, к личности, к раскрытию душевных драм героев в непростых жизненных ситуациях, субъективизация повествования — отличительные особенности Кавальца и вместе с тем того этапа, который переживали в своем развитии польская и русская литературы практически одновременно — в 60–70-е гг., если иметь в виду то, что попадало на книжные прилавки.

Польская литература, и Кавалец в том числе, помогали русским писателям отвоевывать «духовную территорию», напоминала о подлинном человеческом достоинстве, о справедливости, правде, часто далекой от официально провозглашаемой.

Нельзя обойти вниманием важнейших отличительных качеств польской деревенской прозы (не говоря уже об индивидуальном своеобразии каждого писателя). Это отраженное в ней обостренное классовое самосознание, «крестьянскость», исследование «холопского

комплекса» — свидетельства недавнего социального освобождения крестьян, его следы в психологии и культуре. В художественном плане — большее, нежели у русских писателей, тяготение к формальным поискам, влияние сильной польской традиции гротеска. Таким образом, русский читатель оказывался в ситуации узнавания похожего в непохожем, «своего» в «чужом».

Переводы и отклики на произведения Кавальца появлялись в советской печати почти синхронно с публикацией на родине писателя. Его первооткрывателем у нас стал известный полонист профессор Виктор Хорев. С его легкой руки, по его инициативе уже через два года после появления оригинала был опубликован перевод повести «К земле приписанный» (*Ziemni przypisany*, 1962) — в журнале «Иностранная литература» (1964, № 6), многотиражном (600 тыс. экз.) и популярном издании. Замечательная переводчица польской литературы Ирина Колташева еще годом раньше опубликовала рецензию¹ на эту повесть, которая наряду со сборником рассказов «Поваленный вяз» (1962) сделала Кавальца знаменитым на его родине.

«Танцующий ястреб» (*Tańczący jastrząb*) был переведен с интервалом в 5 лет, «Ищу дом» (*Szukam domu*), «Переплывешь реку» (*Przeplynieś rzekę*) — в 3 года, «Серый нимб» (*Szara aureola*) — в 6 лет.

Всего на русский язык переведено 6 повестей (или, как их иногда определяют, микророманов) и 10 рассказов польского художника слова, основной особенностью таланта которого, по верному наблюдению Генрика Березы, является умение «выразить невыразимое», передать сложность и богатство внутреннего мира крестьянина, не привыкшего облекать в слова свои переживания.

Повесть «К земле приписанный» выдержала 4 издания, «Танцующий ястреб» и рассказ «Большой праздник на стройке» (*Wielki festyn na budowie*) — по 3, роман «Переплывешь реку», повесть «Серый нимб», рассказы «Свадебный марш» (*Marsz weselny*) и «Прощание с горой» — по 2, остальные произведения публиковались по одному разу. Это повести «На солнце» (*W słońcu*) и «Ищу дом», рассказы «На побывке» (*Odwiedziny w rodzinnym domu*), «Озеро на выгоне» (*Jezioro na bloniu*), «Тут и испугаться не успеешь» (*Nie będzie czasu na strach*), «Первый белоручка» (*Pierwszy białoręki*), «Хозяйство бабки Ядвиги» (*Gospodarstwo babci Jadwigi*), «Большой розыгрыш» (*Wielka psota*), «Пусть умрет, глядя собаку».

Общий тираж книжных изданий Кавальца на русском языке приблизился к 500 тысячам экземпляров, что, возможно, сопоставимо с числом экземпляров изданий на польском, а в совокупности с тиражами журнала «Иностранная литература» (четыре номера по 600 тысяч) наверняка превышает его. Широко переводились произведения Ка-

вальца на украинский, белорусский и другие языки бывшего Советского Союза.

Таким образом, русский читатель имеет три отдельных сборника крупных произведений Кавальца и один сборник рассказов. Первой стала выпущенная государственным издательством «Художественная литература» книга «Танцующий ястреб» (1971), куда, кроме заглавной, вошли повести «К земле приписанный», «На солнце», «Ищу дом». С тонким пониманием особенностей таланта Кавальца написал предисловие к книге известный литовский писатель Миколас Слущис, чье творчество, безусловно, корреспондирует с произведениями польского писателя. Слущис находит во всех повестях Кавальца сильное лирическое начало, которое «присутствует всюду, начиная от деталей и кончая характерами». «Даже в повести „Танцующий ястреб“, написанной отчасти в полемическо-сатирическом тоне с немалой долей сарказма, есть много задушевности и грусти, воспоминаний и реминисценций, относящихся к явно лирическому арсеналу, — отмечает рецензент, — ...однако конструкция его повестей строго рациональна, несмотря на „вольные“ перескоки во времени...»².

В этом сочетании «горячности, открытой заинтересованности, прорывающейся в стилистическую ткань», и трезвого анализа, объективности наблюдений Кавальца действительно кроется один из секретов его воздействия на читателя, вынужденного поддаваться одновременно и строгой логике рассуждений, и эмоциональному напору писателя.

Одним из первых в русской критике Слущис обратил внимание на актуальность, близость нашему читателю экологической проблематики прозы Кавальца в ее связи с нравственной: «Пафос писателя понятен и близок нам не только потому, что мы все больше и больше ценим каждое дерево, каждый кусочек живой природы и мудрость тех людей, которые своим трудом, даже бытом, помогают зеленому ростку в борьбе с дымом и ядовитыми отходами в водах и воздухе. Нам понятен пафос писателя, ибо он защищает не только деревья, птиц, тишину, но и воспоминания целых поколений о тех же деревьях, птицах, тишине, оберегаемой крестьянской натруженной рукой»³.

Вторым сборником прозы Кавальца стали переизданные в 1984 г. тем же издательством «Художественная литература» две его повести — «К земле приписанный» и «Танцующий ястреб».

В том же году выходит сборник рассказов польского писателя «Свадебный марш», изданный в приложении к журналу «Иностранная литература». Составила книгу Вера Селиванова, талантливый и опытный переводчик, познакомившая русского читателя с тремя из помещенных здесь пяти рассказов — «Большой праздник на стройке», «Прощание с горой», «Свадебный марш». «Тут и испугаться не

успеешь» перевела З. Александрова, «Первый белоручка» — Д. Шурьгин.

Надо отметить высокое качество переводов прозы Кавальца в целом, чему способствовал труд таких известных мастеров, как, кроме упомянутых Ирины Колташевой и Веры Селивановой, Ксения Старосельская и Михаил Игнатов (совместно перевели роман «Переплывешь реку»), Стелла Тонконогова (повесть «Ищу дом», рассказы «На побывке», «Озеро на выгоне»).

В предисловии к сборнику «Свадебный марш» Виктор Хорев сжато и емко охарактеризовал жизненный и творческий путь Кавальца, повести, уже известные русскому читателю, и изложил особенности его новеллистики. В ней, по мысли Хорева, проявился незаурядный талант писателя, в рассказах «разрабатываются (а часто предваряются) идеи и мотивы более крупных прозаических произведений»⁴. Это и вариант темы «опоздания» в заглавном рассказе, и жестокость деревенских предрассудков в «Первом белоручке», и заострение проблемы отношения человека к природе в «Большом празднике...», и природа, рассматриваемая в качестве метафоры человеческой судьбы в «Прощании с горой».

Хорев приводит важное с точки зрения понимания близости русскому читателю творчества автора «На солнце» высказывание писателя: «Природа человеку абсолютно необходима, гораздо больше, чем цивилизация... Творческое общение с природой обогащает человека внутренне, я считаю его даже более ценным, чем общение с искусством». Эти мысли Кавальца родственны раздумьям и творческой практике В. Распутина, В. Астафьева и других русских писателей.

Завершает на сегодняшний день публикацию у нас переводов Кавальца его «Избранное», выпущенное издательством «Радуга» в 1986 г. Сюда вошли роман «Переплывешь реку», повесть «Серый нимб» и 6 рассказов, три из которых были напечатаны в предыдущем сборнике, их пополнили «Хозяйство бабки Ядвиги», «Большой розыгрыш» и «Пусть умрет, глядя собаку».

«Избранное» вышло в специально посвященном Кавальцу томе репрезентативной серии «Библиотека польской литературы», насчитывающей более 30 томов и познакомившей русского читателя с лучшими современными польскими мастерами слова. В ее составлении принимали участие известные полонисты Виктор Хорев и Елена Цыбенко.

Первый перевод «Переплывешь реку» в «Иностранной литературе» (1976, № 6, 7) сопровождало послесловие известного писателя Григория Бакланова. Он несколько неожиданно выделил в этом романе не социально-нравственную проблематику, не тему превращения крестьянина в рабочего на социалистической стройке, пусть

данную и с полемическим пафосом по отношению к предшествующим опытам воспевания «строек века». Бакланов указал на мастерски разработанную философскую тему памяти и «вечный» сюжет ухода сыновей из дома, освоение ими новых земель и зарождения новой жизни. Главный герой Кавальца ушел на стройку за заработками, а нашел самого себя.

В рецензии В. Хорева 1974 г. на «Серый нимб» отмечались важность обращения писателя к тем временам, когда для крестьян «земля была на втором месте после Бога», присущий писателю историзм, достигнутая им объемность повествования⁵.

Соединение «Переплывешь реку» и «Серого нимба» в «Избранном» позволило автору вступительной статьи, известному литературному критику Валентину Оскоцкому увидеть связь между собой этих двух произведений, исследующих события прошлого и обращенных к современности, к молодому поколению. Автор очерка «Город, деревня, земля (К творческому портрету Юлиана Кавальца)» пытается уточнить понятие «деревенская проза», считая, что оно имеет несколько иное наполнение в польской литературе по сравнению с русской. Более близкую аналогию с социальным драматизмом, психологическим напряжением прозы Кавальца он находит в романах «Потерянный кров» молдавского писателя Иона Друцэ, «Чужие страсти» Миколаса Слущкиса и др.⁶

Вместе с тем философские, нравственные аспекты прозы Кавальца в разработке проблем города и деревни сближают его, по мысли В. Оскоцкого, с «Памятью земли» Владимира Фоменко, «Прощанием с Матерою» Валентина Распутина, рассказами Василия Шукшина. В заключительной части статьи критик приводит обширные выдержки из своей беседы с писателем, опубликованной ранее в «Литературном обозрении» (1979, № 7). Кавалец напоминает об опасности отрыва от традиций, о святости хлеба и земли, о необходимости беречь природу и память. В этом, в предостерегающей роли литературы, он видит значение деревенской прозы и называет имена Чингиза Айтматова и Валентина Распутина.

Когда Кавалец говорит о том, что вчерашний мужик и став интеллигентом, не должен «обрубать при этом своих народных корней... хранить в себе духовные ценности деревни»⁷, русскому читателю приходит на память абсолютно такая же с болью высказанная мысль Шукшина, сходные слова и даже интонация русского писателя.

Повести Кавальца входили также в такие тома серии «Библиотека польской литературы», где соседствовали с произведениями других польских авторов. Повесть «К земле приписанный» опубликована в «Современных польских повестях» (т. 1, 1974), «Серый нимб» — в сбор-

нике «Современные польские повести. 70-е годы» (1979) наряду с произведениями В. Терлецкого и В. Билинского. Обе книги открывают предисловия В. Хорева. Анализируя повести, автор статей точно определяет место Кавальца в ряду других представителей польской деревенской прозы, таких как Эрнест Брыль и Тадеуш Новак, отмечает своеобразие его повествовательной манеры: «неторопливую, плавную интонацию, ритм, по выражению самого Кавальца, напоминающий ритм земли, элегический тон, напевность крестьянской речи»⁸. «Объемное изображение духовного мира человека роднит писателя с представителями других тем и течений в польской литературе 1970-х гг.»⁹.

Из сборника «Поваленный вяз», который с одновременно вышедшей в 1962 г. повестью «К земле приписанный» сделал писателя знаменитым и, по сути дела, заложил основы современной польской деревенской прозы, русскому читателю известны два рассказа: «На побывке» и «Озеро на выгоне», переведенные Стеллой Тонконоговой. Они вошли в сборник «Вечерний витраж», выпущенный издательством «Художественная литература» в 1969 г. Сборник составили рассказы 13 польских авторов — Я. Ивашкевича, С. Дыгата, Т. Новака, Э. Стахуры и др. Здесь Кавалец получил возможность также сказать несколько слов о себе и источнике своего вдохновения. Поэтично, проникновенно, словно стихотворение в прозе, звучит этот, казалось бы, «нехудожественный» текст (ритм, лирическая интонация бережно сохранены в переводе):

«Важно, очень важно, какой мир впервые открывается глазам ребенка, какие образы детства запечатлелись у него в памяти. Каменную стену увидел ты или дерево? Чье лицо склонилось над тобой, ребенком? Чья рука взяла тебя за руку, помогая преодолеть неровности земли? Чья рука подала тебе хлеб, и какой он был, этот хлеб?

Деревья, поля, луга, реки — вот образы моего детства. Истомленные крестьянские лица окружали меня. Жесткая, натруженная крестьянская рука подала мне ржаной хлеб и вывела меня в мир»¹⁰.

Авторы русских работ о Кавальце сразу же отметили ритмичность, напевность его прозы как важную черту стиля и не раз цитировали этот фрагмент. Органически присущее писателю поэтическое восприятие мира проявляется и во время его устных выступлений, об этом хорошо знают участники встреч с ним, а Кавалец неоднократно был гостем наших писательских организаций, беседовал со студентами, читателями библиотек, коллегами. Скромность, непосредственность и живость в общении, дар рассказчика располагают к нему аудиторию слушателей.

Можно прийти к выводу, что Кавалец в России переведен достаточно полно и без задержек, как мало кто из современных польских пи-

сателей (полнее представлено, возможно, только творчество Я. Ивашкевича). В сознании русского читателя именно он представляет польскую деревенскую прозу, ставшую значительным явлением в польской литературе, во многом определившим ее облик, наряду с такими талантливыми писателями, как Тадеуш Новак, Веслав Мысливский и Эдвард Редлинский.

На русском языке увидели свет самые сильные и яркие прозаические произведения Юлиана Кавальца (остается надеяться, что нашего читателя ждет открытие его поэзии, книжные издания которой появляются в Польше относительно недавно — с 1992 г.). По ним хорошо прослеживается идейно-творческая эволюция художника, обогащение проблематики и арсенала художественных средств.

Писательская и гражданская позиция Кавальца, его понимание современного реализма, будущего литературы, ответственности таланта, роли литературной критики выражены во многих выступлениях художника на страницах известнейших советских газет и журналов — «Литературной газеты», «Иностранной литературы», «Вопросов литературы» и др.¹¹

Произведения Кавальца в России изучаются на протяжении всего его творческого пути, начиная с 1963 г. Это рецензии, отклики, а также предисловия к его русским изданиям, научные статьи, посвященные специально его творчеству или в контексте всей польской деревенской прозы, в контексте новых явлений в польской литературе в целом. В крупнейших славистических центрах — университетских и академических — разрабатываются проблемы, связанные с его прозой.

Виднейшие специалисты по польской литературе посвятили автору «Танцующего ястреба» целый ряд своих трудов. Это Виктор Хорев (Институт славяноведения РАН), Астра Пиотровская (Институт мировой литературы им. Горького РАН), Елена Цыбенко (Московский государственный университет им. Ломоносова), Валерия Веди́на (Институт литературы им. Шевченко АН Украины). Проблемы, связанные с его творчеством, стали темой курсовых и дипломных студенческих работ, докладов на международных конференциях. Широкий читатель найдет информацию о Кавальце в самых квалифицированных и популярных справочных изданиях: в 9-м томе «Краткой литературной энциклопедии» (1978, автор — В. А. Хорев), в однотомном «Литературном энциклопедическом словаре» (1987) и др.

Пристальное внимание произведениям Кавальца уделяли также специалисты в области других зарубежных литератур, сравнительного литературоведения, так как деревенское течение громко заявило о себе в 60–80-е гг. в целом ряде литератур Восточной Европы, и

прежде всего в русской¹².

Анализ творчества автора повести «На солнце» вошел в вузовские учебники — например, в «Историю зарубежной литературы после Октябрьской революции, ч. II, 1945–1970-е гг.» (М.: изд. МГУ, 1978) и позднейшие издания.

Крупнейшие достижения Кавальца и его творческая эволюция рассматриваются в двухтомной академической «Истории литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» (1995, 2001, автор главы о польской литературе — В. А. Хорев), где опыт исследователей-славистов, накопленный десятилетиями, очищен от влияния идеологического диктата и предвзятости.

В целом русским работам о Кавальце свойствен комплексный подход, анализ и жизненного, и творческого пути, эволюции писателя, преимущественное внимание к изучению изображенных в его книгах новых жизненных пластов, новых типов героев, общественных сдвигов сочетается с глубоким жанрово-стилевым анализом. Такова наиболее развернутая характеристика автора «Танцующего ястреба», данная в статье В. Хорева «Юлиан Кавалец и некоторые проблемы польской деревенской прозы». Автор высоко оценивает достижения этой прозы, успех Кавальца у читателя и критики он объясняет прежде всего тем, что «тот первым в польской литературе показал обширную область социально-психологических сдвигов в жизни польской деревни», стремился «показать читателю человека деревни в его психологической обнаженности», по выражению самого писателя¹³. Выводы в статье корреспондируют с наблюдениями авторов многочисленных польских работ о Кавальце, хорошее знание которых ощущается в трудах русских специалистов¹⁴. Иногда ведется полемика с польскими коллегами, например, по поводу влияния Фолкнера на стиль Кавальца (по этому вопросу, впрочем, нет единства и у представителей польской науки).

Хорев отмечает характерную переключку острых проблем, поставленных Кавальцем, тревогу за выходцев из деревни, порвавших духовную связь с ней, с озабоченностью Василия Шукшина теми же явлениями.

Много работ посвятила Кавальцу и всей польской деревенской прозе Астри Пиотровская. Выделим прежде всего ее очерк о писателе, вошедший в «книгу портретов» (всего их 24) — «Писатели Народной Польши» (1976)¹⁵, явившуюся своего рода прорывом в ознакомлении российского читателя с богатой творческими индивидуальностями послевоенной польской литературой. Значительное внимание автору «Танцующего ястреба» уделено Пиотровской и в ее монографии «Художественные искания современной польской ли-

тературы. Проза и поэзия 60–70-х гг.» (1979)¹⁶. Любопытны и аргументированны ее сопоставления романов «Переплывешь реку» Кавальца и «Две зимы и три лета» Федора Абрамова. В конфликте главного героя-повествователя с Румянью у польского автора, по ее мнению, много общего с противостоянием благородного Михаила Пряслина наглому карьеристу Егорше — у русского.

С 1966 г. издает работы о Кавальце и польской деревенской прозе известный киевский полонист Валерия Веди́на¹⁷. Итоговыми стали ее публикации на русском языке: статья «Веслав Мысливский и развитие польской деревенской прозы (60–80-е гг.)» (1990)¹⁸ и обширная глава «Деревенская проза» в монографии (1991)¹⁹, вышедшая также в Киеве. Богатые и разнообразные творческие достижения Кавальца подвергаются Вединой основательному, детальному анализу, все его произведения входят в поле ее зрения, включая публицистику и его собственный комментарий к своему творчеству. Интересны ее наблюдения о сложных отношениях притяжения и отталкивания, преемственности и полемики между Кавальцем и его продолжателями — Э. Брыллем, Т. Новаком, Э. Редлинским, В. Мысливским и др.

Лиричность, поэтическое видение мира, интерес к фольклору, к нравственным ценностям народа, соединение эпического и мифологического начал, характерные для Кавальца и других создателей польской деревенской прозы, Веди́на находит в творчестве русских писателей (В. Солоухина, В. Белова, Е. Дороша, В. Распутина, В. Астафьева, Ч. Айтматова), в крестьянской литературе Болгарии, Словакии и других стран.

Притягательность художественного мира Кавальца отмечается в статье сибирского исследователя Н. П. Садового «Некоторые особенности стиля и композиции повести Ю. Кавальца «К земле приписанный»»²⁰.

Наиболее интересны в контексте изучения восприятия Кавальца в России наблюдения, касающиеся как типологической близости произведений писателя и родственных ему явлений в литературах России и Восточной Европы, так и их различий. Эти наблюдения постепенно накапливаются. От простых констатаций специалисты переходят к более развернутым сравнениям. На материале творчества Кавальца и его польских, русских, болгарских, чешских «коллег» по деревенской теме их приводит В. Хорев²¹.

Целый ряд интересных сопоставлений прозы Кавальца с произведениями русских писателей и мастеров слова стран Восточной Европы находим в работе А. Пиотровской 1990 г.²²

Упомянутые аналогии в разработке Кавальцем и Шукшиным проблемы выходца из деревни получили более подробное освещение в работе Ольги Цыбенко «Польская и русская деревенская проза 60–

70-х гг. (к проблеме типологии)» (1989). Речь здесь идет в том числе о трагическом пафосе «Танцующего ястреба» и «Калины красной». Главные герои этих произведений Михал Топорный и Егор Прокудин, натуры незаурядные и страстные, яростные, несмотря на разницу их «городских» достижений — один стал директором крупного комбината, а другой вором-рецидивистом, — по существу, делают антикарьеру. Порвав связи со своим прошлым, с землей, оба в силу нравственной незрелости идут на преступление против совести и закона.

Оба писателя и осуждают своих героев, и не скрывают своей любви к ним, за которой стоит озабоченность судьбой всех выходцев из крестьян, то чувство, которое можно выразить словами Шукшина: «Так просто я вам мужика не отдам».

Гибель Михала Топорного (падение с горы) и Егора Прокудина (убийство его старыми «друзьями») становится закономерным финалом их трагической судьбы.

Наиболее вероятным можно считать предположение о том, что символическим завершением жизни Михала Топорного и Егора Прокудина должно быть именно самоубийство. У Кавальца это одна из возможных версий, а Шукшин признавал предпочтительность такого художественного решения, которое он не осуществил²³.

Совестливые герои-интеллигенты, вышедшие из деревни, в произведениях Кавальца и Шукшина чувствуют повышенную ответственность, испытывают своеобразное чувство вины перед ушедшими поколениями крестьян, в поте лица своего добывавших хлеб насущный (инженер из рассказа «На побывке», прокурор из повести «К земле приписанный», герой-повествователь повести «Ищу дом» Кавальца, а также герой-повествователь рассказа «Дядя Ермолай» Шукшина).

В статье также сопоставлены символические образы растений и животных, отмечена их большая роль в произведениях Кавальца и русских писателей. Тайной, вечностью, мудростью самой жизни окутаны образы старых вязов в повести «На солнце», которые соотносятся с фигурой главного героя — Старика. Не поддается уничтожению, тоже вечен и таинствен «царский листвень», стойкий, как старуха Дарья — главная героиня «Прощания с Матерой» Распутина.

Сходные художественные решения находят Кавалец и Василий Белов, используя монологи главных героев, обращенные к коню, в которых Менкус в повести «Украсть брата» (Ukrasć brata) и Иван Африканович («Привычное дело») раскрывают ему душу,веряют ему свои тяжкие думы.

В 1980-е гг. сравнительная проблематика разрабатывается в литературоведении все интенсивнее. Потребность осознать, чем близок Юлиан Кавалец русскому читателю, вызвала и публикацию статьи

петербургского исследователя Алексея Ершова «Творчество В. Белова и Ю. Кавальца» (1987). Сопоставив решение писателями проблем города и деревни, человека и природы, рассмотрев своеобразие присущего обоим историзма, автор обнаружил и существенные различия в понимании ими «прикрепленности» добра и зла к городу и деревне, в жанрово-стилевых поисках.

Тем ценнее доказанная в статье общность стремлений Кавальца и Белова сохранить духовность народного миропонимания, идея памяти «как нравственной константы»²⁴.

В беседе с Алексеем Ершовым 11 октября 1985 г. Юлиан Кавалец на вопрос об отношении к творчеству В. Белова ответил: «Он мне очень близок. Нас объединяет стремление к изучению первооснов жизни. Не безудержное восхваление прогресса, а обращение к традициям и тому прекрасному, что было накоплено поколениями»²⁵.

Часто говорят, что, изучая чужой язык, лучше узнаешь родной. Юлиан Кавалец для русского читателя не только открыл сложность пути польского крестьянина в XX в., углубил наше представление о драматизме судьбы всего польского народа, но и помог понять собственный непростой путь. В его творчестве открылась душа человека в вечных борениях добра со злом, его духовные взлеты и падения.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Колташева И., Кавалец Ю. Приписанный к земле // Современная художественная литература за рубежом. 1963. № 2.
- ² Слущис М. О вечно неизменном и все же меняющемся... // Кавалец Ю. Танцующий ястреб. М., 1971. С. 4.
- ³ Там же. С. 5.
- ⁴ Хореа В. Предисловие // Кавалец Ю. Свадебный марш. М., 1984. С. 7–8.
- ⁵ Хореа В., Кавалец Ю. Серый ореол // Современная художественная литература за рубежом. 1974. № 3.
- ⁶ Кавалец Ю. Избранное. М., 1986. С. 14.
- ⁷ Там же. С. 20.
- ⁸ Хореа В. Предисловие // Современные польские повести. 70-е годы. М., 1979. С. 8.
- ⁹ Там же. С. 9.
- ¹⁰ Вечерний витраж. Рассказы. М., 1969. С. 70.
- ¹¹ См., например: «Колосья и корни». Беседа Ю. Кавальца с Э. Елигулашвили // Литературная газета. 1980. 13 февр.; Иностранная литература. 1966. № 12; 1970. № 4; 1971. № 1; 1982. № 10; 1987. № 11; Вопросы литературы. 1975. № 12; 1979. № 12.

- 12 См., например: статьи С. Шерлаимовой и Д. Маркова в книге «Литература исторического оптимизма». М., 1977. С. 11, 311; *Берштейн И.* Динамика развития романа в литературах социалистических стран Европы. М., 1977; *Она же.* Общие тенденции в литературах социалистических стран (взаимооценки критики в книге «Взаимообогащение литератур»). М., 1990; *Башикова Н.* Роман воспитания и становление нового человека // Герой художественной прозы. Социалистические страны Европы. М., 1973. Здесь проводится развернутое сопоставление «К земле приписанного», «Танцующего ястреба» с романами Э. Штримматтера, Е. Нейча и др.
- 13 Проблемы развития литератур европейских социалистических стран после 1945 г. М., 1985. С. 299–300. (Совместный труд российских ученых и литературоведов ГДР.)
- 14 Некоторые польские работы были у нас переведены и опубликованы: *Зейтек З.* К земле приписанный. Из цикла «Писатели тридцатилетия»: Юлиан Кавалец // Поиски и перспективы. Литературно-художественная критика в ПНР. М., 1978. Была отрецензирована первая польская монография о Юлиане Кавальце: *Цыбенко О.* Богуслав Славомир Кунда. Юлиан Кавалец // Современная художественная литература за рубежом. 1985. № 5. Специально исследованиям польских ученых о Кавальце, Новаке, Мысливском посвящена ее же статья «Польская деревенская проза. Некоторые итоги изучения» // Новые проблемы, новые решения. М., 1992.
- 15 Сборник подготовлен Институтом славяноведения РАН.
- 16 См. главу «Герой новой действительности».
- 17 *Ведина В. П.* Творческое счастье Юлиана Кавальца // Иностранная литература. 1974. № 6; *Она же.* Облигчам до людини (Про творчість Юліана Кавальця) // Слов'янське літературознавство і фольклористика. 1968. Вып. 4; Новые горизонты крестьянской тематики (Эрнест Брыль и Юлиан Кавалец) // *Она же.* Современная польская проза. Киев, 1971.
- 18 Роман в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Киев, 1990.
- 19 *Ведина В. П.* Послевоенная польская проза. Киев, 1991.
- 20 Вопросы истории и теории литературы. Челябинск, 1972. Вып. 9–10.
- 21 *Хорев В. А.* Некоторые аспекты современной деревенской прозы // Современная литература Чехословакии в контексте литератур европейских социалистических стран. М., 1981.
- 22 *Пиотровская А.* Литература социалистических стран о деревне (в свете социально-этической проблематики) // Взаимообогащение литератур (социалистические страны Европы). М., 1990.
- 23 Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные связи в XX в. М., 1989. С. 168.
- 24 *Ершов А.* Творчество В. Белова и Ю. Кавальца // *Slavia Orientalis.* 1987. Т. XXXVI. № 3–4. С. 770.
- 25 Там же. С. 769.

А. Б. БАЗИЛЕВСКИЙ

ЗАБОЛОЦКИЙ — ХЕРБЕРТ: ОБЩНОСТЬ НЕЗАВИСИМЫХ МИРОВ

Это — особая страна, не похожая на наши места;
мир, к которому надо привыкнуть.

Николай Заболоцкий

I

Литератор Херберт* — дитя успеха. Вернувшись с войны, он успел опубликовать несколько юношеских стихотворений — и тут же пришлось умолкнуть. Невольное опоздание придало весомости дебюту. Стоило Херберту заявить о себе как об авторе книги стихов и первой драмы, как вскоре он стал частым гостем за границей. Быстро обрел известность в Польше и вне ее; получил множество премий. При жизни был объявлен гордостью польской культуры.

Литератору Заболоцкому тоже перепала толика удачи. Едва ли не единственный среди обэриутов он дождался поэтической книги при жизни. Но таланта ему не простили. Вскоре «особое совещание» дополнительно наградило Заболоцкого семилетней вылазкой в лагерь. В последние двенадцать лет жизни он писал новые — уже иные — стихи. За год до смерти в первый и последний раз был за границей. Большим поэтом его вслух назвали после кончины.

Херберт изначально — поэт классической умеренности, сугубо риторичный, рационально упорядоченный. Четко противопоставляет прошлое и день нынешний. Заболоцкий — пламенный деформист, хотя со временем все более спокойный и сдержанный. У него нет наклонностей арбитра, он стремится снять оппозиции. Херберт — в принципе — это разговор напрямую (о вещах сложных и запутанных); верлибр с редкими экскурсами в регулярность. Заболоцкий — более всего — это противоречие, воплощенное в метафоре и семантическом «сдвиге»; музыка — часто скрежещущая — стиха, построенного на упорядоченных ритмических параллелизмах.

* Збигнев Херберт (Zbigniew Herbert, 1924–1998) — польский поэт, автор книг «Струна света» (1956), «Гермес, пес и звезда» (1957), «Запечатление предмета» (1961), «Пан Когито» (1974) и др. Избранное в переводе на русский язык — «Комната смеха» // Польская поэзия: XX век. Антология: Вислава Шимборская, Ян Твардовский, Збигнев Херберт, Тымотеуш Карпович, Томаш Глюзинский. М.: Вахазар, 1993.

Разные интонации, разные пространственно-временные перспективы... Что может связывать этих поэтов? Похожи ли они друг на друга? Или, как иной раз говорят, они «диаметрально противоположны»?

II

Херберт — поэт, неизменный в своих пристрастиях. Он параллельно работает в жанрах интеллектуального монолога и наброска-зарисовки. «Великое княжество предметов» у него — фон и зеркало нравственных конфликтов. С сюрреалистическим юмором он снижает мир людей, поднимая равнодушный неорганический мир до уровня человека. Для Херберта характерны антропоморфизация мифических существ, иронические глоссы к традиционным сюжетам, бурлескная интерпретация исторического костюма. «Варвар» и скиталец демонстрирует саркастическую неприязнь к мифологии, парадоксально используя для этого саму мифологию.

«Я жизнь получил словно рану», — объявляет поэт. Субъект его стиха не верит в гармонию, не ощущает сакрального смысла бытия: жизнь его отмечена безысходным страданием. Только трагедия наделяет личность лицом, и оттого каждый ищет несчастья — прячется, убегает, блуждает, но неизменно возвращается на место казни, в свою «комнату смеха». Человек не находит ответа на важнейшие вопросы, вся его перспектива — переход в «компанию мертвых черепов». Порой он слышит внутренний голос — но понять не умеет. И завидует природе, которая всегда «равна себе», как тот жестоко-коварный «камень», который, «наливаясь притворным теплом», смотрит на чужое горе не мигая — «светло и спокойно».

Поэт упрямо взывает к совести, напоминает о солидарности и ответственности, пытается дополнить, укрепить ограниченное индивидуальное бытие. Открывая глаза на «вечное теперь» культуры, призывает минувшее, чтоб разглядеть, чего стоит день нынешний. Он тоскует по совершенному собеседнику, и вот — создает собственное alter ego: персонифицированное абстрактное понятие. Впрочем, Пан Когито — не только лирический двойник автора, но и один из многих, эластичная маска для всякого, кто пожелает с ним отождествиться. Его сомнения и озарения становятся образом общей судьбы, мерилom достоинства каждого независимо от частных. Этот «Господин-Я-Думаю», который воплощает идею сопротивления толпе и догме, оказывается — неожиданно — ближе к вещам, чем к идеям, ибо он как раз не столько мыслит, сколько подстерегает момент откровения — созерцает окружающее и реагирует прямым действием.

Херберт — поэт исторический, а порою и политический — выстраивает этос сопротивления. Высший образный архетип у него — «осажденный город», окруженный врагами воображаемый фрагмент идеального мира. Применительно к этой твердыне духа разыгрываются все коллизии верности/измены и победы/поражения. Героизация «несгибаемости» — пафос его гимнической по сути поэзии. Значим выбор Херберта как переводчика и издателя: стихотворения Андре Френо, певца мужества и сопротивления (кстати, также бывшего львовянина).

Автор «Струны света» — поэт, имеющий (согласно Милошу) «каллиграфические» склонности, — любит проблемные размышления открытым текстом: он словно экономит усилия читателей, изнуренных и оскорбленных повседневностью. Ясно, прозрачно, не сбивая с толку, пишет якобы-нейтральную по тону, концентрированную лирику на грани прозы. «Бедный», порою умышленно обезличенный стиль Херберта — наряду с ассоциативным гротеском некоторых его стихов-картинок — формирует круг суггестивной большой метафоры, спасительной для травмированного сознания.

III

Художественная оптика Заболоцкого претерпевала естественные изменения, поэтика переживала трансформации, тем не менее его творчество сохраняло убедительную цельность взгляда на мир — как на диковинно изменчивый космос, приправленный логическим хаосом. Стихи и поэмы первого двадцатилетия, прежде всего знаменитая книга «Столбцы» (1929), были своего рода хроникой исследования неочевидного. Образ мира был схвачен и зафиксирован в единстве абсурда, вымысла и обобщающей мысли — как драма познания, «густое пекло бытия», пребывающее в процессе чудовищной борьбы противоположностей. Мир пронизан болью умирания и нового становления, «нестерпимой тоской разъединенья».

В то время Заболоцкий определил себя как поэта «голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя»¹. Субъект его стихов, наблюдая мир, вбирает в себя «сферическое пение светил», но в то же время в отчаянии ощупывает взглядом детали «кровавого искусства жить» и, вместо того чтоб скрепить образ, разбивает его окончательно. Он — солдат иного мира, человек лишний, зритель извне этого гетеротрофного месива. Однако действительность его занимает, он не отчужден, он слышит крик всех тварей, пожирающих друг друга и гибнущих в мученьях.

Заболоцкий создает гипнотический образ расчлененного мира, в котором властвует механический повтор, множатся стереотипные

ситуации. Воссоздает прерывистую пульсацию впечатлений. Движение не прекращается, малое становится огромным, в переплетении панорамных планов и деталей все колеблется и течет, меняется местами, путается и сплетается. Тягучий аморфный бред уничтожает границы: реальность лишена лица во множестве отражений. Громятся эпизоды необозримого и грозного колыханья изменяющейся материи: «и жизнь трещала как корыто, летая книзу головой». Топают «боевые слоны подсознания», вселенная вздувается ужасающим смехом раблезианского карнавала, а беспомощный, «заглушенный» голос поэта буквально «бьется под ногами» наседающей толпы демонических шутов.

Гротескный взгляд органичен для писателя, который именно в те годы делал обработки и пересказы приключений Гаргантюа, Гулливера, Уленшпигеля, Мюнхгаузена. Острая сюрреальность его видения — следствие страсти познания, несогласия на суррогаты знания и красоты. Поэт неумоимо исследует всё новые «формы тела и ума», ищет «причины искривленья»; неукротимый пляс вещей становится для него познающей себя вселенной. Особенное, атомистически-пантеистическое восприятие реальности ведет Заболоцкого к «гипотезе бытия», в соответствии с которой человек — лишь часть вселенской сущности, а стало быть, осуществляется в связи с ее непостижимой тайной. Страх перед непостижимой личной гибелью ослаблен убеждением, что каждый есть орган мышления великого организма природы, а смерть составляет условие постоянного обновления, ступень к надличностной реинкарнации. Потому-то и «смеется вся природа, умирая каждый миг».

Смертебоязнь — то, что Заболоцкий называет «непосредственная бессмысленность существования» — преодолена космоцентрической медитацией. «Загадки страшные природы», ее «высокая тюрьма» подвластны планетарно-ответственному сознанию. «Соединив безумие с умом, среди пустынных смыслов мы построим дом», — мечтает поэт, который интенсивно переживает мистическую связь явлений и в сгущенной предметности своих образов пытается дать утопический синтез человека — не диктатора, но товарища и ученика иных творений — и природы — живой поэзии, прекрасного хора противоречий.

Глобальные видения Заболоцкого напоены драматизмом эпохи, мрачный опыт социальной игры составляет их вездесущий фон, но срывание масок не было целью; проблематика эта, скрытая иносказанием, прочитывается как аспект философии. Он думал о «красоте неуклюжести», о единой мелодии всебытия и о нотах, которые вносит в эту мелодию человек. Сомнительно, чтоб было справедливо мнение, согласно которому «предметник и сенсуалист» Заболоцкий

находился «как бы на первой ступеньке философии», создавая «лишь ее материал»².

Борьба поэзии со злом состоит для Заболоцкого в уплотнении значений. Суммирующая творческая формула — «МОМ» (мысль — образ — музыка) — словно заклятье, возносит его стихи на высоты поэтической эзотерики, где «гигантские молекулы» смыслов «лепят художественный образ»³. Субъект этих стихотворений, даже сходя в кипящую бездну брэнной жизни, одновременно пребывает в раю радостного самопознания мира: «и мир животный с небесами там при мире прекрасно-глупо». С виду субъект занят более окружением, нежели собой, но он узнает также себя — множество «я» — в изобилии проявлений «прекрасно-глупого» мира. Часть обладает чертами, свойственными целому, поэтому — если следуешь путем интроспекции — необъятная вселенная становится отчасти освоенной.

Заболоцкий фиксирует подвижный мир в слове и отдает себе отчет, что не выражает его адекватно, однако не без иронии скажет спустя годы: «Что жалкие слова? Подобье насекомых! И все же эта тварь была послушна мне». Чуть ли не важнейшая черта поэтики Заболоцкого — «игра на гранях языка», подчиненная универсальному моделированию мира. Поэт избегает расхожих решений, смешивает семантические потоки, поэтому «часто метаязык сосуществует с языком самого мира, что ведет к непривычному двухязычию его текстов»⁴. Однако — господствует «строгая повествовательность, никаких излишеств, никакой аффектации»⁵, слова точно подобраны и плотно пригнаны.

Каскады немотивированных с виду ассоциаций все уподобляют всему в рамках якобы случайности обыденного детерминизма. Тексты полны культурных аллюзий — материала для амбивалентных, оксюморонных образов. Нарушаются правила лексической и семантической сочетаемости. Постоянны грамматические инверсии и метатезы (к примеру — глагольных форм вида, залога и времени). Поэт отказывается от постоянного метра, хотя его акцентный стих сохраняет дактило-хореическую основу. Стих разностопен, иногда разномерен, тяготеет к раешной интонации, что делает целое похожим на лубок и в то же время — на русскую силлабику XVII в. Рифмы, обычно парные или перекрестные, порой исчезают вообще, переходят в консонансные рифмюиды. Пронизанный напряжением, «тяжелодумный» (определение Н. Тихонова) стих раннего Заболоцкого иным и быть не мог: синкретика стиля помогает художественно представить мир, раздираемый безумием.

Развитие Заболоцкого-поэта и прилежного ученика жизни было непрерывной чередой метаморфоз. Резонно присоединиться к мне-

нию, что «нет двух Заболоцких, есть мастер в развитии от своего „штурм унд дранг“ до своей классики»⁶. Паузы в движении не было, хотя был перерыв в писании стихов, связанный с тяжкими ударами судьбы. Впрочем, именно тогда, в годы преследований, поэт воссоздавал в современном стихе русский эпос (позднее придет черед сербского; будет он примериваться и к «Нибелунгам»). Менялось «убранство души»: знание было все глубже и горше. Действительность оказалась еще более многомерна, чем он предполагал. От порывистой дерзости, резких синтагматических контрастов, намеренной аграмматичности и стилизованного архаико-примитивистского синтаксиса поэт шел к ясности и конструктивной гармонии. Осталась ирония, необычные лексические марьяжи, некий оттенок остраненной парадигматики, но при этом деформирующая эпика все более переходила в лирическую рефлексия.

Сомнительно утверждение, будто у позднего Заболоцкого «традиция восемнадцатого века лишается кавычек и перестает быть объектом пародирующих операций: классицизм реализуется во всей полноте, а превратившийся в Павла Саул до такой степени зол на собственное прошлое, что в подготовленных к концу жизни избранных стихотворениях обрекает на забвение большинство своих ранних произведений. Приговор слишком суров, чтобы он мог быть узаконен потомками...»⁷.

Заметим: «классицизм» этот столь современен, что одной фразой тут не отделаться. «Зол» же поэт скорее на непослушные слова. Он всегда весьма скупой отбирал стихи для печати. А теперь, как требовательный редактор, переделывает фрагменты старых вещей, чаще всего с пользой для смысла целого. Архивы уничтожает, так как заботится о единстве наследия, хочет быть понятым точно. Нелишне помнить и о том, что он предпочитал содержать рукописи в порядке на случай внезапной смерти или ареста.

Последнее двенадцатилетие поэзии Заболоцкого было временем испытания «при свете совести» (как сказала бы Цветаева). Принцип тщательно выполненной прекрасной работы был упрочен душевным и физическим участием в человеческой трагедии. Автор «Столбцов» был теперь серьезен, сосредоточен и тверд — его боре с миром уравновешено страданием. «Подобно всем счастливый и несчастный», он ищет не отвлеченного добра, но деятельной доброты. Его элегические размышления закрепляют самооценку всякой человеческой личности в круговороте воплощений. «В целомудренной бездне стиха», в архетипах культуры, возрождающих полноту бытия, он находит обоснование ответа на поставленный им самим вопрос: «Почему я не пессимист?»

IV

Заболоцкий предпочитает опосредованное высказывание. Его стихия — расплывающаяся неопределенность, постоянная смена качеств. Он замечает родство всех вещей в страдании и не сомневается, что иначе быть не может. Видит в метаморфозах залог индивидуального осуществления и постоянства мира. Впрочем, он — сторонник рациональной эпистемологии, хотя рано заметил ее ограничения.

Херберту ближе нагая речь. Он воспринимает мир, в который погружается, как структуру постоянную, изменчивую лишь в деталях. И тревожат его именно варианты декораций, идейные нюансы, ибо они-то и ведут к катастрофам духа. Он — на стороне личности, сражающейся за достоинство всех. Он верит — вопреки собственной скептической рефлексии — в остатки человеческого разума и возможность обретения утраченного братства.

Заболоцкий и Херберт, оба хорошие рисовальщики, знали, что такое фактура, и применили в поэзии свои пластические способности. Их тексты переливаются оттенками смыслов. Эти поэтические страны населены не только человеческими существами, но и магическими созданиями, живыми предметами, воплощениями природных стихий. Ключ к этим мирам — моралистически серьезная, но и по-детски игровая позиция авторов.

Херберт «пропитан» памятью культуры, однако возносит над ней будничную эмпирию жизни. У Заболоцкого все дышит знанием об истории цивилизации, но более он зачарован мистериальной игрой природы. При этом если Херберт чувствует себя посланцем света, нисходящего на земную юдоль, то Заболоцкий предпочитает конкретность чарам вечного света. В пограничной зоне происходит встреча этих двух развивающихся художественных сущностей, к которым время дописывает новые контексты.

При естественном несовпадении предпочитаемых образных кодов случаются внезапные сближения в видении мира и человека. Поэты изумляются, чувствуют абсурд и ищут связь. Оба смотрят на человеческое сообщество как на один из уровней мира природы и видят достоинство человека в его субъектности, способности к творческому действию. Оба — на стороне мудрого спокойствия, но часто отступают от этого принципа, повседневно ощущая досадный перевес внешнего, мнимого над тем, что истинно, совершенно, сущностно.

Они сочувствуют человеку, погруженному в бессмыслицу, распятому на противоречиях. Человек у них всегда проигрывает, но вновь и вновь пытается одолеть живописные бездорожья жизни и шаг за шагом познает себя. Постигая историю человеческих метаний, они

борются с небытием, просвечивающим сквозь бытие, защищают волю к жизни. Создают свое текстовое пространство, чтоб отвратить сокрушающие силы, заковать ужас и поднять человеческую свободу над насилием и холодом.

Благодаря такой поэзии насилие становится ничем. Поэтому, бывало, слова Заболоцкого и Херберта подвергались репрессиям и ретуши, а поэты на собственной шкуре испытали разницу между уединением и изоляцией. В философском стоицизме и ответственности состоит *общность* этих независимых поэтических миров. Их существование в литературе — пример, поучение и источник мужества.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Заболоцкий Н. Огонь, мерцающий в сосуде... М., 1995. С. 185.
- ² Pollak S. Grand bal — czyli konsekwencje tradycji (Benediktow — Zabolocki — Tuwim) // Pollak S. Srebrny wiek i później. Warszawa, 1971. S. 285.
- ³ Заболоцкий Н. Огонь, мерцающий в сосуде... М., 1995. С. 845.
- ⁴ Фарыно Е. «Метаморфозы» Заболоцкого (Опыт реконструкции поэтического языка) // Studia Rossica Posnaniensia. Poznań, 1973. С. 113.
- ⁵ Ростовцева И. Мир Заболоцкого. М., 1999. С. 95.
- ⁶ Озеров Л. Труды и дни Николая Заболоцкого // Огонек. 1988. № 38. С. 25.
- ⁷ Drawicz A. Poezja oberiutów i wczesnego Zabolockiego // Poezja. 1971. № 5. S. 71.

Т. П. Агапкина

**Из русской корреспонденции
Виктора Ворошильского.
1956–1966 гг.**

Публикуемые письма польского писателя приходятся на сложный период в его биографии и творчестве, который по времени совпал с начавшимися в СССР в конце 50-х гг. «оттепельными» процессами. Значительным следствием недолгой «оттепели» была невиданная дотоле по своим масштабам активизация русско- (в целом советско-) польских культурных связей, в том числе личных взаимоконтактов литераторов обеих стран.

Литературный путь Виктора Ворошильского (1927–1996) начался рано и бурно — после публикации в 1945 г. стихотворения «Под Берлином» он работает в общественно-литературных газетах и журналах Лодзи, Щецина, Варшавы; вступает в ПРП (затем — ПОРП). С огромным воодушевлением и верой участвует — по его убеждению — в строительстве социалистической Польши. Его идеи, чувства, настроения тех лет отражены в индивидуальных и коллективных сборниках. Он выступает в них как автор общественно-политических и лирических стихов и поэм, а также редактор, составитель и участник сборников произведений, семантическое наполнение которых легко угадывается по названиям многих из них: «Ночь коммунара» (1949), «Первая линия мира. Стихи 1949–1950 гг.» (1951), «Год борьбы и побед. Повесть о производственном кооперативе» — в соавторстве с В. Залевским (1951), «Мы строим» — сборник репортажей в соавторстве с Т. Конвицким и В. Залевским (1951), «Весна шестилетки», поэтический сборник с участием А. Брауна и А. Мандальяна (1951); также лирическая поэма «Время любви» (1952), стихотворный сборник «Родина» (1953) и др.

Характеризуя творчество и общественно-литературную позицию Ворошильского тех лет, В. А. Хорев справедливо ставит его в ряд с другими молодыми польскими авторами, «восторженно принимавшими постулаты социалистического реализма и поддержанными официальной литературной критикой»¹ (чего не избежали в разное время и крупные писатели более старших поколений). Исследователь особо заостряет внимание на двух выступлениях польского поэта, принципиальных для понимания его взглядов и позиции. Одна из них — «статья-манифест» (В. Хорев) «Борьба за Маяковского» («Од-

родzene», 1950, № 5). Основываясь на материалах дискуссии, проходившей тогда в Москве по творчеству Маяковского, Ворошильский не только ориентировал молодую польскую поэзию на пример Маяковского — как он тогда его понимал, но утверждал: «создание качественной современной партийной поэзии равнозначно обращению к Маяковскому и, наоборот, отход от Маяковского равнозначен написанию стихотворений некоммунистических, чуждых рабочему классу»². Любопытно отметить, что Н. С. Тихонов, находившийся в Варшаве (27.I.—3.II.1950 г.) в дни появления в печати статьи Ворошильского, позднее вспоминал, ссылаясь на высказывания польских литераторов, что на фоне современной польской прозы, «отстающей <...> мало вторгающейся в жизнь, в поэзии замечается больше успехов, и речь шла о молодом поэте Ворошильском. Правда, он немного держится за Маяковского, но у него есть талантливые вещи»³. В программном докладе «В борьбе за литературу Народной Польши» в Неборове на съезде молодых писателей (28 марта 1951 г.) Ворошильский отстаивал идею превосходства советской литературы как поощряющего примера в формировании социалистической литературы, основываясь при этом, как отмечает В. Хорев, на «образцах» из числа «лакировочных» произведений. Надо сказать, что эти выступления Ворошильского были выдержаны в жестком, императивно-наступательном тоне и по сути содержали в себе негативное отношение к национальным литературным традициям.

Ворошильский впервые приезжал в Москву в мае 1949 г. в составе делегации польских литераторов. Он участвовал в конференции о польской литературе, организованной иностранной комиссией Союза советских писателей на московском заводе «Компрессор»⁴. Водушевленный увиденным, Ворошильский по возвращении домой публикует цикл репортажей под общим названием «Школа двухсот миллионов. Заметки из путешествия в СССР» (1950) и позднее на советскую тему: «Проводники в великое завтра. Десять писем другу о польско-советских отношениях» (1952, изд. 1, 2), «Для поколения героев» (1953).

К творчеству Ворошильского тогда же проявили интерес русские издания («Литературная газета», «Огонек») и поэты, начавшие его переводить: М. Зенкевич, Е. Евтушенко, М. Живов и др. В свою очередь Ворошильский активно включается в перевод русской литературы — поэзии С. Кирсанова, С. Щипачева, прозы К. Симонова, П. Нилина, В. Кожевникова и др.

В 1952–1956 гг. Ворошильский жил в Москве, где учился в аспирантуре Литературного института им. А. М. Горького и совмещал это с активной творческой и общественной деятельностью. Так, в октябре

1954 г. он выступал в Москве на вечере советско-польской дружбы⁵, в январе 1953 — на заседании комиссии теории и критики литературы в Союзе писателей СССР по обсуждению основных вопросов творчества В. Маяковского⁶. Этот сюжет был связан с темой его кандидатской диссертации о творчестве Маяковского в контексте советской литературы 20-х гг., которую он защитил в июне 1956 г. Дата «28.VI.1956» стоит на автореферате диссертации и книге «Избранные стихи и поэмы» (Warszawa, 1955), включавшей циклы «Из лирики. 1949–1955» и «Из московских и кавказских стихов», которые Ворошильский дарил московским друзьям, прощаясь с Москвой. Он уехал на родину в июле 1956 г.

К середине 50-х гг. в польской общественно-культурной жизни начали все более явственно проявляться критические тенденции. «У многих, — пишет исследователь, — как бы спала пелена с глаз. Они решительно пересматривают свои идейные позиции»⁷, пытаются найти объяснение своим заблуждениям и ошибкам. Что касается Ворошильского, то свидетельством его глубочайшего разочарования, исполненного драматизма и чувства вины за поверхностность собственных представлений не только о польской социалистической реальности, и его расчета с прежними иллюзиями стали тогда повесть «Жестокая звезда» (1957, опубликованная отдельной книжкой в 1958 г.) и отказ от некоторых своих прежних произведений. Так, в связи с подготовкой в Москве антологии польской поэзии, составлением которой тогда занимался М. С. Живов, Ворошильский писал ему:

Уважаемый Марк Семенович!

Предлагаю:

1. Дать семь отмеченных стихотворений. Из них пять переведено Мартыновым. Два («Камера», «Мы, не умеющие развлекаться») — пока не переведены.

2. Отказаться от включения в сборник «Рассвета над Новой Гуттой». Пример Яструна действует!

Ваш Виктор Ворошильский

10.V.56⁸.

Ворошильский имел при этом в виду запреты Мечислава Яструна (1903–1983), известного польского поэта, на публикацию в Польше некоторых его произведений периода конца 40 — начала 50-х гг. В Москву (по имеющимся у нас сведениям) подобные решения Яструна поступали с осени 1954 г.

По возвращении из Москвы в Варшаву Ворошильский вошел в редколлегию общественно-литературного еженедельника «Нова культура». С 1957 г. был ее главным редактором до мая 1958 г., когда вся

редколлегия на основании обвинения в «антипартийной оппозиции... мелкобуржуазном ревизионизме и анархизме»⁹ была заменена другими литераторами.

Надо сказать, что Ворошильский был одним из тех польских литераторов, кто наиболее жестко, радикально и круто изменил в те годы свою позицию на диаметрально противоположную по отношению к занимаемой им ранее — по вопросам социалистического строительства, и не только в Польше, партийного руководства литературой, отношения литературы и государства и др. В конце 50-х гг. редактор Издательства художественной литературы в Москве, объясняя промедление в подготовке антологии польской поэзии, писала, в частности: «Осенью 1956 г. дело осложнилось еще более в связи с тем, что часть поэтов, например, Виктор Ворошильский, вступила на путь ревизионизма»¹⁰. В этого рода явлениях крылась причина того, что с момента отъезда в Варшаву в июле 1956 г. Ворошильский за последние сорок лет своей жизни смог побывать в Москве лишь пару раз. Подчеркнем, что это никак не было связано с его личными желаниями. Он не печатался в России, и о нем почти не упоминали. Его имени нет ни в «Краткой литературной энциклопедии» (1962–1978), ни в «Литературном энциклопедическом словаре» (1987).

Но сохранились интерес и необычайная приверженность Ворошильского русской литературе. Свидетельством тому служит длинный список подготовленных им как автором, переводчиком, составителем, редактором разного рода книг, статей, сборников по русской литературе, сочинений о русских писателях. Первое из этих сочинений — «Сны под снегом. Повествование о Михаиле Салтыкове-Щедрине» (1963) — «книга о жившем в девятнадцатом веке утописте, который хотел изменить мир... В его максимализме кроется источник его личных страданий и необычайного деяния», — писал автор, позволивший себе, по его словам, в качестве эксперимента полностью воплотиться в своего героя и выступать от первого лица, как Салтыков¹¹. Другое сочинение Ворошильского тех лет — «Жизнь Маяковского» (1966) — эксперимент иного свойства, «менее дерзкий», по определению автора. Эта книга состоит из документов самого разного рода, и в этом смысле она органична его душевному состоянию — доверять только фактам. «Жизнь поэта бурная и драматичная. Не нужно ничего ни добавлять, ни интерпретировать. Достаточно привести свидетельства... На Владимира Маяковского я хочу взглянуть извне, избегая домыслов, гипотез и собственных эмоций, предоставляя говорить исключительно разного рода документам. Но это не значит, что я отказываюсь от авторства истории этой жизни». «Я не обольщаюсь относительно того, что фактография сама по себе создает абсолютно объективный образ.

Я считаю, что это настоящий Маяковский, — но правду о поэте и его времени прочитал не автомат. Несмотря ни на что — это мой Маяковский»¹². Размышляя о жанрах этих своих сочинений, называя в одном случае «Сны под снегом» романом, а «Жизнь Маяковского» биографией, писатель в то же время считал, что эта книга ближе кинохронике, монтажу старых кадров, чем литературному жанру. В любом случае представляется справедливым суждение В. Хорева об «эссеистическом характере» книг Ворошильского о русских писателях¹³.

Книга «Жизнь Маяковского», о которой автор писал одному из близких людей, что она волнует его так, будто речь идет о его собственной жизни, и добавлял, что это действительно «кусочек моей жизни», — вызвала огромный резонанс в польском обществе. Сразу по выходе этого произведения на него откликнулись около двух десятков польских критиков, историков литературы, писателей — с самыми разными, подчас противоположными оценками. В мировой литературе о русском поэте эта книга во многом уникальна. В коротком библиографическом списке зарубежных изданий она значится в энциклопедии «Русские писатели»: «Маяковский Владимир Владимирович» — Т. 3. С. 557 (М., 1994).

Ворошильский знал, дружил, встречался на разных этапах своей жизни, в том числе во время учебы в Москве, со многими русскими литераторами, и до конца жизни сохранились его связи с русскими друзьями и близкими знакомыми. Частично это отразилось и в публикуемых письмах.

Одно из первых писем Ворошильского после его отъезда из Москвы было адресовано Марку Семеновичу Живову (1893–1962), известному еще с 20-х гг. популяризатору польской литературы в России, автору множества статей, книг — о Мицкевиче и Тувиме, переводчику польской поэзии и критику. В его квартире в центре Москвы бывали многие русские полонисты и переводчики, как и польские писатели, в том числе В. Ворошильский. В публикуемом письме он благодарит за присланную ему книгу — очевидно, это «Адам Мицкевич. Жизнь и творчество» (М., 1956).

Дорогой Марк Семенович!

Большое Вам спасибо за книгу — поздравляю Вас с ее выходом. В ближайшее время буду ее читать — пока пришлось уступить очередь рецензенту «Новой культуры».

Итак, Ваш многолетний труд благополучно завершен. Чем же Вы теперь занимаетесь?

Примите мои самые лучшие пожелания.

Виктор Ворошильский

Варшава, 6.III.57¹⁴.

Публикуемые далее письма адресованы Ворошильским Юлии Борисовне Мирской (по первому мужу Щепкиной, 1906–1966). Уроженка Лодзи, она издавна жила в России. В 1931 г. окончила литературный факультет Московского университета, в годы учения в котором уже переводила с французского, польского, немецкого языков. С 30-х гг. писала, работала на радио, в редакциях газет и журналов; в некоторых из них заведовала иностранными отделами: «За рубежом» (1933–1938), «Литературная газета» (1939–1947), «Советская литература» (на иностранных языках; 1947–1956). Затем по болезни оставила работу и занималась только переводами польской литературы. Свидетельством уважения к ней служат сохранившиеся письма литераторов и общественных деятелей Польши.

Ю.Б.Мирская бывала в Польше — судя по документам иностранной комиссии Союза советских писателей, в 1961, 1962, 1963 гг. и, видимо, в 1965, собиралась в 1966; возможно, успела прочесть последнее письмо Ворошильского от сентября 1966 г. — она умерла месяц спустя после его написания, 25 октября.

Первое письмо Ворошильского от февраля 1962 г. пока нам неизвестно. Публикуемые шесть писем — свидетельство того, что этих людей сдружила любовь к русской и польской литературе. В этих письмах как бы ничего особенного нет. Однако за биографически-житейскими реалиями, зачастую будничными и не всегда радостными — болезнь Юлии Борисовны, горькое сознание невозможности помочь ей радикально, — вперемижку с надеждой на лучшее, на будущие встречи, «интертекстуально» — ностальгия по Москве с примесью горечи. И главное в этих письмах — творческое общение, будь то взаимоснабжение друг друга книгами, обмен мнениями о них и о людях. Очевидно, что раздумья Мирской, весьма опытного переводчика, при чтении глав из книги о Маяковском, — о «вечных» проблемах адекватного «переложения» — с точки зрения передающей и воспринимающей стороны — инонационального текста, оплодотворяли творческую мысль польского писателя — склоняли его к аналитическому перечитыванию уже им сделанного, подвигали, по его словам, к тому, чтобы «вернуться к подлинным названиям», хотя с чем-то он и не соглашался...

Несомненно интересно восприятие Ворошильским, отразившееся не всегда в прямой форме, деятелей польской культуры, например, Ю. Тувима, и русской — Б. Слуцкого, В. Огнева и др. Каждый из них предстает в этих письмах в особой ауре его восприятия, здесь нет безличных упоминаний кого бы то ни было.

В этих письмах, охватывающих три года жизни, частично запечатлены огромный мир интереса Ворошильского к русской литературе и его огромный труд и стремление, осмыслив ее по-своему, при-

близить к польскому читателю. И еще — теплота человеческих отношений, любовь, симпатия, уважение.

И за всем этим «маячит» определенная эпоха русско-польских отношений, представление о которой было бы в чем-то неполным без свидетельств, подобных публикуемым.

Письма Виктора Ворошильского хранятся в личном фонде Ю. Б. Мирской № 2565, опись 1, ед. хр. 16 Российского государственного архива литературы и искусства в Москве. Все письма написаны Ворошильским собственноручно, по-русски.

[л. 1–2]

Дорогая Юлия Борисовна¹⁵,

мы уже скучаем без Вас. И, как всегда, когда Миша¹⁶ едет в Москву, завидуем ему.

У нас с тех пор, как Вы уехали, ничего особенного не произошло, так что мое письмо обречено на крайнюю лаконичность — но хотелось просто продлить с его помощью Ваше недавнее присутствие рядом с нами...

И еще: не сердитесь, пожалуйста, что не посылаю с Мишей остальные тома Щедрина¹⁷. Он и так слишком обременен различными моими поручениями. А Щедрина пошлю через 8–10 дней с Дравичем¹⁸ (Вы с ним знакомы? Марьямов¹⁹ его знает).

Трудно привыкнуть, что Вы опять так далеко. Приезжайте поскорее — на сей раз с Александром Петровичем²⁰. А пока мы в Вашу честь посмотрим «Гамлета» с Голоубеком и «Три сестры» с Миколайской²¹. (Или же «Три сестры» Вы все-таки успели?)

Крепко обнимаю Вас и Александра Петровича. Большой привет нашему другу Александру Моисеевичу.

Привет!

Ваши Янка²², Виктор

[л. 3–4]

Дорогая Юлия Борисовна²³,

большое Вам спасибо за письма и книгу Пастернака²⁴. Всегда приятно получить известие от Вас — хотя на сей раз они очень скудны и Вы даже не упоминаете о своем здоровье, но я пытаюсь сделать из этого самые благоприятные выводы, т. е. что Вы здоровы и у Вас все в порядке. Да? Книжку тоже прочитал с удовольствием — несмотря на пробелы, пашел в ней стихи, которых не знал, и с удовольствием вспомнил те, которые знал. У нас теперь, наконец, тоже решились

издать давно готовую книжку Пастернака, но, к сожалению, выкинули из нее почти все, чего не оказалось в последнем московском издании, в том числе и «Высокую болезнь» в моем переводе.

Борис²⁵ рассказал нам последние московские новости, и, надеюсь, теперь расскажет Вам последние варшавские новости (о «Новой культуре»²⁶ и пр.).

Я в последнее время почти не бываю в Варшаве — все сижу в Оборах (в доме творчества), пишу маленькие рассказы и надеюсь буквально на днях закончить книжку.

У нас все в порядке, все более или менее здоровы. Янка, как всегда, много работает, думаю, что хоть в Рождество заставлю ее несколько дней отдохнуть.

Борис сделал в здешней литературной среде потрясающее впечатление* и провел, как мне кажется, очень полезную «воспитательную работу».

Той книжки Винокурова²⁷, о которой Вы спрашиваете, у меня нет. Если Вы цените эти стихи, я их с радостью прочитаю.

Мише все нездоровится, его лечат очень крепкими средствами, но, по-видимому, без громадных успехов. Очень жалко хорошего человека.

Пора кончать, через минуту наверно(е) будет Борис.

Примите самые лучшие пожелания (новогодние и не только новогодние) — здоровья, счастья, успехов в работе, спокойствия от любящих Вас обоих

Янка и Виктор

Пожалуйста, такие же пожелания передайте от нас Саше Марьямову.

[л. 5]

Варшава, 6.I.1965

Дорогая Юлия Борисовна!

Оба Ваши письма получил в один и тот же день. Предпоследний день Нового года. Спасибо за все пожелания, за Ваше доброе внимание к нам, за то, что, обращаясь мыслью к Москве, мы можем думать и о Вас с Александром Петровичем, наших милых друзьях. И за подарки спасибо: за Потемкина, чьи книжки до сих пор мне не удавалось видеть, и за симпатичный киножурнал, сотрудник которого все еще считает меня «известным молодым», и за приветы друзьям, которые обязательно передам им, так же как и пластинку Яцеку²⁸, ко-

* Заметим, что в письмо вкрался весьма редкий для этого писателя, прекрасно владеющего русским языком, полонизм: «сделал... впечатление» (о Б. Слуцком) — калька с польского.

гда он вернется в Варшаву, и наконец — за возможность хоть раз быть Вам немножко полезным. Посылаю Ивашкевича из библиотеки нашего союза писателей — держите его, пожалуйста, как долго Вам будет нужно. Зелинскому позвонил: он уже получил экземпляры и очень благодарен²⁹.

Рад, что Вам понравились главы из «Жизни Маяковского». Что касается полонизации названий, Вы, по-видимому, правы — и я попытаюсь вернуться к подлинным названиям газет и журналов. (Как быть с альманахами, вроде «Садка судей» и пр.?) С именами другое дело: я не могу по-польски писать «Władimir Majakowski, Aleksandr, Michail, Korniej, Marija, Wasilij» — это выглядит неестественно и отталкивающе. У нас существуют различные мнения на этот счет — и разные переводчики поступают по-разному, — но на моей стороне традиция такого переводчика, как Тувим, а ведь он был человеком с безошибочным языковым слухом³⁰. Ну, да ладно. Меня уже ругнули в «Życiu Literackim»³¹ за мнимые погрешности перевода, т. е. в действительности за то, что я не приглаживаю стилистически того, что в подлиннике (например, в письме Малевича³²) коряво. А что еще будет после выхода книги! Впрочем, выйдет она не раньше осени... Кстати, думаю, что Борис Всеволодович³³ согласится взять несколько из одолженных мне Вами для работы над Маяковским книжек. Возвращаю с настоящей благодарностью. Теперь уже остается у меня совсем немного.

Заканчиваю работу над сборником Самойлова. Возможно, уже через неделю сдам в Издательство. Переводчики работали с увлечением, мне тоже было приятно редактировать эту книжку — кажется, получается неплохой сборник.

У нас вышла книжка Володи Огнева³⁴, я писал на нее рецензию, которая должна появиться в «Политике». К сожалению, перевод очень плохой, иногда просто юмористический. Но этим я в рецензии не занимаюсь — писал только про Володю, а не про переводчиков и редакцию.

Весь январь буду, по-видимому, заниматься мелкими переделками (и ходить почти ежедневно в кино на фестиваль фестивалей) — а уж в феврале, может быть, займусь делом...

Ненацкий, хотя и не сразу после приезда, но уже передал мне Зинермана, оба экземпляра. Спасибо.

Вы спрашиваете о моем и Яцека отношении к музыке и к пластинкам. Мы с Янкой любим музыку, бываем на концертах (хотя не так часто, как бывали в Москве), но наш не очень хороший долгопроигрыватель отечественного производства нам надоел и мы приостановили собирание пластинок до тех пор, пока не удастся купить

хорошего западного (вот какие снобы). У Яцека, если не ошибаюсь, до сих пор и вовсе не было долгопроигрывателя — но, может быть, Ваши пластинки послужат толчком для его приобретения? Музыку он, кажется, действительно любит.

Просьбы же мои традиционны: книжки. И так, во-первых, хотелось бы иметь недавно изданный посмертный сборник Светлова³⁵, но, возможно, мне его пришлет Валерий. Во-вторых, Янку и меня интересует сборник воспоминаний о погибшем биологе Вавилове³⁶. Но эта книга издана около полутора лет тому назад и боюсь, что ее трудно найти.

Пишите нам, Юлия Борисовна, лучше же всего — приезжайте. Встречая Новый год, мы выпьем за здоровье Ваше и Александра Петровича.

Целуем Вас.

Янка и Виктор

[л. 7]

13.I.65.

Дорогая Юлия Борисовна!

Сегодня — всего несколько слов.

Подробнее писал с Борисом Всеволодовичем — Вы получили? С ним же послал «Lato w Nohant»³⁷ и вернул кое-что из книг по Маяковскому.

Рад был возобновить с ним знакомство — тем более, что он мне показался гораздо более симпатичным (может быть потому что менее скованным), чем в былые годы, когда мы с ним встречались у Марка Семеновича.

У нас никаких новостей. Усердно посещаем FFF (Festiwal Festiwalu Filmowuch) — есть ряд интересных картин, как «Америка» Казана и др.

Ждем вестей от Вас.

Кланяемся Александру Петровичу и всем общим друзьям.

Крепко обнимаю Вас — также от имени Янки.

Виктор

[л. 8–9]

26.XII.65.

Дорогая Юлия Борисовна,

большое спасибо за письмо и книжки. Пользуюсь хорошей оказией, чтобы часть (уже использованную) отослать. На днях, вероятно, бу-

дет в Москве Дравич — если у Вас еще что-нибудь найдется для меня, думаю, он согласится взять.

Посылаю также atarax (с новым названием, но это то же). Не знаю, какой atarax Вы принимали, наверное, 0,1 — этот крепче: 0,25, так что нужно его принимать поосторожней. Но должен сказать, что я, например, только благодаря ему кое-как выдержал краковский съезд. Теперь по мере возможности воздерживаюсь. Предпочитаю стать алкоголиком, чем рабом atarax-а. Впрочем, может быть, все равно.

Живем мы как всегда — т. е. в настоящий момент не совсем как всегда, потому что по случаю зимних каникул Янка с детьми уехала в Закопане и я остался дома один. Надеюсь, что это пойдет моей работе на пользу.

Все жду моих новых книг. Надеюсь, что смогу Вам послать к Новому году, но, увы, типографии подвели. Даст Бог, дело сладится после Нового года.

Как Вы себя чувствуете после Польши?

Миша получил якобы какие-то сведения, что в общем сносно, но верно ли? Очень не хочется, чтобы утомление и раздражение варшавским мирком отбило у Вас желание стараться о будущей поездке.

Милая Юлия Борисовна, в наступающем Новом году желаю Вам и Александру Петровичу всего самого лучшего и прежде всего здоровья, силы, спокойствия, хорошей и тихой погоды. Крепко Вас обоих обнимаю — также от имени отсутствующих Янки и детей. Передайте, пожалуйста, наши сердечные новогодние пожелания также всем общим друзьям, и в первую очередь — прелестной Майе³⁸, моему дорогому другу Володе Огневу, Саше Марьямову, Паперным³⁹.

Не забывайте нас.

Ваш Виктор

(На обороте л. 9 приписка:
27.XII.65)

Как хорош, что я медлил с передачей письма — сегодня утром мне позвонила Ваша Аня⁴⁰, я к ней побежал и опять получил письмо и книги. Спасибо!

Я рад, что, несмотря на болезни и пр., Вы снова начинаете думать о поездке в Польшу. Вы молодец! Моя приятельница Ханка Лебецкая говорила мне, что намеревается сделать Вам предложение относительно перевода Каменской. Значит, это становится реальным. По-моему, это чудесно. Вот мы и увидимся.

Вышел мой Самойлов⁴¹, присоединяю его к книжкам. Как, по-Вашему, ничего получился?

Нужного Вам криминала я не нашел, когда-то он был у нас, но давно улетучился — если и Миша не найдет, пойду искать по букинистам.

Еще раз крепко целую.

Виктор

[л. 10–11]

Сентябрь 66.

Дорогая Юлия Борисовна,

как я рад возможности написать Вам несколько слов с Александром Моисеевичем. Зная о его запланированной на август поездке в Варшаву, я опасался, что мы не встретимся, так как нам с Янкой и детьми в то же время предстояла поездка в Югославию. Но, к счастью, мы успели, вернувшись из Югославии, встретить еще Марьямовых здесь и повидать их несколько раз, и теперь передать это письмо...

А когда же мы увидим Вас с Александром Петровичем? Надеюсь, планы приезда еще в этом году — не изменились? Мы знаем, что Вы очень — и долго — болели, но это все уже позади, не так ли? Выздоравливайте основательно — и приезжайте! Очень хочется Вас увидеть.

Перечитываю Ваше письмо, полученное еще в начале лета. Еще раз спасибо за добрые слова о моей книге. Теперь работаем с режиссером Маркушевским⁴² над ее сценическим вариантом. (Это тот режиссер, который поставил на сцене «Sposób bycia» и «Tabu».) Может быть Вы успеете к премьере?

В Югославии мы с Янкой и детьми хорошо отдохнули, это прекрасная страна. Наталья научилась плавать, Felek⁴³ тоже развивал всю спортивную деятельность, и мы, старики, по мере сил пытались не отставать.

Но вот прошли 2 недели со дня приезда — и мы опять забеганные, замученные, занятые с утра до вечера — ужас. Я с моими соучастниками заканчиваю антологию⁴⁴. Это работа очень неблагодарная, во всяком случае на этом этапе (приема переводов от 20 человек, споров и иногда крутых решений). Не хотелось бы потерять шансы показать по-настоящему русскую поэзию нового времени.

Надеюсь все-таки к концу октября управиться с антологией и вернуться, наконец, к давно начатому роману.

Мишка с Женей — в Болгарии, как Вы, наверное, знаете.

Большое спасибо за Андрея Белого⁴⁵. Не знаю, что послать Вам. Вышла интересная, но довольно специфическая книга Важика⁴⁶ — хотите?

От имени Янки и собственного крепко обнимаю Вас с Александром Петровичем.

Ваш Виктор

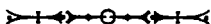
ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Хорева В. А. Польская литература // История литератур Восточной Европы. Т. 1. 1945–1960-е гг. М., 1995. С. 126.
- 2 Там же. С. 120.
- 3 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр. 664. Стенограмма заседания иностранной комиссии СП СССР по обсуждению сообщения Николая Семеновича Тихонова, известного русского поэта (1896–1979), о поездке в Польшу. Л. 6. 9 февраля 1950.
- 4 Там же. Ед. хр. 653. Стенограмма; ед. хр. 654. Список членов делегации. Тексты выступлений членов делегации польских писателей, побывавших в СССР 5–20 мая 1949 г., в том числе: *Ворошильский В.* Высказывание о впечатлениях от посещения Москвы в составе польской делегации. 5.V.1949. Л. 3–4. Машинопись.
- 5 Там же. Оп. 26. Ед. хр. 2220. Л. 5–9. Стенограмма с правкой 24.X.1954.
- 6 Там же. Оп. 24. Ед. хр. 387. Л. 59–76. 23.I.1953.
- 7 Хорева В. А. Указ. соч. С. 132.
- 8 РГАЛИ. Ф. 2845. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 2. Леонид Николаевич Мартынов (1905–1980) — известный русский поэт. В оригинале названия стихотворений в скобках даны по-польски: «Cela», «My, którzy nie umiemy się bawić». «Нова Гута» — название грандиозного металлургического комбината, построенного с помощью Советского Союза вблизи Кракова; долгие годы считался одним из символов социалистического переустройства Польши.
- 9 Цит. по: Хорева В. А. Указ. соч. Т. 1. С. 131.
- 10 РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 8. Ед. хр. 1315. Л. 82.
- 11 (Предисловие). Цит. по кн.: *Woroszylski W. Życie Majakowskiego.* Warszawa, «Czytelnik», 1985 (на обложке — 1984). Wyd. 2, dop. S. 6.
- 12 Там же.
- 13 Хорева В. Указ. соч. С. 140.
- 14 РГАЛИ. Ф. 2845. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 3. Письмо написано собственноручно.
- 15 Вероятнее всего, письмо относится к ноябрю–декабрю 1963 г.
- 16 Миша — в следующих письмах также «Миша и Женя», супруги Геллер, друзья семьи Ю. Б. Мирской. Пользуюсь случаем поблагодарить за эту и некоторую другую информацию известного русского переводчика польской литературы К. Я. Старосельскую. М. Геллер (1922, Россия — 1977, Париж) по выходе из лагеря уехал в Варшаву, затем во Францию. Публицист, историк, профессор.
- 17 Очевидно, имеются в виду книги самого писателя и о нем, которыми Ю. Мирская снабжала Ворошильского во время его работы над «Снами под снегом».
- 18 Анджей Дравич (1932–1997) — польский критик, литературовед-русист, близкий друг Ворошильского.
- 19 Александр Моисеевич Марьямов (1909–1973) — русский писатель, критик, автор статей и рецензий о польской литературе.
- 20 Александр Петрович Мацин (1906–1996) — муж Ю. Б. Мирской. Критик, театровед.
- 21 Густав Голоубек (р. 1923) и Халина Михальская (1925–1989) — польские драматические актеры.
- 22 Янка — жена Ворошильского.

- 23 Письмо относится к декабрю 1964 г.
- 24 Очевидно, что речь идет о книге избранных произведений известного русского писателя, лауреата Нобелевской премии Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), вышедшей в конце 1964 г. (на обложке: М.; Л., 1965).
- 25 Речь идет о Борисе Абрамовиче Слуцком (1919–1986) — русском поэте, давнем друге Ворошильского. Он приезжал в Варшаву, когда там вышел том его стихов в польских переводах. Тогда же Ворошильский подарил ему свою книгу стихов «Niezgoda na ukłon», 1964, с датой «1 декабря 1964».
- 26 «Новости» о «Новой культуре» — информация, связанная с общественно-литературным еженедельником, редактором которого в 1957 — мае 1958 г. был Ворошильский. Его редакция по обвинению в ревизионизме и анархизме была распущена. Журнал с новой редакцией просуществовал до июня 1963 г., когда журнал был закрыт.
- 27 Евгений Михайлович Винокуров (р. 1925) — известный русский поэт. Вероятно, речь идет о каком-то томе его стихов.
- 28 Вероятно, речь идет о польском писателе Яцке Бохеньском (р. 1926), с которым Ворошильский был дружен много лет.
- 29 Очевидно, что речь идет о польском прозаике Станиславе Зелинском (1917–1995). Полученные им экземпляры — скорее всего из русского издания его сборника «Черные тюльпаны. Рассказы и повесть» / Сост. С. Ларин. М., 1964. За перевод некоторых из них писатель благодарил Ю. Б. Мирскую в письме от января 1965 г.
- 30 Юлиан Тувим (1894–1953) — известный польский поэт, переводчик А. Пушкина и других русских поэтов. Авторитет его как переводчика был очень высоким, поэтому и ссылаются на него в своем письме Ворошильский в поиске оптимального решения использования в польском тексте русских имен и фамилий. В итоге в именном указателе к книге «Жизнь Маяковского» он приводит имена и фамилии в латинском написании, а в тексте сознательно их «полонизирует»: Артемий — Артемьюш, Михаил — Михал, Алексей — Алексы и т. д. Что же касается поэта, то его имя в указателе не фигурирует вообще. Имя отца поэта — Владимир приводится в латинском написании. Однако в тексте книги оно не полонизируется и присутствует в производной форме отчества поэта в сочетании с его именем: «Влодзимеж Владимирович».
- 31 «Жиче Литерацке» — общественно-литературный еженедельник, выходивший в Кракове.
- 32 Казимир Северинович Малевич (1878–1935) — известный русский художник. В книге Ворошильского приведено много материалов об общении Малевича с Маяковским.
- 33 Борис Всеволодович Шуплецов — в те годы руководил отделом художественной литературы Издательства иностранной литературы в Москве. В конце 1964 г. он был в Варшаве по издательским делам.
- 34 Книга русского критика Владимира Федоровича Огнева (р. 1923) — сборник его статей под названием «Очерки о поэзии» — издана в Варшаве в 1964 г. Рецензия Ворошильского была опубликована в варшавском общественно-культурном еженедельнике «Политика» (1965. № 4. S. 7).
- 35 Михаил Аркадьевич Светлов (1903–1964) был ценным Ворошильским, о чем свидетельствует его телеграмма с выражениями искреннего соболезнования, направленная им в Союз советских писателей в связи со смертью Светлова (РГАЛИ. Ф. 2286. Оп. 1. Ед. хр. 316. Л. 8).

- 36 Николай Николаевич Вавилов (1887–1943) — всемирно известный русский ученый-биолог, академик АН СССР (с 1929 г.). Репрессирован.
- 37 «Lato w Nohant» («Лето в Ноане») — пьеса Ярослава Ивашкевича (1894–1980), известного польского писателя. В переводе Ю. Мирской в 60–70-е гг. с успехом шла на сценах советских театров, особенно в московском Театре им. Вахтангова.
- 38 Возможно, речь идет о Маёе Ивановне Конево́й, редакторе Издательства иностранной литературы (затем — «Прогресс»), которая обращалась также к переводам польской литературы. Она была очень дружна с Ю. Б. Мирской, в доме которой, возможно, встречалась также с В. Ворошильским, к которому питала глубокое уважение и симпатию.
- 39 Зиновий Самойлович Паперный (1919–1996) — русский литературовед, исследователь творчества В. Маяковского и многих других крупнейших русских поэтов XX в., критик, пародист.
- 40 Анна Сусмар — сотрудница варшавского издательства «Читальник», близкий друг семьи Ю. Б. Мирской. (Информация К. Я. Старосельской.)
- 41 Сборник русского поэта Давида Самуиловича Самойлова (1920–1990) в составлении В. Ворошильского и частично в его переводах вышел в Варшаве в 1965 г. в Государственном издательском институте.
- 42 Ежи Маркушевский (р. 1930) — известный польский театальный режиссер.
- 43 Наталья и Фелек — дети Ворошильского.
- 44 Речь идет об «Антологии новой русской поэзии. 1880–1967» (Т. 1–2), которую В. Ворошильский готовил совместно с В. Домбровским и А. Мандальяном для Издательского института «Оссолиннеум».
- 45 Известно, что книги этого русского писателя после 1917 г. в СССР издавались редко, в том числе поэзия. В 1966 г. вышел том его избранного «Стихотворения и поэмы», который, вероятнее всего, Ю. Б. Мирская и послала Ворошильскому.
- 46 Возможно, речь шла о вышедшей в 1966 г. книге Адама Важика (1905–1982), известного польского писателя, «Вопрос вкуса».

Стереотипы национального восприятия



А. В. Липатов

СТЕРЕОТИПЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ: СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ, ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И АДЕКВАТНАЯ ОПТИКА НАУЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ

Национальный тип восприятия обусловлен не только внутренней спецификой инационального объекта перцепции, но и внешними обстоятельствами «встречи» с ним, ибо само контактирование познающего субъекта и познаваемого объекта имеет внешний характер. Оно внешне по самой сути. Внутреннее проникновение и связанная с ним эмпатия — вторичны и наступают позднее (если вообще наступают) по мере познания наблюдаемого объекта и углубления знаний о нем в процессе ответных реакций с его стороны. Тем самым национальная перцепция инационального со временем неизменно обретает обусторонний характер, формируя (и изменяя) как прямую (настоящее и будущее), так и обратную (прошлое) перспективы восприятия друг друга.

Внешние обстоятельства — первичные как во временном плане, так и в сфере психологии восприятия — определяют особенности видения, подхода, оценок и самого стремления понять, представить себе, а затем и отобразить (в научной и художественной литературе, в изобразительном искусстве) внешние и внутренние особенности инационально «другого». При этом те же внешние обстоятельства в зависимости от своего характера могут не только способствовать, но и препятствовать объективности восприятия. Перцепция национально другого с точки зрения своих национальных представлений, собственных интересов (государственных, конфессиональных, общественных, личных), только лишь своих потребностей и/или культурных воображений определяет тип восприятия сквозь призму именно своих национальных стереотипов, ограничивающих реальный образ, равно как и оценку в отграниченной перспективе сужающих объективный обзор национальных шор именно своей мифологии. Это уже само по себе в определенных общественно-исторических условиях

исключает возможность и способность свободного — личного и личностного мышления, независимого от традиционалистских схем, ментальностных предрассудков, идеологических шаблонов. Его отсутствие, свидетельствуя — в социальном плане — о превалировании государственного общества над гражданским (либо о полном отсутствии последнего), отражает ту благоприятствующую давлению внешних обстоятельств почву, которой свойствен тип мышления, препятствующий объективной рецепции — независимой от индивидуального (государство, церковь, корпоративно ограниченная среда локальной элиты власти) принуждения и социотехнического манипулирования «сверху». Такая ситуация порождает, культивирует и насаждает власть внешних обстоятельств над умами, сея национальные предубеждения и формируя упрощенные стереотипы восприятия национально другого, что диктуется исторически конкретными потребностями институтов власти и властной элиты.

Сцепление таких обстоятельств и социальных факторов предопределяет национальные типы перцепции в процессе межнациональных контактов, которые — как показывает история — не были идеальными и идиллическими¹. Это с особенной характерностью проявляется и особенно четко проступает в национальных восприятиях друг друга у народов, обитающих в непосредственной близости².

Соседство в силу «самого себя» не только сближает, но и отталкивает, не только притягивает, но и разводит, вызывает не только симпатию, но и антипатию: культурно-исторически дифференцированные, а поэтому часто несовпадающие интересы соседей, их образ жизни, воззрения, быт, нравы и сам внешний облик — неизбежные предпосылки как взаиморасположения, так и взаимоотторжения. Поэтому-то национальное восприятие «других» отнюдь не однозначно (однозначным — в ту или другую сторону — его изображает и насаждает пропаганда официальных властей в зависимости от проводимой ими политики³). Непосредственное соседство русских и поляков (равно как украинцев и русских, поляков и украинцев) на Востоке Европы, немцев и французов или французов и англичан на ее Западе предоставляет характерные примеры, подтверждающие эту общую закономерность. С тем что в каждом конкретном — межнациональном — случае она проявлялась в осложненном локальными обстоятельствами и характерными особенностями региональной истории, а поэтому в специфичном именно для данных народов и именно для них симптоматичном виде.

Национальное восприятие — исторически изменяющийся процесс, а складывающиеся на него явления — двусторонни. Восприятие одной национальной среды не существует без ее «встречного» вос-

приятия со стороны другой и вне этого невозможно, ибо возникает и формируется в процессе взаимных контактов. Отсюда «зеркальное» взаимоотражение ролей: познающий субъект и познаваемый объект одной стороны обретают прямую «перестановку» в другой, где познаваемый объект является познающим субъектом, а познающий субъект — познаваемым объектом. Поэтому такого рода взаимоотражение, взаимообусловленность и взаимодействие могут быть адекватно поняты в свете закономерностей обратной связи, присущих каждому системному явлению. А таковым является и русско-польский узел истории, завязанный на эпохальных по своей значимости разделениях внутри славянства, христианства и европеизма⁴.

Географическая близость русских и поляков соотносилась с их близостью этногенетической. При этом различия политических интересов Московского государства, а затем Российской империи и Речи Посполитой, их государственного устройства (самодержавие — шляхетская демократия), равно как еще ранее обозначившееся разнополюсное тяготение соответственно к Византии и Риму — центрам двух кругов культуры внутренне дифференцированной европейской цивилизации, а в связи с этим нарастающая со времен зрелого Средневековья межконфессиональная отчужденность (православие — католичество) — все это порождало не только существенные отличия в национальных культурах и самом менталитете, но и вело к конфликтам во всех сферах исторического бытия двух этнически и географически близких народов.

Уничтожение (1795 г.) Речи Посполитой (в котором Россия соучаствовала с Австрией и Пруссией) привело — вопреки устремлениям элиты власти растворить поляков в многоэтничном конгломерате империи — к обострению исторической русско-польской конфликтности, перманентному брожению (антирусскому среди поляков и антипольскому среди русских), польским национальным восстаниям, каждый раз подавляемым со все нарастающей жестокостью⁵. Конечным итогом насильственного решения польского вопроса тремя империями был их развал и обретение поляками национальной независимости в 1918 г. Вся последующая русско-польская история стала продолжением предшествующей: в специфических условиях XX в. (большевизм, фашизм, Вторая мировая война) очередные попытки принудительного решения польской проблемы (советско-польская война 1919–1920 гг., пакт Риббентропа–Молотова и введение Красной армии на польскую территорию 17 сентября 1939 г., Катынь, массовые репрессии и депортация поляков в глубь СССР, Ялтинские соглашения и времена «соцлагеря») опять приводили к национальному сопротивлению (разгром Красной армии в 1920 г., массовое партизанское движение в пе-

риод немецкой оккупации, «Малая гражданская война» 1944–1948 гг., познанские события 1956 г., мартовские 1968, декабрьские 1970 на Побережье, радомские 1976, создание Солидарности в 1980, массовое сопротивление времен военного положения) и завершились крушением режима, силой навязанного полякам со стороны СССР, и воссозданием государственного суверенитета в 1989 г.

Такой длительный исторический континуум, геополитическая непрерывность, а отсюда связь времен (вне зависимости от духа времени) в традиционном мышлении и практике властных элит, развязывающих очередные государственные и национальные конфликты, — все это на протяжении веков, все туже и туже затягивало русско-польский узел, что не могло не накладывать отпечаток на взаимоотношения и взаимопредставления двух соседних народов. Отрицательные стереотипы, порождаемые длительной традицией и актуализируемые очередными осложнениями взаимоотношений, когда в обоюдном восприятии народ отождествляется с институтами государства и/или церкви, с их идеологией и политикой, до сих пор живучи — особенно в массовой культуре и общественной памяти.

Иная ситуация в сферах духовной жизни гражданского общества — той части народонаселения, которая в силу личностной зрелости самосознания составляющих его индивидуумов неподвластна обезличенной и обезличивающей идеологии институтов государственной и церковной власти, а поэтому не подвержена воздействию используемых ими социотехнических манипуляций массовым сознанием. Духовная культура, свойственная гражданскому обществу, гармонизирует ценности национальные и универсальные (общеевропейские, восходящие к христианским началам европейской цивилизации). Тем самым, преодолевая позднейшую дихотомию расколовшегося в Средние века христианства и дезинтеграцию раскалываемой позднейшими национализмами Европы, такое культурное самосознание и свойственное ему мироощущение восстанавливает первоначальную идею цивилизационного единства и материализует ее своей общественной практикой. Этот длительный процесс реального создания общей для разных народов, объединяющей их многонациональной и наднациональной Европы, восходит к эпохе Просвещения, когда интеллектуальная элита начала прагматически увязывать высокие философские идеалы с конкретной общеевропейской практикой. Вырастающая из Возрождения, эта устремленность и порождаемые ею веяния охватывают и славянскую часть Европы⁶, где в предшествующем столетии локальным предтечей идеи культурной интеграции был Ю. Крижанич.

В Московском государстве осознаваемая после гибели Византии исторически вынужденная неизбежность вхождения в современность

латинской Европы, постепенно усиливаясь, явно обозначилась в XVII в. Окцидентализация осуществлялась при польском посредничестве (интенсифицируемом более ранним опытом православной культуры Украины и Белоруссии, входивших в состав Польши). С времен Петра I «польский опыт» русской культуры расширялся благодаря прямым контактам с романо-германским Западом. При этом первоначальные связи с польской культурой, утрачивая свой прежний удельный вес, по-прежнему и постоянно присутствовали в русском сознании, что, в частности, отразилось в полонофильстве поколения декабристов (ярчайший пример — К. Ф. Рылеев) и позднейших представителей пушкинской поры (крупнейшая фигура — П. А. Вяземский).

Разделяемые государственными идеологиями, конфессиональными догматами, особенностями национального менталитета и самой специфичностью собственных традиций исторического и современного своего бытия, русские и поляки, начиная с XVII в., непрерывно сближались в сфере высокой культуры⁷. Именно она как национальное воплощение универсальных ценностей европейской цивилизации — общей для двух соседних народов — взаимоприятывала их вопреки порожденным локальным прошлым и порождаемым локальной современностью этногосударственным и этноконфессиональным предубеждениям.

Вопреки внешним и внеположным ей идеологическим сферам и связанным с ними осложнениям межнациональных отношений высокая культура создавала общее для европейских народов поле встречи — то духовное пространство, которое было свободно от институтов государственной и церковной власти. Именно поэтому здесь было возможно достижение взаимопонимания и предопределяемого им взаимосближения.

Это взаимопонимание и взаимосближение отнюдь не всегда осуществлялось мгновенно и обретало всеобъемлющий характер, как, например, в случае К. Ф. Рылеева, П. А. Вяземского, братьев Тургеневых и других так называемых «русских полонофилов». Суть в том, что их полонофильство было лишь частным случаем проявления их европеизма, который отражался, во-первых, в по-прежнему живом для высокой культуры наследии эпохи Просвещения с ее концепцией космополитизма (равенства и равноценности народов, рас, цивилизаций), а во-вторых — в широте мышления, свойственного гражданскому обществу. В этой среде другие народы воспринимались, а их культуры осмыслились не сквозь предустановленную официальной идеологией призму обязательных для верноподданнического сознания убеждений, а общецивилизационных этических ценностей. Тем самым европеизм представлений, общих для разных наций, гармонировал с таким

типом патриотизма, который был связан с осмыслением своей родины и культуры в кругу общей для разных народов цивилизации, а не в вычлениении из нее, противопоставлении ей во имя своей идеологизируемой — идеализируемой и мифологизируемой — «самости». Это понимание своего и любовь к своему не против национально другого; не в ущерб ему ради институциональных интересов «своего» государства и «своей» церкви была той центростремительной силой, которая сближала народы и их культуры вопреки центробежным по самой своей официально-идеологической сути силам государственного общества, разрывающим аксиологически единое пространство европейской цивилизации.

Такое понимание патриотизма, сопряженное с осознанием сопричастности своей нации наднациональной всемирности, афористично выразил младший современник Мицкевича, польский поэт-мыслитель Ц. Норвид: «Благородный человек не смог бы и дня прожить в Отчизне, счастье которой не было бы процентом от счастья Человечества»⁸. Этот патриотизм как производное мироощущения гражданского общества антитетичен тому патриотизму, который свойствен государственному обществу. Националистически и государственночески противопоставляя «свое» «чужому», этот последний тем самым самоизолируется и вычленяет «свое» из цивилизационного универсума. В исторической перспективе это неизбежно ведет к краху и такого рода национальные идеи, и так или иначе связанные с ними государственные доктрины (примеры новейшей истории: разгром фашистской Италии и нацистской Германии, развал СССР, распад «социалистического лагеря», кровавое саморазложение позднекоммунистической Югославии).

В странах, где в силу исторических обстоятельств параллельно и антагонистически существует общество государственное и общество гражданское, неизбежно в сознании и практике присутствуют «две родины, два патриотизма»⁹. Такого рода внутренний раскол общественного сознания создает во внешней реальности — социальной, политической, художественной — отнюдь не только манихейски однозначный образ контраста света и тени, но и пограничные полосы светотени. В той или иной степени это неизбежно обретает отражение и в сфере высокой культуры.

Порой (и нередко) русское восприятие других также и в сфере высокой культуры осложнялось специфичностью личностного преломления общих идей и индивидуальной ситуацией самой личности. Одним из примеров такого осложнения общего образа, равно как и неоднородности его составляющих, являются личные отношения и творческие соотношения Пушкина и Мицкевича, которые уже при

их жизни олицетворяли вершины национальных культур России и Польши¹⁰, а затем породили мифы и связанные с ними стереотипы, по сей день бытующие в массовом сознании¹¹.

Нынешняя общественная память¹², которая в сфере массовой культуры так или иначе сочленена, а тем самым в значительной степени закодирована давним и недавним прошлым, им же направляется и им же управляется. При этом социотехнические манипуляции властных элит актуализируют стереотипы давних и недавних представлений в зависимости от изменяющихся обстоятельств реализуемой ими политики и постановки своих сиюминутных целей.

Нынешнее стремление к интеграции на основе общих для разных народов ценностей исторической своей — европейской — цивилизации ставит как перед элитами власти, так и учеными проблему осмысления, а тем самым — преодоления национальных предубеждений. Это осуществляется путем познания, а вследствие этого — демаскирования и разрушения исторически сложившихся стереотипов восприятия инационального.

В нашей славистике последнего времени такая устремленность характеризовала совместные конференции российских и польских ученых, что получило отражение в таких, например, трудах, как «Поляки и русские в глазах друг друга» (М., 2000), «Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание» (М., 2000), «Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polaków» (Warszawa, 2000), «Inteligencja. Tradycja i nowe czasy» (Kraków, 2001).

Проведенная 17–18 октября 2001 г. в Москве в рамках Дней польской науки в Российской Федерации российско-польская конференция «Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре» явилась и продолжением общих устремлений специалистов двух стран и подтверждением насущной необходимости дальнейшего углубления исследований в этом направлении.

Учитывая уже достигнутое, представляется целесообразным сосредоточить внимание на *специфике* понятий и категорий национальных культур, внутренне дифференцированных в границах государственного и гражданского общества, а также в сфере «низовой», народной культуры. Для этой последней в силу самой ее внутренней специфики свойственны свои особые парадигмы, внеположные культуре как государственного, так и гражданского общества. Характерный пример: отнюдь не парадоксальным было констатирование дореволюционной этнологией отсутствие — вопреки официальной политике — полонофобии и антисемитизма среди крестьянства глубинной России во второй половине XIX — начале XX вв. Поляки и евреи были здесь неведомы, а посему как некая чужая, привносимая государственно-цер-

ковым «извне» абстракция не входили в мир своих традиционных представлений.

В отношении же «верхних» (с точки зрения распространения грамотности и уровней ее освоения) «этажей» национальных культур необходимо принимать во внимание те парадигмы, которые свойственны каждой из них в отдельности. Отсюда проистекает потребность осознания различного смысла и разного функционирования в национальном самосознании внешне, лексически одних и тех же универсальных понятий. Так лишенное юридической основы русское понимание «свободы» и «воли» внеположно пониманию западному, которое зиждется на правовом сознании и свойственной ему логике мышления. Отсюда и русское понимание «правды», «справедливости», антитетическое «закону», не адекватно западному, ибо культура латинского мира со времен Средневековья формировалась на фундаменте римского права.

Русское понимание христианства замкнуто на православии и им ограничено, тогда как польское — на католичестве со всеми вытекающими отсюда последствиями для национального самосознания и культурных представлений: все, что вне конфессионально своего, традиционного, привычного — ересь, схизма и т. п.

Русское понимание «ума», «разума», рационального и логического начала, равно как и сам удельный вес этих категорий в национальном миропонимании и самосознании, где на первое место выдвигается чувство, переживание, иррациональная стихия, «духовность» (что связано со спецификой православия) не тождественно роли разума в культурах и мировидении народов, связанных с католичеством и протестантизмом (конфессиях, где особый удельный вес имеет рациональное начало и — в случае протестантизма — житейская прагматика).

С православием связано и иное понимание, иное отношение к личностному и коллективному началам: русская православная «соборность» противостоит западохристианскому персонализму. Отсюда — последствия в культуре, где личностное начало подчинено общественному, а вернее — государственно-общественному, ибо здесь конфессиональная доктрина русской православной Церкви соединяется со светской доктриной системы государственной власти в России — от средневекового Московского самодержавия до Петербургского просвещенного абсолютизма Нового времени и большевистского тоталитаризма Новейшей истории.

Русское понимание «демократии» со времен романтизма функционировало как антитезис «аристократии». Отсюда специфически русское распространение политического определения на общественное: сугубо российское понятие «революционный демократ» означает

противопоставление либерализму, тогда как на Западе, а тем самым и в польской культуре с ренессансных времен «демократия» означала политические свободы. Поэтому в дальнейшем — с начала XIX в. — понятие демократии здесь взаимосочеталось с понятием либерализма. Отсюда — в отличие от России — в польской культуре, польской истории идей «демократия» и «революционность» — понятие несовместимые, а поэтому несовместимые. Это же — в отличие от российской специфики — относится к понятиям «демократии» и «нигилизма» в польском культурном пространстве.

Осознание такого рода различий предполагает познание национальной специфики культурного пространства путем изучения формирующих его процессов историко-политического, конфессионального, общественно-экономического и ментального. Это позволит выявить те особенности этнического самосознания, которые являются причиной взаимонепонимания на уровне морфологии культуры. Выяснение такого рода нерелевантности двух национальных представлений друг о друге, нестыковки двух национальных типов видения самих себя и своих соседей будет способствовать восстановлению адекватности взаимовосприятия, а тем самым — установлению взаимопонимания.

В качестве примера неадекватности функционирования в общественной памяти и историческом сознании русских и поляков конкретной выдающейся личности можно привести образ Суворова. Для России он военный гений, первый генералиссимус, непобедимый полководец. Для поляков он — победитель Костюшко, возглавившего восстание за национальную независимость и национальное достоинство, устроитель ужасающей резни мирных жителей Праги (восточной части Варшавы), а затем — командующий оккупационными войсками. Русские в массе своей не осознают этого, а благодаря учебникам ничего не знают о пражской резне.

Примеры из области событий общеевропейского масштаба:

1. Венский конгресс для России и Запады означал долгожданный мир и установление равновесия политических сил на континенте, а для поляков — почти вековую неволю. В XX в. то же самое для России и Запады означали Ялтинские соглашения и закрепивший их Потсдамский договор, тогда как для поляков это было включение их страны в сферу советского влияния.

2. Переход Красной Армией польской границы 17 сентября 1939 г. означал для украинцев, белорусов и русских «воссоединение», тогда как для западной демократии и поляков это было нарушение международных договоров и акт агрессии.

Такого рода исторические особенности парадигм национальных культур и их морфологии в должной мере не учитываются в иссле-

дованиях русско-польского взаимопонимания и взаимонепонимания как в России, так и в Польше, несмотря на разработки таких видных ученых-историков идеи, как А. Валицкий и А. де Лазари.

По-видимому, *современное* изучение инациональных культур, межкультурного взаимодействия и стереотипов национального восприятия предполагает преодоление национальной ограниченности (и отграниченности), традиционной инерции аналитического подхода и стереотипов самого научного мышления, а тем самым ставит перед необходимостью прокладывания новых путей познания, нежели привычное хождение по уже знакомым дорогам, которые были проторены предшественниками и ими же до конца обкатаны.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Таковыми они могли изображаться государственной пропагандой в определенных — преходящих — исторических ситуациях, связанных с конкретными политическими целями и идеологическими установками властной элиты. Характерные примеры из нашего недавнего прошлого: противоречащие истории и современной реальности миф «русский с китайцем братья навек», миф «единства народов социалистического лагеря» или — после развала СССР — в очередной раз реанимируемый миф «славянской взаимности». Ср.: *Лунатов А. В. Славянская общность: историческая реальность и идеологический миф* // Павел Йозеф Шафарик (К 200-летию со дня рождения). М., 1995; *Янов А. Л. Россия против России. Очерки истории русского национализма 1825–1921*. Новосибирск, 1999; *Лунатов А. В. Европейская цивилизация как дифференцированная целостность (Запад и славяне)* // Славянский мир между Римом и Константинополем. Сб. тезисов XIX конференции памяти В. Д. Королюка. М., 2000; *Lipatow A. W. Wspólnota słowiańska: historyczne reinkarnacje i metodologiczne interpretacje idei* // Wielkie mity narodowe Słowian. Poznań, 1999.
2. См.: *Топоров В. Н. Функция границы и образ «соседа» в становлении этнического самосознания (Русско-балтийская перспектива)* // Славяноведение. 1991. № 1; *Граница. Вопросы культурных связей России, Украины, Белоруссии, Литвы и Польши. Материалы конференции, изданные Польским культурным центром в Москве*. М., 1994; *Lipatow A. Narodowe — międzynarodowe — uniwersalne (Świat natury i świat kultury: na przykładzie polskiego pogranicza etnicznego)* // Teksty drugie. 1999. № 5.
3. Ср.: *Лунатов А. От «ублюдка Версальского договора» до «братской страны соцлагеря» (государственное искусство и идеологические стереотипы)* // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000.
4. См. вводные главы в «Истории литератур западных и южных славян». М., 1997. Т. 1.
5. На эту тему существует обширная научная литература. Из новейших работ см.: *Польша и Европа в XVIII веке*. М., 1999; *Горизонтова Л. Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше*. М., 1999; *Nowak A. Między carem a rewolucją*. Warszawa, 1994; *Nowak A. Polacy, Rosjanie i biesy*. Kraków, 1998; *Nowak A. Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1733–1921)*. Kraków, 1999; *Głębocki H. Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli*

- politycznej (1856–1866). Kraków, 2000. О взаимных представлениях поляков и русских: *Kępiński A.* Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa; Kraków, 1990; *Orłowski J.* Z dziejów antypolskiej obsesji w literaturze rosyjskiej. Warszawa, 1992; Polacy i Rosjanie. Czynniki zbliżenia. Warszawa; Toruń, 1998; Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków. Warszawa, 2000; Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000.
- 6 См.: Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Просвещение. Национальное возрождение. М., 1982.
- 7 Из новейших работ см.: История литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. 1–2.
- 8 *Norwid C.* Co to jest Ojczyzna // *Pisma wszystkie*. Warszawa, 1973. Т. 7. S. 50.
- 9 Так называется статья, написанная виднейшим польским интеллектуалом Я. Ю. Липским в 1990 г. См. русский перевод в ежемесячнике «Новая Польша». № 2. 2001.
- 10 См.: Пушкин и мир славянской культуры. М., 2000.
- 11 См.: Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000.
- 12 Об этом понятии см.: *Szacka B.* O pamięci społecznej // *Znak*. № 5. 1995. См. также: *Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy*. Kraków, 1996.

В. В. Мочалова

ОБРАЗ МАРИНЫ МНИШЕК В ИСТОРИОГРАФИИ И ЛИТЕРАТУРЕ

В работе, посвященной исследованию стереотипов в контексте русско-польских литературных связей, В. А. Хорев приводит цитату из стихотворения Мандельштама «За Паганини длиннопалым...» —

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей —
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка¹,

отмечая созданный поэтом «замечательный образ, в котором нашлось место и историческим реминисценциям, и традиционно понимаемым чертам польского национального характера», восхищавшим его².

Каковы же те исторические реминисценции, едва отослав к которым поэт может довольно скудными средствами (гордячка-полячка, само упоминание имени) создать объемный образ стихотворения? Кем была или представлялась современникам³ и потомкам историческая Марина Мнишек — эта «девчонка», в 16 лет встретившаяся с самозванным претендентом на русский престол и в последовавшие за этим 10 лет до конца своей жизни сыгравшая несколько ролей в драме Смуты, эта «выскочка», всего 9 дней прожившая в браке с русским царем как легитимная царица, а затем пережившая русский бунт и лишившаяся всего⁴, эта «гордячка», столь сильно увлекаемая своей честолюбивой мечтой, которую она далее последовательно связывала уже со вторым самозванцем, а затем и с рожденным от него сыном, что и спустя триста лет после ее гибели исследователь напишет о ее жизненной стратегии: «Беспечная полячка с отчаянной смелостью бросала свой вызов будущему. И будущее подняло перчатку»?⁵

Ближайшие к Мандельштаму литературные реминисценции — бесспорно цветаевские. Вероятно, возникающий в процитированном стихотворении образ полячки Марины связан с имевшей «прабабушек-полячек» (ср. стихотворения «Бабушке», 1914, где уже представлен выразительный набор образов — «надменные губы», «ледяное лицо», «жестокый мятеж в сердце моем — не от вас ли?») и представляв-

шей себя Мариной Мнишек Цветаевой⁶, которой Мандельштам был увлечен⁷.

Обратившись к источнику, некогда вдохновившему Пушкина на создание «Бориса Годунова», — к «Истории государства Российского» (1824) Карамзина, где Марина предстает честолюбивой ветреной прелестницей, которой самозванец вскружил голову «именем царевича» и не то искренней, не то притворной страстью, а ее отец — «главою и первым ревнителем сего подвига», «честолюбивым» и «легкомысленным до безрассудности», соблазненным заманчивыми перспективами «видеть Россию у ног своей дочери, как наследственную собственность его потомства»⁸, Цветаева в 1921 г. записывает: «Чего искала Марина Мнишек?... Власти несомненно, но — какой? Законной или незаконной? Если первой — она героиня по недоразумению, недостойна своей сказочной судьбы. Проще бы ей родиться какой-нибудь крон-принцессой или боярышней и просто выйти замуж за какого-нибудь русского царя. С грустью думаю, что искала она первой, но если бы я писала ее историю...» В 1932 г. Цветаева добавляет к этой записи: «...то написала бы *себя*, то есть не честолюбницу и не любовницу: себя — любящую и себя — мать. А скорее всего: себя — поэта»⁹. Очевидно, что Цветаева ощущает мощный потенциал этого образа, предоставляющий широкий спектр возможных трактовок, побуждающий вновь и вновь к нему обращаться¹⁰. В цикле из четырех стихотворений «Марина» (1921, сб. «Ремесло») некоторая часть этого потенциального богатства представлена — как будто в лихорадочном ритме неоднородных перечислений (голубка, мать, вестовой, часовой, гонец, знаменосец, льстец, серафим, пес дозорный, близнец...), амбивалентных образов, контрастных сопоставлений. «Ясновельможная панна», требующая за свои щедроты платы жизнью, и благочестивая, и лукавая, и корыстная, и проклинаемая, но также и воплощение страсти, героиня трагедии, — все это улавливает Цветаева в многоцветном мерцании образа «Лжемарины».

Меткое замечание исследователя по поводу некоторых элементов связанного с судьбой Марины Мнишек исторического сюжета — «Пусть все это вымысел, нельзя отказать ему в известном романтизме»¹¹ — может отчасти объяснить интерес к нему как поэтов-романтиков (Ф. Шиллер¹², Пушкин), так и художников романтической — в широком смысле — ориентации (М. Цветаева).

Образ Марины, каким он предстает в текстах ее современников, в историографии и позднейших литературных памятниках, в культурном сознании, далек от однозначности и, несмотря на значительное число свидетельств и исследований, содержит в себе много неясного, сохраняет определенную таинственность, оставляя простор для догадок и разнородных толкований. Существуют и понятные различия

в оценке Марины в польской и русской историографии, на что указывал еще Н. Костомаров, стремясь снять «с нее риторический нимб героизма, наложенный польскими историками, которые «изображают ее личностью крепкой духом, с непоколебимой волей, с терпением, с высокомерием и упорством. И мы за ними все видим в ней такие качества. Она в глазах наших, если не героиня добродетели и правды, то героиня порока и обмана»¹³.

Анализ исторических и литературных памятников, так или иначе отразивших образ Марины¹⁴, показывает, что он предстает сопряженным с образом ее супруга (или супругов — «трех самозванцам жена»¹⁵) — самозванца на русском троне, с представлениями об эпохе Смуты¹⁶, о противостоянии православия и католичества, о сфере еретического и демонического, о гордыне и властолюбии, о нарушении принятой нормы, преступлении.

Для русских памятников XVII в. характерно подчеркивание мотива «чужого», иноплеменного, неправославного происхождения «Маринки» (ср.: «Похотел Расстрига жениться, / Не у себя-то он в каменной Москве, / Брал он, Расстрига, в проклятой Литве, / У Юрья пана Седомирскова / Дочь Маринку Юрьеву, / Злу еретницу-безбожницу»¹⁷). Польская земля, откуда она родом, в целом предстает как область нечистого, источник всякого рода зла — именно здесь, согласно Хронографу 1617 г., Григорий «научился языку польскому и гаданию цыганскому и всякому чародейству бесовскому»¹⁸. Составителю «Временника» Ивану Тимофееву ясно, что самозванец Богом был изгнан из земли правоверных в Польшу, к латынянам, которым «он обещал соединиться скверным браком с дочерью некоего неправославного еретика злого и стать зятем того, кто мог исполнить весь злобный замысел его <...> — коснуться некасаемого, то есть получить царство»¹⁹. Именно в Польше «предтеча антихриста, сын тьмы» — Григорий — «скрижали сердца своего бесчисленными богомерзкими ересями наполнил и, тьмообразную свою душу еще больше предавая в руки сатаны, вместо святой христианской веры греческого закона лютеранскую треокайнную веру возлюбил».

В перечислении преступлений Григория значительное место занимает тот факт, что он «взял себе в жены лютеранской веры девку Маринку. И, не устыдившись нисколько и не убоившись бессмертного Бога, ввел ее, некрещеную, в соборную апостольскую церковь Пресвятой Богородицы и венчал ее царским венцом»²⁰. Неразличение католической и лютеранской веры, сопоставительное сближение польского языка, гадания и чародейства весьма показательны для текстов этого круга, служа выразительным ореолом образа «еретицы, ворухи, латынской веры девки, луторки и калвинки»²¹.

Однако со вступлением Марины на русский престол и русская, и польская стороны могли связывать некоторые политические надежды на объединение двух народов — в частности, именно они звучат в речи ее гофмейстера Мартина Стадницкого²², обращенной к Дмитрию: «Захотел Господь Бог вашу царскую милость соединить с народом, мало разнящимся с вашим народом в языке и обычаях, равным ему по силе, отваге, храбрости в бою, мужеству <...> Есть твердая надежда на счастье <...>, поскольку Господь Бог чудесным образом обратил сердце вашей царской милости к тому народу, с которым и ваши предки роднились, и ваша царская милость теперь соблаговоляет породниться. Пусть же притворная дружба совсем исчезнет в сердцах обоих народов <...> Пусть прекратится то свирепое и варварское кровопролитие между нами!»²³ Некоторые историки указывают на избранницу царя как на вдохновительницу подобных надежд, описывая ее торжественный въезд в Москву в мае 1606 г.: «Это зрелище походило на сказку: можно было поверить братскому слиянию славян. Русские превосходили поляков численностью и богатством своих одеяний, зато поляки отличались воинственным видом и роскошью оружия. Оба народа, забыв свои вековые разногласия, шли под одними и теми же знаменами, прославляя свою общую героиню. Молодая полячка, как легендарная фея, заставляла все сердца биться в унисон. Она была прелестна и лучезарна в своем шелковом платье»²⁴.

Но сразу после пышной свадьбы «обвинили царя в том, что будто бы он ночевал с Мариною на священном месте, где находились иконы Богородицы, и что он таким образом осквернил русскую веру»²⁵. После венчания «оба они не пожелали причаститься Святых Тайн. Это сильно опечалило всех, не только патриарха и архиереев, но и всех видевших и слышавших. Итак, это была первая и великая печаль, и начало скандала, и причина многих бед для всего народа московского и всей Руси»²⁶.

В различных исторических сочинениях той эпохи возникает образ богопротивного осквернения святыни, попрания еретическими ногами царского помазания и брака, наполнения храма бесами, которые «и венчали по своей воле» — и так «вскочил пес со всескверной сукой и множеством латынян и еретиков и нагло воссел на царском престоле!»²⁷

В фольклорных памятниках также сохранился образ Гришки и Марины Юрьевны, «со старозаветной московской точки зрения» вызывающе попиравших царский и православный этикет и тем самым манифестирующих свою колдовскую природу²⁸, что могло подчеркиваться контрастным сопоставлением церкви и бани, воспринимавшейся на Руси как «нечистое место», своего рода антипод церкви²⁹.

*Все-то кнези-боера Богу молятся,
Да Гришка-Разстрижка в мыльной моется
Да со душечкой со Мариной со Юрьевой*³⁰;

*Все князи-бояра к обедни пошли,
Ко тья ко Христоськой заутрени, —
Вор Гришка-разстрижка во мыльно пошел
Со душечкой с Маринушкой со Юрьевой.
Все князи-бояра Богу молятся, —
Вор Гришка-разстрижка в мыльны моется,
Со душечкой со Маринушкой блуд творит...
А Гришка да разстрижка со своего царицею Маришкой,
Мариной Ивановной, князя Литовскаго дочь,
Они не на службу христовскую пошли, —
Пошли в парную баенку...*³¹

Это современное представление о связи Григория и Марины с нечистой силой, колдовством отражено и в первом русском историческом романе «Юрий Милославский»³² (1829) М. Загоскина, посвященном событиям Смуты:

— Я был и в Кремле, как этот еретик, видя беду неминуемую, прыгнул в окно. Да, видно, черт от него отступился: не кверху, а книзу полетел, проклятый!

— Ему бы поучиться летать у жены своей, Маринки, — сказал стрелец. — Говорят, будто б эта ведьма, когда приступили к царским палатам, при всех обернулась сорокою, да и порх в окно!...

— ...Ну рассуди сам: как можно, чтоб Маринка обернулась сорокою? Ведь она родилась в Польше, а все ведьмы родом из Киева.

— Оно, кажись, и так <...>, однако ж вся Москва говорит об этом.

— Да она и теперь еще около Москвы летает <...>

— Неужели в самом деле? — вскричал купец.

— Я сам ее видел, — продолжал спокойно запорожец <...> я видел Маринку в Тушине, только лгать не хочу: на сороку она вовсе не походит <...> в Тушине, вместе с Димитрием, которого вы называете вторым самозванцем, а она величает своим мужем³³.

Что же привело Марину на русский престол — политический расчет, проекты Ватикана, интриги русских бояр, «мастерская русского самозванства» пана Мнишка³⁴, чувство любви — односторонней или

взаимной? На этот счет в современных источниках и позднейшей литературе нет единства.

По крайней мере, в признании властолюбия Марины (и ее отца) большинство авторов сходятся. О нем могут свидетельствовать, в частности, встречающиеся в различных текстах сведения о том, что ее рука была обещана как первому, так и второму самозванцу лишь в том случае и тогда, если и когда он овладеет русским трон³⁵ (ср. у Пушкина: «Очисти Кремль, садись на трон московский, / Тогда за мной шли брачного посла; / Но — слышит бог — пока твоя нога / Не оперлась на тронные ступени, / Пока тобой не свержен Годунов, / Любви речей не буду слушать я»³⁶).

Пушкин в «Борисе Годунове» (1825), задуманном как трагедия без любовной интриги, «заставил» Дмитрия влюбиться в Марину, лишь чтобы лучше оттенить ее необычный характер³⁷. Очевидно, оговаривая свою поэтическую вольность, Пушкин был знаком с имевшими хождение представлениями о политических, а не любовных мотивах решения самозванца. Таким, например, оно предстает у Буссова: Дмитрий в 1605 г. «вспомнил» о своем обещании жениться на дочери Сандомирского воеводы — как бы в благодарность за его «любовь, верность и дружбу»: «Ее и сговорил, помолвил и обручил с Дмитрием <...> король польский <...> Сигизмунд III, с согласия, ведома и одобрения всех сословий. Русским это совсем не понравилось <...> что он пренебрег дочерьми вельмож своей национальности и женится на иноверке»³⁸. По версии самого Сигизмунда, изложенной им венецианскому послу, «достигнув трона, Дмитрий пожелал вознаградить Мнишка за все его услуги. Для этого он женился на его дочери»³⁹. Согласно «Новому летописцу», Расстрига также посылает в Литву свата «по обету своему»⁴⁰, в то время как другие источники, напротив, приписывают инициативу этого обещания не Григорию, а отцу невесты, «знатному пану Юрию Сардаминскому», который «заботился о нем со всей сердечностью, пообещал ему в жены дочь свою, именем Марину, когда он будет на престоле Московского государства»⁴¹. В любом случае Марина предстает в этом сюжете некоей пешкой в политической игре, средством благодарности за услугу. У Григория Котошихина самозванец, сначала находившийся «в Полше у Сердомирского за челядника», затем выступает единственным активным началом, лишь использовавшим для осуществления своих политических целей «допоможение полских войск», Марине же отведена пассивная роль — и единственное краткое упоминание («а того Сендомирского дочь взял за себя»⁴²).

У Арсения Елассонского в начальном акте драмы Марина также играет пассивную роль — сандомирский воевода и Дмитрий «усло-

вились друг с другом, что он возьмет ее в жены», при этом Дмитрий предварительно посоветовался «с боярами, синклитом двора относительно того, чтобы взять в жены Марину <...> все порешили взять ее, если она будет перекрещена в нашей восточной церкви»⁴³.

Д. Горсей отводит весьма заметное место отцу Марины, которая лишь однажды упоминается в его тексте — и скорее в качестве статистики исторической драмы (воевода Юрий Мнишек, «поддерживавший самозванца и возглавлявший польскую армию, выдал за самозванного Димитрия свою дочь, надеясь укрепиться и выдвинуться, его дочь стала царицей»), или пикантной детали сюжета («русские свергли самозванца царя Димитрия, убив его стражу и захватив его в постели его жены, царицы»⁴⁴), или пассивного объекта великодушия победителей («воевода и его дочь царица, а также польские солдаты были выпущены с большим милосердием, чем заслуживали») ⁴⁵.

С. М. Соловьев приписывает Марине более активную роль («Панна Марина Мнишек поняла, что ей предстоит случай отличным образом устроить свою судьбу, принялась за дело и скоро овладела сердцем мнимого царевича»⁴⁶), а ее отца представляет «человеком менее совестливым», расхитителем казны, природно склонным и привычным к интригам, неразборчивым в средствах, гордым и тщеславным⁴⁷.

Источники, которыми пользовался С. М. Соловьев, дали ему основание представить начало сюжета, объединившего Григория, Марину и Юрия Мнишка, в романтически-любовной перспективе. Он совершенно недвусмысленно пишет о сильном чувстве, охватившем будущего самозванца⁴⁸: «Отрепьев поражен был явлением, до сих пор ему неизвестным; он увидел старшую дочь воеводы <...> Марину, и легко понять, какое впечатление на пылкого молодого человека произвело это энергическое существо, в высшей степени обладавшее теми качествами, которые давали польской женщине такое видное место в обществе». О подлинности чувств Отрепьева, о том, что «он был действительно очарован ею и предложил ей руку не из одних корыстных целей, не для того только, чтоб побудить Мнишка и родню его к оказанию более деятельной помощи», может свидетельствовать его последующее поведение⁴⁹.

Явно не разделяя мнения о корыстных мотивах брака Лжедмитрия, Соловьев воздерживается и от акцентирования значения альтернативной любовной линии, связанной с Ксенией Годуновой и нашедшей отражение в ряде исторических и литературных текстов. Согласно историческим свидетельствам, Марина после состоявшегося в Польше венчания⁵⁰ не спешила в Москву, поскольку до нее доходили оскорбляющие ее вести о разгульной жизни Димитрия, его многочисленных связях с женским полом (например, Исаак Масса⁵¹ сообщал о

тридцати беременных от Дмитрия девишках), особенно — с Ксенией Годуновой, которая длительное время жила в царском дворце⁵² и славилась среди московских женщин своим редким умом и несравненной красотой⁵³.

Пользовавшаяся популярностью вплоть до начала XIX в. трагедия А. Сумарокова «Дмитрий Самозванец» (1771) вообще как будто игнорирует Марину⁵⁴ — ее нет в составе действующих лиц, а любовный сюжет выстраивается по линии Дмитрий — Ксения Шуйская. Влюбленный в не отвечающую его исканиям Ксению самозванец, отождествляющий себя с истиной и законом («Не истина — царь, — я; закон — монарша власть»), готов убить Марину («Могу прервати брак, / И тайный яд мою жену пошлет во мрак»). Кроме того, у сумароковского Дмитрия есть и идеологическое объяснение замены Марины на Ксению: «Законом та римлянка; / Благочестивая потребна россиянка».

Образ благочестивой, также отвергающей любовь самозванца русской девушки Ксении — но не Шуйской, а, в соответствии с историческими свидетельствами, Годуновой, — присутствует в историческом романе Ф. Булгарина «Дмитрий Самозванец» (1830), в котором Пушкин видел плагиат — использование не опубликованной к тому времени рукописи «Бориса Годунова»⁵⁵. Скрытую полемику с пушкинской трактовкой образов можно видеть, в частности, в болгаринском предисловии к роману. Если пушкинский Дмитрий признается Марине в своем самозванстве, а властолюбие побуждает ее сознательно встать на сторону обманщика, то Булгарин специально оговаривает: «У меня в романе Лжедмитрий не открывается никому в том, что он обманщик и самозванец. Его уличают другие. Иначе и быть не могло, по натуре вещей, судя психологически <...> Гордая Марина презрела бы подлого обманщика».

Булгарин отрицает и наличие любви между героями своего повествования, представляя их связь как взаимный политический расчет: Дмитрий делает Марине предложение в уверенности, что «она не откажет в любви царевичу московскому, если б у него был нос на лбу и голова с пивной котел», а у нее «закружилась голова от царского титула», но отнюдь не от страстного чувства. Согласно Булгарину, «русские того времени не знали любви по нынешним об ней понятиям. В Польше любовь существовала тогда со всеми утонченностями, но между Мариною Мнишек и Самозванцем была любовь точно такая, как представлена мной в романе». Хотя болгаринский Дмитрий не обольщается относительно истинных чувств к нему Марины, «из одного честолюбия» идущей за него замуж, однако приоритет имеют для него другие мотивы: «Дел политики не должно смешивать с делами сердечными. Брак с Мариною есть узел, связывающий

меня с Польшей. Я буду чтить ее, буду даже любить, и охотно разделю с нею брачное мое ложе; но <...> сердце мое давно уже занято другим предметом. Я люблю дочь Годунова, Ксению!» В отличие от пушкинского Самозванца, ставящего обладание Мариной превыше «трона» и «державы», болгаринский, хранящий «дочь Бориса, несчастную Ксению, для гнусных своих утех», заявляет: «Без Ксении и Московский престол не составит моего благополучия», предлагает ей соединить участи «на престоле отцов наших»⁵⁶.

У Пушкина оценка образа Марины, в котором могли отразиться два разных прототипа, амбивалентна, включает и восхищение, и осуждение, двоятся — если сопоставить текст трагедии и авторские заметки о ней. «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова!» — характеризует свою героиню Пушкин в письме Вяземскому от 13.IX.1825⁵⁷. С Орловой Пушкин встречался в разные годы (1817–1836), «особенно любезничал» и спорил о литературе, считал ее «необыкновенной женщиной» — она же держалась с ним несколько высокомерно⁵⁸. Сохранились пушкинские зарисовки портрета Орловой, свидетельства современников о его особом к ней отношении (А. И. Тургенев писал Вяземскому, что по Е. Н. Раевской «вздыхал поэт Пушкин», В. П. Горчаков упоминал, что Пушкин ее «необыкновенно уважал»). С Орловой исследователи связывают некоторые стихотворения поэта — посвященное теме мимолетности счастья «Увы! Зачем она блистает...» (1820), «Красавица перед зеркалом» (1821)⁵⁹, а также последние строки стихотворения «Редет облаков летучая гряда» (1820) и запись «Екатерина» (1829) в так называемом «Дон-Жуанском списке»⁶⁰.

Вместе с тем в Марине «Бориса Годунова» можно видеть черты, роднящие ее и с другой — польской — возлюбленной поэта — Каролиной Собаньской (в девичестве Жевуской)⁶¹, с которой он познакомился в начале 20-х гг. В 1830 г. Пушкин пишет ей: «Сегодня 9-я годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни <...> я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами — всякая другая забота с моей стороны — заблуждение или безрассудство»; «Ваши пальцы коснулись моего лба. Это прикосновение <...> обратило меня в католика»⁶². В монологе Самозванца из «Бориса Годунова» это письмо как будто повторяется: Димитрий хочет, чтобы Марина видела в нем «любовника, избранного тобою, счастливо-го твоим единым взором»; признается: «твоя любовь, одно мое блаженство», «ты мне была единственной святыней», сравнения с которой не выдерживает слава этого мира («Теперь гляжу я равнодушно / На трон его, на царственную власть. / Твоя любовь... что без нее мне жизнь, / И славы блеск, и русская держава?»).

В позднейших набросках предисловия (1829) к «Борису Годунову» поэт настаивает на необходимости для понимания трагедии предварительного прочтения соответствующего тома «Истории государства Российского» Карамзина⁶³ — само построение «Бориса Годунова» определено пушкинским методом исторического изображения прошлого в художественном произведении⁶⁴. Здесь же не только представлена пушкинская оценка характера Марины, лишь бегло очерченного Карамзиным, но и красноречиво присутствует цитирование иносказательно упоминаемой Собаньской («*la cousine de M-me Lubomirska*»): «...конечно, это была странная красавица. У нее была только одна страсть: честолюбие, но до такой степени сильное и бешеное, что трудно себе представить. Посмотрите, как она, вкусив царской власти, опьяненная несбыточной мечтой, отдается одному проходимцу за другим, деля то отвратительное ложе жида⁶⁵, то палатку казака, всегда готовая отдаться каждому, кто только может дать ей слабую надежду на более уже не существующий трон. Посмотрите, как она смело переносит войну, нищету, позор, в то же время ведет переговоры с польским королем как коронованная особа с равным себе⁶⁶, и жалко кончает свое столь бурное и необычайное существование. Я уделил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь. Она волнует меня как страсть. Она ужас до чего полька, как говорила кузина г-жи Любомирской»⁶⁷.

Оба возможных пушкинских прототипа — холодные красавицы⁶⁸, как и его Марина Мнишек («мраморная нимфа: / Глаза, уста без жизни, без улыбки»), «надменный ум» которой стремится обольстить самозванец, испытывающий перед нею, высокомерной («у ног своих видала / Я рыцарей и графов благородных; / Но их мольбы я хладно отвергала»⁶⁹), «неодолимый трепет».

Марина предстает красавицей и у Пушкина («прелестна», «кто ни взглянул, тут и влюбился»), и у Булгарина («В сонме красавиц Марина отличалась необыкновенной приятностью лица, величественной осанкой и богатством наряда»⁷⁰), хотя сохранившиеся памятники разного рода, в том числе — ее портреты, не дают бесспорных оснований для такого суждения. Некоторые современные свидетельства как будто опровергают представление о ее женской привлекательности. Так, Арсений Елассонский пишет о том, что рассматривался и вариант брака Марины с Василием Шуйским, не состоявшегося лишь из-за его несогласия («Если бы он пожелал взять себе в супруги партию Марию <...> при полном желании самой царицы, ее отца Георгия Сендомирского и всех его сторонников, то он не лишился бы царства, — но он предпочел взять себе [в супруги] молодую и красивую девушку»), трижды упоминая в этом фрагменте — очевидно, для

создания контраста — красоту избранницы Василия («молодая и красивая», «юная красивая», «красивейшая и разумная»)⁷¹. Следует отметить, что выбор Шуйского могли связывать и с иными — патриотическими, антипольскими — мотивами: «Однако, в супруги себе он избрал свою соотечественницу. Очевидно, поляков не жаловали в России»⁷².

А. Хиршберг, упоминая, что «почти все тогдашние и позднейшие писатели воспевают ее красоту и привлекательные достоинства», высказывает сомнение, было ли так на самом деле, поскольку ее портреты «скорее не свидетельствуют о красоте. Черты лица ее, свидетельствующие о гордыне, настойчивости и упорстве, скорее неприятное, чем приятное могли оставлять впечатление»⁷³. П. Пирлинга, напротив, именно известный портрет Марины побуждает верить в охватившую самозванца любовь к ней: «Нужно вспомнить внешность прелестной польки, запечатленную для нас кистью неизвестного художника <...> тогда мы легко поймем ту любовь, которую внушила она молодому и пылкому царевичу»⁷⁴.

Если П. Пирлинг не сомневается в подлинности чувства Димитрия («Не прошло и нескольких дней, как он был уже безумно влюблен в одну из дочерей воеводы», «он был страстно увлечен прекрасной полькой», «Димитрий был верен своей пылкой страсти к Марине»), даже допуская, что за этой влюбленностью мог стоять расчет («ведь так часто любовь и расчет уживаются в согласии»), то относительно чувств самой Марины источники оставляют исследователя перед неразрешенной загадкой: «Чувствовала ли она сама к своему избраннику ту таинственную симпатию, которая служит залогом счастья? Или же прельстил юную польку блеск царской короны? Марина никому не открыла своей девической тайны; таким образом, каждый волен думать о ней, что угодно»⁷⁵.

Относилась ли Марина Мнишек к распространенному в Польше типу исключительно мужественной женщины, «амбициозной, смелой и решительной»⁷⁶ — и на этот счет в посвященных ей текстах нет единства. Противоречивая пушкинская обладательница «волшебного, сладкого голоса», Марина, несмотря на эту *женскую* характеристику, стремится к иной, не женской участи — она не нуждается в словах любви и полна решимости стать не «рабой желаний легких мужа» или его «наложницей безмолвной», но «помощницей московского царя»⁷⁷.

В вышедшей недавно повести Л. Бородина «Царица Смуты»⁷⁸ В. Хорев отмечает «новый образ Марины Мнишек», отличный от того, каким он был представлен ранее в русской литературе («разбойница, чародейка, еретика»), — образ волевой женщины, стремящейся «быть справедливой царицей московской»⁷⁹. Разнообразие посвященных Марине исторических текстов позволяет встретить и такое освеще-

ние ее образа. Например, Марина болгаринского очерка «снискала себе любовь многих русских бояр своею вежливостью, умом и красотой. Она даже подавала своему мужу благие советы более заниматься государственными делами, сближаться с русскими и обходиться с ними ласково. Он не слушался ее, и проводил время в пиршествах и забавах». Сходно представлена и роль Марины в ее союзе со вторым самозванцем: «Он не имел никакого характера и отличался от других одною подлостью. Во всем действовала Марина, а недостойный ее муж, не радея о делах, предавался одному разврату». Именно она, а не второй самозванец, когда возник вопрос о польском претенденте на русский трон, «ни за что не соглашалась покориться королю и отказаться от престола»⁸⁰. В русском фольклоре можно встретить представление о Марине как об инициаторе событий («Когда Гришка Отрепьев воцарился, то Марина приказала ему звать в Москву поляков»⁸¹).

В исторических сочинениях есть свидетельства публичной роли Марины — ее «дом и стол» в Ярославле «открыты для всех дворян и бояр», она устраивает «пиры и угощения», именно к ней приводят на допрос схваченного Ивана Болотникова, которому она же предлагает стать предводителем войска⁸². Ее активное участие в делах может вызывать одобрение (как, например, настойчивое и успешное — несмотря на упорное сопротивление Димитрия — заступничество за людей, несправедливо приговоренных им к казни), или резко негативную реакцию («стали поносить и царицу Марину Юрьевну, да так, что писать об этом не приличествует, и это побудило ее тайно скрыться»⁸³), или испуганно-раздраженное непонимание (как у собранных ею на вечеринку боярынь, которым она безуспешно пытается привить европейские нравы, убеждая их в пользе нововведений⁸⁴).

При этом в трактовке Н. Костомарова Марина предстает «зурядной бабенкой», не проявляющей «ни тени геройства», «никакого признака самостоятельности, твердости и власти», не подававшей «никому ни в чем инициативы», а являвшейся «послушным орудием других, да и орудием слишком второстепенного значения». По мнению историка, современные источники относятся к ней как к лицу второстепенного значения, поскольку ни в тушинский период, ни рядом с Заруцким «не видно нигде ее личности»⁸⁵.

Но в современных источниках Марина могла выступать и как главное действующее лицо в драме Смуты: «Против воли бога, однако, красуясь в царском убранстве, как царица в колесницах по-фараонски <...> она дышала огнеподобной яростью ереси, идя на христиан не как царица, но как змея»⁸⁶ в образе человека <...> эта ехидна <...> кровью затопила всю Россию»⁸⁷. Именно Марина, по мнению архиерея Арсе-

ния Елассонского, — причина всех бед, но также и их активная создательница: «Царица Мария послужила [причиною] гибели и разрушения всей России и великой Москвы. Как некогда Елена была [причиною несчастия] для Трои и всей Фригии и Эллады, так и она сделалась тем же для Москвы, России, Неметчины и Польши; и как там умерли от убийственного меча многие храбрые и благородные мужи и особенно цари <...> точно таким же образом и эта царица Мария в России послужила причиною гибели многих: из царей одного предала мучительной смерти, а другого сослала в отдаленную ссылку; супруга своего, одетого в рубище и тяжко осужденного, отлученного от жены и детей, братьев и родственников, предала позорной смерти и, наконец, огню; отцу же и братьям причинила огорчение и довела их до великой нищеты и скитания на чужбине, великую Москву сожгла, многие города великой Руси и деревни опустошила, множество мужей погубила не только русских, но поляков и немцев»⁸⁸.

Вместе с тем представление об активности Марины, игравшей «в русской истории начала XVII в. видную, но позорную роль», бывшей, по мнению и духовенства, и царя, «главную заводчицей» всего зла, нанесенного русской земле, в оценке историков может быть контрастно сопоставлено с ее послушностью закулисным вдохновителям событий, делавшей ее «жалким орудием римско-католической пропаганды, находившейся в руках иезуитов»⁸⁹. В свою очередь, эта едва камуфлируемая связь Марины с Ватиканом составляет ее главную вину с точки зрения православных кругов, негодовавших, когда эта «духовная дочь» иезуитов «пред всеми притворялась православною и лицедействовала»⁹⁰.

Вообще для восприятия исторического сюжета, в центре которого находится самозванец, т.е. человек, намеренно играющий чужую роль, существенными оказываются подобные театральные коннотации, понятие игры. В описаниях Лжедмитрия и Марины, первыми «разыгравших»⁹¹ этот сюжет на русской исторической сцене, так или иначе возникают мотивы игры, маски, роли: «Они разыграли с бедным Дмитрием действо о муках страстных», «этот польский свистун», «что хорошего сказал польский скоморох?», «из Кремля приехал боярин с маской и волынкой, маску он положил царю на живот *juxta pudendum*, а дуду от волынки воткнули ему в рот, положив ему меха на грудь»⁹²; «Для нас важна не личность самозванца, а его личина, роль, им сыгранная. На престоле московских государей он был небывалым явлением»; «Титулованный кружок с кн. В. И. Шуйским во главе исполнил второй акт. Те и другие бояре видели в самозванце свою ряженую куклу, которую, подержав до времени на престоле, потом выбросили на задворки»⁹³.

При помощи театральных метафор может вестись и полемика с польскими историками, которые хотя и «не отваживаются оправдывать той трагикомедии, в которой Марина Мнишек играла такую первостепенную и первопозорную роль», однако создают ее героический образ, влияющий на ее восприятие русским сознанием⁹⁴.

К представлениям «театрального» круга следует отнести бытовавшее убеждение в том, что существовал второй, переодетый Димитрий, слуга царя, что разыгрывалась комедия с подставным царем, обратившаяся в трагедию⁹⁵. Современники, как представляется, осознавали и обсуждали театральность происходящего после падения Лжедмитрия I: «Рассказывают, будто, невзирая на катастрофу, Мнишек во что бы то ни стало хотел соблюдать у себя этикет, приличествующий сану царицы Марины <...> В основе этой комедии скрывался весьма определенный и важный расчет: Сандомирскому воеводе нужно было так или иначе поддержать на голове Марины пошатнувшуюся корону»⁹⁶.

Примечательно, сколь существенную, чреватую серьезными последствиями роль играет в современных памятниках мотив переодевания Марины в неподобающее платье, семантически означающее преступление социальной или национальной нормы — мужское («И она тотчас же приказала сделать себе из красного бархата мужской костюм польского покроя, надела его, вооружилась ружьем и саблей, а также надела сапоги и шпоры и выбрала хорошего быстрого коня <...> она не хуже любого воина проехала 45 немецких миль и ночью <...> прибыла в Калугу»⁹⁷) или польское («не показалось приятным <...> всему народу», видеть «царицу, имеющую на себе польское платье, а не русское, как это было принято в царском чине <...> Это послужило причиной и поводом ко многим бедствиям, к гибели царя и всего народа обеих национальностей, русских и поляков»⁹⁸).

Свидетельства об «игре» Марины приводятся Буссовым при описании ее встречи со вторым Димитрием: «И хотя царица прекрасно поняла, что ее кормят напрасными надеждами, ей все же пришлось выказывать больше радости, чем у нее было на душе, для того чтобы никто не заметил фальшивую игру <...> В этот день благодаря этой комедии многих людей с прекрасным зрением поразила полная слепота. Перед все народом она оказала Димитрию надлежащее уважение, как если бы он был ее возлюбленным супругом»⁹⁹. Сходно описывает этот эпизод с признанием второго самозванца и Арсений Елассонский, подчеркивая момент клятвопреступления: «...Он взял царицу Марию, говоря, что она — жена его; согласилась и подтвердила она и отец ее, заявивши перед всеми, что он прежний ее муж,

царь Димитрий, венчанный в Москве. Нарушили [таким образом] клятвы и обещания царица Мария и отец ее и все находившиеся при них»¹⁰⁰.

Вместе с тем в акте драмы, связанном со Лжедмитрием II, также много неясного. Некоторые данные позволяют судить (хотя, «к сожалению, нам точно неизвестно, каким образом произошел этот психический процесс в душе дочери воеводы. Как письма, так и современные дневники хранят в этом отношении полное молчание»), что Марине нелегко далось признание второго самозванца своим мужем, что она сопротивлялась давлению отца, однако «не подлежит сомнению, что к принятию этого решения ее склонили, помимо уговоров отца, главным образом ее гордыня и безумные амбиции»¹⁰¹. Свидетельства польских участников событий противоречивы — если Ян Сапега (а по данным Н. Костомарова, именно он пять дней уговаривал Марину признать «мужа») вынес из сцены первого свидания Марины со вторым самозванцем самое тяжелое впечатление, а слуга Олесницкого (склонявшего ее «играть позорную комедию»¹⁰²) сообщал драматические подробности о сопротивлении впавшей в отчаяние и схватившейся за нож женщины, то Мартин Стадницкий утверждает, что именно ей принадлежит инициатива сношений с Тушиным и что она участвовала в сговоре¹⁰³, как пишет другой современник, «соблазн к соблазну присоединяя и беду к беде, не побоявшись того прежнего убийства Ростриги и своего несчастья, уклоняясь на окончательную свою погибель»¹⁰⁴.

Почему это произошло, почему Марина «не уклонилась от выпавшей ей роли: напротив, она приняла ее смело, рискуя погубить себя навеки», «была ли она брошена в вихрь событий новым капризом судьбы или собственным порывом», определенно неизвестно¹⁰⁵.

Согласие «гордой Марины» стать «женою явного бродяги» Ф. Булгарин склонен объяснять честолюбием, развившимся после венчания на царство: «Почувствовав сладость власти, утешаясь повиновением прежних своих подруг и равных, Марина не могла уже возвратиться в разряд польских шляхтянок, и быть равною другим, когда муж ее объявлен был обманщиком! Вот истолкование этого удивительного попраения всякого стыда благовоспитанной женщиной!»¹⁰⁶

Властолюбие и гордость ощутимы и в ответе Марины Стадницкому, уговаривавшему ее в 1610 г. оставить честолюбивые замыслы и вернуться в Польшу («Кого Бог раз осиял блеском царского величия, тот не потеряет этого блеска никогда, так как солнце не потеряет блеска оттого, что его закрывает скоропреходящее облако»), и в ее переданном через Жолкевского предложении королю Сигизмунду отдать царю Краков (а не, как планировалось, Самбор или Гродно),

«а царь из милости уступит ему Варшаву»¹⁰⁷. Однако, хотя болгаринскому объяснению трудно отказать в психологической обоснованности, все же представляется, что здесь, как и в приведенном Буссовым ответе Марины, когда накануне падения второго самозванца ей советуют уезжать в Польшу, звучат не только честолюбие и гордость («Чем мне, русской царице, с таким позором возвращаться к моим родным в Польшу, лучше уж погибнуть в России»), но и достойное принятие судьбы, и готовность следовать до конца за своим мужем («Я разделю с моим супругом все, что Бог нам предопределил»¹⁰⁸). Это — еще одна из загадок: почему гордая Марина, по-видимому сопротивлявшаяся признанию второго самозванца, человека, как говорили о нем, «грубых и диких нравов», после его гибели, о которой никто не сожалел, не может сдержат бурных проявлений своего горя? Будучи беременной, она выбежала из замка, «в отчаянии рвала на себе волосы и, не желая жить без друга, кричала, чтобы ее тоже убили», пыталась покончить с собой, но раны оказались не смертельны¹⁰⁹. Ничего подобного не отмечалось, когда погиб ее первый муж, человек незаурядный, возведший ее на русский престол, — скорее напротив, она сохраняет гордое присутствие духа, а если и печалится, то лишь оттого, что у нее отняли арапчонка¹¹⁰.

К июню 1610 г. относится последнее дошедшее до нас письмо Марины, в декабре этого года, спустя несколько дней после гибели ее второго мужа, она родила от него нового незаконного претендента на русский престол — царевича-«воренка», надеясь — с помощью уже третьего своего друга, верного Ивана Заруцкого, — сделать его царем. Судя по источникам, надежды эти имели место даже спустя год после воцарения династии Романовых, однако неизвестно, какова во всем этом роль «несчастной царицы», «какими обещаниями или угрозами старались пленить ее или запугать»¹¹¹.

Не сохранилось достоверных сведений и о том, как Марина кончила свою жизнь, — и не из-за недостатка источников, а скорее наоборот — из-за их обилия и противоречивости (так, сообщается как о ее естественной смерти в тюрьме или с горя, так и о насильственной¹¹²). Умерла ли она в Коломне в тюрьме, утопили ли ее, как гласит предание львовских бернардинцев, удушили или сожгли? «Говорят, что Марина Сендомирская была задушена между двумя кроватями. Многие различно рассказывают об ее смерти. Некоторые говорят, что она умерла своею смертью. Но как бы то ни было, верно то, что она умерла вдруг, так что никто ничего не знал об ее болезни, и это случилось весьма скоро после того, как был повешен ее ребенок. Если ее даже и не задушили, то тем не менее ее смерть была насильственной. Она умерла вследствие горести и страданий от нанесенных ей оскорблений»¹¹³.

Арсений сообщает о ее «неизвестной» смерти по приказу первого Романова («Царь <...> сына же Марины повесил, и Марину, спустя несколько дней, предал неизвестной смерти, и, таким образом, они получили по делам их»¹¹⁴), московский посол в Речи Посполитой Ф. Желябужский (1615) — о ее смерти «на Москве от болезни и с тоски по своей воле»¹¹⁵, другие источники местом ее смерти называют тюрьму, относительно нахождения которой тоже нет единства¹¹⁶. Спустя два столетия о ее печальном конце будет написано так: «Одна смерть прекратила гордые замыслы Марины, для которых она жертвовала всем: отечеством, ближними, кровными и даже женским стыдом»¹¹⁷.

Вынося подобную общую оценку этой личности, как польские, так и русские историки были к ней столь же беспощадны, «как и сама действительность», «осыпали ее самыми тяжкими обвинениями», называя эту духовную дочь самборских бернардинцев существом без стыда и совести, подвергая сомнению ее патриотизм и приписывая ей «необузданное честолюбие, готовое на всевозможные жертвы во имя миража царской власти», «ослепление своими тщеславными мечтами», выбор отчаянной погони за счастьем вместо мирной, но безвестной жизни¹¹⁸.

Историки останавливаются перед неясностью мотивировок поступков Марины («Неудивительно, что она могла питать высокие надежды, когда была подкреплена польскими вельможами и воинством, но почти непонятно, как она решилась остаться в России после освобождения своего из Коломны, и почему не возвращалась в Польшу»¹¹⁹), противоречивыми данными или — за их отсутствием — выдвигают собственные предположения о том, была ли Марина игрушкой в руках судьбы, как она сама признавалась, или «прежде всего жертвой своих собственных амбиций»¹²⁰.

Приведенные в данном обзоре тексты, в той или иной перспективе запечатлевшие «мерцающий», интригующе «чужой» образ Марины, как представляется, свидетельствуют о его неоднозначности и — несмотря на обилие исторических документов — неясности. Возможно, именно эта сложность, противоречивость, а иногда и таинственность этого образа, допускающие многообразие интерпретаций, в течение четырех столетий привлекают к нему историков, писателей, поэтов, способствуя тому, что Марина Мнишек в русской литературе стала чаще всего описываемой полькой¹²¹. Этот персонаж может выступать в произведениях, пафос которых — борьба с иноземным захватчиком, как это происходит, например, у М. Хераскова в «Освобожденной Москве» (1798), у Г. Державина в «героическом представлении с хорами и речитативами» «Пожарский, или Освобождение

Москвы» (1806), в новейшей «летописи Смутного времени» исторического романиста Д. Евдокимова «Дмитрий Пожарский» (2001), а русские поэты — Пушкин, Мандельштам — могут видеть в противоречивом образе Марины черты незаурядных женщин, которых они любили.

Необычайность этой личности — особенно для русского культурного сознания, сплетение полярных черт, драматические перипетии судьбы сделали Марину Мнишек не только вызывающей смешанные чувства героиней исторической сцены, но и демоническим персонажем фольклора, и притягательным литературным образом, содержащим в себе необходимые для искусства контрасты: «Гордость ее, высокомерие, пронырливость, разврат возбуждают омерзение, но необыкновенное красноречие, вовсе не женское бесстрашие, ничем непреклонная твердость, или лучше сказать упрямство, приводят в удивление. История представляет не много женских характеров подобных Марине: природа производит их так же редко, как грозные, опустошительные явления в физическом мире»¹²².

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Мандельштам О. Стихотворения. Проза (Серия «Библиотека поэта») / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Л. Гаспарова. М., 2001. С. 216, 663. Стихотворение датировано 5.04–18.06.1935 г. и написано под впечатлением воронежского концерта Г. Бариновой, напомнившей поэту Марину Цветаеву. Как и многие другие стихотворения Мандельштама, данное ставит перед интерпретатором трудную задачу, заставляя вспомнить суждение о поэте Георгия Иванова: «Его чудесный талант, его огромное врожденное мастерство были не в его власти, а во власти той стихии музыки, образов, ритмов и слов, которой он дышал. Его вечно разгоряченная, изобретательная, неустойчивая голова была переполнена противоречивыми идеями, высокой умной путаницей...» (Иванов Г. Собрание сочинений в трех томах. М., 1994. Т. 3. С. 617). «Длиннопалость» Паганини побуждала связывать его со сферой демонического; среди бегущих за ним «всех скрипачей» («...с польским балом») — считавшийся польским Паганини Кароль Липиньский, автор скрипичных переложений Шопена (см.: Кац Б. А. В сторону музыки. Из музыковедческих примечаний к стихам О. Э. Мандельштама // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 72–74). Используя живописные («холм кудрей» известен по портретам) и музыкальные образы, поэт помещает Марину в контекст мотивов 'демоническое' — 'польское'.
- ² Хорева В. А. Имагология и изучение русско-польских литературных связей // Польки и русские в глазах друг друга. М., 2000. С. 27.
- ³ См., например: Устрялов Н. Г. Сказания современников о Димитрии Самозванце. СПб., 1834; Адельунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года и их сочинений. М., 1864; Платонова С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб., 1913.

- 4 См.: *Pamiętnik St. Niemojewskiego (1606–1608)* / Wyd. A. Hirschberg. Lwów, 1899. S. 69–95, 102, 119.
- 5 *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец / Пер. с фр. В. П. Потемкина. Серия «Рукописные и печатные источники — Смутное время и Отечественная война» (к юбилеям 1613 и 1812 годов) / Под ред. И. Н. Бороздина. М., 1912. Т. 1. С. 395.
- 6 Ср. показательную деталь в ее воспоминаниях о «дедушке» — историке Д. И. Иловайском, в труде которого по истории России (1885) отдельный том посвящен эпохе Смуты (см. новейшее издание: *Иловайский Д. И.* Новая династия. М., 1996): старику нет дела до нее, Марины, «когда она не Мнишек» (*Цветаева М.* Дом у старого Пимена // *Вольный проезд: Автобиографическая проза.* СПб., 2001. С. 163). «Цветаева любила отождествлять себя с Мариной Мнишек и вводила Мандельштама в православие, как Мнишек — Лжедмитрия в католичество» (*Гаспаров М. Л.* Комментарии // *Мандельштам О.* Стихотворения. Проза. С. 629).
- 7 Ср. посвященные ей стихотворения «На развалинах, уложенных соломою...», «В разноголосице девического хора...», «Не веря воскресенья чуду...» (1916). См.: *Гаспаров М. Л.* Комментарии // *Мандельштам О.* Стихотворения. Проза. С. 628–630; *Мандельштам Н. Я.* Вторая книга / Предисл. и примеч. А. Морозова. М., 1999. С. 255–256, 466, 471–474; ср. также «Историю одного посвящения» (*Цветаева М.* Избранная проза в двух томах / Сост., подгот. текста А. Сумеркина. Нью-Йорк, 1979. С. 341–366), стихотворения «Никто ничего не отнял...», «Ты запрокидываешь голову...», «Откуда такая нежность?...», «Из рук моих — нерукотворный град...»). Примечательно, что и эти посвященные Мандельштаму стихотворения Цветаевой, и ее первое стихотворение, связанное с самозванцем и Мариной Мнишек, датированы одним и тем же 1916 г.
- 8 *Карамзин Н. М.* История государства Российского. В 3-х кн. (Серия «Библиотека мировой литературы»). СПб., 2000. Кн. 3. С. 495–496.
- 9 *Цветаева Марина.* Сочинения в двух томах / Вступ. ст. Вс. Рождественского. Сост., подгот. текста, коммент. А. Саакянц. М., 1984. Т. 1. С. 497–498.
- 10 Ср. стихотворение «Димитрий! Марина! В мире...» (*Цветаева М.* Стихотворения и поэмы в пяти томах / Сост., подгот. текста А. Сумеркина. Нью-Йорк, 1983. Т. 1. С. 213), датированное 1916 г., который отмечается комментатором как начало «настоящей» Цветаевой (*Цветаева Марина.* Сочинения в двух томах / Сост., подгот. текста, коммент. А. Саакянц. М., 1984. Т. 1. С. 479), возможно также и «Настанет день, — печальный, говорят!...», «Говорила мне бабка лютая...», «Всюду бегут дороги...» (1916, несохранившаяся пьеса «Дмитрий Самозванец») (1919–1920).
- 11 *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец. С. 411–412.
- 12 См. *Schiller F. Demetrius* // *Schillers Werke.* Weimar, 1971. Bd. 11. S. 92, 113, 132, 194. Рус. пер.: *Шиллер И. Х. Ф.* Собр. соч. В 8 т. М.; Л., 1949. Т. 5.
- 13 *Костомаров Н.* Марина Мнишек (1885) // *Самозванцы и пророки.* М., 1997. С. 156, 161.
- 14 В настоящем очерке они представлены скорее не в хронологическом, а в тематическом порядке.
- 15 *Цветаева Марина.* Сочинения в двух томах. С. 155.
- 16 См.: *Hirschberg A.* Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII. Lwów, 1901; *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII в. М., 1978; *Станиславский А. Л.* Гражданская война в России XVII в. М., 1990.

- 17 Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд. подгот. А. П. Евгеньева, Б. Н. Путилов. М., 1977. Изд. 2-е (Серия «Литературные памятники»). С. 63.
- 18 Хронограф 1617 г. // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII веков / Сост. и ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. М., 1987. С. 329.
- 19 «Временник» Ивана Тимофеева // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII в. С. 307.
- 20 Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII в. С. 137–139.
- 21 «Сочетание трех последних отзывов об одном и том же лице, встречаемое в писаниях тогдашних грамотеев, разумеется, поражает нас теперь; но предки наши не обращали внимания на различные исповеданий; они употребляли эти три названия — латынец, лютер и калвин как бранные, говоря о всяком чужом, о всяком западнике» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1960. Кн. V. Т. 9. С. 341).
- 22 Позже, согласно исследованиям П. Пирлинга, «этот царедворец забывает о прежней своей угодливости. Почти без всяких доказательств он утверждает, что во всем своем позоре виновата сама же Марина» (Пирлинг П. Димитрий Самозванец. С. 411–412).
- 23 Дневник Марины Мнишек / Пер. В. Н. Козлякова. Отв. ред. Д. М. Буланин (Серия: *Studiorum Slavicorum Monumenta*). СПб., 1995. Т. 9. С. 46–47.
- 24 Пирлинг П. Димитрий Самозванец. С. 344.
- 25 Геркман Элиас. Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском, виновником которых был царевич князь Димитрий Иванович, несправедливо называемый самозванцем // Хроники Смутного времени. Сост. А. Либерман, Б. Морозов, С. Шокарев (Серия «История дома Романовых в мемуарах современников XVII–XX вв.»). М., 1998. С. 227.
- 26 Елассонский Арсений. Мемуары из русской истории (1619) // Хроники Смутного времени. С. 182.
- 27 «Временник» Ивана Тимофеева. С. 313.
- 28 См.: Папченко А. О русской истории и культуре. СПб., 2000. С. 29.
- 29 См.: Успенский Б. А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Избранные труды. Т. I. Семпотика истории. Семпотика культуры. М., 1994. С. 90–91.
- 30 Исторические песни XVII в. М.; Л., 1966. С. 40.
- 31 Миллер В. Ф. Исторические песни русского народа XVI–XVII вв. Пг., 1915. С. 585, 591. Ср.: «А в пятницу праздник Николин день / Князи и бояра пошли к заутрени, / А Гришка Расстрига он в баню с женой» (Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд. подгот. А. П. Евгеньева, Б. Н. Путилов. М., 1977. Изд. 2-е (Серия «Литературные памятники»). С. 63).
- 32 Пушкин отмечал в этом романе верность исторической правде: «Загоскин точно переносит нас в 1612 год. Добрый наш народ, бояре, козаки, монахи, буйные шипши — все это угадано, все это действует, чувствует, как должно было действовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына» (Пушкин А. С. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году (1830) // ПСС. Л., 1978. Т. 7. С. 73).
- 33 Загоскин М. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году // Исторические романы. М., 1993. С. 25–26. Ср.: «А злая ево жена Маринка-безбожница / Сорокою

- обернулася / И из полат вон она вылетела» (Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. С. 64).
- 34 Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1917. Ч. III. С. 36, 47.
- 35 Ср. у Геркмана: «Димитрий собрал многочисленное войско, благодаря помощи и стараниям <...> воеводы Сендомирского, желавшего, как говорят, выдать свою дочь за Димитрия, как только он будет принят и признан законным наследником России, что и случилось впоследствии» (Геркман Элиас. Историческое повествование. С. 220–221). Предложение Лжедимитрия «было принято, но брак отложен до утверждения жениха на престоле московском» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1960. Кн. IV. Т. 8. С. 409–410). Ср. о втором самозванце: «Но от супружеской жизни они должны были воздержаться, пока Димитрий не овладеет московским престолом и не сядет на него. В этом Димитрий должен был поклясться перед Богом»; «дал клятву ее отцу, воеводе Сандомирскому, что не разделит с ней ложа, прежде чем не сядет на царский трон» (Буссов Конрад. Московская хроника 1584–1613 // Хроники Смутного времени. С. 107, 115).
- 36 Здесь и далее цит. по изданию: Пушкин А. С. Борис Годунов // ПСС. Л., 1978. Т. 5. С. 247.
- 37 См.: Пушкин А. С. Наброски предисловия к «Борису Годунову» (1829) // ПСС. Л., 1978. Т. 7. С. 112, 519–520.
- 38 Буссов Конрад. Московская хроника 1584–1613. С. 53. В приводимой здесь речи Юрия Мнишка, напротив, утверждается: «Мы не навязывали нашу дочь вашему государю, он же через вас, князей и бояр, весьма настойчиво добивался ее и сватался к ней. Мы не хотели давать своего согласия, не получив прежде согласия всего вашего государства, а также свидетельства, что он истинный наследник престола» (Там же. С. 71). Ср. также свидетельства о том, что Сендомирский воевода, «человек умный и предусмотрительный», предварительно обсуждал предстоящий брак с боярами и высшими московскими чинами, в кн.: Геркман Элиас. Историческое повествование... С. 224.
- 39 Пирлинг П. Димитрий Самозванец. С. 380.
- 40 Книга называемая Новый летописец // Хроники Смутного времени. С. 306.
- 41 Хронограф 1617 г. С. 329. Ср. также: «...заботился о нем и обещал ему дочь свою, Марианну, в супруги, что потом и исполнил, но радости от этого ему немного было» (Pamiętniki Samuela Maskiewicza / Wyd. J. Zakrzewski. Wilno, 1838. S. 2).
- 42 Котошихин Григорий. О Московском государстве в середине XVII столетия // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга вторая / Сост. и ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. М., 1989. С. 254.
- 43 Елассонский Арсений. Мемуары из русской истории. С. 175, 180.
- 44 Иначе эта сцена описана у Буссова — царица находилась с придворными дамами в своей комнате и, «будучи маленького роста, пряталась под юбку гофмейстерины» (Буссов Конрад. Указ. соч. С. 64). Ср. описание картины художника А. П. Рябушкина, изобразившего эту сцену (Костомаров Н. Марина Мнишек. С. 155–156, 161).
- 45 Горсей Джером. Записки о России XVI — начала XVII в. / Вступ. ст., пер. и коммент. А. А. Севастьяновой. М., 1990. С. 136.
- 46 Ср.: «А какова, скажи, моя Марина? / Я только ей промолвил: ну, смотри! / Не упускай Димитрия!... и вот / Все кончено. Уж он в ее сетях» (Пушкин А. С. Борис Годунов. С. 237). Образ ловкой панны Мнишек, завладевшей сердцем молодого цесаревича, присутствует в текстах самого разного рода — например, в драме Шиллера «Деметриус», в курсе лекций по русской истории С. Ф. Платонова.

- 47 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IV. Т. 8. С. 409. Еще менее лестна характеристика Мнишека у Н. Костомарова (*Костомаров Н. Марина Мнишек. С. 157–158*). Ср. иную расстановку акцентов у Шиллера, изобразившего Мнишека слабым отцом, идущим на поводу сумасбродки-дочери.
- 48 Ср.: «Он говорит с одной моей Мариной, / Мариною одною занят он» (*Пушкин А. С. Борис Годунов. С. 237*).
- 49 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 4. Т. 8. С. 408–409, 433, 449.
- 50 Венчание, на котором присутствовала королевская семья, а жениха представлял посол Афанасий Власьев, состоялось в Кракове 22 ноября 1605 г., в Москву Марина отправилась в марте 1606 г. (*Дневник Марины Мнишек. С. 30–34*). Уже эта церемония могла оставить, как свидетельствуют документы сейма 1605 г., некоторые сомнения в искреннем чувстве жениха — на прямой вопрос кардинала посылу, «не обещался ли великий царь кому другому», Афанасий уклончиво отвечал: «Разве я знаю; царь ничего не поручил мне на этот счет», и лишь по настоянию присутствующих добавил: «Если бы он дал обещание другой девице, то не послал бы меня сюда» (цит. по: *Документы и материалы о свадьбе Лжедмитрия I и Марины Мнишек // Дневник Марины Мнишек. С. 173*).
- 51 См.: Сказания Массы и Геркмана о Смутном времени в России. Издание Археологической комиссии. СПб., 1877. Н. Костомаров не видит оснований не доверять сведениям Массы о «циническом разврате» Дмитрия, осуждает его безнравственный поступок по отношению к Ксении Борисовне (*Костомаров Н. Лжедмитрий Первый // Самозванцы и пророки. С. 154*).
- 52 Hirschberg A. Marina Mnischówna. Lwów, 1906. S. 14; ср. сведения, приводимые Буссовым о том, что Ксения была «отдана Дмитрию в наложницы» (*Буссов Конрад. Указ. соч. С. 48*); см. также: «Временник» Ивана Тимофеева. С. 309; Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IV. Т. 8). С. 436. Пушкин, сравнивая Дмитрия с Генрихом IV, отмечает, что у последнего «не было на совести Ксении — правда, это ужасное обвинение не доказано, и я лично считаю своей священной обязанностью ему не верить» (*Пушкин А. С. Наброски предисловия к «Борису Годунову». С. 113, 520*).
- 53 Пирлинг П. Дмитрий Самозванец. С. 336–337.
- 54 В исторической повести А. Бестужева-Марлинского «Изменник» (1823), посвященной смутному времени, также не находится места для образа Марины.
- 55 В 1831 г. Пушкин язвительно писал в «Телескопе» по этому поводу: «Но разве А. С. Пушкин не дерзнул вывести в своем „Борисе Годунове“ все лица романа г. Булгарина и даже воспользоваться многими местами в своей трагедии (писанной, говорят, пять лет прежде и известной публике еще в рукописи)?» (*Феофилакт Косичкин. Торжество дружбы, или Оправданный А. А. Орлов // Пушкин А. С. ПСС. Л., 1978. Т. 7. С. 175*). Булгарин был хорошо знаком с рукописным текстом Пушкина, поскольку явился автором «Замечаний на „Комедию о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве“», подготовленных в 1826 г. по поручению Бенкендорфа (Видок Фигларин. Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение / Изд. подг.: А. И. Рейтблат. М., 1998. С. 91–99). Ср., в частности, финал булгаринского романа, где в ответ на возведение нового царствования «народ молчал и как будто оцепенел» (*Булгарин Ф. Дмитрий Самозванец // ПСС. СПб., 1842. Т. 2. С. 338*).
- 56 Булгарин Ф. Дмитрий Самозванец. С. IX–XI, 212–213, 293, 296.
- 57 Пушкин А. С. ПСС. Л., 1979. Т. 10. Л., 1979. С. 141. Имеется в виду Екатерина Николаевна Раевская (1797–1885), старшая дочь генерала Н. Н. Раевского, вышедшая замуж (1821) за М. Ф. Орлова.

- 58 См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников / Вст. ст. В. Э. Вацуро. Сост. и примеч. В. Э. Вацуро, М. И. Гилельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. М., 1985. Т. 1. С. 52, 219, 502. «Злоречивый и колкий» Ф. Ф. Вигель упоминал о ней: «...была тогда очень молода и даже, говорят, исполнена доброты, которой через несколько лет и следов я не нашел» (Там же. С. 225; ср. также с. 316–317).
- 59 Черты женского образа этого стихотворения, отраженные зеркалом — «хитрый взор и гордость», присутствуют и в Марине «Бориса Годунова», где есть и аналогичная сцена перед зеркалом («Уборная Марины»).
- 60 См.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Л., 1989. С. 312.
- 61 См.: *Якобсон Р. О.* Тайная осведомительница, воспетая Пушкиным и Мицкевичем (1937) // Работы по поэтике / Вступ. ст. Вяч. Вс. Иванова. Сост. и общ. ред. М. Л. Гаспарова. М., 1987. С. 241–249; *Uzar E.* Kontrowersje wokół Karoliny Sobaniańskiej // Aleksander Puszkina a Słowiańszczyzna. W 160 rocznicę śmierci poety. Materiały Międzynarodowej Konferencji naukowej — Olsztyn 1997 / Acta Polono-Ruthenica III / Red. B. Białokozowicz. Olsztyn, 1998. S. 355–366.
- 62 *Пушкин А. С.* ПСС. Т. 10. С. 211–212.
- 63 Н. М. Карамзину и посвящена трагедия, в рукописи первоначально озаглавленная «Комедия о царе Борисе и Гришке Отрепьеве». Исторический материал, содержащийся в т. 10 и 11. «Истории государства Российского», оказался Пушкину напоминающим его собственное время. О замысле трагедии Пушкин писал Вяземскому 13.09.1825: «Возьми конец десятого и весь одиннадцатый том, вот тебе и план» (*Пушкин А. С.* ПСС. Л., 1979. Т. 10. С. 141).
- 64 *Томашевский Б.* Пушкин. М., 1990. Т. 2. С. 158.
- 65 Ср.: «Правда ли, что он молодчина собою? — спросил стрелец. — Какой молодчина!.. Ни дать ни взять польский жид» (*Загоскин М.* Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. С. 26). Возможно, здесь Пушкин следует за обширным историческим очерком Ф. Булгарина (см. об этом: *Рейтблат А. И.* Ф. В. Булгарин и Польша // Русская литература. 1993. № 3. С. 72–82; Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение. С. 98), в свою очередь ссылавшегося на польского историка XVII в. Ст. Кобержницкого, в труде которого о правлении Владислава (*Historia Vladislai, Poloniae et Sueciae Principis. 1655*, на русский язык переведен Ю. Боричевским и частично опубликован в «Сыне Отечества», 1842, № 3–5) утверждалось, что после смерти второго Самозванца в его комнате были найдены «Библия и Талмуд на еврейском языке и кожаные ящички на ремнях, привязываемые жидами ко лбу во время молитвы: сие заставляет думать, что он был жид» (*Булгарин Ф.* Марина Миших, супруга Димитрия Самозванца // Северный архив. 1824. № 20. С. 58–59). Среди разнообразных известий о его личности (литвин Богдан, сын Курбского, стародубский школьный учитель и др.) действительно имеются сведения о том, что он был крещеным или некрещеным евреем (*Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1990. С. 633–661).
- 66 Ср. письмо Марины Миших польскому королю Сигизмунду III от 15.01.1610 г.: «Всего лишила меня превратная фортуна, одно лишь законное право на московский престол оказалось при мне, скрепленное венчанием на царство, утвержденное признанием меня наследницей и двукратной присягой всех государственных московских чинов. Теперь я все это представляю на милостивое и внимательное рассмотрение Вашего Королевского Величества» (*Дневник Марины Миших. С. 190*).
- 67 *Пушкин А. С.* ПСС. Т. 7. С. 112, 519–520. Por.: *Mucha B.* Maryna Mniszchówna w ocenie Aleksandra Puszkina // Aleksander Puszkina a Słowiańszczyzna. S. 66–71.

- 68 См. об этом инвариантном мотиве: *Жолковский А.* Заметки о «Царскосельской статуе» // *Russian Literature Journal / Special Pushkin issue / Ed. by S. Senderovich.* 35 (1981), № 120. P. 127–149; *Zholkovsky A.* Pushkin's Invariants // *Themes and Texts. Toward a Poetics of Expressiveness.* Ithaca and London, 1984.
- 69 Ср.: «Марина, отвергшая самые выгодные замужества, хладнокровная к самым пылким изъяснениям страсти польского юношества...» (*Булгарин Ф.* Марина Мнишек, супруга Димитрия Самозванца // *Северный архив.* 1824. № 1. Ч. 9. С. 5–6).
- 70 *Булгарин Ф.* Димитрий Самозванец. С. 160, 164, 173.
- 71 *Елассонский Арсений.* Мемуары из русской истории. С. 185. В другом месте (С. 186) автор считает необходимым еще раз упомянуть, что царь Василий не желал взять Марину себе в супруги.
- 72 *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец. С. 396.
- 73 *Hirschberg A.* Marina Mniszchównia. S. 7–8.
- 74 *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец. С. 82.
- 75 *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец. С. 237, 500, 82. Ср.: «Чувствовала ли она любовь к нему — на то нет указаний, но скорее надобно полагать, что тут происходило то, что всегда почти происходит при заключении высоких супружеских союзов: представления о наружном блеске и почете отодвигают на дальний план мысли о сердечной привязанности» (*Костомаров Н.* Марина Мнишек. С. 159).
- 76 *Pollak R.* Wstęp // *Górnicki L.* Dworzanin polski / Wyd. R. Pollak. Wrocław, 1954. S. LVIII.
- 77 Ср.: «Не другою быть — сподручным! Не единою быть — вторым!» (*Цветаева М.* Сочинения. Т. 1. С. 155).
- 78 *Бородин Л.* Царица Смуты. М., 1998.
- 79 *Хорев В. А.* Имагология и изучение русско-польских литературных связей. С. 30.
- 80 *Булгарин Ф.* Марина Мнишек, супруга Димитрия Самозванца // *Северный архив.* 1824. № 2. С. 61, № 21/22. С. 130, 124.
- 81 Народная проза (Серия «Библиотека русского фольклора») / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. С. Н. Азбелева. Москва, 1992. Т. 12. С. 98.
- 82 *Геркман Элиас.* Историческое повествование... С. 236–237.
- 83 *Буссов Конрад.* Московская хроника 1584–1613. С. 128–131, 120.
- 84 *Булгарин Ф.* Димитрий Самозванец. С. 308–310.
- 85 *Костомаров Н.* Марина Мнишек. С. 160–161. Это подтверждается, например, письмами Марины к отцу из тушинского лагеря (1609), содержащими жалобы на отсутствие там к ней «почтения и милости» (*Дневник Марины Мнишек.* С. 187, 189), свидетельствами о ее пассивной роли как при Воре, так и при Заруцком (*Новый летописец.* С. 338, 360, 372; *Геркман Элиас.* Историческое повествование... С. 244, 251, 258).
- 86 Ср. у Пушкина: «И путает, и вьется, и ползет, / Скользят из рук, шипит, грозит и жалит. Змея! Змея!» (*Пушкин А. С.* Борис Годунов. С. 247).
- 87 «Временник» Ивана Тимофеева. С. 311.
- 88 *Елассонский Арсений.* Мемуары из русской истории. С. 204, 185.
- 89 *Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1990. С. 633.
- 90 См.: *Макарий.* История русской церкви. М., 1857. Т. 5. Гл. II–III. Однако и в этом поведении Марины оставляет сомнения: она бесспорно благочестивая католичка, состоит в переписке с Ватиканом, однако, прося в ней о поддержке, ложно пред-

- ставляет войну как ведущуюся в интересах католической церкви, во время коронации принимает причастие из рук патриарха, а в 1611 г. отдает калужанам своего сына, чтобы его крестили и воспитали в православной вере (*Hirschberg A. Marina Mnischówna*. S. 115, 339).
- 91 Ср. у М. Цветаевой: «Ты — Лжедмитрию смогла быть Лжемариной!» (*Цветаева М. Сочинения*. Т. 1. С. 156).
- 92 *Буссов Конрад*. Московская хроника 1584–1613. С. 65, 74.
- 93 *Ключевский В. О.* Курс русской истории. М., 1917. Ч. III. С. 37, 40.
- 94 *Костомаров Н.* Марина Мнишек. С. 156–157.
- 95 *Геркман Элиас*. Историческое повествование... С. 227–230. Здесь примечателен и мотив раздевания трупов Дмитрия и Басмапова (С. 230–231).
- 96 *Пирлинг П.* Дмитрий Самозванец. С. 395.
- 97 *Буссов Конрад*. Московская хроника 1584–1613. С. 122.
- 98 *Елассонский Арсений*. Мемуары из русской истории. С. 183.
- 99 *Буссов Конрад*. Московская хроника 1584–1613. С. 107.
- 100 *Елассонский Арсений*. Мемуары из русской истории. С. 186. Следует отметить, что этот взгляд разделяли не все современники — так, Элиас Геркман считал, что в Москве на самом деле погиб двойник Дмитрия, а сам он спасся и воссоединился с Мариной в лагере под Коломенским (*Геркман Элиас*. Историческое повествование... С. 231, 244). Однако если это так, то не было необходимости в повторном венчании, сведения о котором имеются в ряде источников, например: «Царяцу в жены взял, но венчались они тайно» (*Pamiętniki Samuela Maskiewicza*. S. 100).
- 101 *Hirschberg A. Marina Mnischówna*. S. 94–95, 134.
- 102 *Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1990. Вып. 3. Гл. XXV.
- 103 *Пирлинг П.* Дмитрий Самозванец. С. 411–412.
- 104 Повесть о победах Московского государства / Изд. подгот. Г. П. Енин. Л., 1982 (Серия «Литературные памятники»). С. 48.
- 105 *Пирлинг П.* Дмитрий Самозванец. С. 411–412.
- 106 *Булгарин Ф.* Дмитрий Самозванец. С. IX–X.
- 107 *Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. С. 660. Ср.: «Самозванец, или лучше Марина ни за что не соглашалась покориться королю и отказаться от престола» (*Булгарин Ф.* Марина Мнишек, супруга Дмитрия Самозванца // Северный архив. 1824. № 21/22. С. 124).
- 108 *Буссов Конрад*. Московская хроника 1584–1613. С. 122.
- 109 *Hirschberg A. Marina Mnischówna*. S. 251–252. Марина болгаринского романа в этом эпизоде плачет «не по мужу, а по царству» (*Булгарин Ф.* Дмитрий Самозванец. С. 335).
- 110 См.: *Pamiętnik St. Niemcewskiego*. S. 102.
- 111 *Пирлинг П.* Дмитрий Самозванец. С. 454–455.
- 112 См.: *Kobierzycki St. Historia Vladislai, Poloniae et Sueciae Principis*. Dantisci. 1655; *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Кн. 5. Т. 9. С. 27.
- 113 *Геркман Элиас*. Историческое повествование... С. 260.
- 114 *Арсений Елассонский*. Мемуары из русской истории. С. 204. Ср.: «В Москве казнили его с Мариной и сыном ее» (Повесть о победах Московского государства / Изд. подгот. Г. П. Енин. Л., 1982 (Серия «Литературные памятники»). С. 75).

- ¹¹⁵ Цит. по: *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Кн. 5. Т. 9. С. 36; ср.: *Новый летописец*. С. 386; *Буссов Конрад*. Московская хроника 1584–1613. С. 141.
- ¹¹⁶ *Hirschberg A.* Marina Mniszchówna. S. 336–337.
- ¹¹⁷ *Булгарин Ф.* Марина Мнишех, супруга Димитрия Самозванца // *Северный архив*. 1824. № 21/22. С. 136.
- ¹¹⁸ *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец. С. 454–455.
- ¹¹⁹ *Булгарин Ф.* Марина Мнишех, супруга Димитрия Самозванца. С. 136.
- ¹²⁰ *Hirschberg A.* Marina Mniszchówna. S. 338–339.
- ¹²¹ См., в частности: *Orłowski J.* Miecze i gałazki oliwne. Warszawa, 1995. S. 9, 22, 41.
- ¹²² *Булгарин Ф.* Марина Мнишех, супруга Димитрия Самозванца. С. 136.

И. И. Свирида

О гедонистической ипостаси топоса Варшавы

Край польский наречен обителью забавы;
Бог вкуса грациям в нем храм соорудил.
В разсеяньи, в шуму, в приятном чувств волненьи,
Средь неги и любви, в сердечном упоеньи,
Я радости не раз из полной чаши пил! —

так в стихотворении «Мечтания на берегах Волги» Федор Глинка, поэт, декабрист, масон и автор «Записок русского офицера», вспоминал о своем пребывании в землях Речи Посполитой, по которым неоднократно проходил во время антинаполеоновской кампании, дважды побывав в Варшаве.

При всей субъективности и интимности лирической исповеди поэта-романтика в этих, как и в других своих текстах, Глинка выразил гедонистическое представление о Польше, которое к тому времени уже достаточно широко бытовало в русском сознании и, казалось бы, противоречило характеру отношений с ней России.

Это представление особенно проявилось в восприятии Варшавы как города удовольствий со всеми сопутствующими атрибутами. Оно было частью более сложного, податливого на изменения образа польской столицы, который складывался в сознании русских и определялся целым комплексом культурно-психологических и историко-политических обстоятельств.

Топос Варшавы в ментальности как русских людей, так и представителей других народов содержал также универсальные черты. Подобно топосу других европейских городов с большой исторической судьбой, он восходил к мифологизированному библейскому топосу города-девы и города-блудницы¹. Каждый из них был на свой лад и Иерусалимом небесным и Иерусалимом земным, Иерусалимом святым и грешным Вавилоном.

Гедонистическая ипостась Варшавы включала представление об особой роли в ее жизни женщин. И этот признак имел свои мифологические корни, о чем свидетельствует варшавский герб с его феминистской символикой. Если деву Москву охранял св. Георгий, то Варшава в фантастическом образе первоначально девы-птицы (самый старейший сохранившийся варшавский герб; вторая пол. XIV в.), девы-дракона (герб 1599 г.), а затем и девы-сирены защищала себя сама. Этот

последний герб известен лишь в изображении 1795 г., в котором сирена по-прежнему держала меч и щит. Однако в отличие от предшественниц она обрела изящные рокайльные формы и рыбий, а не драконий хвост². В соответствующем контексте прочитывается и символика герба Нового мяста Варшавы, изображавшего женщину, танцующую с единорогом (XVI в.).

Представление о Варшаве как красивом, богатом городе, в котором женщины играют не последнюю роль, можно обнаружить в русских текстах уже XVII в. В описании польской столицы, сделанном стольником П. А. Толстым в 1797 г., при всей документальной сдержанности автора Варшава предстает полной жизни и богатства: там «лавки каменные, изрядные, в которых зело много всяких таваров», и «харчевых <...> немало»; в каменных погребях «много продажных виноградных вин разных, которых поляки нередко и немало употребляют»; «в лавках сидят мещане, богатые люди <...> и жены их, и дочери-девицы, и в зазор себе того не ставят»; «в Аршаве иноземцов приезжих из разных государств бывает немало»; «по <...> Висле ходят суда великие с хлебом и со всякими таварами», а «по городу <...> ездят сенаторы и жены их, дочери-девицы в коретах и в зазор себе того не ставят» — для русского человека того времени это было удивительно³.

С интересом посещая и описывая достопримечательности города, богатство дворцов, в особенности Радзивиллов и нунция, а также «королевского подворья» в Вилянове, Толстой смотрит на Варшаву со стороны, не включаясь в ее шумную жизнь.

Иное дело спустя полвека А. Р. Воронцов. Он попал сюда в 1758 г., семнадцатилетним, когда направлялся на учебу в кавалерийскую гвардейскую школу во Францию. В это время, укрываясь от опасностей Семилетней войны, в Варшаве находился Август III, который обычно не жаловал повышенным вниманием свою варшавскую резиденцию. Воронцов оказался в гуще придворной жизни. Министр Г. Брюль позаботился о жилье и карете и представил его королю. Станислав Понятовский, с которым Воронцов был знаком по Петербургу, отвел его к отцу.

Это была первая зарубежная поездка будущего дипломата, однако позднейшие впечатления не заглушили юношеских воспоминаний. «Мне очень нравилась жизнь в этом городе, — записывал Воронцов под конец жизни о пребывании в Варшаве. — Не было дня, чтобы я не был приглашен на какой-нибудь большой обед и на какой-нибудь вечер <...> И образ жизни польских магнатов, и их роскошь, и уважение, которым они пользовались, — все поражало меня и заставляло думать, что нет более завидного положения, чем положение польского вельможи»⁴. Так Варшава — первая лежавшая на

жизненном пути Воронцова европейская столица — предстала ему вольным, богатым, открытым для удовольствий городом, столь отличным своим духом от атмосферы Петербурга времени Елизаветы I, хотя и царица не чуждалась удовольствий.

Воронцов оказался не одинок в своем отношении к Варшаве. Этот город, особенно в станиславовское время, обнаруживал притягательную силу не только для русских — в этом они не отличались от путешественников, приезжавших в Речь Посполитую из разных частей Европы⁵. Однако русские попадали туда обычно по службе — штатской или военной. Их восприятие Варшавы часто формировалось вопреки предназначенной им официальной миссии, а также вопреки враждебным по отношению к Польше историческим событиям, творцами или участниками которых они сами были.

Тем не менее русские включались в жизнь варшавского общества столь активно, что представители российских властей в Польше считали необходимым препятствовать этому, в результате один из сотрудников российского посольства был даже арестован за посредничество в любовной переписке между кем-то из русских и польской дамой (1771)⁶.

Однако жизнь брала свое, о чем говорит курьезный дневник поручика Васильева, служившего при штабе русского корпуса в Варшаве. Дневник в духе того времени предназначался для широкого круга знакомых, и они, вероятно, с интересом читали, как его автор, «одевшись в платье маскарадное и в маске, взяв с собой монтье, ездил на редут, учрежденный на Новом месте, в доме принца Сулковского, в который приехавши, увидел знатных особ и других премножество, обращающихся в танцах»⁷. Иначе проводили время солдаты. За гуляние с ними, как говорится в дневнике, девицы Каролинка и Доротея получили «боевые удары».

Сообщал поручик и о том, как угощал друзей в трактире «у Грибля» (т.е. у Грёбля), где «музыка была инструментальная, две скрипки и два гобои, а при том пели изрядно два мальчика и одна девушка». Российские военные привыкли к иной, полковой, музыке, которая со времени разделов зазвучала и в Варшаве. «Несколько раз выступит российский оркестр из 130 человек с исполнением военной музыки, а также хоров и знаменитой музыки для труб, которую будут играть 48 особ. Будут исполнены <...> также новые польские танцы», — сообщала в сентябре 1792 г. польская газета⁸. В 1831 г. один из офицеров полка, вступившего в Варшаву, записывал, что «музыканты заиграли было марш „Еще Польша не згинела“, но полковой командир <...> велел немедленно отменить, и заиграли марш из *Dame Blanche*»⁹.

Фонвизину, который попал в польскую столицу осенью 1777 г., Варшава также предстала полным развлечений городом, где «время летит нечувствительно»¹⁰. Правда, он вращался совсем в другом обществе — в Варшаве его принимали на высоком уровне, так как хорошо знали, что через него в Петербурге проходила вся польская дипломатическая переписка кабинета Н. И. Панина, и сам король сожалел, что не успел оказать Фонвизину «всей аттенции». В письмах в Россию он сообщал, что хотя «многие из деревень своих еще не возвратились», а дом гетманши Огиньской «есть теперь один, в который весь город вседневно собирается»¹¹, однако всякий вечер после спектаклей они с женой были званы на ассамблеи. В театре будущий автор «Недоросля» успел посмотреть «комедии с десятков, переводных и оригинальных. Играют изрядно», — полагал Фонвизин¹².

Русский посланник О. М. Штапельберг, у которого Фонвизин, по собственным словам, «перезнакомился со всею Варшавою»¹³, каждый день возил его с визитами, которые были «возвращены»¹⁴. «В две недели нашего здесь пребывания я столько со всеми стал знаком, что мог бы вам отвечать на все [вопросы], — подводил Фонвизин итог пребывания»¹⁵. В целом же он осудил Варшаву сурово: «Развращение в жизни дошло до крайности <...> Развестись с женою или сбросить башмак с ноги здесь все равно. Дуэли здесь <...> всечасные»¹⁶. Еще П. Толстой осуждал поляков, что они любят «без размышления побиваться и гинуть»¹⁷. Теперь Варшаве в глазах русских добавились новые грехи. Скептически воспринял Фонвизин стиль одежды варшавских женщин, который обычно вызывал одобрение иностранцев. Отнеся его к числу польских *des ridicules*, он писал: «Женщины одеваются как кто хочет, но по большей части странно. В ассамблеи ездят иногда в шляпках, иногда в турецкой чалме; а если одета в волосах [т. е. в парике], то на голове башни»¹⁸.

В 1792 г., во время Тарговицы и второго раздела Речи Посполитой, сюда попал Степан Протасьев. По собственным словам, он «поскакал рубить Поляков и очутился в Варшаве»¹⁹ — такой путь туда для русских военных был тогда типичным. Город предстал этому «капитану императорской армии» как «столица роскоши, свободы мыслей и ненависти к русским. Я был счастливее других, скоро научился [польскому] языку <...> меня полюбили там, и два с половиной года прошли очень весело <...> Это было лучшее время моей молодости», — вспоминал автор²⁰.

Наградив польских женщин многочисленными достоинствами — «их знает вся Европа <...> они умны, милы, любезны, свободны в обращении» — Протасьев при этом предостерегал, что «благородное кокетство [полек] имеет свои границы <...> [а] с Русскими — [и] <...> по-

хвальную цель. Кто способен, тот поймет это и будет осторожен. Я это испытал над собою»²¹, — добавлял он для убедительности. Так образ польской женщины, связанный с образом Варшавы, начал приобретать в глазах русских особый оттенок — это не только искушительница, но и патриотка.

В XIX в. утвердился образ польки как хранительницы польской *narodowości*, а политика постоянно будет вторгаться в сферу личных взаимоотношений поляков и русских, что имело трагические последствия для многих судеб. В 1824 г. А. С. Пушкин напишет: «И тот не наш, кто с девой вашей / Кольцом заветным сопряжен», полагая, что «И наша дева молодая» должна отвергнуть «Любовь народного врага» («Графу Олизару»). Национально-политические проблемы, осложненные конфессиональными, имущественными найдут отражение в российском законодательстве по вопросам брака²².

Пока же, в XVIII в., дело обстояло иначе, речь шла не о вопросах супружества, а Фонвизин писал из Варшавы Я. И. Булгакову: «Дамы польские очень любезны. Все наведывались о бывших в Варшаве моих согражданах с великим интересом»²³.

Бурная и драматичная история Варшавы постоянно меняла облик города. В 1800 г. Ф. П. Лубяновский писал: «Варшава сама на себя не походит. Уныние заступило место забав, коими она прежде столько славилась». Однако характерно, что в Лазенках он «ничего не заметил, кроме двух картин <...> Соломон приносит с глубоким и трогательным благоговением жертву Всевышнему, на другой — сей самый царь, покрытый уже сединами, в кругу прекрасных женщин, кажется желает разделить свое сердце между сими новыми его божествами»²⁴. Ф. Баччарелли действительно изобразил на одной из картин Зала Соломона прекрасных польских дам времени правления Станислава Августа, и Лубяновский из всей обширной иконографической программы оформления лазенковского дворца обратил внимание исключительно на эти полотна, напоминающие о куртуазно-либертинском дворе Станислава Августа. Ф. Глинка писал об этих картинах «Входите в большую светлую залу — и поражаетесь блеском живописи. Здесь видите красоту во всех видах и со всеми ее очарованиями. Живописец истощил все свое искусство, чтоб представить красавиц разных времен и народов в исторических и баснословных картинах... Какое собрание красавиц!»²⁵

Позднее Ф. Глинка писал о Лазенках: «Забудем на минуту сущность и предадимся мечтам. Видите ли вы, как великолепно сие жилище роскоши, любви и наслаждений... Какое очарование для глаз, слуха и обоняния. Вы идете по цветам — легкие ветерки отовсюду надувают на вас благоухание. Скрытые хоры музыки разливают слад-

чайшие звуки <...> переливаясь [они] кажутся томными вздохами в отдаленных гротах и цветущих переулках сада. Видите ли как прелестны эти пруды! Они так чисты, так светлы и так покойны, что кажутся огромными зеркалами, на свежей зелени положенными.

Берега их унизаны тысячами разноцветных огней. На сих-то водах, не на земле, щедрость, искусства и художества, истоща все свои усилия, воздвигли и украсили прелестнейший дворец, который, как Нарцисс, вечно глядится в чистые воды <...> Посмотрите! Посмотрите! Какой собор красот! Они выходят из кристальных палат на зеленый луг. Какая приятность в лицах, в речах, в воображении! Какая ловкость в движениях, в приемах! Это польки, составляющие двор любезного, умного и роскошного Понятовского. Как грации, богини, в легких, из ветра истканых одеждах, едва касаясь земли, как будто порхая по зелени лугов, гуляют они по садам»²⁶.

Репутация Варшавы как города удовольствий сохранялась вопреки всем неблагоприятным историческим событиям, и Федор Глинка, вступив в 1813 г. с армией в Герцогство Варшавское, мечтал отдохнуть в этом «большом роскошном городе <...> в обществе людей, где цветут еще изящные искусства, где после шума ветров и свиста пуль можно услышать прелестный голос женщины или очаровательные звуки музыки!». «В Варшаве всякий может удовлетворить страсти сорвать деньги, как бы велика она ни была», — полагал он²⁷.

Не только современную ему Варшаву, но и Польшу историческую Глинка представлял себе как место богатства и удовольствий. «Давно ли в огромных чертогах сих роскошной владетель пировал с гостями избранными, за пышным столом <...> и седые барды воспевали его подвиги военные? — описывал Глинка замок в Подгорцах, который увидел, направляясь с российской армией в Австрию через земли Речи Посполитой. — Давно ли девы юные, белорудые, прекрасные, при сладких мусикийских звуках, плясали с легкостью весенних ветерков?»²⁸

Первая встреча с современными ему польскими удовольствиями является русскому офицеру как акт свыше. Живя во времена язычества, можно было бы подумать, писал он, что «некая благотворительная богиня, видя нас идущих на смерть, восхотела показать нам в последний раз все радости жизни сей, и для того воздвигла на пути волшебный замок, в котором все пленяет и очаровывает»²⁹. Это чудесное явление воспринималось тем более остро по контрасту с окружающей природой — «осень свирепствовала, природа облеклась в траур <...> как вдруг Шеф наш <...> прислал сказать, что княгиня Ч*** приглашает всех офицеров на бал». Речь шла об Изабеле Любомирской из Чарторыхских и ее Ланьцуте. «Вихрь вальса», в котором

прекрасные обитательницы замка кружились с офицерами, дал автору повод сравнить картину «Похищение сабинянок», висевшую в балльном зале, с самим балом, «с тою только разностию, — отметил он, — что сии [сабинянки] одушевлены радостию и охотно последуют за мужчинами»³⁰.

Вероятно, Глинка не был голословен, так как вместе со своим шефом задержался в Ланьцуте на шесть недель, в то время как «все шесть колонн, составлявшие нашу [т.е. русскую] армию, прошли мимо» (она направлялась на помощь австрийцам).

Наилучшие впечатления у Глинки остались и от Варшавы. «Прекрасные трактиры (среди лучших он назвал Виленский, Гамбургский, Английский и Дрезденский), театр, лазенки и всякого рода удовольствия могли бы очаровать, разнежить закаленных в боях». Под лазенками в данном случае писатель имел в виду не парк, а действительные бани: «Какая роскошь купаться в лазенках! Входишь в прекрасную комнату, убранную зеркалами и диванами <...> Погружаешься в глубокую, внутри свинцом обложенную ванну. Отворяешь кран, — льется теплая вода; другой — брызжет прямо из Вислы студеная <...> Вода станет мутна, потяните за шнурок и она исчезнет! <...> И все это стоит 2 злота (120 коп. медью)»³¹ — удобства цивилизации всегда обращали на себя внимание русских в Варшаве. В.О.Михневич в конце XIX в. отметил, что в Варшаве много различных учреждений на потребности «людей небогатых, но выработавших в себе уже культурные привычки. И это во всем»³².

Впечатление Глинки от Варшавы на обратном пути из Парижа не совпало с ее ранее сложившимся у него образом. В окрестностях города «все пусто и уныло <...> высокие, мрачные дома так угрюмо на нас смотрят!... Кажется, что радость умерла здесь. Варшава вздыхает»³³. Однако уже в 1814 г. К. П. Колзаков, считавший 1815–1830 гг., проведенные в Варшаве, самыми счастливыми в своей жизни, писал, что с приездом в 1814 г. Вел. кн. Константина «заликовала Варшава, и загремела музыкой и увеселениями». В целом он полагал, что в «таком городе, как Варшава <...> невозможно было жить замкнуто»³⁴.

Местом развлечений стал и российский военный лагерь на Маримонте, где офицеры устроили около жилищ сады с цветниками, статуями, беседками. Лагерь, по словам Колзакова, стал местом гуляний и для варшавян. Русские заговорили по-польски. «Военная молодежь обзавелась коханками»³⁵.

Еще в 1830 г., накануне восстания, А.Х.Бенкендорф записывал, что «прибытие государя, императрицы, множества иностранцев и нунциев утишили ропот, по крайней мере по внешности, и Варшава приняла блестящий и очень оживленный вид. Балы и праздники следовали один за другим, со всею роскошью и со всем весельем богатой столицы»³⁶.

Однако в дальнейшем город надолго утратил праздничный и столичный образ. Один из участников подавления ноябрьского восстания писал, что в августе 1831 г. «Варшава представляла собою вид совершенно военного стана <...> нельзя и сказать, чтобы мы были в дружеском городе <...> На улицах еще мало видно жителей, лавки большею частию заперты»³⁷.

Тем не менее варшавские лавки много способствовали утверждению у русских репутации Варшавы как модного города. Фонвизин получал оттуда не только зубочистки, которые ему отправлял Бибииков, считавший Польшу «разорительной для кармана»³⁸ (еще Толстой в свое время жаловался, что в Варшаве «цена всему при московском высокая»). О. М. Штапельберг послал оттуда Фонвизину «*comme un souvenir d'amis*» бархатную одежду («*joli habit de velour*»). П. А. Вяземский будет высылать в Москву дамскую обувь — А. И. Тургенев просил поэта заказать там «по шести пар лучших башмаков, бальных или хороших вообще, разного цвета, и по одной паре ботинок холодных и теплых»³⁹.

Баронесса Софья В. Менгден, в 1864 г. девочкой приехавшая в Варшаву с получившим там службу отцом, вспоминала: «Магазины в то время были довольно плохи, — писала она, — исключая башмачных. Польки, также как и француженки, шеголяют обувью <...> Я в первый раз видела высокие дамские шнурованные кожаные башмаки, называемые тогда краковскими. Матушка купила такие моей сестре и мне»⁴⁰.

Прусский путеводитель по Варшаве рекламировал: «Что касается вообще до варшавских изделий, прочностью и изящной отделкой особенно отличаются: экипажи, форте-пианы, ковры, серебрянные (так!), платированные и из нового серебра вещи. Замечательны также по чистоте отделки: седельные, столярные, перчаточные и сапожные работы, дамские уборы и т. п.»⁴¹.

Гедонистический образ «веселой» Варшавы, с середины XVIII в. отчетливо проступающий в восприятии побывавших там русских, не был ее единственной ипостасью. П. А. Вяземский, например, чувствовал себя в Варшаве окруженным «историей и поэзией»⁴². Историческая рефлексия, мысли о трагедии Польши, о Варшаве вольной, мятежной или крамольной, Варшаве «загранице» и «незагранице» постоянно возникали на страницах связанных с ней разного рода сочинений⁴³. Тем не менее «легкокрылый» хоровод увлек и Вяземского в «рой соблазнов», там хотя бы «мечтой коснулся <...> [он] предверья, / Воздушных прелестей и фей, / Влетел в Варшаву, — и безсильный, / засел <...> [он] в сети прежних дней»⁴⁴.

События XIX в. изменили русский образ Варшавы. Побывавший там в середине века скульптор Ф. Толстой разочарованно писал: «Нет,

а Варшава не то, что я себе воображал <...> не знаю, почему, я предполагал ее быть веселым городом <...> но совсем не то Варшава, совсем не похожа на столичный город, он некрасив, невесел и грязен»⁴⁵.

Позднее Варшава вновь обрела свое привлекательное лицо, в 1881 г. она показалась мальчику Александру Бенуа «столь нарядной», столь «заграничной». Там ездили наемные коляски с кучером, одетым «по-господски», главные улицы были залиты асфальтом, на каждом шагу попадались кофейни-цукерни, где подавали нектароподобный кофий со сбитыми сливками, булочки и крендельки⁴⁶.

Однако для взрослых русских город перестанет быть радостным и привлекательным даже в его удовольствиях. В 1911 г. Блок напишет: «Еще светлы кафе и бары, / Торгует телом „Новый Свет“, / Кишат бесстыдством троттуары / Но в переулках — жизни нет, / Там тьма и бури завыванье».

Поэт знал и о красоте варшавских женщин. Его автобиографичному герою в Варшаве «Из снежной тучи буревой / Встает виденье девы юной, / Всё — <...> нежность, всё — призыв <...> Простая девушка пред ним... / Как называть тебя — Мария <...> / Она с улыбкой открывает / Ему объятия свои / И все, что было, отступает / И исчезает в забыты». Герой «умирает в ее объятиях», как говорит авторская ремарка (наброски к III главе поэмы «Возмездие»⁴⁷).

Так в русском сознании совершилась сакрализация некогда земного образа прекрасной польки, а Варшава стала обителью покровительницы Польши — Богоматери, что позднее произойдет и у других поэтов (А. Вознесенский. Польские строфы).

В образе светловолосой задумчивой женщины с прекрасным младенцем на руках ранним утром она спокойно пройдет по улицам горящей военной Варшавы, а по вечерам польские панны будут каменеть с печальной улыбкой Мадонны в танцевальных объятиях солдат-победителей (Владимир Замятин. Цикл польских стихов)⁴⁸.

При этом Варшава сакрализованная или мирская никогда не утратит для русских своего притягательного обаяния, останется «miłośćią przerejoņa i przerepaloņa tękami», как в польском звучании говорят строки Б. Окуджавы⁴⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Топоров В. Н. Заметки по реконструкции текста. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. М., 1987.
- 2 С 1811 г. по 1915 г. сирена как герб исчезнет из официального обихода. См: Encyklopedia Warszawy. Warszawa, 1974.

- 3 Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе. 1697–1699. Издание подгот. Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. М., 1992. С. 26–27.
- 4 Записки графа А. Р. Воронцова. Публ. и прим. П. И. Бартенева // Русский Архив. 1883. Т. XXI. Кн. 1. № 2. С. 257.
- 5 См.: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców. Opr. W. Zawadzki. Warszawa, 1963. Т. 1–2, *passim*.
- 6 Фонвизин Д. И. Сочинения, письма и избранные переводы. СПб., 1866. С. 267.
- 7 Дневник поручика Васильева. Предисловие Е. Щепкиной. СПб., 1896. С. 5–6.
- 8 *Bernacki L.* Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. Т. I. S. 364.
- 9 Ерошкин В. М. Из воспоминаний. Поход 1831 года // Русский архив. 1878. Кн. I. № 2. С. 180.
- 10 Фонвизин Д. И. Сочинения, письма и избранные переводы. С. 412.
- 11 Там же. С. 271
- 12 Там же. С. 411–412.
- 13 Там же. С. 271.
- 14 Там же. С. 411–412.
- 15 Там же. С. 272.
- 16 Там же. С. 412.
- 17 Толстой П. А. Указ. соч. С. 28.
- 18 Фонвизин Д. И. Указ. соч. С. 412.
- 19 [Протасьев С.]. Из записок неизвестного лица // Русский Архив. 1898. Кн. 3. Вып. 9. С. 37.
- 20 Там же. С. 28, 44.
- 21 [Протасьев С.]. Указ. соч. С. 38.
- 22 Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. М., 1999. С. 75–99.
- 23 Фонвизин Д. И. Сочинения, письма и избранные переводы. С. 271.
- 24 Лубяновский Ф. П. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии. СПб., 1805. Т. I. С. 9–10.
- 25 Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1987. С. 162.
- 26 Там же. С. 160–161.
- 27 Там же. С. 60, 163.
- 28 Глинка Ф. Н. Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции... с 1805 года... М., 1808. С. 33.
- 29 Там же. С. 45–46.
- 30 Там же. С. 66.
- 31 Там же. С. 64, 66.
- 32 Михневич В. О. Варшава и варшавяне. СПб., 1881. С. 31.
- 33 Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. С. 158.
- 34 Колзаков К. П. Воспоминания 1815–1831 // Русская старина. 1873. Т. 7, апрель. С. 423; Т. 8, сентябрь. С. 589.
- 35 Там же. Т. 7. С. 443.

- 36 Император Николай I в 1839–1831 гг. (Из записок графа А. Х. Бенкендорфа) // Русская старина. 1896. Т. 88, октябрь. С. 69–70.
- 37 Походные и путевые записки, веденные во время польской кампании в 1831 году. СПб., 1832. С. 124.
- 38 Цит. по: *Вяземский П. А.* Фон-Визин. Указ. соч. С. 75, 82.
- 39 Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка кн. П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым / Под ред. и с примеч. В. И. Сантова. Т. 2. С. 123.
- 40 Русская старина. 1908. Т. 134. № 5. С. 330.
- 41 Описание Варшавы и ее окрестностей... Составил П. Д. Варшава, 1850. С. 50.
- 42 Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. С. 97.
- 43 Шире об этом в докладе автора «Варшава глазами русских в XVIII–XIX вв.» на конференции «Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре» (Москва, 2001) и в статье, подготовленной для сборника материалов этой конференции.
- 44 *Вяземский П. А.* Собрание стихов. М., 1862. С. 11.
- 45 *Толстой Ф.* Дневники. ГРМ. Рукописный отдел. Ф. 4. Ед. хр. 4. Тетрадь 26. Л. 14.
- 46 *Бенца А. Н.* Мои воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 415.
- 47 *Блок А.* Сочинения. М., 1946. С. 583.
- 48 В польском переводе см. в: *Jak unieść wierszem Twoją chwałę. Polska w poezji rosyjskiej / Wybrał i wstępem opatrzył B. Białokozowicz.* Łódź, 1977. S. 189, 191.
- 49 Ibid. S. 262. Перевод Л. Левина.

Л. А. Софронова

«Отрывок III части Дзядов»: русские и Россия

Мицкевич в «Отрывке III части Дзядов» создал образы России и русских, в значительной мере усложнив и перестроив принципы романтической поэтики, «перебрав» ряд смысловых оппозиций: *свой/чужой, смерть/жизнь, природа/культура, природа/человек, свобода/неволя, открытость/закрытость*, универсальных для романтизма и присущих всей драматической поэме «Дзяды». Поэт развивает их, выдвигая на первый план во II части оппозицию *смерть/жизнь*; в IV части, он выстраивает ее взаимодействие с оппозицией *природа/культура*; в III части доминантными становятся оппозиции *свой/чужой, свобода/неволя*. Через все части поэмы проходит видоизменяющаяся тема любви, то вырастая на мифологической основе, то присутствуя как доминантная категория романтизма, то преобразуясь в тему патриотизма.

В «Отрывке III части» нет мифологического подтекста и тема любви исчезает, что резко отличает его от всей поэмы. Ведущей здесь становится оппозиция *свой/чужой*, подчиняя себе все остальные, участвующие в образовании смыслов этой части «Дзядов», но занимающие принципиально иное положение. Противопоставление своего чужому главенствует над этими оппозициями и даже подавляет их, в результате чего они утрачивают свою семантическую насыщенность, постоянно испытывая воздействие основного противопоставления. Это воздействие столь велико, что значения оппозиций практически снимаются, в чем состоит главная специфика построения «Отрывка». Нельзя сказать, что основная оппозиция остается неизменной, так как ее смыслы актуализованы неокончательно — иногда они скрываются в глубинных слоях текста и не выступают на поверхность, как бы поручая ведение основной семантической антитезы другим оппозициям, от нее зависящим. Противопоставление чужого своему приглашено, что не мешает ему оставаться смысловой осью «Отрывка». Именно в аспекте его смысловых коннотаций, учитывая внутренние изменения других оппозиций, можно представить, как и с какими целями Мицкевич описывает природу, город и человека.

С максимальной полнотой значение ведущей оппозиции проступает в первом стихотворении «Droga do Rosyyi», когда *свой* появляется в *чужом* пространстве: по заснеженной дороге мчатся кибитки с арестантами, как бы продолжая путь, начатый еще в III части: «Tam od

Giedyminu grodu, Śród gęstych kłębow zamieci, Kilkadziesiąt wozów leci, Wszystkie lecą ku północy»¹. Вырисовывается образ поляков, *чужих* в России. Их чуждость сразу замечают русские, предполагая их высокий социальный статус. Они видятся им королями, вельможами, королевскими детьми. Они с удивлением замечают их гордые взоры: «Jak dziko patrzy! Jaki to wzrok dumy <...> jakie oczy śmiałe» (s. 207). Тема высокого происхождения поляков, заданная в метафорическом плане, переводится в реальный, когда в стихотворении «Przegląd wojska» говорится об умирающем офицере-поляке: «był <...> Litwinem, Wielkiego rodu, Xięcia, grafa synem» (s. 228). Этот офицер перед смертью решает бросить вызов генералу и самому царю. В стихотворении «Peterzburg» противопоставление русского и поляка преобразуется в устойчивое романтическое *личность/толпа* и переносится в план внешнего: «Szło kilku ludzi między tym natłokiem, Różni od innych twarzą i odzieniem» (s. 213). В их взорах и жестах читается враждебность чужому и жажда свободы. Они сразу опознают друг друга как чужеземцев в России. Только в стихотворении «Pomnik Piotra Wielkiego» оппозиция *свой/чужой* снимается — происходит встреча двух поэтов. В результате тут же оживают другие смысловые противопоставления. Они, «przybylec» и «wieszcz», стоят под одним плащом, взявшись за руки; «ich dusze wyższe nad ziemne przeszkody Jako Dwie Alpów spokrewnione skały» (s. 215).

Уже в первом стихотворении намечается значимая конкретизация *чужого* — язык, *mowa obca*. Он вбирает в себя значения чужого, которые раскрываются на протяжении цикла. В стихотворении «Przegląd wojska» раненый поляк, умирая, проклинает царя на чужом, русском языке; в стихотворении «Oleszkiewicz» Мицкевич пишет: «Szli obcym z sobą gadając językiem, Czasem pieśń jakąś obcą, z cicha nóca» (s. 230). Таким образом, удваивается значение *чужого*: поляки и их язык — *чужие* в России, и Россия и ее язык — им *чужие*.

Эта чуждость выявляется в ведении смыслов оппозиции *природа/культура*. Мицкевич резко нарушил ее привычный статус и предложил иное по сравнению со сложившимся в эпоху романтизма видение природы, что не сразу бросается в глаза — это иное наращивается постепенно. Природа для романтика была романтическим космосом, вбирала в себя основные ценностные категории эпохи: духа, свободы, вечности, бессмертия, естественности, глубинной связи человека с Богом и миром. Она определяла факты культуры, была объектом философии, ее образы населяли литературу и живопись. Как все в романтизме, эта оппозиция не была статичной и существовала в движении: культура стремилась к природе, принимая ее признаки, входя в природное пространство; природа снабжалась приметами культуры, что было характерно для всех видов искусств.

Мицкевич в «Отрывке» довел движение оппозиции природа/культура до логического конца, сняв окончательно противопоставленность ее смыслов и сделав ее неподвижной. В русской картине мира она как бы зависла и утратила свою энергию. Члены оппозиции уравнились в своей негативности. Природа и культура оказались равны по смыслу: в огромном снежном океане нет ни городов, ни природы, по нему гуляет ветер, взрывающий сугробы и топящий одинокие кибитки. Отмеченные в нем точки, дом и храм, заслуживают только природных образов. Православный храм видится стогом сена, припорошенным снегом; дом — кое-как сложенными бревнами, наваленными в беспорядке. Если вспомнить, какую роль играет образ дома в IV части «Дзядов», как он тесно связан с человеком, его смертью и жизнью, становится очевидной преднамеренность, заданность такого описания жилища.

Можно предположить, что, отказавшись от противопоставления природы культуре, поэт мог бы описать русскую природу, активизировав основную оппозицию *свой/чужой* и противопоставив русскую природу польской, но этого не произошло. Он не сделал этого потому, что ему было необходимо изолировать русское от польского, подчеркнуть их непохожесть, даже не заслуживающую сравнения. Эта концепция ясно просвечивает уже в первых строках «Отрывка», где сказано не только о *чужом* языке, но и о *чужих* стихиях: «*obce żywioły*» (s. 203). Представление о *чужом* в мире природы ширится и распространяется на всю Россию. Она — *чужая* не только потому, что враждебна Польше, поработила Польшу, но и потому, что она — *чужая* в космических измерениях романтической картины мира.

Если она *чужая*, то и выглядит совершенно иначе. Природа в «Отрывке» в отличие от всех частей «Дзядов» — это не единое целое, где все связано и переплетено, находится в непрерывном движении, вечном становлении. Идея ее связанности, может быть, проступает только в сравнении Невы с альпийской горной грядой. Поэт сознательно не видит знаменательных примет природы, в «Отрывке» нет ни одного пейзажа, который играет столь важную роль в IV части «Дзядов». Знаменательно, что Мицкевич, работая над «Отрывком», первоначально внимательно присматривался к картинам природы. Поэтическая наблюдательность позволила ему увидеть старые деревья, вершин которых не достигает ветер, ветки, склоняющиеся под тяжестью снега, услышать свист ветра, несущегося по пушистому снегу и затихающего в густом, вечно тихом лесу (s. 323–324). Эта строфа была опущена в окончательной редакции. Она разрушала общий план, по которому природа предстала в образах пространства, изредка разряжавшихся краткими перечислениями. Мицкевич

целенаправленно представляет природу в нечетком виде, оставляя в стороне детали и даже иногда не расчлняя пространство природное и культурное, так как, по его мысли, в русском мире они не противостоят друг другу. Он выстраивает их аналогично, наделяя одними и теми же признаками, что возможно потому, что признаки эти присущи пространству в целом.

Ведущим из них становится такой признак как пустота. Мицкевич утверждает по отношению к природе идею пустоты, характеризующуюся, как известно, амбивалентными значениями². Пустота может значить сакральное, она же определяет пространство как неструктурированное, как стремящееся к *ничто*; смыкается этот признак по своим значениям со смертью. Мицкевич последовательно набирает значения пустоты. Россия — «*kraina pusta*»; «*Oko nie spotka ni miasta, ni góry Żadnych pomników ludzi ni natury; Ziemia tak pusta, tak niezaludniona*» (s. 203). Ее природа — это пустыня: «*Leci kibitka jako wiatr w pustynie*» (s. 203), русские поля — белые и пустые. Напомним, что та же идея имела огромное значение для де Кюстина, описывавшего Россию аналогично.

Русская земля — это пустая земля не только в природном, но и в культурном плане. Поэт отказывает ей в истории. По его словам, русская земля как будто «*wczoraj wieczorem stworzona*» (s. 203), хотя прибывшие сюда объясняли московскому люду, что земля его давняя, породившая не один народ. Об этом русским говорили на чужом для них языке, об этом гласят книги, украденные ими либо взятые силой. По этим землям прошел потоп, не оставив следов, как не оставили их другие народы, прошедшие по этой земле. Таким образом, культурное пространство не отмечено никакими приметам. Оно — пустыня во времени. Заметим, что предместья Петербурга также названы пустыми: «*Teraz tu pusto — Dwór w mieście zimuje*» (s. 208).

Поэт наделяет русскую природу-пространство не только пустотой, но и открытостью: Россия — «*kraina pusta, biała i otwarta*» (s. 204). Ожидаемого противопоставления закрытости не выстраивается. В этом плане не противопоставлены даже город и природа, а в городе явно выделены зоны открытого пространства. Вопреки принципам романтической поэтики поэт утверждает отрицательное значение открытости. Она, как и невозможность достичь взором концов света, не устраивает его, хотя романтизм всегда высоко ценил удаленность, неясность, отсутствие горизонта. Открытость пространства у Мицкевича сближается по значению с аморфностью, однообразностью, безлюдностью и дикостью. Такое пространство не обжито и подобно океану: «*Nad oceanem nieprzejrzanym krążą*» (s. 203). Этот устойчивый образ появляется в развернутом сравнении глаз поэта с двумя

соколами, кружащими над чуждыми стихиями, где вольным птицам суждено погибнуть. Напомним, что уподобление человеческих глаз соколиному взору присутствует и в III части «Дзядов»: «*Za niemi, hej za niemi oczy me sokole, oczy błyskawice*» (s. 123).

Культурное пространство также открыто, но очень своеобразно. Его открытость — это мера исторического времени. Здесь еще ничто не начиналось. Это пространство вызывает образ чистого листа бумаги. Если бы Бог взялся за перо, а буквами бы стали добродетельные люди, то он открыл бы им, что любовь правит ими, что главное их богатство — жертва. Если за дело возьмется сатана, то он напишет только одно слово — кнут. Таким образом, по Мицкевичу, открытое культурное пространство становится пространством зла.

Противопоставление–сближение природного и культурного пространства не постоянно. Оно видоизменяется с появлением еще одного пространственного признака — структурированности. Русское природное пространство, пустое и открытое, представляется как неструктурированное, не исчерченное разнонаправленными движениями, которые должны были бы придать ему законченные очертания. Заметим, что отсутствие движения всегда пугало и беспокоило романтика, для которого природа, дух, история, мысль всегда находились в беспрестанном стремлении к Абсолюту, а литературные герои, художественное пространство и время непременно наделялись динамизмом. Его отсутствие было равносильно смерти. Потому код движения был наиболее распространенным среди других в искусстве эпохи романтизма.

Пространству–природе в «Отрывке» свойствен хаотический, ненаправленный тип движения. Его совершают ветер («*wiatr szaleje, Węły zamieci odrywa i ciska*» (s. 204)), вихрь, ураган, подобный самуму, снег, кружащийся и поднимающийся с земли. В этом ненаправленном движении поэт не усматривает целеполагающего смысла. Такая характеристика пространства частично снимается с введением концепта пути, но принадлежит путь не русскому пространству, а не по своей воле попавшим в него полякам. Как известно, путь — главное в характеристике пространства. Это способ его познания, освоения, преодоления, способ наделения ценностными смыслами, «образ связи между двумя отмеченными точками пространства в мифопоэтической и религиозной моделях мира»³. В «Отрывке» в природном пространстве движением наделены только ссыльные поляки,двигающиеся по чужим просторам по принуждению, перемещающиеся в чужом мире как чужие. Их движение несвободно и не имеет внутреннего смысла. Оно не нацелено на познание, не может привести к желанной цели, к освобождению. Поляки отправляются в путь не добровольно, и приводит он в тупик, к замкнутому центру империи.

Путь в «Отрывке» имеет не только мифопоэтическое значение, но принимает статус знака культуры, когда поэт говорит о русских дорогах. Эти дороги тем нехороши, что образованы искусственно, по велению царя, а не проторены и не исхожены человеком. Все они теряются в лесах, превращая в руины польские деревни и замки. Так тему пространства поддерживает оппозиция *свой/чужой* и несколько активизируются значения оппозиции *природа/культура*. Мицкевич здесь отдает предпочтение культуре, видя в ее отсутствии негативный знак.

Взирая на русское пространство сквозь призму оппозиции *свой/чужой*, поэт отдаляет русский ландшафт, близкий ему географически, что естественно для романтика, предпочитавшего взгляд на мир издаля. Но у Мицкевича это пространство настолько удалено, что превращается не в просто *чужое*, но в *чужое* в мифологическом смысле. Для этого поэт наращивает, без усталости повторяет, чтобы их усилить, реальные географические и климатические признаки русского ландшафта, благодаря чему Россия, несмотря на близкое соседство с Польшей, начинает выглядеть почти нереально, стремительно превращаясь под пером поэта в пространство мифопоэтическое.

Мицкевич придает ему все признаки Севера, всякий раз выделяя слово *север*: дороги России ведут только на север, ветры здесь дуют с севера, с севера приходит мощный ураган, всюду виднеются «*robinosie świerki, sosny, jodły*». В таком видении поэта есть черты, роднящие его с де Кюстином, идентифицировавшим Россию с Сибирью⁴. Если французский путешественник взирав на Россию как человек Юга, то Мицкевич усмотрел в ней Север как особое метафизическое пространство. Как и де Кюстин, он осмыслил его, обогатив связью с оппозицией *свобода/неволя*. Эта оппозиция врывается в характеристику русской природы. Здешний климат подобен настроению деспота, здесь слишком холодно или слишком жарко, — так вводит поэт тему абсолютной власти, от которой в России зависит каждый. Привлекает же его такой признак русского пространства, как холод.

Он много раз говорит о невероятно холодном климате России. Холод — это мороз, морозный воздух, замерзающие на бегу люди, трясущиеся и стучащие зубами от холода, люди, погибающие на ледяном ветру. Это море снега, метель, буран, река, скованная льдами. Такой «холодный» образ России существует и в русской поэзии. Напомним поэму Блока «Двенадцать». Однажды Мицкевич, как бы смягчая мифологический акцент, указывает реальную температуру воздуха — мороз во время парада достиг двадцати градусов. Это указание не должно нас вводить в заблуждение. Русский холод — не обычный, а мифологический, неразрывно связанный с образом смерти. Не

случайно он вызывает образы темноты, правда, только намеченной. Тема смерти проступает не только в прямых образах лютого холода. Она отдается сравнениям и метафорам. Небо над Петербургом без облаков, чистое и широкое, «*blado, przezroczyste jako zmarzłego podróżnika oko*» (s. 208), «*podobne zmarzłej nieboszczyka twarzy, Która się w izbie przed piecem rozgrzeje*» (s. 229).

Природа, таким образом, представлена в «Отрывке» даже не как хаос, который подлежит упорядочиванию, «космизированию». Она проваливается в смерть, уходит в небытие. Оппозиция *жизнь/смерть* как бы исчезает или приостанавливает свое действие. Чужая страна превращается в страну вечного холода, становится нижним миром, страной не-живых с высящейся над ней Сибирью как квинтэссенцией неволи.

Аналогичные семантические операции проделываются и с городом. Выделяя центр русского пространства, Петербург, этот город-призрак, Мицкевич с отворачиванием рассматривает архитектурный «бал-маскарад», усматривая в нем отсутствие естественности, высоко ценимой романтиками. Его раздражает неожиданное соединение итальянских дворцов с китайскими пагодами, стилизованные руины. Он усматривает в Петербурге нелепое подражание Парижу и Венеции, Амстердаму и Лондону. Сам он видит иной прототип русской столицы — Вавилон, образ которого достигает полноты в стихотворении «*Oleszkiewicz*». Отраженный силуэт города, нависший над ним, Мицкевич уподобляет вавилонским садам, разноязыкие вывески, подробный список которых поэт приводит, ассоциируются у него с вавилонской башней. Заметим, что не только Мицкевич, но и Гоголь присматривался к столичным вывескам. Они поражали Гоголя, и его интерес к ним как бы предвещал одну из тем русского художественного авангарда. Они пугали Мицкевича, который стремился из них вычитать указание на имперский деспотизм, полное воплощение смыслов которого он видит в памятнике Петру I. Поэт не только наблюдает безвкусное разнообразие, но и замечает, что все дома в Петербурге одинаковы, что он весь выглядит как полк солдат, стоящих парами в ряд. Эти дома неразличимы, как одетый в новенькую форму военный корпус. Весь Петербург для Мицкевича подобен казарме, строящейся на парад. Напомним, что не только он, но и Гоголь увидел в Петербурге «сарай и казармы». Задав тему безликости и однородности, поэт, таким образом, противопоставляет ей разнообразие стиля.

Из описания города следует, что он наделен движением, которое противостоит хаотическому и разнонаправленному движению природного пространства. Это движение неукоснительно подчиняется порядку и мертвящим душу правилам. Оно существенно дополняется механическим, автоматическим, мерным движением войск на па-

раде и гуляющих по Невскому проспекту, которые движутся, как в церковной процессии, и своей одинаковостью подобны картам, которые шулер мечет в разные стороны. Шулер этот — сам царь, мешающий на параде колоду карт-солдат. Этот тип движения определяет *упорядоченность* культурного пространства, для которого характерна повторяемость и мерность его элементов, четко соблюдаемая иерархия чинов и званий. Заметим, что через код движения поэт противопоставляет и статуи Петра и Марка Аврелия: «Wskakuje ruinak na granitu ścianę — Koń głównym krokiem, główną stąpa drogą» (s. 216).

Мицкевич настаивает на ненастоящести, искусственности Петербурга. Во-первых, его не коснулось дыхание божества и строил его сатана. Так развивается тема дьявольского города, усиленная указанием на то, что русского царя давно покинул ангел-хранитель и он ушел под власть сатаны, и косвенно противопоставленная теме божественного провидения, осеняющего поляков: «Patrzył jak anioł <...> Lecz Bóg je wszystkie zbiera i policze» (s. 214). Царский указ, а не этиологический миф лежит в основании Петербурга. В связи с ним поэт активизирует иной миф — о строительной жертве: «Ocean naszej krwi i leż wyleli» (s. 208), «Rozkazał wpędzić sto tysięcy palów. I wdeptać ciała stu tysięcy chłopów» (s. 210), что позволяет вспомнить поэму Некрасова «Железная дорога». Во-вторых, Петербург не вписан в историю в отличие от других городов мира, что подтверждается обобщенными историческими примерами, которыми снабжена и конная статуя Петра. Правда, поэт обращается к его недавней истории, времени петровского правления. В-третьих, Петербург — это город, не имеющий небесного прототипа, но зато у него есть двойник, который в небе запечатлевает дым, поднимающийся из многочисленных труб. Представление о городе как о таинственной фата-моргане переводит описание реального Петербурга в план нереальный: «czarodziejskie magu» (s. 211), «jako czarów widziadło» (s. 230) — и дополняет мотив его искусственности. Иллюзия, созданная Мицкевичем, вновь заставляет вспомнить такой признак русского пространства, как пустота, — здесь небо, подобно пустыне, порождает мерцающие образы несуществующего мира. Как всякая иллюзия, она недолговечна — повеял теплый ветер, и город, отраженный в небе, исчез, упав на землю.

Можно утверждать, что Мицкевич создал особый петербургский текст, который существенно дополнен вмешательством в него оппозиции *природа/культура*. Отказав российской столице во всех признаках, присущих столицам подлинным, поэт снижает ее образ, отказываясь от устойчивого противопоставления города природе и сближая их. Улицы столицы ползут к реке «jak wąwozy w górach» (s. 210); фонари карет подобны блуждающим огням на болотах; разностиль-

ные дома «jako zwierzęta z różnych końców ziemi, Za parkanami stoją żelaznemi, W osobnych klatkach» (s. 207–208). Эти образы никак не одухотворяют дело рук человека. Так снимается смысловая оппозиция *город/природа*, частное проявление общей оппозиции *природа/культура*. Это сближение не идет на пользу городу. Оно не способствует и развитию природных образов, потому что они оказываются только средством описания и организуются в особый природный код. Когда поэт ведет речь о природе, он стремится представить ее как пустое, открытое, неструктурированное пространство; когда говорит о городе, то обращается к природным образам как к некоему вспомогательному материалу, лишая их самоценности.

Из этих образов все-таки вырастает тема противостояния природы культуре, решенная так, что именно природа, разбушевавшись, погубит город. Это предвещает Олешкевич, наделенный предчувствием будущего и знанием о предстоящем катаклизме. Он изирует на враждебную столицу и царский дворец, как пророк, пребывающий над людьми и историей. Реальные образы петербургского наводнения предоставляют Мицкевичу возможность создать сложную мифопоэтическую конструкцию, где античное противопоставление царя и моря, библейский образ Вавилона играют ведущую роль⁵. Петербург, царь, империя должны погибнуть — северные ветры уже подняли головы из полярных льдов, сотворили крылья из туч, морская хлябь готова излить свои воды на город — час расплаты близок. Город, которого ждет такое наказание, уже вобрал в себя смутное предчувствие гибели. Он под пером Мицкевича предстает дышащим смертью. Умирает, исчезает его призрачный двойник. Жидкая грязь на улицах Петербурга оказывается Стиксом: «Oblewał bruki rzeką Stygu błotną» (s. 230). На его улицах погибают люди. Двадцать трупов осталось на площади после парада; одни лежат вбитые в снег, другие, замерзшие на морозе, стоят как столбы. Внутренности умирающих выпадают, и их кровь мешается с грязным снегом. Таким образом, оказывается, что не только природа, но и город ведет тему смерти, отнюдь не противопоставленную идее жизни. Петербург заслуживает смерти, он несет ее в себе и приводит к смерти человека.

Человек в культурном пространстве видится поэту всегда одинаковым: «Mnogie i różne, lecz w jednym ubiorze <...> tak podobne sobie, tak jednostainie!» (s. 218). Он — солдат или носитель чинов и званий; его облик замещают мундир, ордена и шубы, и он как бы растворяется в символах социального престижа. Этот принцип описания человека совпадает с тем, который избран для города, поразившего поэта своим однообразием и казарменным духом и одновременно разнообразного. Мицкевич не мог остановиться только на одинаковости рус-

ских. Чтобы наполнить их образы более глубоким смыслом, он обращается к природе.

«Если в человеке соединяется натура и культура, то его образ с древнейших времен служит их единению <...> Человек — производное природы, однако обладая способностью суждения <...> он противопоставляет себя всему сущему, выходит за пределы природы, вступает в сложные взаимоотношения с ней»⁶. Мицкевич отринул в человеке синтез натуры и культуры, снял противоположение всему сущему, противопоставление человека культуре, уравнив его с природой. Его человек не покидает ее пределов, но отнюдь не становится ее частью в романтическом смысле, так как природа, как уже было сказано, у него переживает резкие изменения. Рассмотрим те из них, которые важны для образа человека. Поэт в «Отрывке» лишает природу духа. Дух здесь не ответствен за перемены форм в природе, за «работу жизни», как говорил Ю. Словацкий. Мицкевич как бы на время забывает о том, что «натура — не вне духа, она ему не противопоставлена, она — в нем, дух — ее основа, истина и двигатель»⁷. Русская природа безжизненна и бездуховна, и эти свои свойства она передает человеку.

Оппозиция *природа/человек* поэтому не несет резких смысловых противопоставлений. Человек в «Отрывке» не сливается с природой в отличие, например, от Густава в IV части «Дзядов», который избирает своим другом еловую ветвь, стремясь обрести гармонию души и пережить воссоединение с природой. Здесь человек уподобляется природе, но на иных основаниях по сравнению с общепринятыми в эпоху романтизма. Русский не входит с природой в контакт, который, как и веру, по мнению М. Пивиньской, можно описать как чувство. Соприкасаясь с ней, он не заглядывает в недоступную для него бесконечность⁸. Его образ не получает положительных смысловых коннотаций, связанных с природой, так как она только и делает, что превращает его или в зверя, или в дерево Севера: «Spijście spokojnie jak zwierzęta głupie» (s. 233). Природа к человеку, таким образом, не приближена. Смыкаясь с ним, она утрачивает свой истинный облик и служит только источником для обширного ряда сравнений. Встретившись с человеком, она лишается самостоятельности и превращается в культурный код, с помощью которого поэт и создает образы русских, черпая эти образы из мира растений, животных, насекомых. Они примечательны тем, что только здесь проступают реальные природные очертания. Уподобляя человека природе, Мицкевич выбирает из мира природных образов те, которые наделены отрицательными смысловыми коннотациями как в народной мифологии, так и в повседневных бытовых представлениях. Он сближает растительный

и животный мир с человеком в резко негативном аспекте. Так он создает портрет русского, рассматривая его как особое, невиданное существо, отмечая его силу и безучастность, превращая также город и пространство в дополнительный культурный код.

«Rozległe barki», «szeroka pierś», «otyły kark» — явно не входят в ряд положительных признаков и свидетельствуют о могучем и бездушном человеке. Его глаза, «wielkie i czyste», — это никак не «зеркало души». Они застыли и равнодушно смотрят на мир — «Nigdy zgiełk duszy Niezwykłym rzutem źrenic nie poruszy» (s. 205). Так вдруг происходит мгновенное сближение человека и города — глаза русского подобны его городам, в которых нет души, а есть только порядок. Затем подключается пространственный код: русские лица подобны их земле, пустой, открытой и дикой: «Twarz każdego jest jak ich kraina, Pusta, otwarta i dzika równina, Wszedłszy do środka, — puste i bezludne» (s. 205). Так человек приобретает основные признаки пространства — открытость и пустоту. Огонь души не тронул русских лиц, не оставил морщин. Ничто не отложилось на них в отличие от лиц людей Запада и Востока, на которых отпечаталась череда событий, печалей и надежд и каждое из которых стало своеобразным памятником народа. Точно так же описывается, как мы уже показали, и русская история.

Обращаясь к природному коду, Мицкевич детализирует его и разлагает на составляющие. Для описания внешнего вида человека пригодны трава, злаки, овощи: «Jak kłosa w jednym uwiązane snopie, Jako zielone na polu konopie <...> Jak pod liśćmi ogórki na grzędach» (s. 218), «Zielone mundury jak trawy, w które ubiera się łąka» (s. 220). Из мира животных и птиц вырастает множество сравнений, образующих развернутые фигуры перечисления, построенные с чисто барочной последовательностью. Они нацелены на создание образа действий. Адьютанты собираются в стадо или стаю. Они, как воробьи из клетки, выпархивают по приказу царя, срываются с места, как свора собак. Пехота движется, «jak kundłów psiarnia trąbą poduszczona Na związanego niedźwiedzia uderza» (s. 224), выставляет оружие, как еж иглы. Впавшие в немилость дворяне, возвращающиеся ко двору, вызывают такую смысловую параллель: «Tak z domu oknem rzucony pies zdycha, Kot miuknie tylko, lecz stanie na nogi, I znowu szuka do powrotu drogi» (s. 221). Толпа идет по заснеженному Петербургу «na mroź nieczuła jak trzoda soboli» (s. 212). Люди разбегаются, боясь попасть под сани, «jak przed okrętem białych kaczek stada» (s. 211); они идут по тротуарам мерно и мощно, «jak nadbrzeżne bystrej rzeki lody» (s. 212); пехота движется, как лед на Неве; драгуны на Марсовом поле — «jak rybitwy nad wodą» (s. 217). Люди вылезают из толпы, «jak żaba z bag-

niska» (s. 218). Один из полков цветом напоминает мышь, другой — ворону. Мир животных поставляет сравнения и для внешнего вида человека: военные неразличимы, как кони: они «jako rząd koni żują-cych przy żłobie» (s. 218); их приветствия царю подобны ворчанию ста медведей; все люди на морозе румяны, как раки.

Природные сравнения особенно снижают образ человека при обращении к миру насекомых. Часть этих сравнений имеет чисто литературное происхождение (нарядна, как бабочка, тонкий, как оса), другие имеют под собой мифологическую основу — поэт явно опирается на оппозицию *человек/не-человек*⁹ с тем, чтобы свести образ человека на низшие ступени живой природы. На наших глазах происходит подлинная метаморфоза — перед нами уже не люди, а жуки и черви, осы и мухи. Основана эта метаморфоза на движении. Важный чиновник ползет по улице «wolnym chodem żuka» (s. 212), бедные чиновники — «jako skorpiony» (s. 212). Рядом с этими насекомыми «dworskie muchy, ciągnące za wonią Carskiego ścierwa, za nim, w miasto gonią» (s. 208). Орудия и солдаты, ими управляющие, становятся единым целым, срачиваются, превращаясь в черного паука, который тут же оказывается тарантулом. Перед тем как выпустить яд, он дрыгает ножками. Тарантула сменяет муха, производящая аналогичные движения. Вещь также преобразуется в насекомое: ящики со снарядами становятся зелеными лесными клопами и болотными жуками. Люди внешне, особенно издалека, похожи на насекомых. Юные гвардейцы напоминают ос — «w ról ciała tego związane jak osy» (s. 212), дамы выглядят как пестрые бабочки. В этом же ряду стоят светлячки-генералы, отражающие блеск власти императора. Однообразие войск на параде вызывает сравнение с червяками. Чтобы их различить, нужен острый взор натуралиста, выкапывающего из грязи червей (glisty) и классифицирующего их. Эти образы должны вызывать отвращение, но не опасность, которая нарастает в скрытом сравнении Марсова поля: «Inni w tym placu widzą saranczarnie» (s. 217). Оттуда вылетят тучи саранчи и покроют собой всю землю. Распространяется природный код на духовный облик русского.

Как мертвы и неподвижны его глаза, как он похож на животное и насекомое, так и его душа покоится в грубой ткани тела подобно гусенице. Уподобление души гусенице не случайно, и выбрано оно прежде всего потому, что гусеница таит в себе чудо перерождения. Здесь явно просвечивает «высокая» коннотация, сводящаяся к идее способности гусеницы к перерождению, понятие которого, как и понятие метемпсихоза, прочно вошло в культурное сознание эпохи и стало ведущим в теории мессианизма. В этом сравнении, конечно, можно разглядеть и повседневное, «бытовое» отношение к этому представителю мира на-

секомах. Естественно, поэт останавливается на «высокой» коннотации и предполагает, что гусеница переживет превращение, но какое? Вылетит из нее дневная бабочка или ночная? Есть ли для этого внешние условия? «Ale gdy słońce wolności zaświeci, Jakież z powłoki tej owad wyleci?» (s.205). Так Мицкевич обращается к устойчивым образам романтизма, присутствующим и в «Генезисе из духа» Ю. Словацкого.

Природный код очевидным образом служит развитию значений оппозиции *свобода/неволя*, которая у Мицкевича также подверглась значительным трансформациям. Категория свободы находилась в кругу доминантных в эпоху романтизма и была явственно сакрализована. Она была тесно связана с духом, считалась его выражением и не существовала без любви, которая при переносе в общественный план становилась любовью к народу, к родине. «Свобода — это цель жизни народа, плод его посвящения самому себе <...> это безотносительное совершенство человеческой жизни»¹⁰, — писал Э. Дембовский. В «Отрывке» отсутствует это совершенство, так как в нем развивается тема не-свободы, подтверждающаяся отсутствием духа во всем русском, в природе и в человеке. Люди-жабы, люди-пауки не могут быть свободными. Они несвободны, но все же есть надежда, что их осенит солнце свободы: «Lecz skoro słońce swobody zabłyśnie, I wiatr zachodni ogrzeje te państwa, I coś się stanie z kaskadą tyraństwa?» (s.216–217). Пока же они — невольники, рабы. «Ach, żal mi ciebie biedny słowianinie! — Biedny narodzie! żal mi twojej doli, Jeden znasz tylko heroizm — niewoli» (s.229), — восклицает поэт. Русский царь сеет эту неволю и может распространить свою власть даже на всю Европу, предупреждает Мицкевич. Тему русской не-свободы ведет ключевое слово *кнут* (knut, biczysko, biczem wali, car knutowładny, grad bizunów, biczyk, pod baty, knutów grady, knuty). Она полностью развивается в описании слуги, который замерз, но не тронул шубы хозяина.

Русская не-свобода не противопоставлена польской свободе. Эта оппозиция, как и все остальные, также практически снята. Поляки, как и русские, тоже несвободны, но по принуждению. Для их неволи отыскивается библейский образ Самсона, несущий в себе идею освобождения. Они готовы сражаться за свободу, но осознают бесполезность возможных попыток: «Po fundamentach, po ścianach, po szczytach, Po tych żelazach i po tych granitach Czepiają oczy, jakby probowali, Czy mocno każda cegła osadzona; i opuścili z rozpaczą ramiona» (s.213). Так возникают не только противопоставления русской не-свободы и польской неволи, русской покорности и польской гордости, но и появляется тройная фигура, в которой важнейшую роль играет стремление поляков к свободе: «I przewiduje, jak jest kres daleki Tyłu pokoleń zbawienia — swobody» (s.214). Так явственно проступает романтическое представ-

ление о свободе, которую в предельной степени выражает дух, но которого, как и свободы, нет ни в русском пространстве, ни в русском человеке. Они потенциально принадлежат польскому началу.

Изображение России и русских сквозь призму оппозиции *свой/чужой*, которая одна выдержала испытание мицкевическим текстом, как мы старались показать, значительно обогащено снятием традиционных оппозиций *природа/культура, природа/человек, смерть/жизнь, свобода/неволя, открытость/закрытость*, что создает энергетически насыщенный трагизм «Отрывка», образов России и Петербурга, русской природы и русских. Они предстают неподвижными, лишенными движения и жизни духа. Их особый статус, полностью лишенный противоречивости и динамизма, выводит их за пределы романтического космоса. Этому же служит отказ Мицкевича от важнейших романтических категорий, которые не распространяются на Россию. Россия — страна холода и смерти, порядка и подчинения. Русские — покорные, забытые, лишенные души. Их природа не напоена духом. Она мертва и бездуховна. Все это существует потому, что над Россией нет Божьего благословения, ею распоряжается дьявол. Эта оппозиция, как видим, не претерпевает в «Отрывке» никаких изменений и явно выступает в размышлениях Мицкевича о судьбах России, о будущем наказании за грехи перед поляками и миром.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Mickiewicz A. Dziady // Dzieła Adama Mickiewicza / Wyd. Dr. Henryk Biegeleisen. Lwów, 1893. T. 2. S. 198.* В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках.
- ² *Злыднева Н. В. Пустырь // Религиозные мотивы в славянской культуре (круглый стол). Славяноведение. 2001. № 6. С. 52.*
- ³ *Топоров В. Н. Пространство и текст // Из работ московского семиотического кружка. М., 1997. С. 487.*
- ⁴ *Grudzińska-Gross I. Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville i wyobrażenia romantyczna. Warszawa, 1995. S. 105.*
- ⁵ *Софронова Л. А. Польская романтическая драма. Мицкевич — Красиньский — Словацкий. М., 1992. С. 164, 167.*
- ⁶ *Свирида И. И. Натура и культура: к проблеме взаимоотношения // Натура и культура. М., 1997. С. 5.*
- ⁷ *Cieszkowski A. Prolegomena do historiozofii // 700 lat myśli polskiej: Filozofia i myślenie społeczne w latach 1831–1864. Warszawa, 1977. S. 294.*
- ⁸ *Piwińska M. Miłość romantyczna. Warszawa, 1984. S. 568.*
- ⁹ *Софронова Л. А. О мифопоэтическом значении оппозиции человек/не-человек // Миф в культуре. Человек/не-человек. М., 1997. С. 14.*
- ¹⁰ *Dembowski E. Pisma. Warszawa, 1955. T. 3. S. 234–235.*

М. В. ЛЕСКИНЕН

**«Чужое» пространство
в романе Г. Сенкевича
«Огнем и мечом»***

Роман «Огнем и мечом» (1883–1884), одно из самых популярных исторических произведений Г. Сенкевича, является одновременно наиболее спорным в трактовке событий польской истории середины XVII в. Почти все дискуссионные вопросы в той или иной степени соотносятся с образами Украины и украинцев. Полемика эта не утихла до сих пор, а проблемы польско-украинских отношений, обострившиеся в период формирования государственно-политической доктрины независимой Украины, вновь стали актуальными в связи с экранизацией романа в 1999 г.

Представители украинской науки и общественные деятели резко осудили роман сразу после его публикации. Известный историк В. Б. Антонович в критическом очерке¹ подчеркивал, что необъективность и даже тенденциозность автора в изображении войн Богдана Хмельницкого и создание им негативного образа украинца чрезвычайно опасны; они не столько отражают историко-философские взгляды и заблуждения писателя, сколько способствуют обострению межнациональных отношений и формируют ложные представления о периоде общей истории двух народов. Аналогичные упреки вызывает и современная экранизация «Огнем и мечом».

Однако если проанализировать позиции польского и украинского общественного мнения, незначительно изменившиеся за последнее столетие, то выясняется, что суть разногласий — в понимании определений «Украина» и «украинцы» как самых главных категорий этнонационального самосознания. Потому задача данной работы — рассмотреть образ Украины в контексте художественного пространства романа.

Его главное место действия — украинские земли Речи Посполитой. Повествование начинается с описания страшных знамений и необычных природных явлений, происходивших в польском государстве в 1647 г., когда «ход натуры вовсе... повернул вспять»². Но особенно плохие приметы наблюдались в южных воеводствах — в степи. Здесь же впервые вводится в роман слово «Поле» («Дикое Поле»), наделяе-

* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 01–01–00299а).

мое автором следующими характеристиками: «Уж таким оно, это Поле, было... в самом Поле никто не жил... Земля, хоть и пустовавшая, принадлежала *de nomine* Речи Посполитой» (7). Однако «степь... вместе с тем была не пустая; тихая, но зловещая; безмятежная, но полная опасностей; дикая Диким Полем, но еще дикостью душ».

Степь безлюдна и пустынна: люди либо поджидают в засаде возможную жертву, либо охраняют пути в сторожевых заставах: «взгляд не углядел бы ни живой души, на даже малейшего движения в темном, сохлом и поникшем бурьяне... на левом берегу виднелись остатки каменной твердыни... от руин ложились длинные тени... Ночь легла на пустыню, а за ней пришло время духов» (8); «в движении было что-то пугающее, как, впрочем, и во всей степи, с виду такой безмятежной» (9).

Степь — Поле, пустыня — вовсе не отождествляется с Украиной; и по месту в системе символов, и по избираемым автором средствам описания она отделена от нее, и от Речи Посполитой в целом. Причем именно «Дикому Полю» принадлежит важнейшая функция в создании эпического строя произведения (особенно первой части). Можно говорить о двойственности семиотического значения этой пограничной зоны. С одной стороны — это самостоятельное пространство, отличающееся, однако, элементами переходности, что подчеркнуто характеристиками движения (оно всегда неопределенное, беспорядочное, связанное не с людьми, а с миром стихий — это ветер, дождь, пожар, часто используется слово «круговерть»). Иными словами, эта дикая степь представляет собой пограничье между двумя мирами. Движение задает и временные характеристики. Описание пространства-времени, в котором доминирует эпическая интонация, ведется автором как бы сверху, с высоты провидения, как бы с точки зрения летописца будущего. Оно линейно направлено. С другой стороны, «втягивая» в свою орбиту украинские земли, иной мир инициирует процесс исторического изменения — от прежнего состояния мира и согласия в государстве (стабильность трактуется Сенкевичем как неподвижность в истории) к войне, раздору между «побратимами» (поляками и украинцами). Несмотря на то что эта переходность несет смерть и разрушение, она в конечном итоге должна вывести Польшу на новый виток развития, разрешив то, что не могло осуществиться в состоянии прежнего, мнимого благополучия: так понимается Сенкевичем историческая эволюция. Таким образом, это пространство в тексте действует как самостоятельный персонаж, наделяемый поэтом некоторыми антропоморфными чертами.

С другой стороны, в тех редких эпизодах, когда речь заходит о сопоставлении коронных польских земель и ее юго-восточных окраин,

последние неизменно наделяются знаками и чертами периферийного семиотического пространства. Косвенным подтверждением этому является та часть романа, в которой рассказывается о приезде Иеремии Вишневецкого с войсками в великопольские земли, когда все главные герои чувствуют себя крайне неуверенно и воспринимаются местным населением как «чужие», во многом экзотические «иноземцы».

Определения степи связаны с мертвенностью, безжизненностью, она являет собой обиталище духов: «ночами являются в Диком Поле призраки тех, кто погиб или умер без покаяния напрасной смертью... и кружатся вереницами, такие же тени, но всадников... заступают дорогу проезжим, стеная и моля о знаке креста святого» (9). Это подчеркивается и описанием разрушенных жилищ, отсутствием движения и звука («безмолвие»), а встреча двух главных героев-антиподов Скшетусского и Хмельницкого (завязка действия) происходит именно на этой пограничной территории, на «ничейном» пространстве.

Поле — семиотическая граница двух пространств, которые в произведении Сенкевича задаются оппозициями порядок/беспорядок (хаос); цивилизация/варварство; христианство/язычество, человек/не-человек. Они структурируют реальное историческое прошлое в представлении Сенкевича и семиотическое пространство романа. Украина соседствует с пограничьем, но не культур, а миров — мира цивилизации и культуры, мира народов, проживающих в согласии между собой и вместе строящих общее Отечество, и тем, который однозначно наделяется признаками потустороннего пространства. Оно не всегда противоположно по знаку, но существует как бы на иной ступени развития: до культуры, до истории, до народа. Даже природа не задействована автором для его характеристики, но акцентируются лишь признаки умирания или, напротив, до-природные элементы (власть стихий, отсутствие растений и животных). Степь — безлюдное, страшное и безжизненное, потустороннее пространство пустыни — «полууснувшая, но сохранившая на себе следы давнего человеческого пребывания» земля.

Многие исследователи творчества Г. Сенкевича указывают, что польский писатель никогда не видел степей, да и на Украине не бывал³. Это является косвенным подтверждением того, что образ Поля в романе «Огнем и мечом» не должен восприниматься как реальный фон исторических событий, но один из символов, выявляющих историософскую концепцию автора. Поэтому упреки В. Б. Антоновича в том, что «географическая картина края... утрирована Сенкевичем с целью произвести... возможный эффект»⁴ справедливы лишь в том отношении, что подобное описание есть осознаваемый художественный прием⁵.

Однако Дикое Поле возможно приручить, «окультурить», и тогда земли эти станут «своими», войдут в пространство культуры, цивилизации, а значит, и процветания. Примером подобного преобразования для автора становится «доброе» сознательное правление князей Вишневецких, под властью которых и «закипела жизнь в этом краю». Они «обуздали» не только природу, но и «дикие орды — татар, разбойный люд». Сенкевич подробно описывает те разительные перемены, которые принесла польская цивилизация в лице рода Вишневецких на окраинные земли — дикость и хаос сменились порядком как в хозяйстве, так и в правлении. Жесткая «рука законного правителя сдерживала набеги и междоусобицы», поднимала хозяйство, защищала земледельцев и тружеников, а плодородные земли давали щедрый урожай: «И царили по всем княжым уделам достаток, лад, справедливость, спокойствие, но и страх тоже... А в те времена и в тех краях только подобная суровость и давала возможность житью и усердию человеческому укореняться и пускать побеги... а пустынный край процветал...» (62–63).

В данном отрывке важно слово «суровость». Жестокость мер преобразования мыслится как необходимость, такая же, впрочем, как и в отношении участников «бунта черни», вплоть до насилия по отношению к сопротивляющемуся варварству. Его Сенкевич оправдывает безоговорочно.

Иначе говоря, Сенкевич передает отношение к украинским землям, исходя из использованных им польских источников XVII в.⁶, авторы которых (как, впрочем, и многочисленные современники Сенкевича) воспринимали юго-восточные, «русские» земли как законную и равно с другими оцениваемую часть польского государства. Это — «свое» пространство, «свой», а потому правильный и позитивно оцениваемый мир, отождествляемый Сенкевичем с положительно атрибутированными смыслами: культура, порядок, цивилизация, религиозность, разумность и др. Дикое Поле (Сечь, Степь) — иное, «чужое» пространство, а потому его характеристики отличаются, во-первых, всеми присущими «чужому» свойствами — негативными чертами, связью с миром мертвых, варварством, жестокостью, пороками, а во-вторых, недетализированностью. Это мы покажем ниже.

Таким образом, роль польских магнатов объявляется автором культурной и цивилизующей, упорядочивающей и природу, и человеческую жизнь, и, что также очень существенно, нравы. Последний вопрос тесно связан с проблемой изображения людей и не-людей, а также трактовки этнонациональных стереотипов в творчестве Сенкевича.

Система образов в романе построена как пересечение (конфликт) «своих» и «чужих». Та сторона, которую выбирают герои (независимо

от этнического происхождения и вероисповедания), определяет их принадлежность к «правильному», «праведному» миру польской культуры или, напротив, к чуждому, незаконному, стихийному и потому чуждому миру Сечи. Для первых Украина — власть Иеремии Вишневецкого, законность и порядок, который он олицетворяет. И напротив, казачество, бунтари всех мастей, т. е. «люди», не имеют, строго говоря, по мысли Сенкевича, отношения к украинскому (польскому) патриотизму. Они видятся автором как не принадлежащие этому культурному пространству, но не как маргиналы, а как представители иного мира — вне государства, вне культуры, а потому и вне истории; они относятся к миру не-людей, а их поведение и облик далеки от человеческого: «Несколько тысяч кинулись на обреченных и стали разрывать их в куски, воя и борясь друг с другом за возможность протиснуться к жертвам. Их топтали ногами, из их тел вырывали клочья мяса. Сброд топтался, сбившись вокруг них в жутком конвульсивном порыве разбушевавшейся толпы... так товарищество карало изменников» (112).

Не случайно и частое сравнение Богуна — самого яркого антигероя — и казачества с волками и волчьей стаей. Образ волка — основной и несколько навязчивый (наряду с символической оппозицией крик/ястреб) мотив, который не только скрыто задает целый ряд ассоциаций (фольклорная связь волка с потусторонним миром, с колдовством; символика голода, войны, жестокости, смуты и разорения, атрибут смерти и колдовства⁷ и т. д.), но иногда и помогает читателю еще до развязки разобраться в сущности некоторых персонажей (например, Богуна и Курцевичей).

Другая характерная деталь связана с уже упоминавшейся особенностью эпического в романе. И степные пейзажи, и размышления героев о судьбах этой земли тяготеют к обобщению в отличие от конкретных и детальных характеристик (всегда индивидуальных), связанных с Польшей (в том числе Украиной) и поляками. Описания природы — это взгляд сверху, часто с высоты птичьего полета, или с середины стремительной реки на берег; это Поле, Река, Сад, Курень вообще; редко изображение дано с близкого расстояния, оно как бы расплывается и обретает четкость с удалением от объекта рассказа. Размышления об истории и Божественном предопределении также подчеркивает некую неопределенность, расплывчатость и двойственность пространства в романе. Путь еще неясен окончательно, хотя автор твердо знает, как нужно поступить, чтобы он был выбран правильно. Эталоном служит историческая реальность Речи Посполитой (разумеется, идеализируемая Сенкевичем) — ее верных шляхтичей, ее трудолюбивого крестьянства (без различия этносов и кон-

фессий), олицетворяющих порядок, дисциплину, нерушимость истинной веры, преданность королю и благородному слову.

Подобное же (зрительное) строение образа использует Сенкевич в описании людей. Казачество, за редким исключением, не представлено в лицах. Жители Сечи всегда изображаются в общем, в группе. Они походят на несформированную массу — неорганизованную, не сплоченную. Это толпа, и толпа не совсем людей. В ней нельзя различить отдельные детали, тем более отдельные характеры. Отказавшись от мира и процветания, они идут наперекор истории, а потому обречены на неузнаваемость. С другой стороны, такое видение подчеркивает неосознанность стремлений масс, которые для польского писателя связаны с миром природных стихий, а не с культурой, неизменно оценивающей себя рационально. Потому важно противопоставление личностей героев группе людей, общественному организму. Для автора принципиально различны группа, связанная воинской дисциплиной, долгом, выполнением присяги, и неконтролируемая, дикая, ничем не ограниченная и несдерживаемая толпа казаков. Люди, таким образом, это система, связующая личностей, а без индивидуального начала нет гражданина, одушевленного и разумного человеческого существа: «...люди совершенно дикие и не исповадовавшие никакой религии; religionis nullius... Меж них бросались в глаза фигуры... звероподобные, страшные, в лохмотьях всевозможного платья... Каждый был вооружен, но самым невероятным оружием, отовсюду доносились гомон и вопли. Пронзительные голоса татарских дудок и бубнов мешались с ревом скота... одновременно с этим раздавалось „ух-ха! ух-ха!“ — дикие выкрики перемазанных в дегте и совершенно хмельных казаков, пляшущих на майдане трепака. Все вместе выглядело жутко и неукротимо... было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что любой повод может разбудить эти неуправляемые стихии, скорые до грабежа и привычные к стычкам», «в одном конце площади толпы чабанов завывали степные тоскливые песни. Дикие запорожцы плясали у костров, подкидывая вверх шапки, паля из пищалей и четвертями поглощая горелку» (26–29). Звуковая характеристика усиливает картину беспорядка, хаоса и дикости нравов. При этом следует подчеркнуть: нигде в романе казаки не называются украинцами, они — или «запорожцы», «казаки», или «люди». Так же, впрочем, как и «Сечь», «Запорожье», «Дикое Поле» не применяются по отношению к собственно «Украине».

В. Б. Антонович, резко критикуя изображение украинцев (орды, пьяного сброда, облик которых более напоминает животных, нежели людей), исходит из представлений своего времени, до сих пор разделяемых украинским и отчасти российским научным и общественным

мнением, что именно казачество являет собой этнокультурный символ украинской нации и что украинская государственность берет свое начало в войнах Б. Хмельницкого в середине XVII в. Не только современники Сенкевича, но и сегодняшние читатели и зрители последней экранизации романа расценили его произведение как анти-украинское, ущемляющее чувства национальной гордости и достоинства украинского народа. Однако такая интерпретация представляется в корне неверной. Причина — в принципиально отличной от современной трактовке Сенкевичем роли и значения казачества в украинской культуре. Автор пытался доказать в романе, что украинцы — это «свой» народ, «побратимы». Но под ними он подразумевал только тех, кто считает себя верным и преданным сыном Речи Посполитой, — т. е. это шляхтичи, лояльные власти, представители других слоев населения, поддерживающие порядок и мир в государстве. Казачество же, от которого ведут свое происхождение и с которым идентифицируют себя, согласно современной национально-государственной украинской идее, современные украинцы, для Сенкевича никакого отношения к украинскому этносу не имеет.

Однако когда Антонович резюмирует, что «Сенкевич и его почитатели стоят пока еще на той низкой степени развития патристического чувства, на которой люди полагают, что все свое непременно хорошо потому только, что оно свое. В силу этого ложного патристического чувства они считают своим долгом отрицать всякую попытку критического отношения к своему прошедшему и стремятся возвеличить всякое безобразное явление в исторической жизни своего народа»⁸, — он прав по сути, но заблуждается в объяснении такого подхода автора. Корень непонимания в том, что писатель и историк опираются на разные историко-культурные модели отношения к «чужому» (условно «европоцентристская» и «традиционалистская»)⁹.

Объясняется это тем, что главным критерием для автора выступает культура, понимаемая как постепенно, в условиях мира и эволюции вызреваемые ценности образования, права, законности, преобразования человека верой, а природы — трудом.

Поскольку граница семантического поля определяет и развитие сюжета (герой должен перейти ее в двух направлениях)¹⁰, то в пограничное пространство между двумя мирами — «своим» и «чужим» — могут «проникать» элементы и персонажи двух противопоставляющихся (связанных с конфликтом романа) сторон. Все главные герои Сенкевича совершают постоянные переходы через Сечь, и регулярное нарушение этой границы создает ощущение нерешенности, неопределенности ситуации, в том числе и неясности судеб героев и мира в целом, а реальные исторические события — война, голод, страш-

ная резня, пытки, многочисленные зверства с обеих сторон — усугубляют ощущение незавершенности, открытости конца.

Противопоставлению служит и образ Богун. Пожалуй, только два персонажа — Богун и Б. Хмельницкий — могут рассматриваться как отрицательные, но все же личности, они сравнимы с польскими героями, и оба до конца повествования находятся как бы между двумя мирами — истинным и ложным. Их характеры не отличаются цельностью, ведь движение души, изменение внутреннего мира героев не является достоинством, признаком человечности в историческо-философской концепции Сенкевича. Кроме того, они способны переходить из мира здешнего в мир потусторонний. Эта значимая характеристика персонажа, нарушающего границу семиотических полей, дополняется следующими деталями: Богун часто забывается и совершает многие поступки в бессознательном состоянии. Однако и Хмельницкий, и Богун в состоянии совершить верный выбор — выбор настоящего патриота Речи Посполитой. Но оба они склоняются в сторону «неправильной жизни» по своей воле, и в частности потому, что не поддержаны Божией волей (в том числе и в лице церкви).

Богуну помогает колдунья Горпына, которая олицетворяет собой демоническую, нечеловеческую природу, его породившую, и потому только она способна оказать ему помощь. Скетусский же, хотя его религиозные убеждения не описываются специально, принадлежит к миру христианскому, к истинной религии: когда он почти теряет рассудок, именно католический священник словами молитвы «Отче наш» приводит его в чувство, возвращая к жизни.

Этот же ксендз на исповеди вразумляет Скетусского в том смысле, «что нежеже христианину усумниться в могуществе Божиим, а гражданину более о своем собственном, чем об отечества несчастье, сокрушаться, ибо своекорыстие — проливать больше слез о себе, чем о народе своем, а свою любовь оплакивать более, чем всеобщую беду....» (238–239). Богун же, напротив, в самый разгар военных действий бросает все, чтобы отвезти и спрятать Елену в укрытии колдуны. Таким образом, истинная любовь к женщине, по мнению автора, неотделима от любви к Отечеству и вторична по отношению к ней, а страсть Богунa, из-за которой он теряет голову, есть чувство варварское.

Важнейшей пространственной характеристикой являются код дома и код дороги. В романе нет образа дома — символа родины, нет и упоминаний о семейном очаге, символизирующем покой, мир, защищенность. Жизнь героев проходит в походах, сражениях, в сложных переплетениях судеб, в бесконечных блужданиях и кровавых стычках. Собственно описание усадьбы появляется всего три раза. Первый раз это дом Курцевичей в Разлогах — отчий дом панны Елены, отнятый

у нее теткой. Однако он наделен явно негативными чертами, его назначение — обрисовать характеры братьев Курцевичей, предводительствуемых своей суровой матушкой. «Любившая своих сыновей как волчиха волчонков» (45), отнявшая у сироты все принадлежащее ей имущество и ради него пожертвовавшая и образованием («окультуриванием») своих детей, она была причиной того, что Курцевичи, чей православный род велся от Рюриков, стали в конечном итоге предателями Речи Посполитой. Отступничество делает их пограничными персонажами между миром истинной культуры, образованности, дисциплины и порядка и антимиром степного казачества. Значимы сравнения их характеров со степью и волками. Судьба их семьи олицетворяет наступление степи (хаоса) на мир культуры: «в жилах текла благородная кровь, но привычки остались дикими и грубыми, а разум и очерствевшие сердца напоминали залежь степную» (45). В их доме «все... куда более прочих было похоже на гнездо хищников» (46). Дом этот, как видим, далек от идеала семейного гнезда.

Такой же суровостью военного быта веет и от покоев резиденции князя Иеремии Вишневецкого — замка в Лубнах. Здесь достаточно умеренной роскоши и комфорта, гораздо более утонченного вкуса, но также нет ощущения тепла и уюта: «Житье здесь было суровым, почти походным», «солдат преобладал здесь числом над дворянином, железо предпочиталось золоту, голос бивачных труб — шуму пиров и увеселений. Повсюду царил образцовый порядок и неведомая нигде более дисциплина» (60) — вот, по сути, единственное отличие замка от усадьбы «русских» шляхтичей.

Однако самые страшные «дома» — жилища казаков, собравшихся с Хмельницким на войну с Речью Посполитой: «Сами хаты более походили на шалаши, ибо только крыши их возвышались над землею... В жильях этих царил вечный мрак, поэтому внутри постоянно жгли или лучину, или дубовое пеньё... Меж сараев также кособочились тридцать восемь куренных шинков, а возле них среди мусора, щепок, дубовых поленьев и куч конского навоза всегда лежали мертвые пьяные запорожцы... Их товарищи, заывая казацкие песни, плюясь, дерясь или целуясь, проклиная казацкую судьбину... наступали на головы и тела лежащих». Таким образом, у казаков даже нет дома в полном смысле этого слова. У них лишь логова и шалаши.

Бездомность героев подчеркивает безвременье и неустроенность жизни, жизни на переходе, границе времен: старый мир разрушен, а конца войне нет.

Образ дороги также отсутствует в романе в привычном, прямолинейном понимании. Всеобщая бездомность и бездорожье — вот что царит на Украине, ввергнутой Хмельницким в войну. Страх, грязь,

море крови и беспорядок во всем — это спутники не только всякой войны, но в первую очередь войны междоусобной; в непредсказуемости человеческих судеб, во власти случайностей фортуны, в хаосе не виден путь человеческий, а только «огонь и меч» судьбы, Божьей кары.

Уже само название романа обращает читателя к библейской и античной символике. Во-первых, библейские «огонь и меч» восходят к Ветхому Завету (Быт. 3: 24; 22: 6) и символизируют как Божью кару, возмездие за нарушение Господнего запрета, так и акт жертвоприношения. Во-вторых, латинская фраза «ferro et igni» в современном польском и русском языке связана с мотивом беспощадной, кровопролитной войны, в которой нет различия между мирным жителем и воином, когда уничтожается все и вся. Так автор задает главную тему произведения, интерпретируя события истории Польши середины XVII в. как Божью кару и доказывая неизбежность принесения жертвы (важно то, что именно эта параллель еще раз подчеркивает роль польской культуры как отеческую, а не декларированную братскую по отношению к юго-восточным землям), а развязанная Б. Хмельницким война против польского государства рассматривается автором как возмездие Господа за прегрешения Речи Посполитой. В главном с точки зрения идейного содержания диалоге между Хмельницким и Скшетусским последний раскрывает истинные мотивы его поступков: «Кто же ты такой, гетман, чтобы судьей и палачом себя поставить?.. Зачем ты Богу суда и кары не оставляешь? Я зла не защищаю, обид не одобряю, притеснений законом не нарекаю, но взглядишь же в себя, гетман!.. Разве сам ты без греха? Сам разве не поднял руку на Речь Посполитую, закон и престол?.. (120). Пусть и плохи они... так их же Богу в небесах судить, а на земле сеймам, но не тебе, гетман!.. Разве ж вы никогда не согрешили, разве имеете право бросить камень в чужой грех?.. Кровь пролитая тебя отягчит, слезы людские обвинят...» (120–121).

Столь совершенное образование, как Речь Посполитая, оказывается разрушено, по мысли автора, не внутренними или внешними причинами, но грехом конкретных людей. Личность ответственна за историю. Грех каждого индивида — вот что сметает рай земной и исторический, вот что сломило Речь Посполитую. Бог вынужден наказывать человека за его отступничество. Потому не мир принес он, а меч. Тема Божественного промысла, таким образом, начинается и завершает произведение Г. Сенкевича, являясь единственным постоянным звеном, устойчивой точкой отсчета в романе, композиция которого иногда кажется нарочито нестройной, сознательно неупорядоченной. Однако автор оставляет при этом незавершенной, «открытой» исто-

рию Речи Посполитой, ставя многоточие в ответе на вопрос: искуплены ли грехи, достаточно ли жертв принесено Польшей в борьбе за свое право на спокойную и достойную ее прошлого судьбу.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Антонович В. Б. Польско-русские соотношения XVII в. в современной польской призме // Киевская старина. 1885. Кн. 5.
- 2 Сенкевич Г. Собр. соч. В 9 тт. М., 1983. Т. 2. С. 7. Далее указания на страницы этого издания даются в тексте в скобках.
- 3 Указывая на центральное место образа степи у Сенкевича в эпической интонации романа, исследователи пытаются найти либо его литературный источник, либо влияние иных художественных произведений. Так, А. А. Пауткин доказывает, что таким источником могло быть «Слово о полку Игореве» (Пауткин А. А. Исторический роман Г. Сенкевича «Огнем и мечом» и русская литература // Вестник МГУ. Серия «Филология». 1997. № 1. С. 82). Польский литературовед Б. Бялокозович усматривает в данном контексте литературные параллели с гоголевским «Тарасом Бульбой». См.: Бялокозович Б. Родственность, преемственность, современность. М., 1988. С. 82–83.
- 4 Цит. по: Фемелюди А. М. Генрик Сенкевич. Его литературная эпоха, жизнь, труды и мысли. СПб.; М., 1912. С. 154.
- 5 Характерная деталь: эту же «географическую картину» польский автор, современник В. Антоновича, Ст. Козловский трактовал как образ «общей для украинцев и поляков родины — степи». См.: Kozłowski St. O trylogii Sienkiewicza. Warszawa, 1900. S. 40–41.
- 6 Это главным образом многочисленные дневники и «*silva rerum*» польских шляхтичей, а также исторические хроники П. Пясецкого, В. Коховского и др. См.: Горский И. К. Исторический роман Г. Сенкевича. М., 1966; Gorka O. «Ogniem i mieczem». Warszawa, 1986.
- 7 Kopański Wł. Słownik symboli. Warszawa, 1991. S. 462–464.
- 8 Цит. по: Фемелюди А. М. Генрик Сенкевич... С. 155–156.
- 9 В задачи данной работы не входит последовательное обоснование данного утверждения, можно лишь отметить, что различия в художественном воплощении историко-философских моделей особенно отчетливо можно видеть при выявлении типологии исторических романов в польской и русской литературе второй половины XIX в. (в частности, романов Г. Сенкевича и прозы Л. Н. Толстого).
- 10 Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 230–231.

В. Я. ТИХОМИРОВА

РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ЭТНИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП В ПОЛЬСКОЙ ЛАГЕРНОЙ ПРОЗЕ

Стереотипы могут принимать самые разные — вербальные и невербальные — формы выражения, однако язык является, вероятно, самым важным средством их определения, сохранения, передачи и оценки. Он служит главным инструментом трансляции устоявшихся представлений о явлениях окружающего мира от человека к человеку и от поколения к поколению¹.

Современная социология² и этнолингвистика³ рассматривают язык — его структурные признаки и семантику — как основу идентификации стереотипа, поскольку «то, что было закреплено в языке, закрепляется (закреплено) в общественном сознании в определенный исторический период»⁴. При этом подчеркивается следующая закономерность: то, что закреплено в сознании общества, не обязательно закрепляется в языке, но то, что зафиксировано в языке, непременно закреплено в общественном сознании⁵. В концепциях этнолингвистики, анализирующих стереотип с точки зрения его принадлежности «языку культуры»⁶, он описывается в качестве составной части языковой картины мира, охватывающей «как образ вещи, так и образ человека»⁷. Ее образуют, с одной стороны, «сетка грамматических и семантических категорий, с помощью которых пользователи языка интерпретируют действительность», и с другой — «конкретные характеристики предметов, в которых закрепленные в сознании представления сочетаются с оценками и поведенческими образцами»⁸. По мнению видного польского лингвиста Е. Бартминьского, анализ языковых данных позволяет «реконструировать эти представления, определить, каким образом современный поляк интерпретирует действительность, какие черты предметов и лиц он замечает, выделяет в качестве главных, какое место отводит человеку... Эти черты как раз и составляют ядро стереотипа»⁹.

Являясь частью более широкой и многоаспектной области исследований соотношения языка и культуры¹⁰, проблематика стереотипа, в особенности стереотипа этнического, может осмысляться в кругу вопросов, связанных с изучением роли языка в процессе формирования и сохранения национального самосознания¹¹. Одним из важных источников информации в такого рода разысканиях служит

литература. Интереснейший раздел польской словесности XX в. — произведения, созданные поляками-узниками советских тюрем и лагерей, — дает возможность для углубления представлений о том, как выраженная в конкретных фактах языка польская ментальность проявлялась в стереотипе России и русского, функционирующем в широком общественном сознании.

Между тем в польской науке не существует специальных работ, освещающих лагерную прозу в подобном ракурсе. Кроме того, мало востребован ее богатейший языковой материал, что отмечено в монографии Э. Чаплеевича — первом и пока единственном в польском литературоведении целостном исследовании произведений лагерной темы¹². Из известных нам работ польских лингвистов, проявивших интерес к языку лагерной литературы, заслуживают внимания две статьи Б. Бартницкой, опубликованные в начале 90-х гг.¹³. Что же касается российской полигистики, то она лишь недавно приступила к углубленному изучению этого фрагмента польской литературы¹⁴.

В настоящей статье рассматриваются русские заимствования, присутствующие в польском лагерном дискурсе, представленные как в своих лингвистических, так и более широких общекультурных аспектах. Пытаясь разобраться в том, как русскоязычная лексика лагерной прозы соотносилась с образом-стереотипом соседней страны, бытующим в коллективном сознании поляков, мы вплотную подходим к сложным теоретическим проблемам взаимосвязи языка и стереотипизации, с одной стороны¹⁵, и стабилизации этнических стереотипов в текстах культуры — с другой¹⁶.

Исследование проводилось на материале пятнадцати известных произведений (использованных целиком или фрагментарно)¹⁷, которые, на наш взгляд, отвечали критерию репрезентативности с точки зрения наличия пужного лексического материала¹⁸, уровня языкового сознания их создателей, объема представленности темы (основная, в качестве фона или отдельных эпизодов), разнообразия повествовательных жанров, типу книгоиздательской практики (преимущественно эмигрантская, но также самиздатовская и официальная печать). Отобранные нами для анализа произведения рассматривались в виде текстового единства, содержащего определенную информацию и выражающего эмоциональное отношение к представленному в них объекту описания — русскому миру советского периода истории.

Осваивая этот мир, поляки одновременно осваивали его язык. Отсюда главная особенность языка лагерной прозы — его русифицированность. Ее основные приметы: 1) высокая частотность русских лексем, 2) экспрессивно-оценочный характер значительной части заимствований из русского. Принудительное и долгое пребывание в СССР выпуждало

поляков пользоваться русским языком в самых разных жизненных ситуациях. Русскоязычные вкрапления в анализируемых текстах отражают новую для них действительность, неизвестные, нередко экзотические реалии и понятия иного социума, иной культурной среды. Можно выделить следующие семантические области*, которые образуют русские слова и словосочетания (в латинской графике¹⁹), обозначающие:

1. Возраст человека:

malczik, malczyszka, pariniok, pacan, dziewoczka, dziewuszka, barysznia, dziwczata, tiotia, diadia, mużczina, żenszczyzna, babuszka, staryk/starik

2. Степени родства:

doczka, matuszka, batiuszka, papka, muż

3. Физические свойства и внешний вид:

krasywenkuj, krasiwaja, kurnosy, stareńki

4. Части тела:

ruki, kulak, żiwot, głaza, rot, baszka, żopa

5. Черты характера:

podlec, nachał, łodyr, boltun, mierzawiec

6. Качества человека:

charoszyj, gordyj, galantnyj, kulturnyj, inteligentnyj, obrazowanij, sumaszedszyj

7. Одежду:

(czapka) uszanka, papacha, baszłyk, bieretka, płatoczek, walonki, sapogi, fufajka/kufajka, buszlat, rubaszka, bruki

8. Еду, напитки:

treska, komsa, ucha, szczy/szczy, rosolnik/rasolnik, łapsza, siemieczki/semiaczki, konfiety (konfietki), sachar, salo, bielej chleb, garbuszka, lepieszka, pieroh, gałuszki, pszeno, kombinzyr, czaj, kipiatak (в качестве «напитка»²⁰), szampanskoje, chwoja (отвар для питья), bałanda, nastojka

* Поскольку нас интересует стереотип русского, мы не рассматриваем лексику, несущую информацию о пребывании поляков на азиатском юге СССР, хотя в польском сознании понятие «Россия» распространялось и на эти географические области (ср.: «*Rosja Europejska*», «*Rosja Azjatycka*», что встречается даже в специальных работах, посвященных проблематике депортаций поляков в СССР. См., например: *Siedlecki J. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939–1986. Wyd. 3. Londyn, Gryf Publications, 1990. S. 45*). Подобных примеров в лагерной прозе достаточно много: *wierblud, chlopok, kiziak, kibitka, aul, arba, tiubietejka/tubietejka, aryk, uzium, baksza* (искаж. «бахча»), *ketman, babai, basmacz, czaban, aksakai, muezzin* и др.

9. Здоровье, болезни:
cynga, ponos/panos, pylagra (пеллагра), *infarkt miokarda, morgancowka, bilutien*
10. Культурную сферу:
czastuszki, piesienka, stichi, harmoszka, bałalajka/bałabajka, akardeon, ikona, muziej, odikałon, szaszki
11. Религиозную сферу:
Bog/Boh, satana, pop, batiuszka, diak, monaszka, starowier, ras-kolnik, wieroispowiedanije, panichida
12. Профессию, специальность, должность:
wracz, jurist, miedsiestra/med-sestra, med-brat, lekpom, sanitar, szachtior, bańszczyk, uborszczica/uborszczyca/oborszczyca
13. Принадлежность к определенным социальным группам общества, социальный статус:
kupczycha, brodiaga/bradiaga, katorżnik, burżuj, pomieszczczyk/pamieszczczyk, grażdanka (grażdanie)
14. Реалии быта:
dieriewnia, posiołok, gorod, kwartira, kładbiszczce, ziemiłanka, palatka, barża, bania, ambar, saraj, magazyn, bolnica, ławoczka/łowoczka, pojezd, wołga, moskwicz* (марки машин), *awtobaza, peczka/pieczka, spiczki, okurek, bumażka, (kuritielnaja) bumaga, machorka, bankrutka, kazbek* (сорт папирос), *sigarety, samowar, nożyk, uborna, kojka, tumboczka, taburet, czemodan, posuda, koromysła, czugun, stal* и др.
15. Флору и фауну:
bieriozka, cwiетoczek, tiulipan, poślón, kowil, «carskije kudry» (вид растений), *perekatipole, grozdi* (искаж. «грузди»), *so-baka, koszka, suślik, pietuch, oriol, czajka, solowiej, tarakan*
16. Явления природы:
solnyszko, buran, ablaka, wietier, tyszyna, zwiozdoczka, morie, ziemia
17. Топонимы:
Polsza/Polszcza, Rosija, Sowieckij Sojuz/Sajuz, Zapadnaja Ukra-ina, Zapadnaja Bielarus', Sibir/Sybir, Kołyma, Katyń, Ostasz-ków, Griazowiec, Pawliszczew Bor, Wołogda/Wołoħda, Woło-

* При передаче поляками русских слов встречаются ошибки, так как русская речь воспринималась ими преимущественно на слух.

hocka Oblast, Petrouralsk, Czelabińsk, Czałow, Tock (Tockoje), Buzuluk, Afanasiewskij Razjezd Swierdłowskoj Oblasti Aczyckiego Rejonu, posiołek Oktiabrski, (miejsowość) Karl Marks, Łubianka и др.

18. Денежные единицы:

diengi, rubel, kopiejka, czerwonic

19. Понятия и реалии, связанные с депортациями и принудительным трудом:

pieriesieleńcy, biezeniec, tiepluszka/ciepluszka, krasnuchy (товарные вагоны для перевозки заключенных), *eszelon/szalon, ssyłka, pryisk/proisk, szachta, zaboj, strojka, lesopunkt, lesopotwał/leso-pował (lesopowalka), lesorub, lesogon, master lesa, wagonśczik/wagonśczyk, normirowszczyk, nariadczyk/nariadczyk, inspektor truda, czarnoroboczy, uczastok, wodosplaw, razwod, razwodczyk, nosilki, wychodnoj/wychodnij (dzień), pajok, nocznoj trud, trudodni, progul/progól, progulszczyk, nariad, kubik* (кубический метр), *kirka, relsy, szpały, chlebouborka* и др.

20. Тюремно-лагерные реалии и понятия:

zek, lagier, speclagier, Gulag, trudowej isprawitielnyj lagier, lagier wojennoplennyj, ołp (отдельный лагпункт), *komandirowka* (лагерное подразделение), *szafrny lagpunkt, szafrna kolonia, lagiernik, smiertnik, arest, tiurma, zakluczonyj, bezkonwojnyj, dochodiaga, kamera, parasza, dopros, wyszka/wyżka, sledowatiel/sledowatel, nadziratiel(ka), wachcior, kaptior, chleboriez, chleboriezka, izolator, sobaczka, sanobrabotka, aktirowka, prowierka/pieriewierka, wospitatiel, naczałnik (naczałnica), dniawalny, bytowik (bytowiczka), kontryk, spec, specnaprawlenie, pieriesyłka, pieriesylnyj, kawecze/Kwz* (kulturno-wospitatielnaja czast'), *zaprietka, slabosilka, lagiernaja dacza, dom swidaniy, iteerowskij kociol, pajka, pieriedacza, prijomnaja, lazariet, slabkomanda, podjom, odboj, urka (urkaczka), stukacz (stukaczka), pridurki/prydzurki, biezprizorny/bezprizorny, małolatka, blatnoj, szestiorka, żulik, szpana, szmon, tufta, proizwoł, «welocyped», zaczot, porogam, wiecznoje posilenije* и др.

21. Армейские и чекистские реалии и понятия:

wajna, otieczestwiennaja wojna, gieroj, gieroj Sowietского Sojuza, soldat, armiejec, krasnoarmiejec, partizan, faszist/faszyst, szpion, plen, prikaz, rozwiędka, oborona, fon oborony (искаж. «фонд»), *wojenkomat, «kukuruźnik»* (тип самолета), *narkom, kamandir/komandir, komisar, politruk, lejtenant/lejtynant, swiaznik, tan-*

kist, strielok, bojec, wochra (wochry), czubaryk, karaul, transzeja, wintówka, sztyk, ogoń (команда стрелять), *pagony, Czeka, Czezwyczajka, enkawude, enkawudzista, «trojka»* (NKWD), *oper, operczekistka, zolotopagonnik** и др.

22. Названия национальностей:

*Poliak (Polaczka/polaczka, Polaki), Ruskie (Ruscy), Jewriej (Jawrejka), Kazach (Kazaszka)**, nacmen, sowiet (sowiecka, sowieci — о гражданах СССР), Germancy/Giermancy, Kitajec.*

Кроме того, были выявлены другие особенности, связанные с влиянием русской лексики на польскую. К ним относятся:

1. Русизмы в именах собственных

а) русские личные имена, отчества, фамилии:

Siergiej, Sierioża, Żenia, Katia, Wania, Tanioczka, Jurik, Grisza, Kolka, Dimka, Piotrowna, Katierina Iwanowna, Matwiej Kirillo-wicz, Łońka Szapoczkín, Michail Aleksiejewicz Kostylew, Sofia Michajłowna Afanasjewa и др.

б) русизмы в антропонимах:

kolchoz «Woroszyłow», samolot «Gorkij» и др.

в) эргонимах

sowchoz «Bolszewik», sowchoz «Krasnyj Oriol» и др.

г) идеонимах:

egzemplarz Woprosow leninizma, gazeta «Izwestija», Biesiedy o socjalizmie Karpińskiego и др.

д) наименованиях объектов и предметов материальной и духовной культуры советского периода:

statek «Proletari», w marynarskim dekle ze zloconym napisem «krasnyj flot», «Bieriozka» и др.

1. Советизмы*:

Sowiety, Sowdepia, bolszewik, komsomolec, stachanowiec, predsi-datil/predsiedatiel, upolnomoczenyj, deputat, kolchoz, kolchoż-

* В послевоенное время работники госбезопасности высших военных званий.

** Вот что пишет в своих воспоминаниях ксендз Т. Федорович: «Я впервые встретил это название: „казах“... Казахи — это монголы, отличные от татар. Раньше мы называли и тех и других татарам». См.: *Fedorowicz T. Drogi Opatrzności. Lublin, 1991. S. 64.*

* Лексические единицы, употребляющиеся для обозначения реалий и понятий советского времени. См.: *Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. С.-Петербург, 1998. С. 560.* В данную рубрику включены слова и словосочетания, содержащие слова-советизмы в качестве стержневых компонентов.

nik, sowchoz, selchoz, Lespromchoz/Laspromchoz, zawchoz, upraw-lajuszczu/uprawlajuszczu, uprawnienec, dobrowolec, politoddiel, politgramota, sielsowiet, oblastnoj sowiet, reispolkom, rajkom, obkom, robkom, Wierchownyj Sowiet, sowieckaja właść, milicja, milicyjamt, gosbank, MWD, TASS, komsostaw, naczalstwujuszczuj sostaw, trud-armia, socproizwodstwo, doska poczota, krasnyj ugołok/Krasnyj Ugołok, birza truda, łozung, mityng, blat, spiec-lariok, pieriekowat, pieriekowka, rozkulaczaniye, razbazarywaniye, wreditiel, sabotażnik, wrag/wrah naroda, reżymnyje goroda, rewolucyonnaja bditielnost', sokraszczenije sztata, chudożestwien-naja samodiejatielnost', dietdom, Dom Oddycha, poslednije izwies-tija, sowieckaja ženszczyna, partija i prawitielstwo, na blago rodiny, burnyje aplodismienty и др.

2. Экспрессивная лексика:

Gospodi/Hospodi (pomiluj), czorcioneek, riebiata, bratok, bratcy, družok, synok, maładiec/molodiec (molodcy), czajok, blinoczek, jolki palki и др.

3. Стилистически сниженная лексика, грубые слова, русизмы с отрицательной коннотацией:

gieroj (ирон.), *Polacziszka, Polaczok, paszoł/poszoł won, zdychaj/zdochaj, barachło, żopa, pierdułka* (прогулка в тюрем-ном дворе) и др.

4. Пејоративная лексика:

(polskije) sobaki, szakały, skatina, (polacka) morda, chaliera

5. Инвективы:

а) слова, содержащие общую оценку обозначаемого явления:
rugatielstwa, mat

б) бранная лексика:

durak, swolocz, podluczka

в) матизмы:

jedrieni babuszki, bladź/blat'/blat, job/jop twoju (twoja) (w Boga) mać/mat, jobany (w rot)

6. Отвлеченные понятия:

gore, użas, czepucha, głuposti, żrunda (искаж. «ерунда»), *suma-tocha, czyn, krasota, toska, biezobrazije, bołtownia, patriomkinowska dieriewnia* и др.

7. Отдельные слова и словосочетания из разных сфер употребле-ния (существительные, прилагательные, наречия, глаголы, меж-дометия):

siewier, matierik, liudi, waproś, sprawka, udostowierienije, kurort, putieszestwie, otkaz, choziajewa, oszybka, siekriet, hod, russkij; starszyj, staroriezymnyj, dosroczyj, kazionnyj, tiuremnyj, zakonnyj, bezkonwojnyj, batalionnyj, antirieligioznyj, stachanowski, cyngotnyj, łachmaty, pylny, kierzowyj, wkusnyj; kirpicznyj (czaj), czudeso, oczeń prosto, haraszo, otliczno, kulturno (niekulturno), niczewo, położeno, bystro (bystrej/bystryj), skariej, priamo, niezia, domoj/damoy, pod stienku, na bukwi..., na prikusku, po błatu, pipidruczki (искаж. «под ручку»), dawaj, storonis, sadis, podażdi/padażdi, przyznaj sia, padnimajsia, prosti, spasibo, zdrowstwujtie, bieritie, wygruziliśmy sia, wybył, rabotać, podychać, mieniać, rasstrielat', stukać, ni priczom, nu и др.

О степени русифицированности языка лагерной прозы свидетельствует наличие большого числа сочетаний слов, фраз, а также диалогических единств, присутствующих в польском тексте без перевода. Например:

błat wysze narkoma; wot czort kakije gordyje; nu my was zgnoim; rabationka nie płochaja, ciepło, swietło i muchi nie kusajut; kak żywiosz: luczsze wsiech; dietskoje nakazanie; miednyje truby; dieriewiannyj buszłacik; dokazi, szto ty nie wierbłud; wnimanie zakluczonyje, w puti isledowania nie rozgawariwat', nie roztiagiwat'sja, nie ogladywat'sja, szag w lewo, szag w prawo, konwoj prinimajet orużie bez predupreżdzenia, szagom marsz и др.

Заимствования из русского чаще встречаются в документальной литературе, чем в беллетристике. Это связано, по-видимому, с теми функциями, которые они выполняли в разных по жанру произведениях. В художественной прозе русскоязычные элементы служили преимущественно средством стилизации, целенаправленного воспроизведения существенных черт принимающего общества и языкового сознания его представителей. В литературе факта русскоязычные вкрапления использовались исключительно для конкретизации «иного» для поляков мира. Однако и в «документах души» (В. Шаламов), и в литературно обработанном материале есть нечто общее: непосредственные участники событий тех лет, создававшие польский лагерный эпос, пытались удержать в письменном слове и упорядочить с его помощью огромную дозу новой информации, которая прорывалась в их сознание из чужой социально-культурной среды. Не случайно лагерная проза содержит такой большой массив русской лексики, связанной с реалиями и понятиями советской эпохи. Наи-

более обширные семантические поля заимствований из русского связаны с жаргонной и арготической лексикой, а также новоязом. Они перетекали сюда из русского языка, в котором данные семантические структуры порождались определенными социальными группами и отражали возросшее воздействие на язык различных социально-политических факторов. Русские слова и термины, возникшие в определенной социальной среде (армейской, чекистской, партийно-номенклатурной, уголовной и др.), становились частью общелагерного языка, откуда разносились по различным сферам русской и польской лексики, включая художественную. Значительную часть заимствований из русского, обладающих советским социокультурным фоном, составляет безэквивалентная лексика: обозначаемые ею реалии и понятия не были связаны в польской ментальности с предыдущим опытом. Другие русизмы активизировали сохраненный коллективной памятью негативный исторический опыт. Основная часть русских заимствований называет тюремные и лагерные реалии, атрибуты власти, меры наказания, отдельные реалии советской жизни. Эти слова воспринимаются как знаки подавления духовности, индивидуальности, свободомыслия. Плотность русского слоя лексики в польских текстах слишком велика, чтобы не заметить, что она производит определенное воздействие на читателя. Прогибаясь под ее напором, польское сознание активно расширяло уже существовавшие в нем ассоциативные ряды, которые прочно соединяли в широком общественном мнении мысль о России с двумя центральными понятиями: деспотии власти и бесправия унижаемого ею народа. Новые заимствования из русского не разрушают традиционной польской интерпретации России, они лишь динамизируют и конкретизируют ее облик в XX столетии.

Определенное лексическое выражение получил польский взгляд на русских. Тщательно фиксируя в текстах запомнившиеся русские слова и выражения, их авторы выстраивают такой лексический ряд, в котором определенным образом отражалась жизнь народа в советскую эпоху. Ее устойчивой нормой выступают бедность и голод. Плохое материальное положение русских отображает лексика, характеризующая их внешний вид в связи с одеждой, указывающая на скудное питание и вызванные этим болезни. Среди профессий преобладает тяжелый неквалифицированный труд. Перечень социальных ролей сведен к двум полюсам: 'начальник' и 'зек'. Если за поляками закрепляются высокие качества личности (в оценке самих русских) — 'гордый', 'культурный', 'галантный', 'интеллигентный', 'образованный', то во внутреннем облике русского польский взгляд улавливает много отрицательных признаков: 'болтун', 'лодырь', 'нахал', 'подлец',

‘мерзавец’. Различая в коллективном национальном портрете ближайшего соседа понятия «русский» и «советский»²¹, поляки давали самую низкую оценку религиозности особи, называемой ими «hołno sovieticus» — «безбожник» (правда, эта лексема не является русским заимствованием *sensu stricto*, а словом, общим для обоих языков. Ср. польск. *bezbożnik*). О манере поведения русских красноречиво говорят ‘ругательства’. Беден пейзаж русской культуры: ‘частушки’, ‘гармошка’, ‘балалайка’, ‘икона’, ‘одеколон’. В единичных случаях появляются ‘песенка’, ‘стихи’, ‘аккордеон’, ‘шашки’. ‘Музеи» выступает как место антирелигиозной пропаганды. Неотступные спутники русского — ‘тараканы’.

Возникает вопрос, насколько этот образ страны и человека, сформировавшийся под влиянием исторического опыта поляков, совпадает с современным этническим стереотипом с точки зрения сходства/различия содержания, степени стабильности в общественном сознании и ценностных характеристик. Интересный материал для возможного сопоставления содержат данные анкетирования польской молодежи, проведенного в 80-е гг. Е. Бартминьским. По общей оценке учащихся люблинских вузов русский человек «открыт, бережлив, предприимчив», но вместе с тем «беден, неряшлив, ленив, некультурен, нечестен, малопатриотичен, пьяница, неверующий»²². В стереотипе русского польские студенты выдвигают на первый план два бытовых признака: *бедность* и *пьянство*²³. Вероятно, стоило бы посвятить сравнению разных «профилей» русского в одном этническом стереотипе отдельное исследование. Одним из возможных путей выявления того, как изменялся этот стереотип в Польше, может служить анализ польской языковой системы, в частности русских заимствований, функционирующих в текстах культуры.

Что касается лагерной прозы, то основная масса содержащихся в ней заимствований из русского осталась невостребованной польским языковым сознанием и сохранилась как память о пережитом. Но отдельные русские слова и выражения продолжили свое существование в современном польском языке. Некоторые из них приобрели со временем такие устойчивые черты, которые позволили этим лексемам войти в качестве языковых составляющих в ядро польских культурных стереотипов. Среди них встречаются слова и словосочетания, которые не были новыми в польской лексике, но актуализировались в языке в послевоенные годы, не в последнюю очередь благодаря литературе (*gieroj, bolszewik, naczałstwo, Sowiety, kolchoz, kolchoźnik, barachło, paszówon* и др.). За другими русизмами стояли исключительно реалии и понятия ГУЛАГа (*zek, lagier, gulag, enkawude* и др.). Составленный нами, хотя и далеко не полный, примерный перечень самых

распространенных в лагерной прозе русизмов (слов и словосочетаний), утвердившихся после войны в разных семантических областях польского языка, выглядит так: *zek, łagier, gulag, enkawude, bolszewik, Sowiety, politruk, gieroj, naczelstwo, kolchoz, kolchoźnik, walonek, fufajka, uszanka, machorka, cynga, sobaka, barachło, swołocz, bladź/błać, paszół won*. Сюда же следует добавить отдельные географические названия, знакомые полякам по прежнему и новому историческому опыту, которые превратились в ключевые понятия: *Sybir, Kolyma, Katyń, Pawliszczew Bor, Łubianka* и др.

Большая часть указанных заимствований из русского имеет в современном польском языке отрицательное значение, вызывает в национальной психике болезненные или неприятные ассоциации. О силе их влияния на коллективное и индивидуальное мышление поляков свидетельствует усвоение русских слов и словосочетаний польской языковой системой (склонение по правилам польской грамматики, образование производных, возникновение языковых оппозиций, употребление в качестве устойчивых словосочетаний). Можно предположить, что из русского языка по разным, имеющим не только языковую природу, причинам (социальным, ментальным, художественным) заимствовались такие лексемы, которые коррелировали со сложившимся в польской культуре негативным стереотипом русского. В свою очередь новые русские заимствования с отрицательным значением, оседаая в массовом сознании поляков, превращались в дополнительные составляющие бытующих в польском обществе представлений о России и русских.

Наш материал иллюстрирует тезис о том, что существует постоянное и глубокое взаимодействие между понятиями и реалиями, участвующими в формировании этнических стереотипов, и языком, способствующим их закреплению, прежде всего в культуре и литературе. Задача исследователя — накапливать наблюдения над тонким механизмом этой взаимосвязи.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См. об этом: *Macrae C. N., Stangor Ch., Newstone M.* Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie / Tłum. M. Majchrzak, A. i M. Kacmajor, A. Nowak. Gdańsk, 1999. S. 161–162.
- ² Op. cit. S. 161–188, особенно s. 396–399, где дана обширная библиография.
- ³ См., например: *Bartmiński J.* Stereotyp jako przedmiot lingwistyki // *Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej*. T. 3 / Pod red. M. Basaja, D. Rytel. Wrocław, 1985.
- ⁴ *Bartmiński J., Panasiuk J.* Stereotypy językowe // *Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski* / Pod red. J. Bartmińskiego. Wrocław, 1993. S. 373.

- 5 *Bartmiński J., Panasiuk J.* Op. cit. S. 373.
- 6 См. об этом: *Бартмиński Е.* Этноцентризм стереотипа. Польские и немецкие студенты о своих соседях // *Славяноведение*. 1997, № 1. С. 12.
- 7 Там же.
- 8 *Bartmiński J., Panasiuk J.* Op. cit. S. 374. Подробнее см.: *Językowy obraz świata / Pod red. J. Bartmińskiego*. Lublin, 1991.
- 9 *Bartmiński J., Panasiuk J.* Op. cit. S. 374.
- 10 Подробнее см., например: *Тер-Минасова С. Г.* Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000.
- 11 Из новейших польских исследований роли языка в процессе формирования и сохранения национальной идентичности в контексте межславянских историко-культурных отношений см.: *Język a tożsamość narodowa*. Slavica / Red. M. Bobrowska. Kraków, 2000.
- 12 *Czaplewicz E.* Polska literatura łagrowa. Warszawa, 1992. S. 98–99.
- 13 *Bartnicka B.* Zapóżycczenia rosyjskie w wojennych wspomnieniach dzieci polskich // *Poradnik Językowy*, 1990. Z. 8; *Ona же*. Elementy obcojęzyczne w powieściach Jerzego Krzysztonia «Wielbłąd na stepie» i «Krzyż Południa» // *Studia nad językiem pisarzy*. Warszawa, 1992. S. 141–158.
- 14 Из опубликованного на эту тему см.: *Хорев В. А.* Польская литература // *История литератур Восточной Европы после второй мировой войны: В 2-х т. Т. 1. 1945–1960 гг.* / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 1995. С. 117–118; *Тихомирова В. Я.* Россия и русские в польской лагерной прозе // *Поляки и русские в глазах друг друга* / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 2000. С. 184–196; *Мальцев Л. А.* Роман Г. Херлинга-Грудзиньского «Иной мир» в контексте русской прозы // *Славяноведение*. 2000. № 5; *Он же*. Жанровая система творчества Густава Херлинга-Грудзиньского: эпические жанры и дневник-хроника. Автореферат. М., 2001.
- 15 Подробнее см., например, раздел «Język a stereotypizacja» в: *Macrae C. N., Stan-gor Ch., Newstone M.* Op. cit. S. 161–188.
- 16 В нашей полонистике эти вопросы были впервые подняты В. А. Хоревым. См.: *Хорев В. А.* О стереотипе и убеждении в литературе (на материале польской и русской литературы) // «Путь романтичный совершил...» Сб. ст. памяти Б. Ф. Стасеева. М., 1966. С. 150–167; *Он же*. Имагология и изучение русско-польских литературных связей // *Поляки и русские в глазах друг друга*. С. 22–32; *Он же*. Stereotypy etniczne a badanie polsko-rosyjskich związków literackich // *Przegląd Humanistyczny*. 1998. № 4. S. 47–54.
- 17 «W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali». Polska a Rosja 1939–42 / Wybór i oprac. J. T. Gross, I. Grudzińska-Gross. Wstęp J. T. Gross. Londyn, Wyd. Aneks, 1983; *To же*: Warszawa, Wyd. Res Publica i Libra, 1990. Использовано данное издание; Isfahan miasto polskich dzieci. Wyd. 2. Londyn, 1988 // *My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSSR* / Wybór i oprac. B. Klukowski. Warszawa, Wyd. ALFA, 1989; *Fedorowicz T.* Drogi Opatrzności. Lublin, Wyd. Norbertinum, 1991; *Kulczyńska M.* Lwów — Donbas 1945. Warszawa, Wyd. «Эпока», 1988; *To же, там же*: Wyd. 3, 1989. Использовано данное издание; *Herling-Grudziński G.* A world apart. Translated by Joseph Marek (A. Ciolkosz). Londyn, Wyd. Gryt, 1951; *To же, там же*: Inny świat. Wspomnienia z pobytu w więzieniach i obozach w ZSSR. 1953; 3-е изд. с другим подзаголовком: *Zapiski sowieckie*. Paryż, Instytut Literacki, 1965. *To же*: Warszawa, Czytelnik, Wyd. 4, 1992. Использовано данное издание; *Wańko-wicz M.* Dzieje rodziny Korzeniewskich. Tel. Awiw, 1942; *To же*: Rzym, Bibl. «Orla

Białego», 1945. Использовано данное издание; *On же*. Droga do Urzędowa. New York, Roy Publishers, 1955; *To же*: Warszawa, Wyd. Polonia, 1989. Использовано данное издание; *Czapski J.* Na nieludzkiej ziemi. Wspomnienia. Paryż, Instytut Literacki, 1949; *To же*: Warszawa, Czytelnik, 1990. Использовано данное издание; *Obertryńska B.* (pod pseud. *Rudzka M.*) W domu niewoli. Rzym, Bibl. «Orla Białego», 1946; *To же*: Warszawa, PAX, 1991. Использовано данное издание; *Umiastowski J. K.* Przez kraj niewoli. Wspomnienia z Litwy i Rosji z lat 1939–1942. Londyn, Bibl. Pamiętników, 1947; фрагменты в: *My deportowani*. Op. cit. S. 201–244. Использовано данное издание; *Grubiński W.* Między młotem a sierpem. Wspomnienia. Londyn, Stow. Pisarzy Pol., 1948; *To же*: Warszawa, Czytelnik, 1990. Использовано данное издание; *Krakowiecki A.* Książka o Kołymie. Wspomnienia. Londyn, Wyd. Veritas, 1950; фрагменты в: *My deportowani*. Op. cit. S. 123–158. Использовано данное издание; *Skarga B.* (pod pseud. *Kraśniewska W.*) Po wyzwoleniu... (1944–1956). Paryż, Instytut Literacki, 1985; *To же*: II wyd. popr. Poznań, Wyd. «W drodze», 1990. Использовано данное издание; *Wittlin T.* Diabeł w raju. Londyn, Wyd. Gryf, 1951; *To же*: Warszawa, Wyd. Polonia, 1990. Использовано данное издание; *Krzysztoń J.* Wielbłąd na stepie. Warszawa, Czytelnik, 1978.

- 18 При подборе материала исследования мы руководствовались критериями, выдвинутыми польским филологом В. Медункой: 1) репрезентативности для данного языка и периода в его развитии анализируемых текстов; 2) обязательного наличия в них нужного лексического материала. «Если, — указывает В. Медунка, — анализируемое языковое поле состоит из тематической лексики, следует — принимая во внимание относительную редкость ее употребления — подбирать тексты с таким расчетом, чтобы этот подбор гарантировал выделение соответствующего лексического материала». Цит. по: *Sękowska E.* Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze. Warszawa, 1994. S. 106.
- 19 Все примеры приводятся с сохранением оригинальной орфографии авторов.
- 20 Вот что по этому поводу замечает Б. Бартницкая: «Русскому слову *kipiatak* соответствует польское *wrzątek*, но его употребление никогда не связывалось с питьем горячей воды как напитка — без добавления заварки и чаще всего сахара, отсюда выступающее в данной функции лексическое заимствование служит для передачи бытовой инновации; столь же экзотичны для поляков способы питья кипятка («*na przykusku*», «*na przyliżku*»). См.: *Bartricka B.* Elementy obcojęzyczne... S. 143–144.
- 21 См., в частности, мою статью «Россия и русские в польской лагерной прозе» // Поляки и русские в глазах друг друга. С. 191–192.
- 22 *Барминский Е.* Этноцентризм стереотипа. Указ. соч. С. 14–21.
- 23 Там же. С. 15.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
О НЕМЕЦКО-ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ

Брехт в свое время выразился так: «Gleichmaßen gefährlich und nützlich ist auch das Machen / Einleuchtender Bilder. Kämpfend nämlich mit neuen Lagen, niemals erfahrenen / Kämpfen die Menschen zugleich mit den alten Bildern und machen / Neue Bilder, das nunmehr möglich Gewordene / Auszuzeichnen...»¹

Образ наших соседей, присутствующий в нашем сознании, лишь в незначительной степени формируется литературой. Подобные образы создаются на рыночных площадях, в сфере политики, в средствах массовой информации, в семье и школе. Серьезная литература, то есть такая, которая создается вопреки течению времени, не может игнорировать подобные очевидные образы. Она подхватывает их, отталкивается от них и сама запускает их в оборот. По той же модели формируется коллективная память. Когда в конце 50-х годов Гюнтер Грасс сделал темой стихов и романов свое данцигское² детство, он резко выступил против потребительской идеологии, которая в послевоенные десятилетия определяла образ Польши в Федеративной Республике Германии. Озлобление сочеталось с враждебностью, поскольку речь шла о судьбе миллионов жителей восточногерманских земель, после 1945 г. непосредственно пострадавших от военной катастрофы. Собственные страдания вытесняли осознание их причинно-следственной связи с нападением Германии на Польшу в 1939 г. и оккупацией. К тому же повсеместно принятая антикоммунистическая риторика еще более ослабляла чувство исторической ответственности. Так укоренилось представление о поляках как о единственном виновнике переселения — приемлемое упрощение, подходящее, чтобы вместить жалость немцев к самим себе и их притязания.

Против подобных искажений направлен «Пан Кихот» Грасса, исполненный ироничного восхищения перед «способным поляком» — способным в старомодном порыве целовать или идти в кавалерийскую атаку против тупых танков. В облике этого современного, гротескно поданного Дон Кихота на сцену нашего столетия входит «благородный поляк» из немецкой литературы домартовского периода³ — рыцарственный мастер бесперспективных начинаний. Это изображалось с симпатией.

В стихотворении «Клеккербург» непосредственно возникает образ города Данцига — мотив, на котором ниже мы остановимся подробнее⁴. Безусловно привязанный к родному городу, поэт протестует против необходимости самоидентификации на основе землячества. Словно на допросе, или еще хуже — «поставив к стенке», от него домогаются признания: «Когда родился? И где? Почему?»

Национализм требует однозначной принадлежности. Но по причинам исторического характера это требование трудновыполнимо — в той земле, где «реки опровергают границы», города и улицы меняют названия, жителей перемещают и лишь номер дома остается прежним. Определенность в вопрос о происхождении вносит, быть может, только «хлевный запах языка» — от кашубского до восточно-прусского наречия, приколотых к истории, словно бабочки.

Личная память упряма и сопротивляется обвинениям тех, кто претендует на толкование воспоминаний: «От прав человека и пенсии / От компенсации за ущерб и от родного города / он отказался и слышит щелканье языка: Это не Балтийское Море, это — предательство». Но слух поэта безошибочно сохраняет в его памяти шум Балтийского Моря: «Блюбб, пифф, пшш...» Это признак верности и ироничный аргумент против беспамятства чиновников по делам беженцев. Хотя река Моттлау течет медом и молоком под многими мостами сквозь данцигский Ханаан, не может быть и речи о невинной идиллии детства, которая была разрушена лишь в 1945 г. По крайней мере для того, кто вырос «между / Духом Святым и портретом Гитлера».

Родина утрачена — так можно истолковать Грасса — по тем историческим и политическим причинам, которые легли тяжким грузом на счет немецкой вины. Но, будучи утраченной, она обретает силу поэтической утопии и дает неисчерпаемый материал для литературной истории.

Когда взгляд польских авторов после войны обращался к немцам, перед ними вставала двойная проблема. Литературное осмысление опыта оккупации или заселения «Западных и Северных земель» (на протяжении многих десятилетий именовавшихся «возвращенными землями») после 1945 г. должно было быть правдивым, но одновременно читатели ждали от литературы компенсации за унижения, испытанные в годы войны. Поэтому писателям было трудно отступить от образа вечной жертвы, в котором предпочитало представлять себя общество. В коллективной памяти поляков не было места чему-то вроде вопроса о личной моральной ответственности за выселение немцев.

Говорить о «нашей вине по отношению к немцам», как написал Ян Юзеф Липский в своем разрушающем канон эссе «Две родины —

два патриотизма» (1981), было для поляка невыносимо. Совершенно понятно, что принимаются во внимание масштабы страданий, но в целом такая установка в конечном счете приводила к преуменьшению собственной вины. Тот, кто целиком принимает на себя роль жертвы, всегда оказывается невиновен. Убеждение Липского, что выселение немцев может считаться в лучшем случае меньшим злом и уж никоим образом не «добрым делом», было в тогдашнем общественном мнении редким исключением, и за него власти преследовали⁵. Писателям же оставалось подавлять искушение отказаться от образа жертвы.

Еще один пример, подтверждающий сказанное, почерпнут из популярной среди читателей развлекательной литературы и тоже связан с Данцигом. В 1969 г. вышла повесть «Матч» («Mecz») Станиславы Флешаровой-Мускат (р. 1919 г.)⁶. На фоне спортивной встречи студенческих волейбольных команд из Гёттингена и Данцига повествуется о несостоявшейся любовной истории. Вальтер из Гёттингена и полька Эльжбета влюбляются друг в друга. Едва начинается роман, между ними встает прошлое. Повествователь сообщает, что Эльжбета рассказывает гостям о Данциге как о своей личной жизни, то есть представляет историю «моего города» как исключительно собственного владения, словно он ей принадлежит, не принимая во внимание его мультикультурное, по существу — немецкое прошлое. Вальтер слушает ее невнимательно. Но когда он, в свою очередь, выполняя просьбу дедушки, державшего когда-то свой погребок у Моттлау, хочет увидеть этот дом, она ему отказывает. С этого момента она отдаляется от него. То, что у немца есть свое семейное прошлое, связанное с Данцигом, явно задевает ее, портит ее картину мира.

Она не выполняет его просьбу, а вместо этого ведет его к обелиску павшим польским солдатам, среди которых и ее отец. То, что разрушает взаимное расположение молодых людей, — это два их якобы несовместимых прошлых. Согласно замыслу повествователя, студент из Гёттингена, выразив свое желание, должен испытать чувство вины. Но обычному западноевропейскому юноше это непонятно. Поэтому он наказан лишением взаимности. Автор не допускает возможности существования *разных* воспоминаний об *одном и том же месте* как некоего целого, но противопоставляет их друг другу в качестве взаимно несовместимых альтернатив. Еще немного — и читатель придет к предположению, что немец из Западной Германии прибыл в Польшу с реваншистскими намерениями. (Попутно заметим, что в опубликованном в ГДР переводе повести отсутствуют какие бы то ни было немецкие соответствия топографии Гданьска — признак ущербного лицемерия).

В конце 60-х гг. подобный сюжет вполне соответствовал официальному духу времени, или духу официальных газет в Народной Польше. Как раз тогда нужно было вновь возбудить неприязнь общества к ФРГ, чтобы противодействовать примирительному посланию польских епископов от 1965 г.

А как в этом плане обстоит дело в ГДР?

С открытием польской границы в 1972 г. сюда хлынула волна туристов, что породило и жанр литературных путевых заметок. По ту сторону государственно провозглашаемой дружбы теперь можно было получить живое впечатление о соседней стране. Происходило открытие чужого мира с иным укладом жизни — как пространства для личных приключений. В нем находили широту, гостеприимство, неслыханную свободу передвижения, терпимость, граничащую с раздражающим *laissez faire*. Словом, многое из того, чего не хватало в маленькой, тесной и мелочной ГДР. Для большинства путевых заметок 70-х гг. характерна дружелюбно-восторженная или простодушно-доброжелательная установка. Во всяком случае, достоверность личного опыта авторов этих текстов противостояла официальным штампам, полным приукрашивания и недомолвок.

Фолькер Браун родился не в Данциге. В начале 70-х гг. он написал значимое стихотворение «Гданьск», где есть такие строки: «Моя возможная отчизна / чье молоко меня не вскормило / Тебя не терял я»⁷. Полностью отрицая собственную биографическую связь с городом Данцигом, Браун тем самым косвенно намекает на место рождения других немецких поэтов. Здесь, как мне кажется, текст Брауна вступает в скрытый диалог с «Клеккербургом» Грасса, по крайней мере на это указывает явная переключка многих мотивов. Это отрицание, однако, не имеет ничего общего с жалкой корректностью *à la* ГДР. Скорее оно открывает диалектическую перспективу. А путешественнику из Саксонии оно обеспечивает спокойную встречу и с польской современностью («Они свой / клочок земли обрели наконец, / Родину»), и с прошлым Данцига, «немецким до самых замочных скважин». Как «раскрашенная сказка» предстает взору поэта старая, но в то же время новая вереница двускатных крыш, красота которых — не порождение какой-то *одной* культуры и которые возведены поляками «с нежностью». Заявленное в начале стихотворения отрицание связи с родиной переходит в конце в стремление к родине. Она, однако, задается не национальной принадлежностью, но исторической утопией. Это — нереальный образ будущего мира, вырастающий благодаря труду многих народов и культур, радующий всех своим сиянием. Поэтому он — возможная Родина многих, в том числе — лирического поэта, немца из Саксонии. Браун не отворачивается от дра-

матического немецко-польского прошлого, но отказывает этому прошлому в праве на будущее. А это будущее он предпочел бы видеть плодотворным — сквозь призму дружелюбной утопии.

И наконец, самый свежий польский пример — попытка разгадать трудного западного соседа. В 1995 г. польская литературная критика была взбуждена появлением романа «Ханеманн» (в немецком переводе 1997 г. — «Смерть в Данциге»), где немец — и заглавный герой, и главное действующее лицо. Это книга о Данциге, но она отнюдь не продолжение героических саг об отряде майора Кухарского на Вестерплатте, о защитниках польской почты или об энтузиазме новых послевоенных переселенцев. Стефан Хвин (р. 1949) рассказывает историю данцигского немца до и после 1945 г. Уже это противоречит доселе обязательной для жанра воспоминаний схеме, которой придерживалось большинство литературных произведений, где история так называемых Западных и Северных Земель начиналась с 1945 г. — как бы с нулевого времени. Судьба людей, которые до этого там жили и внезапно куда-то исчезли, не представляла никакого интереса. Они были не наши.

Теперь же в центр происходящего помещен немецкий врач Ханеманн, профессор Института анатомии. Меланхолический одиночка, бывший при нацистах под подозрением из-за связей «не с теми людьми» (социал-демократами), он избегает общения. С тех пор как в августе 1938 г. он пережил личную трагедию — загадочную гибель своей возлюбленной, он как бы внутренне парализован. В январе 1945 г. он опаздывает на пароход «Фридрих Бернхофф», отплывающий навстречу смерти, вероятно, потому, что хотел опоздать. Он возвращается в свою квартиру на улице Лессинга, 17, которую вскоре переименуют в улицу Гроттгера и на ней поселятся соседи-поляки. Так он продолжает жить в «умершем городе», принимающем чужой облик. Поскольку Ханеманн говорит по-польски, его жизнь и быт тесно переплетаются с жизнью и бытом новых соседей.

Повествователя, от чьего имени ведется рассказ, — ребенка из восточнопольской семьи, поселившейся на немецкой вилле в Оливе, — привлекает чуждость немца. Чтобы постичь суть чужака, он цитирует противоречивые высказывания третьих лиц, в которых образ Ханеманна всякий раз отражается по-разному. Между немцем, который не хотел бы излишне бросаться в глаза, и его польским окружением устанавливается сочувственное сосуществование. Ощущение культурной чуждости при этом не исчезает, но не возникает и ненависти. Немецкого протестанта коробит католический обычай выставлять на Страстную неделю «гипсовую фигуру Бога, положенного во гроб». «В протестантских общинах было иначе. Простой крест.

Белые стены. Но теперь в Данциге протестантских общин больше не было»⁸. В то же время его завораживает чувственно-красочный дух праздника тела Христова: «Ханеманн смотрел на золотую звезду, несомую под балдахином, украшенным крупной вышивкой... и огромное солнце, разгоревшееся белое солнце... (приближался одиннадцатый час), возможно, смягчалось при виде этого малого солнца, в короне металлических лучей плывущего над склонившимися головами. Потому что в этой сверкающей прозрачности июньского утра казалось, что все смягчается. Ледяной ком таял в глубине сердца, Ханеманн щурил глаза, защищаясь иронией от теплого веяния, которое касалось волос, как рука матери... И сейчас ему совершенно не хотелось вести споры с папистами...» (S. 141).

Открытой ненавистью немецкий врач встречается лишь в службе безопасности, где его понуждают либо уехать из страны, либо сделать-ся доносчиком. Органы проявляют навязчивый интерес не только к немцу, но и к другим чужакам, вроде глухонемого бродяги Адама или украинки Ганки. Однажды, предупрежденные соседями о готовящейся полицейской операции, все трое исчезают из поля зрения рассказчика.

Чем характеризуется подход автора к деликатной теме?

Некоторые польские критики обвинили Хвина в том, что он якобы встает на точку зрения немцев, то есть беженцев и вынужденных переселенцев. Могло и впрямь показаться, будто целью Хвина было предоставить немецким переселенцам некую «моральную компенсацию», о которой говорил в 1985 г. Я. Ю. Липский⁹. Такое толкование, однако, искажает замысел автора. Он сам сказал по этому поводу, что его никоим образом нельзя воспринимать как писателя польско-немецкого примирения. И еще определенной: «Ханеманн» не есть книга, выражающая симпатии по отношению к немцам. Автор просто хотел-де рассмотреть немецкую тему непредвзято, так чтобы это не повредило литературному произведению, то есть исходил из эстетических соображений, и только из них.

Но, разумеется, было бы неправильно заключить, что моральная проблематика вовсе его не волновала. Хвин намеренно отбрасывает диктат национальной идеи, не только официальной, но и глубоко укоренившейся в семейном сознании, ибо она внушала индифферентность к отдельно взятому человеку. Он говорит об осторожности и больших усилиях, потребовавшихся для того, чтобы пережить травму, нанесенную поколению родителей немцами-врагами. Немецкость Ханеманна, сказал он в одном из интервью, не столь важна по сравнению с его чуждостью. Персонаж притягивает автора не как представитель своего народа или немецкого меньшинства в Данциге, но как человек

с редкой судьбой и до конца так и не проясненной личной тайной¹⁰. И все-таки Ханеманн — немец. Просто он опровергает тиражировавшийся в литературе на протяжении десятилетий образ чужака-немца. Он — интроверт, меланхолик и романтик, в то время как стереотип рисует немца волевым, энергичным и brutальным. Хвин, начинающий свой роман как детектив, подпадает под обаяние эстетики таинственного.

Тут немецкая критика опять наломала дров. Она усмотрела в романе роковую склонность к эстетизации и пренебрежение политической подоплекой в угоду общечеловеческому¹¹. Эти «грехи» едва ли присущи автору. Ведь Хвин как раз и ставит под сомнение пригодность польской парадигмы для описания запутанных судеб, созданных при столкновении разных народов, культур и религий.

Приговор немецкой критики гласил далее, что книга якобы лишена «мучительной четкости» и, что весьма необычно, страшная эпоха изображена без «привычных трудностей и смущения». Остается неясным, похвала это или упрек.

Источник недовольства понятен. С точки зрения поколения, с опозданием, но зато основательно проникшегося чувством исторической вины немцев и сформировавшего на его основе свое представление о Польше, польскому автору недостает политкорректности. В понимании Хвина, однако, такие рекомендации возвращают нас назад к литературным клише и национальному нарциссизму.

В точном смысле слова немецкость выражается в романе не конкретными людьми — их, кроме Ханеманна, нет, — но скорее вещами, определяющими «немецкое чувство формы».

Хвин очарован добротными предметами быта, сохранившимися на мещанских виллах Данцига и Оливы. Это прямая антитеза тому презрительному равнодушию, с которым бывшие немецкие дома, церкви и кладбища обрекались на снос. Увлеченный деталями, с чувством и страстью, он рисует вещи так же внимательно, как и людей: «Белые сервизы в форме лебедей и пеликанов, нежные сахарницы из серебра в виде диких уток с бирюзовым глазком, кораблики для грушевого конфитюра — ...все эти вещи, ласковые и насмешливые, плывущие в неподвижном ковчеге города вместе с госпожой Штайн, Ханеманном, госпожой Вальманн... уже собирались в дорогу» (S. 25). Вещи вместе с госпожой Штайн... Вызывающая перестановка в онтологической иерархии.

Вещи, которые из-за своей изысканной формы или веса не могут быть взяты с собой во время бегства, достаются новым жителям. Вещи не принимают этого близко к сердцу, не встают ни на чью сторону, они служат связующим звеном. «Вещи занимались тем же, чем всегда. Они присматривались ко всему с полком, этажерок, досок, подоконников и не придавали значения нашим делам. Они не были ни на чьей стороне.

Они покорно отдавались в наши руки» (S. 120). Так в романе развертывается мотив завораживающей амбивалентности между надежными предметами быта и духовной чуждостью их создателей. Кажется даже, будто для автора эта раздвоенность — не просто литературная фантазия и он стремится возвести ее в ранг максимы.

Во многих интервью он подчеркивал: *я люблю немецкую культуру больше, чем немцев*. То, что так сильно привлекает писателя в немецкой культуре, — умоглядная конструкция из романтических составляющих: мрачная серьезность протестантизма, клейстовская тяга к смерти, трансцендентная живопись Каспара Давида Фридриха. Немецкость для Хвина — миф, но, вопреки ожиданиям, позитивный. Разумеется, он использует мрачный пафос протестантизма также как фон, позволяющий заново оценить сердечную, наивную чувственность домашнего католического уклада.

Что же поддерживает жизнь во время катастроф, за счет чего их пережил универсум Данцига? — задал вопрос в связи с романом один польский критик. Ответ, который Хвин подсказывает своему читателю, гласит: жизнь поддерживается не историей, не политикой и не идеологией, так как они всегда разбивают людей на своих и чужих, но культурой. Ее материальные проявления доступны каждому в быту и прекрасны. Они постоянное людей, чье преходящее существование из-за безумия XX века становится вдвойне скоротечным.

Стефан Хвин излагает историческое воспоминание литературными средствами. Он представляет нам подчеркнуто личную версию прошлого, такую, какую хочет видеть и в которой остро нуждается его поколение. Временами она «неисторична», но вместе с тем она знаменует акт освобождения от власти монополизированного коллективом шаблона. Так по крайней мере оценил ее проницательный скептик, футуролог Станислав Лем: «Все происходит в социально-политической пустоте... Есть Гданьск и немцы, которые из него изгнаны, мы знаем кем — наступающими советскими войсками, но это наступление предстает как разновидность космической стихии, ни одного советского солдата на страницах романа нет, что — я считаю — хорошо»¹². Автор порывает с навязываемыми ритуалом комплексами вины и обличения, прилипшими к немецко-польским отношениям как застарелая болезнь. Кому-то это может показаться постмодернистской фривольностью. Но давайте признаем: перед нами вполне состоявшаяся попытка, возможно, специфичная для данного поколения, претворить трудное соседство в новый, запоминающийся образ — на сей раз построенный преимущественно не на политической, а на эстетической основе.

Перевод с нем. А. В. Циммерлинга

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Одновременно опасно и полезно изготавливать / Поучительные образы. / Ведь борясь с новыми, досель неизведанными укладами, / Люди также борются со старыми образами и создают / Новые, которые знаменуют ставшее отныне / Возможным...
- 2 В переводе сохранено используемое в оригинале немецкое название города Гданьск и производные от него формы. — *Прим. ред.*
- 3 Имеется в виду периоддо мартовской революции 1848 г. в Германии. — *Прим. ред.*
- 4 *Grass Günter*. Gedichte und Kurzprosa. Studienausgabe. Göttingen, 1994. Bd. 11. S. 196–199.
- 5 *Lipski Jan Józef*. Zwei Vaterländer — zwei Patriotismen // Wir müssen uns alles sagen / Hg. von Georg Ziegler. Deutsch-polnischer Verlag Warschau, 1996. S. 192–193.
- 6 Der Wettkampf // Im Westen fließt die Oder. Moderne Prosa über die polnischen Westgebiete. Ausgewählt von K. Kelm. Berlin, 1971.
- 7 *Braun Volker*. Gdańsk // Gedichte. Leipzig, 1972. S. 99.
- 8 *Chwin Stefan*. Hanemann. Gdańsk, 1996. S. 139.
- 9 Cp.: *Lipski Jan Józef*. Die antideutsche Karte des polnischen Regimes // Wir müssen uns alles sagen. S. 235.
- 10 Cp.: Gdańska Paleontologia // Rzeczpospolita, № 27. 1997; Unglück am 14. August 1938. Bayerisches Fernsehen. Redaktion Kultur v. 17.08.1997.
- 11 Cp.: *Breitenstein Andreas* // Neue Züricher Zeitung v. 9/10.08.1997; *Dwertmann Franz* // Taz. Bremen v. 26/27.07.1997; *Kämmerlings R.* (см. примечание 8).
- 12 *Lem Stanisław*. Proza gęsto tkana // Tygodnik Powszechny. № 51. 1995.

Научное издание

STUDIA POLONICA.
К 70-летию
Виктора Александровича Хорева

Корректор — *Т. И. Томашевская*
Младший редактор — *Н. Ю. Квасницкая*
Младший редактор — *Н. Б. Стахеева*
Оригинал-макет — *Л. Е. Коритысская*

Издательство «Индрик»

По вопросам приобретения книг следует обращаться по адресу:
117334, Москва, Ленинский проспект 32-а,
Институт славяноведения РАН (для издательства «Индрик»)
тел. (095) 938-01-00
тел./факс 938-57-15

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.

Формат 60х90 ¹/₁₆. Гарнитура «Петербург». Печать офсетная.
28,5 п. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 5525

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ЦПП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6

